ГЕРОИ 1812 ГОДА



Сборник

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Жизнь замечательных людей

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 11

(680)

ГЕРОИ 1812 ГОДА

Сборник

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1987

ББК 63. 3(2)47
Г 39

Составитель — ВЛАДИМИР ЛЕВЧЕНКО

Герои 1812 года / Сост. В. Левченко. — М.: Мол.
Г 39 гвардия, 1987. — 608 с., ил. — (Жизнь замечат. людей. Сер. биогр. Вып. 11 (680).

В пер.: 2 р. 60 к. 200 000 экз.

В сборнике рассказывается о жизни и деятельности замечательных героев Отечественной войны 1812 года Барклае-де-Толли, Платове, братьях Тучковых, Курине и других.

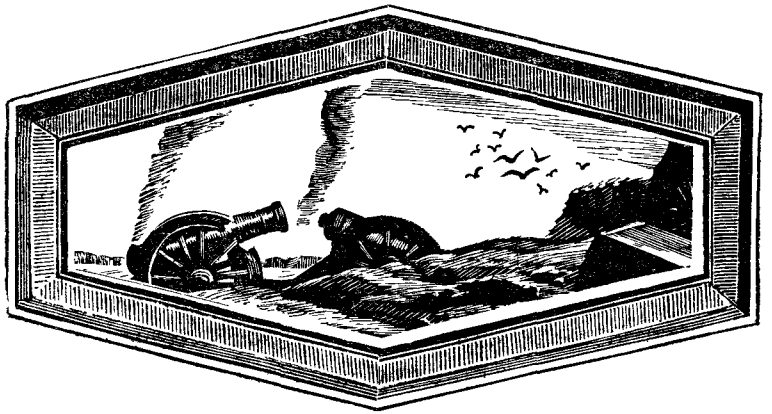
Г $\frac{4702010200 - 205}{078(02)-87}$ 151—87 ББК 63.3(2)47

© Издательство «Молодая гвардия», 1987 г.

Россия! встань и возвышайся!
А. С. Пушкин

МИХАИЛ БОГДАНОВИЧ БАРКЛАЙ-ДЕ-ТОЛЛИ
МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ ПЛАТОВ
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ДОХТУРОВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ РАЕВСКИЙ
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ОСТЕРМАН-ТОЛСТОЙ
ПЕТР ПЕТРОВИЧ КОНОВНИЦЫН
ТУЧКОВЫ
ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ НЕВЕРОВСКИЙ
ЯКОВ ПЕТРОВИЧ КУЛЬНЕВ
АЛЕКСАНДР НИКИТИЧ СЕСЛАВИН
ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ ГЛИНКА
ГЕРАСИМ МАТВЕЕВИЧ КУРИН

Михаил Богданович Барклай-де-Толли



«Верность и терпение».

Девиз на княжеском гербе Барклая-де-Толли

В финском городе Нитштадте 10 сентября 1721 года полномочными представителями Петра I произведена была «Ратификация Королевского величества Свейского, на трактат вечного мира учиненная с его царским величеством». «Ратификация» положила конец великой Северной войне России и Швеции, длившейся ровно двадцать один год.

По условиям договора между двумя государствами устанавливался «вечный и ненарушимый мир на земле и на воде» и «вечное обязательство дружбы».

Швеция уступила России обширные владения в Карелии, Приладожье, Прибалтике и в том числе — Лифляндию с Ригой. Вместе с новыми городами и землями под скипетр Петра I перешли сотни тысяч новых подданных, среди которых оказались и представители старинного шотландского рода Беркли, поселившиеся в Риге за восемьдесят лет до начала Северной войны.

Длинный ряд своих благородных предков Беркли выводили от барона Роберта Беркли, упоминание о котором относится к 1086 году.

В 1621 году двое братьев Беркли — Питер и Джон, упорно исповедовавшие протестантство и выступавшие против католиков Стюартов, уехали из Шотландии в германское герцогство Мекленбург, в город Росток, крупный торговый центр, тесно связанный с Прибалтикой.

Оттуда братья сделали официальный запрос местному священнику, служившему в маленьком приморском городе Банф, сэру Патрику Беркли, о своей родословной и получили ответ, что они происходят из благородного рода Беркли оф Толли, местом происхождения которого следует считать графство Банф в восточной Шотландии.

Это обстоятельство дало братьям основание носить фамилию Барклай-де-Толли.

Старший сын Питера Беркли, Иоган Стефан, в 1664 году переехал в Ливонию и поселился в Риге. Он-то и стал основателем российской линии Барклаев. Иоган Стефан Барклай-де-Толли женился на Анне Софии фон Дерепталь — дочери рижского юриста, которая родила ему троих сыновей. Иоган Стефан оказался не только основателем российской линии своей фамилии, но и первым в роде Барклаев русским подданным, так как вместе со всеми членами рижского магистрата принял присягу на верность новой своей родине — России.

Двое сыновей Иоганна Стефана стали офицерами шведской армии. Старший, Вильгельм, наследовал отцу и в 1730 году был избран в члены рижского городского магистрата. Один из сыновей Вильгельма, Вейнгольд-Готард, родился в Риге в 1726 году. Он служил в российской императорской армии и вышел в отставку поручиком.

Бедный офицер, выслуживший лишь чин одиннадцатого класса, не имел ни крестьян, ни земли и вынужден был стать мелким арендатором. В 1760 году он поселился в Литве, на маленькой глухой мызе Памушисе. Здесь 13 декабря 1761 года у него родился третий сын, которого нарекли Михаилом. Таким образом, Михаил Барклай-де-Толли был русским гражданином в четвертом поколении и сыном офицера русской армии. Так как отца мальчика звали Вейнгольд Готард и второе его имя в переводе на русский язык означало «Богом данный», впоследствии Михаила Барклая-де-Толли стали именовать Михаилом Богдановичем.

Когда мальчику исполнилось три года, отец отвез его

в Петербург. Маленький Михаил с ранних лет выделялся среди сверстников серьезностью и прекрасной памятью, способностями к истории и математике. Гордость и упорство, равно как обретенные с годами хладнокровие и мужество, отличали Барклая. Прямота и честность дополняли эти качества, превращая юношу в идеального военного, ибо именно такими качествами и должен обладать будущий полководец. В Петербурге он жил и воспитывался в доме дяди по матери — участника Семилетней войны, бригадира русской армии фон Вермелена. Тот не пожалел денег и нанял ему хороших учителей, да и сам занимался с племянником, подготавливая его к воинской службе.

Шести лет дядя записал его в Новотроицкий кирасирский полк, командиром которого он был. Служить Барклай начал с четырнадцати лет, и первым его полком стал Псковский карабинерный. Его подготовка была основательнее, чем у иных офицеров, поскольку в свидетельстве, представленном Барклаем, было сказано, что «по-немецки и по-российски читать и писать умеет и фортификацию знает». Два года упорной учебы и безупречной службы понадобились Барклаю на то, чтобы в шестнадцать лет получить офицерский чин, и еще десять лет, чтобы стать капитаном. В 1788 году вместе со своим начальником генерал-поручиком принцем Ангальтом капитан Барклай отправляется на театр военных действий — против турок к Очакову.

Войны между Россией и Турцией к тому времени велись уже более ста лет. К 1788 году Россия добилась значительных успехов — под ее власть перешел Крым, под ее покровительством оказалась Грузия, ее корабли вышли на просторы Черного моря. Военные успехи России подкреплялись успехами экономическими — на присоединенных землях, названных Новороссией, строились порты и крепости, города и села, распахивались десятки тысяч десятин земли, основывались мануфактуры и фабрики. Наместником новых территорий стал фаворит императрицы Григорий Александрович Потемкин, получивший после присоединения Крыма титул светлейшего князя с добавлением «Таврический». Под его началом и предстояло теперь служить Барклаю-де-Толли.

В войнах с Турцией выросла замечательная плеяда русских военачальников и флотоводцев. Азовскими походами начал свою полководческую деятельность Петр I. В войнах с Турцией мужало воинское искусство Румянцева и Суворова, в битвах против турецкого флота стяжали свою славу Спиридов и Ушаков — прославленные адмиралы России. А теперь наступили «времена Очакова и покоренья Крыма».

Очаков был обложен армией Потемкина с конца июня 1788 года. Старый фельдмаршал Румянцев, обиженный назначением Потемкина на свое место, называл действия фаворита под стенами крепости «осадой Трои». Только 6 декабря, в сильные морозы, начался общий штурм крепости. Одной из штурмовых колонн, наносившей удар непосредственно по крепости, командовал принц Ангальт. Его солдаты выбили турок из ретраншемента — вспомогательного полевого укрепления, а затем прижали противника к стенам Очакова. После упорного и кровопролитного штыкового боя, в котором Барклай был в первых рядах наступавших, солдаты ворвались через Стамбульские ворота в крепость. Ров перед цитаделью глубиною в три сажени был завален трупами почти доверху — таким невероятно упорным оказался накал этого боя. За Очаков Барклай получил свой первый орден — Владимира 4-й степени, штурмовую Очаковскую медаль и первый штаб-офицерский чин — секунд-майора.

Летом 1789 года на театре военных действий наступил решительный перелом: в июле русские войска, объединившиеся под общим командованием Потемкина в одну, Южную армию, медленно двинулись к турецкой крепости Бендеры. На пути к Бендерам и произошли два сражения, коренным образом изменившие общую стратегическую обстановку в войне. 21 июля Суворов, сражавшийся под командованием Потемкина, под городом Фокшаны разбил тридцатитысячный корпус визиря Османа-паши, а 11 сентября наголову разгромил главные силы стотысячной армии Юсуфа-паши. Это сражение, происшедшее неподалеку от Фокшан, на берегу реки Рымник, вошло в историю военного искусства как пример боя, когда внезапность удара и быстрота маневра приносят победу армии, в четыре раза уступающей противнику в численности.

За эту победу генерал-аншеф Суворов был возведен «в графское Российской империи достоинство» с повелением впредь именоваться графом Суворовым-Рымникским.

13 сентября авангард армии, подошедший к местечку Каушаны в 23 верстах от Бендер, решительной атакой выбил турок из укреплений. Отрядом, в котором находил-

ся и Барклай, командовал уже знаменитый казачий полковник Матвей Иванович Платов. Его казаки и конные егеря Барклая рассеяли турецкие войска, захватили сто пленных вместе с их командиром Сангалой-пашой, заняли Каушаны и тем создали серьезную угрозу уже осажденным русскими войсками Бендерам. В конце сентября Платов, под командой которого находился секунд-майор Барклай, занял крепость Аккерман. Эта победа была намного значительнее дела у Каушан: 32 знамени и 89 пушек стали трофеями победителей.

Вслед за тем 11 октября без боя сдались Бендеры.

Война между Россией и Турцией привела в движение все антирусские силы. По сложившейся традиции на помощь Турции выступила ее постоянная северная союзница — Швеция. Летом 1788 года шведский король Густав III объявил России войну, и в непосредственной близости от Петербурга начались маневры и боевые действия шведского флота, а в незначительном отдалении от столицы, в юго-восточной Финляндии, появились войска шведов.

Ранней весной 1790 года главнокомандующий русскими войсками граф Н. И. Строганов вызвал Ангальта в действующую армию и поручил ему взять хорошо укрепленную деревню Керникоски, расположенную западнее Выборга. Барклай и на этот раз был рядом со своим начальником. 18 апреля, утром, во время атаки на Керникоски, принц был смертельно ранен — пушечным ядром ему оторвало ногу. Умирая, он передал свою шпагу Барклаю, который с тех пор никогда с нею не расставался.

За отличие в бою у Керникоски Барклай получил следующий чин — премьер-майора и был переведен в Санкт-Петербургский гренадерский полк. В 1794 году, командуя батальоном этого полка, он отправился на новый театр военных действий — в Польшу. Здесь ему довелось отличиться при штурме Вильно. В боях против повстанцев Барклай заслужил чин подполковника и орден св. Георгия 4-класса.

Через четыре года Барклай стал полковником и получил под начало свой первый полк — егерский. С этим полком он оставался связанным почти до конца жизни. Сначала он был его командиром (а потом и шефом), затем командиром бригады и дивизии, куда входил и

3-й егерский полк. Этот полк постоянно оставался одним из лучших армейских полков. До Отечественной войны 1812 года полк был единственным во всей армии, кому принадлежали две боевые награды — серебряные трубы за битвы под Янковом, Ландсбергом и Прейсиш-Эйлау и за отличия в войне со Швецией в 1808—1809 годах — гренадерский барабанный бой.

К этому времени вполне сложился характер будущего полководца, сформировались его нравственные и профессиональные принципы. Происходя из бедной семьи, не имея ни крепостных, ни доходных угодий, живя лишь на скромное жалованье, Барклай был сердечно расположен к своим подчиненным и тем самым выгодно отличался от собратьев по классу, видевших в солдатах и унтер-офицерах тех же деревенских холопов, которых оставили они в своих имениях, как отличался от них и образом жизни. Если вино, карты, волокитство и безделье были уделом многих офицеров вне строя, то Михаил Богданович свое свободное время отдавал чтению, умной беседе, систематическим занятиям военной наукой. Именно в это время в нем начинает созревать и развиваться будущий стратег, чье имя впоследствии встанет в один ряд с именами прославленных полководцев России. Именно в эти годы окончательно формируется и его общественный облик — облик просвещенного, демократически настроенного офицера, врага палочной дисциплины, самодурства, произвола и рукоприкладства, сторонника всего передового, что позволяло сделать русскую армию лучшей в мире. Пройдет десять лет, и эти принципы Барклай попытается претворить в жизнь в самых широких масштабах. А пока упорная работа, непрерывное учение — за письменным столом и в поле, постоянное общение с солдатами и офицерами своего егерского полка составляли его удел.

В егерские полки набирались отборные солдаты — стрелки и разведчики, способные к рейдам в тыл противника, многоверстным переходам, стремительным штыковым атакам. Поэтому боевая подготовка занимала у егерей самое важное место. 13 марта 1799 года «за отличную подготовку полка» Барклай был произведен в генерал-майоры, однако новой должности не получил, по-прежнему оставаясь командиром полка еще восемь лет.

С этим полком в 1805 году Барклай выступил в поход против Наполеона, однако до театра военных действий не дошел: в пути было получено известие о пора-

жении русской армии под Аустерлицем, а затем и приказ о возвращении на зимние квартиры. Этот поход был последним мирным маршем Барклая — наступала полоса длительных и тяжелых войн.

Не прошло и полгода после Аустерлица, как Наполеон начал новую войну с Пруссией. В силу принятых на себя обязательств в конфликт оказалась втянутой Россия. 14 ноября Наполеон разгромил пруссаков под Иеной и Ауэрштедтом и спустя две недели занял Берлин. Россия оказалась один на один с Наполеоном. Русские войска стояли в Белоруссии и Польше, выдвинув авангарды на берега Вислы. Одним из них командовал Барклай, именно здесь, на Висле, впервые схватившийся с наполеоновскими маршалами, своими будущими главными противниками.

16 ноября войска Наполеона заняли Варшаву. Форсировав Вислу, они попытались окружить русские войска, сосредоточенные у Пултуска, но их план был сорван, и в большой степени эта заслуга принадлежала генерал-майору Барклаю, который 14 декабря в сражении под Пултуском командовал оконечностью русского правого фланга. Впервые под его началом оказалось пять полков — три егерских, Тенгинский мушкетерский и Польский конный.

Они надежно прикрывали правый фланг армии Беннигсена, отбив ожесточенные атаки дивизии Гюдена из корпуса маршала Даву. Противником Барклая под Пултуском оказался и маршал Ланн — один из лучших полководцев Наполеона. Барклай дважды бросал свои войска в штыки и в конце концов помешал Ланну разгромить главные силы Беннигсена, который оставил поле боя, бросив множество орудий и повозок с ранеными.

За храбрость, проявленную в бою под Пултуском, Барклай был награжден орденом Георгия 3-го класса.

4 января 1807 года русская армия двинулась из Польши в Восточную Пруссию. 25 января под Янковом Барклай выдержал сильные атаки французов, которыми командовал сам Наполеон. Отступив к Ландсбергу, он весь следующий день сдерживал главные силы французов и дал возможность русской армии собраться у Прейсиш-Эйлау. Сражение под Ландсбергом и расположенном неподалеку от него Гофом было крайне упорным. В нем в полной мере проявились верность долгу, бесстрашие и хладнокровие Барклая. Оказавшись один на один со всей французской армией, он не дрогнул и до конца выполнил

свой долг. После боя он писал в донесении главнокомандующему Беннигсену: «Во всяком другом случае я бы заблаговременно ретировался, дабы при таком неравенстве в силах не терять весь деташемент (отряд. — *Ред.)* мой без пользы, но через офицеров, которых посылал я в главную квартиру, осведомился я, что большая часть армии еще не была собрана при Ландсберге, находилась в походе, и никакой позиции взято не было. В рассуждение сего я почел долгом лучше со всем отрядом моим пожертвовать собою столь сильному неприятелю, нежели, ретируясь, привлечь неприятеля за собой и через то подвергнуть всю армию опасности». В этом весь Барклай. С его мужеством, честностью, готовностью к самопожертвованию.

26 января Барклай находился в авангарде под началом Багратиона, затем перевел свои полки к основным силам на передовые позиции под Прейсиш-Эйлау и был атакован корпусом маршала Сульта. Атака была отбита, но сам Барклай был тяжело ранен осколками гранаты и потерял сознание. Его вынес из боя унтер-офицер Изюмского гусарского полка Сергей Дудников.

Пока раненого генерала увозили в тыл, Наполеон продолжал неослабевающий натиск на русские позиции. Он лично руководил сражением и наносил удары один за другим, нащупывая слабые места обороны русских.

Утром Наполеон бросил корпус Ожеро на левый фланг русских позиций, но, не добившись успеха, перенес удар на центр. Девяносто эскадронов маршала Мюрата прорвали все три линии обороны, но и это не принесло французам успеха.

Барклая привезли в Мемель и для излечения поместили на частную квартиру, куда к нему больше года приходили доктора, пытаясь спасти раненую правую руку, в которой застряло множество кусочков металла и обломков костей.

В то время, когда Барклай лечился, находясь под присмотром приехавшей к нему жены и нескольких девушек-воспитанниц, живших в его семье, в Мемель пожаловал Александр I. Он появился в этом городе, чтобы навестить находящегося здесь со своим двором прусского короля Фридриха-Вильгельма III, лишившегося из-за «безбожного корсиканца» почти всех своих владений.

Мемель, находившийся на самой границе союзной королю России, король справедливо почитал наиболее без-

опасным для себя местом. Александр I, находясь в гостях у своего «несчастного венценосного собрата», посетил и генерала Барклая — героя последней войны. Едва ли кто-нибудь из них предполагал, что это встреча царя со своим будущим военным министром и главнокомандующим. Визит Александра в Мемель сыграл очень важную роль в жизни Барклая: именно тогда между ним и царем состоялась длительная беседа, в которой Барклай высказал Александру ряд идей, по-видимому показавшихся императору небезынтересными.

Можно представить, о чем думал Барклай — сорокашестилетний боевой генерал, зрелый стратег, оказавшись в тишине и покое домашнего мемельского лазарета. Конечно же, он вспоминал и о только что закончившейся кампании и задумывался над кампаниями предстоящими. А в том, что они должны быть, сомнений не было: Наполеон находился на вершине могущества, континентальная Европа была почти полностью им покорена, наступала очередь России — последнего препятствия на пути к мировому господству. Рухнет Россия, и тогда несдобровать и Англии — главному оплоту антибонапартистских сил.

Размышляя над ближайшим будущим, Барклай, по-видимому, задумывался и над планом военных действий, который можно было бы противопоставить захватнической стратегии Наполеона. И вот здесь-то к Барклаю, по всей вероятности, и пришла мысль, что, если Наполеон нападет на Россию, спасти может тактика заманивания неприятеля в глубь страны и уничтожения его армий голодом, холодом, партизанскими налетами и распылением его сил по бескрайним просторам империи.

Через пять лет Барклай сильно изменил и существенно дополнил этот план, но его сердцевинная суть осталась неизменной — отступая, обескровить. измотать, выморить и выморозить армию неприятеля. План этот впоследствии получил и кое-какие отголоски. Так, сподвижник Наполеона, главный интендант великой армии, генерал граф Матье Дюма (его иногда путают с другим наполеоновским генералом — Дюма — отцом и дедом знаменитых писателей) рассказывал в своих воспоминаниях, что накануне открытия военных действий в 1812 году он встретился в Берлине с известным немецким историком античности Бертольдом Георгом Нибуром, давно знакомым ему еще по Голштинии. Когда они заговорили о предстоящей кампании, Нибур сказал, что он узнал

о назначении Барклая-де-Толли русским главнокомандующим и не сомневается, что тот будет отступать.

По словам Нибура, он близко сошелся с Барклаем в 1807 году, когда тот, тяжело раненный под Эйлау, лежал в Мемеле на излечении. Барклай — по свидетельству Нибура — якобы уже и тогда говорил об отступательном плане, о завлечении французской армии в глубь России по направлению к Москве, чтобы, удалив французов от их баз и отнимая у них продовольствие и фураж, заставить Наполеона на берегах Волги дать «вторую Полтаву» и получить ее. «Это было ужасное пророчество!» — восклицает Дюма и рассказывает, что он немедленно сообщил о своем разговоре с Нибуром маршалу Бертье и убежден, что об этом сообщили Наполеону. (Находясь на острове Святой Елены, Наполеон и сам вспоминал об этом разговоре с Бертье.)

Примерно о том же пишет в своих мемуарах бывший французский посол в Петербурге герцог Винченцский Арман Огюстен де Коленкур. Генерал Дедем, голландский барон, служивший во французской армии с 1810 года и проделавший русский поход в чине бригадного генерала, в своих мемуарах рассказывает, что накануне кампании 1812 года, когда он стоял со своей бригадой в Германии, ему не раз приходилось слышать о намерении русских отступать. Ему было вменено в обязанность сообщать министру иностранных дел Гюго Бернару Маре, герцогу де Бассано о положении в пограничных районах, слухах, настроениях и т. д. «Я сообщал, — пишет он, — любопытные подробности о России, о непреклонном намерении русских все сжечь и опустошить и завлечь нас в пустынную местность, чтобы уморить голодом... Восемнадцать месяцев спустя герцог де Бассано сказал мне в Варшаве: «Вы были жестоким пророком».

И хотя нельзя с полной уверенностью утверждать, что и этот план был предметом беседы царя с Барклаем, однако такую возможность исключать не следует. Как бы то ни было, но вследствие визита царя Барклай получил орден Владимира 2-й степени и чин генерал-лейтенанта, а прусский король тотчас же пожаловал новому царскому любимцу орден прусского Красного Орла.

Свидетельства Нибура, Дюма и Дедема представляют несомненный интерес, но еще нуждаются в изучении, сопоставлении и проверке. Тем не менее, сходные по главной своей мысли, они не могут не вызвать самого пристального к себе внимания.

Барклай еще лечился в Мемеле, когда в Тильзите, в ста верстах к югу от Мемеля, Александр и Наполеон подписали мир, который сильно переменил внешнюю политику России — из резко антифранцузской она стала решительно антианглийской.

Это привело к тому, что почти сразу же после подписания Тильзитского мира началась морская война между Россией и Англией, длившаяся до лета 1812 года и закончившаяся лишь с вторжением Наполеона в Россию.

Вслед за тем началась война с Австрией и почти одновременно — со Швецией.

Кроме того, не прекращались войны с Турцией и Персией. Численность русской армии достигала четырехсот тысяч солдат и офицеров, но буквально каждый человек был на счету.

Не мог оставаться не у дел и генерал Барклай: вылечившись, он отправился в Финляндию, возглавив 6-ю пехотную дивизию. И вновь судьба свела Барклая с его будущими сподвижниками — Раевским, с тремя братьями Тучковыми, Багратионом, Кульневым.

4 марта 1809 года дивизия Барклая-де-Толли начала переход через Ботнический залив. Вместе с его солдатами шел через залив и один начинающий петербургский журналист, оставивший такое описание перехода: «Свирепствовавшая в сию зиму жестокая буря, сокрушив толстый лед на Кваркерне, разметала оный на всем его пространстве огромными обломками... казалось, будто волны морские замерзли мгновенно, в минуту сильной зыби. Надлежало то карабкаться по льдинам, то сворачивать их на сторону, то выбиваться из глубокого снега, покрытого облоем (наледью. — *Ред.*).

Пот лился с чела воинов от излишнего напряжения сил, и в то же время пронзительный и жгучий северный ветер стеснял дыхание, мертвил тело и душу, возбуждая опасение, чтобы, превратившись в ураган, не взорвал ледяной твердыни».

Дивизия прошла за двое суток около ста верст. Не желая обнаружить себя, солдаты спали на снегу, не разжигая костров. Лишь в последнюю ночь похода, когда стужа стала совершенно невыносимой, они разобрали на дрова два вмерзших в лед купеческих корабля и, немного обогревшись, двинулись дальше. 12 марта шведский город Умео без боя был взят Барклаем, что привело к быстрой капитуляции Швеции. Сам переход современники справедливо уподобляли переходу Суворова через Альпы.

За успехи в русско-шведской войне 20 марта 1809 года Барклаю было присвоено звание генерала от инфантерии. Одновременно он был назначен главнокомандующим в Финляндии и генерал-губернатором этой новой территории России.

В походе 1809 года проявилась еще одна черта Барклая — гуманное отношение к противнику, особенно к мирным жителям. Когда войска Барклая, перейдя Ботнический залив, вступили на землю Швеции, он издал приказ, в котором были такие слова: «Не запятнать приобретенной славы и оставить в чужом крае память, которую бы чтило потомство». Это были не просто красивые слова. Это был военный приказ, а неукоснительного выполнения своих распоряжений Барклай требовал всегда, ибо его отличала не только гуманность, но и жесткая требовательность, нетерпимость к беспорядку и распущенности. И в отношении к мирным жителям он тоже следовал заветам Суворова: «Обывателя не обижай! Он нас поит и кормит. Солдат — не разбойник».

Барклай-де-Толли — первый русский генерал-губернатор Финляндии и первый председатель Правительствующего совета — заложил добрые традиции уважительного отношения к местным устоям и обычаям, оставив по себе хорошую память и в Финляндии. Однако жизнь требовала от Барклая другого — ему надлежало вступить на новое, неизмеримо более важное и трудное поприще — возглавить военное министерство. Этого требовала обстановка, создававшаяся и в России, и вокруг нее, требовало время, неумолимо приближавшее великие испытания Отечественной войны 1812 года.

Приближалась большая война, и дело обороны страны следовало передать в руки умного и знающего профессионала, а не оставлять в ведении жесткого администратора и педанта Аракчеева. В январе 1810 года император Александр I уволил его с поста военного министра и назначил Барклая. С первого дня своей деятельности новый министр начал энергичную и всестороннюю подготовку армии к большой войне. Прежде всего следовало увеличить численность армии. Барклай исходил из того, что в нашествии на Россию может принять участие около трехсот тысяч солдат противника. Здесь он, конечно, весьма недооценил возможности французов, выставивших чуть ли не в два раза большую армию, которой должно было

противопоставить примерно столько же солдат и офицеров, между тем как непрерывные войны привели к резкому сокращению численности русских войск. Следовало также произвести серьезные перемены в структуре армии, противопоставив передовой военной системе Наполеона, основой которой были пехотные и кавалерийские корпуса, не менее надежную, прочную и подвижную организацию войск. Барклай изменил структуру армии, сведя ее всю в дивизии и корпуса, причем каждый корпус состоял из войск трех родов — пехоты, кавалерии и артиллерии и, таким образом, мог решать любую тактическую задачу. Особое внимание он уделил резервам, создав накануне войны резерв из 18 пехотных и кавалерийских дивизий и 4 артиллерийских бригад.

Так как вторжение должно было произойти с запада, соответствующим образом готовился и будущий театр военных действий.

Однако, как только Барклай начал изучать общую дислокацию войск на юге, севере и западе страны, он тут же пришел к нерадостному выводу, что именно на западе, где Россия «должна будет для существования своего вести кровопролитнейшую войну, менее всего приуготовлена к надежной обороне». Нужно было такую оборону создавать. Создавать на тех направлениях, которые в предстоящей войне могли оказаться наиболее вероятными. Такими направлениями Барклаю представлялись Петербургское и Московское. Кроме того, он не исключал и движения противника на Киев.

Исходя из этого, было решено развернуть на западе три армейские группы — Северную, Центральную и Южную.

Самой сильной должна была стать Северная группа, расположенная между Вильно и Гродно, где вероятнее всего могло произойти вторжение главных французских сил. Второй по численности планировалась Центральная группа, сосредоточенная в районе Белостока и Бреста. И наконец, возле Луцка решено было разместить Южную группу. Все эти группы должны были в случае вторжения помогать друг другу и на первых порах оказывать решительное сопротивление армии вторжения.

В случае продвижения противника в глубь русской территории войскам предстоял отход на заранее подготовленные позиции — к берегам Западной Двины и Днепра. Там должны были быть построены новые крепости и укрепленные районы, а также модернизированы

старые фортификации. У Бобруйска, Борисова и Динабурга были построены предмостные укрепления, усовершенствованы старые крепостные сооружения Киева и Риги, построен новый большой военный лагерь у Дриссы. В этих же крепостях сосредоточивались и главные запасы продовольствия и фуража, главным образом мука, крупа и овес. Центральное место в системе занимал Дрисский военный лагерь. Туда должна была отойти Северная армия, а Центральная и Южная (впоследствии они назывались соответственно 1, 2 и 3-й армиями) должны были действовать во фланг наступающей армии Наполеона.

Последняя идея принадлежала Барклаю, как и идея организации более далеких оборонительных центров, расположенных в глубине России. Эти центры он называл «главными базами» и к их числу относил Псков, Кременчуг, Смоленск и Москву. Кроме того, серьезное внимание было уделено вопросам снабжения армии. Склады с продовольствием и фуражом располагались по берегам Днепра, Двины и Березины. В них находились запасы, достаточные для удовлетворения 250-тысячной армии в течение полугода.

Первоначальный вариант Барклай разработал менее чем за два месяца, что еще раз свидетельствует о том, что основные идеи плана отпора сильному врагу были продуманы военным министром заранее.

2 марта 1810 года план был представлен Александру, и, судя по тому, что ранней весной начались работы по строительству фортификационных сооружений в Белоруссии и на Украине, план этот был императором принят.

Пока проводились работы по комплектованию резервных дивизий, уточнению позиций и строительству оборонительных сооружений, сам Барклай упорно работал над важным военно-законодательным документом, в котором излагались новые принципы управления войсками во время войны и устанавливалась более совершенная структура управления армией.

Документ этот как бы подводил итог всей проделанной военным министерством работы и назывался «Учреждение для управления большой действующей армии».

В «Учреждении» главнокомандующий получал всю полноту власти, освободившись от мелочной опеки бюрократических центральных военных органов. Большое значение придавалось Главному штабу армии и впервые вводилась не существовавшая дотоле в русской армии

должность начальника штаба, облеченного большими и важными полномочиями.

«Желал бы я, — писал Барклай, — чтобы государь не пожалел издержек на приведение генерального штаба в более цветущее состояние и для пополнения его более способными людьми. Можно найти их в нашей армии в достаточном числе, стоит только дать себе труд поискать их: истинное достоинство не навязывается...»

«Учреждение» доказало свою жизнеспособность, действуя до 1846 года, да и после этого продолжало оставаться основой для других документов, как, впрочем, и иные нововведения Барклая: созданный им военно-ученый комитет, который почти без изменений функционировал до начала XX века, постоянные дипломатические миссии за границей — так называемые «военные агентства», представлявшие за рубежом интересы русской армии. Последнее, хотя и в иной форме и при ином содержании, действует и поныне в виде военных миссий и атташатов.

Существенным вкладом в дело повышения боеспособности войск Барклай считал изменение морального и нравственного климата в армии. Он придерживался той точки зрения, что боевой дух армии тем выше, чем крепче узы товарищества и взаимоуважения между солдатами и офицерами. Вступив в должность Военного министра, Барклай обратил особое внимание на положение в армии солдат. Новый министр понимал, что в крепостническом государстве и армия строится на крепостнических порядках. Шпицрутены и палки, рукоприкладство, издевательства, бессмысленная муштра — таков был «педагогический» арсенал офицеров-крепостников. «Армию, — писал Барклай в одном из своих циркуляров 1810 года, — отличает неумеренность в наказании, изнурение в ученьях сил человеческих и непопечение о сытной пище». Он констатировал, что в строю господствует «закоренелое в войсках наших обыкновение, всю науку, дисциплину и воинский порядок основывать на телесном и жестоком наказании; были даже примеры, — признавался министр, — что офицеры обращались с солдатами бесчеловечно, не полагая в них ни чувства, ни рассудка. Хотя с давнего времени мало-помалу такое зверское обхождение переменилось, но и поныне еще часто за малые ошибки весьма строго наказывают».

Барклай считал совершенно недопустимым унижение человеческого достоинства солдат. Он писал: «Никакие

случаи не дают права посягнуть на честь подчиненного обидным и неприличным взысканием. Таковой поступок унижал бы звание начальника и служил бы верным доказательством его неспособности управлять людьми, знающими свое достоинство».

Такого рода установки не были теоретическими рассуждениями или благими пожеланиями — Барклай стремился провести их в жизнь, преследуя и чисто практические цели: в грядущей войне ему предстояло сразиться с армией, воспитанной на республиканских традициях, где каждый солдат «носил в своем ранце маршальский жезл», где все офицеры были вчерашними солдатами, а лучшие из солдат — завтрашними офицерами и генералами.

Однако далеко не все, к чему Барклай призывал в своих циркулярах, приказах и инструкциях, претворялось в жизнь: реальная действительность вносила серьезные поправки в деятельность полководца.

В первой половине 1812 года были осуществлены и важные внешнеполитические акции, облегчавшие России предстоящую борьбу с Наполеоном, — 24 марта был подписан союзный договор со Швецией, а 16 мая — мирный договор с Турцией. Этими договорами был обеспечен нейтралитет двух недружественных государств, расположенных к тому же на северном и южном флангах России. И символичным было то, что мирный договор со Швецией стал возможен благодаря победам, одержанным в войне с нею армией Барклая, а мирный договор с Турцией — благодаря победам, одержанным армией Кутузова.

Ранней весной 1812 года «великая армия» Наполеона начала медленно продвигаться к русским границам. В движение пришли огромные массы войск. Вместе с союзными войсками в марше на восток приняло участие около 640 тысяч человек. Если в марте главные силы «великой армии» стояли в восточной Германии — на Эльбе и Одере, то в мае они переместились на Вислу. Здесь Наполеон принял окончательный план предстоящей кампании. Он решил разгромить русские армии в пограничном сражении, занять Вильно и продиктовать императору Александру, оставшемуся без армии, свои условия.

Наполеон расположил войска вторжения вдоль западной границы России тремя группами. Главные силы, ко-

торыми командовал лично он, насчитывали 218 тысяч человек при 527 орудиях и были сосредоточены в Восточной Пруссии. Этой группировке на восточном берегу Немана и в глубине Литвы противостояла 1-я Западная армия, состоявшая из 127 тысяч человек при 550 орудиях. Ею командовал Барклай. Центральная группа под командованием пасынка Наполеона Эжена Богарнэ была сосредоточена у Полоцка и имела в своем составе 82 тысячи человек и 218 орудий. Против нее была развернута 2-я Западная армия, насчитывавшая около 50 тысяч солдат и офицеров при 170 орудиях. Ею командовал П. И. Багратион. Южная группа, развернутая в районе Варшавы, находилась под командованием брата Наполеона Жерома Бонапарта и состоялся из 78 тысяч человек при 159 орудиях. Против нее в районе Луцка была развернута 3-я армия, находившаяся под командованием А. П. Тормасова. В ее рядах было около 45 тысяч солдат и офицеров при 168 орудиях.

Кроме того, на Северном (левом) фланге «великой армии» находился смешанный прусско-французский корпус (около 33 тысяч человек), перед которым была поставлена задача овладения Ригой. Им командовал маршал Франции Жак Этьен Макдональд. Макдональд, как и противостоявший ему на этом же участке фронта Барклай, по происхождению был шотландцем, потомком эмигрантов — сторонников Стюартов. Он служил во французской армии с 1784 года. Будучи на четыре года младше своего соплеменника, Макдональд в начале служебного пути сделал бóльшие, чем Барклай, успехи: он стал генералом в 28 лет. Среди сподвижников Наполеона ему раньше других пришлось столкнуться с русскими — в 1799 году корпус Макдональда был разбит под Треббией А. В. Суворовым. И, наконец, южный (правый) фланг «великой армии» прикрывал 34-тысячный австрийский корпус под командованием Карла Шварценберга.

Таким образом, силы вторжения насчитывали 445 тысяч человек при 900 орудиях. Им противостояло 222 тысячи русских солдат и офицеров при 888 орудиях. Далеко к югу от армий Барклая, Багратиона и Тормасова стояла еще одна русская армия — Дунайская, из пятидесяти тысяч человек, находившаяся под командованием адмирала П. В. Чичагова.

Армии вторжения во втором эшелоне имели резервы, насчитывавшие около 200 тысяч человек. Что же касается русской армии, то ее общая численность к началу

войны тоже была достаточно велика — 591 тысяча человек. Однако в отличие от Наполеона, подтянувшего к границам России в общей сложности около 640 тысяч войск, русские армии, кроме западных рубежей с Пруссией, Польшей и Австрией, стояли и на турецкой границе в Молдавии и на Кавказе, в Крыму, в Финляндии, в Закавказье на границах с Ираном и в многочисленных гарнизонах страны, разбросанных до Камчатки.

Такой была картина накануне вторжения «великой армии» в Россию.

Однако следует иметь в виду, что каждый из противников точно знал лишь ту ее часть, которая относилась до него самого. Барклай, конечно же, не знал точно, какие силы развернуты Наполеоном, а император французов равным образом не имел полных сведений о своем противнике.

И вследствие этого предстоящая кампания таила множество неожиданностей и для французов, и для русских.

В марте 1812 года Барклай выехал из Петербурга в Вильно. 26 марта он остановился в Риге у своего двоюродного брата, «первенствующего бургомистра», Августа Вильгельма Барклая-де-Толли, но почти не встречался с ним, день и ночь осматривая укрепления города и инспектируя стоящие в Риге войска, а 28 марта уже уехал в Вильно и, прибыв туда через три дня, вступил в права главнокомандующего 1-й армией, оставив за собою и пост военного министра.

В Петербурге делами военного министерства остался управлять помощник Барклая — князь Алексей Иванович Горчаков — племянник А. В. Суворова, участник Швейцарского похода.

1 апреля Барклай писал из Вильно царю: «Необходимо нужно начальникам армий и корпусов иметь начерченные планы их операций, которых они по сие время не имеют». Царь в ответ никаких «начерченных планов» не присылал, просто из-за того, что окончательных вариантов их у него не было. А меж тем война уже стояла на пороге. Императору нужно было на что-то решаться. 14 апреля он был уже в Вильно. Смотры войскам следовали один за другим и прерывались только на время совещаний в главной квартире. В центре совещаний был план прусского военного теоретика на русской службе — генерала Пфуля. Все были против него и особенно Барклай, но царь пока что хранил молчание. Двусмыс-

ленность положения, создавшегося уже в это время, отмечает в своих записках и государственный секретарь А. С. Шишков: он сообщает, что «государь говорит о Барклае как бы о главном распорядителе войск, а Барклай отзывается, что он только исполнитель его повелений. Могло ли такое разноречие между ними служить к благоустройству и пользе?»

Императору очень хотелось, возглавив всю армию, стяжать себе славу победителя Наполеона, но опасения, что победа окажется не на его стороне, останавливали Александра от этого шага. Он так и не решился стать главнокомандующим, но и, что хуже всего, не назначил никого вместо себя. Когда Барклай предложил Александру назначить главнокомандующего, царь ушел от прямого ответа, сказав, что как военный министр Барклай имеет право отдавать любые распоряжения от имени императора.

Таким образом, в самый канун войны русская армия осталась без главнокомандующего.

В ночь на 12 июня «великая армия» начала переправу через Неман в районе Ковно. Известие об этом пришло в Вильно через несколько часов. Царь и Барклай были на балу в имении «Закрете», в загородном виленском доме генерала Беннигсена. Беннигсен был без места, нуждался в деньгах, испытывая к тому же более чем обоснованные опасения, что в Вильно с часу на час могут появиться французы. И, воспользовавшись тем, что Александру I имение понравилось, он тут же на балу ловко продал «Закрете» своему августейшему гостю за двенадцать тысяч рублей золотом. Эта сделка не вошла бы в историю, если бы сразу после того, как была совершена, к царю не подошел адъютант Барклая А. А. Закревский и не сообщил, что французы вступили на восточный берег Немана.

Царь молча выслушал Закревского и попросил пока что ничего никому не говорить. Бал продолжался.

Ночью Барклай получил приказ отвести 1-ю армию к Свенцянам на 70 верст к северо-востоку от Вильно. 2-й армии Багратиона было приказано идти к Вилейке. Сам император, возвратившись в Вильно, почти до утра писал письма и отдавал срочные распоряжения. Он написал рескрипт председателю Государственного совета и председателю Комитета министров фельдмаршалу Николаю Ивановичу Салтыкову и приказ по всем русским армиям.

Рескрипт Салтыкову заканчивался словами: «Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моем». Приказ по армиям кончался фразой: «На начинающего — Бог».

14 июня Александр выехал из Вильно и направился в Свенцяны. Барклай рассылал приказы командирам корпусов и дивизий, более всего заботясь о том, чтобы ни одна часть не была окружена и отрезана неприятелем. Узнав о движении крупных сил Наполеона к Вильно, он неспешно выехал в карете из города и направился в Свенцяны в главную квартиру.

Через пять месяцев после этих событий Александр в письме к Барклаю от 24 ноября 1812 года так оценит все происходившее: «Несколько дней после моего приезда в Вильну я отдал вам приказание отправить назад все лишние тяжести, в особенности тех полков, которые были расквартированы в Литве, а между тем их отослали назад только после Неменчика, Свенцян, Вилькомира и Шавель, и нам пришлось совершать отступление с этим ужасающим обозом. Сколько раз я напоминал вам о постройке необходимых мостов; множество инженеров путей сообщений было прикомандировано к армии, а между тем большинство мостов оказалось в негодном состоянии. Решив отходить назад, необходимо было организовать госпитали соответственным образом; между тем, прибыв в Вильну, я нашел там госпиталь с несколькими тысячами больных, эвакуации которых я не переставал требовать в течение нескольких дней. Вот, генерал, говоря откровенно, те ошибки, в которых я могу вас упрекнуть. Они сводятся к тому, что вы не были достаточно уверены в том, что отдать приказание и добиться его выполнения — это вещи совершенно различные, а чтобы пособить этому, есть только одно средство: деятельный надзор и проверка, которую беспрестанно производили бы люди, вполне вам известные».

Барклай ни на минуту не забывал об армии Багратиона. За несколько часов до переправы французов у Ковно он уведомил Багратиона, что ожидает форсирование Немана неприятелем.

Он писал также, что казачьему корпусу генерала Платова приказано нанести удар французам во фланг и тыл в районе Гродно. Он приказывал Багратиону обеспечить силами его армии тыл корпуса Платова. Он сообщал так-

же, что 1-я армия будет отступать к Свенцянам, а 2-й армии следует отходить на Борисов.

19 июня 1-я армия подошла к Свенцянам. Она отступала в полном порядке, умело ведя арьергардные бои, задерживая противника на переправах, нанося ему внезапные удары. Арьергард 1-го корпуса — семь полков под командованием генерал-майора Якова Петровича Кульнева — в первые же дни взял около тысячи пленных, а в бою 16 июня у Вилькомира Кульнев весь день сдерживал натиск целого корпуса маршала Удино. Участник марш-маневра Барклая, один из офицеров его армии — будущий декабрист Федор Николаевич Глинка писал в своем дневнике, что главнокомандующий «не дал отрезать у себя ни малейшего отряда, не потерял почти ни одного орудия, ни одного обоза, этот благоразумный вождь, конечно, увенчает предначатия свои желанным успехом».

Дело осложнялось тем, что в распоряжения Барклая постоянно вмешивался царь. Он отдавал множество приказов через голову главнокомандующего, и эти приказы противоречили указаниям Михаила Богдановича. Александр требовал ускорить движение к дрисскому лагерю, не посвящая никого в смысл этого маневра.

25 июня Барклай написал царю: «Я не понимаю, что мы будем делать с целой нашей армией в дрисском укрепленном лагере. После столь торопливого отступления мы потеряли неприятеля совершенно из виду, и будучи заключены в этом лагере, будем принуждены ожидать его со всех сторон». Царь не ответил и на это письмо, дав тем самым понять, что приказ идти к Дриссе обсуждению не подлежит. 26 июня 1-я армия прибыла в Дриссу, а через три дня здесь состоялся военный совет, обсуждавший вопрос о дальнейших действиях. В присутствии царя Барклай высказался за то, чтобы до соединения с армией Багратиона никаких активных действий не предпринимать.

Поскольку пробиться к лагерю Багратиону не удалось, решено было уходить дальше, так как одной из главных тактических задач первого месяца войны оставалось соединение двух армий. И тем не менее кратковременное пребывание в Дриссе было ознаменовано двумя важными событиями. Во-первых, в Дриссе армию ожидало первое пополнение — 20 эскадронов кавалерии и 19 батальонов пехоты; и во-вторых, здесь было положено начало новому, весьма важному и полезному делу — при штабе

1-й армии начала работать походная типография. Ее создатели — патриотически настроенные профессора Дерптского университета А. С. Кайсаров и Ф. Э. Рамбах — еще накануне войны предложили Барклаю наладить в его армии публикацию «Ведомостей» на русском и немецком языках, а позже и на французском, чтобы вести антинаполеоновскую пропаганду в войсках противника.

Здесь печатались приказы и обращения Барклая к войскам и населению, воззвания к солдатам противника, информационные бюллетени и листовки.

При походной типографии возник кружок военных литераторов, участники которого — А. И. Михайловский-Данилевский, братья М. А. и П. А. Габбе, братья А. А. и М. А. Щербинины, Д. И. Ахшарумов и другие — стали первыми историками Отечественной войны 1812 года.

В их кругу часто велись разговоры о «войне Отечественной, о славе имени и оружия Русского, о духе народа, о мужестве войск, о том, долго ль существует слава дел, не запечатленная на скрижалях истории».

2 июля армия оставила Дриссу и двинулась на восток. Анализируя положение, создавшееся в начале июля на театре военных действий, царь писал председателю Комитета министров фельдмаршалу Н. И. Салтыкову: «Решиться на генеральное сражение столь же щекотливо, как и от онаго отказаться. В том и другом случае можно легко открыть дорогу на Петербург, но, потеряв сражение, трудно будет исправиться для продолжения кампании... Единственно продолжением войны можно уповать с помощью Божиею перебороть его».

Здесь Александр оставил армию и уехал в Москву.

Царь, покидая армию и препоручая ее Барклаю, исходил, в частности, и из того, что если Наполеон побьет Барклая, то это будет воспринято гораздо спокойнее, чем если то же самое произойдет с армией, когда во главе ее будет он сам. Прощаясь с Барклаем, царь сказал: «Поручаю вам мою армию. Не забывайте, что у меня нет другой, и пусть эта мысль никогда вас не покидает». Барклай всегда помнил напутствие царя. По сути дела, оно стало основой его тактики на ближайшее время — спасая армию, спасти тем самым и Россию.

Уезжая из Полоцка, царь не облек Барклая полномочиями главнокомандующего, которому подчинялись бы и другие армии. Двусмысленность положения Барклая уси-

ливалась еще и тем, что уже на третий день войны, когда Александр приехал в Свенцяны, он попросил находившегося там и состоявшего в его свите Аракчеева «вновь вступить в управление военными делами». Как и всегда, нечеткая и маловразумительная формулировка — «вступить в управление военными делами» при действующем и не смещенном с поста военном министре — породила дополнительные трения между Барклаем и Аракчеевым, ревновавшим Михаила Богдановича к царю и не любившим его. Аракчеев считал, что с 15 июня 1812 года именно он руководил всеми военными делами. «С оного числа, — писал он, — вся французская война шла через мои руки: все тайные повеления, донесения и собственноручные повеления государя императора».

На эти отношения накладывалось еще и то, что и Барклай, и Багратион, и Тормасов были равны в чине, с той только разницей, что чин генерала от инфантерии Тормасов получил на восемь лет раньше главнокомандующих 1-й и 2-й Западными армиями, что по правилам чинопроизводства признавалось весьма важным в определении старшинства.

Между тем соединение 1-й и 2-й армий становилось все затруднительнее: между ними вклинивались главные силы Наполеона, и русским ничего не оставалось, кроме отступления. 13 июля в тяжелый бой с французами вступил корпус Остермана-Толстого, а на следующие сутки его поддержала дивизия Коновницына. 2-я армия, находившаяся в это время более чем в ста верстах к югу от 1-й, попыталась прорваться на север, чтобы соединиться с нею, но эта героическая попытка не удалась. Барклай, также решивший пробиваться навстречу Багратиону, узнав о неудаче прорыва, изменил планы и приказал отходить дальше.

Выдержав длительный бой с арьергардом 1-й армии, Наполеон остановился Он простоял около недели, дав войскам отдых, подтягивая обозы, подвозя продовольствие и еще более «собирая» его в окрестностях. Штаб Наполеона разместился в Витебске, и здесь произошло первое столкновение императора с маршалами, не желавшими наступать дальше. Наполеон был непреклонен. «Заключение мира ожидает меня у московских ворот», — отвечал он маршалам.

Пока Наполеон стоял в Витебске, Барклай оторвался от него и 20 июля подошел к Смоленску. Этот маневр вызвал у многих русских сильное недовольство. Они

считали, что армии следовало остановиться перед Витебском и дать врагу генеральное сражение. Особенно сильно негодовал Багратион.

Человек прямой и честный, горячий и бескомпромиссный, воспитанный под знаменами Суворова и с младых ногтей приверженный его наступательной тактике, он не понимал происходящего и не мог мириться с беспрерывным отходом. И хотя до Смоленска 1-я армия отступала чуть больше месяца, этот срок казался Багратиону чудовищно долгим. Уже 1 июля, на девятнадцатый день войны, в письме к царю из Слуцка он настоятельно требовал дать Наполеону генеральное сражение. Отступление Барклая от Витебска две недели спустя привело Багратиона в совершеннейшую ярость. Он написал Барклаю письмо, полное упреков, и утверждал, что его отход от Витебска открыл французам дорогу к Москве. В письмах к Ермолову он пытался таким образом выстроить систему доказательств, чтобы сделать из начальника штаба 1-й армии своего горячего единомышленника.

Однако Ермолов, как грамотный и дальнозоркий стратег, не мог согласиться с командующим 2-й армией. Он понимал правильность стратегического замысла своего командующего и в создавшейся ситуации видел свою задачу в том, чтобы смягчить отношения между Багратионом и Барклаем.

В письме к своему другу А. В. Козодавлеву Ермолов писал впоследствии о Барклае: «Несчастлив он потому, что кампания 1812 года не в пользу его по наружности, ибо он отступает беспрестанно, но последствия его оправдывают. Какое было другое средство против сил всей Европы? Рассуждающие на стороне его; но множество или те, которые заключают по наружности, против него. Сих последних гораздо более, и к нему нет доверия. Я защищаю его не по приверженности к нему, но точно по сущей справедливости».

А «сущая справедливость» была такова, что к Смоленску подошла ровно половина «великой армии»: за тридцать восемь дней войны Наполеон потерял и оставил в тыловых гарнизонах 200 тысяч человек. Честная оппозиция объективно вредила делу, но гораздо хуже и опаснее была оппозиция, центром которой являлась императорская главная квартира. Там собирались ловкие и опытные царедворцы, паркетные шаркуны, мастера сплетен и интриг. Они группировались вокруг брата царя, великого князя Константина Павловича — давнего не-

доброжелателя Михаила Богдановича. Наиболее активными врагами Барклая в главной квартире были генералы Беннигсен, Армфельд и Римский-Корсаков. Вне главной квартиры у Барклая был еще один опасный враг — дежурный генерал при императоре — всесильный Аракчеев.

Таким образом, вокруг руководства 1-й армии создался крайне нездоровый климат. Только решительная победа над захватчиками могла произвести перемену к лучшему. Вместе с тем общая обстановка, казалось бы, к тому располагала. Когда 1-я армия шла к Смоленску, к ней присоединился кавалерийский корпус Платова, прорвавшийся через боевые порядки французов. Вскоре стало известно, что от Быхова через Мстиславль форсированным маршем идет к Смоленску и вся 2-я армия. Долгожданное соединение 1-й и 2-й армий свершилось!

На второй день после вступления 1-й Западной армии в Смоленск туда же прибыл Багратион, сопровождаемый своими лучшими генералами — Раевским, Васильчиковым, Воронцовым, Паскевичем и Бороздиным. Радость встречи отодвинула все распри и неурядицы. Барклай встретил Багратиона у дома смоленского генерал-губернатора, где он остановился, в полной парадной форме, с непокрытой головой и дружески обнял Петра Ивановича. 22 июля он писал царю: «Отношения мои с князем Багратионом наилучшие. В князе я нашел характер прямой и полный благороднейших чувств патриотизма. Я объяснился с ним относительно положения дел, и мы пришли к полному соглашению в отношении мер, которые надлежит принять. Смею даже заранее сказать, что доброе единогласие установилось, и мы будем действовать вполне согласно». К сожалению, прогноз Барклая не оправдался, «доброе единогласие» продолжалось менее недели, хотя в Смоленске оба искренне в это верили.

Соединение двух армий было воспринято почти всеми солдатами и офицерами не только как большая удача, но и как наконец-то достигнутое общими усилиями непременное — и вполне достаточное — условие для долгожданного победоносного генерального сражения. Барклай и Багратион, объезжая боевые порядки войск, на виду у солдат и офицеров обменивались крепкими рукопожатиями и дружескими улыбками. Это придавало силы и вселяло во всех уверенность в победе. Барклай отдал приказ о подготовке к сражению, а 25 июля был

созван военный совет, в котором, кроме Барклая и Багратиона, участвовал брат царя — великий князь Константин Павлович, начальники штабов и генерал-квартирмейстеры обеих армий. К этому моменту войска Наполеона уже со всех сторон стягивались к Смоленску, поэтому, опасаясь удара с тыла из района Поречья, Барклай отнесся к немедленному наступлению не столь безоговорочно, как за два дня перед тем. Он не отвергал самой идеи наступления, но сопровождал свое отношение к встречному бою рядом оговорок. Закрывая военный совет, он произнес следующее: «Император, вверив мне в Полоцке армию, сказал, что у него нет другой... Я должен действовать с величайшей осторожностью и всеми способами стараться избежать ее поражения. Поэтому вам будет понятно, что я не могу с своей стороны не колебаться начать наступательные действия».

На следующий день обе армии все же выступили навстречу французам. После ряда маневров 1-я армия встала на Пореченской дороге, 2-я армия — южнее ее, на дороге на Рудню. Между армиями расстояние равнялось суточному переходу. Три дня обе армии простояли в почти полном бездействии. Барклаю сообщили, что за это время главные силы врага сосредоточились ближе к району дислокации 2-й армии. Поэтому он счел необходимым отойти на Рудненскую дорогу. Багратион же, не дождавшись 1-й армии, двинулся назад к Смоленску. Однако Наполеон решил опередить русских. 2 августа 185 тысяч французских войск перешли Днепр и двинулись на Смоленск. На их пути у села Красного встала дивизия генерала Дмитрия Петровича Неверовского. Имея в своих рядах 7 тысяч необстрелянных бойцов-новобранцев, дивизия за один только день отбила сорок атак французской кавалерии и не дала французам с ходу захватить Смоленск. К вечеру 4 августа 1-я и 2-я армии подошли к Смоленску. К этому времени корпус Раевского решительно отбил атаки наполеоновского авангарда.

Под Смоленском 180-тысячной армии Наполеона противостояло 120 тысяч русских. Барклай мучительно размышлял, можно ли надеяться на успех в сражении при таком соотношении сил. И еще раз взвесив «за» и «против», на генеральное сражение не решился. Он приказал армии Багратиона оставить Смоленск, а сам остался прикрывать его отход.

На высоком правом берегу Днепра Барклай поставил артиллерию и там же, напротив предместья Раченки, раз-

местил свой командный пункт. Ружейная перестрелка началась в восемь утра, а еще через два часа французы пошли в атаку, однако до середины дня ворваться в город не смогли. Тогда Наполеон бросил на штурм Смоленска сразу три корпуса — Нея, Даву и Понятовского.

В Смоленске на пути маршалов и Понятовского встали полки Дмитрия Сергеевича Дохтурова, Петра Петровича Коновницына и принца Евгения Вюртембергского. Упорный бой длился до самой ночи. Французы не смогли добиться даже малейшего успеха. Русские стояли неколебимо. Потери французов приближались к 20 тысячам, русские потеряли вдвое меньше. Перед Барклаем снова возник вопрос: не следует ли перейти в контрнаступление? За это были все генералы 1-й армии, а также Багратион, Беннигсен и великий князь Константин Павлович. Однако, взвесив все обстоятельства, Барклай приказал оставить Смоленск.

Утром 6 августа армия и тысячи смолян оставили город. В письме Барклаю, уже цитировавшемся, царь упрекнул и Барклая, и Багратиона за их действия возле Смоленска и в самом городе. Он писал: «Крупные ошибки, сделанные князем Багратионом, поведшие к тому, что неприятель упредил его у Минска, Борисова и Могилева, заставили вас покинуть берега Двины и отступить к Смоленску. Судьба вам благоприятствовала, так как противно всякому вероятию произошло соединение двух армий.

Тогда настало время прекратить отступление. Но недостаток сведений, которые вы, генерал, имели о неприятеле и его движениях, сильно давал себя знать в течение всей кампании и заставил вас сделать ошибку — пойти на Поречье с тем, чтобы атаковать его левый фланг, тогда как он сосредоточил все свои силы на своем правом фланге у Ляды, где он перешел Днепр. Вы повторили эту ошибку, предупредив неприятеля в Смоленске: так как обе армии там соединились и так как в ваши планы входило дать неприятелю рано или поздно генеральное сражение, то не все ли было равно, дать его у Смоленска или у Царева-Займища? Силы наши были бы нетронуты, так как не было бы тех потерь, которые мы понесли в дни 6-го, 7-го и следующие до Царева-Займища дни. Что же касается до опасности быть обойденным с флангов, то таковая была бы повсюду одинакова, вы бы ее не избежали и у Царева-Займища.

В Смоленске рвение солдат было бы чрезвычайное,

так как это был бы первый истинно русский город, который им бы пришлось отстаивать от неприятеля».

Для отхода русских большое значение имела деревня Лубино, через которую Барклай должен был выйти на московскую дорогу. Армия шла к Лубину через Крахоткино и Горбуново. Этот путь был длиннее, чем тот, по которому шли французы. Начальник авангарда Павел Алексеевич Тучков прикрыл своим отрядом лубинский перекресток. После ожесточенного боя русские отошли за реку Строгань. Тучков лично доложил Барклаю, что больше не может противостоять неприятелю. Барклай приказал Тучкову вернуться. С резкостью, которая была свойственна ему в самые критические минуты, он сказал генералу: «Если вы еще придете сюда, то я велю вас расстрелять».

Отступление из-под Смоленска окончательно испортило взаимоотношения Барклая и Багратиона: с этого момента и до Бородинского сражения князь Петр Иванович считал тактику Барклая гибельной для России, а его самого — главным виновником всего.

В письмах к царю, к Аракчееву, ко всем сановникам и военачальникам Багратион требовал поставить над армиями другого полководца, который пользовался бы всеобщим доверием и наконец прекратил бы отступление.

Глас Багратиона был гласом большинства солдат, офицеров и генералов всех русских армий. Царь не мог к ним не прислушаться.

5 августа Александр поручил решить вопрос о главнокомандующем специально созданному для этого чрезвычайному комитету. В него вошли шесть самых близких людей к царю: фельдмаршал Н. И. Салтыков — председатель Государственного совета и председатель Комитета министров, председатель военного департамента Государственного совета А. А. Аракчеев, министр полиции генерал-лейтенант С. К. Вязьмитинов, генерал-адъютант А. Д. Балашов, князь П. В. Лопухин — один из главных деятелей Госсовета — и граф В. П. Кочубей — дипломат и советник царя. Состав комитета определялся не столько должностями его членов, сколько личной близостью к Александру. От старика Салтыкова, в прошлом главного воспитателя Александра и его брата Константина, до сравнительно молодых — Лопухина и Кочубея — все члены комитета были друзьями царя. Они обсудили пять кандидатур — Беннигсена, Багратиона, Тормасова и 67-летнего графа Палена — организатора убийства им-

ператора Павла, вот уже одиннадцать лет находившегося в отставке. Пятым назвали Кутузова, и его кандидатура была тотчас же признана единственно достойной столь высокого назначения. Чрезвычайный комитет немедленно представил свою рекомендацию императору.

Однако Александр принял окончательное решение лишь через три дня — 8 августа. Свое решение царь связывал с оставлением Смоленска. Все в том же письме от 24 ноября 1812 года Александр писал Барклаю: «Потеря Смоленска произвела огромное впечатление во всей империи. К общему неодобрению нашего плана кампании присоединились еще и упреки, говорили: «Опыт покажет, насколько гибелен этот план, империя находится в неминуемой опасности», и так как Ваши ошибки, о которых я выше упомянул, были у всех на устах, то меня обвинили в том, что благо Отечества я принес в жертву своему самолюбию, желая поддержать сделанный в Вашем лице выбор.

Москва и Петербург единодушно указывали на князя Кутузова как на единственного человека, могущего, по их словам, спасти Отечество. В подтверждение этих доводов говорили, что по старшинству вы были сравнительно моложе Тормасова, Багратиона и Чичагова; что это обстоятельство вредило успеху военных действий и что это неудобство высокой важности будет вполне устранено с назначением князя Кутузова. Обстоятельства были слишком критические. Впервые столица государства находилась в опасном положении, и мне не оставалось ничего другого, как уступить всеобщему мнению, заставив все-таки предварительно обсудить вопрос за и против в совете, составленном из важнейших сановников империи. Уступив их мнению, я должен был заглушить мое личное чувство».

Александр был неискренен и просто-напросто лгал своему генералу: Смоленск был оставлен 6 августа, а чрезвычайный комитет созвали за день раньше — 5-го, когда в Смоленске еще шли бои. Однако Александр, находясь в Петербурге, не знал еще и об этом. 5 августа ему было известно, что 1-я и 2-я армии ждут Наполеона возле Смоленска.

Тем не менее решение было принято, и 8 августа состоялось назначение М. И. Кутузова главнокомандующим.

К Тормасову, Багратиону, Барклаю и Чичагову тотчас же были направлены рескрипты одинакового содержания: «Разные важные неудобства, происшедшие после соединения двух армий, возлагают на меня необходимую обязанность назначить одного над всеми оными главного начальника. Я избрал для сего генерала от инфантерии князя Кутузова, которому и подчиняю все четыре армии. Вследствие чего предписываю Вам со вверенною Вам армиею состоять в точной его команде. Я уверен, что любовь Ваша к Отечеству и усердие к службе откроют Вам и при сем случае путь к новым заслугам, которые мне весьма приятно будет отличать подлежащими наградами».

Получив назначение, Кутузов написал письмо Барклаю и от себя лично. В этом письме он уведомлял Михаила Богдановича о своем скором приезде в армию и выражал надежду на успех их совместной службы. Барклай получил письмо 15 августа и ответил Кутузову следующим образом: «В такой жестокой и необыкновенной войне, от которой зависит сама участь нашего Отечества, все должно содействовать одной только цели и все должно получить направление свое от одного источника соединенных сил. Ныне под руководством Вашей Светлости будем мы стремиться с соединенным усердием к достижению общей цели, — и да будет спасено Отечество!»

11 августа, в воскресенье, Кутузов выехал из Петербурга к армии. Толпы народа стояли на пути его следования, провожая полководца цветами и сердечными пожеланиями успеха.

На первой станции — в Ижоре — Кутузов встретил курьера из армии и распечатал письмо. В нем сообщалось о взятии французами Смоленска.

«Ключ от Москвы взят!» — воскликнул Кутузов.

17 августа в третьем часу дня он прибыл в деревню Царево-Займище, куда к этому же времени подошла и почти вся 1-я армия.

Барклай сдал командование внешне спокойно. Однако самолюбие его, конечно же, было уязвлено. Впоследствии, рассказывая о передаче Кутузову всех прерогатив, которых он лишился в связи с его приездом в армию, Барклай писал царю: «Избегая решительного сражения, я увлекал неприятеля за собой и удалял его от его источников, приближаясь к своим; я ослабил его в частных делах, в которых я всегда имел перевес. Когда я почти до конца довел этот план и был готов дать решительное сражение, князь Кутузов принял командование армией».

Кутузов застал войска готовящимися к сражению — вовсю шло строительство укреплений, подходили резервы, полки занимали боевые позиции. Главнокомандующий осмотрел позиции, объехал войска, повсюду встречаемый бурным ликованием, и... отдал приказ отступать. Он не хотел рисковать и не мог допустить, чтобы его разбили в первый же день приезда к армии. К тому же Кутузов знал, что на подходе резервы Милорадовича, а еще дальше в тылу собирается в поход многотысячное московское ополчение.

Армия отступала, ведя кровопролитные бои с наседавшим на ее арьергарды противником.

23 августа главные силы 1-й и 2-й армий вышли на большое поле, лежащее в 124 километрах от Москвы между Старой и Новой Смоленской дорогами. В центре поля раскинулись село Бородино и деревня Семеновское, на юге — деревня Утица, на севере — деревня Захарьино. На пространстве примерно в 50 квадратных километров наконец-то сошлись две армии, примерно равные друг другу по силам: русских было около 120 тысяч, французов — около 135.

Накануне Бородинского сражения Барклай и генерал А. И. Кутайсов, начальник артиллерии 1-й армии, провели ночь в крестьянской избе. Барклай был грустен, всю ночь писал и задремал только перед рассветом, запечатав написанное в конверт и спрятав его в карман сюртука. Кутайсов, перед тем как уснуть, напротив, шутил, болтал и веселился. Он написал все, что считал нужным. Его последним письмом, его завещанием был приказ по артиллерии 1-й армии: «Подтвердите во всех ротах, чтобы они с позиции не снимались, пока неприятель не сядет верхом на пушки.

Сказать командирам и всем господам офицерам, что, только отважно держась на самом близком картечном выстреле, можно достигнуть того, чтобы неприятелю не уступить ни шагу нашей позиции. Артиллерия должна жертвовать собой. Пусть возьмут вас с орудиями, но последний картечный выстрел выпустите в упор»...

Кутайсов не знал, что завтра его убьют и что он не доживет четырех дней до своего двадцативосьмилетия.

Для Барклая, Кутайсова и всего штаба 1-й армии сражение началось с первым выстрелом. «На восходе солнца,— писал адъютант Барклая В. И. Левенштерн, — поднялся сильный туман. Генерал Барклай в полной парадной форме, при орденах и в шляпе с черным пером стоял со своим штабом на батарее позади деревни Бородино... Со всех сторон раздавалась канонада. Деревня Бородино, расположенная у наших ног, была занята храбрым лейб-гвардии Егерским полком. Туман, заволакивавший в то время равнину, скрывал сильные неприятельские колонны, надвигавшиеся прямо на него.

Генерал Барклай, обозревавший всю местность с холма, угадал, какой опасности подвергался Егерский полк, и послал меня к нему с приказанием, чтобы он немедленно выступил из деревни и разрушил за собой мост... После дела при Бородинском мосте генерал Барклай спустился с холма и объехал всю линию. Ядра и гранаты буквально вырывали землю на всем пространстве. Барклай проехал, таким образом, перед Преображенским и Семеновским полками. Молодцы гренадеры приветствовали его, спокойно стоя, с истинно военной выправкой».

Однако главный удар Наполеон нанес по левому флангу, и Барклай, правильно оценив обстановку, послал на помощь Багратиону четыре пехотных полка и восемь гренадерских батальонов, а вслед за тем еще четыре кавалерийских полка.

Подкрепления прибыли вовремя. Как раз в эти минуты был тяжело ранен Багратион. Когда его, лежащего на земле, перевязывали, он увидел возле себя адъютанта Барклая. «Скажите генералу Барклаю, что участь армии и ее спасение зависят от него. До сих пор все идет хорошо. Да сохранит его бог».

Дорогого стоили эти слова Багратиону. Они означали и полное примирение с Барклаем, и признание его стойкости и содержали более чем дружеское напутствие и пожелание успеха. Последовательный и очень определенный в своих симпатиях и антипатиях, Багратион и на этот раз не покривил душой. Раненого Багратиона унесли, а командование 2-й армией принял командир дивизии П. П. Коновницын.

Сам Барклай, собрав в кулак 2-й и 3-й кавалерийские корпуса и бригаду гвардейских кирасир, бросился в бой против французских кавалерийских корпусов. Возле Барклая убило двух офицеров и девять ранило. Под ним пали четыре лошади, но он не вышел из боя, пока эта грандиозная сеча не закончилась победой. Поздно вечером Кутузов вызвал Барклая и приказал готовиться к продолжению сражения на следующее утро. Барклай отдал все необходимые распоряжения генералам 1-й ар-

мии, но в полночь получил от Кутузова приказ отступать.

В последние дни августа русская армия подошла к Москве. Здесь, в деревне Фили, 1 сентября состоялся военный совет, обсудивший вопрос о целесообразности нового генерального сражения для защиты Москвы или оставления Москвы без боя. Барклай выступил первым. Он сказал: «Главная цель заключается не в защите Москвы, а в защите Отечества, для чего прежде всего необходимо сохранить армию. Позиция невыгодна, и армия подвергается несомненной опасности быть разбитой. В случае поражения все, что не достанется неприятелю на поле сражения, будет уничтожено при отступлении через Москву. Оставлять столицу тяжело, но, если мужество не будет потеряно и операции будут вестись деятельно, овладение Москвой, может быть, приведет неприятеля к гибели».

Беннигсен, Ермолов, Уваров и Дохтуров, выступившие вслед за Барклаем, отвергли идею отступления и требовали нового сражения.

Возражая им, Барклай сказал: «Об этом следовало бы подумать ранее и сообразно с тем разместить войска. Теперь уже поздно. Ночью нельзя передвигать войска по непроходимым рвам, и неприятель может ударить на нас прежде, нежели мы успеем занять новое положение».

Выслушав всех участников военного совета, Кутузов сказал: «Вижу, что мне придется платить за разбитые горшки, но жертвую собой для блага Отечества. Приказываю отступать». Так, в самую решительную минуту войны точки зрения Барклая-де-Толли и Кутузова, совпав полностью, предопределили дальнейший ход событий. Это свидетельствовало о том, что стратегия Кутузова на данном этапе войны совпадала со стратегией Барклая и была, по сути дела, ее продолжением. Кутузов уехал вперед, поручив Барклаю организовать отступление армии через Москву.

После Бородинского сражения, где потери русских превысили сорок тысяч человек, было нецелесообразным сохранять прежнее деление войск на две армии, тем более что и маршрут их движения совпадал полностью. Остатки армии Багратиона были слиты с армией Барклая, но и его собственная должность тоже была чисто условной — над ним находился главнокомандующий, а над штабом 1-й армии — штаб главнокомандующего.

К тому же вскоре пришел приказ об увольнении Барклая с поста военного министра. Ко всему прочему Михаил Богданович заболел лихорадкой и 19 сентября подал Кутузову рапорт об увольнении от должности командующего 1-й Западной армией. 21 сентября, в день вступления русской армии на Тарутинскую позицию, Кутузов удовлетворил его просьбу. Таким образом, Барклай прошел с армией весь ее горестный путь — от Вильно до Тарутина. Этот путь продолжался ровно сто дней. Он пролег через Смоленск, Бородино и Москву, не став путем победы, но навсегда оставшись в истории России дорогой чести и славы.

А между тем Наполеон вошел в Москву. Стоя на краю гибели, он думал, что находится на вершине могущества и славы. Много позже, на острове Святой Елены, он сказал: «Я должен был бы умереть сразу же после вступления в Москву». Ожидая на Поклонной горе делегацию «бояр», он никак не мог представить, что всего через два года именно здесь пройдут полки российской гвардии, возвращающиеся из Парижа. И не мог он представить, что капитуляцию его столицы примет русский фельдмаршал Барклай.

24 сентября 1812 года Барклай писал царю из Калуги: «Государь! Мое здоровье расстроено, а мои моральные и физические силы до такой степени подорваны, что теперь здесь, в армии, я, безусловно, не могу быть полезным на службе... и эта причина побудила меня просить у князя Кутузова позволения удалиться из армии для восстановления моего здоровья.

Государь! Я желал бы найти выражения, чтобы описать Вам глубокую печаль, снедающую мое сердце, видя себя вынужденным покинуть армию, с которой я хотел жить и умереть...»

Находясь вне армии чуть более четырех месяцев, Барклай потратил значительную часть этого времени на осмысливание случившегося с ним лично и прежде всего на осмысливание происшедшего со всею армией. Итоги этих раздумий вылились в составленные им «Записки», которые он задумал написать, еще уезжая из армии, что видно из письма к жене из Тулы: «Готовься к уединенному и скудному образу жизни, продай все, что ты сочтешь лишним, но сохрани только мою библиотеку, собрание карт и рукописи в моем бюро».

Прощаясь со своим адъютантом В. И. Левенштерном, Барклай сказал: «Великое дело сделано. Теперь остается только пожать жатву... Я считаю Наполеона разбитым с момента вступления его в Москву. Я передал фельдмаршалу армию сохраненную, хорошо одетую, вооруженную и недеморализованную. Это дает мне наибольшее право на признательность народа, который бросит теперь, может быть, в меня камень, но позже отдаст мне справедливость». Барклай не знал, что его слова о «камне, который бросит теперь народ», не были фигуральны. Через несколько дней после отъезда из Тарутина дорожная карета Барклая остановилась на одной из почтовых станций неподалеку от Владимира.

То ли из-за того, что был какой-то праздник, то ли по другой причине, но около дома станционного смотрителя, когда Барклай прошел туда, было много досужей публики. Как только люди узнали, кто находится в доме, то тотчас же собрались толпой и стали кричать и ругаться, обзывая Барклая изменником и не желая выпустить его к экипажу. Адъютант Барклая А. А. Закревский, обнажив саблю, проложил дорогу к возку и заставил ямщика ехать. (Возможно, страсти толпы разгорелись оттого, что как раз в эти дни в селе Симы Владимирской губернии умер П. И. Багратион. Не исключено, что о неприязни покойного князя к Барклаю владимирцы были осведомлены и считали Барклая косвенным виновником смерти Петра Ивановича.)

Возможно, что именно это происшествие послужило толчком и заставило Барклая взяться за перо. Как бы то ни было, но после случившегося Барклай, добравшись до места, занялся составлением «Записок». Первый их вариант он послал царю 25 октября 1812 года, последующие варианты писал и позднее.

Основная цель «Записок» заключалась в оправдании своих действий на всех этапах войны. Барклай утверждал, что отступление армии проводилось им по плану, принятому заранее в Петербурге, и, таким образом, не было его собственным произвольным решением. Барклай утверждал также, что избранная им стратегия была единственно правильной в обстановке, сложившейся летом 1812 года.

25 октября Барклай писал из Владимира: «Всемилостивейший государь!.. Приложив отчет о действиях 1-й и 2-й Западных армий в продолжение нынешней кампании и о прямых причинах отступления их, я приемлю

смелость... молить Вас... о повелении обнародовать его (отчет) через публичные ведомости».

Из Владимира Барклай двинулся на северо-запад, поставив целью прибыть в свое эстонское имение. 9 ноября Барклай послал царю из Новгорода «Отчет», который Александр вскоре и получил, но из-за занятости не сразу ответил. Ответ Александра I, датированный 24 ноября (о нем уже говорилось), представляет документ, без которого нельзя правильно понять личного отношения к Барклаю в конце 1812 года.

«Генерал, — писал Александр, — я получил Ваше письмо от 9 ноября. Плохо же Вы меня знаете, если могли хотя минуту усумниться в Вашем праве приехать в Петербург без моего разрешения. Скажу Вам даже, что я ждал Вас, так как я от всей души хотел переговорить с Вами с глазу на глаз. Но так как Вы не хотели отдать справедливость моему характеру, я постараюсь в нескольких словах передать Вам мой настоящий образ мысли насчет Вас и событий. Приязнь и уважение, которые я никогда не переставал к Вам питать, дают мне это право.» Изложив далее уже известные нам оценки событий, происшедших в июне — августе 1812 года, царь завершал письмо следующим образом.

«Мне только остается сохранить для Вас возможность доказать России и Европе, что Вы были достойны моего выбора, когда я Вас назначил главнокомандующим. Я предполагал, что Вы будете довольны остаться при армии и заслужить своими воинскими доблестями, что Вы и сделали при Бородине, уважение даже Ваших хулителей.

Вы бы непременно достигли этой цели, в чем я не имею ни малейшего сомнения, если бы оставались при армии, и потому, питая к Вам неизменное расположение, я с чувством глубокого сожаления узнал о Вашем отъезде. Несмотря на столь угнетавшие Вас неприятности, Вам следовало оставаться, потому что бывают случаи, когда нужно ставить себя выше обстоятельств. Будучи убежден, что в целях сохранения своей репутации Вы останетесь при армии, я освободил Вас от должности военного министра, так как было неудобно, чтобы Вы исполняли обязанности министра, когда старший Вас в чине был назначен Главнокомандующим той армии, в которой Вы находились. Кроме того, я знаю по опыту, что командовать армиею и быть в то же время военным министром несовместимо для сил человеческих. Вот, ге-

нерал, правдивое изложение событий так, как они происходили в действительности и как я их оценил. Я никогда не забуду существенных услуг, которые Вы оказали Отечеству и мне, и я хочу верить, что Вы окажете еще более выдающиеся. Хотя настоящие обстоятельства самые для нас благоприятные ввиду положения, в которое поставлен неприятель, но борьба еще не окончена, и Вам поэтому представляется возможность выдвинуть Ваши воинские доблести, которым начинают отдавать справедливость.

Я велю опубликовать обоснованное оправдание Ваших действий, выбранное из материалов, присланных мне Вами. Верьте, генерал, что мои личные чувства остаются к Вам неизменными.

Весь Ваш.

Простите, что я запоздал с ответом, но писание взяло у меня несколько дней вследствие моей ежедневной работы».

Ответ нашел Барклая в его имении Бекгоф. Барклай *поблагодарил царя за милостивое письмо* и тут же подал прошение о восстановлении в армии. Однако посвященная этому переписка не завершилась. Еще через два месяца после пространного ответа Александра, казалось бы закрывавшего проблему, Барклай в письме к царю от 27 января 1813 года писал: «Я не оправдал бы этого доверия, если бы при ведении операций поставил себе целью блестящую кампанию, с которой была бы связана моя личная, собственная слава, а не удачный исход войны путем самого уничтожения неприятеля!.. Я уверил Ваше Величество, что не подвергну опасности бесполезной или несвоевременной гибели Вашу армию, единственную опору Отечества, и если не буду в состоянии нанести неприятелю решительных ударов сначала, то вся моя надежда будет основана на ведении кампании в позднее время года. Я сдержал свое обещание...»

Это письмо к Александру как бы подвело черту под всем случившимся ранее.

Он встал во главе 3-й армии, которой до этого командовал адмирал П. В. Чичагов, отстраненный от командования царем после неоднократных просьб об отставке, относительно чего 31 января 1813 года Кутузов писал Барклаю: «По случаю болезни адмирала Чичагова государь император высочайше поручает начальству Вашему

армию, им предводительствуемую... Я прошу, Ваше высокопревосходительство, поспешить прибыть Вам на место нового Вашего назначения в деревню Пивницу, что близ Торна». В этот же день Кутузов известил о назначении Барклая вместо теперь уже бывшего командующего 3-й армией адмирала П. В. Чичагова.

Приняв 3-ю армию, Барклай докладывал Светлейшему 5 февраля в рапорте № 1: «...по числу наличных здесь в полках людей армия сия носит только одно название, составляя, впрочем, не более как отряд: большая часть полков, ей принадлежащих, находится в отдаленных корпусах и отрядах, кои по отдаленности своей не имеют даже и нужного сообщения — многие бригады не в своем виде, так что один полк или батальон его находится здесь, а другие в отдаленных корпусах и отрядах, некоторые же пошли в расформировку».

Желая исправить создавшуюся ситуацию, Барклай далее предлагал следующее: «Посему для сохранения в армии возможного устройства, не благоугодно ли будет Вашей светлости приказать или только отделенные от своих бригад присоединить к оным, или же из остающихся здесь разных бригад составить бригады новые, ибо если далее будут оставаться в теперешнем их положении, то не имея должного наблюдения за внутренним их управлением, как и начальников, собственно им назначенных, и переходя из рук в руки, могут сии войска, наконец, вовсе исчезнуть. Все сие имею честь предать в благорассмотрение Вашей светлости и испрашиваю Вашего разрешения».

4 апреля, после ожесточенного артиллерийского обстрела, капитулировала Торунь. Французский губернатор Мавилон сдал Барклаю ключи от крепости, и в тот же день Барклай получил от Кутузова предписание произвести передислокацию осадной артиллерии и всех высвободившихся войск под крепость Модлин, поручив их генерал-лейтенанту Опперману, а самому двигаться к Франкфурту-на-Одере, а 23 апреля, уже после смерти Кутузова, последовавшей 16 апреля 1813 года в маленьком силезском городке Бунцлау, армия Барклая вошла во Франкфурт-на-Одере. 7 мая в бою под Кенигсвартом, продолжавшемся много часов, уничтожила до 3 тысяч солдат противника и захватила в плен более 2 тысяч. Этот бой был прелюдией к битве при Бауцене, состоявшейся 8 и 9 мая. Сражение союзными войсками было проиграно, и командовавший объединенной русско-прус-

ской армией после Кутузова Витгенштейн был заменен Барклаем, который к тому времени 7 мая выиграл бой под Кенигсвартом, укрепив свою репутацию в глазах союзных монархов, за что получил высший орден Российской империи — Андрея Первозванного.

Под Баутценом он один из многих союзных генералов действовал без ошибок. Он успел привести к началу сражения 12 тысяч своих солдат, однако это не изменило хода сражения: 96-тысячная русско-прусская армия не смогла выдержать натиска 143 тысяч французов.

Смена главнокомандующего на сей раз протекала совсем не так, как девять месяцев тому назад, в августе 1812 года. Витгенштейн не только сам рекомендовал Барклая на свое место, но и написал царю, что он «почтет за удовольствие быть под его начальством».

При вступлении Барклая на этот пост военные действия были приостановлены: с 23 мая по 29 июня действовало перемирие, во время которого силы союзников увеличились не только из-за подошедших резервных контингентов, но и за счет новых, австрийских и шведских войск. В это же время оформилась и новая, шестая антинаполеоновская коалиция, состоявшая из России, Пруссии, Австрии, Швеции и Англии.

В связи с вступлением в борьбу с Наполеоном новых участников произошли серьезные перемены в составе и структуре вооруженных сил союзников.

Эти силы были сведены в три армии — Богемскую, или Главную (командующий — Шварценберг), Силезскую (командующий — прусский фельдмаршал Блюхер) и Северную (командующий — шведский наследный принц Бернадотт, бывший маршал Наполеона). Главнокомандующим всеми тремя союзными армиями был избран недавний союзник Наполеона — австрийский фельдмаршал, князь Шварценберг. В новой ситуации Барклай занял значительно более скромный пост — командующего русско-прусским резервом, входящим в состав Богемской армии. Эта группа состояла из 78 тысяч русских и 49 тысяч пруссаков, что равнялось 127 тысячам человек и составляло чуть больше одной четверти союзных войск. (Их общее число к осени 1813 года достигло 492 тысяч при 1383 орудиях.)

Наступление союзников началось 3 августа. 10 августа двинулась вперед к Дрездену и Богемская армия. Ей навстречу выступил сам Наполеон. В двухдневном сражении под Дрезденом 14—15 августа 1813 года союзники, которыми командовал Шварценберг, потерпели поражение и отошли к Богемии. Французы начали преследование отступавших войск, вознамерившись отрезать им пути отхода. 37-тысячной колонной, попытавшейся преградить союзникам путь к отступлению, командовал генерал Вандамм. Если бы ему удалось перерезать отступавшей армии путь в Богемию, то едва ли бы союзникам удалось избежать полного разгрома.

Стремительным и неожиданным для французов маневром Барклай преградил дорогу войскам Вандамма и окружил их, навязав бой на уничтожение. Сражение это, происходившее у деревни Кульм 17—18 августа, вошло в историю военного искусства как высокий образец тактического мастерства.

При Кульме чудеса храбрости и стойкости проявили дивизии А. И. Остермана-Толстого, Д. В. Голицына, Н. Н. Раевского, М. А. Милорадовича. Подлинным героем Кульма стал А. П. Ермолов. Сам Барклай получил за Кульм орден Георгия V класса, которым до него в 1812 году был награжден лишь М. И. Кутузов. Поражение под Кульмом заставило Наполеона спустя месяц начать отступление к Лейпцигу, где 4—7 октября 1813 года произошло самое грандиозное из сражений наполеоновских войск, вошедшее в историю под названием «битвы народов». В нем с обеих сторон приняло участие более 500 тысяч человек. Наполеон потерял в нем около 80 тысяч. Потери союзников, составившие около 53 тысяч, хотя и были серьезными, все же не имели такого значения в общем балансе сил и позволили им сохранить стратегическую инициативу.

После Лейпцига Наполеон уже до самого конца войны не смог вернуть себе ни преимущества, ни активности. Военные действия вскоре были перенесены на территорию Франции. Это произошло в декабре 1813 года; главные силы союзников перешли Рейн и двинулись в глубь страны. Первое крупное сражение 1814 года произошло 17 января в двухстах километрах юго-восточнее Парижа при Бриенне. Французами командовал Наполеон, и среди прочих генералов противостоял ему и Барклай, находившийся в это время в армии Блюхера. Под Бриенном Наполеон едва не попал в плен. 25 декабря 1815 года он сказал графу Лас Казасу, разделявшему с ним его заточение на острове Святой Елены: «Под Бриенном я шпагой отбивался от казаков, стоя под тем деревом, где одиннадцатилетним кадетом читал «Освобожденный

Иерусалим». А еще через три дня произошло сражение, в котором Барклай одержал очередную победу.

Сражение развернулось в шести километрах к югу от Бриенна, у села Ла-Ротьер. (Военные историки иногда называют два этих сражения боем при Бриенне.) Две армии союзников — Силезская, находившаяся под командованием Блюхера, и Австрийская — под командованием Шварценберга, — насчитывавшие около 72 тысяч человек, вступили в бой с сорокатысячной армией французов. Барклай в этом сражении командовал 27-тысячным корпусом русских войск и в решительный момент нанес решающий удар. Французы не выдержали натиска русских колонн и были обращены в бегство по всему фронту. За эту победу Александр наградил Барклая золотой шпагой, украшенной алмазами и лаврами, с надписью: «За сражение 20 января 1814 года».

Затем Барклаю 8—9 марта довелось сражаться при Арсис-Сюр-Об и 13 марта на подступах к Парижу у Фер-Шампенуаза. 18 марта Барклай вступил на улицы Парижа. Он командовал войсками, занявшими высоты на востоке французской столицы, между Роменвилем и Пантеоном, а затем продвинулся к Бельвилю. В это время русские войска генерала графа А. Ф. Ланжерона подошли к высотам Монмартра, господствовавшим над Парижем. Падение столицы Франции становилось неизбежным.

По приказу Александра I союзные парламентеры начали переговоры о капитуляции Парижа. А между тем Александр, объезжая русские войска у Бельвиля и Шомона, поздравлял их с победой, зная, что час триумфа пробил. Барклай ехал в это время рядом с царем, как вдруг тот взял Михаила Богдановича за руку и поздравил со званием фельдмаршала.

Барклай стал 41-м генерал-фельдмаршалом в истории русской армии. Кроме него, в годы Отечественной войны и заграничных походов звания фельдмаршала был удостоен только Кутузов. Интересно, что шесть следующих фельдмаршалов, вплоть до М. С. Воронцова, получившего это звание в 1856 году, — все были участниками войн с Наполеоном.

В эти же часы русские солдаты взошли на Монмартр, втащили туда пушки, но, ожидая капитуляции, огонь по городу не открывали: за пожар Москвы никто из них не желал сожжения Парижа.

18 мая 1814 года между союзниками и новым правительством Франции состоялось подписание мирного договора. Через четыре дня после этого царь вместе с прусским королем Фридрихом-Вильгельмом III, сопровождаемые большой и пышной свитой, отправились в Лондон. Вместе с царем в Англию выехал и Барклай. Царя также сопровождали герои минувшей войны: Платов, Толстой, Чернышов, Уваров, видные дипломаты и придворные — К. В. Несельроде, Адам Чарторижский и Ожеровский; с прусским королем направлялись канцлер Гарденберг, прусские фельдмаршалы Блюхер и Йорк, выдающийся ученый Вильгельм Гумбольдт.

26 мая гости высадились в Дувре. Последующие три недели заполнены были торжественными приемами, балами и празднествами, что немало тяготило Барклая, который предпочел бы этому осмотр достопримечательностей Лондона. Но положение старшего по званию военного обязывало повсюду следовать за царем. С другой же стороны, визит в Англию оказался полезен тем, что отношения между ним и монархом улучшились.

В октябре 1814 года Барклай получил в командование 1-ю армию, штаб которой располагался в Варшаве. Она и на сей раз была самой большой армией России. Барклай был доволен своим назначением — вдали от Петербурга ему предоставлялась почти полная самостоятельность. И эта самостоятельность была бы еще более полной, если бы в Варшаве не сидел государевым наместником главнокомандующий польской армией цесаревич Константин — давний недоброжелатель Михаила Богдановича.

Весной 1815 года, узнав о бегстве Наполеона с острова Эльба и высадке на юге Франции, Барклай почти одновременно получил приказ о выступлении его армии в поход. Вместе с ним из Кракова выступил корпус Ермолова. Быстро шел фельдмаршал с войсками по хорошо знакомым ему дорогам Чехии и Южной Германии, однако, еще не доходя до Рейна, узнал о разгроме Наполеона под Ватерлоо и последовавшем затем отречении его от престола. Армия Барклая продолжала поход и вошла во Францию, 6 июля вторично заняв Париж.

С «корсиканским чудовищем» было покончено. Однако во Франции было решено оставить оккупационный корпус, а основную массу войск вывести из страны. Перед тем как отправить русскую армию на родину, Александр из политических соображений решил проде-

монстрировать своим союзникам красоту и силу своих войск. Решено было устроить смотр в Вертю — в 120 километрах от Парижа. Этот грандиозный парад должен был продолжаться несколько дней. 26 августа — в день Бородинской годовщины — намечался предварительный смотр-репетиция, 29 августа — главный смотр, в присутствии всех союзных монархов, а 30-го — в день именин императора — заключительный парад.

Армией в 150 тысяч человек при 540 орудиях командовал Барклай. 132 батальона пехоты, 168 эскадронов кавалерии и 45 артиллерийских батарей показали безукоризненную выучку и выправку, отточенность движений и слаженность маневров. Ермолов писал об этом своему брату А. М. Каховскому: «Состояние наших войск удивительное. Здесь войска всей Европы, и нет подобного Российскому солдату!»

За блестящее состояние вверенной ему армии Барклаю в тот же день был пожалован титул князя.

Осенью 1815 года основная часть русских войск оставила Францию. Барклай возвратился на родину. На этот раз его штаб разместился в губернском городе Могилеве. Он по-прежнему командовал 1-й армией, только численность ее возросла еще больше. После 1815 года она включала в свои ряды чуть ли не две трети сухопутных сил России.

К этому времени Барклай превратился в военачальника такого масштаба, который уже не мог решать глобальные вопросы боевой подготовки и обучения войск в отрыве от общественной жизни в самом широком смысле этого слова. Его не могли не волновать вопросы положения крестьян, проблемы военных поселений, судьбы солдат, вышедших в отставку. Он размышлял над этими проблемами и видел теснейшую связь и взаимозависимость между крепостническим укладом России и аракчеевщиной, между палочной дисциплиной в армии и беспощадным подавлением в обществе даже малейших намеков на гражданские свободы. Понимая все это, он оставался верным слугой царя, но старался хотя бы в рядах 1-й армии сделать жизнь солдат достойной человека и не дать расцвести здесь насилию, жестокости и произволу.

Наиболее концентрированно его представления о долге командиров по отношению к подчиненным изложены были в «Инструкции», составленной им в начале 1815 года, еще до того, как 1-я армия вошла во Францию.

Наряду с требованием строгой дисциплины и добросовестного отношения к службе Барклай требовал бережно относиться к людям, воспитывать в них храбрость, выносливость, любовь к опрятности. «Кроткое и благородное обхождение начальников с подчиненными, — говорилось в «Инструкции», — не вредит порядку, не расстраивает чинопочитания, но, напротив, рождает то истинное и полезное честолюбие, каковым всякий должен воодушевляться; уничтожение сих благородных чувствований чести унижает дух, отнимает охоту и вместо доверия к начальству рождает ненависть и недоверчивость».

Такое отношение к солдату было не просто прямой противоположностью насаждавшейся в русской армии палочной дисциплине, но воспринималось как открытый вызов всей системе мер, вдохновителем и организатором которой был давний недруг фельдмаршала — Аракчеев.

Наиболее яркое и законченное выражение аракчеевщина получила в так называемых «военных поселениях». Барклай с самого начала был принципиальным противником военных поселений. Он знал, что за спиной Аракчеева стоит царь, но тем не менее, когда к нему на отзыв, как военному министру (дело было в 1810 году), поступил проект о создании военных поселений, Барклай дал резко отрицательный отзыв. Возвращаясь к этому вопросу в 1817 году, он писал: «Кто и чем докажет, что он (поселянин. — *Ред.*) вместо чаемого благоденствия не подпадет отягощению, в несколько раз большему и несноснейшему, чем самый беднейший помещичий крестьянин!»

И далее Барклай писал: «...Поселянина, как осужденного за вину, преследовать будут ежечасно тяжкий труд земледельца, брань, угрозы и побои — в ученье, тоска и уныние — в минуты отдохновения».

Его отношение к военным поселениям, сохраненное им на всю жизнь, обеспечило Барклаю на всю жизнь и стойкую враждебность Аракчеева.

Весной 1818 года Барклай отправился в Германию для лечения на водах. Его путь лежал через Восточную Пруссию. Здесь Барклай тяжело заболел и 13 мая 1818 года скончался. Это случилось неподалеку от города Инстербурга, на небогатой мызе Штилитцен. Из Штилитцена траурный кортеж отправился в Ригу. 30 мая в присутствии генерал-губернатора маркиза Пау-

луччи была отслужена заупокойная панихида. Под звон колоколов, траурную музыку и грохот артиллерийского салюта останки фельдмаршала перевезли в часовню кладбища при гарнизонной церкви.

Через несколько дней гроб с прахом полководца привезли к месту вечного упокоения — в родовое имение его жены Елены Ивановны Барклай, урожденной Смиттен. Здесь в 1823 году вдова полководца соорудила великолепный мавзолей, ставший достопримечательностью края. Построен он был по проекту архитектора А. Ф. Щедрина. Скульптурное изображение полководца и сложный многоплановый барельеф, изображающий вступление русских войск в Париж, а также и все надгробье были выполнены профессором Петербургской академии художеств, талантливым скульптором В. И. Демут-Малиновским.

Фигура Барклая, его судьба, исполненная величия и трагизма, привлекали не только художников. Она с давних пор занимала Пушкина. Не раз он обращался к этой теме. Чаще всего это были, правда, фрагментарные эпизоды или мимолетные зарисовки, не лишенные, впрочем, глубины мысли и широты обобщений. Последнее произведение, крупное, значительное и целиком ему посвященное, было написано в годы гражданской и творческой зрелости Пушкина, менее чем за полгода до трагической кончины поэта.

Стихотворение было названо «Полководец» и явилось не просто панегириком Барклаю, но представляло собою широкое и яркое поэтическое полотно, на котором вокруг фигуры фельдмаршала «толпою тесною» стояли «начальники народных наших сил», а текст стихотворения затрагивал большие и важные историко-философские проблемы.

Публикация «Полководца» вызвала восторженные отзывы современников. «Барклай» — прелесть!» — писал А. И. Тургенев П. А. Вяземскому. А в октябре 1836 года Н. И. Греч писал Пушкину: «Не могу удержаться от излияния пред Вами от полноты сердца искренних чувств глубокого уважения и признательности к Вашему таланту и благороднейшему его употреблению. Этим стихотворением, образцовым и по наружной отделке, Вы доказали свету, что Россия имеет в Вас истинного поэта, ревнителя чести, жреца правды». Пушкин на это письмо так ответил Гречу: «Искренне благодарю Вас за доброе слово о моем полководце. Стоическое лицо Барклая есть одно из замечательнейших в нашей истории. Не знаю, можно ли вполне оправдать его в отношении военного искусства, но его характер останется вечно достоин удивления и поклонения».

Пушкин в «Полководце» с гениальной прозорливостью вскрывает то, что для многих было загадкой долгие годы. Его Барклай — это человек, «непроницаемый для взгляда черни дикой». Он молча идет своей дорогой «с мыслью великой». Но чернь не понимает его и глумится над ним, невзлюбя в его имени «звук чуждый» и «ругаясь над его священной сединою». Но Барклай, укрепленный могучим убеждением собственной правоты, шел своей дорогой дальше, оставаясь «неколебим пред общим заблужденьем». Наконец, Пушкин рассказывает и о том, как Барклай передал бразды правления Кутузову:

И на полупути был должен, наконец,
Безмолвно уступить и лавровый венец,
И власть, и замысел обдуманный глубоко,
И в полковых рядах сокрыться одиноко.

Там, говорит поэт, «как ратник молодой, искал ты умереть средь сечи боевой», конечно же, имея в виду «боевую сечу» Бородина. А меж тем Кутузов, идя той же дорогой, что и Барклай, «стяжал успех, сокрытый в главе твоей», обращается поэт к опальному полководцу, выносившему замысел отступления, которое поставило Наполеона на грань катастрофы.

Те же идеи, изложенные Пушкиным в поэтической форме, были сформулированы им и прозой: «Его отступление, которое ныне является ясным и необходимым действием, казалось вовсе не таковым: не только роптал народ ожесточенный и негодующий, но даже опытные воины горько упрекали его и почти в глаза называли изменником. Барклай, не внушающий доверия войску, ему подвластному, окруженный враждою, язвимый злоречием, но всегда убежденный, молча идущий к сокровенной цели и уступающий власть, не успев оправдать себя перед глазами России, останется навсегда в истории высоко поэтическим лицом».

В своей симпатии к Барклаю, в уважении к его памяти Пушкин был неодинок. Передовые люди эпохи, задумывавшиеся над ходом событий, взвешивавшие все «за» и «против», не могли не признать стратегическую правоту полководца. «Подвиг Барклая де Толли велик,

участь его трагически печальна и способна возбудить негодование в великом поэте, — писал В. Г. Белинский, — но мыслитель, благословляя память Барклая де Толли и благоговея перед его священным подвигом, не может обвинять и его современников, видя в этом явлении разумную и непреложную необходимость». А будущий декабрист М. А. Фонвизин, проделавший с Барклаем весь путь отступления от Вильно до Тарутина, отзывался о нем так: «Полководец с самым благородным, независимым характером, геройски храбрый, благодушный и в высшей степени честный и бескорыстный». Поэт-партизан Д. В. Давыдов среди множества похвал Барклаю оставил и такую: «Барклай-де-Толли с самого начала своего служения обращал на себя всеобщее внимание своим изумительным мужеством, невозмутимым хладнокровием и отличным знанием дела. Эти свойства внушили нашим солдатам пословицу: «Погляди на Барклая, и страх не берет».

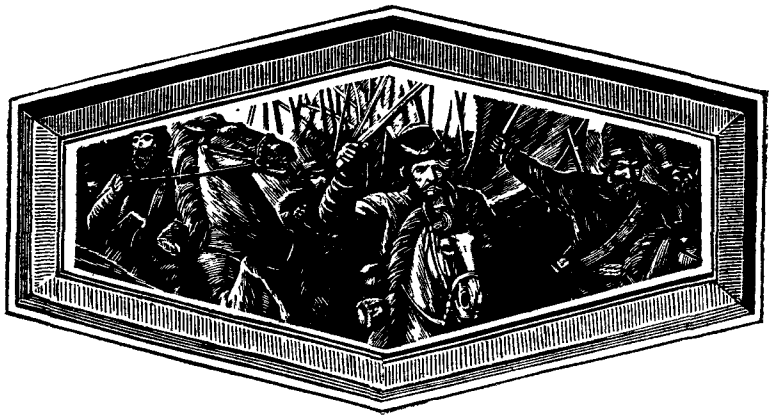
Русский народ никогда не забудет своих героев, всех тех, на чьих плечах вынесена тяжесть Отечественной войны 1812 года. Одно из достойнейших мест в первом их ряду, несомненно, принадлежит Барклаю, о котором так проникновенно, с шекспировской силой сказал Пушкин:

О, люди! Жалкий род, достойный слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведет в восторг и умиленье!

«Грядущее поколение» наконец-то в полной мере воздало Барклаю за его солдатскую верность и бесконечное терпение, за его великий подвиг во славу России.

В. БАЛЯЗИН

МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ ПЛАТОВ



Мы должны показать врагам, что помышляем не о жизни, но о чести и славе России.

Из приказа Платова

Когда у Матвея прорезался первый зуб, Иван Федорович Платов, казак Черкасского городка, надел на сына свою шапку и посадил на оседланного коня. Тогда же он впервые подрезал ему чуб. С былинных времен была унаследована на Дону славная традиция посвящения в мужчины-воины. Русские летописи этот обряд именуют — «посадить на коня». Только после посвящения в воины мальчика могли называть казаком.

Возможно, Платовы первоначально были плотогоны и однажды, сплавляя лес по Дону, облюбовали казачий городок Черкасск. Во всяком случае, о том, что они спускались с плотами по Дону и осели в Черкасске, некогда рассказывали на Дону. В исповедальных и метрических книгах Петропавловской церкви встречаются имена трех братьев: Ивана, Демьяна и Димитрия.

Старшим из них был отец Матвея — Иван Федорович. Дата его рождения точно не установлена: где-то между 1720 и 1723 годами. Некоторое время, как и все казаки, он занимался рыболовством, а в 1742 году поступил на действительную службу. Вначале служил на Крымской линии, потом в остзейских губерниях, затем в Грузии, после этого был переведен в Пруссию. Семилетнюю войну 1756—1762 годов Иван Федорович Платов прошел в составе одного из казачьих полков. Был он смелым, храбрым и особенно отличился в сражении под Кюстрином в августе 1758 года. Позже Платов неоднократно выезжал в Петербург «с нужнейшими и интереснейшими делами».

О матери Матвея Анне Ларионовне известно только, что родилась она в 1733 году.

Семья Платовых по тем временам была небольшой. Кроме первенца Матвея, родившегося 19 августа 1751 года, у Ивана Федоровича и Анны Ларионовны было еще три младших сына: Стефан, Андрей и Петр.

С самого раннего детства, как и положено у казаков, Иван Федорович стал готовить сыновей к службе. В три года Матвей уже ездил на лошади по двору, а пяти лет участвовал в скачках и детских маневрах.

«Пу!» — стрелять и «чу!» — ехать — вот первые слова, которые произнес он.

Особенно Матвей радовался праздникам. Бойкий мальчик обегал в эти дни все улицы Черкасска, где повсюду толпились нарядно разодетые казаки и казачата. Молодые казаки боролись, играли в мяч, чехарду, бабки, айданчики. Служивые, собравшись в круг, напевали старинные казачьи песни, вспоминали многочисленные походы. Кое-кто, сдвинув набекрень шапку, под звуки балалайки пускался плясать «Казачка».

Около рундуков — лестничных площадок, выходящих на улицу, — строго и чинно сидели пожилые казаки, заслуженные воины. Посередине обычно стояла ендова переваренного меду, который особо ценили старики за его крепость.

Неподалеку, сидя на широком персидском ковре, беседовали пожилые казачки — жены донских старшин. Они медленно пили сладкий мед, подносимый пленными татарками и турчанками, вспоминали старину и, слегка захмелев, пели старинные песни о подвигах своих отцов и мужей. Проходящих мимо мужчин они с поклоном подзывали к себе: «Подойди к нам, родненький!» Выпив

порцию меда, довольный казак клал им на поднос горсть монет.

Молодые женщины, одетые в праздничные кубилеки, обычно сделанные из парчи и украшенные серебряными и золотыми пуговицами, собирались отдельно. Игриво щелкая жареные арбузные семечки, они выходили на улицу «себя показать и других посмотреть». Часто подражая старым казачкам, молодые пели печальные и веселые казачьи песни.

Самой большой радостью для казачков — мальчиков и юношей в праздничные, да и в обычные дни были военные забавы, проходившие за городом возле палисадника и крепостных стен.

Здесь юные воины ставили мишень и из ружей и луков состязались в стрельбе. После стрельб почти всегда устраивались игровые сражения.

Большая группа казачат в самодельных воинских доспехах, со знаменами, сделанными из окрашенной бумаги, с игрушечными пиками делилась на два отряда. Их возглавляли «атаманы». По специальному сигналу обе стороны сходились в жаркой рукопашной схватке. Одна из них не выдерживала натиска, бросаясь наутек. Победители преследовали «неприятеля», брали в плен, захватывали трофеи и знамена. А потом заключался мир, и под звуки бубнов и звон тарелок с песнями оба отряда возвращались в городок, где их встречали довольные казаки.

Платовы не были богатыми и поэтому не могли дать детям хорошего образования. Но читать и писать Матвей научился еще совсем маленьким. Отец часто рассказывал сыновьям о подвигах русских людей, о славной истории донского казачества, о казачьей вольнице.

Все важнейшие вопросы казачьей жизни решались войсковым кругом, который собирался на площади у собора. Там объявляли войну и заключали мир, принимали послов и отправляли посольства и грамоты к соседним народам и в Москву, выбирали атаманов, основывали новые городки и посылали вспомогательное войско царю, принимали в казаки.

И даже женили и разводили.

Войсковой круг на Дону в XVII веке был своеобразным органом казачьей демократии. Еще с тех времен, когда до середины XVII века казаки на Дону «живали» без женщин, как запорожцы, устанавливался обычай, что

в войсковом круге никто, кроме казаков не менее шестнадцати с половиной лет от роду, не имел права участвовать: ни женщины, ни работные люди, ни бурлаки, ни тем более рожденные от турчанок «тумы» или духовенство. Собирались они один раз в год, весной. Открывались приветствием есаула, после чего в круг входил атаман и начиналось бурное обсуждение различных вопросов. Из уважения к кругу все вопросы казаки решали стоя. Очень часто круги кончались драками. Особенно остро проходили выборы атаманов и их помощников. Атаман обычно избирался на год и «управлялся со своей вольницей» в интересах всех казаков. Неугодного атамана могли сместить даже на следующий день, после чего он возвращался в лоно рядовой массы казачества...

На тринадцатом году Матвея определили на службу в войсковую канцелярию. Там ему приходилось заниматься административными, судебными и политическими делами.

Юному казаку наверняка довелось читать копии исторических актов, в которых Черкасск впервые упомянут в 1593 году, когда турки получили известие о том, что донцы вблизи Азова, «на Маныче, да в Черкасской и в Раздорах» поставили новые городки и, «из тех городков приходя, Азову тесноту чинят».

Много об этом говорили и старики.

Когда возник этот городок, точно никто не знал. Из исторических источников, правда, было известно, что на месте Черкасска располагался город Ахас. В те далекие времена он славился «доброй» гаванью для стоянки судов, многочисленными торговыми заведениями. Ордынцы неоднократно пытались захватить Ахас, но так и не смогли. И тогда город затопили...

Много раз Черкасский городок разрушали многочисленные неприятели, но он вновь и вновь застраивался, перестраивался и по сей день стоит. Такова судьба почти всех казачьих городков Дона, располагавшихся на южных берегах России и принимавших первые удары врагов Отечества. «Пускай пламя пожаров сожжет городки наши, говорил еще дед Матвея, — через неделю заплетем новые, набьем землей, покроем избы; скорее враг устанет сжигать наши городки, нежели мы вознобновлять их...»

Служба в канцелярии вскоре сделала из него довольно образованного казака. Многое узнал Матвей, особенно его увлекли морские и сухопутные походы предков.

Донцы широко прославились в XVII веке, совершая морские походы. Задумав такой поход, казаки, обычно весной, собирались в Черкасске. Отплытие всегда сопровождалось большими торжествами. Казаки и провожавшие их собирались на Ратном урочище, служили обедню, пили прощальный ковш меду и вина и отправлялись на пристань, откуда выплывали на судах, напевая дружным хором «Ты прости, ты прощай, тихий Дон». Провожавшие возвращались на площадь и, как они сами говорили, «гладили дорожку» своим собратьям, то есть продолжали веселье.

Суда казаки строили без палуб, длиной от 50 до 70 футов. Нос и корма у них были острыми. Лодки снаружи конопатили, высмаливали, для большей крепости обвязывали вокруг, от кормы до носа, сплетенными с боярышником веревками, а для прикрытия от неприятельской стрельбы привязывали к обводной веревке толеты — камышовые снопы, крепко стянутые поперек.

Чтобы не терять времени при полном повороте назад, каждая лодка снабжалась двумя рулями. В хорошую погоду ставилась небольшая мачта с поднятым на рею парусом, который помогал передвигаться при попутном ветре. Весел бывало до сорока. Обычно в лодку садились от 60 до 100 казаков. Вооруженные 4—5 пушками, такие лодки были легче и маневреннее турецких галер.

Запас продуктов бывал весьма ограничен: несколько бочонков пресной воды, сухари, просо, сухая и соленая рыба, сушеное мясо. Водку в поход никогда не брали, ибо «трезвость почиталась необходимостью при исполнении важных предприятий». Казаки всегда выходили на поле брани в ветхой одежде. «Зачем подавать неприятелю надежду, — говорили они, — мы больше у них съедим, нежели он у нас». На оружии у казаков не было никаких украшений, полированные сабли смачивались рассолом, чтобы «не заржавели». «На ясном железе играет глаз», — говорили казаки, особо подчеркивая важность элемента неожиданности при нападении на врага.

На лодках по Дону казаки добирались до Азовского моря, а дальше шли на Анатолийское побережье, в Крым и Константинополь. Набеги на турецкие и крымские по-

селения были главной целью казаков, в результате чего они освобождали тысячи русских и западноевропейских пленных, а также защищали южные рубежи России от турецко-татарской экспансии. Донские казаки были своего рода пограничниками России.

Высаживаясь на побережье, казаки старались застать врага врасплох. Как правило, выходили на берег скрытно, быстрым и сильным натиском брали приморские крепости и селения. Обычно казаки уклонялись от схваток с превосходящим по силе врагом; не принимая боя, они отступали к морскому берегу, входили в устье реки, затопляли свои суда и рассыпались по побережью. Переждав опасность, собирались вновь. На хорошо вооруженные корабли нападали ночью, если же приходилось это делать днем, то на заходе солнца и со стороны солнца, когда оно светило в глаза, скрывая казачьи лодки.

Казаки на лодках окружали корабль и шли на абордаж. Начиналась рукопашная схватка. Забрав драгоценности и оружие, они топили корабль, прорубив днище.

Во время нападений на большие суда казаки теряли многих своих товарищей. И вообще, очень редко из таких походов возвращалась половина отряда казаков. Оставшиеся в живых всегда прибывали с богатой добычей.

На Дону, не доходя до Черкасска, казаки останавливались и начинали делить добычу поровну. «Дуван дуванить» — так называли они это действо. Затем казаки двигались в Черкасск, где сначала в часовне, а потом в Ратной церкви служили благодарственный молебен, после чего приветствовали родные берега, своих друзей и близких пушечными и ружейными залпами, и начинался пир.

Морские походы изумляли современников, а турки, пораженные удалью казаков, называли их «самыми отважными и страшными из врагов».

Ходили донцы и в сухопутные походы. Чаще всего партия охотников от 5 до 50 человек пускалась к Азову или же к ногайцам на Куму и даже в Тавриду. По пути казаки искали сакмы — так называли они лошадиные следы на траве — и по ним настигали неприятеля. Когда же не удавалось его найти, казаки непосредственно «в траве с травою ровен» приближались к улусам и забирали добычу. Если же перед казаками вдруг возникала широкая река, они использовали своеобразные понтоны — несколько пучков камыша, плотно связанных между собой. На них донцы перевозили седла и вьюки, а сами пускались вплавь. Этот способ назывался «переправляться на салах».

Иногда, когда казакам угрожала опасность, они пускали своих лошадей в быструю реку и, уцепившись за их хвосты, удачно переправлялись на другой берег.

Особенно враждовали казаки с азовцами, которые находились от них в пятидесяти верстах. Часто даже личные ссоры между ними превращались в войны. «Дело наше казачье не великое, — говорили донцы. — Случится которому казаку поехать Доном за сеном или за дровами и азовцы успеют его схватить — нам ли это простить? Мы поймаем у них двух, трех, и война возгорится; после сошлемся, помиримся и пленных на обе стороны возвратим». Вдвойне казаки мстили за личные оскорбления. «Не дозволим никому оскорблять себя, — говорили они. — Эти неверные вздумали ругаться над нами: поймав на промыслах казаков, остригают у них бороды и усы».

Многие старые вояки, потеряв силу в морских и сухопутных походах, уходили в монастыри. Здесь они могли спокойно прожить остаток своих лет, а порой и дней.

О походах донцов слагались многочисленные песни и легенды. В свободное время, собравшись на станичной площади, старые казаки рассказывали молодым о своих лихих делах, о подвигах отцов и дедов. Любили казаки, в том числе и Иван Федорович, приходить на Преображенское кладбище, где под мраморными и гранитными плитами покоились герои Дона, прославившиеся в многочисленных войнах за родную землю.

Собираясь на могилах умерших и погибших, казаки выпивали крепкого меда и заунывно пели:

«Как ты, батюшка, славный тихий Дон,
Ты кормилец наш, Дон Иванович!
Про тебя бежит слава добрая,
Слава добрая, речь хорошая,
Как бывало ты, все быстер бежишь,
Ты быстер бежишь, все чистехонек;
А теперь ты, кормилец, все мутен течешь,
Помутился ты, Дон, сверху донизу».
Речь возговорит славный тихий Дон:
«Уж как мне все смутну не быть,
Распустил я своих соколиков,
Ясных соколов, донских казаков;
Размываются без них мои круты бережки,
Высыпаются без них косы желтым песком...»

И заканчивали песню восклицанием: «Да заслужили наши казаки славу вечную!»

Казачата воспитывались на подвигах предков и воспоминаниях отцов, на родных песнях. Подрастающие донцы обретали навыки различных ремесел, часто выезжали на рыбалку, участвовали в военных играх и забавах.

Так жил и Матвей.

Но юный казак все время стремился на военную службу. И такой случай вскоре представился.

14 октября 1768 года началась русско-турецкая война. Россия по-прежнему решала черноморскую проблему. Освоению южнорусских степей препятствовала почти не прекращающаяся турецкая агрессия. Черноморский вопрос мог решиться либо присоединением Крыма к России, либо предоставлением Крымскому ханству независимости от Турции. Пользуясь широкой поддержкой Франции, Турция становилась все более агрессивной.

Зимой 1769 года татарская конница совершила опустошительный набег на Украину и Нижний Дон. Для борьбы с ней были образованы две русские армии, в которых находились около десяти тысяч донских казаков.

Незадолго до объявления войны Иван Федорович Платов, тогда уже войсковой старшина, оставив за себя дома старшего, Матвея, поехал с Донским полком вначале на Бердянскую линию, а потом в Санкт-Петербург.

С началом военных действий в Крыму Матвей, в свою очередь, оставил хозяйство на попечение приказчиков и на собственной лошади отправился в действующую армию. Перед отъездом он взял горсть родной земли, спрятал ее в узелок и повесил на шею.

2-я русская армия под командованием В. М. Долгорукого, куда попал Матвей, с 1770 года вела успешные действия против турецко-татарских войск в Крыму. В ночь с 13 на 14 июня 1771 года есаул Платов участвовал в штурме и взятии Перекопа, особенно он проявил себя в сражении под Кинбурном. За отличие Матвей Иванович Платов был произведен в войсковые старшины и стал командиром полка. В это время ему было немногим более двадцати лет.

В кампании 1771 года русские войска одержали ряд крупных побед, что заставило турецкое командование запросить перемирие.

В марте 1773 года полк Платова был переброшен на Кубань. Там татарский хан Девлет Гирей-хан, Шабаз Гирей-калга, Муборек Гирей-нурадин со многими другими салтанами, беями и мурзами решили перебираться через Кубань на Дон. Татары двинулись в направлении ейского укрепления. В походе они узнали, что к ним приближается обоз мирных ногайцев, сопровождаемый казачьими полками Платова и Ларионова.

Вечером 2 апреля казаки и ногайцы остановились на ночлег. Перед сном к Платову подошел бывалый казак.

— Батюшка наш, Матвей Иванович, поговорить мне надо с тобой в чистом поле, наедине, — сказал он.

— Ну что ж, пойдем поговорим.

Платов и казак вышли далеко в поле.

— Матвей Иванович, приложи ухо к земле.

Платов перекрестился и припал к земле.

— Что слышишь, Матвей Иванович?

— Слышу какой-то шум, похожий на крик птиц.

— Да разве птица кричит в темную ночь? Она сидит смирно.

— Так что же это такое?

— А вот что: недалеко остановился неприятельский отряд и разложил огни, а на свет-то птица поднялась да кричит. По большому крику надо полагать, что огней много, а стало быть, много и бусурман. Поживешь, Матвей Иванович, довольно — узнаешь больше, — прибавил казак.

Быстро вернувшись в лагерь, Платов сразу же направил казаков в разведку. В полночь они прибыли в лагерь и сообщили, что отряд татар насчитывает около 20 тысяч.

Платов приказал полкам готовиться к обороне. Вскоре из повозок был сделан укрепленный лагерь.

Утром предсказания казака оправдались. Лишь только стало светать, татары двинулись на укрепленный лагерь. Вдали казаки увидели ханское знамя. Девлет-Гирей давал последние указания.

— Матвей Иванович, за подмогой бы надо послать, — сказал Ларионов.

— Подожди, я хочу перед сражением слово сказать своим молодцам. Братья мои, подходите поближе.

Платов вскочил на повозку и начал говорить:

— Друзья мои, вы видите сами, какая сила окружает нас. Нам нужно биться с этой силой и победить. Я вам скажу (это было любимое выражение Платова, и так он

почти всегда начинал свою речь): не будем же мы русские, не будем донцы, если устрашимся проклятого врага. А вы два, — Платов указал на молодых казаков, — подойдите поближе ко мне.

Два казака тут же подошли к Матвею Ивановичу. Он приказал им пробиться к подполковнику Бухвостову, стоявшему на другой стороне реки Калалах, и известить его об их отчаянном положении.

С криком «Ура!» казаки поскакали в сторону многочисленного неприятеля.

Между тем татары, разбив высланную против них команду казаков, с криками «алла!» двинулись со всех сторон на укрепленный лагерь.

— Держитесь, друзья! Не посрамим землю русскую и нашего батюшку тихий Дон! Скоро подойдет подкрепление! — кричал Платов казакам.

Восемь атак отбили донцы. Силы были на исходе, казалось, противник вот-вот ворвется в казачий лагерь, а подкрепление все не подходило.

Ларионов предложил сдаться:

— Матвей Иванович, не лучше ли будет нам сдаться в плен? Посланные казаки, верно, убиты; люди приходят в отчаяние; треть лошадей уже пала, да и без подмоги нельзя нам ожидать спасения.

— Никогда, лучше умрем, нежели покроем стыдом и позором честь нашей земли! — воскликнул Матвей Иванович.

Тем временем один из казаков, посланный Платовым за подмогой, сумел-таки пробиться к Бухвостову, и он тотчас отрядил полк Уварова.

— Ребята, не робеть! Посмотрите вдаль, мне что-то мелькнуло в глазах. Уж не наши ли это? — крикнул Платов.

— Наши! Наши! — раздалось вокруг.

Казаки Уварова с ходу атаковали неприятеля.

Платов тоже двинул своих на татар. Подошедший полк Бухвостова довершил полный разгром противника.

Бухвостов доносил полковнику Бринку: «Вóйска Донского полковник Платов, будучи в осаде от неприятеля, оказался неустрашим, ободряя своих подчиненных, и удержал их в слабом своем укреплении до моего к ним прихода».

После подвига на реке Калалах Платов стал известен в русской армии, о нем узнал и начал ему покровительствовать князь Г. А. Потемкин. Платов был награжден специальной золотой медалью «За ревностную службу».

«Если кому-нибудь придется быть в таком же положении, тот пусть приведет себе на память подвиг молодого Платова, и успех увенчает его оружие. Фортуна, не всегда слепая, возведет, быть может, твердого воина на ту степень славы, на которую вознесла она и маститого героя Дона» — так оценивал стойкость тогда еще совсем молодого казака легендарный Денис Давыдов в зрелом возрасте.

Подвиг Платова на реке Калалах остался в народной памяти. До сих пор на Дону можно услышать песню:

Вот как хвалится-похваляется генерал Платов;
«Есть у меня на тихом Дону слуги верные,
Слуги верные, донские казаки —
Вы орлы-то мои, орлы сизокрылые,
Соколы вы мои залетные!
Вы седлайте своих добрых коней, не замешкайте,
Вы поедемте в чисто поле, поотведаем,
Поглядим, посмотрим во все стороны:
Отчего-то наша армеюшка потревожилась,
Потревожилась она от неприятеля,
От неприятеля, от злых черкесов...»

21 июля 1774 года между Россией и Оттоманской Портой был подписан Кючук-Кайнарджийский мирный договор, по которому к России отошли Кинбурн, крепости Керчь, Еникале и Азов с прилегающими уездами.

Россия снова получила выход к Черному морю, который почти тысячу лет назад имела при славных русских князьях, потрясавших сам Царьград.

II

В начале 1777 года Платов возвратился на родной Дон. В феврале он женился на двадцатилетней казачке Надежде Степановне Ефремовой. В прежние годы дед Надежды Степановны, Данила Ефремов, был первым на Дону генерал-майором и первым тайным советником. Он доблестно сражался в Северной войне со шведами, участвовал в нападении на штаб-квартиру шведского короля Карла XII. В 1738 году Данилу Ефремова назначили войсковым атаманом, и только в 1754 году, по старости, он добровольно передал этот чин своему сыну Степану. Однако и после этого, до самой смерти, последовавшей в 1760 году, Данила Ефремов оставался почетнейшим человеком на Дону.

После смерти Данилы Ефремова полновластным атаманом стал отец Надежды Степановны Степан Ефремов. Благодаря связям отца он еще в 27 лет был походным атаманом. Во время Семилетней войны Степан Ефремов участвовал в нескольких сражениях, но ничем особенным себя не проявил и вскоре возвратился на Дон.

28 июня 1763 года Степан Ефремов участвовал вместе с отрядом донцов в походе на Петергоф, в результате чего на российском престоле оказалась Екатерина II. За деятельное участие в этом походе Степан Ефремов был «всемилостивейше» награжден императорской золотой медалью.

Екатерина II не забыла тех, кто помог ей прийти к власти, и с ее покровительства Степан Ефремов почувствовал неограниченную власть на Дону, что способствовало его быстрому обогащению, часто незаконному.

Скоро вести о его многочисленных злоупотреблениях дошли до двора. Екатерина II была вынуждена назначить комиссию по проверке деятельности атамана. На Дон посыпались приказы из Военной коллегии о том, чтобы Ефремов незамедлительно прибыл в Петербург. Атаман ехать не спешил, тянул время и пытался распространять среди казаков слухи, будто правительство хочет записать их в «регулярство».

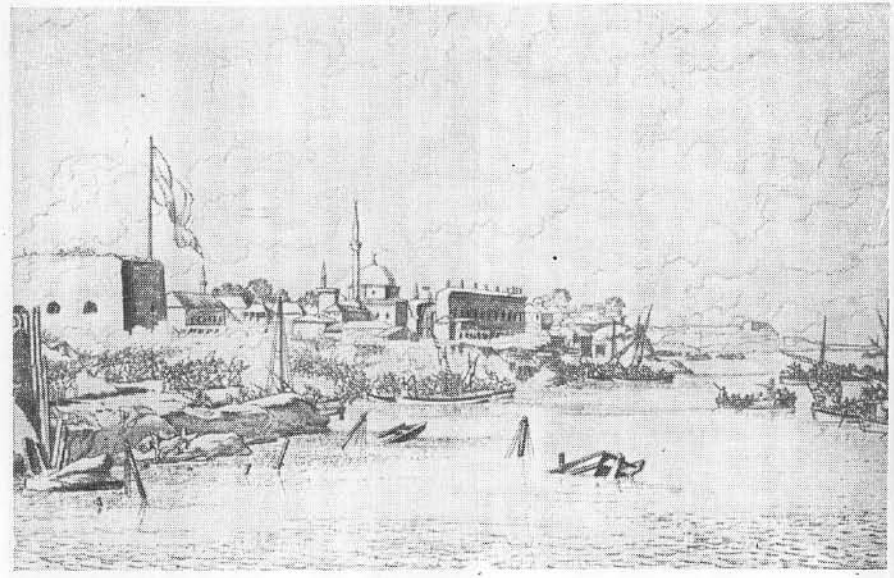
Назревал бунт.

Тогда правительство снарядило на Дон отряд регулярных войск под командованием поручика Ржевского, который и арестовал Степана Ефремова на его загородной Зеленой даче. Атаман был заключен в крепость святителя Дмитрия Ростовского, а оттуда доставлен в Петербург.

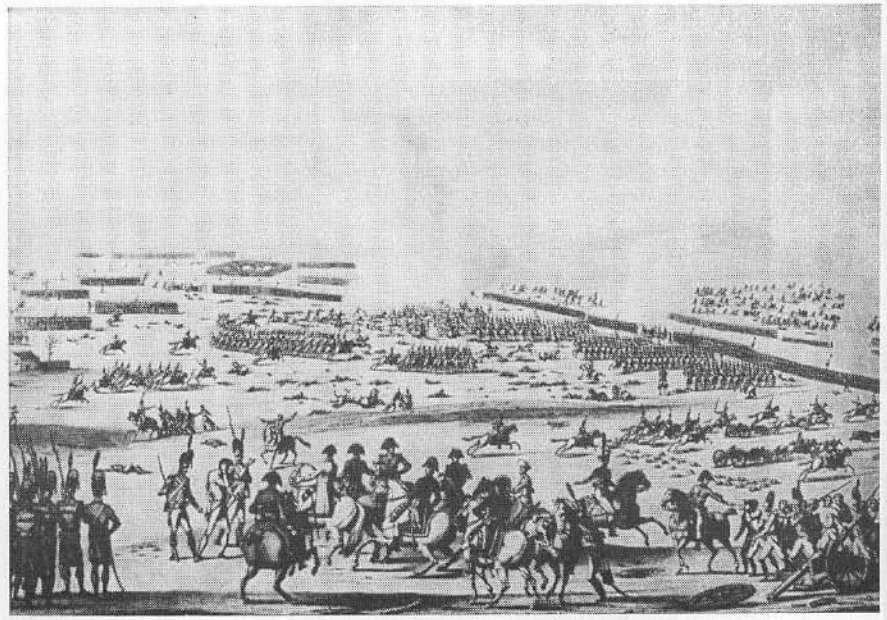
Следственная комиссия выяснила, что Ефремов получал взятки за производство казаков в старшинский чин, растрачивал крупные суммы войсковых денег. Самым же главным явилось обвинение в стремлении единовластно править Доном. За все эти преступления Степан Ефремов был приговорен к смертной казни. Но Екатерина II, памятуя «Петергофский поход» донского атамана, заменила смертную казнь ссылкой в Пернов (Прибалтика).

Платов женился на дочери опального атамана именно в это время, когда Ефремов находился в ссылке.

Вначале были смотрины; Матвей Иванович под благовидным предлогом с тремя родственниками пришел в дом невесты. Надежда Степановна понравилась старшим,



Штурм Измаила.



Битва при Аустерлице.



М. Б. Барклай-де-Толли.



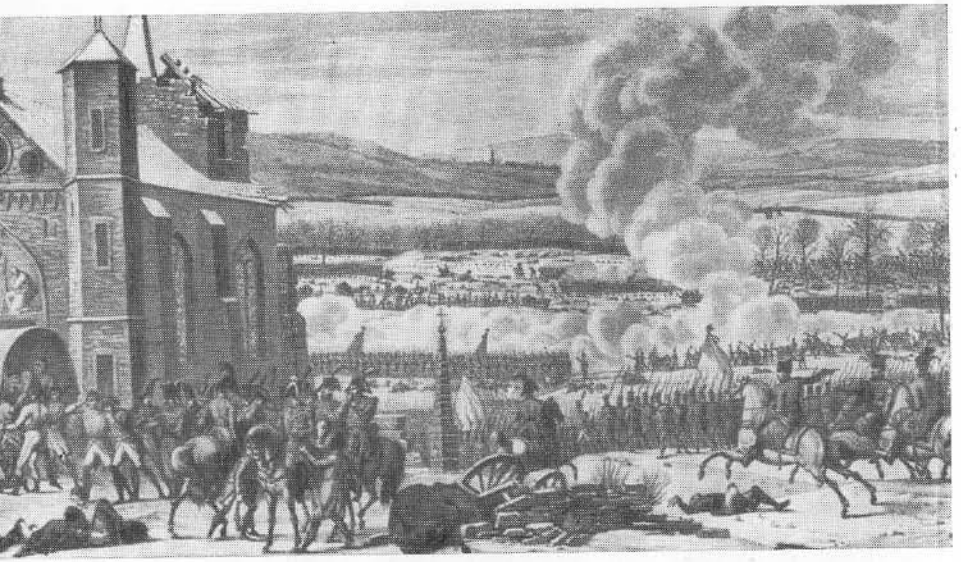
М. И. Платов.



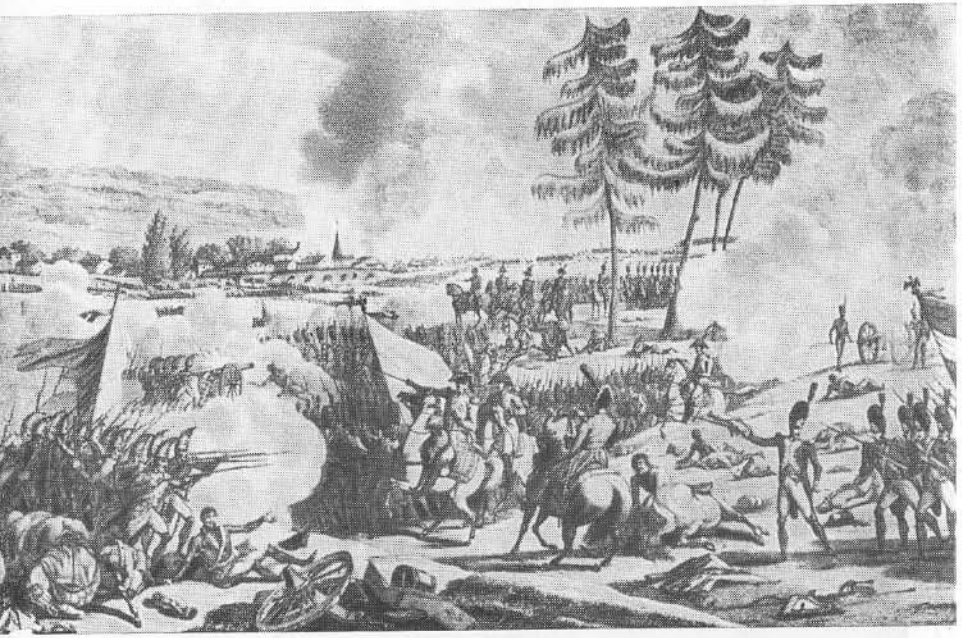
Д. С. Дохтуров.



Н. Н. Раевский.



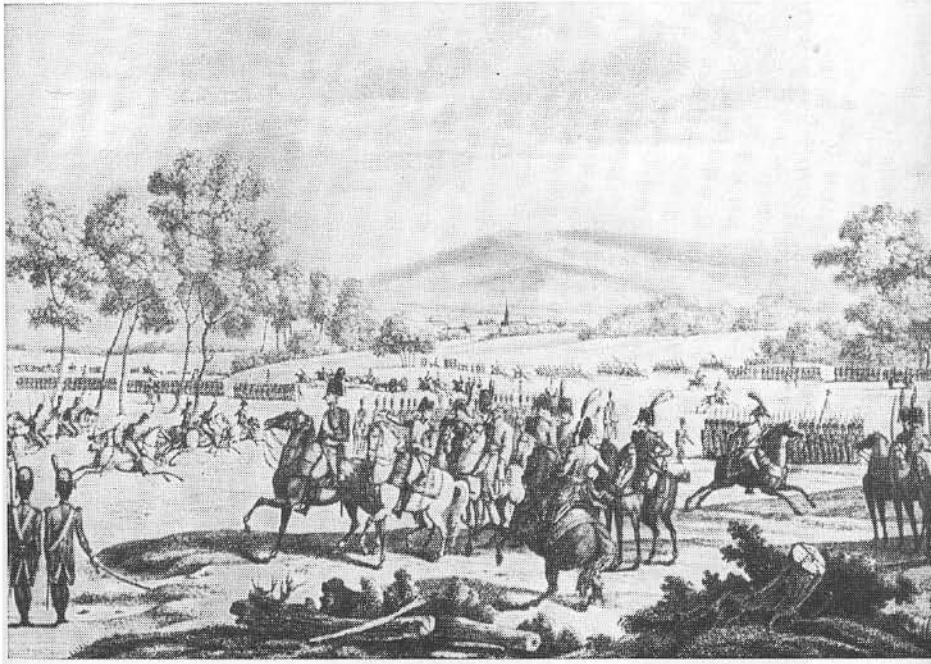
Сражение при Прейсиш-Эйлау.



Сражение при Фридланде. 1807 г.



Французские гвардейские конные гренадеры.



Парад в Тильзите 28 июня 1807 г.



А. И. Остерман-Толстой.



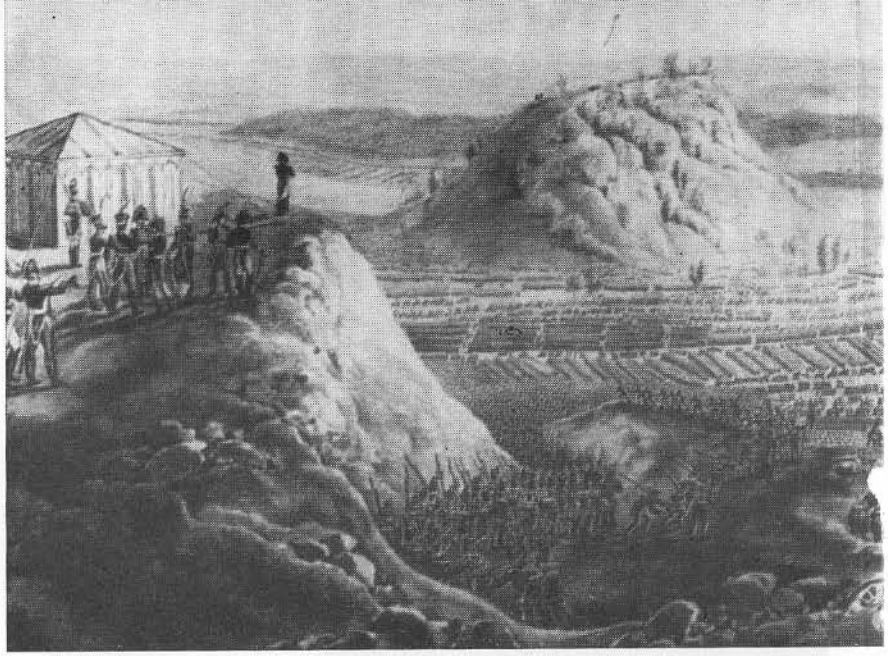
Д. П. Неверовский.



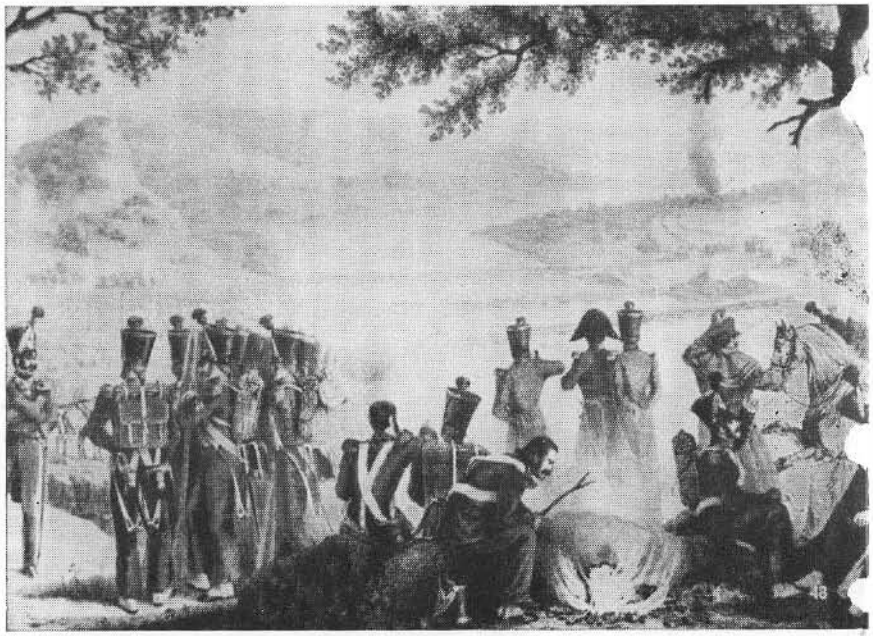
П. П. Коновницын.



Я. П. Кульнев.



Переход через Неман 12 июня 1812 г.



На берегу Немана.



Наполеон I Бонапарт со штабом на поле битвы.

И. Мюрат.



Л.-Н. Даву.





М. Ней.



Е. Богарнэ.



Французские карабинеры в 1812 г.



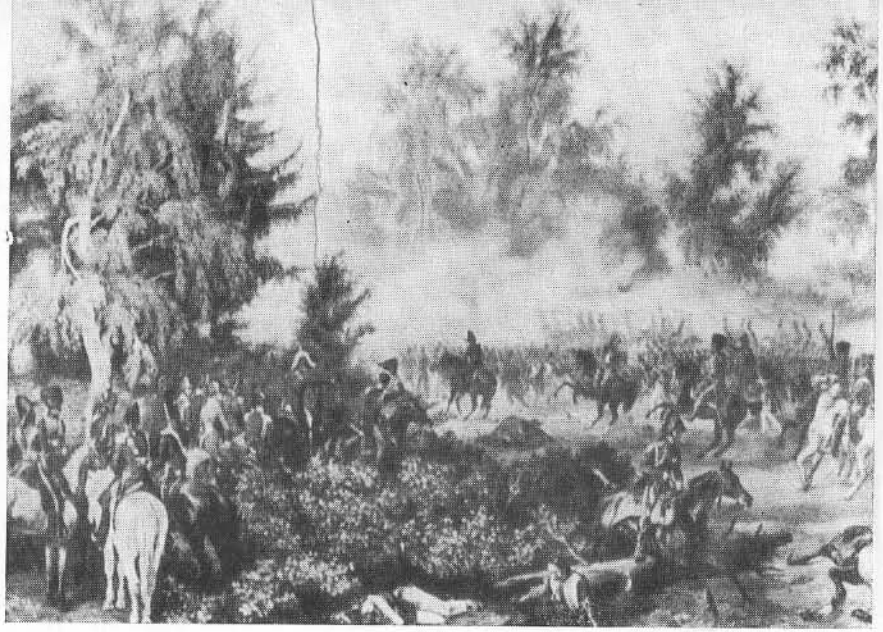
Французские гусары в перестрелке.



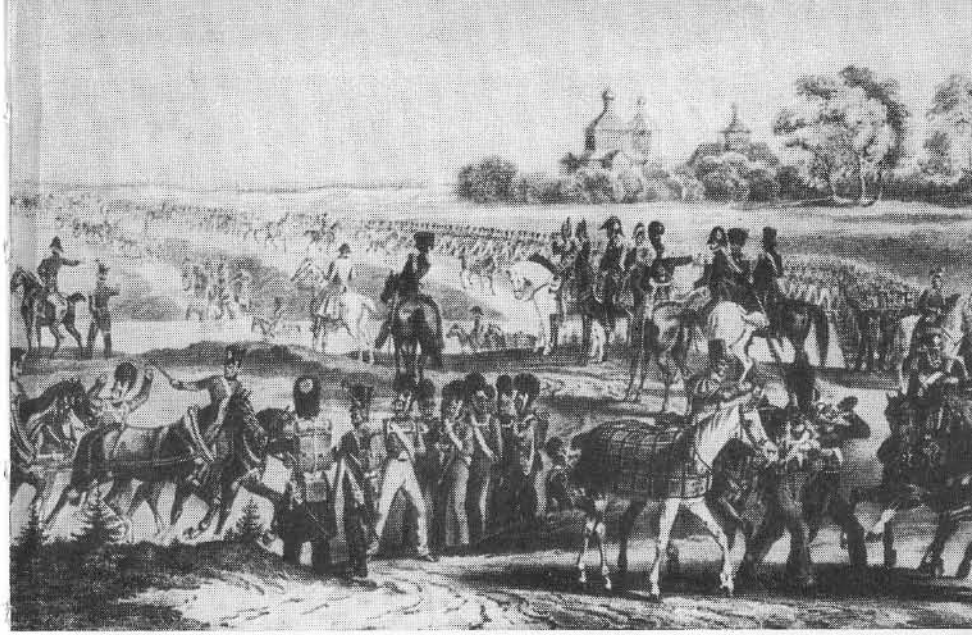
Трубачи французских кирасир в 1812 г.



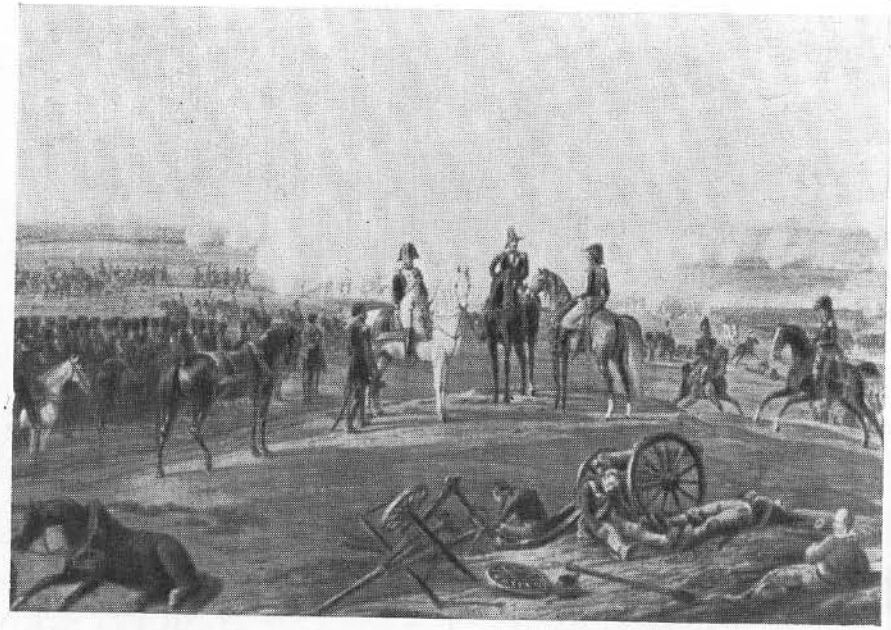
Французская конная артиллерия.



Бой при Островно 13 (25) июля 1812 г.



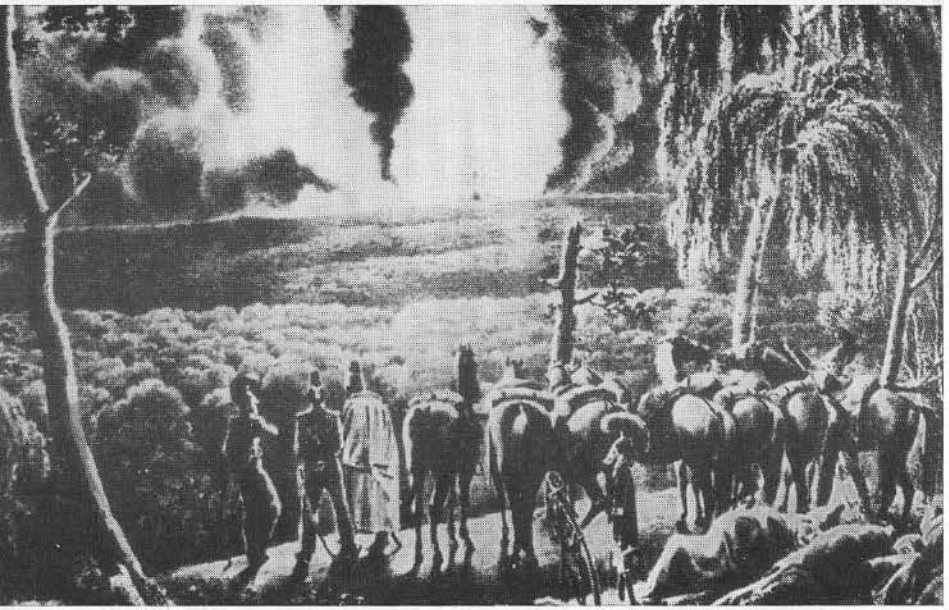
Переход французских войск через Днепр 2 (14) августа 1812 г.



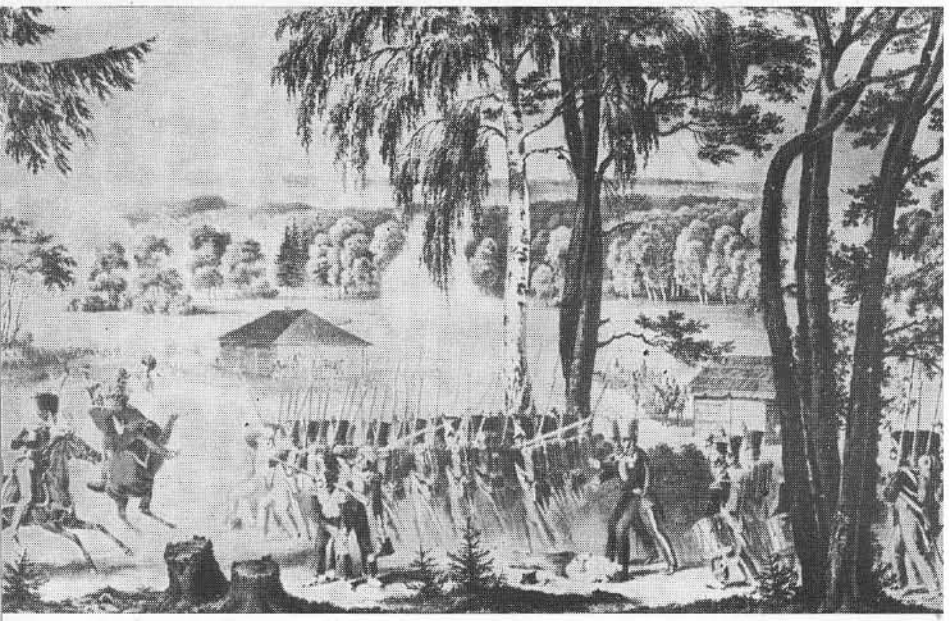
Под Витебском.



«На валах Смоленска».



Под Смоленском в 10 часов вечера 5 (17) августа 1812 г.



При Валутиной горе 7 (19) августа 1812 г.

и они многозначительно сказали: «Бог даст, она и нас полюбит».

Через несколько дней Матвей Иванович прислал к Ефремовым своих сватов. Получив согласие родителей, сваты ушли с рукопожатиями и словами: «В добрый час!»

А затем жених и невеста прошли «сговор», во время которого все веселились, пили вино, танцевали «Казачка» и «Журавель».

За два дня до свадьбы смотрели приданое, празднуя, как говорили казаки, «подушки». Накануне торжества для невесты и ее подружек устроили девичник.

Свадьба праздновалась в воскресенье. Невесту обрядили в брачную одежду — богатый парчовый кубилек и такую же рубаху. На голову надели высокую шапку из черных смушек с красным бархатным верхом, убранным цветами и перьями, а также лучшими украшениями из золота.

Матвей Иванович, празднично одетый, получив родительское благословение, вместе со священником, дружками и свахами пошел в дом невесты.

Из дома молодые отправились в церковь, скорее всего в Донскую домовую, построенную отцом невесты для своего семейства. В церковном притворе Надежду Степановну подготовили к венцу: сняв шапку, расплели девичью косу надвое. Так ее обычно носили замужние женщины.

После венчания молодых на крыльце дома Платовых встретили родители. Над головами они держали хлеб-соль. Молодые проходили, осыпаемые пшеницей, перемешанной с хлебом, орехами, мелкими деньгами.

Родители, угостив дружков, отвели жениха и невесту в брачную комнату. Появились они за столом только перед подачей жаркого...

Однако семейное счастье Платова было недолгим. Его жена умерла 15 ноября 1783 года, когда Матвей Иванович воевал на Кубани.

Долгих семь лет, с 1778-го по 1784-й, Платов участвовал в многочисленных сражениях против чеченцев, лезгин и других горских народов, постоянно нападавших на русские кордонные линии. Здесь в 1782 году он познакомился с Александром Васильевичем Суворовым, командовавшим Кубанским корпусом.

Суворов уже на Кубани увидел силу и мощь донского оружия. В одном из приказов по корпусу он писал: «Казаков обучать сильному употреблению дротика, по дон-

скому его размеру, в атаке, сшибе и погоне». Далее в этом же приказе полководец отмечал: «Казакам непременно быть всегда дротиком вооруженным, яко наисильнейшим их оружием для поражения всякого противника».

Советы и указания Суворова Платов помнил всю жизнь.

В 1784 году Матвей Иванович вернулся на Дон.

За время его отсутствия в управлении Войском Донским произошли значительные изменения. В 1775 году, сразу же после разгрома Пугачевского восстания, по предложению Г. А. Потемкина Екатерина II издала указ, по которому военная власть на Дону отделялась от гражданской. Во главе управления военными делами был поставлен войсковой атаман, которым стал «испытанный в верности» А. И. Иловайский.

Для ведения земских дел создали Войсковое гражданское правительство, состоявшее из атамана и шести старшин: двух по назначению и четырех выбранных на год. Так Войско Донское превратилось в административную единицу Российской империи со своим управленческим аппаратом, регалиями и печатью.

До этого казаки имели две печати. На одной из них мчался олень, пораженный стрелой, что символизировало вольного казака, убегающего от неволи в глубь степей Дикого поля, раненого, но свободного.

Другая печать была «дарована» донцам Петром I в 1704 году. Предание гласит, что во время своего пребывания в Черкасске Петр I, проходя по торговой площади, заметил казака верхом на бочке. Вид его поразил Петра I: казак был совершенно голым, но с дорогим ружьем в руке и саблей на боку. Царь обратился к казаку с предложением продать оружие, одеться и продолжить пир, на что тот с гордостью ответил: «Без оружия я не казак! С оружием я добуду себе одежду, послужу Войску Донскому и царю».

Ответ очень понравился Петру I, и он велел выбить новую печать Войска Донского, на которой изобразили обнаженного казака верхом на бочке.

Теперь же старые печати заменили новой, на которой был изображен двуглавый орел и выбита надпись по ободу: «Печать Войска Донского».

Еще много чего увидел Платов на Дону, но на юге

России вновь обострилась обстановка, и Платов прибыл в действующую армию в Крым. Князь Потемкин поручил ему формирование полка из «охочих людей».

Весной 1788 года полк был сформирован. После учений в ноябре полк Платова перебросили под Очаков, сильную турецкую крепость. Еще в июне русские войска под командованием князя Потемкина осадили ее, но турки отбили все атаки. Русские войска усиленно готовились к новой осаде.

Ноябрь 1788 года под Очаковом отличался стужей и сильными метелями. Казакам приходилось рыть землянки, утеплять их сухим камышом, заготавливать топливо из травы и камыша. Казачьи лошади бродили по степи и, не находя корма, гибли. Казаки страдали от холода и недостатка пищи, которую невозможно было привезти из-за снежных заносов.

В конце ноября русское командование решилось на штурм. По диспозиции полк Платова занял место на правом фланге колонны генерал-майора Палена. 6 декабря в четыре часа утра войска построились перед фронтом лагеря. В 6 часов колонны заняли свои места. Сигналом к атаке должны были служить три выстрела из орудий. По первому выстрелу солдатам и офицерам предписывалось сбросить на землю шубы и меховые башмаки, по третьему — атаковать. Несмотря на глубокий снег, казаки Платова, снабженные лестницами, быстро преодолели расстояние до крепостных стен. Турки открыли сильный артиллерийский огонь. Казаки стремительно зашли в тыл неприятеля и, вступив в рукопашную схватку, выбили турок из земляных укреплений. За этот подвиг Матвей Иванович Платов получил орден святого Георгия 4-й степени.

Для пресечения коммуникаций между Бендерами и Каушанами Потемкин направил к Каушанам два отряда. В составе одного из них находился Платов со своими казаками.

13 сентября подошли к Каушанам. Казаки Платова совместно с конными егерями решительно бросились на противника, засевшего в окопах перед крепостью. Несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, этот бросок решил исход сражения. Вскоре пала и сама крепость Каушаны. За отличие в сражении Платова произвели в бригадиры и назначили походным атаманом.

На пути армии к Аккерману находился замок Палан-

ка, захватить который поручили Платову. Его отряд, состоявший из двух Донских и Чугуевского полков, а также небольшого отряда майора Грижева, быстрым маршем достиг Паланки и стремительным ударом занял ее.

25 сентября отряд Платова подошел к Аккерману, и Матвей Иванович сразу же потребовал у турок немедленной сдачи.

Турки ответили сильной канонадой крепостных и корабельных орудий. Тогда казаки выставили на позиции орудия и открыл ответный огонь по крепости. Вскоре к Аккерману подошли и главные силы русской армии. Турки, поняв бесполезность дальнейшего сопротивления, 30 сентября начали переговоры. 2 октября Аккерман был сдан на условии свободного отхода к Измаилу трехтысячного гарнизона.

После сдачи Аккермана Бендеры оказались в полной изоляции и вскоре сдались.

Кампания 1789 года закончилась. Матвей Иванович был доволен прошедшим годом: он принял участие во всех главных сражениях кампании и стал бригадиром; его авторитет в армии и особенно среди донских казаков и казачьих военачальников еще более возрос.

30 ноября 1790 года Суворов в сопровождении конвоя из сорока казаков выехал к крепости Измаил. Накануне на военном совете решено было снять осаду. Встретив по пути отступающие русские войска, он завернул их обратно. 2 декабря Суворов прибыл к русским аванпостам. Раздалась пальба с батарей, армия восторженно встретила своего любимца.

— Я вам скажу, теперь-то мы точно возьмем крепость, — сказал Платов казакам.

Генерал-поручик Самойлов начал представлять Суворову командиров: вице-адмирал де Рибас, генерал-майор Марков... Очередь дошла до Платова.

— А, Матвей Иванович, батенька, дорогой мой! Помню, помню твои подвиги на Калалахе. Да неужто с такими богатырями мы не возьмем Измаила! — сказал Суворов, обнимая Платова, и тут же добавил: — Валы Измаила высоки, рвы глубоки, а все-таки нам его надо взять.

Переговоры с Айдос Магомет-пашой о мирной сдаче Измаила не дали ожидаемого результата, тогда Суворов собрал военный совет. На нем присутствовали генерал-поручики Потемкин и Самойлов, генерал-майоры Львов, Ласси, Мекноб, Кутузов, Арсеньев, Безбородко, Рибас, Тищев, бригадиры Вестфален, Орлов, Платов.

Александр Васильевич кратко изложил обстановку и обратился к присутствующим:

— Господа! По силе четырнадцатой главы воинского устава я созвал вас. Политические обстоятельства я постигаю как полевой офицер. Австрияки замирились с турками. Поляки двояки и переменчивы. Пруссаки вооружились против нас. Англия всех мутит. Франция помогает оттоманам. Мы с турками одни — лицом к лицу. России нужен мир. Измаил наш — мир и слава! Нет — вечный срам!.. Осада или штурм — что, отдаю на ваше рассуждение...

По обычаям военных советов первым должен был высказаться младший по званию — бригадир Платов.

— Штурмовать! — резко сказал он.

То же повторили остальные. Затем военный совет выработал постановление, которое первым подписал Платов.

Штурм был назначен на 11 декабря.

Ночью казаки пятой колонны, которой командовал Платов, почти не спали. Матвей Иванович ходил от одной группы к другой, беседовал, подбадривал, вспоминал родной Дон. На веселый голос молодого казака подошел поближе и стал слушать:

— Помню, батя сказывал, как деды наши женились. Казак брал невесту и вел ее в круг. Поклонившись на все четыре стороны и назвав ее по имени, говорил: «Ты будь мне жена». А та, поклонившись казаку в ноги, говорила: «Ты будь мне мужем». После этого они целовались, принимали от круга поздравления, и брак считался законным. И расходились легко. Казак, взяв за руку жену, вводил ее в круг и говорил: «Друзья, верные казаки! Я некоторое время имел жену. Она была мне услужливой, верной супругой, теперь она мне не жена, а я ей не муж. Кто ее желает, может взять». Отказанную жену любой мог взять себе в жены, прикрыв ее полою своего платья.

— Вот это был обычай, — сказал, улыбаясь, Платов, покачал головой и уже серьезно добавил: — Напоминаю еще раз: по первой ракете — приготовиться, по второй — занять места по диспозиции, по третьей — вперед на крепость. Я вам скажу одно — мы должны взять Измаил. А вернемся с победой — молодых женихов качать будем.

На рассвете после третьей ракеты колонны одновре-

менно бросились на штурм. Колонна Платова попала под фланговый огонь противника. Казаки как муравьи карабкались на стены под сильнейшим обстрелом и... отхлынули. Тогда Платов, перейдя ров по пояс в воде, с криком: «За мной!» — бросился на вал. Его пример увлек казаков, они рванулись на штурм и оказались в крепости. Там Платов соединился с четвертой колонной Орлова, но тут же на них кинулись турки. Поддержанные артиллерией казаки отбросили их.

За отличие при штурме Измаила Матвей Иванович был награжден «георгием» 3-й степени и произведен в генерал-майоры. Многие солдаты получили золотые медали с надписью: «За храбрость при взятии приступом города и крепости Измаила. 11 декабря 1790 года».

Вскоре султан подписал в Яссах мирный договор, по которому Россия приобретала земли Херсона, Таврии, Екатеринослава и окончательно укреплялась на Кубани.

В том же 1791 году князь Потемкин вызвал Платова в Петербург, где он был представлен Екатерине II. По ее специальному указу герою Измаила в императорском дворце Царского Села были выделены отдельные покои.

В Петербурге и Царском Селе Платову часто приходилось посещать балы, встречаться с именитыми сановниками. Такая жизнь, безусловно, не устраивала донского казака.

— Мы не рождены ходить по паркетам да сидеть на бархатных подушках, — говорил Платов казакам, сопровождавшим его в Петербурге. — Здесь вовсе можно забыть родное ремесло. Наше дело ходить по полю, по болотам да сидеть в шалашах или еще лучше под открытым небом, чтобы и зной солнечный, и всякая непогода не были в тягость. Так и будешь всегда донским казаком. Всякое дело тогда и хорошо, пока всегда с ним, а то ты от него на вершок, а оно от тебя на аршин, и так пойдете вы врозь: хорош будет толк.

Вскоре Платов выехал на Дон. А уже в 1796 году ему вместе с казаками вновь пришлось воевать — начался персидский поход под начальством В. А. Зубова. Платова назначили походным атаманом всех казачьих войск. Боевые действия в горах были казакам непривычны, к тому же постоянно нападали персы и горцы, так что поход был очень трудным.

Но иногда выпадали свободные минуты, и тогда Платов отправлялся на охоту с Андрианом Денисовым —

будущим героем Итальянского и Швейцарского походов А. В. Суворова, его любимцем.

Однажды громадный кабан свирепо ринулся на Матвея Ивановича и, очевидно, смял бы его, если бы Андриан Карпович метким выстрелом не уложил разъяренного зверя.

Смерть Екатерины II в 1796 году и восшествие на престол Павла I резко изменили порядки в русской армии. Незамедлительно последовала унизительная опала великого Суворова, а вместе с нею и всех его учеников и почитателей. Среди них оказался и Платов.

После окончания персидского похода враги Платова обвинили его в том, что он якобы не выплатил казакам 2-го Чугуевского полка деньги, причитавшиеся им за службу. Клеветники, завидовавшие его успехам, распускали даже слухи, будто Платов очень популярен среди калмыков и татар, будто он что-то замышляет: возможно, решил уйти на службу к турецкому султану. Платов был посажен на гауптвахту и предан суду.

Однажды там приснилось ему, что ловит он рыбу на родном Дону. И так уж получилось: поймал вместо сазана свою саблю. Утром, взволнованный, он просил бога о помощи, вспоминал родные места, жену, детей. Вспомнил Матвей Иванович и семейное предание о своем рождении, ставшее впоследствии народным.

Оно гласило, будто отец его, Иван Федорович, в день его рождения вышел из дому посмотреть на свое судно. Пролетавшая в это время птица уронила к его ногам кусочек хлеба. Он поднял хлеб и двинулся дальше, а когда подошел к реке, то вдруг большой сазан выпрыгнул к его ногам. Входит в дом, а ему говорят, что у него сын...

Суд при петербургском «ордонанс-гаузе» оправдал Платова, но военный суд, хотя и пришел к заключению о его невиновности, все же постановил: «За удержание сумм чрез немалое время у себя по точной силе воинского сухопутного устава 66 артикула, чину его без абшиду лишить».

На этом приговоре 9 декабря 1797 года Павел написал: «За все значащееся по сему делу... исключить из службы и Платова отправить к Орлову на Дон, дабы держать его под присмотром в Черкасске безотлучно».

Через несколько дней после суда Матвею Ивановичу принесли саблю. Он схватил ее, обнажил и радостно воскликнул:

— Вот она! Она меня оправдает!

13 декабря 1797 года Платов выехал на Дон. Однако в Москве его догнал фельдъегерь с письмом от князя Куракина, в котором сообщалось «высочайшее повеление Платову ехать в Кострому и жить там безвыездно». Одновременно Куракин отправил секретное письмо костромскому гражданскому губернатору Островскому. В нем указывалось: «...О не выездном его в Костроме пребывании и за образом его жизни прошу меня уведомлять».

Из Москвы на Дон войсковому атаману В. П. Орлову было отправлено известие об аресте Платова.

24 декабря 1797 года Матвей Иванович прибыл в Кострому. Здесь он явился к Б. П. Островскому и в тот же день отослал письмо Куракину с оправданием по всем пунктам своего обвинения. Потянулись томительные дни ссылки.

Платов, унылый, бродил по Костроме, посещал дом губернатора, часто встречался с А. П. Ермоловым, также сосланным в этот город.

Они быстро сошлись с Алексеем Петровичем.

Платов очень тосковал по Дону и часто рассказывал Ермолову о его славной истории, своей многочисленной семье.

После смерти первой супруги Матвей Иванович женился на вдове полковника Кирсанова Марии Дмитриевне, урожденной Мартыновой. От первого брака у него был двадцатилетний сын Иван. А на Дону его ожидали одиннадцатилетняя Марфа, девятилетняя Анна, восьмилетняя Мария, шестилетний Александр, четырехлетний Матвей и двухлетний Иван.

Однажды гуляя по городу, Платов даже предложил Ермолову после освобождения из ссылки жениться на одной из дочерей и обещал под его начало казачий полк.

В июне 1799 года Платов обратился к генерал-прокурору с письмом, в котором просил вернуть его на службу или отправить на Дон к семье.

Получив письмо от Платова, генерал-прокурор наложил на нем резолюцию: «Оставить без ответа, как дело, в которое я вмешиваться не смею».

Вскоре, 9 октября 1800 года, Платова отправили в Петербург и заключили в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Платов не мог понять, что опять случилось.

Только в январе 1801 года, на суде, он узнал о причине своей очередной опалы. Еще в сентябре 1800 года войсковой атаман В. П. Орлов, видевший в Платове своего главного соперника на атаманский пост, в рапорте Павлу I обвинил Платова в том, что он якобы принимал чужих крестьян, а в дальнейшем, чтобы запутать возможное следствие, подменил «ревизские сказки». На основании этого рапорта 1 октября 1800 года генерал-прокурор сделал императору доклад, в котором сообщалось о необходимости «посажения Платова по привозе в равелин».

С 14 октября 1800 года Платов находился в заключении в тесном каземате Петропавловской крепости. Тяжело пришлось лихому казаку вдали от родных степей, любимого Дона, милого семейства.

Во сырой тюрьме Петропавловской,
На реке Неве, граде Питере,
Страдал-мучился млад донской казак,
Атаман Матвей сын Иванович;
Там томился он в безызвестности
Ровно три года и три месяца.
Побелела его там головушка,
Очи ясные помутилися,
Богатырский стан, поступь гордая
В злой кручинушке надломилися.
Сердце пылкое, кровь казацкая
Тоской лютой иссушилися.
Сыны храбрые Дона тихого
Приуныли все, призадумались.
Куда делся наш атаман лихой,
Где томится он в злой неволюшке?
И за что, скажи, страдает-мучится
Витязь доблестный Платов батюшка?

Вспоминая тяжелые дни заточения, сам Матвей Иванович говорил: «Летом в этом каменном мешке была холодная, пронизывающая сырость, от которой узник хворал жестокою горячкою, а зимой от печей несло таким чадом, от которого глаза ело как от хрена».

11 января 1801 года Платова судил сенатский суд. Он вынес решение: «...Не находя таких дел, по коим бы генерал-майор Платов подлежал суду, о сем обстоятельстве всеподданнейше донести на благоусмотрение Вашего величества».

На сенатском рапорте была наложена резолюция: «Высочайше повелено освободить и из равелина выпустить, об известной же экспедиции объявить».

Павел I, раздраженный провокационным поведением своих союзников Англии и Австрии, порвал с ними отношения и почти одновременно оформил союз с Наполео-

ном I. Одним из условий этого союза являлось немедленное нанесение удара по Индии — богатейшей колонии Англии.

Первыми в Индию должны были вступить донские казаки. Для этого похода требовался храбрый предводитель. Советники государя предложили Платова. Император немедленно потребовал его к себе.

Когда комендант крепости сообщил Матвею Ивановичу об этом, тот не поверил и даже подумал, что его хотят казнить.

Перед выходом из крепости цирюльник побрил, постриг атамана, повел в баню и принес ему новую генеральскую форму. Интересно, что этот мундир принадлежал одному из преследователей Платова, который потом и сам был арестован.

Матвея Ивановича в сопровождении фельдъегеря доставили к императору.

— Здравствуй, Матвей Иванович. Очень рад тебя видеть, — сказал государь, подводя Платова к карте, где изображался путь от Оренбурга до Индии. — Видишь эту дорогу, знаешь ты ее, она тебе знакома?

— Да, знакома, — растерянно ответил Платов, не зная ее совершенно.

— Пойдешь с казаками по этой дороге в Индию, Матвей Иванович?

— Пойду, ваше величество, — ответил тот.

Павел I, видимо пытаясь примириться с опальным казачьим атаманом, возложил на него командорский крест ордена святого Иоанна Иерусалимского и разрешил трехдневное свободное пребывание в Петербурге. А потом он должен был ехать в Черкасск, поднимать донских казаков в поход.

— Там ты посадишь на коня всех, кто только сидеть может и копье держать, и с этим деташементом иди ты немедля с Дона через Урал на Оренбург. В Оренбурге губернатор Бахметьев даст тебе «языков» и все нужное для похода. От Оренбурга ты пустишься степями, мимо Хивы и Бухары, до самой Индии.

19 января 1801 года Платов уже мчался на почтовых в Черкасск. Туда еще до его приезда пришел именной высочайший указ: «Собрать все Донское Войско на сборные места: чтобы все наличные обер-офицеры и нижние чины непременно в 6 дней выступили о двух конях и с полуторамесячным провиантом».

В январе 1801 года донские казаки, возглавляемые Платовым, двинулись в далекий путь.

До Оренбурга они шли весело, с песнями. Но дальше открылись неизведанные заволжские степи. Начались бедствия: казаки голодали, заболевали. Лошади и верблюды падали ежедневно. Дорогу на Хиву и Бухару искали наугад. На карте, которую прислал Павел I, дорога от Оренбурга до Бухары и Хивы и далее на Индию была обозначена тонкой линией, а что скрывалось за ней — никто не знал.

За три недели казаки по тяжелой дороге прошли 700 верст. Многие умирали от болезней и холода. Падеж лошадей усилился. В войске поднялся ропот, были даже случаи открытого неповиновения не только среди рядовых казаков, но и среди офицерства. Все стали просить Матвея Ивановича вернуться на Дон.

Наконец 23 марта, когда передовые отряды войска уже достигли верховьев Иргиза (в селе Мечетном Вольского уезда Саратовской губернии), гонец из Петербурга догнал их и объявил о смерти Павла I и восшествии на престол нового государя — Александра I, который повелел донцам вернуться на родину.

Так окончился этот поход.

III

Вскоре умер атаман Войска Донского В. П. Орлов. По возвращении на Дон рескриптом от 12 августа 1801 года генерал-майор Платов был назначен атаманом Войска Донского. «Известные ваши достоинства и долговременная и безупречная служба, — указывалось в рескрипте, — побудили меня избрать вас в войсковые атаманы Войска Донского на место умершего генерала от кавалерии Орлова».

У нового атамана сразу же появилось много забот по внутреннему устройству края. Первое, что решил сделать Платов, — перенести казачью столицу на новое место: Черкасск ежегодно затоплялся водой, что, естественно, затрудняло административную, политическую и хозяйственную деятельность городка. Но это был всего лишь повод. Старая столица донских казаков уж больно прославилась своим мятежным прошлым. Еще памятны были среди казачества легенды о Разине, Булавине...

Чтобы решить, куда переносить новую столицу, в 1804 году на Дон прибыл инженер де Волан. Тогда же

создали специальную комиссию по устройству новой столицы.

Осенью 1804 года комиссия осмотрела ряд мест, пригодных для основания новой столицы, в том числе Аксайские и Черкасские бугры, Заплавскую и Манычскую станицы. Решено было остановиться на урочище Бирючий Кут — возвышенности, расположенной между реками Аксай и Тузлов.

7 ноября 1804 года Платов и де Волан представили Александру I доклад и план будущего города. К плану прилагалось описание улиц, площадей, где должны располагаться соборная и ряд других церквей, войсковая канцелярия, гимназия, гостиный двор, лазарет. 31 декабря 1804 года Александр I утвердил эти документы.

Для строительства Нового Черкасска — так назвали новую столицу — был назначен производитель работ инженер-капитан Ефимов, до этого руководивший высыпкой дамб в Старом Черкасске, как стали называть казаки бывшую свою столицу.

Под его команду было отдано два полка казаков. Многие из них участвовали в строительстве новой столицы в качестве мастеров и рабочих. К делу привлекли малороссиян, приписанных к станицам.

18 мая 1805 года по приказу Платова более тридцати станиц с воинскими регалиями и знаменами вызвали для участия в церемонии закладки новой столицы. От каждой станицы при закладке присутствовало по три подростка.

Прежде всего был заложен войсковой Вознесенский собор. В позолоченный ларец опустили серебряную доску с надписью: «Город Войска Донского, именуемый Новый Черкасск, основан... лета от Рождества Христова 1805-го 18 дня, который до сего существовал 235 лет при береге Дона на острове, от сего места прямо на юг расстоянием в 20 верст под названием Черкасска».

Затем были заложены Александро-Невская церковь, гостиный двор, войсковая канцелярия, гимназия.

В конце дня начались гулянья. В огромном шатре, специально установленном накануне празднества, накрыли столы для трехсот человек. Здесь пировали самые почетные гости во главе с Платовым. Остальные участники закладки гуляли под открытым небом. Торжества сопровождались обычными казачьими состязаниями.

19 мая произошло торжественное перенесение столицы из Старого Черкасска в Новочеркасск. Переезд совершался по залитой водой пойме Дона. Под звон колоколов разжалованного города процессия погрузилась на лодки и плоты и взяла курс на Бирючий Кут. На головной лодке везли воинские знамена и регалии, дарованные казакам за их подвиги в войнах. За ней следовала лодка с духовенством, затем с атаманом. Далее сплошной вереницей тянулись лодки со станичниками.

Проделав почти 20 верст пути, они причалили к специально построенной пристани. У временной войсковой канцелярии состоялось провозглашение новой столицы. Гулянья продолжались не один день.

Как атаман, Платов, несомненно, больше всего заботился о боевой подготовке, вооружении и комплектовании донских казачьих полков, особенно о совершенствовании тактики действий донских казаков, вырабатывавшейся в течение столетий. При атаке казаками применялся тактический прием под названием «лава» — атака рассыпным строем. Его донцы использовали при прямом нападении на врага, охвате его флангов и обходе. При каждом из этих действий характер «лавы» имел свои особенности. Так, при прямой атаке противника после получения сигнала к атаке казаки стремительно нападали на врага. Если противник не был сломлен, завязывались индивидуальные поединки. Но в схватке участвовали не все казаки. Восемь-девять казаков во главе с младшим офицером, не вступая в сражение, держались в середине. Это так называемый «маяк». Его основное назначение заключалось в организации преследования разбитого в индивидуальном сражении противника.

При обороне казаки применяли тактический прием — «вентерь» — по названию рыболовной снасти, устроенной так, что рыба легко попадает в нее, но не может выйти обратно. Для заманивания противника в засаду выделялась специальная группа казаков, наиболее смелых и ловких. По сторонам дороги, где предполагалось движение врага, в скрытых местах ставилось несколько партий казаков. Когда неприятель устремлялся на группу заманивания, она бросалась в притворное бегство, вовлекая противника в «вентерь». В решающий момент неприятеля атаковали с трех сторон и обычно одерживали победу.

«Сторожевое охранение казаков было лучше, чем у нас, — записал Коленкур высказывание Наполеона, — их лошади, пользовавшиеся лучшим уходом, чем наши, оказывались более выносливыми при атаке... Какую бы

цену ни придавали захвату пленных, захватить их не удавалось».

Своеобразное вооружение донцов изменялось на протяжении столетий.

Грозным казачьим оружием была пика, своего рода трансформированное копье. В России пика появилась во второй половине XVII века, а на Дону — в начале XVIII. В 1721 году пики были сняты с вооружения регулярной армии, но оставлены у донских казаков. Казачья пика представляла собой трехгранный острый наконечник, прикреплявшийся к круглому древку четырьмя короткими полосами (помочами). В 1812 году древки пик красились в красный цвет. Общая длина пики достигала 3,5 метра. Пики донских казаков отличались от других креплением трубки. Наряду с саблей пика являлась любимым оружием донских казаков.

Кроме холодного оружия, у донских казаков издавна были ружья и пищали, как русские, так и турецкие.

В начале XIX века донцы получили на вооружение «ружье казачье». Его специально приспособили для действия на лошади, сделав легче обычного и удобнее при стрельбе с лошади. Уже после смерти Платова появились у казаков на вооружении специальные казачьи пистолеты, легкие и удобные при стрельбе.

Большое внимание уделял Платов развитию народного образования на Дону. Главное народное училище было открыто в Черкасске еще в 1793 году. Во времена атаманства Платова оно состояло из четырех классов. Дополнительный, рисовальный, класс набирал особо одаренных учеников. Обучение было бесплатным. К 1805 году училище имело кабинеты: естественной истории, математический и физический. В физическом, кроме прочих приборов работала гальваническая машина. Хорошая по тем временам библиотека состояла из 200 названий книг и регулярно пополнялась новыми.

Матвей Иванович, интересуясь успехами учеников народного училища, неоднократно посещал его. Во время вступления Платова на пост войскового атамана там было 134 ученика, в 1802 году 224, а к 1805 году уже 253 ученика.

Своеобразие Черкасского народного училища заключалось в том, что с 1798 года в него принимались только мальчики. Это и понятно — так готовились кадры для полков.

При деятельном участии Платова главное народное училище было преобразовано в первую на Дону гимназию. 11 июля 1805 года состоялось ее открытие. В ее стенах зазвучали речи приехавшего из Харькова па открытие профессора И. Ф. Тимковского и преподавателей, перемежавших свои слова о пользе просвещения латынью, немецким и французским языками. Теперь уже никто не мог сказать, что казаки — это темные, забитые люди, тем более что к тому времени на Дону было открыто семь народных училищ, причем одно из них — для крестьян, обучавшихся бесплатно, за счет средств, пожертвованных генералом Курнаковым.

В тот же день начались занятия. Вечером город был иллюминирован, а атаман Платов давал станичникам бал.

Платов очень бережно относился к донским самородкам. Он поощрял в творческих занятиях писателя, уроженца Верхне-Курмоярской станицы Евлампия Никифоровича Кательникова. В заграничных походах 1813—1814 годов Кательников состоял при атамане Платове «за дежурного штаб-офицера и письмоводителя». В 1814 году он писал стихи и речи — «На поздравление Войска Донского с прибытием из армии на Дон». В том же году было опубликовано стихотворение Кательникова «Разговор», посвященное Платову. Интересно, что поэт, всегда вступавший в конфликты со светскими властями, восторженно отзывается о Платове:

И времена времен с собою
Из лука пущенной стрелою,
Когда все смертные уснут,
Ермак!.. И после имя ново
В наследных подвигах Платова
К кончине света принесут.

IV

Впервые Платову пришлось столкнуться с наполеоновскими войсками в кампании 1806—1807 годов, когда против Франции выступила коалиция в составе России, Пруссии, Англии и Швеции.

27 января 1807 года у города Прейсиш-Эйлау произошло решающее сражение. В наполеоновской армии насчитывалось 70 тысяч человек, в русской, которой командовал Л. Л. Беннигсен, немногим более 78 тысяч человек. Корпус Платова принял самое активное участие в этом кровопролитном сражении. В разгар боя мно-

гочисленная французская кавалерия начала неожиданную атаку на центр русской армии. Чтобы предотвратить катастрофу, Платов приказал казачьему полку Киселева контратаковать противника. В ожесточенной схватке казаки опрокинули гвардейские эскадроны.

Уже тогда Наполеон почувствовал силу и мужество русского солдата.

Вскоре Наполеон отступил от Прейсиш-Эйлау, который тотчас заняли казаки Платова. С этого момента корпус Платова находился в постоянных схватках с неприятелем. 8 февраля у Ландсберга казаки захватили в плен 384 француза, отбив при этом 200 русских пленных. На следующий день у селения Древенц они захватили еще 167 неприятельских солдат.

Казаки беспрерывно тревожили французов. Во время боевых действий Платов строго следил, чтобы казаки не допускали насилия над мирным населением, «а преисполняли себя одними только помышлениями сражаться с неприятелем и, умножая свои отличные храбрости, с ними вместе умножали и славу Войску Донскому, которая еще прародителями нашими знаменитыми делами заслужена».

23 мая русская армия приблизилась к Гутштадту, где стоял маршал Ней. Корпус Платова находился в это время в районе Бергфрида. Его основная задача состояла в том, чтобы совместными усилиями с отрядом Кнорринга перейти через реку Алле между Гутштадтом и Алленштейном и этим помочь наступлению главных сил русской армии.

Однако корпус Нея, не принимая боя, быстро отошел. Платов переправился через Алле, когда французы уже отступили. Наполеон, получив от Нея известие о наступлении русских, быстро сосредоточил в один мощный кулак шесть корпусов и отдал приказ о контрнаступлении. Армии поменялись ролями: под напором превосходящих сил противника русская армия начала отступление к Гейльсбергу. Платов, прикрывавший армию со стороны Вольфсдорфа, после переправы русских войск у Гутштадта, уничтожив мосты и понтоны через Алле, два часа удерживал крупные силы неприятеля. Затем его корпус до ночи прикрывал отступление русской армии, двигавшейся через лес.

Кровопролитное сражение началось у Гейльсберга 29 мая. Здесь казаки Платова отличились своими фланговыми ударами, когда французы попытались овладеть русскими батареями, стоявшими в центре и на флангах

позиции. С заходом солнца битва, длившаяся с восьми часов утра, прекратилась. Французы потеряли восемь тысяч, русские — около десяти тысяч человек.

На следующий день, 30 мая, противник, чтобы скрыть движение основной массы войск, произвел несколько атак на русскую армию, которые были отбиты силами казаков корпуса Платова. Тем временем основная часть армии Наполеона двигалась в сторону Бартенштейна и Прейсиш-Эйлау.

В ночь на 31 мая Беннигсен отдал приказ идти к Бартенштейну. Арьергард князя Багратиона и корпус Платова прикрывали движение всей армии. 1 июня русская армия оставила Бартенштейн и направилась к Фридланду. Ночью разведчики наполеоновского маршала Ланна доложили императору, что русская армия готовится перейти на западный берег реки Алле и выступить по направлению к Кенисбергу. Наполеон приказал Ланну немедленно начать сражение и сам отправился к Фридланду. Здесь он очень скоро открыл губительную ошибку бездарного Беннигсена, который, стремясь как можно быстрее перейти через реку, сосредоточил значительную часть армии в излучине Алле, где войска оказались в своеобразной ловушке, охваченные с обеих сторон водой. Несмотря на храбрость и мужественное сопротивление русской армии, эта ошибка стоила жизни тысячам русских солдат и офицеров. Почти вся русская артиллерия попала в руки французов. Результатом поражения под Фридландом был Тильзитский мир.

Кампания 1807 года закончилась. Награда за участие в ней: орден Александра Невского с алмазными знаками и орден святого Георгия 2-й степени.

Платов! Европе уже известно,
Что сил донских ты страшный вождь, —

писал в 1807 году в стихотворении «Атаману и Войску Донскому» великий Державин.

В Тильзите Платов вместе с другими русскими генералами присутствовал на встречах Александра I с Наполеоном.

Во время первой встречи, соблюдая взаимный этикет, русским генералам необходимо было представиться Наполеону. Когда очередь дошла до Платова, Наполеон бросил на него быстрый взгляд и стремительно прошел мимо, не сказав ни единого слова в приветствие.

— Я вам скажу, не знаю, почему я таким страшным

показался Наполеону, когда ничем не разнюсь наружностью от других людей, — заметил Матвей Иванович после смотра. И вдруг добавил: — А все же хочется мне, друзья, рассмотреть его поближе.

В армии Матвей Иванович слыл физиономистом: мог по чертам лица судить о характере человека.

Вскоре под Тильзитом был сделан генеральный смотр русским войскам, на котором присутствовали Александр I, Наполеон и король прусский.

Платов пристально стал всматриваться в Наполеона. Заметив это, один из французских маршалов подъехал к Матвею Ивановичу и через переводчика спросил:

— Конечно, атаману нравится Наполеон, что он так пристально на него смотрит?

— Я вам скажу, что я вовсе не на императора вашего смотрю, в нем нет ничего необыкновенного: такой же, как и прочие люди! Я смотрю на его лошадь; я как сам знаток, то весьма хочется мне отгадать, какой она породы: персидской, арабской, а может, и египетской или какой другой нации, — якобы простодушно ответил Платов.

И все же Матвею Ивановичу удалось хорошо разглядеть Наполеона. Уже после смотра он сказал своим казакам:

— Хотя быстрый взгляд и черты лица его показывают великую силу ума его, но в то же время являют и необыкновенную жестокость. Этот человек не на благо, а на пагубу человечества рожден.

В дальнейшем состоялось несколько личных встреч Платова и Наполеона. Одна из них произошла на скачках, где он поразил императора Франции умением стрелять из лука. Изумленный Наполеон несколько раз подбегал к Платову, а в конце встречи в знак большой признательности подарил ему табакерку с собственным портретом, осыпанную драгоценными камнями. Донской атаман постоянно носил ее с собой, а когда в апреле 1814 года Наполеон отрекся от престола, заменил на табакерке изображение Наполеона на «приличный антик». В таком виде Матвей Иванович носил подарок французского императора до своей смерти.

Наполеон решил даже наградить лучших, на его взгляд, генералов французским орденом Почетного легиона. Но Платов отказался от французского ордена. «За что ему меня награждать? — сказал он. — Ведь я ему не служил и служить не могу».

В начале 1808 года Платов отправился на русско-турецкий театр военных действий в Молдавию. Весной Платов был назначен командиром главного авангарда армии, но военные действия начались лишь в 1809 году, в которых под Браиловом русские потерпели неудачу. Но вскоре умер бездарный главнокомандующий русской армии фельдмаршал Прозоровский. Командовать стал генерал Багратион. Он сразу же созвал военный совет, на котором присутствовали Кутузов, Платов, генералы Резвой и Гартинг. Было решено снять осаду Браилова и переправиться за Дунай у Галаца.

7 мая 1809 года русская армия отступила на левый берег реки Серет и расположилась лагерем у Сербешты. Турецкая армия, выйдя из крепости Браилов, стала преследовать арьергард русской.

Платов приказал на месте русского лагеря вырыть и хорошо замаскировать глубокие ямы, а затем дать бой туркам.

Неожиданным ударом из засады казаки Платова опрокинули турок и погнали их на замаскированные ямы. Благодаря этой хитрости большое количество неприятеля было убито на поле боя, казаки захватили много пленных.

Теперь необходимо было взять сильную крепость Гирсово, осадить ее было приказано Платову. В письме Матвею Ивановичу Багратион писал: «Представляю вам, мой друг, взятие Гирсова, а никому другому».

17 августа казаки Платова окружили Гирсово, а 22 августа Гирсово пало.

Багратион доносил Александру I: «Нынешний же его (Платова) подвиг при весьма ограниченных для такого дела способах успешно произведенный, заслуживает всемилостивейшего внимания вашего императорского величества к сему достойному воину».

В этом донесении Багратион ходатайствовал перед императором о присвоении Платову воинского звания генерала от кавалерии.

4 сентября 1809 года у селения Рассеват на берегу Дуная произошло крупное сражение. Подойдя к селению, Багратион послал туда две партии казаков с целью выманить врага из местечка. Турки выступили, и Платов ударил в центр построения армии Хозрев Мехмед-паши. А вскоре под напором других корпусов неприятель обратился в бегство. Легкая кавалерия Платова активно преследовала отступавших. «Генерал-лейтенант Платов, сле-

дуя по стезям прежних его славных подвигов, в нынешней полной и совершенной победе, одержанной над неприятелем, украсил сам седую главу свою венцом славы, везде был впереди», — отметил Багратион в реляции.

Последнее крупное сражение, в котором участвовал корпус теперь уже генерала от кавалерии Платова, была битва при деревне Татарице. Русской армии противостояла двадцатитысячная армия верховного визиря.

Поле битвы осталось за русскими...

В конце 1809 года Платов сильно заболел. «Доктора находили даже в нем признаки чахотки», — писал его первый биограф Н. Смирный.

Вначале Матвей Иванович уехал лечиться на Дон, затем в Петербург к старому приятелю лейб-медику Я. Виллие. Там он иногда появлялся на балах, хотя и чувствовал себя не очень привычно.

Когда его спрашивали: «Не лучше ли здесь, нежели на Дону?» — он всегда отвечал: «Здесь все прекрасно, но на Дону лучше, там все есть, кроме роскоши, которая нам не нужна. Человек, подходящий ближе к природе, сильнее привязан к своему Отечеству. Человек роскошный, не имеющий подобных чувствований, обыкновенно бывает космополит, и тогда мы всегда будем первым народом в свете, страшны врагам».

Подлечившись, Платов отправился на западную границу в расположение своего корпуса.

Приближался грозный 1812 год.

V

11 июня в 10 часов вечера наполеоновские войска начали форсирование Немана. На небольших лодках первыми переправились три роты легкой пехоты генерала Морана. Под их прикрытием саперные части энергично приступили к сооружению надежных переправ. На рассвете 12 июня армия Наполеона осадила русский берег Немана, тремя колоннами продвигаясь в глубь русской земли.

Так началась первая Отечественная война 1812 года.

Наступление наполеоновской армии произвело сильное впечатление на Александра I, русский двор, генералитет русской армии.

Многие были перепуганы, ошеломлены, растерянны. Наполеон знал об этом и надеялся, что одним сражением заставит русскую армию капитулировать. Но он

еще не знал, что, вступив на русскую землю, будет воевать не только с Александром I, его министрами и царедворцами, а со всем народом, народом гордым, мужественным и оскорбленным. С народом, который на протяжении многих веков не мог признать ничьей власти над собой. Да, Наполеон не знал еще русского народного духа. А знали ли его многие царские сановники? Министры? Александр I?

Откуда? Ведь многие дети аристократических фамилий, всевозможные Нарышкины, Гагарины, Меншиковы, Бенкендорфы, Полторацкие и прочие, набирались умуразуму в Петербургском иезуитском институте, где проникались духом иезуитского ордена, с ранних лет воспитывали в себе чувство вражды к своей родине, своему народу, культуре и вере предков.

Березовский, генерал иезуитского ордена в России, разнес иезуитское просвещение во все концы страны: в Полоцк, Петербург, Могилев, Витебск, Астрахань, Саратов, Моздок, Одессу, Тифлис, даже в Сибирь вплоть до границ Китая. В самом начале 1812 года иезуиты проникли и в Москву.

В грозном 1812 году, когда практически вся Европа выступила против России, когда настало время тяжелейших испытаний и борьбы на жизнь и смерть, Александр I и большая часть официальной России не были готовы к этому. Никто не верил в свой народ, в его духовные силы. Опору искали не в народе, а во всевозможных масонских ложах и иезуитских корпусах — там, откуда грозило предательство и разрушение духовных сил народа. «Я не замечала народного духа, — подчеркивала известная французская писательница г-жа Сталь, — внешняя переменчивость у русских мешала мне наблюдать его. Отчаяние оледеняло все умы, а я не знала, что отчаяние — предтеча страшного пробуждения. Точно так же в простом народе видишь непостижимую лень до той минуты, когда пробуждается его энергия, тогда она ни преград, ничего не страшится; она, кажется, побеждает стихии так же, как и людей». И далее: «Невозможно было довольно надивиться той силе сопротивления и решимости на пожертвования, какую обнаружил народ».

Бесспорный военный гений Наполеона, огромная армия, блестящие победы в Западной Европе заставляли предполагать всю порабощенную Европу, что русская армия будет разгромлена в течение нескольких недель.

Только после вторжения наполеоновских войск на

русскую землю Александр I понял, что избавит Россию от них только русский народ.

С самого начала войны император России имел неверные представления о силе и намерениях французов, да и его собственные планы отличались расплывчатостью, а порой и просто необдуманностью.

Так, силы русской армии не были сосредоточены на западной границе. Значительная часть их, предназначенная для так называемых «диверсий в тылу противника», находилась далеко от Немана.

Три дивизии под начальством генерала Штейнгеля располагались в Финляндии и окрестностях Петербурга для того, чтобы помочь шведам завоевать соседнюю Норвегию, а в дальнейшем пробираться на север Германии и там поднимать население на борьбу против французов.

Дунайская армия, недавно окончившая войну с Турцией, должна была проникнуть в Далмацию и Иллирию, а в случае благоприятных обстоятельств — даже в Северную Италию, где, как предполагалось, ей окажут помощь славянские народы Балкан и английский флот.

Александр I и его соратники придавали этим вылазкам огромное значение, при этом упуская основное правило военного искусства: «Сосредоточение всех сил именно в тех пунктах, в которых должны свершаться решительные действия».

Эти диверсии могли иметь решающее значение только тогда, когда на главном театре военных действий были бы достигнуты большие успехи.

Помимо этого, в русских войсках царила неразбериха. Дело в том, что все три русские армии на западной границе имели своего особого командующего и каждый из них не признавал авторитета другого командующего.

Главнокомандующий 1-й Западной армии Барклай-де-Толли скорее всего имел право считать себя выше главнокомандующего 2-й армии Багратиона и командующего армии Тормасова, потому что он был военным министром, а также имел самую многочисленную армию.

Но, с другой стороны, в военной иерархии Багратион и Тормасов стояли выше Барклая, так как они раньше были произведены в генералы от инфантерии.

Александр I, не предоставляя Барклаю верховной власти над всеми войсками, вначале думал командовать сам, руководствуясь советами генерал-лейтенанта Фуля.

Этот бывший прусский полковник, страстный поклонник Фридриха II, создал свою собственную систему, которая, по замечанию известного военного историка Клаузевица, не выдерживала ни исторической, ни философской критики.

Суть ее заключалась в том, что оборонительную войну следует вести двумя армиями. Одна из них должна противостоять неприятелю на фронте, а другая — действовать в его тылу и на флангах. Для прикрытия дорог лучше всего, по его мнению, располагаться в стороне от них, то есть занимать фланкирующую позицию.

Анекдотичным можно назвать и выбор Дрисского лагеря. Предназначенный для оборонительных целей, *окруженный с фронта лесом и не защищенный с тыла, он был* просто ловушкой для русской армии. Приходится только удивляться, как мог Александр I довериться прусскому авантюристу?

Со стороны боевых генералов этот план подвергался самой ожесточенной критике, однако Александр I придерживался иного мнения.

Кстати, современникам было хорошо известно особое отношение Александра I к дворянам нерусского происхождения, так называемым «немцам». «Немцем, — писал Н. В. Гоголь в «Ночи перед рождеством», — называют у нас всякого, кто только из чужой земли, хоть будь он француз, или цесарец, или швед — все немец».

Отечественная война 1812 года, естественно, ускорила рост исторического и национального самосознания русского общества. Вполне понятно, что во время войны усиление этого чувства сопровождалось зачастую проявлением в дворянском обществе неприязни к иностранцам Поводов для этого было очень много. Достаточно сказать, что из 332 генералов, участников войны 1812 года и заграничных походов, портреты которых помещены в военной галерее Зимнего дворца, только около 200 носили русские фамилии. Засилье генералов и офицеров с иноземными фамилиями в штабах, в артиллерии и инженерных войсках вызывало открытое негодование. Составлением реляций занимались практически только иноземцы. Л. Н. Толстой в статье «Несколько слов по поводу книги «Война и мир» писал: «Все испытавшие войну знают, как способны русские делать свое дело на войне и как мало способны к тому, чтобы его описывать с необходимой в этом деле хвастливой ложью. Все знают, что в наших армиях должность эту, составление реляций и донесений, исполняют большей частью наши инородцы». Из пятна-

дцати человек, составлявших штаб 1-й Западной армии, восемь человек носили нерусские фамилии. Начальник штаба армии А. П. Ермолов был широко известен своим остроумием и отрицательным отношением к «немцам». Однажды, войдя в помещение штаба и оглядев собравшихся, он с иронией громко сказал: «Господа! Кто-нибудь говорит по-русски?»

Но война началась!

Платов о вторжении французов узнал ночью 14 июня, ему приказывалось действовать в правый фланг противника.

Перед вступлением в первый бой Платов отдал патриотический приказ. В нем он подчеркивал справедливость борьбы, которую ведет русская армия, отмечал, что казаки, лишившиеся в бою лошадей, «должны биться пешими до последней капли крови, а также, будучи легко ранеными, не должны уходить с поля боя».

15 июня Барклай изменил первоначальный приказ и отдал распоряжение Платову идти на соединение с 1-й армией «на Лиду, Сморгонь и Свенцяны, где, может быть, дано будет неприятелю генеральное сражение».

Русские армии отступили.

Уже через десять дней после вторжения французов на русскую землю обнаружилась полная несостоятельность плана Фуля: 1-я Западная армия Барклая-де-Толли под напором главных сил противника во главе с Наполеоном отошла к Дриссе; в совершенно бедственном положении оказалась 2-я армия Багратиона. Наполеон сразу же попытался оттеснить ее от 1-й армии, окружить со всех сторон и разгромить. Вот почему Багратион убедительно просил Платова удержать неприятеля на некоторое время в местечке Мир.

Платов решил «заманить неприятеля ближе к Миру». Замысел его блестяще удался. 27 июня произошло первое сражение у Мира. Кавалерийская бригада Турно попала в «вентерь» и понесла большие потери. В тот же день Платов доносил Багратиону: «Извещаю с победой, хотя с небольшою, однако же не так и малою, потому что еще не кончилось, преследую и бью... Пленных много, за скоростию не успел перечесть и донесть. Есть штаб-офицеры, обер-офицеры. Вот «вентерь» много способствовал, оттого и начало пошло. У нас, благодаря богу, урон до сего часа мал, потому что перестрелки с неприятелем не вели, а бросились дружно в дротики и тем скоро опрокинули, не дав им поддержаться стрельбою».

28 июня при Мире произошло второе сражение. Поздно вечером усталый Платов писал Багратиону: «Поздравляю ваше сиятельство с победою, и победою редкою над кавалериею. Что донес вам Меншиков, то было только началом, после того сильное сражение продолжалось часа четыре, грудь на грудь... из шести полков неприятельских едва ли останется одна душа, или, может, несколько спасется... У нас урон невелик».

Победа Платова у Мира в то трудное время являлась очень важной для русской армии, ибо поднимала дух отступающих войск.

Отсутствие казаков при 1-й армии значительно осложнило ее положение. Барклай потребовал от Платова незамедлительного перехода его корпуса к нему. 7 июля Платов двинулся на соединение с 1-й Западной армией, но уже через день Багратион придержал движение казаков, намереваясь пробиться к Витебску через Могилев. Платов не мог ему отказать и таким образом оказался в двусмысленном положении: с одной стороны, он должен был выполнить приказ Барклая, с другой — ему нужно было помочь Багратиону, который заверял Платова, что отвечать перед Барклаем за задержку будет лично сам.

В районе Могилева произошел упорный и кровопролитный бой. Пробиться не удалось, маршал Даву в конце концов занял город, но при этом понес значительные потери.

Поздно вечером 11 июля в деревне Дашковке Багратион после обсуждения этого вопроса с Платовым и Раевским принял решение отступать к Смоленску, чтобы уже там соединиться с Барклаем.

2-я армия благополучно переправилась через Днепр, оторвавшись от французов, и двинулась к Смоленску, выслав вперед авангард Платова и Дорохова.

Казаки Платова первыми открыли коммуникации с армией Барклая и присоединились к ней.

22 июля обе армии соединились в Смоленске.

Русские войска отступали ночью двумя колоннами. В арьергарде колонны, ближайшей к Днепру, шли донцы, отряженные из отряда Платова. Сам же атаман занял постами дорогу от Смоленска на север для охранения левого фланга. В дальнейшем эти полки должны были собраться у Соловьевой переправы и составить арьергард армии.

Французы вошли в полуразрушенный опустевший Смоленск. Коленкур записал в своих мемуарах: «В горо-

де остались лишь несколько старух, несколько мужчин из простонародья, один священник и один ремесленник».

После ожесточенного Лубинского боя, где участвовали казаки, русская армия благополучно совершила переправу через Днепр. За рекой для прикрытия армии оставался только арьергард под командованием Платова.

На другой день утром французы подошли к Соловьевой переправе. Мосты через реку были уже уничтожены, последними донцы переправились вплавь. Французы бросились их преследовать, но были отброшены артиллерийским огнем с другого берега.

На рассвете 9 августа французы стали наводить мосты под прикрытием орудийного огня. Платов приказал егерям и артиллерии отойти, а сам «лавой» ловко выманил их и навел на позицию отошедшей пехоты и артиллерии. Кровопролитный бой, завязавшийся вскоре, длился до полуночи. Горстка русских войск отстаивала каждую пядь родной земли, однако враг значительно превосходил в силах; арьергард медленно отступил, сдерживая натиск врага.

Главным виновником отступления считался Барклай, хотя это было не так и Барклай впоследствии доказал своими заслугами, что слова его, обращенные к Александру I, были истинны. «Что касается до меня лично, — писал он, — то я не питаю иного желания, как доказать пожертвованием моей жизни мою готовность служить Отечеству в каком бы то ни было чине и положении».

Но как бы то ни было, слухи об измене стали расползаться по всей России, и вопрос о назначении нового командующего был поставлен в конце концов голосом народным.

Кто же виноват в том, что Барклай попал в такое положение?

Император, и только он. Ведь Барклай, с самого начала не облеченный полнотою власти, не мог требовать безусловного повиновения не только от Багратиона, но и от Тормасова, Чичагова, Витгенштейна, Платова...

Оставалось или сместить Багратиона и других начальников второстепенных и третьестепенных армий, а Барклаю дать всю полноту власти, или же назначить нового главнокомандующего.

К началу Отечественной войны Кутузов, которого не любил Александр I, невзирая на всемерные усилия французской дипломатии не допустить мира между Россией и Турцией, победоносно закончил войну и заключил так

нужный России мир. Это выглядело чуть ли не чудом и подняло его в глазах общественного мнения на небывалую высоту. Поэтому, когда встал вопрос о кандидате на пост главнокомандующего всеми армиями, мнение общества сошлось на нем.

Окончательное решение принял особый тайный комитет. Он единогласно постановил — главнокомандующим быть Михаилу Илларионовичу Кутузову. В одном из писем император писал: «Уступая их мнению, я должен был заставить молчать мое собственное чувство». В архиве тайной императорской канцелярии сохранились донесения о состоянии духа нижних чинов в армии в тот период: «Стоит только приехать ему в армию, — говорили нижние воинские чины, — и немецкая тактика отступления будет отброшена в сторону». Это известие свидетельствует скорее всего о том, как воспринимали рядовые солдаты назначение Кутузова, противоположное личности Барклая, а не о том, что они вообще знали и любили своего будущего главнокомандующего.

Перед отъездом в армию один из молодых родственников Кутузова спросил: «Неужели вы, дядюшка, надеетесь разбить Наполеона?» — «Разбить? Нет! А обмануть надеюсь!..»

С 1 по 14 августа корпус Платова почти не выходил из мелких сражений с неприятелем. Причем всюду казакам приходилось сражаться с превосходящими силами врага. И донцы с честью выдержали этот натиск.

И вдруг 14 августа неожиданно для всех Платова отстранили от командования арьергардом армии. Это сделал Барклай, несмотря на то, что главнокомандующим всеми русскими армиями в то время был назначен Кутузов. Видимо, сказалось недовольство Барклая Платовым за то, что тот, находясь непосредственно под его началом, сражался в составе 2-й армии Багратиона и, как ему казалось, и не без оснований, не стремился соединиться с 1-й Западной армией. Но формально это было не так. Во-первых, постоянный напор наполеоновских войск не давал Платову возможности оторваться от неприятеля без ущерба для отступающей 2-й армии. Во-вторых, Багратион лично удерживал Платова в составе своей армии. Были они приятели, и это было главное, хотя, если строго судить, речь шла все-таки о спасении Отечества и амбиции были лишние как с той, так и с другой стороны.

Интересно, что сведения об отстранении Платова от командования арьергардом русской армии дошли до На-

полеона. Генерал-провиантмейстер наполеоновской армии Пюибюск отмечал в своих «Письмах о войне в России 1812 года»: «Наполеона уверяли, что Платов в немилости и сослан с большою частью казаков на Дон, и он тому поверил! Кутузов в одном из писем своих будто бы жаловался императору на казаков, особенно же на их атамана, и будто бы просил у государя согласия на строгие меры, к которым он вынуждаем, то есть отослать генерала Платова и большую часть его войска на Дон. Это письмо было с тем отправлено, чтобы его перехватил неприятель; но оно и составлено было для Наполеона, дошло верно по назначению и отняло у него всякое подозрение на свою несправедливость. В истинном отбытии казачьего генерала заключалось одно только намерение, и продолжение нашей стоянки под Москвою, собрать 25 000 казаков, с которыми через месяц после своего отбытия Платов явился на наших аванпостах. Сие подкрепление было весьма для русских полезно».

Сведения Пюибюска не совсем верны. На Дон Платов не ездил. По прибытии Кутузова Платов побывал в Москве и, возвратившись к войскам, участвовал в Бородинском сражении.

VI

К тому времени, когда Кутузов принял главное командование над русскими армиями, до Москвы оставалось 150 километров. Кутузов прекрасно понимал, что генеральное сражение должно состояться под Москвой. Такая позиция была выбрана им в районе села Бородина...

24 августа Кутузов подписал диспозицию, по которой войска 1-й Западной армии расположились от Москвы-реки по правому берегу реки Колочи через деревню Горки до высот за батареей Раевского. Командовал войсками 1-й армии Барклай-де-Толли. Войска 2-й Западной армии Багратиона примкнули правым флангом к 1-й армии, а левым — к высотам деревни Семеновской.

Вся позиция русской армии простиралась в длину на восемь километров, имела глубокий боевой порядок с резервами пехоты и конницы.

Казачьи полки к началу сражения располагались следующим образом: около деревни Утицы, на крайнем левом фланге русской армии, находился мощный отряд донцов из восьми полков под командованием А. А. Карпова 2-го. Здесь же стояла рота донской казачьей артиллерии. Четыре полка под командованием М. Г. Власова 3-го находились в наблюдении на нижнем течении реки Колочи. Лейб-казачий полк генерал-майора В. В. Орлова-Денисова входил в состав кавалерийского корпуса Уварова.

Матвей Иванович Платов с десятью полками стоял на правом фланге русской армии.

120 тысяч солдат и офицеров русской армии при 640 орудиях ожидали в это августовское утро наступления армии Наполеона, насчитывавшей 103 тысячи пехоты и 30 тысяч кавалерии. Кроме того, Наполеон располагал 587 пушками.

Ранним утром наполеоновским войскам был прочитан его приказ: «Воины! Вот сражение, которого вы так желали. Победа в руках ваших, она нужна вам. Она доставит нам изобилие, хорошие зимние квартиры и скорое возвращение в отечество! Действуйте так, как действовали вы под Аустерлицем, при Фридланде, Витебске и под Смоленском, и позднее потомство вспомнит о подвигах ваших в этот день и скажет о вас: и он был в великой битве под стенами Москвы!»

Вот так: они уже считали, что победа в их руках! Для России наступил решающий час.

Бородинское сражение началось с нападения французской дивизии Дельзонна на село Бородино, находившееся в расположении правого крыла армии Барклая. Разгоревшаяся битва отличалась невиданным ожесточением. Особенно яростно дрались за Багратионовы флеши. Несколько раз они переходили из рук в руки. Даже овладев ими, французские войска не смогли выполнить основную задачу, поставленную Наполеоном, — смять левый фланг русских.

Тогда после перегруппировки сил Наполеон решил нанести мощный удар в центр русской позиции. Чтобы облегчить положение Багратиона и помочь ему, Кутузов приказал Платову вместе с кавалерийским корпусом Уварова внезапно ударить по левому флангу и тыл французов и заставить Наполеона оттянуть часть своих сил от района Семеновской.

Мысль об ударе противнику во фланг родилась у Платова еще до сражения. Переходя Колочу, он убедился, что левый фланг неприятеля не имеет особого прикрытия и к нему можно подойти вплотную после форсирования реки. До начала битвы Кутузову доложили о возможности такого удара.

Полки Платова в момент получения приказа об атаке делились на две части: первая под командованием полковника Балабина 2-го была отодвинута вправо к Москве-реке, чтобы неприятель не смог произвести атаку во фланг. Второй группой непосредственно командовал Платов По прибытии кавалерии Уварова оба корпуса устремились на левый фланг противника. Переправившись вброд через реку Войну, они бросились на обоз и в тыл левого фланга французов. В стане неприятеля начался страшный переполох. Наполеону пришлось лично прибыть на левый фланг, чтобы восстановить там порядок Этот знаменитый рейд казаков и кавалерии Уварова на некоторое время приостановил решительную атаку неприятеля, и этим удачно воспользовался Кутузов для усиления центра позиции.

Очень интересное свидетельство о знаменитом рейде оставил сам Платов. «По прибытии кавалерийского корпуса Уварова, — пишет он, — повел атаку на неприятельский левый фланг, состоящий направо селения Бородина, и, потеснив неприятеля, заставил имевшимися у Уварова пушками неприятельскую батарею, у самого леса бывшую, замолчать, но вместе с тем приказал донским полкам сделать стремительный в дротики удар на неприятеля Неприятель был опрокинут стремительным ударом тех полков с сильным поражением, оставив на месте убитыми немало. В плен взято во все поражение более 250 разных чинов».

Маршалы к моменту рейда один за другим просили Наполеона пустить в наступление гвардию. Бонапарт поскакал вначале на Семеновские высоты, а потом к батарее Раевского. Везде он увидел, что русские оттеснены со своих первоначальных позиций, но стоят твердо, решительно ожидая нового натиска. Тогда он раздраженно сказал сопровождающим: «Я не хочу истребить мою гвардию. За восемьсот лье от Парижа не жертвуют последним резервом».

К трем часам дня Кутузов приказал Платову и Уварову возвратиться назад. Наполеон потерял два драгоценных для него часа. К батарее Раевского были подтянуты сильные подкрепления: сначала 4-й корпус А. И. Остермана, потом два гвардейских полка; с минуты на минуту сюда ожидались два кавалерийских корпуса. Здесь же успели сосредоточить до 100 орудий.

К этому времени яростные атаки французов стали затихать, видно было, что обе стороны крайне истощены.

«Навсегда останется для меня замечательным, — писал очевидец, — как Бородинский бой принял мало-помалу оттенок усталости, истощения. Массы пехоты до того растаяли, что не оставалось в огне и трети первоначального числа. Страшная артиллерия, доходившая с обеих сторон до 1000 орудий, стреляла лишь изредка, да и эти выстрелы не имели уже первоначального, громового, сильного тона; казалось, что они звучали как-то устало и хрипло. Кавалерия, занявшая почти повсюду место пехоты, производила свои атаки медленно, усталою рысью».

Армия Наполеона потеряла в Бородинском сражении убитыми и ранеными более 50 тысяч человек. Среди начальствующего состава французов из строя выбыло 263 человека, в том числе 47 генералов. Русским войскам также был причинен огромный ущерб. Одна первая армия потеряла 38 тысяч человек, в том числе 9252 убитых, а вторая — 20 тысяч убитых и раненых.

Русская армия под Бородином разрушила мечты Наполеона о победе в генеральном сражении. Русские солдаты и офицеры выдерживали натиск французов. На стороне неприятеля было преимущество чисто внешнее: им удалось захватить с огромными жертвами часть поля битвы, но они не решились оставаться на этих позициях и с наступлением ночи покинули батарею Раевского, деревню Семеновскую, Утицкий курган

Наполеон с присущим ему высокомерием сразу же после сражения известил свое войско о новой победе.

Кутузов, несомненно, считал русскую армию победительницей духа, так как русские солдаты и офицеры одержали внутреннюю победу над врагом, не отступив, не потерпев поражения. Жене он писал: «Я, слава Богу, здоров, мой друг, и не побит, а выиграл баталию над Бонапартом...»

Интересно замечание принца Евгения Вюртембергского, блистательного героя Бородинского боя: «После одного из лучших друзей моих осталось сочинение, в котором содержится много замечательного о Бородинской битве. Оно оканчивается следующими словами: «Говоря по совести, не было причин ни Кутузову доносить о победе императору Александру, ни Наполеону извещать о ней Марию Луизу. Если бы мы, воины обеих сторон, забыв на время вражду наших повелителей, предстали на другой день перед алтарем правды, то слава, конечно, признала нас братьями».

Хорошо сказано, и тем не менее русские при одинаковых результатах одержали нравственную победу над Наполеоном, поскольку отстаивали от захватчиков свою родную землю.

В Москве праздновали победу. Народ радовался, тысячи людей со слезами на глазах шли к Иверской церкви служить благодарственные молебны. Но вскоре жители столицы узнали, что русская армия отступила к Можайску, и вновь поспешили из Москвы. С утра и до поздней ночи тысячи экипажей стали покидать город. Многие в отчаянии уходили пешком. «По мере отступления наших войск, — писал первый московский ополченец С. Н. Глинка, — гробовая равнина Бородинская двигалась в стены Москвы в ужасном могильном своем объеме. Солнце светило и не светило. Улицы пустели, а кто шел, не знал, куда идет. Знакомые, встречаясь друг с другом, молча проходили мимо. В домах редко где мелькали люди. Носились слухи, что Мюрат взят в плен. Уверяли, будто бы государь в Сокольниках на даче у графа, где Платов имел с ним свидание. Слушали и не слушали; мысли, весь быт московский были в разброде. А между тем под завесою пыли медленно тянулись повозки с ранеными. Около Смоленского рынка, где я жил, множество воинов, раненных под Смоленском и под Бородином, лежали на плащах и на соломе. Обыватели спешили обмывать запекшиеся их раны и обвязывали их платками, полотенцами и бинтами из разрозненных рубашек».

Наутро Кутузов отдал приказ об отступлении. Платова оставили в арьергарде прикрывать отход русской армии. Беннигсену поручили подыскать удобную позицию для последнего, решающего сражения перед Москвой.

Он выбрал позицию между Филями и Воробьевыми горами. Правый фланг ее примыкал к лесу. Можно было предположить, что неприятель, имевший значительное превосходство в стрелках, завладеет лесом и поставит правое крыло в трудное положение. Левый фланг находился на вершине Воробьевых гор; перед ним располагалась равнина, на которой противник мог сосредоточить для атаки около 30 тысяч человек. В тылу всей позиции протекала Москва-река, через которую навели восемь плавучих мостов, однако спуски к ним были очень круты. В случае отступления армия, по всей видимости, должна была бросить артиллерию, обоз и спускаться к реке, к восьми плавучим мостам.

Барклай сделал подробный анализ расположения русской армии, потом показал рисунок позиции, который произвел на Кутузова сильное впечатление. «Он ужаснулся, выслушав меня», — замечает Барклай в своей записке.

Доклад Барклая подвел итог тому, что в течение дня Кутузов слышал и от Мишо, и от Кроссара, и от Ермолова, и от Кудашева...

Командующий 1-й Западной армией практически предлагал дальнейшее отступление, а это, видимо, входило в планы Кутузова.

— В четыре часа прошу собраться на военный совет для решения спорного вопроса, — объявил Кутузов и тут же шепнул на ухо своему любимцу Евгению Вюртембергскому: «Здесь должна помочь себе одна моя голова, все равно, дурна она или хороша».

Совещание, которое должно было решить не только участь Москвы, но судьбу России и Европы, проходило в избе крестьянина Фролова, занимаемой Кутузовым.

Генералы Барклай-де-Толли, Дохтуров, Уваров, граф Остерман, Коновницын, Ермолов, Платов, полковники Кайсаров и Толь прибыли ровно в четыре часа. Беннигсен заставил ждать себя два часа. Не извинившись и не спрашивая разрешения у Кутузова, он открыл совещание вопросом:

— Предпочтительно ли сражаться под стенами Москвы или следует оставить город неприятелю?

— От настоящего совещания зависит не только участь армии и Москвы, но и всего государства, — резко сказал крайне раздраженный Кутузов. — Вопрос, поставленный Беннигсеном, без предварительного объяснения общего положения дел совершенно лишний.

Кутузов подробно описал все неудобства позиции, занятой армией. Он указал, что «доколе буде еще существовать армия и находиться в состоянии противиться неприятелю, до тех пор останется еще надежда с честью окончить войну; но по уничтожении армии не только Москва, но и вся Россия будет потеряна».

Михаил Илларионович в конце речи поставил вопрос:

— Следует ли ожидать нападения неприятеля в этой неудобной позиции или оставить неприятелю Москву?

Первым высказался Барклай-де-Толли.

— Оставаться на занимаемой нами крайне неудобной позиции чрезвычайно опасно, — сказал он. — Трудно рассчитывать на победу ввиду громадного превосходства неприятеля, а в случае поражения можно сказать поло-

жительно, что вся армия будет уничтожена при отступлении через Москву. Правда, что тяжело и горестно оставлять неприятелю столицу, но если мы только не потеряем мужества и будем действовать с энергиею, то неприятель, завладев Москвою, приготовит себе только гибель. Защищая Москву, мы не спасем России от войны жестокой и разорительной, но, сохранив армию, мы приобретем возможность продолжать войну, которая только и может спасти Отечество.

В конце речи Барклай предложил отступить на Владимирскую дорогу, чтобы сохранить сообщение с Петербургом.

— Хорошо ли сообразили те последствия, которые повлечет за собой оставление Москвы, самого обширного города в империи, и какие потери понесут множество частных лиц? — воскликнул Беннигсен, сразу же поставив вопрос несколько иначе. — Подумали ли вы, что будут говорить крестьяне, общество и вообще весь народ, и как их мнение может иметь влияние на способности для продолжения войны? Поскольку неприятельские корпуса идут в обход наших флангов, необходимо в течение ночи перевести все войска на левое крыло и двинуться навстречу неприятелю, ослабленному отделением этих корпусов. Мы непременно разобьем неприятеля, и он будет вынужден притянуть к себе те корпуса, дабы они не были отрезаны нами.

— Об этом следовало бы подумать раньше и сообразно с тем разместить войска, — с горечью сказал Барклай. — Время еще не было упущено, когда я в первый раз объяснил вам невыгоды позиции; но теперь уже поздно, ночью нельзя передвигать войска по непереходимым рвам, и неприятель мог бы ударить по нас, прежде нежели мы успели бы разместить войска в новом положении.

Очередь высказаться дошла до других членов совета.

Дохтуров поддержал Беннигсена. «Я в отчаянии, писал он жене на другой день, — что оставляют Москву. Какой ужас, мы уже по сю сторону! Я прилагаю все старания, чтобы идти врагу навстречу. Беннигсен был того же мнения; он делал все, что мог, чтобы уверить, что единственным средством не уступать столицу было бы встретить неприятеля и сразиться с ним. Но это отважное действие не могло подействовать на этих малодушных людей. Какой стыд для русского покинуть столицу без малейшего ружейного выстрела и без боя! Я взбешен, но что же делать!»

Коновницын согласился с мнением Беннигсена и предложил немедленно атаковать неприятеля. Его поддержал Платов.

Генерал Остерман выступил против предложения Беннигсена, генерал Раевский придерживался того же мнения.

Полковник Толь, любимец Кутузова, считал необходимым оставить позиции, избранные Беннигсеном, и расположить армию правым флангом к деревне Воробьевой, а левым — к новой Калужской дороге, и в дальнейшем отступать по старой Калужской дороге.

Очередь дошла до Ермолова, и он, накануне ратовавший за отступление, вдруг заговорил о немедленной атаке на противника.

— Такие мнения может высказывать лишь тот, на ком не лежит ответственность, — резко сказал Кутузов, видимо, очень недовольный двуличностью Ермолова в этом сложнейшем вопросе.

Так разделились мнения. Последнее слово осталось за Кутузовым. И он закрыл совет пророческими словами:

— С потерею Москвы не потеряна еще Россия. Первою обязанностью поставлю себе сохранить армию, сблизиться с теми войсками, которые идут ей на подкрепление, и самим уступлением Москвы приготовить неизбежную гибель неприятелю. Знаю, ответственность падет на меня, но жертвую собою для спасения Отечества. Приказываю отступать.

Весть о решении оставить Москву быстро распространилась по армии. «Чувство великой, несказанной скорби овладело всеми сердцами, — запишет в своих «Памятных записках» Граббе, — стыдно было смотреть друг на друга. Казалось, что Россия отрекалась от самой себя, что она сознавалась в своем бессилии и складывала оружие перед гордым победителем».

Какие же тяжелые переживания выпали в этот период на долю Кутузова!.. В первое время многие его осудили за этот шаг; им был недоволен Александр I. Но мудрый полководец понимал, что отступление из Москвы — это ловушка для неприятеля. Пока он будет грабить Москву, русская армия отдохнет, пополнится ополчением и новобранцами и тогда двинется со свежими силами на врага. Кутузов не раз повторял, что он заставил турок в последнюю войну есть падаль и лошадиное мясо и что французов ждет та же судьба.

«Глубокое молчание, — рассказывает очевидец, эмигрант из Франции Кроссар, — господствовало во все время прохода армии через Москву, но то не было молчание трусости, а молчание глубокого горя. Ни на одном лице я не заметил следов отчаяния, считающего все потерянным, но я наблюдал мрачное и сосредоточенное выражение чувства мести. Князь Голицын, с которым я шел рука об руку, не сказал все время ни слова. Только за городом прервал он это мрачное молчание. «О, зачем не убит я вчера? — вырвалось у него, и мне показалось, что слезы блеснули у него на глазах. — Тогда бы прах мой покоился наряду с останками моих предков в обители, основанной их благочестием».

Да, в рядах вновь отступавшей армии преобладало чувство глубочайшего горя, ведь русские солдаты покидали древнюю столицу.

Москва! — как много в этом звуке
Для сердца русского слилось,
Как много в нем отозвалось...

Но русские патриоты, кроме тоски и унижения, испытывали непреодолимую жажду мести за Москву: многие стали даже говорить, что этот позор может быть изглажен только завоеванием Парижа.

Отступление русской армии сильно подействовало на Платова. Именно к этому времени относится его клятва отдать в жены свою дочь Марию тому казаку или воину русской армии, который возьмет в плен Наполеона. Как стало ясно из мемуаров офицеров наполеоновской армии, эта клятва Платова была известна и во французской армии. В своих воспоминаниях наполеоновский генерал Дедем писал: «В армии громко говорили, что атаман Платов обещал руку своей дочери тому, кто доставит ему Наполеона живым, будь это даже простой русский солдат». Через некоторое время даже выпустили гравированную картину с изображением молодой казачки. Надпись внизу гласила: «Из любви к отцу отдам руку, из любви к Отечеству — сердце».

В те дни, когда русская армия отступала, полчища Наполеона мечтали побыстрее войти в древнюю столицу Русского государства. Еще бы!

Наполеон обещал в Москве отдых, теплые зимние квартиры и всевозможное изобилие. А главное: захват столицы — это долгожданный конец войны в этой стране, где жители сами сжигают города и села, оказывают каждодневное сопротивление. Так считали Наполеон и его вояки.

В два часа дня Наполеон въехал на Поклонную гору. Посмотрев в сторону Москвы, воскликнул:

— Вот он наконец, этот прославленный город!

Затем приказал двумя пушечными выстрелами известить армию о вступлении в Москву. Мюрат с авангардом и молодой гвардией двинулся к Дорогомиловской заставе, Понятовский — к Калужской, вице-король — к Тверской...

Возле Дорогомиловской заставы Наполеон сошел с коня и стал ждать депутацию с ключами от покоренного города. Но время шло, а она все не приходила... Вскоре к Бонапарту явился офицер и известил о том, что Москва пуста. «Такая нечаянная весть, — пишет Корбелецкий в книге «Краткое повествование о вторжении французов в Москву и о пребывании в оной по 27 сентября 1812», — поразила Наполеона как громовым ударом. Он был приведен ею в чрезвычайное изумление, мгновенно произведшее в нем некоторый род исступления или забвения самого себя. Ровные и спокойные шаги его в эту же минуту переменились в скорые и беспорядочные. Он оглядывается в разные стороны, останавливается, трется, цепенеет, — щиплет себя за нос, снимает с руки перчатку и опять надевает, выдергивает из кармана платок, жмет его в руках и как бы ошибкою кладет в другой карман, потом снова вынимает и снова кладет; далее, сдернув опять с руки перчатку, надевает оную торопливо и повторяет то же несколько раз».

Наконец Наполеон воскликнул:

— Москва пуста! Какое невероятное событие! Надо войти в нее. Пойдите, приведите ко мне бояр.

Но граф Дарю, один из близких людей императора, и его сопровождавшие не смогли никого найти. Тогда они привели к Наполеону несколько иностранцев...

О триумфе, о величественном вступлении в Москву не могло быть и речи.

Наполеон запретил большей части своих войск входить в древнюю столицу. Корпуса Нея и Даву расположились биваком на Смоленской дороге: Понятовский — перед Калужской заставою, вице-король — у Петровского дворца. В Москву вошли только Мюрат с кавалерийскими корпусами Себастиани и Латур-Мобура; за ними двигались дивизии молодой гвардии Клапареда и Дюфура, в составе которых находился и маршал Мортье —

новоиспеченный московский генерал-губернатор. Сам Наполеон остановился в одном из постоялых домов недалеко от Дорогомиловской заставы.

Утром 3 сентября он, одетый в серый походный сюртук, совершил торжественный въезд в Кремль.

Звучали военные марши, войска восторженно кричали:

— Да здравствует император!

В Кремле Наполеон объявил своим генералам:

— Теперь война кончена! Мы в Москве, Россия покорена, я предпишу ей такой мир, какой найду для себя полезным.

— Теперь только война начинается! — сказал Михаил Илларионович Кутузов своим приближенным.

А когда ему сообщили, что вся древняя столица занята французами, он воскликнул:

— Слава богу, это их последнее торжество! Головой ручаюсь, что Москва погубит французов!

С самого вступления французов в Москву начались пожары, принимавшие с каждым днем все большие размеры. Наполеон приказал тушить огонь, но весь пожарный обоз по распоряжению Растопчина увезли. «Первым его движением был гнев, — пишет граф Сегюр, — он хотел властвовать даже над стихиями; но гнев не замедлил смениться чувствами иного рода. Он вдруг сознал себя побежденным, подавленным; враги его превзошли его в страшной решимости. Это завоевание, для которого принес он столько жертв, к обладанию которым стремился всеми силами души своей, исчезло на его глазах в облаках дыма и пламени. Им овладело страшное беспокойство; казалось, что огонь, окружавший Кремль, пожирал уже его самого. Ежеминутно он вставал, ходил и снова садился. Быстрыми шагами пробегал он дворцовые комнаты; его грозные, порывистые движения обличали кипевшую в нем душевную тревогу. По временам он подходил к письменному столу и брал в руки бумаги, но тотчас кидал их и подходил вновь. Непреодолимая сила влекла его туда. «Какое ужасное зрелище! — воскликнул он в каком-то полузабытьи. — Это сами они поджигают! Сколько прекрасных зданий! Какая необычайная решимость! Что за люди эти скифы!»

4 сентября даже Кремль находился в опасности, и Наполеон вынужден был переехать на некоторое время в Петровский дворец.

В ночь с 5 на 6 сентября пошел сильный дождь. Пожар

стал мало-помалу затухать. Наполеон тотчас возвратился в Кремлевский дворец. Как свидетельствуют очевидцы, перед возвращением он провел очень тревожную ночь, утром долго наблюдал из окна за пожаром и тихо сказал: «Это предвещает нам великие бедствия». Возвратясь в Кремль, Наполеон срочно потребовал собрать сведения о количестве домов и имущества, уцелевших от пожара. Ему донесли: из 30 тысяч домов осталось несколько тысяч, церквей сгорело и разрушено до 800; почти все магазины и склады истреблены полностью.

«Великая армия» стала голодать. Неприятель не нашел в Москве тех запасов, на которые рассчитывал и в которых очень нуждался: хлеб или сожгли, или потопили, домашний скот увели. Нечем было кормить и лошадей.

К 15 сентября неприятель питался только кониной, воронами и галками... Ни Наполеон, ни его маршалы и генералы не могли препятствовать грабежу, принявшему громадные размеры. «Пусть лучше достанется солдатам, нежели огню», — говорили они.

Страшные дела лютости и разрушения, небывалое посрамление святынь не могли никого оставить равнодушным. «Но Наполеону удалось вдохнуть в русских еще и другой дух, — свидетельствует очевидец, — столь мало свойственный им в обычное время, это дух любви к родине и ко всему родному. Высшие классы нашего общества внезапно переродились: из французов и космополитов они вдруг превратились в русских».

По свидетельству Вигеля, многие дамы и светские кавалеры вдруг отказались от французского языка; дамы решили нарядиться в сарафаны, а мужчины стали носить серые ополченческие кафтаны. «Все опасались одного, — говорит современник, — это мира». Опасение мира было одинаково и в обществе, и в рядах армии.

После оставления Москвы русская армия, блестяще осуществив фланговый маневр, отошла к Тарутину, где вскоре развернулась грандиозная работа по подготовке ее к контрнаступлению. Наполеон долгое время не мог определить, где находится русская армия. В немалой степени этому способствовали действия арьергардных отрядом казаков Платова.

По вступлении в Тарутино русские войска начали сооружать укрепления на правом берегу реки Нары. «Достопамятный Тарутинский лагерь неприступностью своею

походил на крепость», — писал один из первых историков войны 1812 года Д. Ахшарумов.

Подготавливая контрнаступление, Кутузов уделил большое внимание формированию крупных кавалерийских масс, справедливо предполагая, что в преследовании неприятеля они сыграют решающую роль. В связи с этим основная деятельность Платова в это время была направлена на формирование ополчения на Дону и прибытие его в Тарутинский лагерь.

Еще 26 июля Платов писал на Дон войсковому наказному атаману А. К. Денисову, кого следует брать в ополчение: «...во-первых, служивых, какие только есть при войске, во-вторых, окончивших срочную льготу за пожарным разорением... в-третьих, прибывших из полков, состоящих на службе и находящихся по домам, ...и напоследок написанным сего года в 19-летние и по 20-му году малолетки, разумея в том числе всех сих сортов и калмык, в войске состоящих». В то же время Платов приказал не брать в ополчение «17- и 18-летних подростков, ибо они по молодости лет своих будут составлять один только счет, а при том надобно, чтобы они оставались в домах, сколько для отбытия по внутренности войска повинностей, столько и для надзора за имуществом».

22 августа из Москвы Платов писал на Дон: «Всему наряженному войску следовать прямейшими дорогами к Москве (а после оставления Москвы к Туле) форсированно, без роздыхов, делая переходы не менее 60 верст в сутки».

В письме на Дон от 13 сентября он торопит Денисова с отправкой донских полков к главной армии. Однако, несмотря на огромные усилия самого Платова, формирование ополчения на Дону шло недостаточно быстрыми темпами. Причины этого заключались прежде всего в неблагородном поведении части донского дворянства и купечества. Большое количество простых казаков, выразивших желание вступить в ополчение, не имело средств обеспечить себя всем необходимым для похода. Богатые казаки соглашались внести определенную сумму на организацию ополчения при условии, что они не будут участвовать в нем. Раздраженный богачами, Платов писал Денисову: «Вы хорошо очень сделали, как доносите мне, что 40 человек торговцам городским и станиц Старочеркасской, Аксайской и Елизаветинской служилым и отставным казакам приказали идти в поход. Теперь больше нужны люди, а не деньги».

И все же за столь короткий срок было сформировано и отправлено к армии 26 полков донского казачьего ополчения при шести орудиях.

29 сентября первые пять донских полков прибыли в Тарутино. В приказе по армии за пять дней до их прихода отмечалось: «Ожидаются к армии усердные, хорошо вооруженные и доброконные войска донского воинства. Генералу от кавалерии оного войска атаману Платову поручено собрать поспешнее рассеянных разными случаями от своих команд казаков, кроме находящихся в отрядах, и приготовить их к действиям, кои будут ему предназначены».

Французы, к тому времени разведавшие местоположение русского лагеря, пристально следили за приготовлениями русских. Один из офицеров наполеоновской армии в своих воспоминаниях писал: «Мы почти ежедневно слышали оживленные упражнения в ружейной и пушечной стрельбе, происходившие в русском лагере, милях в двух от нашей стоянки. Полковник Уминский, которого король (Евгений Богарне — вице-король Итальянский) посылал к русским, рассказывал, что все им виденное в русской армии свидетельствовало о благосостоянии и мужестве. Ему довелось говорить с Платовым и другими офицерами, и они откровенно заявляли ему: «Вы от войны устали, а мы только теперь серьезно за нее принимаемся. Ваши повозки, добычу, багаж и пушки — все это мы у вас отберем».

Русская армия начала военные действия против Наполеона, разгромив 6 октября войска Мюрата. Казаки, активно участвовавшие в этом сражении, захватили много трофеев, в их числе и штандарт 1-го Кирасирского полка.

7 октября началось отступление «великой армии», и уже 9-го все французы покинули Москву. Они оказались в бедственном положении. Наступили морозы, дороги испортились, русская армия, в особенности донские казаки и партизаны, тревожили неприятеля со всех сторон. 11 октября казачий отряд генерала Иловайского 4-го занял Москву. По приказу Наполеона Московский Кремль был заминирован, но уничтожить его французам не удалось: безвестные русские патриоты потушили фитили многих мин. Рейд казаков Иловайского в Москву особенно поразил захватчиков. Один из французских офицеров, вспоминая эти события, писал: «Когда я выехал из Москвы, в ней уже показались казаки».

11 октября Платов получил приказ Кутузова: казачий корпус и роту конной артиллерии повернуть на Боровскую дорогу и следовать к Малоярославцу. «Сим движением, — писал Кутузов в документе, — прикроете Вы первоначально Калужскую или Боровскую дорогу, на коей неприятель в силе показался, на которую и вся армия наша сделает движение». Платов четко выполнил приказание Кутузова и занял сначала Калужскую, а потом Медынскую дороги. Когда утром 12 октября к Малоярославцу подтянулась армия Наполеона, она натолкнулась на корпус Платова. Вскоре к Малоярославцу подошел корпус Дохтурова, затем корпус Раевского. К вечеру здесь сосредоточились основные силы русской армии.

В кровопролитном сражении при Малоярославце русская армия заставила французов идти по разоренной Смоленской дороге — прорваться в плодородные районы России им не удалось.

Как только установили, что 14 октября французы отступают к Смоленской дороге, войскам сразу же поставили задачу настигнуть армию противника и не дать ей возможности отойти к своим базам.

Вначале контрнаступление проводилось в форме параллельного преследования по четырем направлениям. Казачий корпус Платова, усиленный 26-й пехотной дивизией, направился вдоль Смоленской дороги в тыл отступающим французам.

Платов преследовал отступающего противника. В приказе по казачьему корпусу Кутузов писал: «Я надеюсь, что сей отступной марш неприятелю сделается вреден и что вы наиболее к сему содействовать можете». Узнав от своих разъездов, что обоз врага под прикрытием корпуса Даву прошел Можайск и направился к Смоленску, Платов решил окружить войска Даву и разбить их. С этой целью он с 20 донскими полками двинулся к Колоцкому монастырю. Вечером 18-го числа Платов подошел к Ельне. Отсюда он послал бригады Иловайского 5-го и Кутейникова с двумя орудиями при каждой в обход Колоцкого монастыря с востока, Иловайского 3-го и Денисова 7-го в обход с запада. Егерский полк с восемью орудиями донской казачьей артиллерии пошел в середине, за ним в резерве — бригада генерал-майора Грекова 1-го.

Донцы Иловайского 5-го и Кутейникова 2-го первыми начали бой, напав на рассвете 19 октября на левый фланг французов. Встревоженный неприятель тотчас же

двинулся в поход. Платов, отдав приказание преследовать его в количестве одной бригады с каждого фланга, сам лично поскакал вдогонку с донской батареей. Лихо приблизилась батарея почти вплотную к французам, быстро снялась с передков и начал косить картечью задние ряды колонны.

Достигнув высоты у Колоцкого монастыря, Даву решил задержать казаков, чтобы дать возможность войскам отступить. Его артиллерия открыла интенсивную стрельбу. Ответный огонь донской артиллерии и атака донцов с фронта заставили французов отойти.

В бою у Колоцкого монастыря казаки взяли большое число пленных, захватили два знамени и 27 орудий, истребили более двух батальонов французской пехоты.

После Колоцкого сражения арьергард корпуса Даву отступил в полном беспорядке. Платов доносил Кутузову: «Неприятель бросает на дороге все свои тяжести, больных, раненых, и никакое перо историка не в состоянии изобразить картины ужаса, которые оставляет он на большой дороге. Поистине сказать, что нет и 10 шагов, где бы не лежал умирающий, мертвый или лошадь... Он поражаем везде».

Беспощадные в бою, донцы проявляли великодушие в обращении с пленными. Об этом пишут в своих воспоминаниях даже сами французы. «Наша артиллерия была взята в плен в битве под Тарутином, — говорит один из них (автор «Походного журнала»), — артиллеристы обезоружены и уведены. В тот же вечер захватившие их казаки, празднуя победу... вздумали закончить день, радостный для них и горький для нас, национальными танцами, причем, разумеется, выпивка не была забыта. Сердца их размягчились, они захотели всех сделать участниками веселья, радости, вспомнили о своих пленных и пригласили их принять участие в веселье. Наши бедные артиллеристы сначала воспользовались этим предложением как отдыхом от своей смертельной усталости, но потом мало-помалу под впечатлением дружеского обращения присоединились к танцам и приняли искреннее участие в них. Казакам это так понравилось, что они совсем разнежились, и когда обоюдная дружба дошла до высшей точки — французы наши оделись в полную форму, взяли оружие и после самых сердечных рукопожатий, объятий и поцелуев расстались с казаками, их отпустили домой, и таким образом артиллеристы возвратились к своим частям...»

Преследование неприятеля продолжалось. 22 октября Платов соединился с авангардом Милорадовича, и совместными усилиями они нанесли поражение корпусу Даву близ Вязьмы.

После выступления из Вязьмы в арьергарде «великой армии» вместо разбитого корпуса Даву шел корпус Нея. Из Вязьмы Платов двинулся в сторону Духовщины. По данным разведки, туда направился парк тяжелой артиллерии, высланной в Можайск перед выступлением Наполеона из Москвы. Этот парк, обременный громадным обозом, состоящим из повозок с канцеляриями штабов, экипажей множества чиновников, двигался очень медленно. Прикрытие парка и обоза состояло из войск корпуса Евгения Богарнэ. Сойдя с большой дороги, французы считали себя в безопасности и не соблюдали необходимого порядка и осторожности. Внезапное появление казаков во главе с Платовым явилось полной неожиданностью для них. Вспоминая это нападение, Ермолов, сам участвовавший в нем, писал: «Никто не помышлял о защите, всякий искал спасения». И далее: «Казакам, при самой незначительной потере, достались в руки шестьдесят три орудия и богатая добыча...»

24 октября, сдав дальнейшее преследование неприятеля с тыла авангарду Милорадовича, Платов по приказу Кутузова ускоренным маршем проселочными дорогами двинулся к Соловьевой переправе, стремясь опередить противника, и почти полностью разгромил его. В рапорте Александру I Кутузов писал: «Казаки делают чудеса, бьют артиллерию и пехотные колонны».

Вспоминая отступление, участник похода в Россию Франсуа, бывший в корпусе Богарнэ, писал: «30-го мы вновь пускаемся в путь. Но сзади на нас нападают тучи казаков, беспрерывно тревожащих нас... Они приближаются к нам на расстояние ста шагов и оглушают нас своим «Ура!».

1 ноября почти полностью разбитый корпус Богарнэ вошел в Смоленск. 3 ноября сюда подошли остатки корпуса маршала Нея. Все это время Платов постоянно тревожил противника, забирая его фуражиров и поражая врага на каждом шагу так, что «по дороге усыпано было мертвыми телами и захвачено много пленных».

По вступлении французов в Смоленск Платов присоединил к себе разрозненные казачьи отряды и обложил ими Смоленск.

После упорного боя, неся крупные потери, противник отступил на левый берег реки.

4 ноября под прикрытием своих частей, закрепившихся на берегу Днепра, Ней начал вывод войск из Смоленска. Однако Платов решил помешать отступлению врага. Оставив в Смоленске 20-й егерский полк, он с двадцатью казачьими, одним егерским полками и артиллерией скорым маршем направился по правому берегу Днепра к селу Катынь, а для преследования французов на левом берегу послал сильный отряд под командованием генерала Денисова. Кроме того, между Днепром и большой дорогой он поставил четыре казачьих полка генерала Грекова, тем самым обеспечив возможность 4—5 ноября в районе Красного нанести врагу сокрушительное поражение.

Эту победу высоко оценил Кутузов. В беседе с солдатами Семеновского полка он сказал: «Здравствуйте, молодцы-семеновцы! Поздравляю вас с новою победою над неприятелем. Вот и гостинцы везу к вам. Эй, кирасиры! Нагните орлы пониже! Пускай кланяются молодцам. Матвей Иванович Платов доносит мне, что сегодня взял 115 пушек и сколько-то генералов. Не помнишь ли ты, Опперман, сколько именно?» Опперман отвечал: «15». — «Слышите ли, мои друзья, 15, то есть 15 генералов. Ну, если бы у нас взяли столько, то остальных столько бы осталось. Вот, братцы, пушки посчитать можно на месте, да и тут не верится, а в Питере скажут: «Хвастают».

Кроме пушек, пленных генералов, множества офицеров и нижних чинов, под Красным казаки Платова захватили часть обоза маршала Даву. Среди бумаг и планов там оказались карты Турции, Средней Азии и Индии. Наполеон пытался нашествие на Индостан сделать одним из условий мира с Россией. Теперь ему не нужны были эти карты...

Спустя некоторое время, когда Платов преследовал остатки корпуса Нея, он узнал, что за большие заслуги перед Отечеством он произведен в графы Российской империи. Еще 27 октября из Ельни Кутузов, высоко оценивший действия казачьего атамана в разгроме отступающего врага, написал Александру I ходатайство о присвоении Платову графского титула. 29 октября последовал указ царя сенату за номером 266, и Платов получил титул графа, о чем было сообщено рескриптом за номером 267. В поздравительном письме Кутузов писал Платову: «Чего мне хотелось, то бог и государь исполнили, я

вас вижу графом Российской империи. Дружба моя с вами от 73-го году никогда не изменялась, и все то, что ныне и впредь вам случится приятного, я в том участвую».

Отступление наполеоновской армии превратилось в бегство. В рапорте Витгенштейну от 12 ноября Платов отмечал: «Неприятельская расстроенная и изнеможенная армия не ретируется, но бежит в большом беспорядке...»

16 ноября, обманув адмирала Чичагова, Наполеону удалось переправиться через Березину.

28 ноября, сидя неотвязно на хвосте французов, Платов подошел к Вильно, где в упорном бою разгромил 30-тысячную группировку неприятеля. Был захвачен обоз, состоящий из большого количества золота и серебра. Значительную часть серебра казаки Платова через посредничество Кутузова передали для украшения Казанского собора в Петербурге. Из серебра были изваяны четыре евангелиста. «При взоре на них, — писал в благодарственном письме к донцам Кутузов, — в нашей душе будет соединяться воспоминание о мужестве русских героев, о грозном их мщении и о страшной погибели иноплеменника, посягнувшего на русскую землю.

После боев под Вильно Платов двинулся со своим корпусом к Ковно. Там царила суматоха и неразбериха. Немедленно началась артиллерийская дуэль между французами и русскими. Решив захватить город не совсем разоренным, Платов послал казаков в обход по льду через Неман выше и ниже Ковно. И тогда противнику было нанесено сокрушительное поражение, казаки захватили большое количество пленных и богатые трофеи. Маршал Ней был ранен и едва спасся, пользуясь наступившей темнотой.

Войдя в Ковно, Платов собрал на площади войска. Победу отпраздновали пушечной стрельбой и фейерверком.

Героическая борьба русского народа закончилась полной победой: неприятель был изгнан с русской земли. По армиям был зачитан приказ Кутузова: «Храбрые и победоносные войска! Наконец вы на границах империи, каждый из вас есть спаситель Отечества. Россия приветствует вас сим именем. Стремительное преследование неприятеля и необыкновенные труды, подъятые вами в сем быстром походе, изумляют все народы и приносят вам бессмертную славу. Не было еще примера столь блистательных побед.

...Не останавливаясь среди геройских подвигов, мы

идем теперь далее. Пройдем границы и потщимся довершить поражение неприятеля на собственных его полях. Но не последуем примеру врагов наших в их буйстве и неистовствах, уничтожающих солдата».

Особенно изумляли весь мир стремительные действия казаков, о которых поэт И. Никитин позже в стихотворении «Донцам» написал такие проникновенные слова:

Русь помнит ваши имена!
Недаром славою столетий
Покрыты Дона знамена:
Вы вашей кровию вписали
Любовь к Руси в ее скрижали...

Наполеон, признавая поражение своей армии в России, писал в 29-м бюллетене, составленном в Польше в замке Огинского: «Все наши колонны были окружены казаками, подобно аравитянами в пустынях — они охватывают обозы». В этом же бюллетене Наполеон отметил, что именно казаки уничтожили французскую конницу и артиллерию. Тогда же он изрек фразу, ставшую впоследствии известной: «Дайте мне одних лишь казаков — и я покорю всю Европу». Несколько раньше, когда Наполеон бежал из России, он сказал сопровождавшему его Коленкуру: «Надо отдать справедливость казакам: именно им обязаны русские своими успехами в этой кампании. Это бесспорно лучшие легкие войска, какие только существуют».

VII

Выполняя приказ Кутузова «довершить поражение неприятеля на собственных полях его», казаки Платова первыми в начале декабря 1812 года перешли русскую границу.

Перед вступлением на прусскую территорию Платов отдал приказ по корпусу, в котором особо подчеркнул освободительную миссию русской армии, необходимость терпимого отношения к местному населению. Пруссаки поняли это и дружески встретили освободителей. «Здешние жители, — докладывал Платов Кутузову 21 декабря, — принимают нас дружески». Немецкие историки отмечали, что «восхищение казаками охватило в то время самые широкие слои народа». Жителям Германии нравилась простота, человеколюбие казаков. Полюбились немцам и песни донцов. Один из современников 1813 го-

да, слушавший их пение, свидетельствовал: «Оно подлинно национально и присуще только русским. Вокальный концерт, исполненный хором этих северных певцов, был, во всяком случае, очень приятен для слуха. Он похож больше всего на наши фуги и каноны. Обычно в нем чередуются сольные партии и хоры. Они никогда не поют без слов. Содержание песен, как правило, очень простое. Никогда не содержит чего-нибудь неприличного и обычно относится к обычаям и занятиям на их родине и к близким людям».

16 апреля 1813 года умер Михаил Илларионович Кутузов, старший товарищ Платова, с которым они воевали начиная с 1773 года. Платов тяжело переживал эту потерю. Но впереди ожидались новые сражения, в которых необходимо было выполнить завет Кутузова и довершить разгром врага на его собственной территории.

Смерть Кутузова вскоре сказалась на ходе войны. 20 апреля в битве при Люцене Наполеон разгромил союзников. Союзные войска, потеряв 11 тысяч человек, отступили за Эльбу. Состоялось Плесвицкое перемирие.

Во время перемирия Платов лечился на минеральных водах в Богемии. Там же ему было поручено сформировать летучий корпус, «чтобы независимо от движений главных армий действовать в тылу неприятеля».

Корпус был сформирован и удачно действовал до начала грандиозной «битвы народов» под Лейпцигом, закончившейся поражением Наполеона. В конце этой битвы Наполеон приказал взорвать мосты через Эльстер, чтобы дать возможность своим войскам оторваться от преследования. В страшной неразберихе, царившей в этом районе, саперы взорвали мосты раньше, чем вся наполеоновская армия переправилась на противоположный берег реки. Около 28 тысяч человек из армии Наполеона остались на другом берегу Эльстера. Началась страшная паника: солдаты, офицеры, генералы и маршал Понятовский бросились в кипящие от пуль и ядер воды. Тысячи из них утонули, в том числе и маршал Понятовский.

Во время последующего победоносного движения русской и союзных армий по Европе до самой капитуляции Парижа казачий атаман Платов со своими донцами принимал самое активное участие в боевых действиях союзных войск. 25 марта 1814 года Наполеон отрекся от престола. Многолетние кровавые войны наполеоновской эпохи, в которых пришлось участвовать Платову, закончились, ибо в битвах «ста дней» он не участвовал.

Наступили желанные дни мира, войска после долгих лет почти беспрерывных сражений отдыхали. Повсюду наслаждались жизнью: миру радовались как союзники, так и сами французы.

В это время Александр I получил от англичан предложение посетить Лондон. В состав свиты, готовившейся к отплытию в Англию, включили и Платова. Имя казачьего атамана еще до его приезда в Лондон знали англичане. Вот что писала одна из лондонских газет в конце 1812 года: «Непрестанно получаемые здесь известия об успехах российского оружия, можно сказать, приводят в восторг всю Англию. Повсеместны пиршества изъявляют совершенно искреннее участие в сих торжествах над общим неприятелем... Имена Кутузова, Платова, Витгенштейна носятся из уст в уста во всех обществах и беседах. Рюмки стучат, вино разливается повсюду, и если русские продолжат еще далее успехи свои, то они не только лишат неприятеля, своих французов, могущества их на твердой земле, но и у нас от сих побед не станет вина, или, по крайней мере, оно очень вздорожает».

24 мая Ла-Манш был буквально забит военными судами, стоявшими в два ряда от побережья Франции до берегов Англии. В час дня при ясной и тихой погоде русская делегация погрузилась в Булони на фрегат и в шесть часов вечера прибыла в Дувр. Через два часа под гром пушечной стрельбы и восторженные крики англичан русские сошли на английский берег.

Утром следующего дня свита Александра I в специальных колясках направилась в Лондон. Вспоминая переезд из Дувра в столицу, один из участников этого события писал: «Дорога и лошади бесподобные: до Лондона мы ехали только 12 часов. На станциях везде были завтраки за счет принца-регента. Дороги по Англии — сады, а деревушки — дачи. Чистота удивительная, и архитектура своя. Домики небольшие, но опрятные. Везде видно богатство, и не встретится ни один нищий, тогда как во Франции облепят они приезжего и бегут непрерывно за коляской. Дорогою не было проезда от англичан: везде кричали «Ура!», и женщины на скаку подбегали к коляске пожать руку. Миндальные пироги на столе и окна в домах украшены именами Блюхера и Платова». На всем пути от Дувра к Лондону были установлены многочисленные триумфальные арки, увитые живыми цветами.

Сдержанные англичане на сей раз изменили своей на-

циональной черге и наперебой громко восхваляли подвиги Платова и его казаков. Доходили до курьезов: чопорные английские леди вырывали на память по волоску из хвоста боевого коня атамана. На этом коне Матвей Иванович прошел с боями всю Европу и теперь с трудом пробирался сквозь густую толпу англичан.

Покоя не было и в доме, где поселили Платова. Как только он появлялся во дворе, его сразу окружала многочисленная толпа, дежурившая у ворот. Снова раздавались восторженные голоса, крики: «Ура! Ура! Платов!» Даже Александра I встречали с меньшим энтузиазмом.

Все наперебой приглашали Платова в гости, считая за особую честь видеть у себя дома. Многочисленные предложения о посещении получал Платов и от лондонских театров. Чтобы не обидеть приглашающих, он старался побывать во всех театрах. Как только Матвей Иванович появлялся там, все присутствовавшие, в том числе и актеры, стоя приветствовали атамана. Побыв полчаса в одном театре, Платов спешил в другой. Там все повторялось: крики, гул одобрения, нескончаемые похвалы атаману и его казакам.

Свободного времени у Платова оставалось немного. Ему постоянно приходилось участвовать в каких-либо торжествах. Три дня в Лондоне устраивали иллюминацию, высвечивая имена Кутузова, Блюхера, Платова. 31 мая после богослужения восторженная толпа англичан вынесла Платова из церкви на руках и несла его до самой кареты.

Украшенный многими русскими и иностранными орденами, Матвей Иванович находился в центре внимания. О нем слагались стихи, в которых воспевались подвиги «зарейнско-донского атамана», как называли Платова англичане.

Его осыпали наградами и почестями. Знаменитый Оксфордский университет присвоил Платову звание почетного доктора права с вручением докторского диплома. Именем атамана был назван новый корабль английского военно-морского флота.

В это же время в честь Платова в Лондоне выбили две медали. На лицевой стороне одной из них помещено обращенное влево поясное изображение Платова в профиль. В обрезе рукава видны инициалы гравера «И. М.», совпадающие с именем лондонского гравера того времени И. Мильтона. На реверсе медали четырехстрочная надпись на английском: «Ревностной военной службой тре-

вожил галлов всадник, страшный своим копьем» (перефразировка из Овидия).

На другой медали атаман предстает в генеральском мундире с орденами и лентой через плечо. Сверху значится: «Принц Платов, казачий генерал». По окружности в линейном ободке круговая надпись, повествующая о том, что медаль выбита в июне 1814 года в честь визита союзных государей в Лондон. На реверсе ее — скачущий вправо казак с пикой в одной руке и ружьем в другой. Такие медали диаметром 43 миллиметра известны в свинце и бронзе.

В 1814—1815 годах появились односторонние медальоны с портретами Платова. Один из таких медальонов был выполнен известным венским гравером Геубергером. На нем Платов изображен в профиль в мундире с множеством орденов. Сверху дуговая надпись по-немецки: «Гетман граф Платов».

На другом медальоне казачий атаман изображен погрудно в мундире с орденами и лентой. В правой руке — булава, за левой рукой видна высокая казачья шапка с султаном. Вверху написано по-русски: «Граф Платов». Несколько экземпляров этого медальона находится в Эрмитаже.

Принц-регент Англии, узнав от своих приближенных, что светло-серый конь, на котором ездил Платов, был неразлучным спутником донского героя во всех баталиях, начиная с 1806 года, захотел иметь изображение этого коня. Но Матвей Иванович подарил принцу не изображение, а саму лошадь. В ответ на это принц-регент преподнес атаману дорогие часы и свой портрет, осыпанный драгоценными камнями.

В это же время в Англии приняли решение о создании небольшой галереи портретов полководцев, отличившихся в боях против Наполеона. Поместили там и портрет генерала Платова, повесив под ним изображение боевого коня атамана.

Среди подарков, полученных казачьим атаманом в Лондоне, особенно примечательна сабля великолепной работы. История этой сабли весьма своеобразна.

После окончания войны с Наполеоном на общем собрании всех сословий Лондона было решено преподнести сабли особо отличившимся полководцам армий союзников: австрийцу Шварценбергу, представителю Пруссии Блюхеру, представителю России Барклаю-де-Толли. Все трое имели высший воинский чин фельдмаршала. Хотя

Платов и не был фельдмаршалом, ввиду особых личных заслуг его также включили в этот почетный список.

Сабля, предназначенная Платову, отличалась великолепной ювелирной работой. На одной стороне ее на эмали помещен герб соединенного королевства Великобритании, на другой — вензельное изображение Платова; верх сабли украшен алмазами, на ножнах выбиты изображения сцен из бурной военной биографии героя. На клинке по-английски вырезана надпись: «Общее собрание думы города Лондона на заседании, происходившем в среду 8 июля 1814 года, определило поднести саблю эту атаману графу Платову в ознаменование живейших чувств, коими сия дума одушевлена, и глубоким познаниям его блистательным дарованиям, высокости духа, непоколебимому мужеству, оказанным в продолжение долговременной войны, предпринятой для утверждения мира, тишины и благоденствия в Европе».

После смерти Платова эта сабля некоторое время находилась у его потомков.

В 1919 году с «благословения» атамана Богаевского саблю Платова в числе многих ценностей Новочеркасского музея вывезли за границу. Сначала она попала в Турцию, затем — в Чехословакию. В тяжелые годы фашистской оккупации Чехословакии сотрудники Пражского национального музея сумели сохранить ценности, вывезенные из Новочеркасска.

После освобождения Праги советскими войсками сотрудники Национального музея передали советским офицерам часть экспонатов, похищенных белогвардейцами в 1919 году. В их числе была и сабля, подаренная Платову в Лондоне. Сейчас она находится в экспозиции Новочеркасского музея истории донского казачества.

В середине июня 1814 года русская делегация отбыла из Англии. Платов возвратился к своим полкам, собравшимся в это время на берегах Рейна, у Киля, Кобленца, Майнца и Мангейма. Вскоре все русские войска начали движение в сторону российских границ. В авангарде четырех колонн русской армии, следовавшей через Германию и Польшу, возвращались и донцы.

VIII

С восторгом встречал Дон своего атамана. На границах земель донских казаков Платову подносили хлеб-соль делегации. Такие церемонии повторялись на всем

пути следования Матвея Ивановича в Новочеркасск — каждая казачья станица почитала за долг встретить с почетом любимого героя-атамана, чьи подвиги прогремели по всей Европе.

В Новочеркасске после торжественного богослужения по случаю победоносного возвращения казачьих войск на родину был произведен салют из пушек. Сто один орудийный выстрел огласил окрестности строящейся донской столицы. Затем состоялся войсковой круг, на котором Платов произнес речь по случаю победы над Наполеоном.

После торжеств Матвей Иванович отправился поклониться могиле своей жены Марьи Дмитриевны, умершей в феврале 1813 года. Навестил он и свою родную станицу Старочеркасскую, побывал на кладбище Преображенской церкви, где были похоронены его родители, брат и сын: долго стоял там у кладбищенской ограды; покинул кладбище грустным, растревоженным...

По возвращении атаман занялся внутренними делами области Войска Донского. Основной его заботой было возведение и благоустройство новой столицы донских казаков города Новочеркасска. Он старался закончить строительство Вознесенского собора, заложенного в 1805 году.

Большое внимание обращал Платов на развитие народного образования на Дону, при нем значительно улучшились дела в гимназии, переведенной к тому времени из Старочеркасска в Новочеркасск.

В 1817 году по его инициативе в Новочеркасске была основана первая на Дону типография.

Не забыв о совершенствовании воинского мастерства донских казаков, Платов устраивал постоянные военные сборы донцов. Особое внимание он обратил на развитие казачьей артиллерии, для чего в мае 1817 года организовал лагерь для артиллерийских сборов и стрельб.

Здоровье атамана к этому времени резко ухудшилось — сказались годы беспрерывного ратного труда, тяжелейших боевых испытаний, однако он работал до конца своих дней и на призывы окружающих, близких и друзей отойти от дел и отдыхать всегда говорил: «Кем вы меня хотите сделать: ребенком, что ли? На что я буду похож, когда после таких трудов буду хотя на минуту искать отдохновения?»

Долгое время Платов жил в своем имении на хуторе Мишкин, затем переехал в имение Еланчик под Таган-

рогом. Здесь, собираясь в Москву, он простудился и умер 3 января 1818 года.

10 января состоялся печальный обряд погребения Платова. В Новочеркасске на площади, у алтаря строившегося Вознесенского собора, в специально сделанном склепе он и был похоронен. При погружении гроба в склеп раздались орудийные залпы.

Застонал, завыл ветер по полю:
— Что ж, кормилец наш, Дон Иванович,
Затужил ты так, закручинился?
Сила ль прежняя поубавилась,
Степь ли вольную, степь свободную,
Полонил-забрал враг непрошеный?
Иль сыны твои посрамилися?
Пред насильем ли возмутилися?
— Нет, доволен я своей славою —
Честью-мужеством родных детушек!
Но один из них, атаман лихой
Платов доблестный, гордость родины,
Богатырь-боян, во гробу лежит.

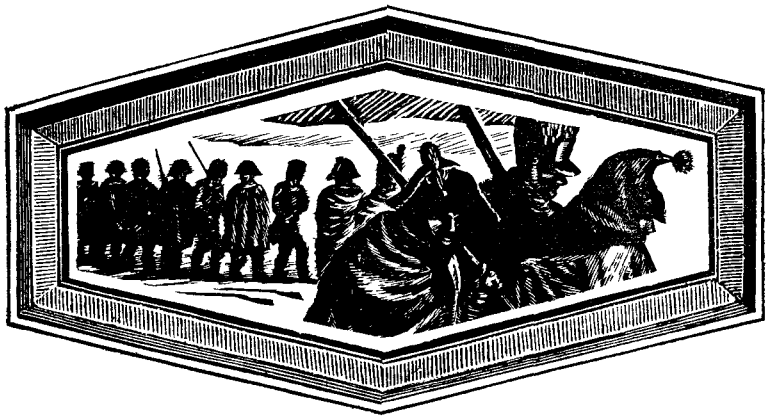
Прошли десятилетия. В 1853 году в Новочеркасске перед атаманским дворцом был поставлен памятник работы выдающегося скульптора П. К. Клодта. Окруженный французскими орудиями, отбитыми казаками Платова в войне 1812 года, памятник изображал атамана: во весь рост, на голове шапка, на плечах — бурка, в одной руке булава, во второй — обнаженная сабля. На памятнике надпись: «Признательные донцы — своему атаману». В Новочеркасском музее донского казачества хранится картина художника Майера «Открытие памятника Матвею Ивановичу Платову в 1853 году». В середине XIX века считалось, что Платов родился не в 1751 году, а в 1753-м. Памятник был поставлен к столетию со дня рождения Платова.

После революции некоторые рьяные «борцы с буржуазной культурой», так называемые «неистовые ревнители», уничтожили памятник Платову.

В настоящее время по инициативе Ростовского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории ведется работа по созданию памятника славному сыну донского казачества генералу от кавалерии Матвею Ивановичу Платову.

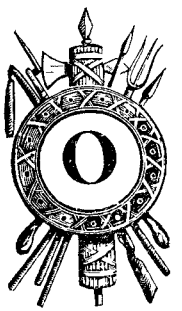
Михаил АСТАПЕНКО,
Владимир ЛЕВЧЕНКО

Дмитрий Сергеевич Дохтуров



..И Дохтуров, гроза врагов,
К победе вождь надежный!

В. А. Жуковский



I

О детских годах выдающегося русского полководца, героя Отечественной войны 1812 года, известно немногое. Родился Дмитрий Сергеевич Дохтуров 1 сентября 1759 года в семье капитана лейб-гвардии Преображенского полка Сергея Петровича Дохтурова. Род его был древним, известным в истории еще с XVI века, но весьма небогатым. Дохтуровы были обычными мелкопоместными дворянами средней руки.

В семье чтились военные традиции. Отец и дед Дмитрия были офицерами Преображенского полка, старейшего полка русской гвардии, сформированного еще Петром I в 1687 году в селе Преображенском. Детство Дмитрий Дохтуров провел в имении матери в селе Крутом Каширского уезда Тульской губернии. Это была ровная размеренная жизнь, обычная для весьма заурядной барской усадьбы, не отмеченная ничем особенно примечательным.

Самые яркие впечатления остались у Дмитрия от общения с крестьянами и дворовыми детьми. Он тонко подмечал особенности русского характера, доброту и радушие простых людей. И, может быть, именно от этих детских впечатлений происходит та неизменная забота о русском солдате, которую он всегда проявлял, став военачальником.

Родители Дмитрия, однако, несмотря на свои весьма скромные доходы, стремились дать детям хорошее домашнее образование. Особое внимание уделялось изучению иностранных языков. В одиннадцать лет Дмитрий Дохтуров легко говорил на французском и немецком языках и даже на не столь популярном тогда итальянском.

Устройство будущего Дмитрия было главной заботой родителей. Материальное состояние семьи не позволяло рассчитывать на легкую и блестящую карьеру. Надежда могла быть лишь на военную службу. К тому же будущий полководец с малых лет проявлял интерес к военным рассказам отца. В январе 1771 года Сергей Петрович повез сына в Петербург, где старому преображенцу пришлось воспользоваться своими связями. Он обратился к влиятельным сослуживцам по Преображенскому полку, и мальчик был представлен Екатерине II.

С 1 февраля 1771 года Дмитрий был принят в Пажеский корпус. Воспитанники Пажеского корпуса изучали французский и немецкий языки, геометрию, географию, фортификацию и историю, а также обучались искусству танца, рисования, фехтования и верховой езды.

В отличие от многих Дмитрий Дохтуров во всем мог рассчитывать только на себя, поэтому он отличался прилежанием и старательностью. В 1777 году он становится камер-пажем, а весной 1781 года выходит из Пажеского корпуса в чине поручика гвардии.

Служба в лейб-гвардии Преображенском полку, куда Дохтуров был определен по выпуске, началась вполне счастливо. Еще в 1774 году Екатерина II назначила генерал-адъютанта Г. А. Потемкина в чине подполковника гвардии командующим Преображенским полком. Потемкин быстро разглядел военные способности Дохтурова, оценил его знания и исполнительность. Дохтуров был произведен в капитаны и скоро стал командовать ротой.

Г. А. Потемкин был не только царедворцем, но и видным военачальником. Он не любил пустые парады и уделял немалое внимание обучению войск, которое старался строить в соответствии с требованиями румянцевско-суворовской военной школы. Он переменил одежду в войсках. По его предложениям были обрезаны косы, солдаты перестали пудриться. В специальной докладной записке Потемкин писал: «Завивать, пудриться, плесть косы — солдатское ли сие дело? У них камердинеров нет. На что же пукли? Всяк должен согласиться, что полезнее голову мыть и чесать, нежели отягощать пудрою, салом, мукою, шпильками, косами. Туалет солдатский должен быть таков, что встал и готов». Кроме ограничения наказаний солдат, запрещения употреблять солдат на частные работы командиров и других мелких нововведений, Потемкин произвел также войсковые преобразования. Он увеличил на 18 процентов конницу, сформировав 10-эскадронные драгунские и 6-эскадронные гусарские полки. Для усиления пехоты он увеличил число гренадер, сформировал мушкетерские четырехбатальонные полки, устроил егерские батальоны. Егерский батальон был введен им и в состав Преображенского полка. В него вошли отборные солдаты и лучшие офицеры. Среди других такой чести был удостоен и Дохтуров. В 1784 году он назначается командиром егерской роты.

Основное время преображенцев проходило в гарнизонной службе — в охране царского двора, в содержании городских и полковых караулов, участии в парадах и церемониалах. Кроме прямых служебных обязанностей, офицеры гвардии должны были бывать «непременными участниками всех дворцовых балов, маскарадов, куртагов и ассамблей, а также опер, которые давались в Высочайшем присутствии, в специально для этого построенном доме на Невской першпективе». В царствование императрицы Елизаветы Петровны такие праздники бывали почти ежедневно. О жизни офицеров гвардии историк Преображенского полка пишет в несколько сгущенных красках: «Что же касается до жизни офицеров гвардии в Петербурге в век Екатерины, то все общество, в последних годах ее царствования, утопало в роскоши, и прежняя дешевизна была совершенно забыта. Торговцы и магазинщики не знали пределов тех цен, которые они назначали для покупателей, видя изменения мод и фасонов чуть ли не ежемесячно. К этому времени от всякого порядочного человека, а в особенности от офицера гвардии требовались прежде всего «изящная внешность и одежда с прическою», так что беднейший из преображенцев считал своим непременным долгом заказывать себе в год по нескольку мундиров, обходившихся ему не менее 120 руб-

лей каждый. К сожалению, за этот период приходится отметить некоторый упадок дисциплины и распущенность при исполнении служебных обязанностей. При полном равнодушии к подобному печальному состоянию со стороны начальствующих лиц неудивительно, что с каждым днем распущенность эта возрастала. Дело дошло до того, что нередко караульных офицеров можно было встречать на улице, свободно разгуливающих по-домашнему, то есть в халатах, а их жен — надевавших мундир и исполнявших обязанности мужа. Кутежи и дебоши гвардейской молодежи начали принимать колоссальные размеры. Не было конца рассказам о выбитых окнах, о купчиках, до полусмерти напуганных гвардейцами и проч.».

Дмитрия Дохтурова такая служба не удовлетворяла, он жаждал настоящего дела, достойного русского офицера. Так протекло несколько лет службы, не принесших Дохтурову ни чинов, ни славы.

В июне 1788 года шведы начали военные действия против России. Однако наступление шведов было приостановлено, и лишь летом 1789 года русская армия сама активизировала действия. Предстояла война на море.

Капитан Дохтуров во главе роты в мае 1789 года прибыл в Кронштадт, где формировалась гребная флотилия из егерей гвардейских полков. Здесь вплоть до июля гвардейцы обучались ведению морского боя. В июле 18 галер гребной флотилии вместе с Балтийским флотом вышли навстречу шведам.

Шведы не захотели принять бой в открытом море и встали на Роченсальмском рейде. Однако это не остановило русскую эскадру, и 13 августа 1789 года состоялся ожесточенный бой, который длился 14 часов. Гвардейцы показали пример высокого мужества и отваги. Чтобы закрыть вход русскому флоту, шведы затопили несколько своих судов. Гвардия в течение четырех часов под огнем шведского фрегата и береговых шведских батарей на шлюпках прорубала с помощью топоров и крючьев проход для своих кораблей. За мелкими судами прошли и галеры. Завязался рукопашный бой.

Командующий русской эскадрой принц Нассау-Зиген писал в донесении к императрице: «Не могли бы мы достигнуть столь совершенной над ними победы, если бы не предуспели открыть ход, который захватили шлюбки канонерския лейб-гвардиею вооруженныя. Командующий галерным флотом не может довольно выхвалить сего корпуса вообще; но те, которые находилися на кайках и

канонерских шлюбках, по словам его, превышают все, что он может сказать к похвале их...»

В этом сражении отличился и капитан Дохтуров. Солдаты удивлялись отваге своего на вид невзрачного, среднего роста, всегда спокойного командира. Но стремительность и хладнокровие его во время абордажных схваток были достойны бывалого солдата. В горячке боя он даже не обратил внимания на ранение плеча и участвовал в сражении до конца. Действия Дохтурова не прошли незамеченными. Наградой ему была золотая шпага с надписью «За храбрость», которой, кроме него, за этот бой был удостоен лишь один офицер, капитан Степан Митусов.

Отличился Дохтуров и в шведской кампании следующего 1790 года при высадке десанта на остров Герланд, где он командовал тремястами преображенцев.

Шведский флот, потерпев ряд поражений, отступил в Выборгский залив, где был прижат русскими кораблями.

21 июня Густав III попробовал уйти из ловушки, в которую сам завел свой флот. Бой продолжался два дня, и успех колебался то в одну, то в другую сторону. Здесь-то и понадобились увертливые легкие суда гребной флотилии гвардейцев. Они сумели зайти с тыла и обеспечили победу русского флота.

После окончания шведской кампании гвардия вернулась в Петербург, и для Дмитрия Дохтурова вновь началась обычная гарнизонная служба и жизнь офицера гвардии. Такая служба не удовлетворяла Дохтурова, мечтавшего не о придворных и великосветских балах, а лишь о пользе Отечества. Дохтуров принимает решение перевестись на службу в полевую армию. Просьба его была удовлетворена, и Дохтуров в чине полковника становится командиром Елецкого мушкетерского полка. Позднее Дохтуров скажет: «Я никогда не был придворным, не искал милостей в главных квартирах и у царедворцев — я дорожу любовью войск, которые для меня бесценны».

II

К 1805 году, когда Россия оказалась в состоянии войны с Наполеоном, Дмитрий Сергеевич Дохтуров был в чине генерал-лейтенанта и возглавлял Московский мушкетерский полк, которому в составе Подольской армии предстояло выступить в Австрийский поход.

Русская армия в это время во многом уступала армии

Наполеона. Конечно, в ней были талантливые генералы, такие, как суворовские герои Багратион и Милорадович, было и немало солдат, участвовавших в Итальянском и Швейцарском походах Суворова. Однако павловские нововведения нанесли армии неизгладимый ущерб. В основу подготовки армии был положен утвержденный Павлом «Боинский устав о полевой пехотной службе» (1796 г.), в котором основное внимание было уделено строевой подготовке, а главной формой ведения боя утверждалась устаревшая к тому времени и опровергнутая военной практикой Румянцева и особенно Суворова линейная тактика. После вступления на престол Александр I произвел в армии некоторые несущественные изменения, в целом же указы Павла I остались почти нетронутыми.

В Подольской армии общей численностью в 50 тысяч человек было немало опытных солдат, воевавших в войсках Суворова, но вооружение армии нуждалось в обновлении. Передовые генералы приходили к выводу, что в армии необходимо ввести новую тактику боя, учитывающую опыт суворовских походов и сражений. Но времени на переобучение солдат и перестройку армии не было, и все делалось в спешке, во время похода.

Армия вышла из Радзивиллова, где она формировалась, 13 августа 1805 года, а 9 сентября ее возглавил М. И. Кутузов. Марш в Австрию осуществлялся двумя частями. Впереди шла пехота, состоявшая из пяти отрядов, которыми командовали генерал-майор П. И. Багратион, генерал-майор М. А. Милорадович, генерал-лейтенант Д. С. Дохтуров, генерал-майор С. Я. Репнинский и генерал-лейтенант Л. Ф. Мальтиц. За пехотой следовали конница и артиллерия.

Поход проходил в тяжелейших условиях. Осенними дождями размыло дороги. Приходилось делать дневные остановки, чтобы дать войскам отдых и хоть как-то привести в порядок одежду и обувь. Пищу себе солдаты готовили на кострах.

Дохтурову, как и другим генералам, много времени приходилось отдавать продовольственному обеспечению своих войск, так как армия плохо снабжалась провиантом. Но основные силы Дохтуров направлял на то, чтобы обучить солдат рассыпному строю, стрельбе, рукопашному бою. В этом немалую помощь оказывали ему не только опытные офицеры, но и суворовские ветераны, обучавшие новичков. Эти уроки не пройдут даром, за

что впоследствии солдаты будут особенно признательны своему командиру.

Русские войска шли на соединение с союзной австрийской 46-тысячной армией под командованием генерала Макка. Но к тому времени, когда Кутузов был уже поблизости, войска Макка сдались без боя. Это случилось 7 октября 1805 года около городка Ульм. В этот же день Кутузов утвердил план возможного генерального сражения, намеченный им несколько дней ранее. Уже здесь Кутузов проявлял огромное доверие Дохтурову. Он предписывал: «Во время дела противу неприятеля, ежели вся пехота будет действовать вместе, то командовать обоими флангами старшему генерал-лейтенанту Дохтурову». Однако Кутузову удалось избежать генерального сражения с многократно превосходящими силами французов. Началось планомерное отступление от Браунау до Кремса, которое продолжалось около месяца. Солдаты были голодные и раздетые. Но от союзной армии уже никто не ждал помощи. «Мы идем по ночам, мы почернели... офицеры и солдаты босиком, без хлеба. Какое несчастье быть в союзе с такими негодяями, но что делать!..» — возмущался Дохтуров в письме к жене.

Отступление осуществлялось по правому берегу Дуная, по прибрежной полосе шириной метров в 200—300, обрамленной с левой стороны Дунаем, с правой — лесистыми горами. Арьергардом командовал Багратион и настолько удачно, что французы так и не сумели нанести нашей армии сколько-нибудь существенного урона.

Наполеон послал вперед корпус Мортье, чтобы он вступил в Кремс раньше русских и перекрыл им путь через Дунай. Узнав о движении корпуса Мортье к Кремсу, Кутузов ускорил темп, и русские войска перешли мост, когда Мортье только подошел к Кремсу.

Кутузов увидел, что корпус Мортье оказался в весьма невыгодном положении. Он послал Дохтурова с его дивизиями в тыл и фланг корпуса Мортье, а Милорадович должен был обрушить удар с фронта. Крутым лесистым склоном Дохтуров провел свои войска, оставил в горах бригаду генерал-майора А. П. Урусова, чтобы он перекрыл отход Мортье через горы, а сам с оставшимися полками зашел в тыл французам. 6-й егерский полк устремился в штыковую атаку, французы не выдержали и отошли к деревне Лоим, где заняли удобную позицию. Затем Мортье предпринял против Дохтурова кавалерийскую контратаку и сумел приостановить наступление.

Дохтуров послал бригаду генерал-майора К. К. Улануса обойти неприятеля и атаковать его с флапга в то время, когда с фронта начнет наступать Московский полк. Уже затемно Дохтуров сам повел Московский полк в атаку. Одновременно ударил в тыл и фланг Улануус. Во французских войсках возникла паника. Некоторые части попробовали вырваться через горы, но здесь преградил им путь генерал-майор Урусов. Завершили операцию полки Милорадовича. Самому же маршалу Мортье с трудом удалось в числе немногих переправиться через Дунай.

Дохтуров докладывал об этом сражении Кутузову: «Все три батальона Московского мушкетерского полка, составлявшие первую линию, грудью шли вперед, исполняя во всей точности мои приказания... Неприятель нестрашим наступлением линии был опрокинут, а две его пушки гренадерским батальоном Московского мушкетерского полка под командою майора Шамшева взяты...» По сообщению Дохтурова, «в полон взято штаб- и обер-офицеров и нижних чинов до двух тысяч человек». Кроме того, было захвачено два французских знамени. В этом сражении Дохтуров сумел показать себя не только исполнителем воли командующего и бесстрашным воином, но и прозорливым военачальником, умеющим мыслить стратегически.

Здесь Наполеон понял, что перед ним хотя и немногочисленная армия, но состоит она из мужественных и неустрашимых солдат, которыми командуют талантливые полководцы. Несмотря на старание Наполеона навязать русским генеральное сражение, Кутузову все же удалось соединиться с корпусом Буксгевдена и изменить соотношение сил в свою пользу.

К этому времени в армию прибыли Александр I и австрийский император Франц. Александр I жаждал славы победителя Наполеона, и союзные войска, начиная с 15 ноября, стали искать сражения. Наполеон же отводил войска, подыскивая удобную для сражения позицию. Такой позицией и стало вскоре поле Аустерлица.

19 ноября глубокой ночью в Кржижановице состоялся спешный военный совет союзных войск, на котором австрийский полковник Вейротер ознакомил военачальников с диспозицией боя. План был бездарный во всех отношениях. Однако обсуждать принятый обоими императорами план было бессмысленно. Кутузов лишь формально значился главнокомандующим, фактически же руководство сражением взял на себя Александр I. Приближалась одна из самых горьких страниц в истории русской армии. Согласно плану сражение должен был начать левый фланг с тем, чтобы, прорвавшись, зайти с правого фланга в тыл противнику.

20 ноября 1805 года в 7 часов утра Дмитрий Сергеевич Дохтуров первым повел свою колонну в наступление. О том, как оно развивалось, Кутузов писал в рапорте Александру I: «...Первая колонна, спустясь с горы и прошед деревню Аугест около 8 часов утра, по упорном сражении принудила неприятеля ретироваться к деревне Тельниц... Первая колонна овладела деревнею Тельниц и дефилеями... Отступавшие неприятельские войска, снова построясь и получив подкрепление, опять устремились на первую колонну, но были опрокинуты совершенно так, что колонна сия, наблюдая во всем данную ей диспозицию, не переставала преследовать неприятеля, троекратно побежденного».

Дохтуров занял деревню Сокольниц и мог бы продолжить наступление, но согласно плану необходимо было дождаться выравнивания фронта. Дальнейшие события по вине Александра I развивались таким образом, что Наполеон прорвал центр союзных войск и начал успешно наступать в направлении деревни Аугест. Правда, еще до полного прорыва французами центра союзных войск была возможность как-то изменить ход событий. Для этого Буксгевдену нужно было вовремя повернуть свои колонны во фланг войскам Сульта, но Буксгевден не внял ни советам Дохтурова, ни даже приказу отводить войска назад, отданному Кутузовым. Вместо этого он слепо следовал изначальной диспозиции и метр за метром заводил войска в окружение. Когда же французы ринулись в тыл левому флангу, Буксгевден, видя полную безнадежность положения, бросил свои войска и позорно бежал с поля боя. Войска левого фланга выводил из окружения Дохтуров.

Дохтуров выделил три полка против корпуса Даву, а с остальными двинулся на прорыв. Вырваться можно было лишь через узкую плотину, которая была в руках французов. Обнажив золотую шпагу с надписью «За храбрость», Дохтуров крикнул: «Ребята, вот шпага матушки Екатерины! За мной!» Это был призыв к ветеранам, помнившим победы русской армии при Екатерине II, это было напоминание о походах Суворова. Как и при Кремсе, Дохтуров сам повел в атаку Московский полк. Французы были смяты, в их войсках образовалась

брешь, в которую устремились полки Дохтурова. Но войска проходили через плотину под огнем французской артиллерии, и потери были значительны. Полки, выставленные для прикрытия, почти полностью погибли. В колонне Дохтурова погибло 6359 человек, то есть более половины всего состава. Общие потери союзных войск в аустерлицком сражении — 27 тысяч человек, из них 21 тысяча — русских. Наполеон потерял лишь 12 тысяч.

Когда на другой день колонна Дохтурова догнала русскую армию, ее уже считали погибшей. Многократное «Ура!», стихийно пронесшееся по армии, было лучшей похвалой мужеству воинов и полководческому таланту Дохтурова. Имя Дмитрия Сергеевича Дохтурова переходило из уст в уста. Талант и мужество полководца стали известны не только России, но и Европе. После Аустерлица Кутузов отмечает Дохтурова как «одного из отличнейших генералов, особенно заслужившего любовь и уважение армии». Сам Дохтуров писал жене, что он «заслужил в этом походе поистине нечто весьма драгоценное — репутацию честного человека». Современники неизменно среди качеств его характера отмечали скромность, и в этой самооценке она проявляется с избытком. Дмитрий Сергеевич Дохтуров считал, что честное служение Отечеству естественно предполагает мужество и самоотверженность, что главная забота военачальника — армия. Так он и поступал, не мысля возможности поступать как-либо иначе. После австрийского похода 1805 года Д. С. Дохтуров встал в один ряд с такими военачальниками, как Багратион и Милорадович.

Однако талантливые русские полководцы не были в особой чести у императора. Кутузов был отправлен военным губернатором Киева. В 1806 году, когда Россия должна была помогать Пруссии в ее борьбе с Наполеоном, русской армии вновь понадобился главнокомандующий. О Кутузове царь не хотел и слышать, перекладывая на него позор Аустерлица. В качестве кандидатур стали появляться имена Татищева, Кнорринга, французского генерала Моро, жившего в эмиграции в Америке, и ряда других малозначащих фигур. Иностранцы особенно привлекали внимание Александра, и как он вверил судьбу русской армии при Аустерлице бездарному австрийскому полковнику, так и теперь готов был доверить ее какому-нибудь Моро. Наконец, выбор пал на престарелого екатерининского генерала графа М. Ф. Каменского, доживавшего век в своем имении в Орловской губернии.

Фельдмаршал Каменский получил неограниченные полномочия и отправился к армии. Русская армия должна была соединиться с армией Пруссии, но этого не случилось. Наполеон еще до их соединения разбил пруссаков под Йеной и Ауэрштедтом, занял Берлин, и вскоре его войска были уже в Польше.

Дивизия генерал-лейтенанта Дохтурова находилась у села Голымин, в 80 километрах севернее Варшавы, когда Дохтуров получил два пакета с указаниями. В одном Каменский сообщал о передаче им, главнокомандующим, своих полномочий Буксгевдену, указывая одновременно, что вместо сражения под Пултуском, предполагавшегося ранее, необходимо отвести войска к русской границе. Другой пакет был от командующего первым корпусом Беннигсена, который предлагал Дохтурову соединиться с ним и дать Наполеону генеральное сражение. Централизованное командование войсками было фактически утрачено. Входить же под начало Буксгевдена было явной нелепостью.

Дохтуров понимал, что престарелый фельдмаршал Каменский непригоден для роли главнокомандующего, но назначение главнокомандующим Буксгевдена, позорно бросившего своих солдат в болотах Аустерлица, возмутило его до глубины души. Беннигсен предложил Буксгевдену и Эссену I, командовавшим корпусами, принять участие в генеральном сражении, но не нашел у них поддержки.

Между тем Наполеон беспорядочные и лишенные какой-либо логики движения русских войск, проистекавшие из противоречивых и порой взаимоотменяющих распоряжений Каменского, принял за какую-то особую хитрость, в которой он не сумел разобраться. Решив, что главные силы русских находятся в районе села Голымин, Наполеон двинул туда свои основные соединения. Здесь же на самом деле стояли дивизия Дохтурова, дивизия под командованием Д. Б. Голицына да несколько кавалерийских полков.

14 декабря 1806 года им пришлось выдержать натиск корпусов Ожеро, Даву, Сульта, а также гвардии и конницы. Однако французы ничего не добились. Дивизии Дохтурова и Голицына построились в каре побатальонно и встретили кавалерию штыками. Длинные кремневые ружья (183 см со штыком) делали русскую пехоту неуязвимой. Видя неудачи своей кавалерии, Наполеон посылает в штыковую атаку пехоту. Как свидетельствует

С. Г. Волконский в «Записках декабриста», гренадеры Дохтурова оскорбились: «Эти недоростки недостойны наших штыков!» — воскликнули они и встретили французов прикладами.

Однако вечером Дохтуров и Голицын вынуждены были отойти. Во время отступления пришлось дать ночной уличный бой, но все же Дохтурову и Голицыну удалось сохранить боевой порядок. Весь этот день войска под командой Беннигсена также сдерживали атаки корпуса маршала Ланна. Фактически пять русских дивизий удерживали целый день всю французскую армию.

В январе 1807 года вновь начались боевые действия. К 27 января русская армия заняла позицию протяженностью около 3,5 километра по фронту северо-восточнее от Прейсиш-Эйлау. Дивизия Дохтурова располагалась в центре против корпуса Ожеро и кавалерии Мюрата. 27 января французы предприняли ряд атак, в одной из них Дохтуров был ранен осколком ядра в ногу. Русские успешно отражали атаки французов, но закрепить успех не смогли, так как у армии не было резерва, который должен был быть предусмотрен командующим армией Беннигсеном. В результате сражение, длившееся более 12 часов, ни к чему не привело. С французской стороны потери были 30 тысяч убитыми и ранеными, с нашей — 26 тысяч человек. На этом военные действия прекратились, и в течение трех месяцев обе армии готовились к будущим сражениям.

В мае 1807 года боевые действия противостоящих армий активизировались. У Наполеона насчитывалось до 200 тысяч человек, русская армия под командованием Беннигсена имела около 105 тысяч. Беннигсен принял решение разгромить выдвинутый вперед, в район Гутштадта, корпус Нея.

23 мая дивизии Дохтурова начали наступление. 24 мая Дохтуров овладел Ломитенской переправой и отрезал Нея. Багратион успешно атаковал с фронта, но многие русские части опоздали к сражению, и полностью воплотить план разгрома Нея не удалось. Наполеон подключил основные силы, и русские войска отошли к Гейльсбергу, где 29 мая в течение целого дня стояли против вдвое превосходящего противника.

При Гейльсберге Дохтуров получил четвертое ранение, но, как всегда, не покинул боя.

2 июня 1807 года при Фридланде французы сумели навязать сражение на невыгодной для русской армии позиции. Они сумели сломить оборону Багратиона и прижали к реке центр и правый фланг русских войск. Против двух дивизий Дохтурова, занимавших центр русских позиций, действовали корпуса Ланна и Мортье. Спасти дивизии можно было, лишь срочно организовав переправу. Но здесь не было ни одного моста. Надо было искать брод, чтобы по нему обеспечить отход войск в как можно более короткий срок, поскольку переправляться неизбежно придется под огнем французской артиллерии. Насколько важно было найти хороший брод, доказывает то, что Дохтуров сам отправился искать его. Четырежды пересек он верхом на лошади реку Алле, пока не нашел подходящего брода. Войска, можно сказать, благополучно переправились, сам же Дмитрий Сергеевич покинул берег одним из последних, несмотря на уговоры офицеров не подвергать себя риску.

В этом сражении русские потеряли 15 тысяч человек. Это крупное поражение русской армии было одновременно и единственным в 1806—1807 годах, случившимся в значительной мере по вине командующего армией. Поражение произвело столь сильное впечатление, что Александр I почел за благо вступить в переговоры с Наполеоном, и 27 июня 1807 года был подписан Тильзитский мир.

За вывод русских войск при Фридланде Дохтуров был награжден орденом Александра Невского.

Действия Дмитрия Сергеевича Дохтурова могли служить достойным примером любому генералу. Кажется, не было сражения, в котором Дохтуров не проявил бы себя опытным и мужественным военачальником, а в ряде из них оказал русской армии неоценимую пользу. Подвиги Дохтурова были отмечены наградами. Он получил ордена за Кремс, Аустерлиц, Голымин, Фридланд. За бой при Прейсиш-Эйлау ему была вручена шпага с бриллиантами.

Но полководческая судьба Дохтурова складывалась каким-то особым образом. Есть полководцы, отличившиеся в ярких победах, в дерзких маршах, в победоносных сражениях. Дохтуров же наиболее ярко проявил себя там, где русская армия находилась в труднейшем положении, иногда на грани истребления, как это было при Аустерлице и Фридланде. Спасение армий, однако, стоит любой победы. Трудно переоценить значение деятельности Дохтурова для Австрийского похода и для французской кампании 1806—1807 годов.

К сожалению, далеко не все из современников сумели

по достоинству оценить заслуги Дмитрия Сергеевича Дохтурова. Так, А. П. Ермолов, сравнивая Дохтурова с Багратионом, замечает: «Холодность и равнодушие к опасности, свойственные сему генералу, не заменили, однако же, Багратиона. Не столько часто провождал Дохтуров войска к победам, не в тех войнах, которые удивляли вселенную славою нашего оружия, сделался он знаменитым, не на полях Италии, не под знаменами бессмертного Суворова утвердил он себя в воинственных добродетелях». Войны были, конечно, не те, и слава была не та, но взвесить его заслуги могли, наверное, только спасенные им армии. Сам Багратион, полная противоположность Дохтурову по характеру, ценил, однако, полководческий талант Дмитрия Сергеевича и любил его как человека. Дружба Багратиона и Дохтурова удивляла многих современников и боевых товарищей полководцев.

Вскоре после окончания войны с Наполеоном Дохтуров получил длительный отпуск по болезни, из-за которой ему не пришлось участвовать в русско-шведской войне 1808—1809 годов. Более года провел Дмитрий Сергеевич в Москве, с семьей, наслаждаясь тихой семейной жизнью. Иногда навещали его боевые товарищи, бывал родственник, генерал А. Ф. Щербатов, навестил и П. И. Багратион. Поправив здоровье, Дохтуров стал думать о возвращении в армию.

Летом 1809 года Дмитрий Сергеевич Дохтуров принял командование 6-м корпусом.

В это время осуществлялась реорганизация русской армии, частично проходило и перевооружение. Дохтуров с головой ушел в эту работу. В следующем, 1810 году Дмитрий Сергеевич Дохтуров был пожалован чином генерала от инфантерии.

III

С самого начала Отечественной войны 1812 года корпус Дохтурова, занимавший левое крыло 1-й армии, стоял в сотне верст южнее Вильны и фактически был отрезан от основных сил армии. Командующий армией Барклай-де-Толли приказал отвести корпус к Дрисскому лагерю, где предполагалось дать генеральное сражение. Нужно было в сложнейших условиях преодолеть расстояние в 500 километров. Корпусу Дохтурова пришлось нелегко — в тыл ему устремился кавалерийский корпус Нансути. Чтобы оторваться от него, полки Дохтурова, несмотря на бездорожье и беспрерывный дождь, делали по 50 километров в сутки. Положение корпуса Дохтурова было таково, что он вполне мог быть уничтожен, и Наполеон хорошо знал это. Кажется, здесь впервые Наполеон попробовал объяснить свои неудачи русским климатом. В официальном сообщении, опубликованном в то время для Европы, дано такое описание: «Тридцать шесть часов подряд шел проливной дождь; чрезмерный жар превратился в пронзительный холод; от сей внезапной перемены пало несколько тысяч лошадей и множество пушек увязло в грязи. Сия ужасная буря, утомившая людей и лошадей, спасла корпус Дохтурова, который попеременно встречался с колоннами Бордесуля, Сульта, Пажоля и Нансути».

29 июня корпус Дохтурова соединился с армией Барклая. Позиции лагеря Дохтуров нашел весьма неудачными. Он считал необходимым оставить лагерь и двигаться на соединение с армией Багратиона. На военном совете мнения разделились: император придерживался плана Фуля, согласно которому генеральное сражение нужно было давать здесь. Однако опытные военачальники мнение императора не поддержали, и Александр почел за лучшее отбыть из армии.

22 июля армии Барклая и Багратиона соединились под Смоленском. На военном совете, собранном Барклаем, обнаружилось, что о дальнейших действиях среди руководителей обеих армий мнения расходятся. Багратион, Ермолов, Дохтуров и другие генералы считали, что можно воспользоваться разбросанностью войск Наполеона и дать сражение отдельным корпусам его армии. Чтобы сосредоточить войска, Наполеону требовалось не менее трех-четырех дней. Но Барклай-де-Толли не проявил решительности, и время было упущено.

Военный совет высказался за наступление, и Барклай вынужден был уступить. Однако генерального сражения он не рискнул давать и лишь выдвинул вперед отряд Платова и дивизию Неверовского. Через два дня Наполеон сосредоточил около Смоленска до 180 тысяч человек и решил обойти русскую армию с тыла, чтобы русские вынуждены были принять генеральное сражение. Однако во время обходного марша французы натолкнулись у Красного на отряд Неверовского, который удерживал французскую армию в течение целого дня, давая возможность Барклаю стянуть все силы к Смоленску. Барклай отдал приказ отступать по Московской дороге. Бой под

Смоленском дали Наполеону 7-й корпус Раевского и 27-я дивизия Неверовского. Они сдерживали Наполеона весь день четвертого августа. Барклай принял решение назначить для обороны Смоленска корпус Дохтурова. Дохтуров был болен, и Барклай послал спросить Дохтурова, в силах ли он действовать при обороне Смоленска. На это Дмитрий Сергеевич ответил: «Лучше умереть на поле чести, нежели на кровати». Пятого августа 6-й пехотный корпус Дохтурова и 3-я пехотная дивизия Коновницына сменили корпус Раевского и дивизию Неверовского.

Сопротивление, оказанное Дохтуровым, было беспримерным, все атаки французов были отбиты. Смоленск горел, всюду были развалины, но защитники города не думали сдаваться. Лишь когда стало известно, что армия Барклая вышла из-под возможного удара, Дохтуров оставил Смоленск и отошел на восток, разрушив за собой мост через Днепр.

В русской армии остро встал вопрос о едином главнокомандующем. Барклай-де-Толли, хотя и был военным министром, но командовал лишь 1-й Западной армией. Возникшие разногласия с Багратионом обострили в армии общее недовольство действиями Барклая. Большинство патриотически настроенных русских генералов хотели видеть главнокомандующим русского по происхождению, который воевал бы не только как профессионал, но и как патриот. Еще свежи были в памяти и бездарный план Вейротера, следствием которого была аустерлицкая катастрофа, и бегство Буксгевдена, и поражение при Фридланде под командованием Беннигсена. Правда, сам Барклай-де-Толли не был наемником, он начал службу с нижних чинов, родился в России. Но тем не менее в окружении Барклая каким-то образом оказалось слишком много иностранцев, так что невольно возникала в армии мысль об измене. Возмущаясь действиями Барклая, Багратион писал царю, что «вся главная квартира немцами наполнена так, что русскому жить невозможно и толку никакого нет».

5 августа, в день, когда Дмитрий Сергеевич Дохтуров руководил обороной Смоленска, в Петербурге собрался Чрезвычайный комитет для обсуждения кандидатуры главнокомандующего.

Назначенный главнокомандующим Кутузов прибыл к войскам 21 августа, и сразу же отдал приказ сосредоточиться в районе села Бородино.

Согласно диспозиции 6-й пехотный корпус Дохтурова

и 3-й резервный кавалерийский корпус Крейца составили центр русских войск. Причем одним из двух передовых отрядов центра командовал легендарный Н. В. Вуич, любимец Суворова, герой Измаила, Прейсиш-Эйлау и Фридланда, а впоследствии Бородина, Малоярославца и Лейпцига. Общее командование правым флангом и центром осуществлял Барклай-де-Толли, левый фланг был под командованием Багратиона.

Тяжелое ранение Багратиона и невозможность его дальнейшего участия в сражении было ощутимым уроном для армии. Временное командование левым крылом взял на себя Коновницын. Ему удалось организовать оборону и задержать наступление французов у Семеновского оврага. Однако для контратак сил было недостаточно, и Коновницын отвел войска за Семеновский овраг.

Кутузов посылает на левый фланг принца Виртембергского, но тут же отправляет генералу от инфантерии Д. С. Дохтурову предписание: «Хотя и поехал принц Виртембергский на левый фланг, несмотря на то имеете вы командовать все левым крылом нашей армии, и принц Виртембергский подчинен вам. Рекомендую вам держаться до тех пор, пока от меня не воспоследует повеление к отступлению».

Первую атаку деревни Семеновской французы провели силами корпуса Нея и дивизии Фриана. Но русская артиллерия остановила французов. В это время прибыл Д. С. Дохтуров. В своих записках участник Бородинской битвы Федор Глинка писал: «Дохтуров, отражая мужественно опасности и ободряя примером своим воинов, говорил: «За нами Москва! Умирать всем, но ни шагу назад!» Смерть, встречавшая его почти на каждом шаге, умножала рвение его. Под ним убили двух лошадей и одну ранили...»

Кутузов не ошибся, назначив Дохтурова командовать левым флангом, и как ни горячо тут было, французам не удалось прорвать его. В этом есть немалая заслуга Дмитрия Сергеевича Дохтурова, за долгие годы службы привыкшего быть на самых трудных участках. Надо сказать, что не прошла даром дохтуровская школа и для его корпуса. При Бородине отличились многие офицеры и рядовые его дивизий. Особенно же прославился командир 24-й пехотной дивизии Петр Гаврилович Лихачев, оборонявший после И. Ф. Паскевича батарею Раевского. Дохтуров хорошо знал этого генерала еще по участию в сражениях при Роченсальме и Выборге. «Воспользовавшись

тем, что 11-я и 23-я пехотные дивизии были заняты отражением кавалерийских атак, — пишет историк Отечественной войны 1812 года Л. Г. Бескровный, — французская пехота бросилась на батарею. Силы противника в четыре раза превышали силы 24-й пехотной дивизии, оборонявшей батарею. Русские геройски отражали все атаки, но их подавила численность атакующих. Когда уже почти все защитники батареи пали, командир дивизии старый генерал Лихачев, израненный, со шпагой в руках бросился на французов. Исколотого штыками Лихачева французы взяли в плен. Батарея была захвачена. Многие ее защитники погибли смертью героев. Остатки 24-й дивизии и другие пехотные части около 16 часов отошли под защиту огня батареи, расположенной поодаль на высоте».

В рапорте, представленном Кутузову, Дохтуров писал: «Поставляю обязанностию сим донести, что, прибыв к оной (к армии Багратиона. — *В. К.*), нашел высоты и редуты, нашими войсками прежде занимаемые, взятые неприятелем, как равно и ров, от оного нас отделявший. Поставя себе важнейшим предметом удержаться в настоящем положении, я сделал нужные в сем случае распоряжения, приказав начальникам отрядов всеми мерами отражать стремление неприятеля и не уступать нисколько мест настоящих. Все исполнили сие с отличным благоразумием, и хотя неприятель, принявший намерение опрокинуть непременно наш левый фланг, делал всеми силами под ужасным огнем артиллерии нападение. Но покушения сии уничтожены совершенно мерами взятыми и беспримерною храбростью войск наших. Полки гвардейские — Литовской, Измайловской и Финляндской — во все время сражения оказали достойную русскую храбрость и были первыми, которые необыкновенным своим мужеством, удерживая стремление неприятеля, поражали оного повсюду штыками. Прочие полки гвардейские — Преображенской и Семеновской — также способствовали к отражению неприятеля неустрашимостью. Вообще все войски в сей день дрались с обычною им отчаянною храбростию, так что со вступления моего в командование до наступившей ночи, которая прекратила сражение, все пункты почти удержаны, кроме некоторых мест, которые уступлены по необходимости отвести войски от ужасного картечного огня, большой вред причинившего. Но отступление сие было весьма на малое расстояние с должным порядком и с учинением при сем случае урона неприятелю...»

Поздно вечером Дохтуров прибыл к Кутузову и сказал: «Я видел своими глазами отступление неприятеля и полагаю Бородинское сражение совершенно выигранным». Победа была несомненной, особенно в стратегическом отношении. Однако потери в армии были велики, и, желая сохранить армию, 27 августа Кутузов отдал приказ отвести войска на шесть верст назад, к Можайску. При отходе армии Дохтуров возглавлял колонну в составе 2-й армии, а также 4-го и 6-го корпусов 1-й армии.

Первого сентября в 5 часов вечера состоялся военный совет в Филях. К этому времени для русской армии создалась довольно неблагоприятная обстановка. Французы уже с 30 августа двинулись в направлении Рузы и дальше на Звенигород. Было получено известие о фланговом обходе Москвы корпусом Понятовского с юга, по Боровской дороге. Подкреплений, которые Кутузов рассчитывал получить от губернатора Москвы Ростопчина, не было. К тому же Барклай-де-Толли и Ермолов, осмотревшие избранную Беннигсеном позицию для сражения под Москвой, нашли ее совершенно непригодной.

На совете мнения разделились. Барклай-де-Толли предложил отступить через Москву на Владимирскую дорогу. За сдачу Москвы без сражения высказались Остерман, Раевский, а также полковник Толь. Беннигсен настаивал на сражении, считая избранную им позицию неприступной. Коновницын, Платов, Уваров и Ермолов высказались за сражение, но одновременно признавали позицию Беннигсена непригодной. Можно было атаковать французов на марше, однако в этом случае трудно было предвидеть исход событий. Дохтуров видел, что позиция, избранная Беннигсеном, весьма напоминает ту, что была при Фридланде, когда по вине Беннигсена была разбита русская армия. Но как патриот, для которого имя Москвы было свято, Дохтуров никак не мог помыслить, что столицу можно сдать без боя. Дохтуров высказался за сражение.

В воспоминаниях о военном совете в Филях Ермолов писал: «Генерал Дохтуров говорил, что хорошо было бы итти навстречу неприятелю, но что в Бородинском сражении мы потеряли многих честных начальников, а возлагая атаку на занимающих места их чиновников, мало известных, нельзя быть вполне уверенным в успехе».

Решение, принятое Кутузовым, было неожиданным для Дохтурова, и он тяжело переживал предстоящее отступление. Беннигсен в записке, составленной им для императора, указывает, что Дохтуров во время обсуждения сделал ему «знак рукою, что волосы у него встают дыбом,

слыша, что предложение сдать Москву будет принято». О том, какие чувства владели Дохтуровым, можно судить из его письма жене: «...Я в отчаянии, что оставляют Москву! Какой ужас! Мы уже по сю сторону столицы. Я прилагаю все старание, чтобы убедить идти врагу на встречу. (...) Какой стыд для Русских: покинуть Отчизну, без малейшего ружейного выстрела и без боя. Я взбешен, но что же делать?» Это признание Дохтурова свидетельствует о том, какую ответственность взваливал на себя Кутузов, принимая решение оставить Москву. Мало кто мог понять его действия, если даже такие соратники, каким был Дохтуров, считали невозможным сдать Москву без сражения.

Совершив Тарутинский маневр, Кутузов выдвинул корпус Дохтурова в сторону Москвы. Вскоре главнокомандующий получил от Дорохова сообщение о попытках дивизий Орнаро и Брусье обойти русский фланг в районе Фоминского. Кутузов предписал Дохтурову, в распоряжении которого находились, кроме 6-го корпуса, кавалерийский корпус Меллер-Закомельского, шесть казачьих полков, один егерский и артиллерия, выдвинуться в район села Фоминского. С рассветом 10 октября Дохтуров начал движение навстречу французам.

Прибыв в Аристово, Дохтуров получил от Дорохова данные, основываясь на которых отправил Кутузову сообщение: «Сию минуту был у меня генерал-майор Дорохов... Все силы, которые видел генерал-майор Дорохов в означенных местах, уверяет он, не превосходят восьми или девяти тысяч. Замечено также им, что около Фоминского и за рекою Нарою при оном селении есть бивуаки и видны огни и артиллерия, но по причине лесистых весьма мест сил неприятеля определить невозможно». Вслед за Дороховым в штаб Дохтурова прибыл командир партизанского отряда А. Н. Сеславин с пленными французами, которых он уже успел допросить. Получив новые данные, Дохтуров немедля составил донесение главнокомандующему и отправил его с дежурным штаб-офицером Д. Н. Болговским.

В донесении Дохтуров сообщил: «Сейчас капитан Сеславин доставил сведение, полученное им от пленных, единообразно показывающих, что в селении Бекасове в шести верстах от Фоминского расположились на ночлег корпус 1-й маршала Нея, две дивизии гвардии и сам Наполеон. Войска сии пятый уже день выступили из Москвы и что прочие войска идут по сей же дороге... Генерал-майор Дорохов извещает, что он получил донесение, что неприятель ворвался в Боровск».

Ночью Болговский доставил Кутузову донесение. Выслушав офицера, Кутузов сказал известные слова: «...С сей минуты Россия спасена».

По сведениям от пленных было ясно, что основные силы французов идут в направлении Малоярославца. Дохтуров сумел оценить стратегическое значение этого уездного городка и, не дожидаясь распоряжений Кутузова, двинул свои части форсированным маршем к Малоярославцу.

Получив донесение, Кутузов отдал приказ Дохтурову как можно быстрее двигаться к Малоярославцу. Приказ Дохтуров получил уже на марше. Одновременно Кутузов двинул главные силы из Тарутина в сторону Малоярославца, отправив вперед на помощь Дохтурову Платова.

Вечером 11 октября войска под командованием Дохтурова подошли к селу Спасскому в пяти верстах от Малоярославца. Но движение его войск было приостановлено из-за того, что крестьяне, заслышав о приближении французов, разрушили мосты через реку Протву. Пришлось срочно сооружать переправу, и лишь за полночь войска перешли на другой берег. К рассвету 12 октября Дохтуров приблизился к Малоярославцу, занятому французами с вечера 11 октября.

В 5 часов утра завязался ожесточенный бой. К моменту подхода Дохтурова город занимали два батальона из дивизии Дельзона головного корпуса французской армии под командованием вице-короля Евгения Богарнэ. Дохтуров ввел в бой 33-й и 6-й егерские полки, которые отбросили французов. Дельзон бросил дополнительные части своей дивизии и вошел в город. Тогда Дохтуров послал 19-й егерский полк во главе с Ермоловым, который вновь вытеснил французов из города. Одновременно остальная пехота Дохтурова заняла высоты и перекрыла дорогу на Калугу, а кавалерийский корпус Меллер-Закомельского и отряд Дорохова — дорогу на Спасское. Артиллерию Дохтуров сосредоточил впереди своих корпусов и в боевых порядках пехоты. Дельзон ввел в бой всю дивизию, схватка ожесточилась.

К 11 часам подошла дивизия Брусье, и французы снова овладели городом и атаковали высоты, на которых расположился 6-й корпус. Русские пошли в штыковую

атаку и в четвертый раз взяли город. Тогда Богарнэ ввел дивизии Пино и гвардейскую — город опять перешел к французам. Корпус Дохтурова был в весьма трудном положении, когда подошел высланный Кутузовым вперед 7-й корпус Раевского. Дохтуров получил некоторое преимущество и атаковал французов, в пятый раз отбив город.

Вскоре в бой вступил 1-й корпус Даву, вытеснил русских и атаковал их на высотах. Русские, однако, подпустив французов на короткое расстояние, встретили их картечью в упор и довершили дело штыковой атакой, вернув южную часть города. К этому времени подошли основные силы французов во главе с Наполеоном, в бой вступили еще две французские дивизии, вынудившие Дохтурова и Раевского выйти из города. В это же время Кутузов, подошедший с главными силами, обошел город с юга и занял Калужскую дорогу.

Кутузов приказал корпусу Бороздина сменить 6-й корпус Дохтурова, а также послал 3-ю дивизию Шаховского под командованием Коновницына, который и оставался в сражении до его окончания в 23 часа. Руины города остались в руках противника, но армия Кутузова заняла настолько выгодную позицию на высотах южнее Малоярославца и за Немцовским оврагом, что Наполеон на следующий день не решился предпринять никаких действий.

В ночь на 13 октября Наполеон созвал военный совет в деревне Городне. Маршалы его единодушно выразили мнение, что движение на Калугу невозможно. «Прибытие Кутузова на Калужскую дорогу совсем переменило положение дел», — сказал Наполеон. Никогда еще прежде Наполеон не выдавал так явно своего смятения. Он сидел, схватившись обеими руками за голову, облокотясь на стол, устремив взор на карту. Этот эпизод изображен на известной картине В. В. Верещагина.

Весь день 13 октября Наполеон провел в мучительных размышлениях под Малоярославцем, а 14 октября повернул свою армию на Смоленскую дорогу.

Бой при Малоярославце был одним из самых жестоких в войне 1812 года. Автор очерка «Бой при городе Малоярославце» (М., 1912) Н. И. Миловидов так описывает последствия боя для города: «Город, бывший местом побоища, восемь раз переходил из рук в руки и представлял

зрелище полного разрушения. Из двухсот домов, бывших тогда в Малоярославце, осталось всего двадцать. Направление улиц обозначалось только трупами, которыми они были усеяны. Везде валялись истерзанные тела, раздавленные проехавшими орудиями. Под дымящимися развалинами тлели полусожженные кости. Множество раненых, укрывшихся в домах, вместо спасения погибли в пламени. Убитых и раненых с каждой стороны было более чем по шести тысяч... (По данным, принятым современными историками, потери французов были 5 тысяч человек, потери русских — около 3 тысяч — *В. К.*). Бесприютные малоярославецкие жители после боя собрали и продали по пяти сот пудов свинцовых пуль и в эту зиму, по рассказам старожил, ружейными ложами отапливали свои новые жилища».

За все время боя Дмитрий Сергеевич Дохтуров находился в самых «горячих точках». Когда адъютант сказал ему, что надо бы поберечь себя, подумать о жене и детях, Дохтуров ответил: «Моя жена — это честь, а дети — солдаты. Наполеон хочет пробиться, но он не успеет или пройдет по моему трупу». Дохтуров сдержал слово, Наполеон не прошел. В литературе нет единого мнения о том, когда Дохтуров произнес слова «Моя жена — это честь, а дети — солдаты». Например, «Русский биографический словарь» (Спб., 1905) приводит эти слова в несколько иной редакции, как сказанные Дохтуровым во время вывода войск из окружения при Аустерлице. Очевидно, Дохтуров не однажды высказывался таким образом, отсюда и разночтения.

Жене Дохтуров писал об этом славном дне: «Целой день я был в сем деле, устал как собака, но, слава Богу, совершенно здоров и невредим. Наши дрались славно, много у нас ранено и убито, но у нашего злодея несравненно более. (...) Я все сделал, что мог; пока не прислали подкрепления, с одним моим корпусом мне было весьма трудно...»

Кутузов высоко оценивал сражение при Малоярославце: «Сей день есть один из знаменитейших в сию кровопролитную войну, ибо потерянное сражение при Малоярославце повлекло бы за собою пагубнейшее следствие и открыло бы путь неприятелю через хлебороднейшие наши провинции», — писал он императору. Высоко оценили его и французы. По словам французского историка Сегюра, бой при Малоярославце положил конец «завоеванию вселенной».

За действия при Малоярославце Дохтуров был пожалован «кавалером ордена святого Георгия большого креста 2-го класса». Среди других за это сражение получили награды командующий 7-й дивизией генерал-лейтенант П. М. Капцевич и полковник Н. В. Вуич. Награждены были многие нижние чины, а Софийский пехотный полк 7-й дивизии получил право именоваться гренадерским.

Преследование Наполеона на пути от Малоярославца до Смоленска осуществлял авангард Милорадовича и Платова. Основные же силы русской армии в составе двух колонн, одной из которых командовал Дохтуров, двигались параллельно Смоленской дороге.

Наполеон прибыл в Смоленск 27 октября, но город был уже разграблен его же войсками. Провианта едва хватило накормить гвардию. Пробыв в Смоленске четыре дня, Наполеон начал дальнейшее отступление. При Красном состоялось трехдневное сражение (4—6 ноября), в котором участвовал и 6-й корпус Дохтурова. Французы потерпели полное поражение. В этом бою более 6 тысяч французов было убито и 26 тысяч взято в плен. После Малоярославца у Наполеона было еще более 90 тысяч солдат и офицеров. В арьергардных боях на пути от Малоярославца к Смоленску французы потеряли около 30 тысяч человек. От Красного после трехдневного сражения Наполеон увел менее 30 тысяч. Это было уже не отступление, а бегство. На следующий день после битвы при Красном Дохтуров с удовольствием писал жене: «Мы преследуем неприятеля, который бежит как заяц. (...) Великий Наполеон бежит, как никто еще не бежал. (...) Мы надеемся, что скоро он будет совершенно истреблен». До совершенного истребления и впрямь оставалось немного времени. Уже в конце ноября Кутузов писал Александру I из Вильны: «Война закончилась за полным истреблением неприятеля».

IV

В конце декабря 1812 года корпус Дохтурова вышел из Вильны на Меречь. 1 января 1813 года Дохтуров провел свой корпус по замерзшему Неману. От Меречи Дохтуров вместе с Милорадовичем двинулся в направлении Варшавы, где стояли саксонский, польский и австрийский корпуса. Командующий австрийским корпусом Шварценберг выразил готовность Австрии вступить в перемирие с русской армией. Затем он отвел свои войска в Галицию без единого выстрела. В одном из писем Дохтуров

сообщал об этом: «Австрийцы отступают очень дружелюбно, без малейшего выстрела и очищают завтра Варшаву, а наши войска тотчас в нее вступят». Ренье и Понятовский также оставили Варшаву, в которую Дохтуров и Милорадович вступили 26 января.

Под общее начало Дохтурова были отданы все войска, находившиеся в Варшавском герцогстве. Конечно, ему приходилось заниматься не только армией, но и делами гражданского населения. Осталось немало свидетельств того, что Дохтуров был неизменно доброжелателен к просителям, беднякам и вдовам и не отказывал даже в денежной помощи, хотя сам не был богат.

Известие о смерти Кутузова потрясло Дохтурова. Он немедленно выехал в Бунцлау. Для Дохтурова Кутузов был не просто великий полководец, но и учитель, соратник, боевой товарищ. После смерти Багратиона это была для Дохтурова самая большая личная потеря. Он скорбел о полководце как человек и как сын России, понимавший великое значение Кутузова для спасения Отечества.

По возвращении в Варшаву Дохтуров продолжал формирование Польской армии, возглавлять которую вскоре император поручил Беннигсену.

Этим назначением Александр I еще раз выказал свое пренебрежение к талантливым русским полководцам. Ни поражение русских при Фридланде, ни самовольное передвижение Беннигсеном 3-го корпуса Тучкова при Бородине, лишившее Кутузова возможности нанести удар с левого фланга, ни предательски бездарная позиция, выбранная Беннигсеном для сражения под Москвой, — ничто в глазах императора не поколебало отношения к Беннигсену.

О назначении Беннигсена командующим Дохтуров узнал еще до окончания формирования Польской армии и был доволен этим назначением, о чем он писал жене в письме от 1 июня 1813 года: «Я чрезмерно рад, что я имею начальником сего достойного и почтенного человека и что освободился от Барклая...» Такое отношение Дохтурова вполне понятно. Дохтуров помнил поведение Беннигсена на совете в Филях, когда Беннигсен с жаром отстаивал необходимость обороны Москвы, а Барклай, напротив, был первым, кто предложил ее сдать. Но если сам Дохтуров не мог допустить мысли об оставлении Москвы без сражения как патриот, то Беннигсена волновало, что скажут об этом в Европе и понравится ли это государю, о чем он и указал в записке, приложенной им к письму Александру I от 19 января 1813 года.

Дохтуров принял командование новым корпусом. С выпестованным им 6-м корпусом, полки которого он лично водил в бой еще при Кремсе и Аустерлице, пришлось расстаться навсегда. Дохтуров понимал, что со смертью Кутузова отношение ко многим выдающимся русским военачальникам изменилось. Русскую армию теперь возглавляли император и Барклай-де-Толли.

Положение Дохтурова было сложным. Что касается Барклая-де-Толли, то к его военным способностям Дохтуров относился, мягко говоря, скептически, считая его «не сродным к командованию никакой части, а уж и более армиею». И хотя Дохтуров прямо не говорил об этом, очевидно, такое отношение не могло укрыться от Барклая. Император же внешне выказывал Дохтурову свое полное расположение, вместе с тем, например, он не удовлетворил представление Кутузовым к награждению Дохтурова орденом святого Георгия второй степени за Бородино. Теперь же Александр I приблизил к себе Барклая, и Дохтурову, конечно, оставалось лишь следовать распоряжениям.

Новая антифранцузская коалиция готовилась к сражению под Лейпцигом. Корпус Дохтурова вел ожесточенный бой под Дрезденом, когда основные соединения русской армии двигались к Лейпцигу. Вскоре Дохтуров получил предписание идти на соединение со всей армией. В течение пяти дней под проливным дождем войска Дохтурова совершали марш к Лейпцигу, и к вечеру 5 октября корпус подошел к Фухсгейну под Лейпцигом. Здесь готовилась так называемая «битва народов».

Утром 6 октября корпус Дохтурова начал наступление на южную окраину города. Особенно ожесточенная схватка была с кавалерией Нансути и бригадой старой гвардии, брошенной Неем против дивизий Дохтурова. Однако французская конница была разбита, а гвардия отступила. К вечеру 3-й корпус достиг предместья Лейпцига. Утром следующего дня войска союзников с разных направлений начали штурм города и к полудню одновременно вошли в него.

В письме к жене Дохтуров сообщал, что жители Лейпцига приветствовали освободителей, выглядывали из окон, кричали «Ура!», бросали на улицу цветы. «К славе войска нашего, — отмечал Дохтуров, — ни один обыватель и ни один дом не были ограблены». Дохтуров был скуп на слова. О битве при Лейпциге он пишет: «Скажу

о себе, друг мой, корпус мой дрался славно и везде опрокидывал неприятеля, и дело было у меня весьма жаркое». За этими строками стоят талант полководца, железная воля военачальника, громадная работа по организации боя.

Отступление французов из Лейпцига было столь беспорядочно, что Дохтуров сравнивал его с бегством Наполеона после поражения при Красном.

Некоторое время корпус Дохтурова вместе с другими соединениями преследовал французов, но затем ему было предписано взять Магдебург, в котором засел сильный французский гарнизон.

Дохтуров, щадя своих солдат, не стал предпринимать штурма крепко защищенных стен. Он выбрал момент, когда значительная часть французов вышла на одну из очередных вылазок, и внезапным ударом отрезал их от крепости. Магдебург пал.

Затем корпус Дохтурова участвовал в осаде Гамбурга, длившейся несколько месяцев. Оборону города возглавлял маршал Даву. Сопротивление было отчаянным. Командующий армией Беннигсен предлагал французам сдаться, но Даву отказался капитулировать даже тогда, когда Наполеон уже отрекся, а Париж был взят союзными войсками. Сам же Беннигсен вел действия не очень решительно. В письме к жене Дохтуров отмечал, что Беннигсен рассчитывает получить фельдмаршала в случае взятия Гамбурга, однако боится решительных действий, так как если в этом деле потерпит неудачу, то желанное звание отодвинется от него еще дальше, чем оно было теперь. И если при назначении Беннигсена Дохтуров радовался своему избавлению от Барклая, то теперь «сей достойный и почтенный человек» предстал перед ним в ином свете. «Не можешь представить, друг мой, как этот человек переменился: из него сделался самый ловкий и льстивый придворный, он даже не смеет писать Государю о самых нужнейших вещах, боясь его не огорчить; а сверх сего слаб до бесконечности, управляем всеми, кто его окружает. Каково мне видеть все это и не в состоянии ничего поправить. По его милости мы, кажется, вечно назначены блокировать крепости...» — писал Дохтуров жене.

Изменился не Беннигсен. Просто Дохтуров, наконец, увидел подлинного Беннигсена. Да и не только его одного. Видя вокруг себя среди многих высших чинов интриги, ложь, заботу о личной выгоде, Дохтуров опасался «с подобными начальниками потерять репутацию». В нем

окончательно созрела мысль после завершения войны оставить службу.

Гамбург капитулировал лишь 19 мая 1814 года. Это была последняя военная операция, в которой Дохтуров принимал участие. По окончании ее Дохтуров взял годичный отпуск для поправки здоровья, однако отпуск пришлось прервать в связи с тем, что бежавший с Эльбы Наполеон снова пришел к власти. Русская армия двигалась к Рейну, но уже во время похода стало известно о разгроме Наполеона при Ватерлоо.

26 и 29 августа 1815 года Александр I провел смотры русской армии, чтобы продемонстрировать союзникам свою мощь.

Более месяца уставшие войска занимались строевой подготовкой. Из Петербурга прибыли специальные «экзерцицмейстеры». Герои 1812 года испытывали унижение. Все это произвело угнетающее впечатление на Дохтурова и многих боевых генералов, которые почувствовали свою ненужность. Весь этот парад живо напоминал недавние еще павловские времена.

В этой атмосфере Дохтуров, привыкший к честной службе Отечеству, почел за лучшее подать рапорт об отставке, мотивируя ее болезнью. Император удовлетворил просьбу без сожаления, и с 1 января 1816 года Дмитрий Сергеевич Дохтуров был уволен в отставку.

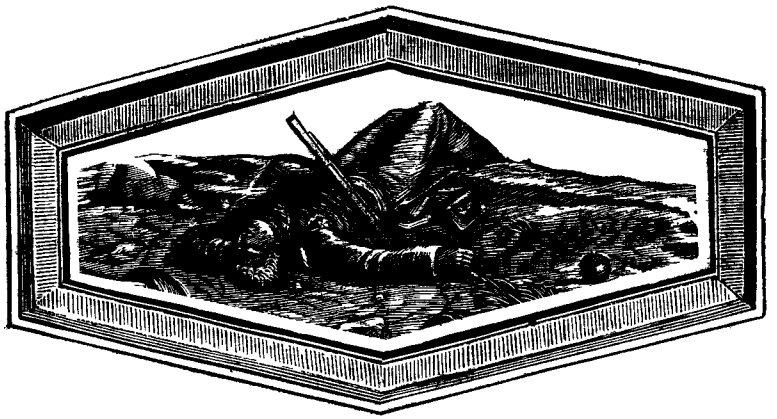
Но здоровье Дохтурова и действительно было сильно подорвано. Сказались ранения и контузии, многие годы упорного военного труда, да и смолоду он не отличался крепким здоровьем. Остаток дней Дохтуров доживал в Москве, в своем доме на Пречистенке.

Незадолго до его смерти к Дохтурову пришли боевые товарищи по 6-му корпусу, среди которых были Капцевич и Вуич. Они вручили своему полководцу специально изготовленную драгоценную табакерку с изображением Малоярославского сражения. В приветственном адресе, который зачитал П. М. Капцевич, говорилось: «Пройдут годы и столетия, но блистательное имя Дохтурова, драгоценное России и ее сердцу, не померкнет, доколе воспоминания о Бородине и Малом Ярославце не изгладятся из памяти русских».

Через несколько дней Дмитрий Сергеевич Дохтуров скончался. Погребен он в Давыдовском монастыре Серпуховского уезда (ныне поселок Новый Быт Серпуховского района Московской области).

Виктор КРЕЧЕТОВ

Николай Николаевич Раевский



Прости мне длань свою,
Раевский, мой герой!

Денис Давыдов

Русские войска вступили в Париж в марте 1814 года. Во главе гренадерского корпуса одним из первых был генерал от кавалерии Николай Николаевич Раевский...

Он был в Смоленске щит,
В Париже — меч России, —

слова эти начертаны были на могиле замечательного героя 1812 года. И в самом деле, необыкновенная судьба этого человека предначертала ему за недолгую, но чрезвычайно насыщенную событиями и делами жизнь сыграть роль и выдающуюся, и необыкновенно напряженную, и героическую, и в чем-то даже поэтическую. О нем с любовью вспоминали и соратники по боевым дням, и друзья, многие именитые литераторы, деятели культуры России. Имя и жизнь Раевского были для многих неподражаемым образцом, его авторитет вызывал преклонение и уважение.

Но тем не менее Раевский, как нам кажется, не достиг возможных самых блестящих вершин на главном своем поприще — военном, хотя и был удостоен высокого звания генерала от кавалерии.

Каков же был этот человек, какие принципы он исповедовал, какой жизненный путь он прошел? Рассказ о нем небезынтересен и непрост. Но в конце концов легендарность обращается явью, недосказанность приобретает реальные очертания.

Немало интересного донесли до нас документы о талантливом боевом офицере русской армии, авторитетном командире в период Отечественной войны 1812 года, выдающемся общественном деятеле пушкинской эпохи, человеке, порой незаслуженно обойденном вниманием современной ему царской администрации и, как это ни горько, последующей памятью потомков.

I

Как определить вклад военачальника той эпохи в историю отечественного военного искусства, да и в отечественную историю в целом? Количеством полученных наград? Числом выигранных сражений? «Качеством» разработанных им новых тактических приемов? Думается, что да, всем этим в совокупности, но еще и тем, в какие важнейшие для России моменты он проявил свои способности, в какой трудный час принимал свои решения, от которых зависели не только судьбы его подчиненных, но и судьбы всей страны.

Но «количество» тоже говорит само за себя. Послужной список Н. Н. Раевского по-своему интересен. В 1786 году, 15 лет, в чине гвардейского прапорщика Николай Раевский начинает действительную службу. Через год он в русско-турецкой войне командует одним из казачьих полков, участвует в сражениях — при взятии Аккермана и под Бендерами. Громадную роль в его жизни сыграло знакомство с М. И. Кутузовым, а затем с П. И. Багратионом. Примечательным фактом в биографии Раевского можно считать то, что в январе 1792 года он был произведен в полковники, а через два года удостоен чести — назначен командиром Нижегородского драгунского полка, расквартированного на Кавказе. Для молодого офицера это было большое событие. Со своим полком Раевский участвовал в войне с Персией.

В 1807 году мы застаем его в качестве командира

бригады, которая входила в авангард Багратиона во время войны с Францией. В начале июня Раевский находился в самом пекле сражений под Гудштадтом, Анкендорфом, Клейнсфельдом, Деппеном, снова под Гудштадтом. Раненный под Гельсбергом, он через три дня — 2 июня — после сражения под Фридландом вместо князя Багратиона командовал всем арьергардом русской армии, вплоть до Тильзита. В шведскую войну 1808—1809 годов Раевский вновь на передовой, в Финляндии. В очередную турецкую войну — с 1810 по 1812 год — он в Молдавии. Умелый и бесстрашный штурм Силистрии под его командованием заставил турецкий гарнизон выбросить белый флаг.

И, наконец, Отечественная война 1812 года.

О ней, казалось бы, и говорить особо не нужно. Кто не знает о легендарной батарее Раевского, ставшей одним из центров Бородинской битвы. Но как не ощутить уважение и трепет перед тем, что довелось испытать ему, что выпало на его судьбу в те дни. Как не вспомнить одно из первых жесточайших сражений — под Салтановкой, то самое, в результате которого решилась возможность переправы 2-й армии через Днепр и соединения обеих русских армий под Смоленском, что означало спасение русских армий. Как не представить себе кровопролитную оборону Смоленска, вошедшую в нашу историю как образец стойкости и героизма русских солдат. Как не припомнить и тяжелейшее сражение под Малоярославцем, когда Раевский со своим корпусом несколько раз штурмовал город, и битву под Красным, где он истребил корпус маршала Нея — одного из лучших наполеоновских полководцев, и сражение при Кеннигсварте, под Бауценом, Дрезденом, Кульмом, и то, как раненный пулей в грудь, он со своим корпусом участвовал в битве под Лейпцигом в то время, когда, по воспоминанию современника, «было одно роковое мгновение, в котором судьба Европы и всего мира зависела от твердости одного человека», и, наконец, то, как на подступах к Парижу Раевский занял предместья и господствующие высоты и вынудил неприятеля сложить оружие — в последний раз в той войне.

Не достаточно ли для одного человека?!

Наполеон говорил о Раевском: «Этот русский генерал сделан из материала, из которого делаются маршалы...»

Не умаляя достоинств и заслуг перед Отчизной многих других русских офицеров и генералов времен Отечествен-

ной войны 1812 года, можно все-таки отметить исключительное доверие, которое оказывали Николаю Николаевичу Раевскому и князь Багратион, под началом у которого служил тогда генерал, и М. И. Кутузов. В самом деле, при отступлении русских армий Раевский часто командовал арьергардом, прикрывая отход, закрывая грудью бреши, в которые могла просочиться французская армия. При наступлении же Раевский впереди, в авангарде, на самом острие атаки, в гуще битвы, во главе штыкового удара. Необыкновенные волевые качества, решительность, умение мгновенно ориентироваться в сложнейшей обстановке, личный авторитет и, следовательно, полное доверие и душевное отношение к нему подчиненных — эти отличительные черты, свойственные генералу, были ведомы всем, поэтому в самую трудную минуту — и не раз! — вспоминали именно о Раевском.

Ведь именно его специально позвал на совет в Филях М. И. Кутузов, и именно его особо спросил он: что делать дальше, какое принять решение? Горница в той подмосковной избе была полна замечательных полководцев. Но фельдмаршал хотел знать мнение боевого генерала, пришедшего последним в запыленном мундире прямо с передовой.

— Есть два пути, — произнес Раевский на совете. — Выбор одного из них зависит от главнокомандующего. Первый — дать бой французам, второй — оставить Москву и сохранить армию. Говорю это как солдат.

Сказать такое в ту минуту — величайшая ответственность. Не страдавший многословием генерал выразил в этих словах свой боевой опыт, выразил, невзирая на противоположное мнение большинства присутствовавших. Либо — драться и умереть, либо — победить.

А ведь еще несколько дней назад, в пекле Бородинского сражения, когда Кутузов спросил Раевского: «Так вы думаете, что нам нет необходимости отступать?» — генерал не задумываясь ответил: «Нет, ваше сиятельство, — напротив, в сражениях нерешенных всегда побеждает упорство».

Победа или смерть за Родину! Другого и не мыслил себе этот человек.

— Так тому и быть, — выслушав ответ Раевского на совете, промолвил Кутузов. — Вот и мое мнение. Знаю, ответственность падет на меня, но жертвую собой для счасения Отечества. Властью, мне данной, решаю — отходим через Москву по Рязанской дороге. Приказываю отступать.

Фельдмаршал выбрал план отступления и сдачи Москвы.

Когда Раевский глубокой ночью возвращался из деревни Фили в расположение своего корпуса, он был задумчив, как никогда... Адъютант, сопровождавший его, позднее вспоминал: «Я ехал в отдалении от командира корпуса, недоумевая, почему он, всегда такой приветливый, сегодня не ответил мне на вопрос, что решил военный совет. И вдруг в ночной тишине я услышал, как наш любимый герой сражений глухо зарыдал...»

Ничто так не характеризует личность военного человека, как описание битвы с его участием. Скрупулезно останавливаться на всех баталиях, в которых участвовал Раевский, — задача длительная и достойная трудов многих исследователей. Но о некоторых из них не сказать нельзя.

Известно, что в начале Отечественной войны вдоль западных границ располагались в первую очередь две армии: 1-я — генерала Барклая-де-Толли, и 2-я — генерала Багратиона. Известно и то, что Наполеон, обладая войсками, численность которых почти в три раза превышала численность русских войск, главную ставку в начальный этап войны делал на плане разгрома обеих армий по очереди. А для этого ему необходимо было во что бы то ни стало воспрепятствовать их соединению.

Специальный французский корпус под командованием маршала Даву выполнял трудную, но ответственную задачу: он постоянно вклинивался между русскими армиями. В июле 1812 года армия Багратиона подошла к Днепру. Оставалась только единственная надежда — быстрым маневром соединиться с 1-й армией. Но для этого нужно было задержать отряды Даву, которому на подмогу были брошены еще и войска Жерома — брата Наполеона. Решено было двинуться на Могилев, где была удобная переправа через Днепр! Но Даву и тут упредил — неожиданным наступлением занял город.

Князь Багратион долго думал, кого послать к Могилеву. Требовалось на день-два задержать Даву, чтобы успеть переправить армию через Днепр. И не просто задержать, а, наоборот, перейти в наступление, чтобы обмануть противника. Французы должны подумать, что

будто Багратион всеми своими силами решил пробиваться на север, к Могилеву. И Багратион решил: необходимо послать корпус Раевского. Только ему можно доверить в сей ответственный момент судьбу 2-й армии, а может быть, даже и всего русского войска.

— Знаю твою храбрость, генерал, — сказал Багратион Раевскому. — Посему вверяю тебе корпус. У Даву, может быть, сил больше. Но двигайся по направлению к Могилеву и бейся насмерть.

Через два часа 40-тысячная армия Багратиона осталась позади. Авангард Раевского выступил навстречу французской армаде. Вместе с генералом были в этом деле и его сыновья: старший — Александр, 16 лет, и младший — Николай, которому еще не исполнилось и 11.

Между деревеньками Салтановкой и Дашковкой протекал узенький ручей, перегороженный плотиной. Уже когда первые батальоны русского арьергарда приблизились к берегу, с той стороны раздались залпы ружейных выстрелов. Мост у плотины был основательно завален деревьями и присыпан землей. Французы крепко засели на том берегу. Стало ясно, что сражения не миновать.

Бой начался неожиданно, с ходу. Шедшие навстречу друг другу войска не успели даже перестроиться.

После первого замешательства наступило временное, почти мимолетное затишье.

С пригорка, где едва успел расположиться штаб Раевского, было видно все как на ладони. Штабные офицеры сгрудились вокруг походного столика, на котором генерал Раевский разложил карту.

— Впереди плотина, — отметил полководец. — Мимо нее нам никак не пройти. Именно здесь и завяжется основное сражение.

— На левом фланге густой лес, ваше превосходительство, — обратился к нему генерал Паскевич. — Не задумает ли Даву предпринять обходной маневр?

— Если не сможет с ходу нас опрокинуть, то обязательно постарается обойти.

Раевский отложил карту, вынул из чехла подзорную трубу и стал не спеша осматривать местность. Затем он сделал знак рукой, показывая, чтобы офицеры расступились. Все отступили полшага назад, встали полукругом. Раевский начал чертить палочкой на земле.

— Вот ручей. Он разделяет поле пополам. Прямо перед нами — мост и плотина. За ними — бревенчатые дома, в которых засели неприятельские стрелки.

Один за другим на земле появлялись изображения ручья, домиков, моста.

— Справа ручей глубок, там француз вряд ли пойдет. Слева, как уже говорили, лес.

Вычертив схему, генерал провел посередине ровную черту, на конце которой нарисовал стрелку, направленную в сторону французского лагеря.

— Наступать будем в центре, прямо на плотину. А дабы слева нас не обошли, — обратился Раевский к Паскевичу, — придется тебе, генерал, с отрядом в лесу засесть.

Наступило 11 июля. Узенькая полоска нескошенного поля, упирающегося с одной стороны в ручей, а с другой — в темнеющий лес, пестрела разнотравьем. Роса еще не спала.

Солдаты разговаривали шепотом, словно боясь нарушить рассветную тишину, словно бой еще не начался. Однако противник не дремал.

Взоры офицеров были устремлены на север, откуда вновь должен был появиться неприятель.

— Идут, — сказал генерал Васильчиков.

— Да, дело продолжается, — ответил, глядя в сторону ручья, Раевский.

А порывы ветерка все сильнее и сильнее доносили грохот неприятельских барабанов.

Через четверть часа ровные колонны французских пехотинцев мерно вышагивали под барабанный бой к переправе.

Смоленский полк, которым командовал полковник Рылеев, ждал приближения неприятеля.

— Идут, будто на параде, — произнес юный подпрапорщик, стоявший справа от Александра Раевского.

Действительно, легкий ветерок, доносивший свежесть с ручья, набирающее тепло розовое утреннее солнце, поднимающие головки полевые колокольчики и гвоздики, одноцветные солдатские мундиры, блещущие серебром, мерный ритм барабана и нехитрая мелодия флейты — все это было так похоже на обычный полковой смотр.

Маленькие фигурки французов в синих мундирах, издали напоминавшие раскрашенных деревянных солдати-

ков, быстро перемещались по полю, сгруппировывались у моста, перебегали его, а затем вновь рассыпались в цепь. Уже слышны были отрывистые выкрики. Это отсчитывал строевой шаг французский офицер.

Но вот раздался залп русской артиллерии. Почудилось, что на несколько мгновений все вокруг замерло, пока, со свистом раздирая воздух, неслись к своей цели ядра. Взрывы оглушили и обороняющихся и наступающих. Дым, словно покрывалом, заслонил вражеские ряды. И сразу же повеяло новым, острым запахом пороха и гари.

— Здорово влепили! Молодцы артиллерия! — вскричал подпрапорщик. — В самую середину!

Ветер разбросал завесу дыма, и в образовавшиеся «окна» отчетливо было видно, как французы перестраивались. Несколько человек упали на землю. Перед строем бегал офицер, выкрикивая команды. Эполет на его плече был сорван. Раздался еще один залп русских орудий. Почти без паузы, как эхо, ему ответили батареи неприятеля. Французский офицер остановился, странно ощупывая пальцами свой бок, затем ноги его подкосились, и он упал.

Где-то за спиной оглушительно ухнуло. Всех стоявших обдало сильной горячей воздушной волной.

— Вперед, братцы! С богом! Ура! — Крик командира полка был слышен, хотя уши были заложены от грохота, словно ватой.

Полк бросился в штыковую атаку. Дым едко забирался в глаза. Ноги заплетались в мокрой траве. Бежать было трудно, кричать тем более. Но уже ничто не могло остановить атакующих со штыками наперевес русских солдат.

Когда расстояние между войсками было не более тридцати шагов, французы не выдержали, повернули назад. До самого моста длилось преследование неприятеля, и никто уже даже не слышал приказа отойти назад.

— Сейчас Даву попробует обойти нас через лес, — проговорил чуть слышно генерал Раевский. — Несладко придется Паскевичу. Но если не удержит он, конец всему отряду.

С холма было видно, как французы в центре бросились в новую атаку. А дальше, у горизонта, заметно было, как подходили к ним на подмогу все новые и новые части.

— Ваше превосходительство, — вскрикнул генерал Васильчиков, рассматривавший неприятельские ряды в подзорную трубу, — несколько вражеских дивизий направились в сторону нашего левого фланга.

— За Паскевича я не беспокоюсь, — ответил Раевский. — Главное сейчас — это удержаться у плотины.

Между тем сражение продолжалось. Даву бросал к плотине свежие силы. В бой вступили дивизии генералов Дессэ и Кампана. Огонь французской артиллерии наносил ощутимый урон русским войскам. Раненые солдаты и офицеры после перевязки снова вступали в бой. Они знали — заменить их некем.

Маршал Даву недоумевал. Неужели здесь сосредоточена вся армия Багратиона? Неужто он решил дать решающий бой у Салтановки? Не мог Даву предположить, что с его многотысячной армией дерется лишь малочисленный корпус, авангард 2-й русской армии.

— Мы должны сбросить русских с их укреплений, — сказал Даву своему адъютанту. — Потеря одного дня может слишком дорого нам обойтись. Ускользнет Багратион — и тогда все напрасно, все долгие дни его преследования. Сюда, на подмогу, идет корпус генерала Мортье. Его дивизии уже на подходе. Приказываю — повести в наступление все части. Плотина у Салтановки должна быть наша...

В штабе Раевского тоже совещались.

— Думаю, наступает решительный момент. Даву не остановится ни на миг. Будем сражаться до последнего, — сказал генерал.

В четыре часа пополудни французы пошли в большое наступление. Бесконечные колонны пехотинцев покрывали противоположный берег речушки. Когда неприятель вышел на мост, вновь заговорили пушки. Ядра то и дело разрывались у ног русских солдат.

Смоленский полк, стоявший на самом главном рубеже обороны, дрогнул.

— Эка силища, — вздохнул усатый гренадер. — Да это ж вся Бонапартова армада...

И тут, словно волна ветра, пробежал по рядам слух — сам генерал прибыл. Через минуту Раевский появился на передней линии. Спрыгнув с коня, он подбежал к смоленцам. Рядом с ним был его сын — Николай.

— Что пятитесь, смоленцы?! — вскричал генерал, и даже шум канонады не смог перекрыть его голоса. —

Решается судьба наша и всего Отечества. Отобьем плотину, не пустим француза!

Солдаты застыли, слушая своего командира.

— Где знамя? Выноси его вперед!

Безусый подпрапорщик, тот, что всегда был рядом с Александром, выбежал из строя. Он сжимал в руках древко полкового знамени.

Раевский спрыгнул с коня и выхватил генеральскую шпагу. В этот момент Николай был уже рядом. Александр тоже подбежал и встал по правую руку отца.

— Слушайте, братцы! Я здесь, с вами. И дети мои со мной. Мы все идем в этот смертный бой. Жертвую всем ради вас и ради Отечества. Поднимем француза на штыки! Вперед! За мной!

Барабанщик забил атаку. Генерал взял Николая за руку и со шпагой в правой руке двинулся навстречу неприятелю. Александр шел тут же, подле знамени.

Вздрогнули бывалые солдаты. Многое видывали они еще при Суворове, да и в австрийском походе. Но чтобы генерал шел впереди со своими детьми — никогда. Смоленский полк, а за ним и весь фронт без единого выстрела двинулся в решающую атаку. За Раевскими пошел славный генерал Васильчиков, все штаб- и обер-офицеры.

— Дай, дай мне знамя, — кричал в ухо безусому подпрапорщику Александр Раевский. Ему казалось, что настала минута славы.

Знаменосец обернулся. Лицо его пылало от волнения.

— Я сам умею умирать, — гордо отозвался он.

Все ближе и ближе французы. Вот они остановились. Зарядили ружья. Прицелились. Дали залп. Град пуль просвистел над головами смоленцев. Остановился как вкопанный юный знаменосец. Руки разжали древко, и знамя стало медленно падать.

— Ты что? — воскликнул Александр, подхватывая знамя.

Тот не ответил, упал навзничь, сраженный пулей наповал. Темно-зеленые мундиры солдат смоленского полка, перетянутые крест-накрест белыми лямками, почти сливались в одном цвете с высокой травой. От этого казалось, что само поле вдруг поднялось и двинулось навстречу французам. Неприятельские полки перестали стрелять и тоже двинулись навстречу. Лишь пушки с обеих сторон то и дело напоминали о себе грозными выстрелами.

За пятьдесят шагов до противника, выронив саблю из рук, упал тяжело раненный осколком гранаты полковник Рылеев. Узенькая полоска поля между шагающими навстречу друг другу противниками все уменьшалась и уменьшалась. Генерал крепче сжал руку Николая. Оставалось сорок шагов, двадцать... В едином порыве, без команды смоленцы вскричали оглушительное «ура!» и бросились на врага. Знали французы, что их больше числом, но вновь не выдержали натиска, побежали. На плечах противника ворвался полк на мост, а затем на плотину...

Когда вернулись на позиции, уже начинало смеркаться. Выстрелы за рекой затихли. Даву, видно, не решался продолжать наступление. Теперь он окончательно решил, что перед ним главные силы всей армии Багратиона.

Под вечер на совещании штаба Раевский решил начать медленное отступление. Пусть противник думает, что готовится дать новое сражение. И главное — следующей атаки французов остаткам русского корпуса уже не удержать.

На следующее утро Даву не предпринимал решительных действий — ждал подкрепления. Тем временем 2-я армия князя Багратиона переправилась через Днепр, ушла достаточно далеко и вскоре соединилась с 1-й армией Барклая-де-Толли под Смоленском.

Сражение под Салтановкой было одним из первых для войск после того, как французы перешли Неман. И даже маршал Даву, который ранее сопровождал Наполеона во многочисленных походах и в ожесточенных сражениях, признался, что до сих пор еще не участвовал в столь упорной битве пехотинцев.

Подвиг Раевского и его сыновей, вышедших перед строем в решительный момент боя, стал легендарным. После Салтановки имя генерала стало чрезвычайно популярным в русском войске.

Подвиг сей запечатлевали художники на гравюрах и живописных полотнах. Воспет он был и поэтами. В. А. Жуковский в своем «Певце во стане русских воинов» писал:

Раевский, слава наших дней,
Хвала! перед рядами

Он первый грудь против мечей
С отважными сынами...

И хотя позднее сам генерал не любил рассказывать об этом событии, а по словам одного из мемуаристов, даже и отрицал факт участия в сражении под Салтановкой младшего сына Николая, тем не менее оно вошло в летопись Отечественной войны 1812 года как одно из наиболее ярких проявлений героизма русских солдат и офицеров.

В письме к сестре жены Е. А. Константиновой Н. Н. Раевский писал: «Вы, верно, слышали о страшном деле, бывшем у меня с маршалом Даву... Сын мой Александр выказал себя молодцом, а Николай даже во время самого сильного огня беспрестанно шутил. Этому пуля порвала брюки; оба сына повышены чином, а я получил контузию в грудь, по-видимому, не опасную». Эти строки — одно из редких свидетельств самого генерала о подвиге, реальность которого не оспаривалась никем.

Денис Давыдов свидетельствовал, что Раевский, «следуемый двумя отроками-сынами, впереди колонн своих ударил в штыки по Салтановской плотине сквозь смертоносный огонь неприятеля».

А. С. Пушкин в своей заметке на смерть Н. Н. Раевского, помещенной в «Литературной газете», возмущенно писал: «С удивлением заметили мы непонятное упущение со стороны неизвестного некролога: он не упомянул о двух отроках, приведенных отцом на поле сражений в кровавом 1812 году!.. Отечество того не забыло».

С. Н. Глинка в своих пламенных строках отмечал:

Великодушный русский воин,
Всеобщих ты похвал достоин...
Вещал: «Сынов не пожалеем,
Готов я с ними вместе лечь,
Чтоб злобу лишь врагов пресечь!
Мы Россы! умирать умеем».

Поразительны слова, которые произнес юный Николай Раевский после этого незабываемого сражения, ставшего для него первым боевым крещением. На вопрос отца: «Знаешь ли ты, зачем я водил тебя с собою в дело?» — подросток ответил: «Знаю, для того, чтобы вместе умереть».

Так и вошло в летопись той войны Салтановское дело — как подвиг Раевских.

Но сколько славных баталий еще было впереди!..

Оборона Смоленска...

Разве даже в самом начале войны кто-нибудь из русских генералов мог бы представить, что придется сражаться с неприятелем у самых стен древнего русского города!

Громадные крепостные стены — длиною в пять верст, высотой до 12 и толщиной до 4 саженей — окружали Смоленск. Венчали стену три десятка мощных башен, вдоль нее был прорыт широкий ров.

Но и эти грандиозные стены не смогли спасти город от надвигающейся наполеоновской армады. Военная техника уже тогда достигла тех вершин, при которых даже смоленская крепость не являлась вполне надежным оплотом. Мощности французской артиллерии было достаточно, чтобы разрушить хотя бы часть стен. А количественное соотношение наличного состава людей было явно не в пользу обороняющихся.

Защита города зависела в первую очередь от людей, от их мужества и стойкости. И в немалой степени — от опытности, решительности и умения руководителей обороны.

Позднее, в рапорте М. И. Кутузову, Н. Н. Раевский отметит: «Сие сражение есть важнейшее, какое имел я в течение моей службы, а успехом оного обязан я моим сотрудникам». То есть сам генерал расценивал оборону Смоленска как то наилучшее и наивысшее, на что он способен был как полководец.

Если это так, то чрезвычайно любопытно еще раз восстановить те события, выяснить подробнее, как и в какой мере проявились качества Раевского в этом сражении.

Собственно, руководить обороной Смоленска в самые первые дни, когда к нему подходили основные силы французской армии во главе с самим Наполеоном, Раевского... никто не назначал.

Дело началось неожиданно. Так, как это именно и бывает в самые тяжелые периоды боевых действий, когда лишь наиболее решительные и способные полководцы берут на себя ответственность за судьбы людей и Отечества.

Наполеону нужен был Смоленск во что бы то ни стало. Во-первых, потому, что здесь могли собрать свои силы и предпринять активные наступательные действия соединившиеся 1-я и 2-я русские армии, чего допустить

ему было нельзя. Во-вторых, потому, что такая мощная крепость была важнейшим стратегическим пунктом, закрепиться на котором означало одержать полную победу на начальном этапе войны. В-третьих, захват с ходу такого крупного населенного пункта — древнерусского города — мог бы сыграть решающую деморализующую роль для отступающих русских солдат, не ведающих пока, когда и где придет конец их изнурительному и спешному движению на восток.

Для решения этой важнейшей задачи он предпринял неожиданный и быстрый маневр, приблизившись к Смоленску в тот момент, когда там фактически никого не было. Громадные силы были сосредоточены в руках Наполеона на этом участке. С разных сторон к городу подходили отборные пехотные подразделения под командованием маршалов Нея и Даву, а также кавалерия, предводительствуемая Мюратом. Общая их численность в конечном итоге достигала 180 тысяч человек.

Такая концентрация сил, по мнению французского императора, могла способствовать не только победе и захвату Смоленска, но и окружению всех русских войск, с перспективой — отрезать им дорогу на Москву.

Момент действительно складывался благоприятный. Всего лишь решительный рывок, быстрое форсирование Днепра — и можно выйти прямо в тыл русским, и более того — вновь расчленить их силы...

В штабах русских армий об этом плане Наполеона еще не знали. На военном совете 6 июля в Смоленске решено было двинуть основные силы обеих армий в сторону Рудни.

Для отражения возможного прорыва войск Бонапарта к Смоленску (вероятность таких действий с его стороны все-таки предусматривалась) решено было оставить отряд, в который входила и 27-я пехотная дивизия под командованием генерала Д. П. Неверовского. Дмитрий Петрович — опытный и закаленный в боях полководец — не предполагал еще, какая судьба ему уготована противником.

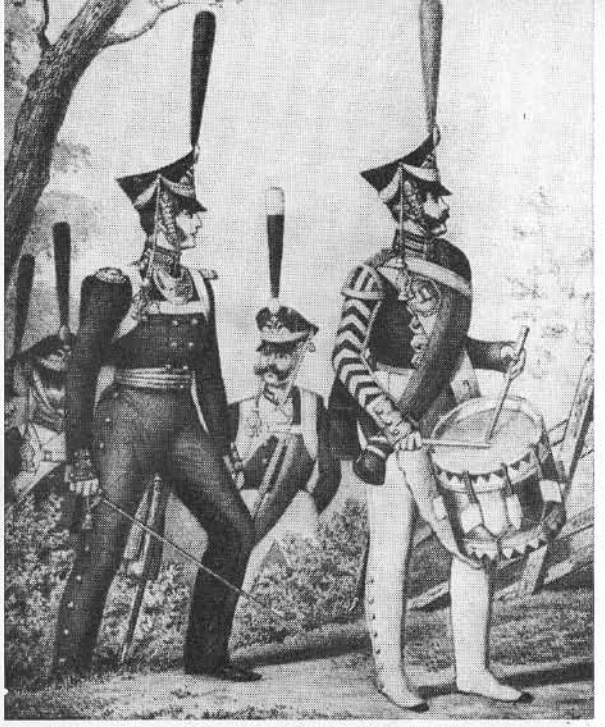
Когда к полудню 2 августа пехотинцы 27-й дивизии заняли позиции у городка Красного близь Смоленска, на них неожиданно обрушился удар всей конницы Мюрата. Натиск был ошеломляющим. Но взять на испуг обороняющихся не удалось. Хотя, как известно, дивизия почти сплошь состояла из новобранцев. Атаки кавалерис-



М. И. Кутузов.



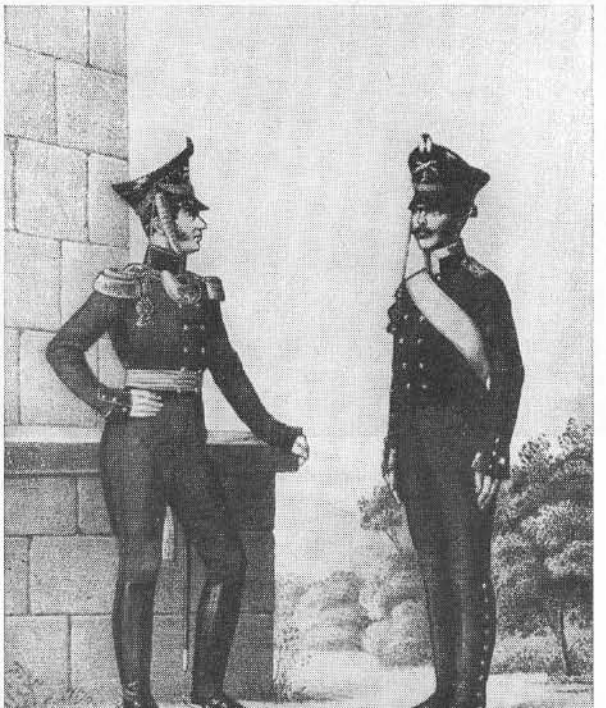
Генерал
и его
адъютант.



Гвардейская
пехота
в 1812 г.



Офицер
русской
армии.



Пешая
артиллерия
в 1812 г.



Кирасир в 1812 г.



Кирасирский офицер в 1812 г.



Улан в 1812 г.



Трубач.



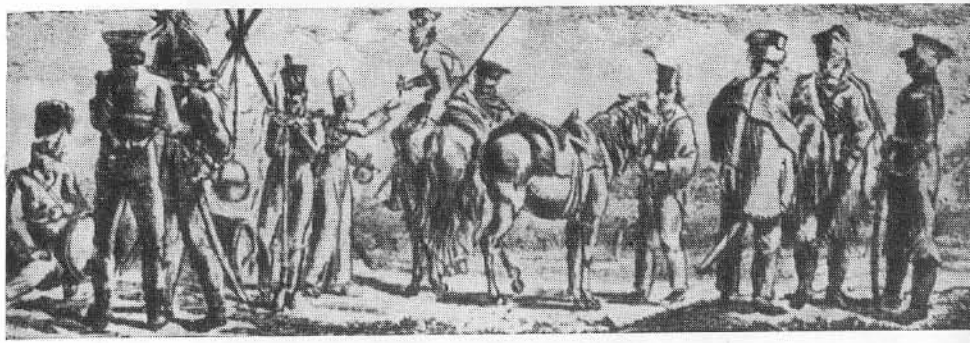
Гусар.



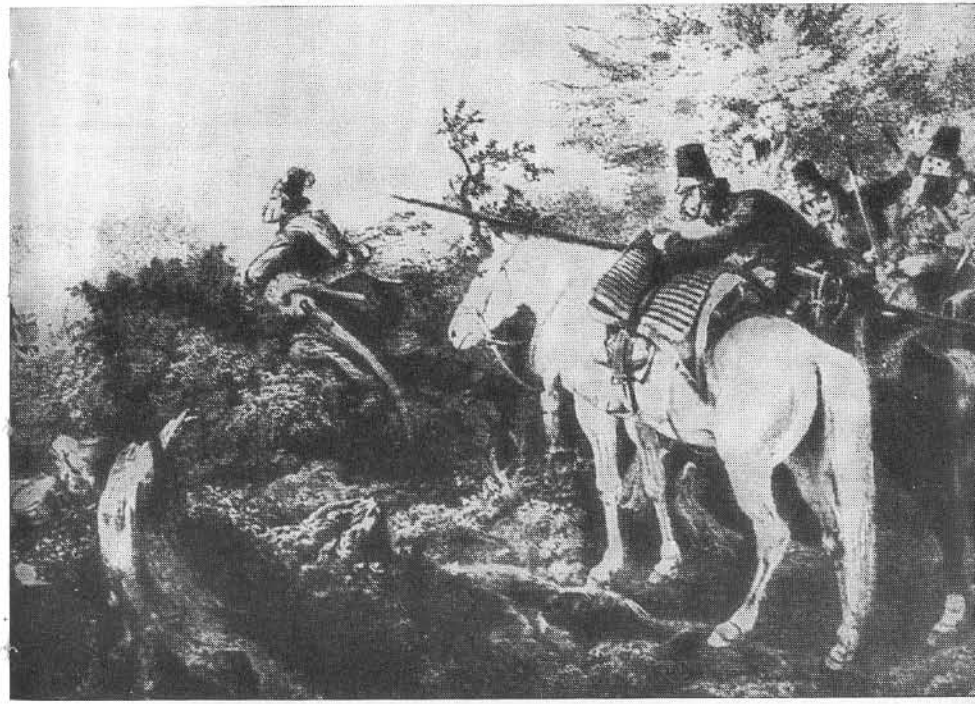
Офицер гвардейской конной артиллерии.



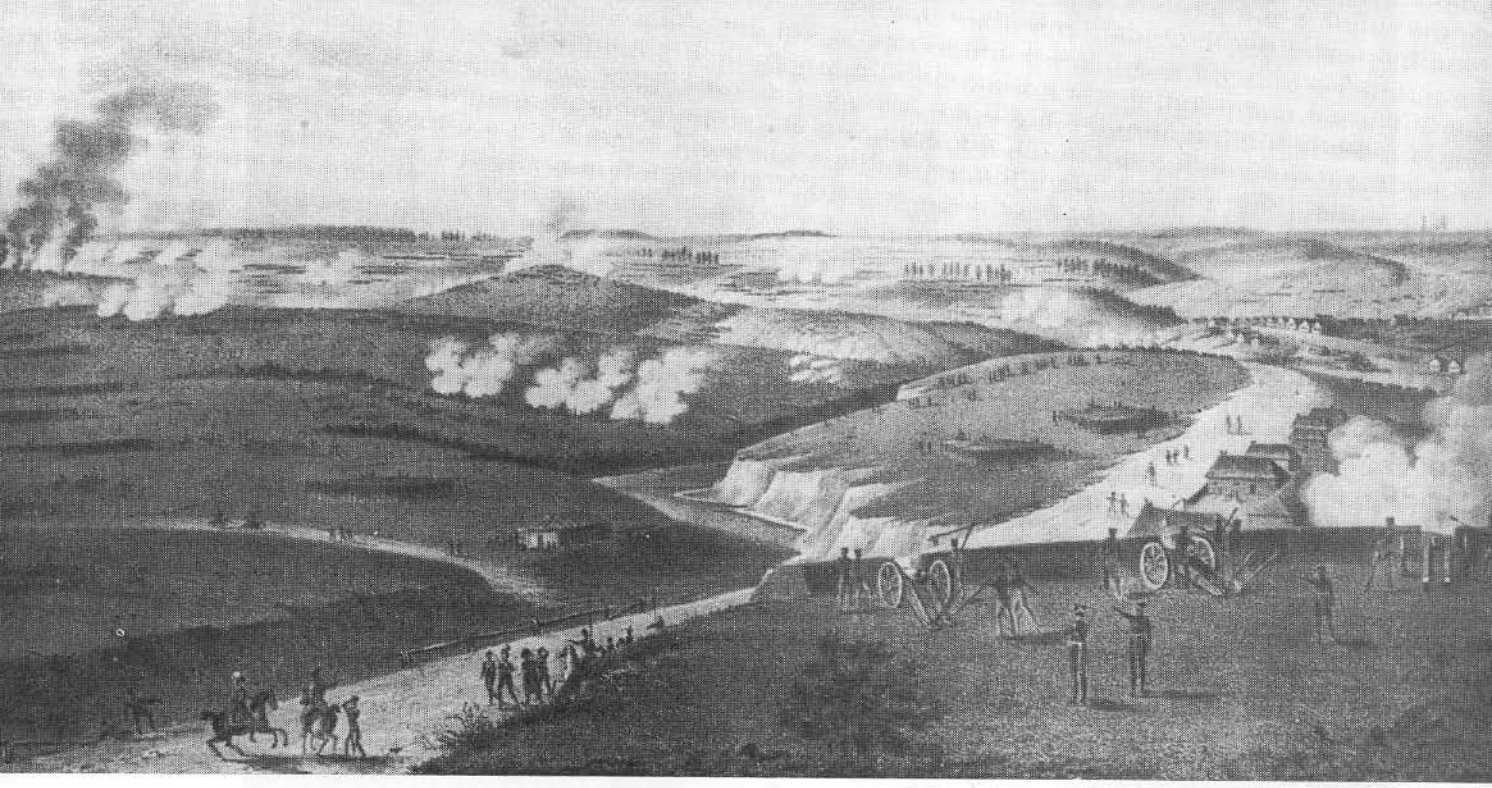
Донской казак в 1812 г.



Бивуак русских войск.

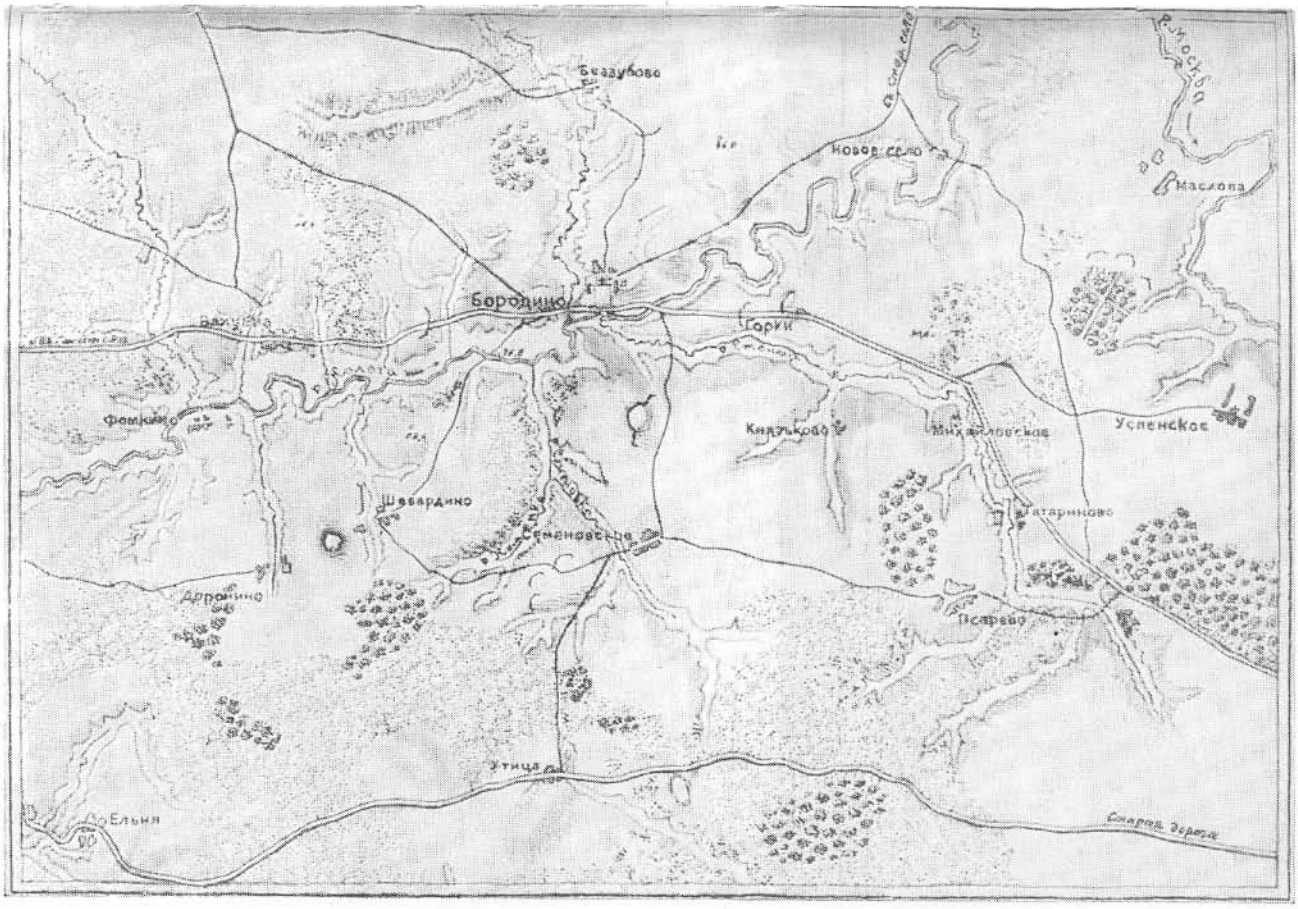


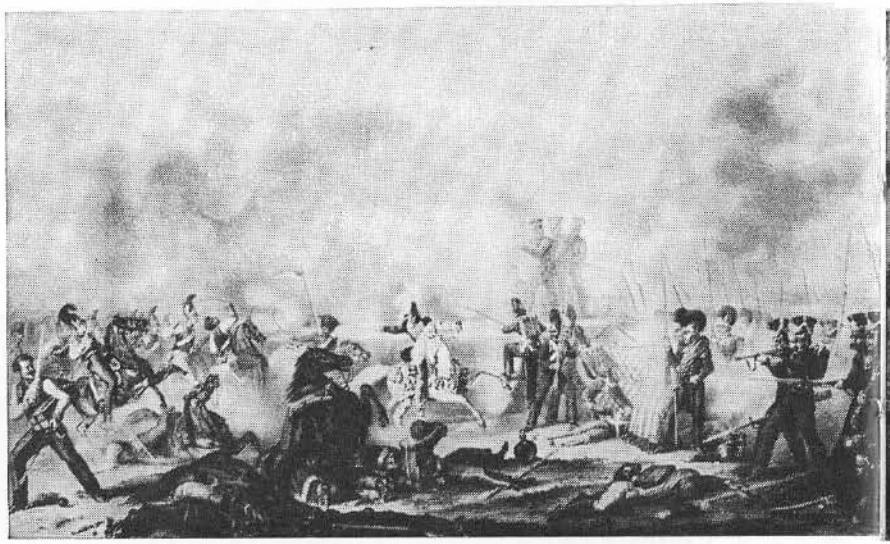
Казаки на разведке.



Сражение при Бородине 26 августа 1812 г.

Карта Бородинского сражения. ▼

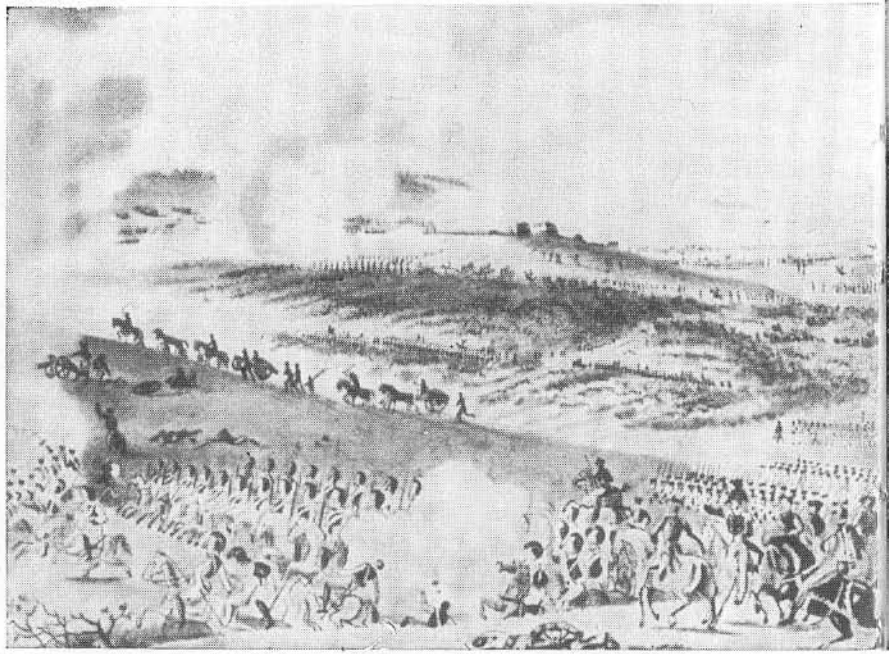




Бой у Семеновских флешей 7 сентября 1812 г.



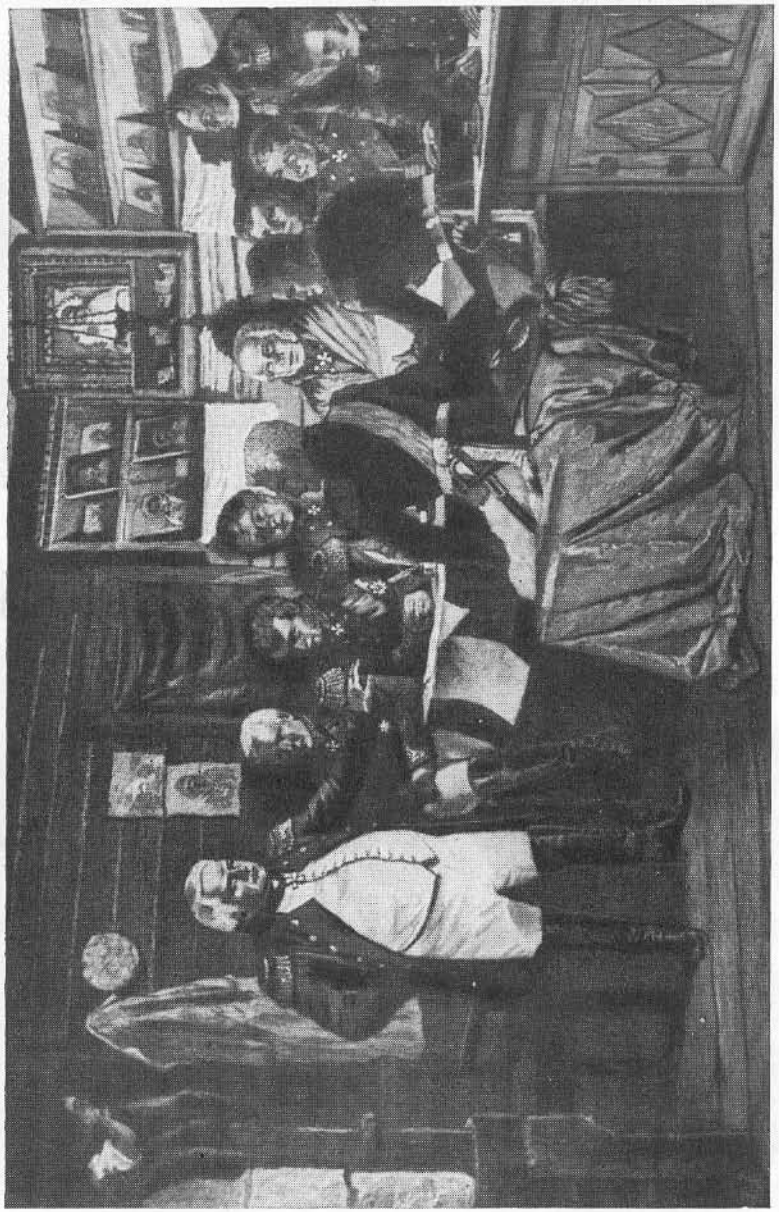
Сражение при Бородине.



Бой за левую Семеновскую флешь.



Бородинское сражение. 26 августа 1812 г.



Совет в Филях.

тов разбивались о штыки построенных в каре пехотинцев.

Мюрат неистовствовал. Не жалея людей, он отдавал приказания о наступлении. Сорок (!) атак в течение дня все-таки не принесли ему успеха. Единственно, чего добился французский маршал, — это заставил дивизию Неверовского, понесшую тяжелейший урон, медленно отходить к Смоленску.

Организованный отход русских подразделений, выполнивших свою задачу и сдержавших первый натиск основных сил Наполеона, осуществлялся не спеша. Неверовский знал, что подкрепления сзади попросту нет...

И вот тут случилось то, что при иных обстоятельствах можно было бы назвать чудом.

Корпус Раевского уже покинул город. Покинул последним. В его задачу входило спешить вслед за армией.

Выстрелы с другой стороны Днепра недвусмысленно дали понять Раевскому, что там завязался жаркий бой и что Неверовскому приходится крайне трудно. В этот момент как раз к нему прибыл адъютант, посланный Неверовским к Багратиону для того, чтобы доложить о столкновении дивизии с конницей Мюрата.

Адъютант направился дальше, в ставку Багратиона, и по прошествии короткого времени вернулся. В руках он держал пакет, адресованный Раевскому.

Багратион приказывал спешно развернуть арьергард, ушедший от Смоленска уже более чем на 10 верст, и идти на помощь Неверовскому.

Задача была поставлена не очень определенно. И по сей день тому, кто изучал историю Смоленского сражения, не ясно — чего, собственно, хотел Багратион, отправляя корпус Раевского в самое пекло. Не ясно было это и генералу.

В самом деле, нужно ли просто удержать наступление противника на некоторое время с целью ожидания подкрепления, или переправляться через Днепр, оборонять Смоленск? Где соединиться с Неверовским — на каком берегу Днепра? Что делать после?

На войне не может быть неопределенностей. Раевский тотчас же отправил к Багратиону запрос об уточнении его задачи.

Никакого ответа он не получил.

Никакого ответа...

Именно в этот момент и проявились наиболее выдаю-

щиеся черты личности генерала. Именно с этого часа он начал переживать важнейшее сражение в своей жизни. Ведь на его плечи ложилась вся ответственность в принятии решений. Ответственность, которую на него даже никто не возлагал.

А какова была мера этой ответственности?

Смоленск был ключом к Москве.

Обороняющиеся малочисленные подразделения под командованием Раевского были ключом к Смоленску...

Уже потом, ночью следующего дня, он осознает всю полноту этой ответственности. О переживаниях его не знал тогда никто. А он скажет о сем позднее, в своих записках: «В ожидании дела я хотел несколько уснуть; но искренне признаюсь, что, несмотря на всю прошедшую ночь, проведенную мною на коне, я не мог сомкнуть глаз — столько озабочивала меня важность моего поста, от сохранения коего столь много, или лучше сказать, вся война зависела» (подчеркнуто мной. — *К. К.*).

Н. Н. Раевский — и это видно по всем его последующим действиям — принял единственно правильное решение, причем сразу же и с первого же мгновения следовал по пути его осуществления. Поддержка Неверовского — это полдела. Важнее всего — удержать Смоленск!

Раевский принял решение оборонять Смоленск самостоятельно и тем самым обеспечил успех организации этой обороны. Способность мгновенно ориентироваться в обстановке, дар импровизации в тяжелых военных условиях, бесстрашие в принятии решений и убежденность в своей правоте сослужат ему добрую службу и в последующие дни.

Но важнее всего было убедить в правильности решения и подчиненных. Развернув корпус в обратном направлении, Раевский предпринял ночное форсирование Днепра, оставив на берегу лишь артиллерию. В буквальном смысле слова не слезая с коня, он объезжает всех офицеров лично и объясняет им сложность предстоящих событий.

«Ночью, на бегу, — писал о Раевском его будущий родственник, полковник М. Ф. Орлов, — внушая каждому из подчиненных предугаданную им важность поручения, он достигает берегов Днепра. Переправа через реку, взятая на личную его ответственность, занятие на рассвете Смоленска и обширных его предместий против неприятеля, в десять раз его сильнейшего, доказывает,

что он решился здесь умереть или оградить наши сообщения».

Итак, утром 3 августа корпус Раевского подошел к Смоленску. В это время в городе находился не кто иной, как генерал от кавалерии Л. Л. Беннигсен — человек, старший по званию. Для Раевского было крайне важно посоветоваться с опытным полководцем.

Но лучше бы он не советовался с ним вовсе...

— Я весьма сожалею о вас, — проговорил Беннигсен, подкрепляя свои «чувства сожаления» покачиванием головы. — Положение ваше весьма критическое.

— А что с Неверовским?

— Разве вы не слышали? Уже все говорят о том, что его отряд полностью разгромлен и более не существует... Оборона безнадежна. Советую вам спасти хотя бы артиллерию и не переправлять ее на эту сторону Днепра...

«Совет» барона можно было вполне принять за «приказ». Последовав ему, Раевский снял бы с себя ответственность за предстоящее. Но генерал помнил прежние баталии. Еще живы были в памяти картины грандиозной битвы с французами под Фридландом в 1807 году, когда командовавший союзными войсками Беннигсен позорно проиграл сражение. Тогда героизм русских солдат, стойкость подчиненной Беннигсену бригады Раевского могли спасти положение. А что же сейчас?!. Снова Фридланд?!

«Сей совет, — писал позднее Раевский, — несообразен был с тогдашним моим действительно безнадежным положением. Надобно было пользоваться всеми средствами, находившимися в моей власти, и я слишком чувствовал, что дело идет не о сохранении нескольких орудий, но о спасении главных сил России, а может быть, и самой России. Я вполне чувствовал, что долг мой — скорее погибнуть со всем моим отрядом, нежели позволить неприятелю отрезать армии наши от всяких сообщений с Москвою».

Какова же была радость устраивавших оборону Смоленска солдат, когда после полудня 3 августа на горизонте показались отступавшие остатки 27-й пехотной дивизии Неверовского. «Я помню, — отмечал участвовавший в битве под Смоленском Денис Давыдов, — какими глазами мы увидели Неверовского и дивизию его, подходившую к нам в облаках пыли и дыма, покрытую потом

трудов и кровью чести! Каждый штык его горел лучом бессмертия».

Раевский был рад вдвойне. Он чувствовал теперь, что остался не один в эту трудную минуту. И в самом деле, генерал Неверовский поддержал его решение оборонять Смоленск до конца.

Можно ли предположить то отчаяние, которое могло овладеть теми, кто остался в городе? У противника более чем 10-кратное превосходство в орудиях и живой силе, в бой постоянно вводятся свежие войска. Пойманный французский офицер, назвавшийся адъютантом Мюрата, убеждал всех в том, что в подзорную трубу можно увидеть среди его соотечественников самого императора. Надежды же на подкрепление для 15-тысячного гарнизона — никакой! Ведь обе армии уходят прочь от Смоленска. Связи с ними нет, как нет и ни одного распоряжения от командования...

Раевский отправил к Багратиону своих адъютантов, приказав доложить обстановку и просить о помощи. Но когда придет эта помощь?! Через сутки, двое? Может, уже будет поздно...

А пока начались приготовления к отражению неприятеля.

В первую очередь нужно было разместить войска. Задача не из легких. В ночь с 3 на 4 августа по инициативе Раевского был созван военный совет для обсуждения возможных вариантов обороны.

А таковых было немного. Самый простой — закрепиться в городе и держаться под прикрытием стен. Но тогда противнику предоставлялась возможность овладеть предместьями и, максимально приблизившись к городу, преодолеть стену. К тому же многочисленная артиллерия французов способна была массированным ударом с близкого расстояния нанести существенный урон находящемуся внутри крепости русскому гарнизону.

Можно было выйти из города и дать бой на подступах к крепости. Но для этого сил было явно недостаточно.

Военный совет, прислушавшись к плану Раевского, решил, что необходимо основные силы все-таки сосредоточить внутри города, а также создать прочную цепь обороны перед стенами...

До рассвета оставалось немного времени. А еще нужно было успеть разместить подразделения. Противник

был рядом, костры его освещали окрестные поля вплоть до горизонта.

Раевский отправился в войска. Сначала распределили пехотные дивизии. Одна из них — 26-я, та самая, которой командовал отличившийся в сражении при Салтановке генерал Паскевич, — заняла самый ответственный участок обороны — центральный Королевский бастион. Немногочисленную артиллерию разместили в большинстве на окружавших стены земляных бастионах, а также на самых опасных участках. Это выгодное расположение пушек позднее сыграло решающую роль в самом начале штурма. Русские артиллеристы могли прямой наводкой расстреливать приближающихся французских пехотинцев.

Сомкнуть глаз Раевскому так и не удалось. Едва рассвело, как стало заметно интенсивное движение неприятеля. Никакой речи о передышке и не могло быть.

В начале седьмого часа утра раздался первый залп французской артиллерии. Под прикрытием артиллерийского огня в бой двинулись кавалеристы Мюрата. Благодаря превосходству в численности французские всадники заставили отступить выдвинутую вперед русскую кавалерию и отрезали ее от Смоленска. То был пусть мимолетный, но первый успех наступавших.

Немного погодя с запада двинулась пехота. Руководил штурмом маршал Ней. Здесь, под Смоленском, он впервые за эту войну столкнется с Раевским. Затем им доведется испробовать свои силы на полях сражений Отечественной войны. Но не знал наполеоновский ветеран, что именно от Раевского суждено будет найти ему свое полное поражение. Это произойдет позднее, в битве под Красным, при наступлении русских войск. А ныне перед Неем виднелись окутанные пороховым дымом смоленские стены. Желанные стены, желанная победа. Но какой ценой она дастся?..

Ни один из французских маршалов не постоял бы за ценой. Ведь 15 августа отмечал свой день рождения сам император. Каждый из них мечтал преподнести Наполеону дорогой подарок первым. А что могло быть дороже в тот день, чем Смоленск?!

Тремя большими колоннами двинулся корпус Нея к крепости. Каждая из колонн превосходила по численности всех оборонявшихся. Испытанные в боях французские гренадеры шли, невзирая на град пуль, обрушившихся на них.

Маршал Ней командовал средней колонной. Он вел ее прямо в центр, на Королевский бастион. Предчувствия Раевского подтвердились. Именно сюда французы направили свой главный удар.

Одновременно, словно по незримому сигналу, бросились все три колонны на штурм. И тут вступила в бой русская артиллерия. Из едва заметных земляных укреплений пушкари расстреливали приближающегося неприятеля с флангов, в лоб. От неожиданности левая колонна французов, шедшая вдоль Днепра, приостановилась. На правом фланге, у кладбища, также произошло замешательство. Лишь в центре, где находился сам Ней, завязался жестокий бой.

Пройдя сквозь артиллерийский заслон, пехотинцы вступили в рукопашную схватку перед бастионом. Малочисленный русский батальон, разместившийся у стен, был тотчас истреблен. Почти не останавливаясь, французы ворвались на Королевский бастион.

В штаб Раевского пришло срочное известие: неприятель занял центр позиции. Едва успев оценить ситуацию, Раевский получает еще одно донесение: на левом фланге прорвана оборона, французы заняли мост через Днепр. В самом начале сражения — и уже неудачи. «Оставляю читателю судить, — напишет в своих заметках генерал много лет спустя, — какое действие произвели во мне сии два известия, почти вместе одно с другим привезенные!»

Положение было критическим. Раевский, отдав распоряжение держаться в центре до последнего, вскочил на коня, помчался на левый фланг. И застал... все на своих местах. Оказалось, что за это время французы были отброшены.

Генерал бросился к бастиону.

А в это время обрадовавшийся успеху маршал Ней уже отдал приказ водрузить на бастионе трехцветное французское знамя.

Но вдруг громкое «ура!» прогремело рядом, и на укрепление ворвались русские пехотинцы. Одним из батальонов Орловского полка, оказавшимся рядом, командовал сам генерал Паскевич. Французы, не ожидавшие контрудара, снова ретировались.

И все-таки Бонапарт недаром говорил о маршале Нее: «Это — лев». Остановиться он уже не мог. Ведь победа была столь близка. Еще один одновременный удар справа и в центр потряс оборону смоленцев. Пехотинцы Нея

штыковой атакой оттеснили орловцев к крепостному рву.

В это время Паскевич, объединив остатки Ладожского, Нижегородского и Орловского полков, повел своих солдат в решительную контратаку и вновь отбросил неприятеля.

Когда к бастиону прибыл Раевский. здесь уже все было восстановлено, словно и не было жестокой схватки.

Почти три часа длился этот бой. Обе стороны понесли тяжелые потери. Но французы не продвинулись ни на шаг.

К 9 часам утра к Смоленску прибыл сам Наполеон. Ему доложили, что русские дерутся насмерть и ни одна попытка прорвать оборону не имела успеха. Французский император не усомнился в храбрости и упорстве Нея, он лишь еще раз убедился в стойкости и храбрости противника.

В короткое время выстроив в ряд свою артиллерию, французы открыли разрушительный огонь по крепости. Обстрел длился беспрерывно несколько часов. В городе были сильные разрушения, начались пожары.

Раевский понимал, что всему гарнизону суждено погибнуть, если в ближайшие часы не прибудет подкрепление.

Но еще в самом начале обстрела кто-то из офицеров крикнул:

— Ваше превосходительство, адъютант от его сиятельства князя Багратиона!

— Где он?!

На взмыленной лошади к генералу подъехал адъютант, прорвавшийся в горящий город. Он держал в протянутой руке маленький клочок бумаги.

Раевский резким движением развернул его. Почерк князя он узнал сразу.

«Друг мой! Я не иду, я бегу, — писал Багратион. — Хотел бы иметь крылья, чтобы поскорее соединиться с тобой. Держись! Бог тебе помощник!»

То была первая весточка от командования за эти дни. Как она была нужна именно сейчас, в трудную минуту! Значит, обе армии идут сюда, к Смоленску. Значит, усилия были не напрасны. Значит, все было сделано правильно...

Об этой ночи и этом дне позже писали много. По-разному. Но сходились все в одном — налицо была явная неудача французов и поразительная стойкость русских войск.

Писали, к примеру, следующее:

Наполеон (из мемуаров, продиктованных на острове Св. Елены):

«Пятнадцатитысячному русскому отряду, случайно находившемуся в Смоленске, выпала честь защищать сей город в продолжение суток, что дало Барклаю-де-Толли время прибыть на следующий день. Если бы французская армия успела врасплох овладеть Смоленском, то она переправилась бы там через Днепр и атаковала бы в тыл русскую армию, в то время разделенную и шедшую в беспорядке. Сего решительного удара совершить не удалось» (это место мемуаров французского императора прокомментировано самим Раевским следующим образом: «Сей отряд русской армии был мой корпус, соединенный с остатками отряда Неверовского»).

П. И. Багратион (из письма Ф. В. Ростопчину 14 августа 1812 года):

«Я обязан многим генералу Раевскому, он, командуя корпусом, дрался храбро...»

(Из рапорта Александру I о сражении под Смоленском и других донесений):

«Я... отрядил с 7-м корпусом генерал-лейтенанта Раевского, приказав ему всевозможно стараться во что бы то ни стало соединиться с генерал-майором Неверовским. Раевский, удвоив марш и прошед без привалу 40 верст, соединился на рассвете 4-го числа в виду многочисленной армии, предводительствуемой самим французским императором, в 6-ти верстах от Смоленска, и хотя неприятель, узнав о следовании к Смоленску вверенной мне армии, употребил все усилия, дабы до прибытия прочих войск истребить малый отряд, защищающий Смоленск, но храбрые русские воины с помощью божиею, при всей своей от продолжительного марша усталости, отражали мужественно неприятеля...

Поистине скажу, что герои наши в деле под Смоленском оказали такую храбрость и готовность к поражению неприятеля, что едва ли были подобные примеры».

М. Ф. Орлов (из записок):

«Горсть храбрых под начальством Героя уничтожила решительное покушение целой армии Наполеона».

Денис Давыдов (из замечаний на «Некрологию генерала Н. Н. Раевского»):

«...Гибель Раевского причинила бы взятие Смоленска и немедленно после сего истребление наших армий...» Д. Давыдов отмечал громадное значение «сего великого дня, без коего не было бы ни Бородинского сражения, ни Тарутинской позиции, ни спасения России».

Н. Н. Раевский:

«...Я приписываю успех сего сражения... храбрости войск моих...

Я сражался с твердым намерением погибнуть на сем посту чести — быть может, и славы; и когда я взвешиваю, с одной стороны, важность последствий сего дела, а с другой — малость потери, мною понесенной, то ясно вижу, что успех зависел не столько от воинских моих соображений, как от слабости натисков Наполеона, который вопреки всегдашним своим правилам, видя решительный пункт, не умел им воспользоваться...

Это, могу сказать, была благополучнейшая минута всего военного моего поприща... одно из важнейших происшествий моей жизни».

К вечеру 4 августа в Смоленск вошли первые полки успевших на подмогу армий. Ночью поредевший отряд Раевского заменили корпус генерала Д. С. Дохтурова и дивизия П. П. Коновницына. Оборона продолжалась. Лишь через сутки горящий Смоленск был оставлен.

Героизм солдат, предводительствуемых Н. Н. Раевским, позволил окончательно соединиться обеим русским армиям и организованно отойти. Значение и серьезность битвы у стен древнего города очевидны. Они показали нам «истинное лицо» полководца Раевского.

Над Бородинским полем, в самом центре его, господствовала высота, называемая Курганной. Когда перед самым большим сражением Отечественной войны 1812 года русские армии занимали свои позиции, Курганная высота оказалась на стыке двух армий. Именно здесь в день Бородинской битвы развернулись события, ставшие эпицентром всего сражения.

Левое крыло русской позиции защищала 2-я армия генерала Багратиона. Правее деревни Семеновской — на правом фланге армии — расположился 7-й пехотный корпус Раевского. Чувствуя важнейшую, ключевую роль, которую может сыграть в сражении столь удобная высота, генерал решил укрепить ее особо. «Видя по положению места, что неприятель поведет атаку на фланг наш и что сия моя батарея будет ключом всей позиции, укрепил я

оный Курган редутом», — писал позднее в рапорте Раевский.

На высоте были установлены 18 артиллерийских орудий. Вокруг них насыпали бруствер высотой до двух с половиной метров, прорыли ров почти двух метров глубиной, а впереди на расстоянии ста саженей нарыли мелких ловушек, так называемых «волчьих ям».

Так была создана знаменитая «батарея Раевского». Создана быстро, всего за одну ночь. Пушки были поставлены на редкость удачно. Сектор обстрела был настолько широк, что позволял поражать противника по всему фронту, вплоть до Багратионовых флешей.

В ночь перед боем никто не спал. Не до сна. Генерал Багратион отдал приказ — костров не жечь, но разводить огонь в оврагах и кашу варить, а есть ее всем перед сном и утром перед баталией.

К утру 26 августа все работы были закончены.

В 6 часов главные силы наполеоновской армии двинулись на левый фланг русской позиции. Завязалась ожесточенная битва у Багратионовых флешей.

Почти сразу же к Раевскому прибыл адъютант Багратиона с приказом отправить восемь батальонов из его корпуса на помощь защитникам флешей. Генерал тот час же распорядился выслать указанные батальоны.

Никто не предполагал, что и здесь, на Курганной высоте, будет ничуть не легче, чем там, куда Раевский отправил почти половину своих сил.

Еще не было десяти часов утра, как началась первая атака на батарею. Две пехотные дивизии Брусье и Морана двинулись на штурм высоты.

Их встретили егеря и артиллерия. Ружейный залп чуть задержал наступавших.

По кургану ударила вся сконцентрированная на этом участке французская артиллерия. Вслед за этим плотными колоннами двинулась пехота.

Передней бригадой командовал генерал Бонами. Он вел себя смело и решительно. Размахивая шпагой, он был впереди, увлекал за собой своих солдат. «Неприятель устроил в глазах наших всю свою армию, так сказать, в одну колонну, — писал Раевский, — шел прямо на фрунт наш; подойдя же к оному, сильные колонны отделились с левого его фланга, пошли прямо на редут, и,

несмотря на сильный картечный огонь моих орудий, без выстрела головы оных перелезли через бруствер».

К несчастью, именно в этот момент на батарее стала ощущаться нехватка боеприпасов. Воспользовавшись замешательством, 30-й линейный полк во главе с Бонами устремился на курган. Наши пушкари дрались банниками, тесаками, просто руками — чем попало. Французы завалили своими убитыми солдатами ров и по трупам ворвались на батарею. В рукопашной схватке были истреблены почти все защитники редута. Неприятель начал закрепляться на высоте. Казалось, долгожданная победа на этом участке была уже достигнута.

Но это только казалось...

В это время генерал Раевский находился в редуте, откуда руководил боем. Незадолго до Бородинского сражения он повредил ногу, и столь серьезно, что, как он сам говорил, «едва только в день битвы мог быть верхом».

Конечно же, ранение, тем более полученное не в бою, не могло стать для боевого генерала поводом для того, чтобы не участвовать в сражении. И он ни на секунду не отвлекся на свою рану, продолжая отдавать приказы.

Почувствовав критическое положение, Раевский еще ранее распорядился начать атаку на Курганную высоту с флангов. С правого крыла в штыковую атаку ринулись полки под командованием генерала Паскевича, слева — Васильчикова.

В этот самый момент, едва Раевский отдал приказ об атаке, он чуть было не попал в плен или, быть может, не поплатился жизнью. Вот что писал об этом сам генерал: «После вторых выстрелов я услышал голос одного офицера, находившегося при мне на ординарцах и стоявшего от меня недалеко влево; он кричал: «Ваше превосходительство, спасайтесь!» Я оборотился и увидел шагах в пятнадцати от меня французских гренадеров, кои со штыками вперед вбегали в мой редут. С трудом пробрался я к левому моему крылу, стоявшему в овраге, где вскочил на лошадь и, взъехав на противоположные высоты, увидел, как генералы Васильчиков и Паскевич, вследствие данных мною повелений, устремились на неприятеля в одно время».

Одновременно с этим в расположении Курганной высоты почти случайно оказался генерал А. П. Ермолов, которому было поручено осмотреть состояние артиллерии левого фланга. Он появился именно в тот момент, когда атака Паскевича и Васильчикова с флангов только на-

чиналась, а французы еще не успели закрепиться на занятой ими батарее. «Высота сия, повелевавшая всем пространством, на коем устроены были обе армии, — рассказывал позже сам Ермолов, — 18 орудий, доставшихся неприятелю, были слишком важным обстоятельством, чтобы не испытать возвратить сделанную потерю. Я предпринял оное. Нужна была дерзость, и, мое щастие и я успел».

Возглавив атаку на неприятеля в лоб 3-го батальона Уфимского пехотного полка, Ермолов и находившийся тут же генерал Кутайсов в числе первых ворвались на батарею Раевского. Их поддержали егерские полки Вуича, посланные ранее для подкрепления.

Контрнаступление русских солдат было столь решительно, что французы не устояли, бросились в бегство. Во время преследования отступавших французских полков фельдфебель Золотов взял в плен самого генерала Бонами.

Но и со стороны защитников батареи потери были немалые. Погиб при штурме генерал Кутайсов. Генерал Ермолов получил ранение в шею. Практически вся орудийная прислуга и артиллерийские офицеры были перебиты.

Основная тяжесть первых атак французов на Курганную высоту пала на 7-й корпус генерала Раевского. Он не без горечи отмечал, что «убитыми и ранеными приведен был в совершенное ничтожество». Цифры говорили сами за себя: «Корпус мой так был рассеян, что даже по окончании битвы я едва мог собрать 700 человек. На другой день я имел также не более 1500».

Около полудня 26 августа 7-й корпус Раевского перестал существовать. Теперь Курганную высоту, или иначе «батарею Раевского», обороняли части 24-й пехотной дивизии генерала П. Г. Лихачева. Еще многие атаки придется пережить подоспевшей смене. Французы будут называть впоследствии защитников батареи «стальной массой, сверкавшей пламенем», а саму высоту — «редутом смерти». Им вновь удастся занять Курган, но к вечеру французские войска снова отступят на свои позиции.

Генерал Раевский объективно и со свойственной ему справедливостью оценивал действия своих подчиненных. Вот что он писал в своем рапорте: «Описывать деяния всякого генерала, штаб- и обер-офицера я не в силах, а отличная их храбрость доказана тем, что почти все истреблены на месте. Испрашиваю вашего высокопревосходительства всепокорнейше штаб- и обер-офицерам награждения, к коему их представить честь имею. Награда же трем генералам — Васильчикову, Ермолову и Паскевичу, как корпусному командиру не дается власть представлять к повышению чина, испрашиваю ваше превосходительство о исполнении оного. Вам самим известно, что не было случая, где бы они не показали отличной храбрости, усердия и военных талантов».

Подобную же характеристику можно было бы дать и самому Н. Н. Раевскому. Он еще будет участвовать в долгих походах, преследуя отступающие наполеоновские отряды, в жестоких битвах, одерживая славные победы. В одном из писем он напишет: «Наполеон сделал набег на Россию, не разочтя способов, потерял свою славу, бежит, как заяц... Дороги устланы мертвыми людьми и лошадьми его. Идет день и ночь при свете пожаров, ибо он жжет все, что встречает на ходу своем... Неприятель бежит. Мы его преследуем».

Таковы лишь некоторые эпизоды славной боевой жизни генерала. Но эти эпизоды — лишь часть того, что можно рассказать о Н. Н. Раевском, соединившем «достоинства воина с достоинствами человека».

II

Не слишком ли «громко» назвали мы Н. Н. Раевского «одним из наиболее авторитетных командиров в русской армии в период Отечественной войны 1812 года»?

Судите сами.

В разгар боевых действий, в пору жестоких боев во время отступления, под Смоленском, в пылу споров с Барклаем князь Багратион писал А. А. Аракчееву:

«Ради бога, пошлите меня куда угодно, хотя полком командовать в Молдавию, или на Кавказ, а здесь быть не могу; и вся главная квартира немцами наполнена так, что русскому жить невозможно и толку никакого нет». И далее прославленный полководец предлагал: «Армию мою разделить на два корпуса, дать Раевскому и Горчакову, а меня уволить».

Раевскому еще под Фридландом, как мы помним, пришлось командовать за Багратиона всем арьергардом

«вплоть до Тильзита». И теперь, пусть в полемическом споре, но все-таки князь Багратион предлагал оставить Раевского вместо себя. Случайно ли?

Думается, что этим мимолетным заключением в коротком письме Багратион выразил свое отношение к подопечному, высказал свою оценку его боевых заслуг.

Документы сохранили нам такой любопытный приказ Багратиона, отданный им перед самым началом Отечественной войны, в мае 1812 года:

«Осмотрев 9-го числа мая 26-ю пехотную дивизию, весьма мне приятно было видеть, что дивизия сия хорошо выучена, люди хорошо одеты и содержаны, за что с особенным удовольствием объявляю сим для сведения предводительствуемой мною армии совершенную мою благодарность командиру оной г. генерал-лейтенанту Раевскому...»

В войне с Францией, в 1807 году, после сражения под Гудштадтом, Багратион также чрезвычайно высоко оценивал действия Раевского:

«...Во всех случаях оказал отличную храбрость и неустрашимость».

После битвы под Салтановкой Багратион в приказе войскам 2-й армии отмечал:

«7-й корпус под командою генерал-лейтенанта Раевского открыл неприятеля близ селения Дашковки, вступил с ним в сражение, в котором с родною российскому воинству неустрашимостью гнал и поражал его, несмотря на превосходство сил, ему противупоставленных...»

Такая высокая оценка со стороны опытного военачальника, питомца суворовской школы, не была случайной. Николай Николаевич Раевский прошел суровую практическую военную школу. Он как бы выполнял своеобразный завет, оставленный ему, пятнадцатилетнему гвардейскому подпрапорщику, генерал-фельдмаршалом Г. А. Потемкиным: «Во-первых, — говорил Потемкин, — старайся испытать, не трус ли ты; если нет, то укрепляй врожденную смелость частым обхождением с неприятелем».

Именно Потемкин направлял своего внучатого племянника в самую гущу боевых действий. Он же, прикомандировав молодого офицера в период войны с Турцией к казачьим полкам, наказал его «употреблять в службу как простого казака, а потом уже по чину поручика гвардии».

Известен факт того, что Потемкин оставил специально для Раевского «своеручные наставления». Текст их не сохранился. Отдельные обрывки наставлений генерал воспроизводил позже по памяти. Но некоторые из «правил», которыми руководствовался Потемкин, звучали следующим образом:

«...Чтобы с людьми обходились со всевозможною умеренностью, старались бы об их выгодах, в наказаниях не преступали бы положенного, были бы с ними так, как я, ибо я их люблю как детей (вспомним, что дети Раевского служили у него наравне с другими офицерами; современники отмечали, что некоторых своих офицеров Раевский «любил, как сыновей». — *К. К.*).

Строго взыскивать, если солдаты будут подвержены претерпению нужды от того, что худо одеты и обуты (у Раевского, по упомянутым нами словам Багратиона, «люди хорошо одеты и содержаны». — *К. К.*)...

Объявить, чтобы во всех случаях противу неприятеля — исполнять повеления в точности и действовать мужественно, подавая собою пример подчиненным...»

По своему характеру Раевский был, как мы уже говорили, смел и решителен. По темпераменту — порывист и резок. Отличался немногословием и точностью высказываемых мыслей.

И еще раз вспомним — ведь именно его мнение совпало с мнением М. И. Кутузова на совете в Филях, когда необходимо было принять ответственное решение, связанное с судьбами не только армии, но и дорогой всем Москвы и всего государства Российского.

Авторитет Раевского как полководца был особенно высок и потому, что он принадлежал к числу учеников великого Суворова. Раевский воевал вместе с Суворовым, да и вся боевая жизнь генерала — образец воплощения в реальность суворовских идеалов.

Весьма интересны в этом отношении наставления Раевского, которые давал он письменно своему младшему сыну — Николаю Раевскому, когда тот был определен служить на Кавказ, где командовал тем же самым Нижегородским драгунским полком, которым командовал в 1792—1797 годах его отец.

Подтверждением приверженности генерала суворовской традиции могут служить отдельные выдержки из этих писем-наставлений. При сопоставлении их с отрывками из записей, писем Суворова и его книги «Наука побеждать» мы находим поразительное единство во взглядах на военную жизнь.

Сравним:

Суворов: «Приучайся к неутомимой деятельности... Я унываю в праздной жизни...»

Раевский: «Бойся опасной праздности не только для человека твоих лет, но для старых людей. Не будь ленив ни физически, ни морально... Будь деятелен, исполнителен, не откладывай до завтра то, что можешь исполнить нынче, старайся видеть все своими глазами».

Суворов: «Герой... всегда смел, но без запальчивости, скор без опрометчивости... решительный, избегающий колебаний...»

Раевский: «Презирай опасность, но не подвергай себя оной из щегольства... Не будь тороплив и не будь нерешителен».

Суворов: «Доброе имя есть принадлежность каждого честного человека... Я забывал себя там, где надлежало мыслить о пользе общей».

Раевский: «Во всех случаях покажи себя достойным военным человеком... Будь искателен благородным образом».

Суворов: «Для здоровья основательные наблюдения три: питье, пища, воздух... Драгоценность блюдения оного в естественных правилах... Коли ж вода, то здоровая... Пища доваренная, непереваренная, не отстоенная, не подогретая, горячая... Предосторожности по климату... Ягоды же в свое время, спелые, в умеренности, кому здоровы».

Раевский: «Береги свое здоровье — воздержанностью в пище и сбережением от простуды, когда тебе жарко, не напивайся до того, чтоб тебе охолодиться... Не есть много фруктов, и никогда не зрелых и после оных не пить воды».

Суворов: «Строго остерегайся вредного изнурения, но тем паче к трудолюбию приучать... Соблюдать крайнюю чистоту и опрятность...»

Раевский: «Победи свою леность, будь опрятен».

Суворов: «Проявляй пламенную ревность к службе... Трудолюбивая душа должна всегда заниматься своим ремеслом...»

Раевский: «Служи не как слепая машина, старайся узнавать и обстоятельства, и что для чего делается... Показывай добрую волю служить, узнавать свое ремесло».

Наставления Суворова большинство русских солдат знали назубок. Не мудрено, что офицер и тем более генерал, исповедовавший эти принципы, прикладывавший их к любой новой военной обстановке, был более близок солдату, а значит — более понятен и более авторитетен.

К сожалению, Раевский не оставил записей, где были бы в полноте отражены его взгляды на полководческое ремесло, мысли о военном искусстве. Тем не менее известно, что по многим вопросам, касающимся военной обстановки, генерал всегда имел четкое, продуманное и выверенное мнение. Порой это мнение изменялось в зависимости, скажем, от изменений в тактической обстановке. Мнение сие могло и не совпадать с официальным или общепринятым.

Так, в первые дни Отечественной войны Раевский, вослед за князем Багратионом, был совершенно убежден в том, что «лучший способ закрыть себя от неприятеля есть разбить его». В июле месяце, перед самой битвой у Салтановки, Раевский упорно считал, что необходимо решительное контрнаступление всех русских войск.

Лишь немного позднее, взвесив все обстоятельства, оценив вновь сложившуюся ситуацию, Николай Николаевич Раевский напишет о Наполеоне: «Теперь нам бывшие его силы известны, и должно признаться, что единственный способ был победить его изнурением, что мы все прежде осуждали».

Умение перестраиваться, подчиняться воле старшего командира, пусть даже вопреки собственным убеждениям, проявление необходимой и разумной инициативы, рассудительность и точность в формулировках — именно эти отличительные качества роднили генерала с великим Суворовым.

Припомним, что писал в своих правилах Александр Васильевич:

Субординация,
Экзерциция,
Послушание,
Обучение,
Дисциплина,
Ордер воинский,
Чистота,
Здоровье,
Опрятность,
Бодрость,
Смелость,

Храбрость,
Победа!
Слава, слава, слава!

Можно сказать, что по всем этим «параметрам» генерал от кавалерии Н. Н. Раевский был среди офицеров и генералов русской армии одним из образцов.

Авторитет Раевского «выходил» далеко за пределы российского войска. Неприятель — каким бы он ни был — хорошо знал о талантах и достоинствах сего военного мужа. Редкий противник мечтал встретиться с ним на поле брани.

Высказывания Наполеона о Раевском нам уже известны. Но и среди офицеров и простого воинства во французской армии хорошо были известны заслуги русского генерала. Примером тому может служить вполне курьезный случай, описанный самим Раевским в его записках. С присущей ему лаконичностью, пренебрежением к самовосхвалению и тонким юмором он завершил этим рассказом свои пометки на полях труда Д. П. Бутурлина по истории Отечественной войны 1812 года, пометки, предназначавшиеся для французского историка Жомини.

Дело было под Красным, в период наступления русских армий. Преграждение путей к отступлению корпусу маршала Нея было тогда основной задачей Раевского. Французы спешили сдаваться. Война уже казалась им проигранной.

Как-то ночью во время затишья боевых действий заснувшего крепким сном Раевского разбудил адъютант.

Выяснилось, что у порога генеральской палатки стоят французские парламентеры, а за ними... 5-тысячная колонна. Узнав о том, что их преследует сам Раевский, французы *решили воспользоваться случаем для своего* спасения и сдаться в плен, благо среди них находились те, кто знал генерала.

Раевский написал об этом так: «Таким образом, я взял в плен 5 тысяч человек, *не сходя с постели* (подчеркнуто Раевским. — *К. К.*), и теперь еще, вспоминая об этом происшествии, не могу воздержаться от смеха, зная, как часто так называемые важные подвиги, имея основанием подобные случаи, гремят в реляциях, будучи в сущности своей не важнее, не отважнее того, для которого мне стоило только приподнять голову с подушки и сказать два слова!»

Но обратимся теперь к Раевскому-человеку. Вспомним о нем не столько как о военном, сколько как об известном в России общественном деятеле, семьянине...

III

В памяти многих людей — современников Раевского остался его образ, до некоторой степени облеченный вуалью загадочности. Отважный генерал не блистал в свете, не любил шумных сборищ, да вообще в столичных городах *почти не жил*. Правда, детство провел в Петербурге у своего деда Николая Борисовича Самойлова, который стал на всю жизнь его настоящим другом. Переписывались они многие годы. По самым разнообразным вопросам личной жизни или службы Раевский советовался со своим наставником.

Бывал в Петербурге и в пору бурной молодости, только что получив звание полковника. 23-летнему офицеру, карьера которого была на редкость успешна, можно было рассчитывать на успех среди столичных барышень. Но Раевский сделал свой выбор сразу и на всю жизнь.

Выбор этот пал на Софью Алексеевну Константинову, внучку Михаила Васильевича Ломоносова. Свадьбу сыграли быстро. А затем, недолго думая, полковник собрал все вещи и с молодой женой прибыл на Кавказскую линию в Георгиевск, в свой Нижегородский драгунский полк.

Тут же, на Кавказе, *родился старший* сын Раевского — Александр. Трудности полевой жизни нисколько не смущали Софью Алексеевну. Казалось, что она была готова последовать за своим суженым всюду. В дальнейшем, особенно когда в преддверии войны 1812 года она привезла на восточную границу младшего сына с тем, чтобы оставить его у отца и приучить к военной службе, это подтвердилось полностью.

Такое взаимопонимание и доверие, такая самоотдача и самопожертвование, такое благородство во взаимоотношениях родителей затем станут образцом и для детей. Не со своей ли матери брала пример Мария Раевская, бросившая все ради своего мужа — Сергея Волконского, осужденного на долгую каторгу? В семейной жизни четы Раевских бывали и иные дни. Когда по неразборчивому доносу полковник Н. Н. Раевский был разжалован и исключен из службы (случилось это 10 мая 1797 года по «высочайшему повелению» Павла I), Софья Алек-

сеевна отправилась с ним разделить трудные дни в небольшое сельцо Екимовское. Отсутствие жалованья, жестокая обида, нанесенная за безупречную службу, не сломили воли и характера Раевского. Он уединяется, решив отдать время семье, хозяйству.

За эти годы у Раевских родились дочери: Екатерина, Елена, Софья, Мария, а также еще один сын — Николай.

Вступивший на российский престол Александр I не преминул вспомнить об отважном полковом командире. По его распоряжению Раевский был снова зачислен на военную службу, одновременно, учитывая его прежние боевые заслуги, ему было пожаловано звание генерал-майора.

Однако позднее Н. Н. Раевский решил, что он уже более не вернется на военное поприще. Его занятие — земля, дети, семья.

Но мог ли сидеть спокойно этот человек дома, где-то в глухой деревушке, когда по Европе продвигались наполеоновские дивизии! А двигались они в одном направлении, относительно которого ошибиться было невозможно, — на восток.

Когда Наполеон овладел Берлином, Раевский посылает рапорт с просьбой вновь зачислить его в войска. С 20 апреля 1807 года он назначается командиром егерской бригады и опять встречается с князем Багратионом.

Дальнейшее мы уже знаем. А после Отечественной войны, покрытый пылью европейских дорог и славой замечательных побед, сразу после парижского триумфа русского войска генерал от кавалерии Н. Н. Раевский остается командовать армейским корпусом. Немного спустя и вовсе уходит в отставку, переезжает окончательно в свое имение под Киевом. И это в то время, когда его же подчиненные, бывшие у него под командованием в сражениях Отечественной войны, были осыпаны великими милостями, назначены на куда более высокие и ответственные посты. Генерал И. Ф. Паскевич позднее станет генерал-фельдмаршалом, светлейшим князем, главнокомандующим русских войск в войнах с Ираном и Турцией. Генерал И. В. Васильчиков войдет в число приближенных к императору лиц, станет членом Государственного совета.

Он никогда не кичился своей славой. Более того, часто даже отрицал то, что сам же совершил. Рассказывать

о себе не любил. Поэтому и воспоминаний никаких почти не оставил.

О нем говорили как о человеке-легенде, рыцарство его во взаимоотношениях с людьми поражало окружающих.

А. С. Пушкин записал, встретившись с ним впервые: «Свидетель Екатерининского века, памятник 12-го года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привлекает к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества».

Кто только достоин понимать и ценить!..

А таковых было немало.

Одним из них являлся сам Александр Сергеевич Пушкин.

Впервые судьба столкнула его с семьей Раевских, когда он учился в Лицее. Юные лицеисты любили собираться вечерами у Пети Чаадаева. Здесь устраивались пирушки, обсуждались свежие новости, происходили долгие споры и философские разговоры, читались новые стихи.

Чаадаев же служил адъютантом у командира гвардейского гусарского полка, квартировавшего в Царском Селе. Адъютантом вместе с ним служил и пятнадцатилетний Николай Раевский — сын славного генерала. Впервые они познакомились с Пушкиным на одном из вечеров у Чаадаева. Кто мог знать тогда, что эта встреча станет для них знаменательной, а дружба эта свяжет их крепкими узами на долгие годы, вплоть до гибели поэта.

Впрочем, с именем Раевского Пушкин был знаком заочно много ранее. С восторгом встречали лицеисты всякие сообщения о победах русских войск во время Отечественной войны. Подвиг же Раевского и его сыновей в битве под Салтановкой потряс многих из них. Ведь большинство из учащихся Лицея, друзей Пушкина, да и он сам были ровесниками Николая. А кто из них не мечтал тогда о славном подвиге во имя Отчизны!

Друзья быстро сошлись. Их объединяли, кроме всего прочего, общие взгляды на литературу. Во многом они находили общий язык. Немалая начитанность и тонкий вкус, отличавший Николая Раевского, помогли Пушкину в изучении некоторых новых для него направлений в литературе. Раевский впервые познакомил его с отдельными произведениями Байрона и Андре Шенье

Позже, Пушкин посвятит Николаю Раевскому свое знаменитое стихотворение «Андрей Шенье».

Если с некоторой долей оговорок Н. Раевского-младшего можно назвать «виновником» создания Пушкиным «Андрея Шенье», то точно так же его можно назвать невольным «виновником» того, что именно за это стихотворение Александр I решил сослать поэта в Сибирь и назвал Пушкина «бунтовщиком хуже Пугачева». Но если и можно признать эту «вину», то она тотчас же снимается тем, что сделал впоследствии Н. Раевский-младший для того, чтобы смягчить участь своего друга.

Пушкин позднее не раз будет ссылаться на «неоценимые услуги», оказанные ему Раевским. Именно благодаря его хлопотам безнадежная ссылка в Сибирь была заменена поэту ссылкой на юг.

Вот когда по-настоящему состоялась встреча гениального поэта и гениального полководца.

Случилось это так.

Пушкин поначалу прибыл в Киев. Здесь состоялось *знакомство с семейством Раевских, проживавших в городе*. Но знакомство это было весьма мимолетным. Почти не задерживаясь, поэт отправился в Екатеринослав.

Тут произошло событие, в результате которого позднее состоялись знаменитые поездки Пушкина на Кавказ и в Крым, были написаны многочисленные выдающиеся стихотворения и поэмы.

Пушкин любил испытывать свой характер в разных неожиданных ситуациях. Это заставляло его порой совершать весьма безрассудные поступки. Прогуливаясь по берегу Днепра, он попросил у рыбаков лодку и сел на весла. Выплыв на середину реки, он разделся и нырнул с головой в воду. Вода была ледяная, ведь стояла холодная весенняя погода, май месяц. Купаться было еще рановато.

К вечеру у Пушкина разболелась голова. Он едва мог подняться с кресла.

— Никита, — позвал он своего слугу, — дай мне пить. Что-то я весь горю.

— Да у вас, сударь, горячка, — сказал испуганно Никита, трогая лоб Пушкина ладонью.

— Дай, дай мне пить.

— Ничего нету, кроме лимонаду. Да и тот, словно лед, холодный.

— Давай!

— Нельзя. Только хуже будет.

— Давай, говорю...

— Воля ваша. — Никита налил в кружку лимонаду. — Врач нужен. Послать ли за кем?

— Да, пошли к Раевским. Скорее, Никита.

Ближе людей, казалось тогда Пушкину, у него не было.

На следующий день к нему пришли генерал Раевский и сын Николай. Генерал мгновенно оценил ситуацию. Более того, по многочисленным походам он хорошо знал, что такое лихорадка. Поэтому, отправляясь к Пушкину, не забыл попросить поехать с ним и своего штаб-лекаря.

Пушкин метался в бреду. Он был очень бледен и слаб.

Врач осмотрел его и сказал:

— Состояние неважное.

— Что будем делать? — спросил Николай.

— Надо ехать дальше, на Кавказ, — ответил отец. — Все сборы по-военному. Быстро. Выезжаем послезавтра поутру.

С этого момента Николай Николаевич Раевский взял поэта под свою опеку. И действительно, за многие недели совместных поездок по Кавказу и Крыму Пушкин впервые за долгое время почувствовал, что находится в заботливой семье, в кругу близких друзей, в домашней обстановке, такой непривычной и желанной. Раевский был для него словно отец... «Я не видел в нем героя, славу русского войска, я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душой, снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина», — напишет поэт позднее.

Ранним утром 28 мая 1820 года семья Раевских — сестры Мария и Софья, Николай и сам генерал, а с ними доктор, — взяв с собой больного поэта, выехала на минеральные воды. Впереди были Кавказские горы, море.

В 17 верстах от города Таганрога, когда карета с экипажем перевалила, поскрипывая, через небольшой перевал, глазам путешественников открылись водные просторы.

— Море! Море! — вскричала юная Мария Раевская и выбежала из кареты.

Белесые волны равномерно бились о берег. Мария стала бегать за волной и убегать от нее, когда та пыталась ее настигнуть.

— Как удивительно, как прелестно! — сказал со вздохом Пушкин, наблюдая за нею.

Как я завидовал волнам,
Бегущим бурною чредою
С любовью лечь к ее ногам.
Как я мечтал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами...

Неразделенная любовь поэта к юной Раевской была и есть одна из загадок в его творчестве, его жизни. Предполагалось даже, что именно эту любовь он пронес через всю жизнь.

Сама же Мария Раевская осталась в памяти современников как незаурядная личность. Необычайно красивая, прекрасно образованная, она отдала свою руку и сердце князю Сергею Григорьевичу Волконскому, участнику тайного заговора будущих декабристов. Знала ли она заранее о том, какая участь могла быть суждена ее мужу и ей самой? Видимо, да.

С. Г. Волконский был одним из руководителей Южного тайного общества. Сразу же после разгрома восстания на Сенатской площади он был арестован и содержался в Петропавловской крепости. Именно в эту, трудную для него минуту жизни проявились лучшие качества избранной им супруги. Мария Волконская сразу же после родов отправилась в Петербург, где всячески пыталась облегчить участь своего мужа. Высочайший приговор был вынесен вскоре: князь Волконский лишался всех заслуг и чинов и ссылался на каторгу в Сибирь.

История о том, как Мария Волконская последовала за ним в Сибирь, невзирая на чудовищный срок — 20 лет, на запрет возвращаться обратно вплоть до смерти мужа, на невозможность видеться с сыном, на потерю звания и состояния широко известна. Преданность и стойкость — эти черты необыкновенной женщины поражали воображение многих литераторов и художников.

Сам Николай Николаевич Раевский буквально боготворил свою дочь. Известен тот факт, что, находясь уже при смерти, он, посмотрев на портрет Марии, произнес такие слова: «Это самая удивительная женщина, которую я знал».

Можно лишь добавить, что такая удивительная женщина взросла у столь же удивительного отца.

Другая его дочь, Екатерина, была замужем за генерал-майором М. Ф. Орловым, служившим начальником штаба пехотного корпуса, которым командовал Раевский. М. Ф. Орлов также оказался замешанным в заговоре. Его даже некоторое время прочили в руководители намечаемого восстания. Орлову удалось избежать ссылки в Сибирь. Он был отправлен в свое имение под Калугой без права въезда в столицу и службы в армии.

Дело декабристов затронуло и обоих сыновей Н. Н. Раевского. Едва началось следствие, как тут же вспомнили и о них...

Специальный царский курьер по особым поручениям был отправлен из Петербурга в расположение русских войск на Кавказе. Прибыв на место глубокой ночью, курьер бесцеремонно ворвался в палатку генерала Паскевича, того самого, вместе с которым Раевские воевали еще при Салтановке. Теперь он командовал кавказским корпусом.

— В чем дело? — спросил, протирая глаза, Паскевич.

— Ваше превосходительство, срочная бумага. Особо секретный указ, — ответил курьер и протянул генералу пакет.

Тот развернул его и стал читать, чуть шевеля губами. Чем далее он читал, тем все более серьезным становилось его лицо.

— Ужели это так на самом деле? — задал он вслух вопрос, будто самому себе.

— Не могу знать! — бойко отрапортовал курьер, подумав, что генерал обращается к нему.

Паскевич замолчал на минуту, а затем громко произнес:

— Позовите капитана Жеребцова.

Капитан прибыл тотчас.

— Что случилось, Ваше превосходительство?

— Вот пакет из Петербурга. Извольте ознакомиться, но по дороге. Сейчас же поедете выполнять предписание.

Жеребцов прочитал пакет у порога. Повернувшись, он посмотрел на генерала.

— Ваше превосходительство, ведь Новый год со дня на день. Может быть, отставить арест на два-три дня.

— Нельзя, голубчик. Выполняйте.

Жеребцов щелкнул каблуками и удалился.

Через четыре часа он уже вернулся в палатку Паскевича.

— Разрешите доложить. Приказ выполнен. Арестованный доставлен.

— Позовите его. Пусть войдет.

Следом за капитаном вошел Николай Раевский. Его лицо выражало недоумение: почему, с какой стати под-

няли его поздней ночью да и толком ничего не объяснили?..

— Вам уже объявили об аресте?

— О чьем аресте? — переспросил Раевский.

— О вашем. Вы обвиняетесь в участии в заговоре бунтовщиков и злодеев, пытавшихся учинить бунт в Петербурге и по всей России. По специальному указу велено вас содержать под стражей и немедля отправить в столицу.

— По чьему указу?

— Императорскому. Он желает лично выяснить истину, — пояснил курьер. — И братец ваш, Александр Николаевич, уже тоже арестован...

Несколько недель спустя братья Раевские предстали перед самим царем. Зала Зимнего дворца, в которой происходила встреча, блистала пышным убранством. Паркетный пол был натерт до зеркального блеска, так, что отражение удлиняло фигуру Николая I.

— Так вот, судари мои, — мягким голосом проговорил император, — следственная комиссия разобрала ваше дело, и нам стало ясно — к тайному обществу вы не принадлежали. Но неужели вы не знали о нем, неужели ничего не слышали о заговоре?

Братья молчали. Император криво улыбнулся. Медленно прошелся по залу. Эхо отчеканивало каждый его шаг.

— К чему это отец ваш, прославленный генерал, заступается за отпетых негодяев — Орлова и Волконского? Если Орлов еще достоин снисхождения, то Волконский наказан в полной мере. Тому, кто будет защищать его, самому грозят неприятности.

Император подошел вплотную к Николаю Раевскому, долго смотрел в упор в его глаза, затем отступил полшага и окинул его взглядом с головы до ног. Чуть бледное лицо офицера, коротко остриженные темные волосы, тонкие усы, закрученные вверх, боевые награды...

— Как же это вы, знали обо всем, но меня не уведомили? Где же ваша присяга? А?

Ответил Александр:

— Разве честь не дороже присяги? Потеряв честь, человек не может существовать.

Ответ был дерзок.

Император вновь криво улыбнулся, но быстро овладел собой и произнес:

— Ну что ж, учитывая ваши прежние заслуги, мы

решили остановить ваше дело. Вы можете быть свободны. Ступайте.

Раевские вышли.

Полковник Александр Раевский после этого случая ушел с военной службы. Николай Раевский-младший вернулся на Кавказ. Но теперь его послали в самую гущу боевых действий.

Их дружба с Александром Пушкиным продолжалась долгие годы. Еще ранее поэт писал: «Старший сын Раевского будет более, нежели известен». Пророчество это, если, правда, толковать его как возможную известность А. Раевского на литературном, государственном или военном поприще не оправдалось. Личностью же он был действительно незаурядной. Пушкин преклонялся перед ним, долгое время находился под влиянием его взглядов на искусство. Ему поэт посвятил стихотворения «Демон» и «Коварность», о нем писал в «Евгении Онегине». Младшему брату — Николаю — он посвятил свою поэму «Кавказский пленник».

Лучшие воспоминания остались у Пушкина от этой семьи. С какой теплотой и неподдельной искренней любовью скажет он о Раевских: «...Свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства, жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался — счастливое полуденное небо; прелестный край, природа, удовлетворяющая воображение: горы, сады, море; друг мой, моя любимая надежда увидеть опять полуденный берег и семейство Раевских».

О самом генерале Раевском, в связи с его покровительством Пушкину и отеческой любовью к нему, один из биографов поэта также сказал немало лестных слов. «Несмотря на французское воспитание, — писал он, — Раевский был настоящий русский человек, любил русскую речь, по собственной охоте знаком был с нашей словесностью, знал и ценил простой народ, сближался с ним в военном быту и в своих поместьях, где, между прочим, любил заниматься садоводством и домашней медициной. В этих отношениях он далеко не походил на своих товарищей по оружию, русских знатных сановников, с которыми после случалось встречаться Пушкину и которым очень трудно было понять, что за существо поэт, да еще русский. Раевский как-то особенно умел сходиться с людьми, одаренными свыше. По отношению к Пушкину

генерал Раевский важен для нас как человек с разнообразными и славными воспоминаниями и преданиями, которыми он охотно делился в разговорах».

Встреча Раевских с Пушкиным, их путешествие по Кавказу и Крыму относится к 1820 году. Еще пять лет было до выступления декабристов. Но уже тогда возникали первые очаги будущих тайных обществ.

Имел ли прямое отношение генерал от кавалерии Н. Н. Раевский к декабристскому движению? На этот вопрос по сию пору нет однозначного ответа.

Принято считать, что по своим взглядам он был близок декабристам. Но по каким взглядам? Где и когда он высказывал их? Есть на этот счет лишь косвенные свидетельства, как, например, рассказ декабриста Якушкина об одной из встреч с Раевским в его имении.

«Раевский, не принадлежа сам к Тайному Обществу, но подозревая его существование, смотрел с напряженным любопытством на все происходящее вокруг него... Орлов предложил вопрос, насколько было бы полезно учреждение Тайного Общества в России?.. Я старался доказать, что в России совершенно невозможно существование Тайного Общества, которое могло бы быть хоть сколько-нибудь полезно. Раевский стал мне доказывать противное и исчислял все случаи, в которых Тайное Общество могло бы действовать с успехом и пользой. В ответ на его выходку я ему сказал: «Мне нетрудно доказать вам, что вы шутите; я предложу вам вопрос: если бы теперь уже существовало Тайное Общество, вы, наверное, к нему не присоединились бы?» — «Напротив, наверное, присоединился бы», — отвечал он».

Известно, что в доме Раевских бывали многие руководители движения декабристов. Частенько захаживал к ним Пестель. И все-таки мы не имеем ни одного документального свидетельства, доказывающего не просто принадлежность, но и одобрение деятельности Тайного Общества со стороны генерала. По-видимому, незаслуженное забвение, а также то, что царская администрация обходила многие заслуги полководца стороной, привлекали к личности Раевского революционно настроенных офицеров. А его популярность и авторитет в конечном итоге могли бы сыграть и значительную роль, окажись он в рядах выступивших. Но ведь этого, как известно, не произошло.

IV

«*Правдой* жил Н. Н. Раевский, почему *правдивая* летопись голько и может подтвердить, в чем именно заключались его заслуги и неотразимое обаяние его светлой личности...» — писал один из его биографов.

Правдивая летопись...

Кто может поручиться за истинность того, как преподносилось то или иное событие, те или иные военные действия Отечественной войны 1812 года в военных реляциях, сводках, донесениях или рапортах?

Сколько настоящих заслуг, принадлежащих подлинному герою, приписывалось порой другим! Не прошла сия несправедливость и мимо Н. Н. Раевского.

Он говорил: «Я век мой жил и служил без интриг, «без милостивцев», ни к каким партиям не приставал и не отставал ни от кого своих товарищей».

Не мог этот человек после кровопролитной битвы у Салтановки не отметить (выше, чем свое!) геройство своих подчиненных. После Бородина он отмечает во всеуслышание действия своих подопечных генералов Паскевича и Васильчикова, и даже генерала Ермолова, прослывшего спасителем Курганной батареи. После сражения под Красным Раевский запишет правдивую историю о том, что конница Уварова, которой приписывались исключительные заслуги после произведенной атаки, на самом деле никакую атаку не производила. «Правда всего дороже!» — восклицает генерал.

Этой правды он требовал и от себя и от своих подчиненных. Выспренних слов он не любил. Был исключительно скромным человеком. Вот что писал биограф: «Не переносил «нувеллистов»... а поэтому с первых дней службы усердно принимал меры, чтобы не создавать вокруг своего имени шума, причем для достижения этой цели он не останавливался, например, перед следующим: скрывал полученные раны и контузии, умышленно умалял свои заслуги даже в интимной переписке с близкими людьми, отрицал свои явные подвиги, которые признавались всеми, и т. п.». Вот почему впоследствии возникло так много всяческих легенд о том, что якобы в битве под Салтановкой не участвовали сыновья генерала. Он не любил бравировать этим. А от назойливых расспрашивателей отмахивался, говоря, что, мол, ничего особенного и не было. «Много имею что пересказать, —

писал он однажды, — на счет наших военных действий, да бумаги нет и некогда...»

Удивителен факт, что после битвы под Смоленском, по словам Дениса Давыдова, «по странности, которая может быть изъяснена только страстями человеческими, сражение сие почти нигде не было оглашено». Полковник К. Ф. Толь в журнале совета в Филях даже и не упомянул, что в нем участвовал Н. Н. Раевский.

Даже будучи раненным или контуженным, Раевский не выдавал на поле боя своих страданий и зачастую оставался в сражении до конца. Под Салтановкой никто и не заметил, что перенес этот человек. Д. Давыдов описал: «После сего дела я своими глазами видел всю грудь и правую ногу Раевского... почерневшими от картечных контузий. Он о том не говорил никому, и знала о том одна малая часть из тех, кои пользовались его особою благосклонностию».

В знаменитом кровопролитнейшем сражении под Лейпцигом, в самый решительный момент Раевский был тяжело ранен в правое плечо. Рядом с ним находился его адъютант, поэт Батюшков. Он заметил, что генерал ранен, и подскакал к нему, чтобы оказать помощь. Но Раевский отстранил его, и, положив руку на обагренное кровью правое плечо, сказал с улыбкой слова, ставшие впоследствие известными:

Je n'ai plus rien du sang qui m'a donné la vie;
Ce sang s'est épuisé, versé pour la patrie [1].

В посмертной «Некрологии» Раевского говорилось: «Он остался на лошади и командовал корпусом до окончания сражения, хотя рана была жестокая и кость раздроблена...»

Вот таков был этот человек, биография которого во многом до сих пор остается для нас загадкой. Быть может, еще до сих пор не выполнена «обязанность изобразить Раевского таковым, каков он был действительно», как писал Д. Давыдов, прибавляя к этому, что если «изображение его требует пера военного, то еще более, может быть, ожидает оно оценки философической».

Последние дни генерала были на редкость тяжелы. Недаром об этом вспоминал А. С. Пушкин, напоминая о том, чтобы не забыть «героя 1812 года, великого человека, жизнь которого была столь блистательна, а смерть так печальна».

[1] У меня нет больше крови, которая бы питала мою жизнь. Эта кровь пролита до капли за Отечество *(франц.)*.

Тяжелая болезнь приковала его к постели. Нужда преследовала по пятам. «Ни единого ропота, ни единого злобного слова не вырвалось из уст его; ни единым вздохом, ни единым стенанием не порадовал он честолюбивую посредственность, всегда готовую наслаждаться страданием человека, по мере его достоинства. Испытание ужасное! Несколько лет продолжалось оно неослабно...» — замечал Денис Давыдов.

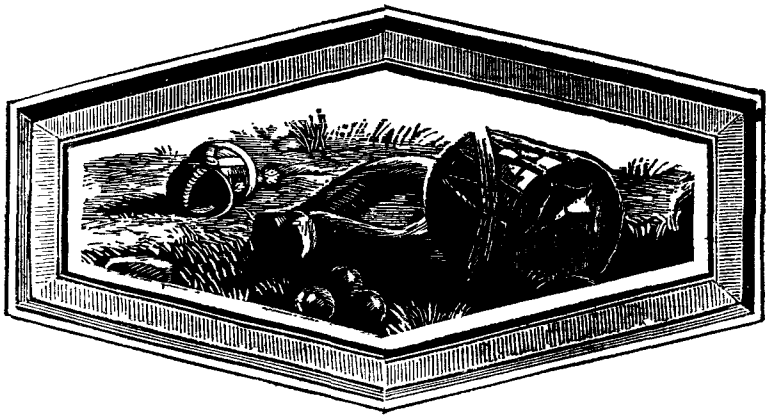
Н. Н. Раевский скончался 16 сентября 1829 года. Ему было 59 лет. «Военная служба его, принесшая столько пользы и славы отечеству, — писал современник, — есть, без сомнения, блистательнейшая, но не превосходнейшая из песней благозвучной его жизни — жизни, которая именно отличается какою-то особой гармониею всех частей, составляющих целое».

Современник же проникновенно отметил следующее: «Судьба определила Раевскому в Дашковке и в Париже нанести Наполеону первый и последний удар». На памятнике героям Отечественной войны 1812 года, внутри помещения храма Христа Спасителя, прямо при входе можно было встретить имя генерала Раевского дважды: сначала на левой колонне как победителя французов под Салтановкой — в самом начале войны, и, наконец, справа, среди героев покорения Парижа, на колонне, венчающей славную галерею.

Он был в Смоленске щит,
В Париже — меч России.

Константин КОВАЛЕВ

Александр Иванович Остерман-Толстой



Большинству своих современников, множеству знакомых, друзей, а порой и самым близким людям он стал известен уже как граф Остерман-Толстой. И даже те, кто знал его в годы молодости, вспоминали, что уже тогда он был генералом. В своих мнениях о нем все сходились на том, что граф Александр Иванович Остерман-Толстой был баловнем судьбы. Казалось, что его генеральские эполеты сияли еще ярче в блеске его обаяния и воинской доблести. Был он не просто красавцем, стройным, высоким, с темно-русыми волосами и синими глазами, но «...важные, резкие черты отличали его смуглое значительное лицо, по которому можно было отгадать характер самостоятельный...». Самостоятельность характера объяснялась отчасти тем, что Остерман-Толстой был одним из самых богатых российских помещиков, который древностью происхождения мог поспорить с царской фамилией.

Его благосостояние не зависело от жалованья, получаемого за службу, от милости или немилости императора, он служил без принуждения, из одного только чувства чести, считая это своим долгом перед Отечеством. «Даже среди знаменитых сверстников умел он себя выказать», — писал о нем один из современников.

Родился Толстой в зимнем Петербурге в 1770 году и был единственным ребенком в семье видного екатерининского сановника Ивана Матвеевича Толстого, женившегося на Аграфене Ильиничне Бибиковой, происходившей из древнего татарского рода. Отец будущего героя Отечественной войны 1812 года имел чин генерал-поручика и был человеком образованным. Принадлежа к высшему кругу петербургской знати, семья Толстых была небогатой, что делало почти несбыточными мечты родителей о блестящей карьере любимого сына. Для того чтобы Толстой мог занять при дворе и в обществе место, подобающее его знатности, родительских средств явно не хватало. Это обстоятельство вызывало постоянное неудовольствие Ивана Матвеевича, который к тому же от природы был человеком суровым, угрюмым и желчным. В кругу семьи он без стеснения порицал порядки, царившие при дворе императрицы Екатерины II, считая их для себя невыносимыми. Он не скрывал своего раздражения против «новой» петербургской знати Меншиковых, Безбородко, Орловых, Разумовских, которая, уступая в родовитости, возвышалась и укрепляла свое положение за счет бесчисленных земельных и денежных пожалований. Сам Иван Матвеевич был беден, но горд. Подаяния он не принял бы даже из царских рук, твердо считая, что служить надобно бескорыстно. Он был прямодушен и честен, не умел льстить и старался привить свои моральные устои сыну, решив, что лучшее воспитание Александр получит в родительском доме. Очевидно, домашнее образование Толстого оказалось бы недостаточным, если бы он не был любознателен от природы и не пополнял бы свои знания ревностно и неустанно всю жизнь. «Я не стыжусь невольного невежества, но не хочу быть невольным невеждой», — говорил он впоследствии. У юного Толстого были особые склонности к иностранным языкам. Он знал их несколько, говорил по-французски так, что французы принимали его за соотечественника. Иван Матвеевич считал необходимым тщательное

изучение латыни, очевидно, для того, чтобы сын, читая в подлинниках описания подвигов знаменитых мужей античности, проникался их возвышенным духом, благородством поступков и прямотой суждений. Однако в те времена самым удивительным было то, что Толстой в совершенстве говорил по-русски, в отличие от многих российских дворян, для которых сделался родным французский язык. Живой интерес всегда вызывали у него книги по военному искусству. Он с жадностью читал описания походов и войн всех времен, но страницы русской военной истории начиная с эпохи Петра I волновали его особенно.

Отец часто вспоминал об участии в Семилетней войне и войне с Турцией 1768—1774 годов, он любил рассказывать домочадцам про свои «подвиги, лишения и страдания в ту пору, когда едва не выпало ему на долю умереть с голоду в молдавских степях». И, конечно же, Александр хотел стать военным. Препятствий его желанию не предвиделось, тем более что задолго до того, как он стал мечтать о военной службе, отец по традиции того времени записал своего четырехлетнего сына в лейб-гвардии Преображенский полк. С 1774 года полковой писарь аккуратно делал соответствующие записи в формулярном списке Александра Толстого: «Определен в службу 1774 года января 1; сержантом 1780 года января 1; прапорщиком 1784 года января 1...» Четырнадцати лет от роду Александр Иванович Толстой явился в полк, и для будущего знаменитого генерала началась действительная военная служба.

Такое ее начало было обычным явлением для молодых людей, происходивших из дворянских семей, имевших влияние и связи в Петербурге. Родители записывали своих детей в гвардию, зная, что обеспечивают им не только стремительную военную, но и придворную карьеру. Зачисление в Преображенский полк было особенно почетным, так как это был один из старейших полков — родоначальников гвардии, образованных Петром I и участвовавших в войнах той эпохи. Но после смерти Петра I гвардейские полки редко участвовали в боях и походах, в основном принимая участие в дворцовых церемониях, празднествах, увеселениях, несли караульную службу в царских покоях. Служба в столичном гарнизоне, требовавшая к тому же значительных денежных расходов, мало соответствовала описаниям походной жизни, с детства увлекавшим воображение Толстого. Где много роскоши, считал он, там мало доблести. Юный преображенец карьере царедворца предпочитал военные опасности...

12 августа 1787 года Турция, надеясь взять реванш за прежние поражения, объявила России войну, а спустя два месяца Петербург с ликованием воспринял известие о блестящей победе русского оружия. 1 октября войска Суворова, входившие в состав Екатеринославской армии Г. А. Потемкина, наголову разгромили турецкий десант на Кинбурнской косе.

В это время Екатерина II, желая возродить былую славу гвардейских полков, приказала сформировать из гвардейских войск батальон волонтеров (добровольцев) для отправки в Екатеринославскую армию. Прапорщик Толстой подал прошение о зачислении его в этот отряд.

Впервые в боевых действиях юный Толстой, будучи уже подпоручиком, участвовал 7 сентября 1789 года на реке Сальче, где армия Н. В. Репнина, поразив неприятеля, преследовала его до города Измаила; 4 ноября он находился при взятии города Бендеры, где, окруженный русскими войсками, без боя сложил оружие 16-тысячный турецкий гарнизон. Это были первые шаги будущего военачальника на военном поприще. Но своим истинным боевым крещением он считал штурм крепости Измаил, который запомнился ему на всю жизнь.

Осенью 1790 года русское командование стягивало силы к Измаилу, к этой самой могучей твердыне турецкого владычества в Причерноморье. Гарнизон Измаила без труда отразил разрозненные атаки русских войск, и они вынуждены были перейти к осаде, изнурительной не столько для осажденных, как для осаждавших, среди которых находился и подпоручик Александр Толстой.

Осень стояла в тех краях сырая и дождливая. Укрываться от непогоды приходилось в ветхих палатках, износившаяся одежда согревала плохо. Подводы с продовольствием вязли в непроходимой грязи на дорогах. Из-за голода и холода в армии распространились болезни, уносившие ежедневно сотни людей. А вокруг на десятки верст расстилалась бесприютная серая степь, порывистый ветер рвал облака, несущиеся по небу. «Кроме степи, неба и неприятеля, нигде ничего не видно», — горько шутили офицеры. И подпоручик Толстой каждый день невольно смотрел в ту сторону, где сквозь осенний туман прорисовывались грозные валы Измаила.

О силе этой крепости он знал не понаслышке. Еще 12 октября 1789 года он участвовал в неудачной для

русских атаке Измаила, находясь в войсках Н. В. Репнина. А в ноябре 1790 года неутомимый подпоручик-волонтер уже служил на Черноморской гребной флотилии генерал-майора Иосифа де Рибаса, которая, пустившись по Дунаю, очистила его от турецких лодок. Войска де Рибаса овладели крепостями Тульчей, Исакчей и Килией. При взятии последней в числе отличившихся был и Толстой. 18 ноября гребная флотилия, войдя в Килийский рукав Дуная, появилась у самых стен Измаила. 20 ноября Толстой принимал участие в жестоком бою, во время которого была уничтожена турецкая флотилия, прикрывавшая крепость с юга. ...Измаил стоял непоколебленный. Осада продолжалась. И подпоручик Толстой вместе со всеми в армии столько же мало верил в ее успех, сколько и в возможность удачного штурма. Как вдруг 2 декабря в русский лагерь прибыл для принятия командования А. В. Суворов. Толстой видел, как разом оживились русские воины. «Быть штурму!» — говорили они друг другу с уверенностью. Юный офицер слышал, как его начальник генерал де Рибас, встретившись с полководцем, громко произнес: «Вы один, дорогой герой, стоите 100 тысяч человек!» И он сам, Александр Толстой, никогда прежде не служивший в войсках Суворова, воспрянул духом вместе с его старыми соратниками. Хотя чин подпоручика он получил не за участие в парадах и навыки поведения в бою пришли к нему не на маневрах, но опыт, боевой и нравственный, приобретенный именно под Измаилом, остался с ним на всю жизнь.

Решившись на штурм крепости, старый полководец активно готовил к нему войска. Толстой видел, как Суворов лично выезжал с офицерами к самым стенам Измаила, чтобы каждый из них заранее изучил тот участок, где ему придется вести вверенные ему войска на приступ грозной твердыни. По приказу состарившегося в битвах военачальника, солдаты выстроили подобие измаильского вала со рвом, и Суворов лично учил их, как засыпать ров фашинами, ставить штурмовые лестницы, взбираться на вал и колоть штыком. У него хватало времени и сил следить за тем, как одеты и накормлены воины. По его распоряжению из-под Галаца были вызваны маркитанты с продовольствием. В военном деле для Суворова не было мелочей. Все старался предусмотреть полководец, сознававший, что ему вверены жизни тысяч людей, которые должны были вскоре по его приказу победить или умереть. С появлением Суворова в русском лагере в войсках появилась уверенность в победе. Эту уверенность испытывал и юный Толстой, проникаясь ею от своих более опытных соратников.

Вечерами после учений он часто навещал генерал-майора Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова, командира Бугского егерского корпуса. Михаил Илларионович был женат на сводной сестре матери Толстого, Екатерине Ильиничне Бибиковой, и всегда радушно принимал своего юного родственника, сменившего, как и он в свое время, привольную жизнь в Петербурге на военные лишения. Толстой всякий раз с невольным любопытством смотрел на генерала, за которым в то время уже прочно укоренилась слава опытного и мужественного военачальника, испытанного в боях с турками. Офицеры, с которыми подпоручик свел знакомство в лагере, передали ему отзыв Суворова о Кутузове: «Умен, умен; хитер, хитер, его и Рибас не обманет». В армии много говорили о необычных ранениях генерала. В турецких войнах неприятельская пуля настигала его дважды. В 1788 году до Толстого дошел слух, что Кутузов получил под Очаковом рану, всем казавшуюся тогда смертельной: пуля прошла сквозь голову почти в том же самом месте, где и пять лет назад в бою под Алуштой. Но вместо известия о смерти родственника Толстой вскоре узнал, что тот, оправившись от ранения, продолжает службу. И вот теперь под Измаилом подпоручик видел его живого и здорового, и лишь когда Михаил Илларионович поворачивался к собеседнику правой стороной лица, то сразу же становилось видно, как жестоко иссечено оно шрамами, а правый глаз, казалось, смотрел более тускло. Вообще же в облике военачальника, которого так отличал Суворов, Толстой находил мало воинственного: полная, приземистая фигура, мягкий и проницательный взгляд темных глаз, доброжелательность и приветливость в обхождении, неспешность в движениях — все это само собой сразу же наводило на мысль, что круг интересов Кутузова не замыкался на воинской службе. Он действительно был очень образован, чрезвычайно начитан, любознателен, изучил иностранные языки, путешествовал по Европе, слыл знатоком всех тонкостей придворного этикета, что не мешало ему находить общий язык с солдатами и быть любимым ими. Кроме того, М. И. Кутузов был превосходным рассказчиком, и Толстой мог часами слушать своего родственника, считая, что беседа с ним является не только при-

ятным, но и полезным, поучительным времяпрепровождением. Однажды, когда разговор зашел о воинской службе, Кутузов произнес слова, которые врезались в память. «Знаешь ли ты, мой друг, что такое солдат? Ты еще молод. Я же получил чины, и ленты, и раны; но лучшею наградою почитаю то, когда обо мне говорят: он настоящий русский солдат».

Штурм Измаила был назначен на 11 декабря. Подпоручик Толстой находился в десантных войсках генерала де Рибаса, перед которыми стояла задача ворваться в крепость со стороны южного вала, образованного берегом реки. Высота берега достигала здесь 10—12 метров, местами он был довольно крутым. Турки заблаговременно укрепили этот участок сооружением 10 батарей.

В три часа ночи, прорезая мглу, над русским лагерем взвилась ракета. Это был сигнал, по которому штурмовые колонны должны были подвинуться к Измаилу и не позднее чем через два часа занять исходные для атаки места в шестистах метрах от стен крепости. Чтобы успешно выполнить это движение гребной флотилии де Рибаса, предстояло преодолеть едва ли не самые большие трудности. Его войска двинулись по реке в сплошном тумане на судах, построенных в две линии.

На одном из малых судов флотилии находился и Александр Толстой. Он не замечал ни пронизывающего ветра, ни холода, поднимавшегося от воды. До рассвета было еще очень далеко. Ночная тьма перемешалась с туманом, сквозь которые подпоручик, к своей досаде, ничего не мог различить. Со всех сторон его обступала тишина, едва нарушаемая всплесками весел. Когда тишина стала казаться всем бесконечной, ввысь, пылая, взвилась вторая ракета. Русские войска устремились на штурм. Они еще не достигли рва, как им навстречу ударила неприятельская артиллерия. Толстому показалось, что стены крепости разом вспыхнули. Под огнем турецких пушек суда флотилии разворачивались у берега, направляясь к нему на большой скорости. Гребцы налегали на весла изо всех сил. И вот, уже ступая по колено в ледяную воду, подпоручик Толстой соскочил с борта судна. Вокруг него на суше уже сосредоточивались группами войска десанта. Одним из первых ступил на неприятельский берег генерал-майор де Рибас. Отыскав его глазами, Толстой увидел, что лицо начальника выражало спокойствие и твердость. Де Рибас деловито распоряжался, требуя, чтобы воины не скапливались под огнем турецких батарей, представляя собою мишень, а поднимались по склону берега, выбирая более отлогие места. Выхватив шпагу, де Рибас сам повел их в атаку на неприятельские пушки, в которой принимал участие и подпоручик Толстой.

...С наступлением рассвета вал полностью находился в руках у русских, и рукопашный бой невиданной жестокости, вскоре перешедший в яростную резню, закипел на улицах города. Неприятель сопротивлялся ожесточенно: султан обещал казнить весь гарнизон крепости в случае, если падет Измаил.

Решительнее всех действовал один из опытных турецких военачальников Каплан-Гирей. Собрав вокруг себя значительные силы, он попытался пробиться с ними к реке сквозь войска де Рибаса. В кровопролитной схватке отряд Каплан-Гирея был уничтожен вместе с ним самим. Отбивая этот натиск, Толстой невольно вспомнил ученья перед штурмом. Тогда некоторые офицеры посмеивались между собой, глядя на то, с какой ретивостью Суворов лично обучал солдат штыковому бою. Сейчас же, увидев, как обезумевшие от ярости и отчаяния вражеские толпы любой ценой пытались вырваться из крепости, подпоручик понял, что те ученья не были чудачеством или блажью старого полководца. Русские воины уверенно и хладнокровно отражали бешеные удары изогнутых турецких клинков, и их штыки были для неприятеля неодолимой преградой.

В сумерках гарнизон крепости прекратил сопротивление. Измаил пал. «Не было крепче крепости, ни отчаяннее обороны...» — сказал Суворов.

Александр Толстой не хотел оставаться в городе, наполненном тысячами убитых, и решил возвратиться на ночлег в лагерь. Пережитые волнения, напряжение кровопролитного боя разом оставили его, и он шел между палатками, ничего не чувствуя, кроме усталости и удивления, что среди всего того, что он видел в этот день, он остался живым и невредимым. Неожиданно он услышал, как его окликнули, и повернувшись, увидел Михаила Илларионовича Кутузова. Несмотря на успех штурма, в котором войска Кутузова выказали замечательную стойкость, и назначение его самого комендантом крепости, вид у генерала был усталый и расстроенный. «Век не увижу такого дела, — заговорил Михаил Илларионович, и голос его звучал непривычно глухо. — Приехал домой как в пустыню... Кого в лагере ни спрошу, либо умер,

либо умирает. Ты жив, слава богу!» А когда они уже расставалиеь, Кутузов попросил Александра: «Ты матушке своей отпиши, что племянницы ее муж бригадир Рибопьер Иван Степанович живот свой за Отечество положил...»

Турция не могла оправиться от удара, нанесенного ей под Измаилом. Через полгода в Яссах был заключен выгодный для России мир.

В 1792 году с батальоном гвардейцев-волонтеров возвратился в Петербург и поручик[1] Александр Толстой.

Молодой офицер был милостиво принят императрицей Екатериной II. Северная столица радостно встречала победителей. В Преображенском полку, где продолжал служить Толстой, в то время немало было боевых офицеров. В походных условиях, подвергаясь одинаковым опасностям в сражениях, побеждая общего врага, все были равны и устремлены к единой цели. Но, попав в Петербурге в вихрь светских развлечений, гвардейские офицеры вновь зажили привольной жизнью, в которой первенствовали те, чье достоинство состояло в деньгах и протекциях. При том образе жизни, какой вели многие из его сослуживцев, Толстой постоянно ощущал недостаток своего собственного состояния, что затрудняло самолюбивому поручику общение с офицерами в полку. Он был сдержан и замкнут, участия в общих увеселениях не принимал, так как гордость мешала ему пользоваться расточительностью приятелей, а проживать в столице скудные родительские средства он не мог себе позволить.

Вскоре, в 1793 году, Толстой подал прошение о переводе из гвардии в армейскую часть, получив в командование 2-й батальон в Бугском егерском корпусе, который был сформирован М. И. Кутузовым и брал с ним вместе Измаил. Несмотря на то, что Толстой оставил службу в гвардии, карьера его складывалась весьма удачно: он был переведен в армию с чином подполковника, что было в традициях того времени. Часто молодые люди из аристократических фамилий, достигнув чина поручика гвардии, переводились в армейские полки, где, будучи в чине полковника и даже генерала, не имели ни малейшего представления о трудностях боевой жизни. Причем некоторые из них сразу же выходили в отставку, получая затем всю жизнь пенсию. Были и такие, кто добивался назначения в армейский полк, чтобы поправить свое состояние за счет казенных средств. Александр Толстой использовал преимущества, полученные от службы в гвардии, для иных целей: он желал честно служить Отечеству, а не числиться на государственной службе. Вдали от столичного гарнизона, придворной суеты он вновь ощутил себя солдатом, воином, и это было то состояние духа, к которому он всегда стремился.

[1] Произведен в 1791 году.

В Бугском егерском корпусе бывший поручик гвардии прослужил три года. За это время он свыкся с бытом армейского офицера и, поглощенный заботами своего батальона, стал постигать духовный мир русских солдат, сделавшийся ему доступным и понятным, чего никогда не случилось бы, если бы он продолжал службу в столице. Для его будущего имело значение и то, что боевой опыт, который он начал приобретать во время русско-турецкой войны, пополнялся в дни мира службой в егерском корпусе, так как егеря, самый передовой вид пехоты, были наглядным воплощением суворовского афоризма «всяк воин свой маневр понимает».

Александр Толстой в юности систематических военных знаний не получил, тонкости своего ремесла он постигал на практике. Но, пожалуй, в те годы это было лучшим способом получения военного образования. Не учебниками, писанными кабинетными стратегами и тактиками, а победами великого Суворова утверждалась теория передового военного искусства, ниспровергавшая изжившие себя западноевропейские образцы, которые в то время в основном и изучались в военных учебных заведениях. И где, как не в войсках знаменитого полководца, можно было освоить его «науку побеждать»?

В 1796 году в жизни юного подполковника произошли перемены, столь неожиданные, что, случись они прежде, и у Толстого не было бы необходимости оставлять службу в гвардии и служить в армейских егерях. И судьба его могла сложиться совсем иначе. В тот год, приехав в Петербург, он познакомился со своими бездетными родственниками графами И. А. и Ф. А. Остерманами, родными братьями его умершей бабки, славившимися почетом при дворе, богатством и твердым характером. «Своеобычливым» братьям понравился внешностью и сходством нравов их молодой родственник, и они, посовещавшись, «избрали преемником их фамилии старшаго, по покойной родной сестре, своего внука подполковника и кавалера

Александра Толстова...» и просили высочайшего соизволения, «чтоб оный внук мог уже при жизни их именоваться графом Остерманом и употреблять фамильный их герб». 27 октября 1796 года Екатерина II за десять дней до своей смерти написала на поданном ей прошении: «Быть посему».

Так в один день подполковник Толстой, известный лишь узкому кругу своих сослуживцев, стал графом Александром Ивановичем Остерманом-Толстым, наследником трех обширных земельных майоратов в Петербургской, Московской и Могилевской губерниях, крупнейшим помещиком и завиднейшим женихом в России, оказавшись на самом верху аристократического общества.

Перемену в своем положении он ощутил сразу же: отныне он был в центре внимания, как будто в нем разом обнаружились скрытые до той поры достоинства. Первые сановники Петербурга приглашали его на званые обеды, ужины, балы, где ловили каждое сказанное им слово. Его военные заслуги, казалось, сделались заметнее, через несколько дней он стал уже полковником. Те, кто прежде был с ним едва знаком и почти не замечал, теперь кланялись ему издалека.

Родственники же решили, что настал наконец благоприятный момент для устройства личной жизни 26-летнего графа. Ему подыскали достойную невесту, родовитую и с огромным приданым княжну Елизавету Алексеевну Голицыну, фрейлину императорского двора, о которой один из современников писал, что она «была миниатюрное, довольно интересное, от природы неглупое и доброе существо». В 1799 году А. И. Остерман-Толстой женился на княжне Голицыной, испытывая к ней чувство глубокого уважения, не имевшего, однако, ничего общего с любовью.

Получение наследства и выгодная женитьба внешне изменили образ его жизни, но прежним оставался его внутренний мир, он не мог отказаться от моральных ценностей, которые уже приобрел до того, как в его жизни произошли непредвиденные события. Сердце его не окаменело от роскоши и тщеславия. Он не мог не чувствовать, что перемена в отношении к нему была связана с приобретением богатства и графского титула. От природы впечатлительный, Александр Иванович Остерман-Толстой с этого времени начал обнаруживать черты нервозности, эмоциональной неустойчивости. При встрече с людьми он как будто постоянно задавался вопросом,

кого в нем видят: человека с его намерениями и поступками или же «сиятельного графа»? В зависимости от того, какой ответ он сам находил на свой вопрос, он был надменным и презрительным с одними, доступным и доброжелательным с другими.

Поглощенный изменениями в собственной жизни, новоявленный граф Остерман, очевидно, не сразу оценил перемены в стране, вызванные смертью Екатерины II и восшествием на престол ее сына Павла I. Более опытные и искушенные соотечественники сразу же почувствовали в этом событии грядущие бедствия России, коснувшиеся в первую очередь армии. Не случайно знаменитый фельдмаршал Румянцев, услыхав о внезапном приезде фельдъегеря из Петербурга, горестно сказал: «Знаю, что это значит!» При чтении послания Павла I, извещавшего о смерти императрицы, полководца хватил удар, от которого он вскоре скончался. Смерть одного «из стаи славных екатерининских орлов» на пороге нового царствования была символичной...

Последнее тридцатилетие XVIII века было наполнено громом побед русской армии. «Российский меч во всех концах вселенной блещет...» — с восторгом писал Державин. Но в России существовал человек, которого победы россиян едва ли не раздражали, у которого единственным кумиром был полководец Фридрих II, не раз битый русскими войсками. Большим несчастьем для Отечества являлось то, что человек этот был не кто иной, как русский император Павел I.

С первых же дней своего царствования он стремился подогнать русские войска под устаревшие прусские образцы, и с 1796 года в армии за основу обучения был принят с некоторыми изменениями прусский устав 1760 года, отразивший уровень развития европейского военного искусства 50-летней давности. В числе лиц, обязанных руководствоваться предписаниями «нового» устава, был и А. И. Остерман-Толстой. Читая этот документ, он невольно думал о том, что для императора и его гатчинских сподвижников опыт побед русских войск за минувшее тридцатилетие как будто и не существовал, как будто чья-то невидимая рука хотела злобно перечеркнуть славное боевое России и его, Остермана, прошлое. Это были злоба и мстительность людей, которым не удавалось проявить себя в военную пору, потому что их нравственные качества были низкими, а военное мастерство — ничтожным. Их путь лежал в Гатчинские войска Павла I,

где вахт-парад считался настоящим сражением, а за военное искусство принималась «наука складывания плаща, ибо не далее простирались их сведения» в этом вопросе. Слепое повиновение воле императора и тупую страсть к маршированию на плацу эти люди отождествляли со службой Отечеству. Не зная тягот войны, они не знали и истинной цены русскому солдату, относились к нему с бессмысленной жестокостью. Остерман-Толстой с болью узнавал от прежних сослуживцев по Преображенскому полку, как во время учений любимец Павла генерал Аракчеев, добиваясь образцовой выправки солдат, не стеснялся бить их палкой, рвал усы у старых гренадер, назвал перед строем заслуженных полков их овеянные славой знамена екатерининскими юбками. Остерман-Толстой понимал, что выговорить такие слова мог человек, не проливавший кровь под этими знаменами.

1 февраля 1798 года Остермана неожиданно назначили шефом Шлиссельбургского мушкетерского полка с производством на 27-м году жизни в чин генерал-майора. В этом случае значение имели не личные заслуги, а убеждение Павла I в том, что шеф полка должен быть непременно в чине генерала. И сам Александр Иванович чувствовал, что это было мнимое благополучие. Он не умел служить за страх, а за совесть. Для армии павловского времени он был человеком неудобным. В один из дней этого беспокойного царствования он явился по вызову во дворец, где услышал то, чего давно ожидал. Один из приближенных Павла I объявил «господам генералам, штаб- и обер-офицерам, что государь император, хотя знает, как многие из вас ознаменовали себя отличными услугами, однако же службою вашею весьма недоволен и приказал мне вам сказать, что за малейшую ошибку по службе в строю каждый из вас будет разжалован вечно в рядовые солдаты. Тот, кто с честью служил, с честью службу может оставить, словом, государь изволил сказать: «Ищите себе место».

18 апреля 1798 года Остерман-Толстой был «переименован в действительные статские советники для определения к статским делам». Такой поворот событий его не особенно огорчил. Он был еще очень молод и верил, что у него все впереди. Кроме того, он чувствовал, что не одинок в постигшей его участи. С ноября 1796 по март 1801 года его судьбу разделили 2156 офицеров, 333 генерала и 7 фельдмаршалов, среди которых находился и Суворов, ставший в те годы символом отечественных боевых традиций, знаменем всех, кто был противником «опруссачивания» русской армии. «Русские прусских всегда бивали, что же тут перенять?» — говорил старый полководец, и его слова эхом разносились по России. И, сам того не желая, Павел I добился, что тысячи людей невольно осознали свое идейное братство, преданность суворовской школе военного искусства, которая сформировала их не только боевые, но и человеческие качества, среди которых на первом месте был патриотизм. В одном строю с теми, кто оказался выше павловских «нововведений», находился и А. И. Остерман-Толстой.

Император Александр I, вступивший на престол в результате дворцового переворота, устранившего Павла I, разрешил возвратиться на военную службу всем, кто вынужден был ее оставить в годы предыдущего царствования. И 27 марта 1801 года в формулярном списке А. И. Остермана-Толстого появилась запись: «Принят генерал-майором с состоянием по армии». Он не получил определенного назначения в связи с отсутствием вакантной должности, ожидание которой затянулось на несколько лет, поэтому в 1805 году он находился без особой команды при десантном корпусе П. А. Толстого, действовавшем в Шведской Померании. В Стральзунде Остерману было вверено командование авангардом корпуса, но поход продолжался недолго.

7 декабря из Австрии, с главного театра боевых действий, пришло известие о сокрушительном поражении русских и австрийцев под Аустерлицем. После минувшего тридцатилетия побед России во всех войнах эта новость сразила всех наповал. Остерман-Толстой возвращался в Петербург с горестью в сердце и нетерпением узнать о подробностях несчастья, постигшего русскую армию, так как все сведения, доходившие до него за границей, были неясными и смутными. В северной столице «официальным» виновником неудачи под Аустерлицем считали его ближайшего родственника М. И. Кутузова, но вполголоса осуждали Александра I. «Воспитанный под барабаном» в царствование своего отца, так же, как он, поглощенный парадной стороной военной службы, русский император самонадеянно вообразил себя весьма сведущим в полководческом искусстве. Явившись в армию, он фактически отстранил от командования М. И. Кутузова, против воли которого было дано Аустерлицкое сражение, где для русских воинов наступило время рас-

плачиваться кровью за невежество гатчинских служак и австрийского гофкригсрата. Правила «Воинского артикула» 1796 года, в течение пяти лет вбиваемые палками в головы русских солдат, развалились, как карточный домик, под натиском наполеоновских войск. Теперь уже многим из тех, кто сделал военную карьеру при Павле I, приходилось искать себе места на штатской службе или отправляться на покой. Для дальнейшего противоборства с победившим соперником в армии оставались лишь те, кто надеялся на свое мужество и боевой опыт.

Осенью 1806 года русская армия в составе двух корпусов Беннигсена и Буксгевдена выступила на помощь Пруссии, наконец решившейся объявить войну Наполеону. А. И. Остерман-Толстой, будучи уже в чине генерал-лейтенанта, был назначен начальником 2-й пехотной дивизии в корпусе Беннигсена. В Польше русские войска получили известие о том, что от союзной армии, гордившейся традициями Фридриха Великого, остались лишь жалкие обломки. В Пултуске русских генералов, в их числе был и Остерман-Толстой, встретил король Пруссии, просивший со слезами на глазах защиты от «корсиканского чудовища», которое, покончив с пруссаками, уже двигалось навстречу русским войскам, угрожая отрезать их от собственной границы. По этому поводу правительственный манифест от 18 ноября гласил: «Меч, извлеченный честью на защиту союзников России, ...с большею справедливостью должен обратиться в оборону собственной безопасности Отечеству». 7 декабря Остерман принял командование над авангардом корпуса Беннигсена и должен был первым встретить французов у Чарнова.

Прибыв в назначенное место, его 5-тысячный отряд оказался лицом к лицу со всем корпусом маршала Даву, уже прочно закрепившимся на противоположном берегу рек Нарева и Вкры, сливавшихся у Чарнова. В ответ на донесение о многочисленности неприятеля Остерман-Толстой получил приказ препятствовать его переправе через реку, пока русские войска не успеют собраться у города Пултуска. Авангард Остермана превратился в арьергард, жертвовавший собой для спасения армии.

В ожидании боя, следя за действиями французов на другом берегу, Остерман-Толстой скрывал от своих подчиненных тревожные мысли, давно не дававшие ему покоя. Несмотря на чин генерал-лейтенанта и назначение начальником дивизии, он заново готовился принять боевое крещение после пятнадцатилетнего перерыва со времени своего последнего участия в бою под Мачиной в то время, как рядом с ним и под его командованием находились люди, которые первыми врывались в ворота Праги, топили шведские суда при Роченсальме, вместе с Суворовым воевали в Италии и Швейцарии, поражали французов под Кремсом и Шенграбеном. Недостатка в личном мужестве он не испытывал, но сумеет ли он распоряжаться своими более опытными соратниками, имея дело с таким противником, как наполеоновская армия? Не сомневаются ли его подчиненные в своем начальнике при виде его генеральского мундира без орденов, знаков воинской доблести? Не осуждают ли за то, что его боевой путь был таким ровным? И ему самому казалось странным, что его, с детства мечтавшего о подвигах на поле чести, будто бы сама судьба уводила в сторону от них.

Четверо суток стояли войска Остермана у Чарнова в ожидании боя. Утром 11 декабря они оделись в парадную форму, готовясь к встрече с фельдмаршалом Каменским, обещавшим приехать в арьергард. Тем временем на правом берегу появились главные силы неприятеля во главе с самим Наполеоном. Русские воины не подозревали, что французский император в тот же день подарил маршалу Даву честь разбить их маленький отряд и уже поздравил маршала с победой.

Скрывая начавшиеся передвижения, французы весь день жгли сырую солому, отчего на реке стояла завеса густого дыма, при виде которой Остерман насторожился. Беспокойное ожидание не оставляло его и с наступлением вечерних сумерек. Когда же справа за рекой неожиданно загорелось село Помихово, он сразу догадался, что это был сигнал к атаке. Внезапность ночного нападения противнику не удалась. Когда неприятельская артиллерия открыла огонь, русские войска уже давно стояли в боевом порядке, а Остерман на лошади разъезжал между ними с сосредоточенным видом, мысленно спрашивая себя: правильно ли он занял позицию и откуда неприятель поведет первую атаку, так как в кромешной мгле разглядеть что-либо было почти невозможно. Услыхав со стороны реки крики и шум рукопашной схватки, Остерман понял, что егеря, рассыпанные в прибрежных кустах перед фронтом, уже вступили в бой с многочисленным неприятелем. Он велел приказать им отходить под прикрытие русских батарей, стоявших на высотах. Когда колонны французов сделались различимыми в темноте, они

были сначала остановлены картечью, а затем отброшены энергичным штыковым ударом.

После двух отбитых атак неприятель усилил натиск. «На протяжении двух верст кипел батальный огонь пехоты, как барабанная дробь, — писал очевидец, — огоньки ружейных выстрелов сверкали в ночном мраке мириадами искр... Гром орудий ревел без умолку; ядра и пули с визгом резали ночной воздух. Смерть невидимо носилась на всем пространстве боя и каждую минуту поглощала новые жертвы». Французы ломились с фронта, одновременно пытаясь охватить войска Остермана с флангов, но все их усилия разбивались о гранитную стойкость русских войск и умелые распоряжения их начальника.

Остерман-Толстой не раз водил в атаку батальоны Павловского гренадерского полка. Если прежде, тая беспокойные мысли, он придавал своему лицу бесстрастное и надменное выражение, то теперь он не мог сдержать оживления при виде успешных действий его отряда. Полученное от пленных известие о присутствии у Чарнова самого Наполеона с главными силами, его не только не сразило, но обрадовало: в течение десяти часов наполеоновские войска были бессильны сломить сопротивление русского арьергарда.

Остерман-Толстой так же, как и его подчиненные, окрыленный успехом, чувствовал небывалый прилив сил и желание продолжать бой. Однако здравый смысл подсказывал ему, что до рассвета его отряд, задержавший на сутки противника, должен покинуть поле боя, избежав в ночи преследования. В донесении от 17 декабря Остерман писал: «...Неприятель почувствовал, что, невзирая на превосходство сил своих, нет средств нас истребить, отошел в деревню и начал бомбами и брандскугелями нас тревожить, а я, не имея надобности держаться, пошел в Насельск и более не был преследуем». Сами же французы так оценили действия русского арьергарда: «Граф Остерман маневрировал как настоящий военный, а Войско его сражалось с великим мужеством и твердостию».

Через три дня в сражении у Пултуска Остерману было вверено командование левым крылом русской армии. Исход боя решили его войска. Голодные, измученные, в рваной одежде, проваливаясь по колено в грязь со снегом, они подоспели навстречу корпусу маршала Ланна, прорвавшему фронт, и, преградив ему дорогу, сами перешли в наступление. Первым пошел в контратаку, закричав «ура!», Остерман-Толстой...

Конечно, военачальник, устремлявшийся в бой чуть ли не с каждым полком, входившим в его дивизию, был явлением необычным. Остерманом руководило не только молодчество и «живость характера», отличаемая современниками. Он стремился утвердиться в армии, где в течение долгих лет был лишен возможности проявить себя и, дослужившись до чина генерал-лейтенанта, был почти неизвестен войскам, привыкшим к именам Багратиона, Милорадовича, Дохтурова, Платова... Не подвергнув себя опасностям, которые преодолевали, продвигаясь по службе, его «знаменитые сверстники», он не считал себя вправе требовать от подчиненных того, чего не испытал сам. Опасаясь прозвища «паркетного генерала», пользующегося милостями судьбы, он шел в бой как рядовой воин, тем самым давая понять, что звание солдата он ставит выше богатства и графского титула.

Его мужество, благородство и честность в конце концов привлекли к нему сердца его подчиненных, которым он и сам платил искренней привязанностью. Остерман не жалел своих средств, чтобы прокормить солдат, голодавших всю кампанию 1806—1807 годов. Не размышляя, он отдал свою дорожную коляску смертельно раненному под Пултуском полковнику Давыдовскому, увидев его лежащего на снегу, и отправил в ней в Россию. Безразличный к мнениям высшего света, Остерман радовался, услышав, как солдаты стали называть его между собою «наш граф».

«Своего графа» они дважды спасали от неминуемого плена, когда, потеряв осторожность по причине «врожденной запальчивости» и недостатка зрения, он вырывался в атаках далеко вперед. По воспоминаниям Ф. Н. Глинки, в сражениях Остерман носил очки, но, обманутый зрением, нередко «заезжал в линию стрелков французских, хозяйничая у неприятеля как дома». Когда в Прейсиш-Эйлауском побоище, вновь командуя левым крылом, генерал оказался в окружении неприятеля, его отбили гренадеры Павловского полка. Портрет их командира полковника Мазовского украшал кабинет Остермана, который, показывая его всем посетителям, говорил: «Вот мой благодетель: он спас мою честь в сражении под Прейсиш-Эйлау».

Во второй раз беда стряслась с ним в бою у Гутштадта 24 мая 1807 года. В схватке с французами, происходившей посреди долины, усыпанной яркими весенними цветами. Остерман, бывший, как всегда, в самой гуще

боя, был тяжело ранен в правую ногу. К нему устремились неприятельские солдаты, у которых его вновь отбили павловские гренадеры.

После этой раны Александр Иванович вынужден был покинуть армию, как он сам рассчитывал, на короткий срок. Но вскоре война закончилась. Мир, заключенный с Наполеоном в Тильзите, Остерман-Толстой воспринял так же, как его воспринимала почти вся русская армия, по понятиям которой ничего не могло быть позорнее.

А. И. Остерман-Толстой, теперь уже пользующийся «блестящей репутацией военачальника», украшенный орденами св. Анны I степени и св. Георгия III степени, полученного им за бой у Чарнова, возвратился в Петербург, где он не считал нужным скрывать свое личное убеждение, что русские должны побеждать или умирать со славою. Его позиция в этом вопросе была настолько последовательной, что французский посланник А. Коленкур, снабжавший Наполеона сведениями о настроениях в русском обществе, назвал графа Остермана-Толстого «главой военной оппозиции», который, несмотря на указания русского императора, не посещал с визитами французского посланника, соответственно не принимая его у себя дома. Волеизъявления царя было недостаточно, чтобы заставить не умевшего и не хотевшего притворяться Остермана сменить неприязнь на показное дружелюбие. Если в этом случае несговорчивость прямодушного генерала сошла ему с рук безнаказанно, то в другом случае его сочли нужным наказать...

Прочитав в конце марта 1809 года в «Санкт-Петербургских ведомостях» указ о производстве в чин генерала от инфантерии М. Б. Барклая-де-Толли, А. И. Остерман-Толстой неожиданно подал в отставку. Генерал, так дороживший своей службой в армии, вновь оказался не у дел, но Остерман не был бы Остерманом, если бы он поступил иначе. Нет, он не завидовал чужой славе, не являлся строгим блюстителем очередности в получении чинов, как многие его сослуживцы. Он разделил обиду своего друга Д. В. Голицына, с которым сблизился во время кампании 1806—1807 годов. В 1808 году генерал-лейтенант Д. В. Голицын, обаятельный человек, толковый военачальник, с отличием участвовал в войне со шведами. Разведав переход через замерзший пролив Кваркен, он рассчитывал по льду провести русские войска к шведским берегам, но эта операция была поручена

Барклаю-де-Толли. Оскорбленный Д. В. Голицын подал в отставку, не скрывая ее причин.

Остерман-Толстой, так же как и Голицын и многие их сослуживцы, не считал, что в войне 1806—1807 годов Барклай-де-Толли отличился выдающейся распорядительностью. После боя под Чарновом дивизия Остермана лишилась всего обоза, захваченного французами по причине скорого отхода арьергарда Барклая от Сохочина. По поводу же боя при Гофе А. П. Ермолов сдержанно заметил, что «он не делает чести генералу Барклаю де Толли». В связи с этим многим было ясно, что причина его «изумительно быстрого возвышения» скрывалась в личном расположении Александра I. Демонстративное прошение Остермана об отставке царь счел фактом более вызывающим, чем пренебрежение французским посланником, собственноручно наложив резолюцию: «Вычеркнуть из списков!» «С тех пор тот и другой верховодят в антифранцузской партии», — писал в Париж посланник Коленкур об Остермане и Голицыне.

Невзирая на это досадное происшествие, А. И. Остерман-Толстой сознавал, что его вынужденное бездействие не могло быть продолжительным. Военная гроза неумолимо надвигалась на Россию. «Кто не жил в ту эпоху, тот знать не может, как душно было жить в это время», — писал П. А. Вяземский. По дорогам Западной Европы двигались к границе России «большие батальоны», которые до сих пор были «всегда правы». В предстоявшей борьбе не на жизнь, а на смерть, мог найти себе место каждый, кому дорого было Отечество.

И вот настал 1812 год, «памятный для каждого русского, славный опасностями, тяжкий трудами».

С началом весны из Петербурга в направлении границы начали выступать по одному гвардейские полки. Когда в поход двинулся Преображенский полк, где в молодости служил и в штатах которого находился до своей отставки А. И. Остерман-Толстой, он выехал в карете к Нарвской заставе, мимо которой проходили гвардейские полки. Здесь отставной генерал увидел издали императора Александра I, который отвечал на приветствия воинов непривычными для их слуха словами: «В добрый путь!» Все были взволнованы, в эту минуту каждый думал о судьбе своего Отечества, над которым уже нависла угроза вторжения несметных полчищ Наполеона. Глядя вслед уходившему полку, Остерман-Толстой ощутил, как никогда, всю остроту своих переживаний, по поводу вы-

нужденной отставки. Его угнетало пребывание в столице, в то время, как большинство его сослуживцев уже находилось в армии, но обращаться к царю с просьбой о возвращении на службу он так и не стал.

В начале апреля Остерман узнал, что Александр I, покинув Петербург, отбыл к армии. Это означало, что близилось военное столкновение. В этих обстоятельствах Остерман недолго размышлял над тем, какое следовало принять решение. Его могли вычеркнуть из списков военных чинов, но кто бы мог запретить ему сражаться за Отечество? Наскоро собравшись, он выехал в сторону западной границы.

В то время, как царь и военный министр находились в Вильно, Остерман-Толстой достиг расположения 1-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта П. Х. Витгенштейна, находившегося на правом фланге 1-й Западной армии между Россиенами и Кейданами. Явившись в Шавли на квартиру корпусного командира, Александр Иванович отрекомендовался волонтером и выразил готовность служить в любой должности. Очевидно, Витгенштейн с пониманием встретил просьбу самолюбивого Остермана, после чего тот и остался при 1-м пехотном корпусе.

Войска Витгенштейна давно уже пребывали в состоянии боевой готовности. Вторжение неприятеля ожидалось со дня на день. Меры же, принимаемые русским командованием для отражения противника, вызывали скептическое отношение у П. Х. Витгенштейна. Он даже рад был неожиданному приезду Остермана, с которым мог поделиться своими сомнениями.

Русские войска находились слишком близко к границе и слишком далеко друг от друга, чтобы в случае вторжения наполеоновских войск успеть беспрепятственно соединиться и не быть отрезанными друг от друга в самом начале войны. В особо опасном положении находился 1-й пехотный корпус П. Х. Витгенштейна, занимавший крайнее положение на фланге 1-й Западной армии.

Витгенштейн, Остерман-Толстой и часто наезжавшие в Шавли корпусные командиры Н. А. Тучков и П. А. Шувалов обменивались мнениями, не скрывая друг от друга самых худших опасений, которые вскоре из предположений превратились в реальность.

13 июня офицер, посланный М. Б. Барклаем-де-Толли, привез письменное известие о событиях, происходивших на Немане в ночь с 12 на 13 июня: «Неприятель переправился близ Ковно, и армия сосредоточивается за

Вильною; почему предписывается вам начать тотчас отступление по данным вам повелениям», — писал главнокомандующий командиру 1-го пехотного корпуса.

Едва войска Витгенштейна выступили, как он известился о том, что со стороны Ковно наперерез его корпусу двигаются значительные силы французов. 15 июня 1-й пехотный корпус прибыл к Вилькомиру, где почти одновременно с ним появился корпус французского маршала Удино. Войскам Витгенштейна еще предстояло перейти вброд реку Свенту, когда арьергард Кульнева, прикрывавший переправу, был уже атакован многочисленным неприятелем. В течение двух часов трехтысячный русский отряд отражал натиск противника, стремившегося настигнуть корпус Витгенштейна. Во время этого боя среди русских воинов появился высокий генерал в очках, в мундирном сюртуке с орденом св. Георгия III степени. Он подавал советы русским артиллеристам, направлявшим огонь в наступавшие неприятельские колонны, участвовал в отражении атак кавалерии противника, содействовал порядку на переправе через реку. При этом генерал не вмешивался ни в распоряжения командира корпуса, ни начальника арьергарда. «Остерман принимал участие в этом деле как волонтер», — писал в одном из своих писем в Петербург П. Х. Витгенштейн.

Поступок генерал-лейтенанта А. И. Остермана-Толстого, принявшего участие в одном из первых боев с неприятелем в качестве рядового воина, обратил на себя общее внимание. 19 июня находившийся в Свенцянах Александр I получил донесение от генерал-адъютанта Ф. П. Уварова, который, пользуясь доверительными отношениями с царем, писал со свойственным ему прямодушием: «При корпусе графа Витгенштейна видел я графа Остермана, который с тем приехал, чтобы ожидать начала, а как оное уже объяснилось переходом неприятеля границы и даже пушками и ружьем под Вилькомиром, то и полагает явиться граф Остерман в главную квартиру с тем, чтобы быть готову на всякое употребление как заблагорассудите, ежели не иначе, то хотя на ординарцы к Вашему Величеству; сие похоже на графа Остермана и на настоящего русского; я сие все написал, дабы Ваше Величество знали, а там поступить как вам угодно...» Ф. П. Уваров не скрывал своей симпатии и уважения к своевольному генералу, который нашел столь необычный способ возвратиться на военную службу в грозную для Отечества пору.

Александр I, приняв во внимание настроение общего сочувствия Остерману, не дожидаясь, пока он явится демонстративно «проситься на ординарцы», 23 июня разрешил ему «вернуться в действительную службу». 25 июня в местечке Замоши Остерман-Толстой «по повелению его императорского величества прибыл к командованию 4-м пехотным корпусом», с которым и прошел по дорогам Отечественной войны 1812 года.

Пока корпуса, входившие в 1-ю Западную армию, маневрировали на дорогах, ведущих к Свенцянам, главные силы Наполеона, заняв Вильно, прервали их прямое сообщение со 2-й Западной армией П. И. Багратиона, которая по первоначальному замыслу должна была ударить во фланг и тыл неприятеля, действовавшего против войск Барклая-де-Толли. Но по достижении намеченного рубежа у Свенцян в 1-й Западной армии стало известно об огромном численном превосходстве противника, вклинившегося между обеими русскими армиями и одновременно обходившего их с флангов. Не вдаваясь в сражение, 1-я Западная армия уходила к реке Двине, в излучине которой был расположен Дрисский укрепленный лагерь, выстроенный по рекомендации прусского советника Александра I К. Фуля.

27 июня 1-я Западная армия, встревоженная и недовольная своим поспешным отступлением, достигла дрисских укреплений, где ее ожидало новое разочарование. Разместив свой 4-й пехотный корпус на левом фланге боевого порядка среди сложной системы ложементов, редутов, люнетов и засек, А. И. Остерман-Толстой отправился обозревать лагерь, интересуясь мнением сослуживцев, которые смотрели на инженерные затеи Александра I и его иностранных советников как на опасную игрушку, способную погубить армию. «Мы вступили сюда, думая, что неприятель явится за нами, — говорил Остерману Витгенштейн, — но он никогда не поступит так глупо. Он прямо идет по дороге в Смоленск, где нет ни души и нам придется бежать за ним стремглав, чтобы настичь его!»

Здесь же посреди укреплений разъезжал мрачный Александр I со своими многочисленными советниками и лицами из Главной квартиры. Остермана-Толстого так же, как и многих других русских военачальников, раздражало обилие иностранных фамилий в свите императора: Фуль, Паулуччи, Армфельд, Мишо, Беннигсен... Все они спорили между собой, обвиняли Фуля, каждый старался

представить в выгодном свете собственные военные познания, но в их доводах и аргументах не чувствовалось главного, того, что с самого начала войны не давало покоя Остерману-Толстому: боли за судьбу России, которую шаг за шагом, версту за верстой приходилось уступать неприятелю. Маркиз Паулуччи, бывший в то время начальником штаба 1-й армии, подъехав к группе корпусных командиров, стал рассуждать о военных действиях. Он с уверенностью говорил о том, как нужно было поступать вчера, позавчера, третьего дня и ранее, а Остермана и его соратников Н. А. Тучкова, Д. С. Дохтурова, К. Ф. Багговута и других интересовало, что будет с их Отечеством теперь, когда исчезла надежда на соединение обеих армий под Дриссой? Презрительно взглянув в глаза иностранцу, Остерман произнес гневно и отчетливо, так, чтобы его слышали все: «Для вас Россия — мундир, вы его наденете и снимете, для меня она моя кожа».

«Потеряв из виду неприятеля и принужденная ожидать его отовсюду», 1-я армия около недели находилась в Дрисском лагере. «Мы будем сидеть здесь, пока не съедим все припасы», — зло шутили офицеры. 2 июля арьергард доставил сведения, что неприятель в огромных силах ломится в пространство между Двиною и Днепром, все глубже всаживая клин между армиями Барклая-де-Толли и Багратиона. 1-я Западная армия, стремясь упредить противника, взяла направление на Витебск. Дорогой произошло немаловажное событие. Александр I по настоянию своих приближенных покинул армию.

Барклай-де-Толли, оставшись наконец один на один со своими сослуживцами, чувствовал необходимость, если «не снискать их приверженность», то по крайней мере добиться взаимопонимания. 11 июля, когда его армия достигла Витебска, главнокомандующий решил, что благоприятный час для этого настал. Он считал, что Могилев уже занят войсками Багратиона, и был уверен, что обеим армиям предстоит скорое соединение под Оршей, в связи с чем пригласил к себе корпусных командиров. С недовольными лицами к нему явились К. Ф. Багговут, Н. А. Тучков, Ф. П. Уваров, Д. С. Дохтуров, А. И. Остерман-Толстой и другие. Барклай-де-Толли, стараясь быть приветливым и бодрым, поздравил их с радостным событием и сказал: «Благодарение всевышнему, соединение наше совершилось, и мы начинаем теперь с князем Багратионом действовать наступательно». Увидев, что при-

сутствующие несколько оживились, военный министр продолжал: «После нескольких дней отдохновения, обеспечив продовольствие, мы тотчас пойдем форсированно к Орше». После этих слов генералы начали многозначительно переглядываться. Остерман, резко вскинув голову, посмотрел на начальника штаба 1-й армии А. П. Ермолова, тот ответил ему выразительным взглядом. Перед тем как все они явились к Барклаю, А. П. Ермолов говорил А. И. Остерману: «По недостатку опытности я не имею права на полную доверенность ко мне главнокомандующего. Мое мнение он может считать мнением молодого человека. Сделайте же, граф, ему представление, что нужно следовать поспешно на Оршу и на Даву, способствуя тем самым князю Багратиону идти беспрепятственно в соединение с нашею армиею».

Остерман заговорил: «Ваше высокопревосходительство, отчего же прямо не последовать нам на Оршу, не подвергаясь опасностям по отдалению неприятеля? Время ли нам иметь отдохновение?» Следом за Остерманом подал голос и Ермолов: «От пребывания в Витебске не теряются ли выгоды, которые не всегда дарует счастье и за упущение которых часто платится весьма дорого?» Д. С. Дохтуров, командир 6-го пехотного корпуса, особенно неприязненно относившийся к Барклаю, произнес: «Я полагаю, в Дрисском лагере мы достаточно имели отдохновения». Но намерение М. Б. Барклая-де-Толли оставаться в Витебске было неизменным.

Остерман возвратился в расположение своих войск с чувством раздражения, в таком же настроении находился рядом с ним Н. А. Тучков, 3-й корпус которого называли «вечным спутником» 4-го пехотного корпуса, так как они вместе двигались одной колонной от самой границы.

Несмотря на скверные предчувствия, ни Остерман-Толстой, ни его сослуживцы еще не знали, что Могилев уже занят не войсками Багратиона, а корпусом маршала Даву, что уже завтра поздно будет идти к Орше, потому что к ней уже приближались войска маршала Груши. И еще не знал «храбрый и мужественный граф Остерман», что всего через день солдаты его корпуса будут, обливаясь кровью, стоять и умирать на месте, чтобы прикрыть войска 1-й Западной армии от главных сил Наполеона, внезапно настигших ее у Витебска.

12 июля всего в трех верстах от русского лагеря в Витебске и на дороге, ведущей в Оршу, были обнаружены

неприятельские разъезды, за которыми надвигался противник «в значащих силах». Почти одновременно прибыли к главнокомандующему все старшие начальники 1-й армии. Некоторые из них настаивали на том, чтобы, предупредив Багратиона, немедленно начать отход к Смоленску. Барклай после длительной паузы сказал: «11 июля я известил князя Багратиона, что следую в Оршу...» Генералы посмотрели на него с негодованием. Барклай продолжал: «Очевидно, 2-й армии придется пробиваться через Оршу к Витебску, где, ожидая ее прихода, я намерен дать сражение».

Навстречу наступающему неприятелю с целью выиграть время главнокомандующий направил корпус пехоты и несколько кавалерийских полков. А. П. Ермолов в своих «Записках» писал: «Надобен был генерал, который бы дождался сил неприятельских и те его не устрашили: таков был Остерман, и он пошел с 4-м корпусом». Пехотный корпус Остермана-Толстого насчитывал около 8 тысяч человек и был усилен Нежинским и Ингерманландским драгунскими, Сумским гусарским и лейб-гусарским полками с 6 конными орудиями.

13 июля на рассвете войска Остермана-Толстого двигались по дороге, ведущей к деревне Островно. Ингерманландские драгуны были высланы для наблюдения влево от дороги, остальные же полки кавалерии шли впереди пехоты, составляя авангард. Сам генерал ехал по обочине дороги во главе своего корпуса; впереди была 11-я пехотная дивизия генерал-майора Н. Н. Бахметева, а за ней следовала 23-я пехотная дивизия генерал-майора А. Н. Бахметева. Вокруг Остермана-Толстого гарцевала на дорогих и резвых конях его свита: старший адъютант майор Кексгольмского пехотного полка Жемчужников, адъютанты штабс-капитан лейб-гвардии Измайловского полка Аргамаков, кавалергардского полка поручик Валуев и лейб-гусарского полка корнет Пашков. Все они щеголяли красивыми мундирами, но на их фоне командир корпуса, несмотря на небрежно надетую фуражку и сюртук, выглядел как-то особенно значительно. В этот утренний час было жарко, солдаты шли не по форме, сняв галстуки и расстегнув мундиры. Многие из них крестились «для доброго начала» и переговаривались между собой. Всем нравилось, что в свите их генерала не было иностранцев, на которых в эту войну смотрели с подозрением. «Сам-то он русский, у него только фамилия немецкая», — говорили об Остермане нижние чины.

Тишина летнего утра и мирные беседы солдат были прерваны частыми пушечными выстрелами, показавшими, что авангард был уже в действии. Остерман со свитой полетел в направлении грохота орудий выяснять обстоятельства.

Около шести часов утра лейб-гусары столкнулись в 12 верстах от Витебска с французским пикетом. Они бросились на него, опрокинули и, азартно преследуя отступавших, встретились с многочисленным неприятелем, который частью порубил их, отняв 6 конных орудий. Остерман немедленно ввел в бой Нежинский драгунский и Сумской гусарский полки, чтобы удержать французов до прибытия пехоты 4-го корпуса, пущенной бегом.

На опушке леса у Островно располагались два кавалерийских корпуса и пехотный полк под общим командованием маршала Мюрата. Многочисленная неприятельская артиллерия уже вела сокрушительный огонь по появившимся русским войскам. Остерман разместил войска своего корпуса поперек большой дороги, ведущей к Витебску так, чтобы фланги их упирались с обеих сторон в леса. Последнее обстоятельство было немаловажным. Русский военачальник видел огромное численное превосходство французской кавалерии и недостаток пехоты и поэтому обоснованно полагал, что лес, препятствуя движению конницы, избавит его войска от угрозы обхода с флангов. 11-я и 23-я пехотные дивизии выстроились в две линии в колоннах побатальонно. Готовясь отражать атаки, пехотинцы, звеня шомполами, заряжали ружья, офицеры обнажили шпаги. По приказу А. И. Остермана-Толстого русская артиллерия, пройдя в интервалах между колоннами, расположилась в первой линии и, открыв беглый огонь, вступила в поединок с неприятельскими батареями.

Кавалерийские атаки Мюрата были яростными, он был уверен в скором подкреплении со стороны корпуса Е. Богарнэ, поэтому не жалел сил. Остерман-Толстой и русские воины не рассчитывали на скорое подкрепление, но они защищали Родину, поэтому отбивали неприятеля с удвоенной силой. Французская кавалерия врывалась в их ряды, рубя пехоту и артиллеристов у орудий, в воздухе с адским визгом разрывались гранаты, сея смерть. Но русские батальоны стояли на своих местах так, «как будто с нетерпением ожидали смерти». В то время как Елецкий и Перновский полки мужественно отбивали атаки французской конницы на левом фланге, Кексгольмский полк встречал их в штыки на правом. Дивизия французской пехоты, посланная Е. Богарнэ в помощь Мюрату, не смогла обойти позицию русских с флангов, а с фронта ее атаки также были отражены картечью и штыками.

В самые тяжелые минуты боя русские воины невольно обращали взгляды к своему командиру корпуса, который подвергался одинаковой с ними опасности. Вот ему доложили, что в некоторых батареях «много убитых канониров и поврежденных пушек. «Как прикажете действовать, Ваше Сиятельство?» Граф, нюхая табак, отвечал отрывисто: «Стреляйте из тех, какие остались». С другой стороны кто-то докладывал графу, что в пехоте много бьют ядрами людей, не прикажете ли отодвинуться? «Стоять и умирать», — отвечал граф решительно. Такое непоколебимое присутствие духа в начальнике в то время, как всех бьют вокруг него, было истинно по характеру русского, ожесточенного бедствиями Отечества. Смотря на него, все скрепились сердцем и разъехались по местам умирать», — писал артиллерийский офицер И. Радожицкий, раненный в сражении под Островно.

Глядя на то, как упорно русские «стояли и умирали» на своих местах, французам пришло в голову, что они имеют значительные подкрепления, скрытые за лесом, впереди которого выстроились войска Остермана. К вечеру натиск неприятеля ослабел, ночь прекратила сражение. Уставший, поредевший 4-й пехотный корпус был сменен на позиции 3-й пехотной дивизией П. П. Коновницына и 1-м кавалерийским корпусом Ф. П. Уварова. 10 часов бился у Островно отряд А. И. Остермана, выиграв сутки и предотвратив угрозу неожиданного появления противника перед лицом 1-й Западной армии. Друзья и соратники поздравляли генерала с успехом, кто-то сказал: «Это подвиг, достойный римлян!» В ответ Остерман спросил сердито: «Почему же не русских?»

Через сутки сделалось известно, что армия Багратиона не пробьется к Витебску, поэтому 1-я армия поспешила к Смоленску.

17 июля корпус А. И. Остермана-Толстого вступил в Поречье — первый старинный русский город на пути отступления русской армии. Остерман почувствовал, как дрогнуло его сердце при виде жителей, выбежавших из домов навстречу войскам, как будто они встретили самых близких и дорогих им людей и тут же «предлагавших свою собственность и жизнь для спасения Отечества».

Не желая оставаться под властью неприятеля, отныне тысячи людей, покинув свои разоренные и сожженные жилища, следовали за армией или прятались в леса с намерением мстить завоевателям.

22 июля в Смоленске произошло наконец долгожданное соединение обеих армий, с которым связывалось столько надежд на предстоящее сражение и которое должно было предотвратить продвижение неприятеля в сердце России. Как и все военачальники, Остерман воскрес духом, узнав, что на военном совете, собравшемся 25 июля, где присутствовали оба главнокомандующих — М. Б. Барклай-де-Толли и боготворимый в войсках П. И. Багратион, было принято решение о немедленном переходе к наступательным действиям. После оба главнокомандующих разъезжали по русскому лагерю, обмениваясь рукопожатиями на глазах ободренных солдат. П. И. Багратион вместо обычного сюртука был в полной парадной форме с Андреевской лентой через плечо, и, когда он приветливо оборачивался к Барклаю, многочисленные ордена звенели на его груди. Солдаты, до сих пор сухо приветствовавшие главнокомандующего 1-й армией, теперь, увидев его рядом с Багратионом, воодушевленно кричали «ура!».

М. Б. Барклай-де-Толли, впервые исполнявший обязанности главнокомандующего в столь неблагоприятных во всех отношениях условиях, находившийся в состоянии раздражения от постоянно испытываемого давления со стороны своих соратников, неминуемо должен был ошибаться, и он ошибался... Две недели своими приказаниями он изнурял армию, совершавшую долгие переходы в окрестностях Смоленска, пока не выяснилось, что Наполеон вышел в тыл русским.

С трудом подоспели русские армии к Смоленску и обороняли его трое суток. 5 августа, на второй день сражения, корпус А. И. Остермана-Толстого стоял на Пореченской дороге, ведущей в Смоленск, на правом берегу Днепра, напротив Петербургского предместья. Его не вводили в бой, так как войска Остермана понесли большие потери у Островно. Сам командир корпуса с застывшим лицом стоял в группе других генералов на возвышенном берегу Днепра, откуда как на ладони раскрывалась картина смоленского сражения. «Опламененные окрестности, густой разноцветный дым, багровые тучи, треск лопающихся бомб, гром пушек, кипящие перекаты ружейной стрельбы, стук барабанов, улицы, наполненные ранеными,

вопль старцев, стоны жен и детей, целый народ, упадающий на колени с воздетыми к небу руками, — вот зрелище, которое освещали догоравшие лучи солнца... Жители толпами бежали из огня, между тем как полки русские шли в огонь: одни спасали жизнь, другие несли ее на жертву». Остерман-Толстой чувствовал нервную дрожь: там, в городе, страдали те самые несчастные жители, которые две недели назад встречали их как своих спасителей и, чувствуя себя под их защитой, не успели вовремя покинуть свой кров. Он отворачивался от дороги, по которой мимо войск «шли старики с малолетними, матери с детьми», и избегал смотреть на Барклая-де-Толли.

Остерману вспоминались утомительные, бесплодные передвижения его корпуса в течение двух предыдущих недель, которые его солдаты окрестили «ошеломелыми», поскольку им трижды довелось проходить через деревню Шеломец. Он вспоминал, как в ходе этих передвижений оживление и бодрость войск сменились неуверенностью и недовольством, перешедшим в ярость против Барклая, когда стало известно, что Наполеон уже в тылу русских армий, обойдя их с юга, как и предупреждал Багратион.

В таком расположении духа обе армии явились 17 августа на очередную позицию у Царева Займища, «как вдруг электрически пробежало по армии известие о прибытии нового главнокомандующего князя Кутузова, — вспоминал офицер 4-го пехотного корпуса. — Все, кто мог, полетели навстречу почтенному вождю, принять от него надежду на спасение России».

М. И. Кутузов объезжал войска, вглядываясь в измученные, осунувшиеся лица солдат, офицеров и генералов, которые без слов, казалось, рассказывали ему про все свои тревоги, напасти, надежды и разочарования, которые они пережили, пока его не было с ними. И столько понимания было во взгляде его и таким знакомым и родным казался всем облик этого седого и грузного человека, что каждый воин ощущал себя блудным сыном, вернувшимся после скитаний к родному отцу.

По тому, как прояснялись солдатские лица, полководец растроганно почувствовал, как ждала его армия. Кутузов знал, что здесь были люди, относившиеся к нему по-разному: одни — с любовью и доверием, другие — с неприязнью и предубеждением. Его это не смущало. В жизни, как известно, случается всякое, а армия была его жизнью, поэтому он и приехал сюда в такой тяжелый час.

Увидев своего родственника, Михаил Илларионович, зная сдержанность Остермана в разговорах, поведал ему доверительно, как получил от царя свое высокое назначение. «Я не оробел, — говорил Кутузов, — и с помощью божию надеюсь успеть. Я был растроган новым назначением моим». По поводу же приближения неприятеля к Москве он сказал: «С потерею Москвы соединена потеря России». Поглядев единственным глазом на Остермана, вдруг добавил: «Но с потерею Смоленска ключ от Москвы взят».

22 августа, продвигаясь по Новой Смоленской дороге, ведущей к Москве, армия Кутузова стала располагаться на позиции у села Бородина в «12-ти верстах впереди Можайска». Едва на Бородинском поле начали возводить укрепления, как у каждого возникло предчувствие: «Здесь наконец остановимся!»

К вечеру 25 августа обе армии уже стояли одна против другой, готовые «отдаться на произвол сражения». По диспозиции 11-тысячный пехотный корпус А. И. Остермана-Толстого входил в войска правого крыла, которым командовал генерал от инфантерии М. А. Милорадович, недавно прибывший к армии. Корпус Остермана располагался вправо от Новой Смоленской дороги у деревни Горки, где во время сражения находился командный пункт Кутузова. Склонный к меланхолии, чуть рассеянный, скептичный Остерман, как правило, небрежно одетый, являл полную противоположность жизнерадостному, увлекающемуся, бравирующему избытком сил, щеголеватому Милорадовичу, с которым тем не менее с той поры их навсегда связала самая тесная дружба.

Оказавшись в обществе энергичного Милорадовича, он залезал вместе с ним на колокольню церкви в селе Бородине с тем, чтобы оттуда разглядеть расположение французской армии. Было заметно, как французы стягивали свои силы против левого крыла, составляемого армией Багратиона, и несомненным казалось, что главный удар противник нанесет именно там. «Не лучше ли было отправить мой корпус теперь же на левое крыло?» — думал Остерман.

Наслушавшись доводов Беннигсена, Барклая-де-Толли, Ермолова и других генералов, Остерман решил справиться о мнении своего родственника. «Не делаем ли мы тут ошибки?» — спросил он у Кутузова. Кутузов взглянул на Остермана так, что тот почувствовал себя вновь 14-летним прапорщиком. «Вот и Буонапарте, наверное, думает, не делаем ли мы тут ошибки?» — произнес полководец и не сказал больше ни слова. С наступлением сумерек Милорадович показал Остерману приказ главнокомандующего: «Если неприятель главными силами будет иметь движение на левый наш фланг, где армия князя Багратиона, и атакует, то 2-й и 4-й корпуса идут к левому флангу, составив резерв оной».

26 августа было еще совсем темно, когда Остерман, выехав на дорогу, увидел влево от нее на укрепленной под батарею возвышенности одинокую фигуру главнокомандующего без свиты. С высоты у деревни Горки сквозь утренний туман просматривалось почти все расположение армии, становившейся в ружье. Чем были заняты мысли старого полководца, Остерман не знал: то ли он в последний раз молился о ниспослании победы русскому воинству, или же пытался угадать, где тот участок позиции, то место, откуда начнется сражение?

Постепенно вокруг Кутузова собрались адъютанты, офицеры его штаба, генералы, в числе которых был и Остерман. В эту минуту появился и главнокомандующий 1-й армией и, молча кивнув всем, остановился со свитой поодаль.

Вдруг послышались частые ружейные выстрелы со стороны села Бородина, Барклай-де-Толли, пустив лошадь с места в галоп, бросился туда.

Тем временем артиллерийские залпы, набиравшие силу, гремели уже по всему полю, а над левым флангом русской позиции нависло густое облако порохового дыма. Когда же утренний туман рассеялся полностью, Кутузов и стоявшие рядом с ним генералы увидели, что Наполеон, сбив свои корпуса в гигантскую колонну, направлял их в пространство между Утицким лесом и Курганной высотой, где «уже стояли в кровопролитном бою войска Багратиона».

Около восьми часов утра, простившись с Остерманом, повел на левый фланг свой 2-й пехотный корпус генерал К. Ф. Багговут. Остерман-Толстой в нетерпении остался на Новой Смоленской дороге, ожидая своего часа. Около полудня стали поступать тревожные донесения, что князь Багратион тяжело ранен и в командование его войсками вступил командир 3-й пехотной дивизии генерал П. П. Коновницын, так как все остальные генералы к тому времени выбыли из строя. Коновницын доносил, что русские войска, оставив флеши, отошли за овраг у деревни Семеновское, на которую сейчас Наполеон на-

правил главный удар. Остерман видел, как Кутузов отправил туда принца Вюртембергского, потом вдруг, как будто спохватившись, начал что-то писать на листе бумаги. Адъютанту, увозившему письмо, он сказал: «Дохтурова туда скорее, голубчик».

Наконец из этого ада появился в очередной раз Барклай-де-Толли с поредевшей свитой, с лицом, обожженным порохом, и в мундире, забрызганном кровью. Он подъехал к Кутузову, потом к Милорадовичу, оба кивнули в ответ на его слова, и Остерман догадался, что речь идет о его 4-м пехотном корпусе. Милорадович и Остерман повели его к Курганной высоте, которую уже несколько часов оборонял 7-й пехотный корпус генерала Н. Н. Раевского. Войска Остермана расположились уступом левее 7-го пехотного корпуса, а на их левом фланге у деревни Семеновское сражались войска, которыми руководил Дохтуров. «В сей позиции, — писал в рапорте М. Б. Барклай-де-Толли, — сии войски стояли под перекрестным огнем неприятельской артиллерии...» «Этого неудобства нельзя было избежать, оттого что надлежало сделать преграду неприятельским успехам и удерживать остальные занимаемые нами места...» «Храбрые войски... под начальством генерала от инфантерии Милорадовича и генерал-лейтенанта Остермана выдержали сей страшный огонь с удивительным мужеством».

«Самое пылкое воображение не в состоянии представить сокрушительного действия происходившей здесь канонады. Гранаты лопались в воздухе и на земле, ядра гудели, сыпались со всех сторон, бороздили землю рикошетами, ломали в щепы и дребезги все, что встречали на своем полете, — писал военный историк А. И. Михайловский-Данилевский. — ...Чугун дробил, но не колебал груди русских, лично оживляемых присутствием Барклая-де-Толли, Милорадовича и графа Остермана. Наперерыв друг перед другом становились они на местах, где преимущественно пировала смерть». В это же самое время 18-й егерский полк 4-го пехотного корпуса отбивал у французов батарею Раевского, где фельдфебель этого полка Золотов пленил генерала Бонами.

Вблизи того места, где, подавая пример мужества, стоял перед рядами своих воинов Остерман, ударилось в землю ядро. Взрывной волной генерала сбросило с лошади, засыпав землей. Когда он очнулся, его несли на перевязочный пункт в Князьково. Здесь Остерман-Толстой, оглядевшись, увидел раненого А. П. Ермолова с перевязанной шеей, командиров обеих дивизий, входивших в его корпус, генерала А. Н. Бахметева, которому только что ядром оторвало ногу, и его брата генерала Н. Н. Бахметева, также получившего ранение, после чего Остерман, несмотря на последствия сильной контузии, решил возвратиться к своим войскам. Он прибыл к ним в то самое время, когда была взята батарея Раевского и полки неприятельской кавалерии обратились на многострадальную пехоту его корпуса, встретившую их штыками. Остатки его войск прикрыла подоспевшая русская конница и Милорадович, явившийся из резерва с артиллерийскими орудиями, огкрывшими беглый огонь. Представляя А. И. Остермана-Толстого к награждению, М. И. Кутузов писал: «...Остановил... стремление против его корпуса неприятеля и примером своим ободрял подчиненные ему войска, так что ни жестокий перекрестный огонь неприятельской артиллерии, ни нападения неприятельской конницы не могли их поколебать...»

До наступления темноты, прекратившей сражение, корпус А. И. Остермана-Толстого, лишившийся более трети своего состава, стоял на своем месте так, как будто бы врос в эту землю, покрытую телами лучших сынов России, которых она лишилась в этот день.

«Баталия, 26-го числа бывшая самая кровопролитнейшая из всех тех, которые в новейшие времена известны. Место баталии нами удержано совершенно, и неприятель ретировался тогда в ту позицию, в которую пришел нас атаковать. Но чрезвычайная потеря и с нашей стороны сделанная, особливо тем, что переранены самые нужные генералы, принудила меня отступить по Московской дороге», — говорилось в одном из донесений М. И. Кутузова. Но и в то время, когда писались эти строки, никто в армии не подозревал, что это движение к Можайску и далее было прологом к оставлению Москвы.

1 сентября 1812 года в деревне Фили, находившейся всего в четырех километрах от Москвы, они собрались под соломенной крышей избы крестьянина Фролова. Когда Остерман вошел в горницу, первое, что он с болью заметил, было то, как мало их уцелело после Бородинской битвы. Из генералов 2-й Западной армии до сих пор никто не явился. Остерман присел к столу и, не вступая ни с кем в беседу, стал прислушиваться, о чем говорили вполголоса другие. Впрочем, ему можно было не прислушиваться. Он хорошо знал всех присутствующих

и заранее мог угадать, кто как поведет себя на военном совете. М. И. Кутузов сидел в стороне молча. Было очевидно, что он уже принял решение, иначе бы он не созывал их сюда. Д. С. Дохтуров, не скрывая своих мыслей, говорил сидящему рядом П. П. Коновницыну: «При одной мысли об этом волосы становятся дыбом»; а Коновницын отвечал ему со всей своею искренностью: «Дмитрий Сергеевич, да об этом не может быть и речи». Бывший здесь же Ф. П. Уваров рассчитывал, что все решится без него, потому что и в прежние времена, стараясь убедить кого-либо в чем-либо, он начинал излагать свои доводы словами: «Это говорю вам не я, а люди, которые гораздо умнее меня». К. Ф. Толь разворачивал на столе карту, взглядывая на М. И. Кутузова. Самоуверенный и дерзкий с другими, по отношению к Кутузову он чувствовал, как и прежде, себя учеником шляхетского корпуса, где Кутузов был когда-то директором. Ермолов отлично сознавал, что все равно будет так, как уже решил главнокомандующий, и готовился подать свое мнение, исходя из интересов сохранения своей собственной воинской репутации, он по-прежнему делал вид, что считает себя «молодым человеком», не знающим, на что решиться. Главнокомандующий 1-й армии М. Б. Барклай-де-Толли, одиноко сидя под образами в углу горницы, страдал от всего разом: от нервной лихорадки, от того, что его прежде обзывали изменником, отстранили от поста военного министра, и от того, что в Бородинском сражении он так и не нашел смерти. Из личных благ он уже не дорожил ничем и собирался высказываться решительно.

Остерман разделил столько бед и опасностей с этими людьми, так привык к ним, что ему казалось естественным, что они собрались вместе, когда у них было так тяжело на душе. И лишь одного человека он не принимал сердцем, презирал и ненавидел — начальника Главного штаба барона Беннигсена, человека без отечества. Чего стоили все его военные дарования, если в его жизни не было главного, того, чем были наполнены жизни Остермана и его соратников, — преданности своей Родине. Остерман не особенно вслушивался в то, что говорил Беннигсен, его раздражал самодовольный вид генерала, который рассуждал о гибели русской армии и потере Москвы как о чем-то постороннем. «Есть ли у вас уверенность в том, что сражение будет нами выиграно?» — спросил он, зная, что утвердительного ответа на этот вопрос быть не может, но далее слышать витийство Беннигсена для него было невыносимо. Когда же спор генералов ушел в сторону от вопроса, оборонять ли им Москву *или сохранить армию, и они заговорили о том,* где лучше положить войско на позиции, избранной Беннигсеном или самим напав на неприятеля. Остерман задумался. Ему отчего-то вспомнился рассказ Кутузова о том, как перед штурмом Измаила Суворов собрал на военный совет генералов, положил перед ними на стол чистый лист бумаги и сказал: «Пусть каждый из вас, не спросясь никого, кроме бога и совести, подаст свое мнение». Больше всего на свете боялся Остерман, что его назовут трусом, отдавшим французам Москву. По словам А. П. Ермолова, он «несколько раз сходил с ума от этой мысли», но на военном совете Остерман-Толстой сказал то, что велела ему его совесть: «Москва не составляет России; наша цель не в защищении столицы, но всего Отечества, а для спасения его главный предмет есть сохранение армии». Совещание подходило к концу, когда приехал Н. Н. Раевский. Остермана интересовало, что скажет этот мужественный генерал. Раевский думал недолго: «Россия не в Москве, среди сынов она», — процитировал он стихи поэта Озерова. Кутузов, поднявшись со стула, произнес твердо: «Приказываю отступать».

Полководец с умыслом оставил Москву. Он знал, что древняя столица «всосет французскую армию как губка». Наполеон, приняв вступление в Москву за цель своего похода, упустил из виду главное — русскую армию, которая вышла из Москвы по Рязанской дороге, а затем, неожиданно свернув на Калужскую, расположилась 21 сентября лагерем у села Тарутина, угрожая с фланга войскам Наполеона и прикрывая от них южные плодородные губернии. Во время отступления русской армии корпус А. И. Остермана-Толстого находился в арьергарде.

Во время остановки армии в Красной Пахре Остерман *решил по обыкновению проверить, хорошо ли* накормлены его солдаты, не испытывают ли они в чем нужды и не пали ли духом от оставления Москвы. Подходя к расположению Елецкого пехотного полка, он услышал знакомый голос и остановился от неожиданности. Потом, желая проверить, не изменил ли ему слух, не обознался ли он, Остерман подошел ближе и увидел главнокомандующего 1-й армией М. Б. Барклая-де-Толли без свиты, в мундире без знаков отличия и орденов. Он видел перед

собой глубоко страдавшего человека и понимал причину его страданий.

Переходя от полка к полку, объясняя войскам причины их отступления, Барклай-де-Толли как будто стучался в сердца сослуживцев, доступные ему в прежние времена. Вскоре он оставил армию. Офицер, приехавший от него из Калуги, неожиданно привез Остерману письмо, в котором бывший главнокомандующий писал своему старому боевому соратнику о том, с какой болью в сердце покинул он русскую армию.

6 октября русские войска, одержав победу при Тарутине, дали понять Наполеону, что их сила и мощь восстановлена, после чего французский император предпочел более не задерживаться в Москве и кинулся на Калужскую дорогу, стремясь обеспечить свои войска продовольствием в южных губерниях, не тронутых войной. Но, «несмотря на все его тонкости, — говорится в журнале военных действий, — намерение его предупреждено». Следствием сражения за Малый Ярославец, бывшего 12 октября, явился отход неприятельской армии на Смоленскую дорогу, разоренную войной.

Во время преследования неприятеля 4-й пехотный корпус А. И. Остермана-Толстого находился в авангарде генерала М. А. Милорадовича, особенно отличившись при штурме города Вязьмы 22 октября. Когда же наполеоновская армия, не сумев удержаться в Смоленске, двинулась ускоренными маршами в сторону западной границы, А. И. Остерману-Толстому по приказу Кутузова был выделен в самостоятельную команду отряд в составе 4-го кавалерийского корпуса, частей 4-го пехотного корпуса и нескольких партизанских подразделений, которые, следуя параллельно отступлению противника, препятствовали ему свернуть со Смоленской дороги, разоренной войной. Остерман, наблюдавший за движением неприятеля, сообщал М. И. Кутузову о сосредоточении значительных сил у города Красного, где вскоре произошло большое сражение, длившееся три дня. Войска Остермана настигали отдельные отряды французов, стремившихся к городу. Дорого расплачивался неприятель, дерзнувший вступить с оружием в руках на русскую землю. «Пленные — изнуренные, обгорелые, в оборванных шинельках, под измятыми киверами, с подвязанными ушами и в безобразной обуви — являли нам плачевные остатки великой и некогда страшной армии завоевателя Европы», — вспоминал об этих днях И. Радожицкий.

В село Кобызево войскам Остермана был доставлен знаменитый приказ М. И. Кутузова: «После чрезвычайных успехов, одерживаемых нами ежедневно и повсюду над неприятелем, остается его только быстро преследовать; тогда... земля русская, которую мечтал он поработить, усеется костьми его... Идем вперед!.. Перед нами разбитый неприятель! Да будет за нами тишина и спокойствие!»

Конец Отечественной войны застал А. И. Остермана-Толстого в Вильно, где 10 декабря располагалась Главная квартира М. И. Кутузова. Переживания за судьбу Родины в первые месяцы войны, перенапряжение сил, последствия контузии и ранения под Красным почувствовались разом, как только отступили бедствия, грозившие Отечеству. Для излечения болезней Остерман покинул армию, в которой находился с первого до последнего дня Отечественной войны 1812 года.

Пройдя сквозь все испытания войны 1812 года, несокрушимые духом россияне верили, что «пожар Москвы рано или поздно осветит им путь к Парижу». Война отступала от границ России. Весной 1813 года русские войска сражались в Германии, освобождая ее от французского владычества. В марте 1813 года корпус П. Х. Витгенштейна освободил Берлин, и Остерман отправился туда, объявив супруге, что едет искать облегчения у немецких врачей, на самом же деле стремясь быть как можно ближе к армии.

16 апреля в Бунцлау умер Михаил Илларионович Кутузов. Не стало мудрого, опытного и мужественного вождя русской армии — и капризное счастье вновь улыбнулось французскому полководцу. В первом же после смерти Кутузова сражении при Люцене союзники потерпели поражение. «Я снова вернусь на Вислу», — твердил Наполеон своим приближенным. В этих обстоятельствах не было на свете недуга, который бы заставил Остермана оставаться в бездействии.

Он появился в армии 8 мая во время сражения под Бауценом и, не имея команды, отправился на поле битвы волонтером к своему любимому Павловскому гренадерскому полку. Полк в это время теснили французы, и сбитые с позиции русские воины поспешно отступали, как вдруг на их пути и так, что обойти его было невозможно, встал Остерман. «Ребята! Стыдно! Вперед!» — крикнул им генерал, и это их остановило. Павловцы вновь обратились на французов, а Остерман остался рас-

поряжаться в цепи стрелков, которые восторженно приветствовали его возвращение в строй. Здесь же он был тяжело ранен в плечо, но с поля боя его увезли лишь тогда, когда он начал сползать с седла от потери крови.

Едва оправившись от раны, он вновь возвратился к армии вопреки советам докторов. 14 августа А. И. Остерману-Толстому был поручен отряд, состоявший из гвардейской дивизии А. П. Ермолова и пехотного корпуса Е. Вюртембергского. В ночь с 15 на 16 августа Остерман получил известие о том, что союзные войска после неудачного для них сражения под Дрезденом двигались к Теплицу по труднопроходимой дороге среди Богемских гор, образующих узкий коридор. Там же находились оба монарха — Александр I и прусский король. С тыла союзные армии преследовали главные силы французов, в то время, как 40-тысячный корпус генерала Вандама шел им наперерез к Теплицкому шоссе, стремясь закрыть выход из горных теснин. Посовещавшись с соратниками А. П. Ермоловым и Е. Вюртембергским, Остерман решился со своим 19-тысячным отрядом заступить дорогу корпусу Вандама. «Счастье начальствовать гвардиею... оправдало смелость предприятия моего. С известными службою генералами, командующими гвардией, с усердием, все чины и солдат воспламеняющим, я уверен был, что достигну моей цели, и всякое затруднение вышло из предположений моих», — писал военачальник впоследствии.

17 августа произошло сражение под Кульмом. В тот час, когда русские войска, заменив свою малочисленность мужеством и искусством, отразили все атаки неприятеля и сам Остерман направлял в сокрушительную контратаку свой последний резерв, он внезапно ощутил резкую боль в плече, от которой все происходившее вокруг сразу померкло в его глазах. В левой руке он ощущал сплошную, разрывавшую сердце боль. Весь рукав и левая сторона мундира сразу же стали мокрыми от горячей крови. Когда его бережно снимали с лошади, он улыбался бледными губами, чтобы поддержать настроение радовавшихся победе солдат, и говорил им: «Вот как я заплатил за честь командовать гвардией. Я доволен».

Его положили на траву возле зеленого кустарника. От боли он терял сознание, от боли же приходил в себя. Сначала, очнувшись, он увидел над собой плачущего прусского короля и, проваливаясь в забытье, успел подумать, что союзные армии успели спуститься с гор. Потом, придя в себя, он услышал, как трое лекарей рядом с ним говорили по-латыни о том, как лучше отнять ему раздробленную руку. Самый молодой лекарь Кукловский обернулся к Остерману и заметил насмешку в его глазах. «Напрасно мы, господа, толкуем по-латыни, — сказал он коллегам, — граф ее лучше нашего знает». В ответ раздался глухой от боли, но твердый голос Остермана: «Ты молодец! На, режь ты, а не другой кто!» Операционным столом служил барабан. Рядом с палаткой, где производилась операция, по просьбе генерала гвардейские музыканты пели русские песни, чтобы кто-нибудь случайно не услышал его стона. Предосторожность эта была излишней: Остерман молчал. В его палатке стояли отбитые у неприятеля знамена. «По крайней мере, я умру непобежденным», — сказал генерал солдатам, принесшим эти трофеи.

Через полтора месяца он увиделся в Праге, спасенной его войсками от разорения, со своей супругой Елизаветой Алексеевной, которая следовала за мужем в этом походе, но тем не менее узнала о случившемся с ним несчастье лишь накануне свидания с ним. Проезд А. И. Остермана-Толстого из Теплица, где он лежал в госпитале, в Прагу, по словам писателя И. И. Лажечникова, «есть настоящее торжество героя! Жители, стремящиеся толпами видеть избавителя Богемии, покидают свои домы, оставляют работы свои, заграждают ему дорогу и теснятся около него с благоговением». В 1816 году он получил новый знак благодарности и признательности чешских жителей: это был серебряный кубок, «украшенный разными сея земли драгоценными каменьями» с надписью: «Храброму Остерману от чешских женщин в память о Кульме 17 августа 1813 года». На кубке Александр Иванович велел выгравировать имена офицеров, раненных и павших под Кульмом, а затем передал его в Преображенский полк, где начиналась его военная служба. В связи с этим событием он получил рескрипт от императора Александра I, в котором были такие слова: «...Не могу оставить без замечания, что вы, отдавая должную справедливость участвовавшим в сем знаменитом сражении воинам, забыли себя, тогда как вы в оном предводительствовали и потерянием руки своей купили победу. Обстоятельство, умолчанное вашею скромностью, но незабвенное Отечеством...» За битву при Кульме А. И. Остерман-Толстой был награжден орденом св. Георгия II степени и вскоре назначен генерал-адъютантом Александра I.

На этом боевой путь генерала закончился. В то время Остерману было всего 43 года, ему же казалось, будто бы прошла целая вечность с того дня, как он впервые явился на службу в Преображенский полк, и после того, как столько лет было им прожито, ему не приходило в голову, что жить ему осталось еще столько же.

Он сознавал, что лучшее из всего того, что осталось ему в этой жизни, было назначение шефом Павловского гренадерского полка. Именно с этим полком его связывали общие воспоминания о событиях войны 1806—1807 годов, ставших его «звездным часом». Нижним чинам, служившим в полку в те времена, он выплачивал из своих средств пенсию. Впрочем, его огромного состояния, которое он тратил на чужие нужды не задумываясь, хватало на всех. Деньги он щедро раздавал солдатам в дни полковых праздников, смотров, учений, лагерных объездов, в благодарность за службу. Известный в высших кругах петербургского общества надменным характером и крутым нравом, Остерман был самым близким человеком для офицеров Павловского полка, которые не стеснялись говорить ему о своих денежных затруднениях. А они были почти у каждого, так как полк был лишь недавно расквартирован в Петербурге, и его офицерский состав был в основном из мелкопоместного дворянства. Офицеры полка избегали дальних прогулок, опасаясь, что ткань их мундиров может выцвести на солнце или потерять вид во время дождя, а средств на пошив новых у них явно не хватало. Остерман всегда готов был помочь им своими деньгами, тех же, кто стеснялся их брать, он представлял к денежным награждениям за службу из казны. Офицеры полка, в свою очередь, платили Остерману привязанностью и благодарностью. Его адъютант полковник Свечин даже сочинял поэму, по-видимому, не имевшую конца, под названием «Александроида», которую «для вящего вдохновения писал... на саженной аспидной доске», посвящая ее своему шефу. Ежедневно утром к нему являлись с докладом дежурный по полку офицер, фельдфебель шефской роты и два ординарца, приводившие с собой всякий раз нового офицера, так как Остерману хотелось быть короче знакомым с офицерским обществом нового поколения. Всю жизнь занимавшийся самообразованием, «отличавшийся живостью ума, общительностью», Остерман с каждым мог найти общую тему для разговора.

В течение нескольких лет адъютантом А. И. Остермана-Толстого был И. И. Лажечников, ставший впоследствии известным русским писателем, чем он в некоторой степени был обязан своему начальнику. Нуждавшийся в деньгах И. И. Лажечников не имел необходимости снимать квартиру, так как жил в особняке Остермана, где приводил в порядок библиотеку генерала, составляя каталог на бывшие в ней книги. «Библиотека... заключала все произведения о военном деле, какие только мог найти ее владелец, почитавший создание военной библиотеки одним из главных дел своей жизни», — вспоминал впоследствии писатель. Здесь же были редкие книги, манускрипты и рукописи, которые генерал унаследовал от своего родственника сенатора Ф. А. Остермана, где находились и письменные материалы, относившиеся к эпохе Петра I, использованные И. И. Лажечниковым при написании романа «Последний Новик». Остерман-Толстой отдал своему адъютанту годовой билет в театр, где им была абонирована целая ложа. Лажечников вспоминал, как однажды генерал вошел к нему в библиотеку и «спросил... с видимым неудовольствием: «Кого это пускаешь ты в мои кресла?» Молодой писатель, встревоженный тем, что Остерман мог подумать, что он использовал его имя для укрепления светских связей, с жаром стал объяснять начальнику, что передавал билет литератору и журналисту, весьма ограниченному в денежных средствах. «Если так, — сказал граф, — можешь и впредь отдавать ему мои кресла». «Этот мужественный человек сочетал в себе рыцарство военного с оттенком рыцарства средневекового, что придавало его облику особую утонченность и благородство», — вспоминал И. И. Лажечников.

С высоты своего положения в обществе, чина и должности Остерман никогда не позволял себе оскорбить достоинство подчиненного. Однажды с докладом к нему явился офицер, начавший рапортовать по-французски. Остерман потребовал от него, чтобы тот изъяснялся по-русски. Повинуясь приказу, офицер заговорил, с трудом подбирая и коверкая слова, из чего сделалось ясно, что русского языка он почти не знал. Едва находя себе место, Остерман дождался конца доклада, и как только офицер смолк, генерал обратился к нему по-французски и просил оказать ему честь быть у него в ближайшую пятницу на музыкальном вечере.

Как генерал-адъютант императора А. И. Остерман-Толстой изредка бывал при дворе, присутствуя на це-

ремониях по торжественным случаям. «Как он, безрукий, красив был в своем генерал-адъютантском мундире, среди царедворцев!» — невольно восклицал современник.

Он появлялся, высокий, худощавый, с гордо поднятой головой, с вечной насмешкой в глазах и на языке и полупрезрительной улыбкой на тонких губах. Дух заискивания и чинопочитания был чужд характеру Александра Ивановича. С теми, кто готов был уронить свое достоинство в угоду влиятельным и сильным людям, он не церемонился. Однажды в его присутствии один из известных сановников витиевато принялся рассуждать о какой-то правительственной мере: «Если бы я имел честь заседать в Государственном совете, я бы позволил себе сказать...» — «Какую-нибудь глупость», — закончил за него фразу Остерман.

В дом к Остерману зачастил генерал П-ский, который часами мог говорить один за всех, никому не давая вставить слова. При этом он самодовольно поглаживал бороду, которая от природы была рыжая, но генерал П-ский, скрывая это, красил ее в черный цвет. Отвадить от дома надоедливого посетителя помог Остерману случай. К нему явился рыжебородый парень наниматься кучером. Остерман-Толстой сказал ему, что не любит рыжих, и посоветовал окрасить бороду в черный цвет, узнав секрет окраски у генерала П-ского. Ничего не подозревая, парень отправился по указанному адресу, передал поклон от графа Александра Ивановича и попросил рецепт окраски бороды. С тех пор генерал П-ский в доме Остермана не появлялся.

Зато в его особняке на Английской набережной продолжали часто собираться его соратники: М. А. Милорадович, В. Г. Костенецкий, А. П. Ермолов. Здесь бывала и военная молодежь, среди которой было немало декабристов: С. Г. Волконский, Д. И. Завалишин, Л. М. и В. М. Голицыны (последние трое — племянники генерала).

14 декабря 1825 года, подавив восстание декабристов, на престол в России вступил император Николай I. Независимый в суждениях, самостоятельный в поступках, твердый в понятиях о благородстве и чести, А. И. Остерман-Толстой вызывал отчуждение как у нового императора, так и у его приближенных.

19 декабря 1825 года А. И. Остерман-Толстой, исполняя обязанности генерал-адъютанта, дежурил во дворце. В конце дня его вызвал в кабинет Николай I и приказал

сдать шефство над Павловским гренадерским полком своему сыну, 7-летнему наследнику престола цесаревичу Александру Николаевичу. Царь потребовал, чтобы Остерман-Толстой сам объявил об этом Павловским гренадерам и представил им нового шефа. Глядя на Остермана, самодержец всероссийский пытался обнаружить хотя бы тень смятения на лице генерала, которого он только что разлучил с его любимым полком. А Остерман несколько мгновений смотрел в глаза императора, и взгляд его говорил: «Стоит ли быть помазанником божиим и иметь неограниченную власть, когда употребляешь ее на то, чтобы унизить достоинство подданных?» Вместе с наследником престола Остерман вышел в зал, где была выстроена шефская рота Павловского гренадерского полка. Он твердым голосом объявил, что покидает полк, и представил нового шефа. Пока генерал произносил эти слова, он успел обвести глазами строй солдат, и это было его прощание с ними. Павловские гренадеры напряженно смотрели на «своего графа», и когда он сказал все, что ему было велено новым императором, они долго и надсадно кричали «ура!», чтобы сдержать подступившие слезы. Сохраняя внешнее спокойствие, Остерман вышел из зала. Вернувшись домой, он впервые ощутил себя старым, ненужным и совершенно разбитым от боли в левом плече.

В 1828 году началась очередная война с Турцией. В Петербурге многие считали, что командование войсками, действующими против турок, будет поручено А. И. Остерману-Толстому. Сам же он просил, чтобы его направили в армию в любой должности в качестве волонтера, но получил отказ. И на этот раз строптивый генерал доказал, что остановить его при осуществлении принятого им решения невозможно. В 1831 году он предложил свои услуги египетскому правительству, и в качестве военного советника находился в армии полководца Ибрагима-паши, сражавшегося против Турции.

В марте 1830 года А. И. Остерман-Толстой обратился к Николаю I с просьбой разрешить ему навсегда покинуть Россию. Пожалуй, это была единственная просьба, в которой ему не было отказано. Остерман расставался с родиной с тоскою и болью в сердце, но ничто не могло его заставить переменить принятое решение.

Выехав за границу, он много путешествовал, чтобы хоть чем-то скрасить дни, наполненные разлукой с горячо любимым им Отечеством. Он жил в Германии, Италии,

Франции, Швейцарии. В 1831 году, путешествуя по странам Ближнего Востока: Египту, Сирии, Палестине, А. И. Остерман побывал и в Турции. В Константинополе он был представлен турецкому султану Махмуду. Тот заинтересовался тростью, на которую Остерман опирался при ходьбе с тех пор, как лишился руки. Набалдашник трости был искусно выточен в виде черепа. Султан Махмуд через переводчика спросил русского генерала: зачем он носит при себе такую мрачную эмблему? Остерман-Толстой взглянул на восточного деспота, который в борьбе за власть приказал предать смерти корпус янычар. И как знать, может быть, в эту минуту Остерману припомнилось самодовольное, полное показного величия лицо Николая I, жестокого и мелочного в преследовании за непочтительное отношение к трону? Вопреки восточному этикету Остерман ответил сурово и бесстрашно: «Хотя много голов отсечено по приказанию султана, но и его собственная голова неминуемо будет подобна изображению на моей трости, и, может быть, гораздо скорее, чем мы оба думаем». По-латыни он прибавил: «Сегодня тебе, завтра мне...»

В 1835 году А. И. Остерман-Толстой получил приглашения от прусского короля и австрийского императора присутствовать на торжествах по случаю открытия памятника в Кульме. Главного героя сражения при Кульме не мог обойти и Николай I, приславший Александру Ивановичу личное приглашение вместе со знаками ордена св. Андрея Первозванного. Остерман-Толстой не поехал в Богемию, а пакет от русского императора оставался нераспечатанным до самой его смерти.

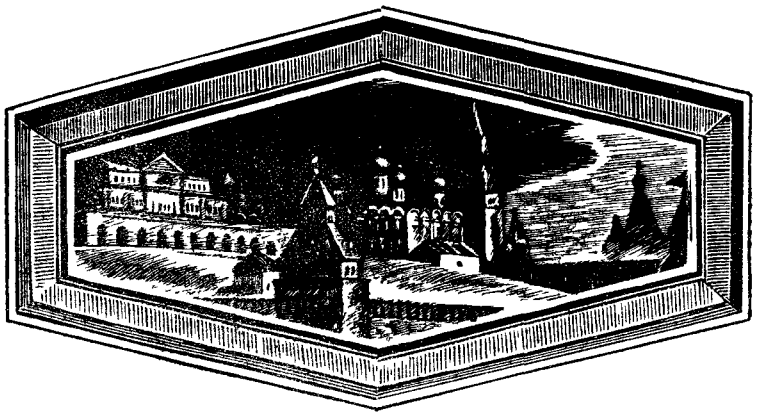
Единственным обстоятельством, скрашивающим жизнь опального генерала, доживавшего свой век за границей, было его в то время уже многочисленное семейство «с левой стороны от связи с итальянкой». Супружескую жизнь А. И. Остермана-Толстого нельзя было назвать удачной. «Графиня Остерман-Толстая отличалась ревностью и тем не давала покоя своему мужу. Впрочем, безрукий герой, чудак и большой оригинал, подавал к тому немало поводов, имея слабость к женщинам и считая себя неотразимым», — писал современник в 1816 году. Но, по-видимому, лишь в 1827 году у Елизаветы Алексеевны появились причины к серьезному опасению за их супружеский союз. В тот год в Италии была выпущена в свет гравюра, на которой был изображен А. И. Остерман-Толстой в окружении своих детей: двоих мальчиков 3—4 лет от роду и девочки, спящей в люльке. Надпись под изображением, очевидно, придумал сам Остерман. Она была сделана по-французски и гласила: «Мне представляется, что это последние счастливые мгновения. Ведь 55 лет — время готовить могильную ограду». Со своей гражданской супругой А. И. Остерман-Толстой, по-видимому, познакомился во время своего путешествия по Европе в 1822 году, когда он разъезжал по свету под именем полковника Иванова. Та, с кем в конце концов свела его судьба, не знала в то время ни его настоящего имени, ни положения в обществе, приняв его таким, каким он был на самом деле, что всегда было для Остермана немаловажным.

Предаваясь воспоминаниям о прошлом, А. И. Остерман-Толстой провел последние годы жизни в Женеве. Он почти не выходил из своего кабинета, где занимался чтением книг исключительно русских авторов. Поэзию Г. Р. Державина он называл своею библией.

14 февраля 1857 года в два часа пополудни в ворота скромного кладбища в Сакконэ — предместье Женевы — въехала траурная колесница с гробом, украшенным двумя лавровыми венками. Перед гробом шел священник русской церкви с двумя церковнослужителями. За гробом шли соотечественники умершего, его семья. Немногим друзьям, прибывшим на похороны Александра Ивановича Остермана-Толстого, невольно вспомнились слова, часто произносимые им в последние годы жизни: «Да, как человек и как солдат, видел я красные дни».

Лидия ИВЧЕНКО

Петр Петрович Коновницын



Хвала тебе, славян любовь,
Наш Коновницын смелый!

В. А. Жуковский

Император Александр I в ноябре 1806 года наконец-то подписал высочайший манифест о составлении временного земского войска. О документе этом говорили давно, на него возлагали надежды дворяне, не по своей воле отставленные от службы, которая, кроме верного куска хлеба, могла дать возможность как-то продвинуться, а главное — верою и правдою послужить Отечеству. Многие из них об этом мечтали, многие с готовностью откликнулись на призыв правительства. Не остался в стороне и опальный генерал-майор Петр Петрович Коновницын, будущий герой Отечественной войны, вот уже восемь лет находившийся не у дел и питавший семью скромными доходами с небольшого родового имения. Поручив себя судьбе, он не искал, как другие, покровителей, не заискивал перед сильными мира, не писал многочисленных прошении о зачислении на службу, а

смиренно жил в своей деревеньке и ни о чем таком и не помышлял.

Но судьбе было угодно распорядиться иначе. Не прошло и нескольких дней после обнародования манифеста, как Коновницын был избран петербургским дворянством в предводители губернского ополчения и представлен царю.

До последнего времени Россия после любой из своих многочисленных войн могла с выгодою для себя или без оной подписать не затрагивающий коренных интересов государства мирный договор. Но не таков был ныне намечавшийся противник, отнявший волю или трон уже у многих монархов. При дворе это прекрасно понимали. Император стоял перед необходимостью привлекать к службе отставленных своим отцом способных офицеров. И когда Коновницын в кратчайшие сроки набрал, сформировал, вооружил, обучил и отправил в действующую армию четыре хорошо подготовленных и храбро сражающихся против французов батальона народного ополчения, он был представлен к награде. «За неутомимые труды при сборе милиционных стрелков и формирование... подвижной милиции», — как писалось в высочайшем рескрипте на его имя, он был награжден орденом Анны 1-й степени.

Царю, лично неоднократно убеждавшемуся в непревзойденной оперативности и обширных познаниях Коновницына, понравилась распорядительность последнего. Коновницыну высочайше пожаловано три тысячи десятин земли и предложено вступить в действительную службу. Отказываться не приходилось, хотя незадолго перед этим он так сроднился с сельской жизнью и занятиями наукой, что о навсегда, казалось бы, закончившемся военном поприще не печалился, в душе его был мир. И вот — предложение государя. Он принял его с благодарной радостью.

Будучи зачисленным 25 ноября 1807 года в свиту императора, Коновницын с тех пор уже не снимал военного мундира. С этого же времени началось и удостаивавшее его до самой смерти особенное монаршее благоволение, коему во многом способствовала обширная для того времени образованность Коновницына, отмечаемая многими современниками. Похоже, не было такой отрасли знания, о какой он не смог бы составить основательного представления и понятия. Кроме того, за открытый, всегда готовый к самопожертвованию характер, обяза-

тельность, глубокую внутреннюю порядочность и скромность он пользовался всеобщим уважением тех, кто его мало-мальски знал. Не умея заискивать перед начальством, он в то же время умел с поставленными над собою держаться непринужденно и с достоинством, не переходившим, однако, ни в дерзость, ни в вызывающую надменность. Избегая всяческих интриг, он озабочен был только интересами Отечества, личной чести и чистоты нравственной, основанной на вековых правилах и обычаях отцов.

Петр Петрович Коновницын родился 28 сентября 1764 года в Слободско-Украинской (позже Харьковской) губернии. Предки его происходили из знатного дворянского рода Кобылиных. Родовое предание гласит, что прусский владетель Гланд Камбила, «устав в бранех и потерпев поражение от тевтонских меченосцев», со всем двором и родней перешел в 1241 году на службу к великому князю Александру Невскому... От сына его, получившего в крещении имя Андрея, в просторечии Кобылы, произошли многочисленные дворянские роды: Жеребцовых, Ладыженских, Боборыкиных, Коновницыных, Шереметевых, Романовых. Предки Коновницына служили «по Новгороду». Один был воеводою в Куконосе, трое стольниками у Петра I. Генерал-лейтенант Петр Петрович Коновницын, отец будущего героя, женатый на Анне Еремеевне Родзянко, был петербургским губернатором, военным генерал-губернатором Олонецким и Архангельским. На шестом году жизни он записал сына в Артиллерийский и Инженерный, впоследствии 2-й кадетский корпус, но воспитывал дома и дал ему прекрасное для того времени образование. На десятом году жизни он записал сына фурьером в лейб-гвардии Семеновский полк, а с января 1785 года, произведенный в подпрапорщики, начал он свою действительную службу.

Первые годы в армии прошли для него неприметно. В 1788—1790 годах он участвовал в боевых действиях *против шведов, где ничем не отличился, но имел* возможность убедиться в истинности своего воинского призвания. 1 января 1788 года он получил чин подпоручика, а ровно через год назначен был в полковые адъютанты. В июне 1791 года «выпущен в Семеновский полк премьер-майором». Мирная жизнь шумной блестящей столицы мало интересовала молодого гвардейского офицера, и он

стал настойчиво просить отца о содействии в переводе из гвардии в действующую против турок армию. Отец был принужден уступить настойчивым просьбам сына, и в 1791 году, благодаря личному знакомству с командовавшим этой армией Потемкиным, он перевел его в главный штаб молдавской армии. А через месяц освободилось место «генерал-адъютанта» от Черноморского флота, какое занимал капитан 2-го ранга, впоследствии честь и слава российского флота, адмирал Сенявин. Коновницыну дали чин подполковника, и он занял эту «ваканцию». Но тут умер Потемкин, и был заключен мир, не позволивший Коновницыну принять непосредственное участие в боевых действиях, зато присутствие в главном штабе вознаградило его возможностью при заключении мирного Ясского договора перезнакомиться со многими замечательными людьми того времени из числа генералов и дипломатов.

Через два года Коновницын во главе Старооскольского пехотного полка участвовал в кратковременном походе в Польшу. Именным указом Екатерины II за отличие при разоружении польского Ланцкоранского полка при Баре награжден был чином полковника. В 1794 году, в деле против «бунтующих польских войск», за мужественный отпор многочисленному неприятелю под мызою Хельм и за участие в победе при городе Слоним получил орден Георгия 4-й степени — высшая воинская награда России за доблесть, за что, как часто «говаривал впоследствии, почитал себя счастливейшим из смертных». В эту последнюю польскую кампанию он был замечен самим Суворовым, начальствовавшим над войсками.

В возрасте тридцати с небольшим лет, уже при Павле I, в сентябре 1797 года произведен был в генерал-майоры и назначен шефом Киевского гренадерского полка. Гренадеры в то время были отборными после гвардии войсками, и командование ими представлялось особо почетным Таким образом, в молодые годы Коновницын сделал карьеру самую блестящую, которая, правда, затем быстро оборвалась... Опала Коновницына, как и *других офицеров суворовской школы, была связана с сопро*тивлением новым порядкам, вводимым в армии. 12 марта 1798 года он был понижен в должности, будучи назначен шефом Углицкого, некоторое время носившего название Мушкатерского Коновницина полка, а со 2 ноября того же года был и вовсе отставлен от службы.

Начавшийся период в жизни Коновницына оказался, наверное, самым плодотворным для формирования личности одного из тех, «неусыпными трудами которых отечество было очищено и спасено». Зрелым человеком, тридцати пяти лет от роду, поселившись в своем родовом имении Киярово Гдовского уезда Петербургской губернии, Петр Петрович получает возможность остановиться и основательно обдумать свое житье.

Непритязательной архитектуры добротный двухэтажный дом в имении, сельская глушь, тишина — все располагало к неспешности. Здесь в совершенном уединении, вдали от суетной столицы, провел он восемь благодатных лет своей жизни, посвятив их серьезным размышлениям и «обогащению памяти своей познаниями, потому что он, как и все дворяне его времени, слишком рано вступил в службу, еще прежде окончания воспитания своего». Он выписывал литературу по самым различным областям знаний, особенное внимание уделяя военной науке. Кроме серьезного изучения военной истории, тактики и стратегии великих полководцев прошлого, по баталиям которых он чертил планы и записывал свои мысли, он также изучал и современные сражения.

Как и всех русских людей, внимательно следивших за событиями в мире, его не могла не беспокоить все возраставшая мощь Франции, одерживавшей победу за победой и захватившей уже половину Европы. Даже отсюда, из кияровской глуши, было видно, что дерзкий корсиканец, замахнувшийся на мировое господство, не оставит в покое и России. Государства стремительно вооружались, умножая свои силы, войны, их сотрясавшие, были дотоле неслыханными и несли народам ни с чем не сравнимые бедствия. Они требовали непомерных расходов на их ведение, и всему миру оставалось только удивляться, что у Наполеона, то есть у, казалось бы, растратившей все свои силы в многочисленных внешних и внутренних войнах Франции, есть деньги. Откуда черпались средства? Поборы с народа и контрибуции могли возместить только малую толику расходов на все разраставшиеся армии. Промышленная же буржуазия не могла дать ни луидора, поскольку все деньги у нее сосредоточены в средствах производства, а могущество французской аристократии было подорвано революцией. Кто же тогда располагал свободными капиталами? Ответ был ясен — банки. Должно быть, наступало такое время, когда накапливаемое веками банковское золото должно было быть

употреблено. Это был еще неведомый противник, наличие которого вселяло страх и неуверенность и в монархов, и в самых ничтожных их подданных, ибо привычные основы бытия и тех и других переставали быть таковыми.

После Аустерлицкого сражения Россия была втянута в новую войну с Францией. Рекрутские наборы уже не могли в достаточной мере удовлетворить растущие потребности армии в людских ресурсах, и император вынужден был издать манифест о создании ополчения, которое предоставляло отставленным офицерам не только службу, но и возможность личного противодействия той темной и невнятной силе, которая пока еще глухо, но уже явственно угрожала Отечеству. Этот-то манифест и извлек Коновницына из кияровской глуши.

Перед последней войной со Швецией за обладание Финляндией Петр Петрович командовал корпусом пехоты в Кронштадте. Во время приготовлений к войне император лично неоднократно удостоверялся в его «серьезных познаниях во всех областях военного управления» и 20 января 1808 года назначил дежурным генералом армии, которая под командованием генерала Буксгевдена должна была выбить шведов из захваченной ими Финляндии. Звание дежурного генерала, сосредоточивая в себе управление всеми армейскими службами, было тогда весьма ответственным, и Петр Петрович, будучи в полном смысле правой рукой главнокомандующего, вполне оправдал свое назначение. Войска, вступившие в Финляндию в начале февраля, невзирая на лютые холода, его заботами ни в чем не нуждались, «везде находя провиант, теплую одежду, снаряды, а больные отеческое призрение в спокойных госпиталях».

Пользуясь своими правами, он при любой возможности бросался в огонь, примерами личного бесстрашия и героизма воодушевляя солдат. Особенной его любовью при этом пользовалась артиллерия, на позиции которой он являлся не только днем, но и ночью, чтобы самому руководить установкой и огнем батарей. Так было при штурме крепости Свартгольма, и так же было при бомбардировке Свеаборга, этого северного Гибралтара, к сдаче которого приложил свою руку и Петр Петрович, участвовавший в переговорах. Получив доставленные Коновницыным ключи от Свартгольма и Свеаборга, Александр

наградил его чином генерал-лейтенанта и табакеркой, алмазами украшенной.

Невзирая на падение Свеаборга, шведы упорствовали в защите Финляндии. Для облегчения участи своих войск, они стали морем подбрасывать подкрепления. 7 июня шведский десант из четырех тысяч человек высадился при Лемо и двинулся к Або. Батальон Либавского полка с одним орудием ненадолго мог задержать шведов, и даже посланный ему на помощь с немногочисленным отрядом генерал Багговут не спасал положения. Коновницын употребил все возможное, чтобы срочно изыскать резервы. Сводный отряд бегом стекался на сборное место. Дав людям десять минут необходимого отдыха, он бросил их на помощь Багговуту, вот уже пять часов отбивавшемуся от превосходящих сил. Приведенная пехота решила дело: Невский батальон усилил стрелков, а Перновский ударил в штыки. Шведы дрогнули и побежали, преследуемые до самого берега.

Позже ему пришлось действовать на «стихии, дотоле ему незнакомой», на море. Когда стало известно о приближении к финскому берегу шведских галер, он оперативно организовал оборону. 22 июня на случай высадки десанта на мысе острова Рунсало поставил в засаде стрелков, а сам возглавил гребную флотилию, на удивление «искусно маневрируя ею, как на сухом пути». Два часа шведы безуспешно атаковали левое крыло русских, но были всегда отбиваемы хладнокровною пальбою с близкого расстояния. Тогда они двинули на Коновницына мощный кулак из двенадцати канонерских лодок. Одновременно, под прикрытием канонады, галера и несколько вражеских транспортных судов подошли к острову, намереваясь высадить десант, чтобы ударить русским в тыл, но артиллерийский огонь и сидевшие на мысу стрелки не допустили неприятеля. Тогда шведы усилили натиск на фланги и принудили их несколько отступить, в то время как по центру ударили шесть их галер и четыре канонерские лодки, намеревавшиеся прорвать линию русских судов. Коновницын и в этой критической ситуации не растерялся, решив напрячь все усилия на то, чтобы потопить флагманскую галеру и тем расстроить их ряды. Намерение его удалось, атакованная сразу пятью лодками, она была тут же подбита и на буксире выведена из-под огня. Та же участь постигла и другую галеру, были подбиты также несколько иолов и канонерских лодок.

Наступившая ночь не принесла русским облегчения,

шведы не прекращали огня, намереваясь прорваться за линию судов. Стреляя изо всех своих орудий, они вдруг «с ужасным криком пошли на нас». Но Коновницын не дрогнул. Он дерзко двинул вперед все свои суда, загремело встречное могучее «ура!», громыхнула русская артиллерия, осыпавшая неприятеля картечами, гребцы изо всех сил навалились на весла. Не ожидавшие подобной встречи шведы смешались, отступили и скрылись за острова. Коновницын преследовал их еще с версту. Он доносил: «Ни одно из наших одиннадцати судов не оставляло линии. Исправляя на месте, что было нужно, они снова открывали огонь». До конца жизни с особенной теплотой вспоминал Петр Петрович о своем единственном морском сражении.

В середине лета он был участником другого морского боя, действуя береговыми батареями по шведской флотилии. Когда шведы отступили, главнокомандующий беспечно расположился со своим штабом на заброшенной мызе на пустынном острове Кимито обедать. Внезапно появились скрытно высадившиеся на острове шведы, устремившиеся на мызу. Произошла общая тревога, если не паника. Коновницын поднял в ружье всех, кто мог держать оружие, ударил в штыки и опрокинул неприятеля. Шведы побежали на суда, причем поручик артиллерии «Глухов зажег брандскугелями и принудил сдаться одно неприятельское судно с девятью десятками человек на борту и шестью орудиями конной шведской артиллерии». Всего в этом бою Коновницыным было взято два судна, сто пятьдесят человек пленных и шесть орудий, за что пожалован ему был Георгиевский крест 3-й степени.

По окончании войны в 1809 году Коновницын был назначен командиром 3-й пехотной дивизии, а также шефом Черниговского мушкетерского полка. В продолжение двух предшествовавших 1812 году лет, по случаю разрыва с Англией, он охранял со своей дивизией и войсками, расположенными по берегам Балтийского моря, «все побережье от Полангена до Гаапсаля, включая Эзель и Дагo». Предупреждая возможности неприятельских высадок, он «неустанно заботился об устройстве вверенной ему дивизии и довел ее до истинного совершенства». Когда в начале 1812 года Александр I инспектировал 1-ю Западную армию, то 3-ю пехотную дивизию выделил изо всей армии. Ее начальнику была пожалована теперь уже вторая, украшенная алмазами табакерка с портретом царя, который удостоил награжденного завтракать у него в

Троках — редкое для того времени отличие, и каждого нижнего чина дивизии наделил пятью рублями. Похвалы императора командир счастливым счел для себя разделить с «господами полковыми командирами, как товарищами, коих ценить и уважать я истинно умею», — писал он в приказе по дивизии.

Первая встреча генерала Коновницына с неприятелем в Отечественную войну произошла 14 июля под Островно. Армия Барклая, выставив для прикрытия сильный арьергард к Островно под командованием Остермана-Толстого, поджидая у Витебска 2-ю Западную армию Багратиона. Отчаянно отбиваясь от превосходящих сил противника, Остерман понес большие потери, и на следующий день Коновницын со своей дивизией сменил изнуренные боем войска. Став при корчме Кукавячино в восьми верстах от Островно, Коновницын на высотах, поросших мелким лесом, устроил сильные батареи, а колонны пехоты поставил скрытно. Утром французы атаковали его аванпосты. Преследуемые кавалерией противника, они отошли на основную позицию, центром которой являлась разрезавшая ее дорога. По фронту перед нею был большой овраг, фланги с одной стороны были прикрыты Двиной, а с другой — густым лесом. Мюрат и вице-король итальянский объединенными силами атаковали левый фланг Коновницына, но атаки в непролазном лесу без поддержки кавалерии захлебнулись. Правый фланг также стойко держался и после двух отбитых атак сам ударил в штыки. Но контратака эта не имела успеха, поскольку к французам со свежими силами подоспел сам Наполеон, о чем Коновницын тут же узнал от пленных и от донесшегося из неприятельского лагеря восторженного крика французов, приветствовавших своего императора. «Честь сражаться с самим Наполеоном подвинула его на новые усилия», но силы были слишком неравны. «Что прикажете делать?» — спрашивали у него в надежде на приказ к отступлению. «Не пускать неприятеля!» — был неизменный ответ. Тут французы атаковали по всему фронту, намереваясь выбить русских из лесов, и ни отвага войск, ни храбрость и бесстрашие самого Коновницына не смогли удержать неприятеля. Воодушевленные присутствием самого императора, французы, которые еще практически не были в деле, шли напролом и даже захватили несколько русских орудий, которые тут же были отбиты штыками Черниговского полка. Имея позади себя узкий лесной проход, Коновницын предусмотрительно переправил через него часть артиллерии и только после этого отступил. Брошенные ему на подкрепление корпус Уварова и 1-я гренадерская дивизия под командованием Тучкова встретились уже по дороге. Командование принял старший по званию Николай Тучков.

Только вечером французы заняли лес, в котором еще некоторое время не умолкала пальба. Сбив с позиции Коновницына, «не приобрели они никаких трофеев, кроме поля сражения». К ночи войска отступили к Витебску, выполнив задачу удержать Наполеона сколько это возможно. На другой день выяснилось, что Багратион не сможет соединиться с первой армией и отступает к Смоленску. Барклай повел свою армию туда же.

Это сражение было одним из первых крупных дел русской армии с французами. Потери с обеих сторон были огромные. Только в одной 3-й пехотной дивизии недосчитались убитыми, ранеными и пропавшими без вести 1215 человек. Потери французов значительно превосходили наши. Как писал Петр Петрович: «Его колонны при батареях наших падали мертвыми». Сохранилось и письмо того времени, в котором он под свежим впечатлением рассказывает своей жене Анне Ивановне об этом сражении:

«Ну, мой друг, здравствуй! Я жыв и здоров... Я не посрамился перед всеми, был со стрелками впереди, имел противу себя два корпуса и самого Бонапарте, даже его самого видел, сходно с показаниями пленных на маленькой белой лошади без хвоста, от 8 часов утра до 5 часов пополудни с 4-ю полками и двумя баталионами сводными гренадерами, противу, смею сказать, 60 тысяч человек. Скажу тебе, мой друг, не посрамился, ни ты, ни дети мои за меня не покраснеют, будь, моя жисть, спокойна. Я был столь щастлив, что даже и не ранен. Хотя имею в кругу себя и убитыми, может быть, более тысячи... Помолись же за все Богу и нашей Богородице и уповай на него. Я целой день держал самого Бонапарте, который хотел обедать в Витебске, но не попал и на ночь, разве что на другой день. Наши дерутся, как львы. Но мы не соединены, Багратион, Платов и Витгенштейн от нас отрезаны.

Ради Бога, поспеши скорее в Петербург или в Горки. Войск от Опочки нет, дороги открыты, Рига осаждена. Мы идем к Москве. О сем никому не сказывай, а держи тайно. Мы в худом положении, авось Бог нас невидимо избавит. Ты не думай, я себя не посрамлю и охотно

умру за мое отечество. Детей и тебя Бог не оставит, а отечество мое может меня и вспомнит. Здесь все мне отдают справедливость.

Вообрази, мой друг, что две батареи у меня были уже взяты, но явился я с первыми рядами: все было переколото и пушки целы, когда мой один товарищ накануне потерял 6-ть... Совесть покойна, утешься, мой друг. О наградах не думаем, ето дело не наше. Петруше с одного генерала посылаю крест Лежион Дониора[1], а другой отдал Главнокомандующему. Двух они славных потеряли, а вообще урон их весьма велик. Я много набрал пленных... Не грусти, молись Богу, береги невинной залог, который носишь, милых детей благослови, перекрести, обними, прижми, себе скажи, что я тебе до последней минуты верный друг и преданный слуга.

Аминь, аминь, аминь, по твоему великодушию, слава тебе! Маменьке цалуй ручки и брату всеусердный поклон...»

Сражение под Островно было первым делом Коновницына с французами. Оно показало стойкость дивизии, на которую он возлагал столько надежд, пестуя боевое умение солдат и неоднократно повторяя им ставшие впоследствии крылатыми слова: «Каждый стрелок должен знать, что сколько пуль у него в суме, столько смертей несет он неприятелю!» Легко теперь было понять те радость и гордость, какие он испытывал за свою дивизию, да и за себя после сражения, впечатлениями о котором хотелось непременно поделиться с самым близким человеком, женой, Анной Ивановной, хорошо знавшей многих солдат и офицеров дивизии, особенно из числа Черниговского полка, где у нее был даже брат по крещению: «Черниговские отличились, отняли пушки, в том числе и твой крестной брат». Женился он на Анне Ивановне уже в зрелом возрасте и, судя по многочисленной переписке, оставшейся от двенадцатого года, горячо и преданно любил ее и детей: «...Не зделалось ли чего с тобою? Я более пуль страшусь о тебе, мой истинный друг и благодетельница, родная моя, ах, Аннушка, ты не поверишь, как я тебя и детей люблю и все мое блаженство в вас полагаю...»

За сражение под Островно впоследствии Петр Петрович получил алмазные знаки ордена Александра Невского 1-й степени.

[1] Орден Почетного легиона *(франц.)*.

Под Смоленском войска наконец соединились. Начался самый тяжелый этап войны. Здесь поколебалась уверенность корсиканского самозванца в своей непобедимости, как поколебался и миф о его гениальности. Если многие еще в это верили и, быть может, трепетали, то серьезно подумывали и о том случае, когда пятнадцать тысяч отборной конницы Мюрата, поддержанные корпусом Нея, не смогли разбить недавно сформированной дивизии генерала Д. П. Неверовского. Несмотря на несоразмерность сил и беспрерывные атаки, пехотные каре, защищаемое растущими по краям дороги деревьями, дошли до посланного им на помощь корпуса Раевского... Планы Наполеона обойти русскую армию с тыла и ударить на нее своей хваленой конницей были сорваны. Горсть русских целый день пятого августа удерживала в своих руках город от нападения всей французской армии, результатом чего были огромные потери с обеих сторон, но нападавшие, надо думать, потеряли в два раза больше. По документам, захваченным у французов, потери их простирались до четырнадцати тысяч. Наши потери исчислялись в шесть тысяч, но эти данные, как говорил сам Коновницын, несколько преуменьшены, в то время, как наши писатели потери неприятеля в тот день полагают в двадцать тысяч человек.

Город был оставлен. Наполеону, который, как принято считать, хотел закончить кампанию этого года Смоленском, ввиду таких потерь не оставалось ничего иного, как продолжать искать генерального сражения, победа в котором одна могла перекрыть огромные потери под крепостью, а заодно угрозой Москве вынудить Александра на подписание мира. Тогда вряд ли кому могло прийти в голову, что ничто, никакой мир, кроме полного поражения, не могло остановить его на этом, оказавшемся гибельным для него, пути. Смоленск, а затем Лубино только усугубили его решимость.

Защищая Смоленск, разрушаемый вражеской артиллерией, русские люди непреложно должны были задуматься о том, что же вызвало поход на Россию? Чем виноваты были эти дома, лавки, башни и храмы, эти ни в чем не повинные жители, помогавшие кто чем может воинам, заведенным так далеко от границы Отечества несметной вражьей силой? Утверждение того, что войны Наполеона затеивались для слома экономической мощи

Англии, его первейшего врага, и что поэтому-де и вторглись в пределы Отечества полмиллиона иноземцев, было и позднее для русского слуха «сказкой», выдуманной писателями, не говоря уже о том грозном времени. Русскому мужику, да и не мужику вовсе, вряд ли кто мог втолковать, что война началась из-за того, что Россия не выполнила навязанных ей требований континентальной блокады английских товаров. Так ли это было на самом деле и блокада ли Англии послужила истинной причиной вторжения?

В Варшаве, перед самым своим нашествием, Бонапарт сказал французскому дипломату Прадту: «Через пять лет я буду господином мира: остается одна Россия, но я раздавлю ее!» Эта фраза может многое объяснить. Мечты о мировом господстве уживаются в ней рядом с существованием Англии, которая, похоже, была не таким уж и «первейшим врагом», как о том говорили. Может быть, каким-то определенным силам, преследующим свои цели, было удобным много лет подряд держать в страхе Англию, пугая ее вторжением со стороны Франции, в то же время мобилизуя последнюю на новые и новые завоевания, чтобы таким образом завершить революцию возведением на престол своего человека? Не поэтому ли адмирал Нельсон «прозевал»-таки в тумане направлявшегося с экспедиционным корпусом в Египет Бонапарта, и не потому ли, потопив французскую эскадру при Трафальгаре, он и посмертно не получил тех почестей, на которые рассчитывал, хотя в полном смысле избавил Англию от вторжения? Ведь только в 1867 году, уже после того, как российский император добавил своих денег на сооружение памятника национальному герою Англии, удалось закончить работы и открыть его!

Но, как бы там ни было, к тому времени, как Франция потеряла свой флот, она уже превратилась в монархию, «самовластительный злодей» Наполеон объявил себя императором, узурпировав власть, революция тем самым получила свое завершение и нужда в подстрекательстве к войне с Англией упала, стала не столь важной: распутная девка Франция породила достойное себе дитя — чудовище Наполеона и его империю — плоть от плоти тех сил, которые заворачивали делами и в другой своей вотчине — Англии. Предлог для завоеваний — экономическая борьба с последней — остался реалией лишь для непосвященных и утратил свой смысл. Являясь попрежнему политическими противниками, Англия и Франция с того времени вступили как бы в состояние нейтралитета. Стало быть, выдвигая претензии относительно экономической блокады, Наполеон лгал. Учитывая природу его появления на политической арене, можно твердо сказать, что цель его походов была не экономической. Это же заложено и в его словах, обращенных к Прадту, в их внутреннем противоречии: Россию он надеялся захватить в один прием, победив ее в генеральном сражении, в то время как, мечтая о мировом господстве, полагал, что добьется его только через пять лет. Только после того он надеялся (или мог осмелиться) «раздавить» Россию, уже «захваченную» им вместе с другими странами, но почему-то в известном только ему ряду остававшуюся «одной», то есть единственной, за что ее и надо было раздавить. Почему она оставалась одна, в каком смысле? Тут должно насторожить слово «раздавить», исходившее явно не из его лексикона. Даже в запальчивости он вряд ли стал бы швыряться им по той простой причине, что какой бы он ни был, большой или маленький «наполеон», но он был тем, кем назывался, поэтому всегдашняя его цель была победить, но не раздавить. Последнего желали явно другие. К тому времени из европейских государств только Россия, одна-единственная, не поддавалась проникновению в нее щупальцев гигантского банкирского спрута Ротшильдов, уже опутавших и закабаливших Европу, а с нею и Америку. Страна, тысячелетие стоявшая на своем, свойственном только ей укладе, на своих коренных нравственных основах и жившая своим натуральным хозяйством, не зависела от космополитического банковского капитала, и это-то и не устраивало, именно из-за этого ее нужно было ввергнуть в губительную для нее войну, чтобы, покорив, поставить ее хозяйство на буржуазный капиталистический лад, а древний уклад «раздавить», то есть уничтожить в народе национальное начало и привить ему космополитическое и безродное. Задача была не из простых, поскольку представители этого банкирского дома явно не пользовались доверием ни народа, ни российского правительства. В связи с этим и был организован международный заговор против России. В этом свете ясным представляется чуждость Англии интересам Наполеона, которому не было до нее никакого дела; в недрах ее еще издавна свил гнездо и пустил надежные корни банковский капитал. Первая страна, пошедшая по капиталистическому пути развития, могла ли она быть искренней союзницей России, даже

если бы не была связана тесными узами с банкирской Францией и тем самым с Наполеоном — безродным выскочкой, поднявшимся на вершины власти, но бывшим, вместе с тем, всего лишь исполнителем чужой воли? Увы, будучи плоть от плоти с Францией, она могла только вредить России теми или иными способами и по той же причине, по которой это делала Франция. Она всеми доступными мерами торопила Россию в военных действиях, а сама в то же время старательно тормозила с доставкой в Россию недостающих русской армии ружей, едва согласившись поставить тридцать тысяч штук, заломив за них тройную цену, и это тогда, когда Россия была один на один в схватке с почти всею Европой, истекала кровью и не имела в казне достаточных денег. Голландия, кредитами которой издавна пользовалась Россия, была оккупирована Наполеоном. Как всегда, выручил русский народ, пожертвовавший на ведение войны суммы, сходные с суммами, расходованными правительством.

Традиционный уклад жизни народа, его нравственность, духовность препятствовали проникновению новых отношений в Россию более, чем что-либо другое, поэтому его и нужно было сломить, а для этого врагу нужно было поразить Россию в самое ее сердце.

Сердцем страны, из которого произрастали корни духа народного, была Москва со своими старинными церквами, с росписями, с иконостасным богатством; со старинными библиотеками с манускриптами, летописями, книгами; со своей живописью и произведениями декоративного и прикладного искусства; со своими легендами, сказаниями, преданиями, молвой, духом; со своим материальным богатством; со своим старинным ансамблем, со своими названиями и признаками и со всем прочим, чего нельзя было измерить ни гирями, ни аршинами, ни золотниками, ни штуками, но что составляло и составляет душу и сердце всякого русского и что так до слез было и есть дорого ему, и не только ему, но и не так давно обрусевшему инородцу. Недаром Петр I в борьбе с боярской оппозицией, да и с народом, чтобы оторвать страну от традиций, перенес столицу в болото, в пустыню, на ровное голое место, в чухонию. Этот акт был свидетельством беспримерной проницательности царя, зревшего в самый корень проблемы. Как говорил историк Иван Егорович Забелин, занимавшийся историей Москвы, она втянула в себя все самое выдающееся, самое прекрасное, что создали разные края России в области культуры. Все народы России видели в ней свою святыню, символ своей Родины, свою матушку. И с тем большей легкостью пошли народы Европы на международный заговор против России, чем больше он отвечал интересам их буржуазии, а точнее — того самого ротшильдовского спрута, которого она олицетворяла и который был ее фактическим хозяином. Наполеону гораздо важнее и удобнее было бы взять Петербург и навязать на выгодных для себя условиях кабальный для России мир, но этим не достигалась бы тайная цель похода, вот почему он вопреки всякой логике, о которой говорило большинство писателей, не ограничился ни Витебском, ни Смоленском, а как бы вынужденно пошел дальше, на Москву, взятие которой не сулило ему никаких особенных выгод, но которую он должен был уничтожить, а Кремль взорвать, чтобы не осталось и памяти об утверждении русской государственности, символом которой и был Кремль, как не осталось бы и свидетеля бесчисленных поражений международного зла, пытавшегося «раздавить» Русь во все времена, проламывая ее рубежи то с Востока, то с Запада, то аварами, то печенегами, то монголами, то поляками, то шведами, а то французами с «двадцатью при них нациями». Проникая за его стены, все эти набродные толпы, сброд, или, как часто тогда говорили, «сволочь», неизменно убирались восвояси, если их не вышвыривали железной рукой народного гнева.

Хотя полностью взорвать Кремль ему не удалось благодаря стараниям неизвестных русских патриотов, потушивших фитили фугасов, черное дело свое он частично-таки сделал, где сокрушив российские святыни, а где надругавшись над ними, как это произошло с соборами Кремля, а где и в полном смысле подрезав корни национальной культуры, уничтожив в огне пожаров нашествия ее ценности, в частности, подлинник «Слова о полку Игореве». Тайная цель похода народов Европы на Россию не была достигнута. Сомнительные идеи, с которыми к нам обращен был Запад, не нашли достаточного отклика в сознании большинства русских людей. Но тогда, сразу после сожжения Москвы, врагам России показалось, что цели они достигли и поход, невзирая на полное свое поражение, оказался, по их мнению, победным, поскольку вместе с Москвой должно было многое сгореть из памяти народной. Наполеоны и всякие другие «граждане мира» об этом только и мечтают, полагая, что, вытравив из на-

рода живую память прошлого, они прекратят его существование как нации. Но они всегда забывали о том, что сокровенная память народа сокрыта совсем не в зданиях, которые можно разрушить, а в тысячелетней его истории...

Пожар Москвы был не последней бедой. Как писал в своей книге «Россия в 1839 году» маркиз Астольф де Кюстин: «...Перманентный заговор против России ведет свое начало от эпохи Наполеона... С той эпохи и зародились тайные общества, сильно возросшие после того, как русская армия побывала во Франции и участились сношения русских с Европою. Россия пожинает плоды глубоких политических замыслов противника, которого она как будто сокрушила». Речь здесь идет о масонских ложах. Маркиз де Кюстин ошибается, считая, что тайные общества появились в России во времена Наполеона. Они были в ней издавна и тянулись из неприметной маленькой Шотландии, которой, казалось бы, не по силам оказать заметное влияние на такого колосса, каким была Россия. И вместе с тем не будем забывать о том, что Шотландия — это все та же Англия, поглотившая в своем чреве массы гонимых с материка эмигрантов всех времен и народов. Масонство, как политическая сила, вышло на поверхность в начале XVIII века именно в Англии с появлением так называемых конституций Андерсена. Из Франции масоны пришли в Россию действительно несколько позже, проникнув в Петербург в начале девятнадцатого столетия, то есть в эпоху Наполеона. Франкмасонская ложа «Звезда Востока» объявилась на Руси, когда между Наполеоном и Павлом I установились дружественные отношения, остров Мальта был отдан России, ее император сделался великим магистром мальтийского ордена, а казаки Платова начали свой знаменитый рейд «в Индию». Тут-то и хлынули в Россию широким потоком комиссары «вольных каменщиков», вновь поступающим членам и правительству проповедовавшие и любовь к простому народу, и сострадание к нему, и необходимость его просвещения, в то время как на более высших этажах посвящения идеи эти трансформировались в идеи разрушения древнего уклада, о котором уже говорилось. Их разрушительная деятельность на время приутихла, когда между Россией и Францией наметился разрыв в отношениях, закончившийся войной 1805 и 1807 годов. После Тильзитского перемирия масоны опять обосновались вокруг французского посланника при русском дворе, общество окончательно офранцузилось, так что и говорить-то по-русски разучились. Война 1812 года, казалось бы, развеяла иллюзии некоторых западников, разговоры стали вестись только на русском, одежда выбиралась только русская, но... после того, как армия побывала в Париже, масоны наводнили Россию: почти каждый полк привез с собою из-за границы эту заразу, в свое время взрастившую Наполеона и поставившую его на самую высокую для язычника ступень посвящения. Над ним были уже только те, кто масонство «кормил», все те же Ротшильды...

Вот почему, невзирая на ужасные испытания, на которые Бонапарт обрек все народы Европы, он прослыл гением, о нем писались книги, картины многих художников мира отражали его деяния, а копии бюстов с характерной треуголкой стояли чуть ли не в каждом дворянском доме как Западной, так и Восточной Европы, включая и Россию, частным образом тоже желавшую воздать должное величию того, кто ее жег, грабил, губил, насильничал и ею же был ниспровергнут. На самом деле для всех для них он был только вождь, начальник, которому все они обязаны были, пускай не всегда сознательно, беспрекословно подчиняться по своим законам. Таковы превратности истории, когда в нее вмешиваются силы зла, способные, как видно из сказанного, все поставить с ног на голову: мрак назвать светом, а выскочку, безродного и безнравственного проходимца, без финансовых заправил ничего собою не представляющего, назвать гением и, главное, воспитать на этом губительном для нравственности взгляде поколения, представители которых всегда повторяли, ничего не понимая в главном, зады масонских трудов наполеоновских панегиристов.

К счастью, русская духовность не была разрушена и даже как-то затронута ни вторжением, ни его последствиями, чего не понял маркиз де Кюстин. Русские люди сразу распознали демоническую природу завоевателя, недаром же Петр Петрович Коновницын со всеми россиянами по мудрой народной простоте называл его врагом мира. Выражение это в те времена толковалось однозначно, и, что главное, в этом, видимо, не было неправды: Наполеон в какой-то степени именно так и воспринимался и был-таки истинным врагом мира!

Россия устояла, хотя «семя тли» и было посеяно. Мировое зло, посягнувшее на свет, который неизбежно, при любых обстоятельствах, несет миру Россия, было оста-

новлено не только на материальном, но и на духовном уровне, недоступном никакому проникновению. Кирасирами Андриановыми[1] полна российская история от древности до последних дней. Их героизм вряд ли понять расчетливому уму, как не понять и происходящего в нашей истории. Весь ее ход утверждает: каким бы испытаниям российскую землю ни подвергали, чем бы русский народ ни обольщали — глубинная, сокровенная, заповедная Россия почти не меняется и живет себе своей заповеданной жизнью, чему есть немало примеров. После трехсот лет владычества ордынцев они сгинули «яко обры», и клочка от Орды не осталось, а их самих перемолола и поглотила славянская кровь, в то время как Россия расцвела могущественнейшим централизованным государством со своей высокой духовной культурой. В нашествии Наполеона повторилась судьба всех захватчиков: необъятная империя его исчезла, растаяла как дым, Россия же опять вопреки всему возвысилась. Тотальное проникновение в нее растлевающего зла, основанного на несвойственном русскому народу чувстве личной наживы и вседозволенности, оказалось отодвинутым. Приходящее в ее пределы, оно, зло, всякий раз невидимым образом обращается ей во благо, поднимая национальное самосознание народа на небывалую высоту. И как тут не вспомнить с благодарностью великих русских писателей, будивших это самосознание и свято веривших в промыслительную роль России в мировой истории.

Когда французов остановили крепостные стены Смоленска, Наполеон приказал штурмовать Молоховские ворота, прикрываемые 3-й пехотной дивизией Коновницына. В распоряжении Даву было пять пехотных дивизий. Три из них и пошли на штурм густыми колоннами, пользуясь тем, что не могли поражаться фланговым огнем наших тяжелых орудий с того берега, где стояла армия Барклая. Их встретили выстрелами в упор установленные в воротах пушки и стрелки, которыми были унизаны зубцы старой крепости. Батареи неприятеля перенесли сюда весь свой огонь. Град снарядов осыпал воинов Коновницына, принявших весь удар на себя.

Защищали ворота с невероятной стойкостью. Только немногие из окружавших Коновницына в этот день уцелели и остались невредимы. Сам он, раненный в руку, даже не позволил сделать себе перевязки, чтобы ни на миг не ослаблять ряды своим отсутствием; обернув руку платком, он во весь день оставался в строю, носясь перед ними на своем белом коне и распоряжаясь всем ходом сражения, которое закончилось только ночью. Огонь был настолько силен, что несколько раз пришлось переменять поставленные в воротах четыре орудия с прислугой. Причем не только люди и лошади, но и пушки полностью выходили из строя. В самый критический момент, когда французы все же ворвались в ворота и «жестокая сеча» закипела внутри ограды, на помощь подоспел с 4-й дивизией принц Евгений Вюртембергский, подкрепивший частью своих полков Дохтурова, отбивавшегося от наседавших Понятовского и Нея, а с остальными вместе с Коновницыным ударил в штыки, и французы были выбиты из крепости. Отбились и на других участках. Несмотря на огромный перевес в силах, враги не смогли сломить упорство мужественных защитников. В семь часов вечера была их общая атака на крепость, но и она не принесла им успеха. Тогда артиллерия, усиленная сотней тяжелых орудий, обрушила весь свой удар на город, подвергая его полному разрушению.

Ночью с 5-го на 6-е русские войска оставили Смоленск. Арьергардом командовал Коновницын и вышел из города последним. Рано утром армия остановилась на позиции на правой стороне Днепра. Мост горел. От него загорелось предместье, стрелки, прикрывавшие берег, не находили себе места от огня, стали прятаться в садах, где жар испекал яблоки на деревьях, поэтому и там они не могли в достаточной мере уберечься от пожара. Этим воспользовались французы. Переправившись выше города вброд, они чуть ли не вплотную подобрались к нашим батареям. Барклай был вынужден снова обратиться к Коновницыну. На виду у всей армии Петр Петрович с первыми подвернувшимися войсками ударил с горы от кладбища в штыки. Многие французы пали на месте, а остальные были обращены в паническое бегство, сброшены в Днепр и почти все были утоплены в нем, причем в плен было взято 8 штаб-офицеров. Это было третье сражение с французами, в котором участвовал Петр Петрович. В ре-

[1] Увидев, что Багратион ранен, кирасир Андрианов, находившийся при Багратионе, подбежал к нему и со словами: «Ваше сиятельство, вас везут лечить, во мне уже вам нет надобности», — и в виду тысяч, пустился, как стрела, мгновенно врезался в ряды неприятелей и, поразив многих, пал мертвым.

зультате его русские стрелки целый день удерживали французов на той стороне реки.

На следующий день произошло сражение при Лубине, явившееся естественным продолжением Смоленской битвы. По наведенному выше города мосту, французы переправились через реку с намерением отрезать пути отступления русской армии, чтобы навязать ей генеральное сражение, так желаемое Наполеоном. Трехтысячный отряд Павла Тучкова, идя в авангарде, вышел у Лубина с проселочной дороги на Московскую столбовую и двинулся от перекрестка к Смоленску с намерением прикрыть армию со стороны города. Это было сделано необыкновенно кстати. Ему тут же повстречался корпус Нея. Завязалось сражение, ставшее в результате чуть ли не генеральным. В самый критический момент Коновницын со своей дивизией поддержал Тучкова, по своему обыкновению ударив в штыки, и восстановил прерванную было неприятелем линию. Французы бешено атаковали, но не продвинулись ни на шаг. У Заболотья он оттеснил неприятеля на всех пунктах, невзирая на жесточайший огонь, а на правом фланге отбросил французов на большое расстояние и удержал за собою место сражения. Особенно жарким было дело к вечеру, когда в лесных местах колонны должны были сойтись в рукопашную. Неприятель был опрокинут и назвал это сражение «aux boix des innocents» — битвой в девственных лесах.

Тем временем русская армия вышла к Московской дороге и в полном порядке отступила. В грамоте о награждении графским титулом об этом сражении сказано так: «7-го при Любовичах, где командовал многим числом войск и удержал место...» Награда за дела при Смоленске нашла его уже в Пруссии. Это был орден Владимира 2-й степени.

Русская армия с тяжелыми арьергардными боями отступала по столбовой Смоленской дороге. Вечером 16 августа, после оставления Вязьмы, Коновницын был назначен командовать арьергардом обеих армий, который усилили его дивизией и регулярной кавалерией. С рассветом неприятель занял город и крупными силами рвался раздавить арьергард. По малочисленности артиллерии Петру Петровичу пришлось перебросить часть войск под командованием барона Крейца со своего левого фланга к центру, предупредив Дорохова, которого тот прикрывал по Бельской дороге, чтобы он выставил свое боевое охранение.

Сражение шло до поздней ночи, но как французы ни рвались, конница Мюрата все же не смогла обойти центральный арьергард: левый фланг его был надежно прикрыт Крейцем, который отошел к Бельской дороге только глубокой ночью. Этот день показал, что Коновницын наилучшим образом справился с поставленной задачей. Умело управляя разного рода войсками, маневрируя всеми наличными средствами арьергарда, он давал возможность армии спокойно отступать. Все это напоминало арьергардные бои прославленного Багратиона у Шенграбена Недаром связь с армией Коновницын держал через него.

Многие авторы замечают, что, задержи русские на две, даже на одну неделю французов, то взяли бы те Москву или нет — неизвестно. Замечание не без смысла. В связи с ним внятнее представляется значение арьергардных боев Петра Петровича Коновницына, каждое арьергардное дело которого, по словам современников, по количеству участвовавших с обеих сторон войск и вооружений, равнялось генеральным битвам восемнадцатого столетия.

Арьергард твердо держал французов на почтительном расстоянии от армии, позволяя ей со всеми тяжестями, обозами, ранеными, отсталыми, беженцами и скотом беспрепятственно и в полном порядке двигаться к своей цели, как оказалось — Бородинской позиции. Разрывы между армией и арьергардом порой составляли до сорока верст, что ставило сам арьергард в величайшую опасность, которая могла последовать от нападения на него всей французской армии. В селениях не было ни души. «Бессмертный» Коновницын бодрствовал «с твердостью и успехом», удивлявшими самих французов. Немудрено, что было не до писем. Только одно коротенькое письмо сохранилось от того времени: «Я с 17-го числа командую двух армий авангардами, всякий день от утра и до ночи в деле, слава Богу и не ранен, только лошадь соловая, кою купил у доктора, ранена в ногу черепом от бомбы... Почты не ходят, что же нам, душа моя, делать, так сказать: да будет с нами милость Божия? А 4 дни ни одного письма не писал, ибо и вправду некогда. Детей милых благословляю, крещу, целую и тебя, моего истинного друга, коим тебе по смерть пребудет. П. К.».

Командуя арьергардом, генерал Коновницын в полной мере доказал, что может сделать «храбрость, соединенная с благоразумием». На ровных местах кавалерия выстраи-

валась в шахматном порядке, а там, где встречалась удобная позиция для орудий — высота, прикрытая реками, болотами или узкими проходами, то батареи ставили с таким расчетом, чтобы они могли действовать перекрестным огнем, а в удобных местах организовывали оборону в несколько эшелонов; в лесах делали засеки и пехотные засады.

Схватки были жесточайшие, поэтому недаром Петр Петрович в письме назвал арьергард авангардом, стоя ежедневно и ежечасно лицом к лицу с неприятелем, он не мог иначе представить свои действия, нежели чем авангардными. Твердо пообещав Кутузову не позволить перешагнуть через арьергард, «не проглотив его», Коновницын сдержал слово. До самого Бородина он был в беспрерывном огне, сдерживая упорные нападения всей кавалерии Мюрата. Иногда гремело с обеих сторон более ста орудий одновременно. Ни разу не удалось Мюрату оттеснить его прежде назначенного к отступлению времени, не было потеряно ни одной повозки, ни одной пушки. Он заботился не только о спокойном отходе армии, но и о том, чтобы окрестные жители успевали вывезти свои пожитки.

Внешне отступление наших последних войск представляло собою «величественное» и вместе с тем «трогательное» зрелище: арьергард двигался среди пожаров сел, хлебов, стогов сена, устроенных самими мужиками, среди этих самых мужиков и самого разного народа, стекавшегося из окрестностей на крестьянских подводах и господских экипажах, пешком и верхами. Изо всех сил старались не отставать раненые. «Духовенство с иконами и хоругвями, окруженное молящимся народом, с непокрытыми и поникшими головами, шло посреди полков Коновницына, стройных, но безмолвных и печальных». Могли ли воины и беженцы безучастно взирать при этом на оставляемые дома, поля, леса и храмы Отечества, на пожары, их объявшие? «Вера отцов была поругана, Россия казалась безсильною, — говорил современник. — И прекрасен был в то скорбное время Коновницын! Давая в течение дня отчаянный отпор Мюрату, по окончании боя являлся он ангелом-утешителем среди бесчисленного множества смольян и других беглецов, толпившихся вокруг его лагеря». Солдаты его делились с беглецами своей последней коркой, слыша при этом искреннюю благодарность из уст своего командира.

В рапорте Багратиону за 20 августа он докладывал:

«...с 7 часов утра неприятель с большим числом кавалерии и пехоты и с орудиями самого большого калибра преследовал ариергард. Несколько раз удерживали мы место и всегда были принуждены уступить оное... К вечеру он с 40-ка ескадронами атаковал мой правой фланг под протекциею двух батарей. В 9-м часу дело прекратилось...»

Тринадцать часов длился этот бой! Атаки следовали одна за другой. На расстоянии шестнадцати верст восемь раз меняли позицию, и все это без отдыха и без пищи. Под Гжатском нужно было последовательно проскочить лес город и мост через Гжать: все это были узкие места, понуждавшие вытягиваться в длинную колонну, движение при этом значительно замедлялось, арьергард основательно отставал от основных сил. Французы не замедлили воспользоваться нашими затруднениями и стремительно и настойчиво атаковали, но и в этом сложнейшем положении войска арьергарда остались себе верны, отбили все атаки и в полном порядке преодолели все препятствия. С отменной быстротою, неустрашимо и мужественно, под жесточайшим огнем противника саперы наши зажгли мост, «через что и остановили неприятеля, а ретировавшиеся наши войска довольно имели времени к выстраиванию».

С приближением к бородинской позиции боевые действия арьергарда уплотняются, поскольку неприятель подтягивает крупные силы, которые с марша может пускать в бой. Арьергардная война велась «неслыханным» для французов способом. Тактика ее отработалась в ходе арьергардных боев. Ночью войска отводились на заранее выбранную Коновницыным позицию. Центр ее, как правило, удерживала пехота, а фланги, если они не были достаточно прикрыты каким-либо естественным препятствием, защищала регулярная кавалерия с казаками. Французы с утра бросались в атаку на тот рубеж, который не могли взять вчера, и, не найдя там никого, конница Мюрата отрывалась от своих и стремительно пускалась в погоню, пока не нарывалась на картечный залп замаскированной на дороге конной артиллерии. Завязывалась жаркая схватка. Отбитые французы откатывались, поджидая подкреплений. Подходила самая мобильная часть их войск. Снова гремела конная артиллерия, половина которой тут же уходила назад, на выбранную позицию, где быстро окапывалась и маскировалась, улучшая естественные прикрытия. Затем, когда неприятель в очеред-

ной раз откатывался, снималась и другая часть артиллерии. Пока к французам подходили подкрепления, шло так драгоценное для нас время. Наконец завязывался ожесточенный бой. Передовые части арьергарда, по невозможности держаться, отходили ко второму эшелону, а то и к третьему, если был, пока не начинали отступать, преследуемые оторвавшейся от своих французской кавалерией, и так повторялось несколько раз, пока ближе к вечеру арьергард не останавливался накрепко, давая французам понять, что на сегодня все, отступления больше не будет. Наступала ночь и прерывала разгоревшееся сражение. Между тем армия наша, не теряя ни одной телеги, спокойно уходила.

21 августа главнокомандующий предписал Коновницыну удержаться при селе Полянинове хотя бы четыре часа. В рапорте Багратиону за этот день читаем: «Часть ариергарда с пехотою заняла позицию, хотя не довольно выгодную, при селе Полянинове, но будет держаться сколько можно. Другая часть отойдет за 3 или 4 версты и займет там другую позицию. Ежели с 1-й позиции буду сбит, перейду на вторую и стану там держаться до самой крайности...»

Жесточайшее сражение было также 23 августа у Гриднева, в пятнадцати верстах от Бородина. Вот что говорится об этом в рапорте Багратиону:

«Имею честь вашему сиятельству донести, что сего числа неприятель атаковал передовые посты ариергарда в 9 часов. Казаки, ведя перестрелку, приближались к своим резервам, и по мере их отступления сражение час от часу становилось жесточее. Неприятель в числе 60-ти ескадронов с 18-ю орудиями и двумя большими колоннами пехоты шел на центр; гораздо в превосходном числе обходил правой фланг. Не желая завязать серьезного дела, кавалерия наша, под прикрытием огня артиллерии, медленно отступала; неприятель два раза бросался в атаку, но был кавалериею остановлен. В продолжение самого сильного действия с фронта, когда артиллерия наша переходила с одной высоты на другую, вредила неприятелю, правой наш фланг был совсем обойден и казаки потеснены были к селению Гридневу. Тут располагалась пехота и высоты заняты были артиллериею. Огонь, которой остановил приближение неприятеля, наносил самый сильной вред колоннам. В продолжение сей канонады кавалерия наша отступала в порядке и вновь построена на высотах, тогда открылся огонь, жесточая,

с обеих сторон. Несмотря на все усилия неприятеля овладеть нашею позициею, он был остановлен с большим пожертвованием. К концу дела кавалерия наша заняла снова позицию у деревни Валуева. И артиллерия снова с удачею действовала так, что неприятель не смел идти далее... В продолжение 10-ти часов сражения мы уступили неприятелю не более 9 верст, останавливаясь в пяти позициях... Неприятель в самых больших силах стоит от меня в 2-х верстах...»

Конный корпус Уварова, который бросил на подкрепление арьергарда главнокомандующий, уже не мог круто изменить обстановку в нашу пользу, армии предельно сблизились, и сражение уже нельзя было отменить. 24 августа было последним днем арьергардных боев перед Бородинским сражением. В двух верстах от Бородина, там, где равнины прерываются низиной, в виду обеих армий, Изюмским гусарским полком под командованием Дорохова и казаками, были начисто изрублены три эскадрона его лучшей кавалерии и взят в плен адъютант Нея. Французы такого не стерпели и навалились всей конницей Мюрата. Коновницын отступил. Арьергард вынужденно вывел французов на наш левый фланг, прикрывавшийся Шевардинским редутом, который и был немедленно атакован французами и, невзирая на огромные потери, после трехкратного перехода из рук в руки был нами потерян. Это была прелюдия Бородинского сражения, закончившаяся не в нашу пользу. Еще до начала сражения мы лишились центрального узла обороны нашего левого фланга и отошли к деревне Семеновской, где со всей возможной скоростью возводились полевые укрепления — флеши, позже получившие название Багратионовых. Арьергард, слившись с армией, перестал существовать.

И вот Бородино! Пришло время «поставить груди». Сам Петр Петрович писал об этом дне так: «...26 весьма рано переведен с дивизией к Багратиону к деревне Семеновской, перед коею высоты, нами занимаемые, были неприятелем взяты. Я рассудил их взять. Моя дивизия за мною последовала, и я с нею очутился на высотах и занял прежние наши укрепления...»

Что же произошло? Багратион, видя, что против его армии намерены действовать собственно основные вражеские силы, потребовал от главнокомандующего подкреплений и своей волей перевел к себе дивизию Коновн-

ницына, бывшую в составе корпуса Тучкова, прикрывавшего Старую Смоленскую дорогу, и срочно употребил из резерва 2-ю гренадерскую дивизию. В это время французы, скопившись в огромном количестве на небольшом пространстве, отчаянно кинулись на батареи и во второй раз захватили их. Тут-то Петр Петрович и подоспел со своей дивизией. Все орудия наши снова были отбиты и в исправном состоянии, все поле между батареями и лесом, где враги скапливались перед атакой, было усеяно их трупами. Тогда французы сосредоточили против флешей четыреста орудий — больше двух третей всей своей артиллерии, густые колонны пехоты и конница бросились на укрепления. Видя невозможность остановить их огнем и трех сотен своих пушек, собранных к тому времени на нашем левом фланге, Багратион все колонны двинул в штыки. Произошла «небывалая» в истории рукопашная, в которой не смогли устоять французы, но тут был ранен Багратион. Он силился утаить свое ранение от войск, но сильное кровотечение выдало его. Изнемогая от раны, он передал командование Коновницыну и был увезен с поля боя.

Багратион, бесспорно, был для солдат самым любимым и самым авторитетным нашим военачальником, поэтому его потеря была невосполнима. И если бы до прибытия Дохтурова Коновницын не вступил бы в командование второй армией, то неизвестно, чем бы все кончилось. Невзирая на мужественную защиту флешей, ряды русских были так расстроены, что Коновницын вынужден был приказать отойти к деревне Семеновской и занять высоты, над нею господствовавшие, причем «с невероятной скоростью успел» устроить там сильные батареи и «тем остановить» дальнейшее наступление французов. Вот когда выручила его особенная любовь к артиллерии; уроки, полученные в Финляндии, когда самолично занимался установкой батарей и руководил их огнем, не пропали даром. Дохтуров, прибывший на место Багратиона, полностью одобрил его распоряжения.

Французы, видя наши перемещения, хотели этим воспользоваться и стремительным ударом мюратовской конницы отрезать Дохтурова от войск на Старой Смоленской дороге. Конные корпуса Нансути и Латур-Мобура, после основательной артиллерийской подготовки, вырвавшей немало людей из гвардейских полков, стоявших под шквальным огнем неподвижно, невзирая на губительный фронтальный огонь русских батарей, наносивших им самый ощутительный урон, стройно приближались к невидимой черте, с которой начиналась атака. Вот они уже рванулись вперед и понеслись во весь опор прямо на каре гвардейских Измайловского и Литовского полков. Гвардейцы, для которых эта атака была в общем-то передышкой, поскольку губительный обстрел прекращался, спокойно подпустили их и в упор дали залп. Конница, теряя раненых и убитых, понеслась вспять. Сменивших ее французских конных гренадер постигла та же участь. Третья атака Мюрата оказалась такой же безуспешной. Наступление Наполеона захлебнулось.

Во время этих атак Коновницын был в середине каре Измайловского полка и командовал действиями обоих полков. Среди рядов Литовского полка был и Дохтуров. Позже Петр Петрович писал: «...Я с Измайловским полком, устроя его в шахматные кареи, решился выждать всю неприятельскую кавалерию, которая в виде вихря на меня налетела. Не буду заниматься счетом шагов от кареев, в коих обложил неприятель мои кареи, но скажу, что он был так близок, что каждая, можно сказать, пуля наша валила своего всадника. Перекрестные огни боковых фасов произвели тысячи смертей, а остальному ужас... Измайловские гренадеры, не расстраивая строя, бросились на гигантов, окованных латами, и свергали сих странных всадников штыками... Неприятель, заняв высоты, перекрестными выстрелами уменьшил наши неподверженные (страху?) кареи, мог их бить, но не победить!»

Больше нападений не воспоследовало. Французы ограничились ни на минуту не прекращавшейся артиллерийской канонадой, на которую так же яростно отвечали наши батареи. От разгоревшейся с обеих сторон пушечной пальбы, до самого вечера вырывавшей из рядов свои жертвы, густо вибрировал насыщенный ревом многих сотен орудий продымленный воздух. Но битва пресытилась, шаги неприятеля преткнулись о мужество российского воинства.

Во время этой канонады, к которой, похоже, привыкли, потому что позже некоторые писали, что пальба начала стихать, стала «вялой», был опасно ранен командир 3-го пехотного корпуса Тучков 1-й, и Коновницын, «храбрость которого в сей день явилась в полном блеске», был отправлен на Старую Смоленскую дорогу заменить его. Награда за Бородино — золотая шпага, алмазами украшенная, с надписью «за храбрость». За арьергардные дела он позже получил Георгия 2-й степени.

Сражение так потрясло всех, что только назавтра понемногу стали приходить в себя. С биваков от Можайска Коновницын, после долгого перерыва, писал домой: «...Обо мне нимало не беспокойся, я жыв и здоров, а щастлив тем, что мог оказать услуги моему родному отечеству... Я десять дней дрался в авангарде и приобрел уважение обеих армий. Наконец вчерась было дело генерального сражения, день страшного суда, битва, коей, может быть, и примеру не было. Я жыв, чего же тебе больше, и спешу сим тебя порадовать... Я командую корпусом. Тучков ранен в грудь. Тучков Александр убит. Тучков Павел прежде взят в плен. У Ушакова оторвана нога. Дризен ранен. Рихтер тоже. Раненых и убитых много. Багратион ранен. А я ничуть, кроме сертука, который для странности посылаю...»

На самом деле Петр Петрович был контужен ядром дважды: в левую руку и в поясницу, причем настолько сильно, что вынужден был отказать в просьбе Кутузову снова принять под свое начало арьергард обеих армий, поэтому арьергард был поручен «известному опытностию» Милорадовичу. Одно из ядер пролетело так близко, что пополам разодрало сюртук, который он и послал домой «для странности».

В том же письме он далее пишет: «Дивизии моей почти нет, она служила более всех, я ее водил несколько раз на батареи. Едва ли тысячу человек сочтут. Множество добрых людей погибло. Но все враг еще не сокрушен, досталось ему вдвое, но все еще близ Москвы. Боже, помоги, избави Россию от врага мира!... Не хочу чинов, не хочу крестов, а единого истинного щастия быть в одном Квярове неразлучно с тобою. Семейное щастие ни с чем в свете не сравню. Вот чего за службу мою просить буду. Вот чем могу быть только вознагражден. Так, мой друг, сие вот одно мое желание... Я нередко командую и гвардиею, и конницею по 100 ескадронов, и во всем до сего часа Бог помогал. Помолись Заступнице нашей, отслужи молебен. Богоматерь Смоленскую я все при дивизии имею. Она меня спасет...»

Фили оказались трагической вехой на победном пути русских армий в Париж. На военном совете, куда были приглашены корпусные командиры, в большинстве своем высказавшиеся против оставления Москвы, был получен приказ главнокомандующего о сдаче столицы, о чем сразу

было послано сообщить Ростопчину. «От сего у нас волосы встали дыбом», — писал позже Петр Петрович.

Кто что говорил на этом совете — известно. Сам он категорически возражал против оставления Москвы, полагая ее сдачу бесчестьем для армии и России. Он вообще всегда возражал против всякого отступления, тут же никакие доводы главнокомандующего не могли его переубедить. «Уступление Москвы лежало у него сильно на сердце». Находя позицию перед Москвой непригодной, он предлагал идти вперед и ударить на неприятеля, где бы его ни встретили. Да, армия была полуразбита, но за нею была Москва. Россия была велика, как сказал через сто двадцать девять лет другой воин, а отступать было некуда. Примерно то же говорил и Коновницын, с которым согласились Остерман и Ермолов, но последний не преминул спросить: а известны ли нам дороги, по которым колонны должны двинуться на неприятеля? Там, где говорит благоразумие, честь страдает. Фельдмаршал единолично взял на себя ответственность за оставление древнего сосредоточия российских святынь. Было ли то мудростью, позже приписанной Кутузову, мы и до сих пор, пожалуй, не знаем, но Коновницын, если о том заходила речь, всегда говорил на сей предмет, что он умрет спокойно, потому что в отдаче Москвы не был виноват!

Мучительно было проходить через сдаваемый без боя город, командиры не смели ни на кого поднять глаза, и недаром: они словно чувствовали, что французы нашего времени не будут знать Бородина. Они знают о том, что в 1812 году была взята Москва и что «страшное место» было на Березине, а Бородина как бы не бывало и вовсе, а все потому, что сдали город без выстрела!

С четвертого сентября Коновницын был назначен дежурным генералом всех российских армий. Михайловский-Данилевский писал в дневниках по этому поводу следующее: «Генерал Коновницын в нашей армии являл собою модель храбрости и надежности, на которого можно всегда положиться... Этот человек, достойный уважения во всех отношениях, сделал больше, чем любой другой генерал для спасения России, и эта заслуга сейчас забыта. Но он навсегда сохранит в нашей истории имя, которое зависть не сможет вырвать из этой памяти. Я не буду говорить о его победах в Витебске и Смоленске, где

он один командовал армией, я не буду говорить о его подвигах, как блестящего генерала арьергарда, но я скажу только одно, что после того, как врагу сдали Москву, наша армия находилась в состоянии полной дезорганизации, когда все отчаивались в спасении родины. Князь Кутузов и все его генералы просили генерала Коновницына встать во главе генерального штаба армии. Он принял этот труднейший пост в Красной Пахре, и он исполнял его со всей возможной ревностью и энергией, и ему удалось сформировать из самой разбредшейся, самой дезорганизованной армии, первую армию мира, которая побивала Наполеона и всю Европу, объединившуюся против нас. Во всех последующих делах, которые произошли после, он был первым во главе наших колонн. Именно он командовал лично вечно памятными битвами при Тарутине и Малоярославце. Это подлинный русский, который умеет по-настоящему ценить доблесть и знает подлинную цену иностранцам. «Никогда, — говорит он, — я не дам иностранцу звания генерала. Давайте им денег, сколько хотите, но не давайте почестей, потому что это — наемники». Что касается меня, то я почитаю себя счастливым своим знакомством с ним. Люди, подобные ему, редки. И когда он умрет, я напишу на его могиле: «Sit ti bi terra levis»...[1] Коновницын только раз посоветовал отступить. Это было в Красной Пахре»[2].

Назначение Петра Петровича непременным образом было связано с противодействием иностранцам, к которым он так неблаговолил. Начальник штаба Кутузова барон Беннигсен интриговал против фельдмаршала, желая получить его место, как перед этим интриговал и против Барклая, имея ту же надежду, и, наверное, все-таки не без оснований, поскольку, по свидетельству декабриста Муравьева, его шарфом в свое время был задушен Павел I. Заговорщик этот принадлежал к чистым наемникам, поскольку в постоянное российское подданство не вступал. Немец всеми средствами стремился к власти, вмешиваясь во что только можно, поставив, например, под полное истребление войска Тучкова, оставленные Кутузовым в скрытом месте в резерве, о чем Кутузов, естественно, не узнал, так что Тучкову приписывалась чуть ли не измена, снятая с него ценою смерти. Что бы он ни делал, все бессовестно было направлено к тому,

[1] Земля тебе пухом *(лат.)*.
[2] Перевод с французского языка.

чтобы в случае победы максимально приписать успех себе, а в случае поражения все свалить на главнокомандующего. На должность он был поставлен самим императором, с которым вел личную переписку, поэтому отстранить его своей властью Кутузов не мог, но, чтобы выбить из-под него почву, решено было под благовидным предлогом дела начальника штаба перевалить на Коновницына. По крайней мере так считалось.

И тогда, и значительно позже молва приписала все несчастья французов едва ли не одной только хитрости фельдмаршала, который и заманивал их в глубь России, и Москву оставил чуть ли не для того, чтобы она «как губка» впитала в себя уже тогда дезорганизованную французскую армию, и войну партизанскую развязал, чуть ли не заранее спланировав ее, и «спячка» его в Тарутинском лагере тоже вроде бы была заранее задумана для усыпления бдительности французов — все это, надо полагать, «было придумано только к славе Кутузова», иначе, как говорили уже и тогда, это останется т е м н ы м, в особенности оно покроется непроницаемым мраком для потомства, которому частные случаи не будут известны и оно будет судить только по фактам.

Самым важным фактом для нас, потомков, является факт оставления Москвы. Мир не знал примеров ни до ни после, чтобы армия намеренно оставила столицу на разграбление и пошла неизвестно куда. Это потом стали находить доказательства того, что-де все было рассчитано заранее и в Калуге были сосредоточены армейские магазины. Некоторые в наше время, объясняя логически действия Кутузова, даже проводят параллели с тем, что в 1805 году из стратегических соображений он не прикрыл столицу Австрии, и таким образом французы взяли Вену, а в 1811 году, с трудом взяв, тут же взорвал, срыл с лица земли турецкую крепость Рущук — опять же по стратегическим соображениям — и ушел за Дунай, что султан даже решил, что побит не он, а Кутузов. Много всяких доводов имеет наша история по поводу оставления Москвы, равно как и по поводу флангового марша на Калужскую дорогу, идею поворота на которую каждый штабной приписывал себе, но при этом почему-то всегда замалчивался и замалчивается малоизвестный факт, который, надо полагать, сохранен был в свое время не в одном только свидетельстве генерала Левенштерна...

Известный участник войны барон В. И. Левенштерн, бывший адъютант Барклая, высказал в свое время сооб-

ражение, что знаменитый фланговый марш нашей армии с Рязанской дороги на Калужскую был не результатом заранее разработанного стратегического плана, а результатом случайного разговора на обеде, где высказалось опасение, что обоз с хлебом, следующий по Калужской дороге, попадет к неприятелю, к тому же на Рязанской дороге ничего не приготовлено и армия будет терпеть во всем нужду. При разговоре случайно присутствовал Коновницын, сразу доложивший свои соображения по этому поводу Кутузову, который понял опасность движения по Рязанской дороге и велел изменить первоначальную диспозицию, несомненно в соответствии с планом, предложенным Коновницыным. Когда полковник Хоментовский, расположившись в сарае, диктовал офицерам главного штаба диспозицию движения на следующий день тремя колоннами по разным примыкающим к Рязанской дорогам, совершенно неожиданно, поскольку было уже далеко за полночь, явился генерал Коновницын, который отменил сделанные диспозиции и приказал идти направо, через Подольск, Кутузово и Красную Пахру.

А дело, видимо, происходило так. После доклада Коновницына все вдруг опомнились; у фельдмаршала, да и у других, как бы прошел столбняк, связанный с оставлением Москвы и громадными ее пожарами, ввиду которых двигалась армия. Поняли вдруг, что решать на совете — это одно, а сдавать город — совсем другое. Не Рущук или Вену, а свою кровную столицу, огромный город, каждый житель которого вправе был спросить с каждого военного. Театр, каким в некоторой степени являлся главный штаб армии, где некоторые позволяли себе и полицедействовать, и что-нибудь изобразить, закончился. Если даже в пекле Бородина еще могла иметь место какая-нибудь театральность или парадность, то в испепеляющем пожаре Москвы сгорело все, как сгорели и иллюзии некоторых относительно себя как спасителей Отечества. Все сгорело в этом гигантском трехдневном пожаре! Преступниками они чувствовали себя! И даже тот, кто был равнодушен к сдаче города, кто думал до того только о своих делах и делишках или замышлял чего-то, то и тот не мог не опомниться и не страдать. Театр кончился, реальность взывала к совести, требовала оставить баловство и заняться делом. А кто был способен к этому из тех, кто только что сдал без боя город? Весь генералитет во главе с фельдмаршалом был угнетен чув-

ством вины, совесть каждого взывала к покаянию, поэтому и брели в ослеплении неудачи, пока не явился ответственный человек, не встряхнул, не заставил оглядеться. И вдруг дошло, вдруг поняли всю бессмысленность своего движения, поняли, насколько деморализованы оставлением столицы, как поняли и то, что нужно срочно что-то делать, чтобы спасти армию от окончательного разложения или разбежания, как ни назови, все будет верно. Оставление Москвы было, быть может, худшим поражением из тех, какие можно было потерпеть в сражениях самых неравных и кровопролитных. Именно этим дух армии и был сломлен. В такой панической ситуации и появилась потребность в твердом человеке в штабе, и таким человеком оказался Коновницын, один из всех сохранивший присутствие духа и ясность ума. Поэтому-то и просили его все. И только поэтому он, не терпевший штабной работы, сердцем понимая необходимость этой работы, невзирая на колоссальную ответственность, ложившуюся отныне на его плечи за всю армию, согласился повести за собою работу штаба в качестве дежурного генерала всех российских армий, но «со всею властию начальника штаба».

Лучшего кандидата, возможно, и не нашлось бы, хотя были, конечно, и другие не менее достойные генералы. Но, кроме того, что Кутузов знал его еще по Яссам, кроме того, что за плечами у него уже был опыт службы дежурным генералом в финляндской армии, как и был опыт по формированию и выучке войск, что как раз и предстояло, как был и богатейший опыт непрерывных сражений с французами, тактику которых он к тому времени довольно основательно изучил, кроме того, все современники отзывались о нем как нельзя лучше, а это многого стоило. Возьмем, например, такой отзыв: «Самоотвержение, всегда присутственное, равное величию самой борьбы за честь и целость отечества, и кротость нрава, истинно умилительностью украшенного». Всякое в то время бывало в штабе, много чего плелось и внутри его, поэтому нужен был человек честный предельно, убеждения которого и личные интересы не расходились бы с интересами армии, то есть Отечества. Таким человеком и был Коновницын, таким и оставался он во все время войны, недаром же воспитателем к великим князьям приставили именно его. Выбор Кутузова и штаба пал на Коновницына, не принадлежавшего ни к каким группировкам и партиям. Позже нашлось много доводов, на основании

которых, как уже говорилось, фельдмаршал преобразовал свой штаб, а пока же были реальные причины. Главной из них была та, что нужно было во что бы то ни стало из остатков «самой дезорганизованной армии мира», как сказал Данилевский, вновь сформировать боевую армию, способную противостоять все еще сильному врагу и разгромить его. Вот поэтому здесь, в Красной Пахре, Коновницын, единственный раз за всю кампанию, высказал свое твердое мнение: отступать! Барклай в это время предлагал ждать неприятеля в Красной Пахре, а Беннигсен как всегда противоположное всем, а в данном случае просто безрассудное — идти вперед на врага!

5-го числа армия перед рассветом «тронулась левым крылом 2-мя колоннами от Боровского перевоза к Подольску, через Жеребятово и Домодедово, по проселочной дороге, прикрытой справа речкою Пахрою». До 14 сентября Наполеон не знал, куда девалась русская армия — эта огромная масса людей и обозов. 15 сентября русские войска выступили к Тарутинскому лагерю. Чтобы не создавать впечатления поспешного бегства, шли не быстро. В деревне Моче стояли три дня, отдыхали. 20 сентября армия вступила в Тарутинский лагерь.

Кутузов занял избу о трех окнах в деревне Леташовке. Чтобы быть поближе к нему, Коновницын со своим штабом разместился рядом в курной избе со входом со двора и с двумя окнами на улицу. Справа от входа стояла койка, на которой он спал, слева огромная печь, на которой его канцелярии ежедневно готовился простой, но сытный обед. Сам Коновницын обедал всегда у Кутузова. По словам Щербинина, офицера канцелярии, часового у дверей штаба никогда не было, они и на ночь-то не запирались. Любой вестник проходил прямо в избу и без церемоний, если то была ночь, будил дежурного генерала всех российских армий, как от того «было приказано». Часов в пять утра слуга Коновницына затапливал печь. Курная изба наполнялась дымом, в котором, при открытой настежь двери, Коновницын в одном углу, а Щербинин в другом умудрялись даже спать. Но вот печь прогорала, на нее ставился вариться обед. Коновницын и Щербинин вставали. Приходили другие офицеры, и «начиналось производство бумаг», которое длилось до глубокой ночи...

16 сентября Кутузов приказом по армиям объединил две армии в одну под командованием Барклая-де-Толли

с начальником штаба Ермоловым, часть ее, под командованием Милорадовича, была отделена в арьергард. А еще через три дня был издан новый приказ, в котором были определены обязанности дежурного генерала: «Командуя по высочайшей воле всеми армиями, определяю по всей той части дежурным генералом генерал-лейтенанта Коновницына, которого отношения, по власти от меня делаемые, принимать повеления, как мои собственные».

Как видим, Петр Петрович фактически наделялся властью начальника штаба, становясь правой рукой главнокомандующего, и даже более того: Коновницын занимался и хозяйственным управлением армии, и оперативной работой штаба, практически заменив собою и несколькими приданными ему офицерами канцелярии большое количество людей, должных по штатному расписанию числиться по штабу.

Ко дню атаки на Мюрата стараниями Петра Петровича армия была сформирована, рекруты распределены по полкам, оружие исправлено, боеприпасы запасены, продовольствие собрано, обмундирование починено, укомплектовано и проч. Живой нерв армейской разведки, опутывая своей сетью занятую врагом территорию, проходил через главный штаб и замыкался в сознании его руководителя. Главным докладчиком по всем вопросам у Кутузова был Коновницын. Спал он по три часа в сутки, да и то в неопределенное время и через две недели так от своей должности устал, что, как свидетельствует тот же Щербинин, вскрывать пакеты поручил ему и будить себя велел только после того, как выяснится, что донесение важное. В единственном дошедшем до нас за этот период письме он писал: «...Я жыв, но замучен должностию, и если меня делами бумажными не уморят, то по крайней мере совсем мой разум и память обезсилят. Я иду охотно под ядры, пули и картечи, чтоб здесь не быть».

Между тем лагерь под Тарутином жил своей жизнью. Один казак доложил по начальству, что левый фланг французов совсем не охраняется и можно напасть на них врасплох. Наполеон в Москве ждал мира. Считалось, что он пребывал в спячке. Может быть, было именно так, а может быть, было и наоборот, и не спал вовсе, а неустанно трудился на почве осквернения, сам того не ведая, производил демоническую работу, ради которой и был

направлен теми, кто платил. Вместе с тем на поверхности своей дятельность его была вполне благовидна и невинна: с одной стороны, он учреждал городское управление и устраивал театр, а с другой — обеспечивал армию и население провиантом, «призирал» раненых, больных, сирот и другое. Об этом говорят документы его штаба. Наши документы свидетельствуют только о попрании всего святого, о количестве сожженных домов, стоимости награбленного имущества, счете человеческих и лошадиных трупов, «не считая, — как писалось в одном издании, — отправленных на *нашатырные заводы*». Приезд Лористона в Тарутинский лагерь свидетельствовал о том, что топтать им, видимо, было уже нечего, шальная же надежда на почетный мир испарилась бесследно. Оставалось испрашивать какой угодно. За этим и приехал наполеоновский генерал-адъютант.

Лористон, под тем предлогом, что пакет у него-де к самому Кутузову, отказался вести переговоры с начальником главного штаба при императоре — генерал-адъютантом Волконским. И Кутузову, как представляют нам это историки, забывающие, как принят был в первые дни войны в ставке Наполеона посланный Александром для замирения Балашов, ничего не оставалось делать, как одолжить эполеты у Коновницына, поскольку своих приличествующих случаю не было, и принять француза. Встреча происходила с глазу на глаз, что дало повод для кривотолков. Генералы толпились возле избы и в сенях, всерьез опасаясь, как бы не изменил главнокомандующий, но с этим все было благополучно. Поговорив с ним минут сорок, Кутузов отпустил Лористона с публичными уверениями, что все передаст императору, хотя передавать ничего не стал. Передали Волконский и Беннигсен. Император выговорил Кутузову свое неудовольствие за то, что вступил в переговоры, не имея на то полномочий и, более того, имея официальный запрет.

Но как бы там ни было, армия набирала силу, комплектовалась. Тула поставляла ей две тысячи ружей в неделю, Брянск — литье, Калуга — продовольствие, Дон — казаков, армия деятельно готовилась к будущим сражениям. Штабные тем временем враждовали между собою, разделившись на противоборствующие группировки, главной из которых была оппозиция Кутузову в лице Беннигсена, сэра Вильсона и, как ни странно, отчасти и Ермолова. Последний был начальником несуществующего штаба, поскольку после отъезда 22 сентября из армии

Барклая управление ею взял на себя Кутузов, имевший свой штаб. Ермолов, оказавшийся в двусмысленном положении, просился на другую должность, но Кутузов, вероятно надеясь в итоге заменить им «немца», не отпускал его, чего Ермолов, к сожалению, не понял и поневоле переметнулся в лагерь Беннигсена. Коновницын, отдавая распоряжения по 1-й Западной армии, к тому времени объединенной со второй, вынужден был обращаться к нему, как к начальнику штаба этой армии, а обиженный Ермолов, понятно, не очень рвался к штабной работе, ссылаясь на то, что его заставляют делать не свое дело. Кончилось скандалом.

А произошло вот что. Ознакомленный с диспозицией нападения на Мюрата, он не дождался, пока ее размножат, чтобы вручить и ему, и под предлогом, что его ждут на обед, уехал из Леташовки. Посланный затем адъютант не нашел Ермолова ни на его квартире, ни в штабе, ни по частям. Только к вечеру удалось выяснить, что генерал Кикин дает бал в помещичьем доме за три версты впереди наших аванпостов на нейтральной территории. Пакет с диспозицией вручили адъютанту Ермолова, а тот посчитал невозможным вскрыть его и был по-своему прав. Таким образом диспозиция не была доведена до войск, и каково же было удивление фельдмаршала, когда он, отправясь рано утром к месту сосредоточения колонн, ничего не нашел: солдаты спокойно, «в одних подштанниках», поили лошадей, варили кашу, ружья мирно стояли в козлах. Наступление было отменено.

Всем было ясно, что случившееся — не что иное, как козни Ермолова против Коновницына и его штаба, не говоря уже о самом Кутузове, который, разобравшись в происшедшем, велел передать Ермолову его, Кутузова, волю, чтобы тот оставил армию, чего не случилось, потому что Петр Петрович, зла не помнящий, «упросил» светлейшего простить своего недоброжелателя. Сражение, положившее начало нашему контрнаступлению, произошло на следующий день. Мнения о нем в литературе остались самые противоречивые. Петр Петрович считал, что мы могли бы взять весь корпус Мюрата во главе с ним самим, другие утверждали, что это была великая победа. Взяли 38 пушек и две тысячи пленных. Судить о том, почему не разбили наголову 35 тысяч французов, имея налицо армию в 120 тысяч человек, сложно. Кроме того, что Кутузов не хотел «будить дремавшего на *пепле Москвы Наполеона*», *что весьма справедливо, есть*

мнение, что к тому времени фельдмаршал уже имел невнятные сведения о возможном передвижении всей наполеоновской армии, поэтому-де, сражение под Тарутином не представляло для него главного интереса и даже было как бы вредно, потому что нужно было всю армию сосредоточить для отражения главного удара неприятелей, местонахождение которых еще не было известно.

Если бы не знать множества мнений противоположных, то можно было бы с легкостью согласиться с этим замечанием нашего современника и со спокойной душой оправдать действия Кутузова, «останавливавшего корпуса», которые должны были идти вперед, но поскольку нам известны и противные мнения, то взглянем на ситуацию как на сложившуюся объективную данность, одной из составных которой является то, что сражением командовал Беннигсен, «подкаченный» Кутузовым. Говорили, что если бы командовал кто другой, Барклай, Коновницын или Ермолов, то все закончилось бы полной гибелью корпуса Мюрата, а так сражение имело для нас «самые» ничтожные выгоды при безмерных потерях». Немец тут же донес царю, что Кутузов дряхлый, ни к чему не способный старик, и отправил донос с фельдъегерем, который вез на него, Беннигсена, представление Кутузова о награждении золотой шпагой с алмазами. Получив представление и донос, Александр первое удовлетворил, присовокупив еще сто тысяч рублей, а второй, как «честный человек», отправил Кутузову. Беннигсен был вынужден оставить армию. Сам Кутузов за Тарутино получил алмазные знаки, между тем как в день сражения Петр Петрович Коновницын говорил, что все это дело, то есть Тарутинское сражение, постыдно для русского оружия, что Мюрат должен был «истреблен быть», что, напротив того, ему дана возможность «отступить в порядке и с малою потерею и что никто не заслуживает за это дело награды...». Суть этой «кухни» состояла в том, что Александр, которому невыносимы были притязания мерзкого свидетеля его смятенной совести, главного заговорщика против его отца Беннигсена, при первом же удобном случае расправился с ним чужими руками, в данном случае руками Кутузова.

Как мог Наполеон в ста двадцати километрах от основных своих сил держать в виду усиливавшейся с каждым днем русской армии всего лишь 35 тысяч войска, по всем законам войны обреченного в случае нападения на полное, как сказал Коновницын, «истребление», остается только догадываться...

В день, когда сорвана была Ермоловым атака на Мюрата, Петр Петрович заболел жестокой лихорадкой. Это было официальное название его болезни, на самом же деле он был настолько оскорблен откровенным саботажем, что впал в нервную горячку. Он был между двух огней: Кутузовым и противоборствующим лагерем. Но надо было жить и работать дальше, поэтому, хотя Кутузов перед сражением просил его не ездить в боевые порядки, поскольку, задумав дать сражению нерешительный ход, не без основания опасался пускать в него энергичного Коновницына, благо и предлог был, он все же не послушал его, хотя и пообещал. Стоило Кутузову выехать из Леташовки, как он велел положить себя в коляску и поехал следом. Вечер был холодный, его трясло и знобило, но когда, изнемогавшего, его привезли в Тарутино, где он едва мог говорить, «сила душевная одолела телесный недуг». Петр Петрович воспрял и распоряжался войсками именем фельдмаршала.

Обыкновенно в сражениях он бывал в повседневной форме, в шерстяном колпаке на голове, с трубкой в зубах и «с ногайкою в руках». Только однажды он изменил своему обычаю, надев парадный генеральский мундир со всеми регалиями, но по-прежнему в колпаке, прикрытом шляпой. Это было под Бородином. Вот и теперь, на рассвете 6 октября, водрузив на голову традиционный шерстяной колпак, в сопровождении адъютантов и канцелярии, отправился он на своем белом боевом коне к колонне Орлова-Денисова, откуда намечался главный удар. Ждали выхода с другой стороны пехоты, вместе с которой должны были ударить на французов, но ее не было. Невзирая на то, что «войска Беннигсеновой команды» расположились ночью под самым носом у французов, они запутались. Поняв, в чем дело, Петр Петрович вместе с Толем кинулись отыскивать заблудившиеся колонны, причем Толь нагрубил Багговуту так, что тот, разгневавшись, во главе одной только дивизии пошел на французов и был убит одним из первых ядер. Наступление тут же захлебнулось, что и дало возможность французам отступить. Но еще до этого Орлов-Денисов, видя, что скоро совсем рассветет и эффект внезапности будет утрачен, не дождался пехоты и один начал атаку, и взял бы, как позже выяснилось, и самого Мюрата, если бы казаки не пустились ловить коней и брать пуш-

ки, которые французы впопыхах не успели вывезти за овраг.

Услыхав выстрелы, Петр Петрович «стрелою» рванулся на них и появился у Орлова как раз в ту минуту, когда французы, опомнившись, организовали ответную атаку кирасирами и карабинерами. Обнажив шпагу, Коновницын устремился в рубку вместе с казаками на латников и, несомненно, погиб бы, если бы один казак не спас его, сбив пикой богатырского роста кирасира, уже занесшего свой палаш на Коновницына. Казак был награжден за это солдатским крестом. Сам Коновницын был в деле, пока французы не побежали окончательно от Орлова-Денисова по всему фронту, и только после этого отправился в штаб доложить Кутузову об «успехах» нашей армии. По дороге на его свиту посыпались пули какого-то батальона. Полагая, что их приняли за французов, Петр Петрович послал Михайловского-Данилевского, офицера штаба, разобраться, но едва тот приблизился к батальону, как был ранен. Оказалось, что это отбившиеся от своих поляки. Прихватив в ближнем лесу первые попавшиеся войска, Петр Петрович повел их на поляков, и батальон, как любили тогда говорить, был истреблен.

После сражения русские воины воочию убедились в варварстве «просвещенных» европейцев, обвинявших в этом перед всем миром русских. До сих пор до армии доходили только слухи о их варварстве в Москве и окружающих селениях. Тут же все своими глазами увидели дела рук тех, кого приучили не снимать шапку ни в помещении, ни за обедом, ни даже перед самим своим императором. «Большие образа служили столами на бивуаках французских...» Негодование овладело сердцами русских солдат.

Вскоре после тарутинского дела партизаны донесли, что в селе Фоминском стоит дивизия Брусье и что если на нее напасть с определенными силами, то можно легко истребить. Решено было разведать, на предмет чего появились французы на Калужской дороге, и, если удастся, то истребить. Армия к тому времени была приведена в надлежащий порядок, поэтому Петр Петрович всеми путями старался отделаться от ненавистной ему штабной работы, с которой, как он считал, теперь могли справиться и без него. Он настаивал, чтобы в Фоминское

послали именно его, что и было решено положительно, как вдруг Кутузов стал уговаривать его остаться, поскольку без него тут не обойтись. Как Петр Петрович ни упрямился, а пришлось-таки покориться, вместо него был послан Дохтуров, которому было предначертано открыть новый этап в кампании, победный. Пути их в ту войну то и дело переплетались в одних и тех же сражениях. Так было в Смоленске, так было при Бородине, так же предстояло и сейчас: как бы неведомо для себя они должны были помериться полководческими талантами и бесстрашием. Дохтуров начал это еще одно трудное общее дело, которое должен был начать Коновницын, но последний продолжил, и так же славно, как и первый.

А произошло следующее. Отправившись разгромить одну дивизию французов, Дохтуров столкнулся со всей неприятельской армией, которая к тому времени, оставив Москву, уже втянулась в Боровск. Дохтуров, пожалуй, в первый раз в жизни оказался в столь затруднительном положении, что, ничего не предприняв, вынужден был отправить в главный штаб донесение и ждать оттуда распоряжений. Сил у него было совсем мало, но вместе с тем последовал категорический приказ срочно идти к Малоярославцу и держаться там до последней крайности. Утром 12 октября он с ходу выбил из города передовые части французской пехоты. Неприятель бросил ей на подкрепление целую свою дивизию и оттеснил егерей Дохтурова, который ввел в бой новые войска. Но и французы не дремали, пользуясь своим численным превосходством. Закипел неравный бой, но уже вся русская армия спешила на помощь Дохтурову.

В течение дня город много раз переходил из рук в руки, сражение, час от часу разгораясь, втягивало в себя все новые войска. Коновницын рвался в бой, но Кутузов упрямо держал его при себе. Наконец за пять верст до Малоярославца, когда цель армии по предупреждению французов на новой Калужской дороге была достигнута, армия, выдвинув боевое охранение, расположилась на привал. Вместе с тем Кутузов хотел во что бы то ни стало малыми силами удержать в своих руках Малоярославец. Ему ничего не оставалось делать, как отпустить в сражение Коновницына. «Петр Петрович, — сказал он ему торжественно, — ты знаешь, как я тебя берегу и прошу не кидаться в огонь, но теперь прошу: очисти город!» Взяв бывшую свою 3-ю пехотную дивизию, Петр Петрович повел ее на Малоярославец. Семь раз водил он

пехотные линии на штурм, выбивая из-за заборов городских садов неприятеля, и только к вечеру французы отошли.

Но и Кутузов почему-то отошел, будто сговорившись с Наполеоном, в одно и то же время. Город, за обладание которым только что дрались с таким ожесточением, оказался покинутым. Этот отход от города давал французам, если бы они им воспользовались, возможность пройти не разоренными войной местностями и через Медынь, Юхнов и Ельню выйти к Смоленску. Коновницын и Толь «громче всех его осуждали». Многие приписывали «сию пагубную меру личной боязни фельдмаршала», что, конечно, маловероятно. Скорее всего сражение за Малоярославец явилось для обеих армий пробой сил. Наполеон убедился, что наша армия окрепла, и это не оставило ему надежд пробиться на Калугу силой, как, с другой стороны, Кутузов, видимо, убедился, что большое дело затевать еще рано, поскольку «солдаты, среди коих много было рекрут, дрались дурно под Малоярославцем, одни офицеры жертвовали собой...». Поэтому, возможно, оба полководца отступили. Иное объяснение одновременного оставления города, за который пролито столько крови, действительно могло натолкнуть на мысль о том, что «будто сговорились...». Мысль эта была бы как невероятна, так и несносна для сознания, но, с другой стороны, предыдущее объяснение все же не проясняет неясности, вызванной этим внезапным «оставлением», поскольку дорога на Медынь была относительно свободна. Казаки Платова, затеявшие небольшое дело с конницей Понятовского, в расчет идти не могли. То же обстоятельство, что Коновницын и Толь, можно сказать, обязанные своим возвышением Кутузову, громче всех его осуждали, свидетельствует о том, что действия фельдмаршала были порой совсем непонятны даже ближайшим его соратникам. Не оттого ли изнемогал Петр Петрович от должности своей, тем более что, как честный человек, вынужден был многое видеть из того, на что другие могли закрывать глаза.

Но как бы там ни было, наступление всем давало силы и письма той поры раз от разу бодрее. «...спешу тебя обрадовать, мы уже более ста верст гоним неприятеля, который, не оглядываясь, бежит, завтра мы в Вязьме, и перережем ему дорогу, ...если Бог даст, скоро будем в Смоленске, где образ сам поставлю, и пойдем далее...». По письмам видно, что армия еще не вполне поверила,

что враг побежал, все еще ждали кровопролитных сражений, прорыва и прочего. Но вот он уже побежал, побежал, убыстряя ход до сорока верст в день. От Малоярославца Петр Петрович был вынужден заниматься обеспечением армии на марше всем необходимым, но вместе с тем неутомимо рвался в огонь. Подходя к Вязьме, Милорадович без разрешения фельдмаршала атаковал французов. Кутузову вместо диспозиции был прислан в конверте чистый лист бумаги. Если вспомним, что в письме Петр Петрович писал, что «завтре» будут в Вязьме и перережут французам дорогу, то станет ясным, что, минуя главнокомандующего, штаб руководил боевыми действиями авангарда, попутно подвигая Кутузова приступить к ним силами всей армии. Видя, что армию под Вязьму не заполучить, Петр Петрович частным порядком вытребовал себе разрешение отправиться в первые ряды. Рассердившийся Кутузов в сердцах выговорил ему: «Да отвяжись ты от меня и ступай, куда хочешь!» «Птицей полетел» Петр Петрович к Милорадовичу и опять распоряжался там именем фельдмаршала.

Принадлежа к людям, требовавшим от Кутузова активных действий, он, как и все наши лучшие генералы, делал это не из желания как-то выпятить себя, а исключительно из любви к Отечеству, остро переживая оскорбление и поругание оного «врагом мира», которого за все это должно было истребить. «Марш от Малоярославца до Днепра, — читаем у Щербинина, — представлял собою беспрерывное противодействие Кутузова Коновницыну и Толю». Оба хотели перекрыть Наполеону путь на Вязьму, главнокомандующий желал предоставить «отрезать» его свежим войскам адмирала Чичагова. «Нерешительное движение армии» свидетельствовало об этих колебаниях. В Полотняных Заводах старик, похоже, намеревался расположиться «на зимние квартиры», так что однажды Толь, придя в отчаяние, вбежал к Коновницыну и вскричал: «Петр Петрович, если мы фельдмаршала не подвинем, то мы зазимуем!» Подвинуть подвинули, но, как известно, дело это не принесло ожидаемого успеха, потому что было поздно. ...Основные силы французов прошли, наши не успели как следует сгруппироваться, и Наполеон ушел, хотя, правда, не просто ушел, а побежал самым паническим образом. Полагая, что наша армия сзади, французы растянулись по дороге на сутки пути и проходили как бы сквозь строй наших войск, подвергаясь нападениям то авангарда, то партизан, то каза-

ков. Петр Петрович в это время писал: «...мы день и ночь гоним неприятеля, берем пушки и знамены всякой день, и пленных пропасть. Неприятель с голоду помирает, не только ест лошадей, но видели, что людей жарят... Можно ручаться, что армия их совсем пропала... Чрез 3 дни проходим Смоленск, а через две недели не быть ли нам в Минске, где твои клавикорды отниму... любезная родина радуется, веселится нашим победам, благодаря Бога...»

Стремглав катилась «великая армия» на запад, усеивая Смоленскую дорогу награбленным в Москве добром, трупами, разбитыми повозками, мерзлыми лошадиными тушами. Надежда найти в Смоленске продовольствие и свежие войска не сбылась. Остатки французов, теперь уже совершенно деморализованные, покатились дальше, к Березине, куда подтягивались адмирал Чичагов и Витгенштейн. Под Красным тем временем французов ждал капкан: русские срезали путь и подошли туда раньше французов. Но тут вдруг заартачился против атаки Кутузов. Коновницын и Толь навалились на него со всею решимостью, и он вынужден был согласиться, но с условием, вызвавшим недоумение: если командовать здесь будет не Наполеон. Почему *это* так важно было для Кутузова, представляет загадку и по сей день. Вряд ли он трусил, опасаясь потери достигнутых успехов: враг бежал, и бежал необратимо. Всегдашняя его отговорка того времени, что за десять французов одного русского не даст, звучала неубедительно. Всем было ясно: если враг лезет в ловушку, ее надо захлопывать! Ему настойчиво доказывали, что, по сведениям партизан, гвардия Наполеона, а стало быть, и он сам, прошли через Ляды. Наконец старик согласился на атаку.

Было позднее утро. Часть корпуса Даву уже прошла Красное и опередила русских, поэтому «успех был не столь удовлетворителен». Привели пленного баварского капитана. Кутузов все еще сомневался, не сам ли Наполеон тут командует? Фельдмаршал говорил по-немецки, как образованный немец, поэтому допрос вел сам Немец не знал командовавшего своими войсками, но видел его в деле. Кутузов стал описывать приметы Наполеона. Когда пленный отзывался утвердительно, Кутузов, явно бледнея, обращался к стоявшим позади его: «C'est lui!»[1] Когда же капитан сказал: «Nain, er ise gross!»[2], то лицо его прояснилось и он, с полной наконец уверенностью сказал: «Non, cela n'est pas lui»[1]. Может быть, когда-либо сыщется ответ, почему фельдмаршал так беспокоился личным присутствием Наполеона, нам же это совсем неясно.

[1] Это король *(франц.)*
[2] Нет, он здоровый *(нем.)*.

На все попытки Коновницына выпроситься в сражение, он отвечал отказом, приводя всяческие доводы ненужности сражения вообще и его, Коновницына, присутствия в нем, в частности в таком примерно роде: «Ты видал, — не спеша говорил фельдмаршал, — когда осенью выставляют зимние рамы? Обыкновенно между рамами попадаются мухи. Пожужжав и повертясь немного, они околевают. То же будет и с французами: все они скоро издохнут!»

Представляя жалкое положение французов, зажатых между главной армией и войсками Витгенштейна и Чичагова, нельзя было не согласиться со старым фельдмаршалом. Да, они должны были погибнуть, и в этом выражалась высшая справедливость Промысла, но при этом хотелось бы не оставаться в стороне, пассивным наблюдателем, а соучаствовать в утверждении столпа истины, чтобы знать, что гибли они не только от холода, голода и страха, но и стараниями россиян. И какое при всем этом им было дело до Англии с ее невыносимым морским владычеством, усиления которого так не хотел старый Кутузов! Они желали участвовать в ниспровержении врага мира, и в этом выражалась для них высшая справедливость. И не беда, что при этом люди надеялись на чины, отличия, назначения и награды. Чем больше человек, выполняя высшее свое предназначение, рвется, так сказать, услужить Отечеству, тем на большие милости с его стороны смеет надеяться. И то и другое неразделимо. Именно на этом и зиждутся нравственные основы отношений между ними!

С другой же стороны, если бы французы во главе с самим Наполеоном все, как один, утопились бы в Березине, повскакав в нее навроде гадаринских библейских свиней, или на пути их возникла бы вдруг пропасть, которая бы их всех разом поглотила, русские, невзирая на то, что еще больше утвердились бы в своей правоте и промыслительности своего существования, наверное, не получили бы того удовлетворения, какое частично все-таки получили, гордый неприятель бежал, был поруган

[1] Нет, это не король *(франц.)*.

и потоптан. А. И. Антоновский, офицер из корпуса графа Витгенштейна, возвращавшийся после ранения в армию, писал в своих воспоминаниях: «Тут только уразумел я и понял слова, воспеваемые в нашей церкви, ибо как кто бы ни хотел, в необходимости должен топтать и попирать»: Вся дорога от Вильны до Ковно, по которой полчища их полгода назад дерзко шли от границы, была завалена горами трупов французов, по которым необходимо нужно было ехать, топтать и попирать их и по которым и проехала вся наша армия, во главе с государем проследовавшая в Польшу.

Пока же русские были за Смоленском, у Красного. Часу в пятом вечера стало известно о множестве трофеев: пленных, пушек, обозов и даже фургона самого Даву, в котором нашли жезл его, но не его самого. «Остатки Даву кое-как уплелись. Главная квартира заняла Красный. Милорадович был поставлен поперек дороги, лицом к Смоленску». Петр Петрович, снова «вырвав» разрешение идти в сражение, к сожалению, очевидно, не напомнил светлейшему князю смоленскому, что мухи, имеющие обыкновение, попав между рамами, околевать, имеют также обыкновение вместе с теплом оживать и жужжать дальше. Так же было и с французами. Они еще два года жужжали и собрали под ружье миллион человек, из которых состояла армия союзников. И может быть, именно потому, что под Красным фельдмаршал вернул Тормасова, должного с крупными силами обойти Красное, чтобы отрезать их и разбить наголову. Тут-то и померещилось ему, что в Красном сам Наполеон, тут-то и сказал он, что неприятели все погибнут, а если мы потеряем много людей, то с чем придем за границу? Позже говорили, что надо было помнить, что за границею, на которую указывал князь Кутузов, «была еще вся вооруженная против России и раболепно повиновавшаяся Наполеону Европа». Конечно, если предполагать выпустить его, то естественно было думать и обо всей вооруженной против России Европе...

Говорили, что Кутузов вообще не хотел продолжения войны за границей, затем вынужден был согласиться, но не хотел «неподготовленного» продолжения этой войны, полагая миссию России выполненной. Если это так, то непонятно, как он со своим опытом военным, дипломатическим и просто житейским хоть на минуту мог предположить, что Бонапарт не захочет получить реванш? Или, может быть, у него на этот счет были какие-то свои

соображения? Сия тайна ушла вместе со светлейшим в могилу.

В туманное утро, полагая, что впереди все чисто, арьергардный корпус Нея, только что взорвавшего при отступлении Смоленскую крепость, буквально напоролся на батареи Милорадовича, осыпавшие его густыми картечами. Опасаясь, что от такой близости французы могут захватить орудия, в штыковой удар пустили пехоту, которая оттеснила неприятельские колонны от пушек. Это было не сражение, а размеренное истребление французов орудийным огнем. Другого ничего не предпринималось; ожидая, что выбросят белый флаг, еще задолго до темноты прекратили пальбу, избегая напрасного пролития крови. При этом была отбита почти вся артиллерия Нея.

Ночью Ней у селенья Сырокоренья, в двенадцати верстах от Красного, набросав на тонкий лед жердей и соломы, воспользовавшись усилившимся на ночь морозом, втайне, с небольшим отрядом, переправился через Днепр и, преследуемый Платовым, потеряв всех людей, в Орше явился ночью перед кострами французскими. На вопрос, кто он, последовал красноречивый ответ «великана»: «Я арьергард великой армии». Остатки корпуса Нея сдались. Когда Бонапарту донесли о гибели арьергарда и о том, что Ней в плену, он сказал: «У меня в Париже в кладовых триста миллионов золотом, я их все отдам за Нея!» Кто из государей мог сказать, что у него в кладовых триста миллионов и что это были за кладовые?..

После Красного «кончился подвиг главной армии». Подвергшейся неимоверным трудам и лишениям, ей нужен был отдых. Она медленно передвигалась к берегам Березины, где Чичагов с Витгенштейном должны были добить остатки неприятелей. Но не добили. Французы на этом деле потеряли 19 тысяч и весь обоз. Однажды в Вильне, намекая на то, что мог быть взят сам Наполеон, Кутузов, поднимая тост за победителей, с искренним сожалением сказал: «Ах, не все сделано! Если бы не адмирал, то простой псковский дворянин сказал бы: «Европа, дыши свободно!» Тогда еще не сообразили, что Чичагов, даже не будучи введенным французами в заблуждение относительно места их переправы, едва ли смог бы выполнить возложенную на него задачу, поскольку под рукой у него было не сто, а всего двадцать пять тысяч человек, вынужденных действовать на сто верст

фронта по глубокому снегу. Конечно, Кутузову, как и всякому русскому человеку, хотелось, чтобы Наполеон был взят, и, хотя он сам именно к этому не стремился, что видно из всех его действий, по этому искренне вырвавшемуся возгласу сожаления можно судить о том, что он действительно был бы истинно рад, если бы Чичагов Бонапарта взял. Представляемые дипломатами тех времен в оправдание сдержанности в этом смысле Кутузова свидетельства крайнего неудобства для главнокомандующего взятия в плен императора, как коронованной особы, едва ли имеют под собой почву, являясь ловко измышленными доводами, поскольку был он не принц крови, хотя Александру и приходилось признавать его государем и обращаться к нему не иначе как «Государь, брат мой...». Может быть, Кутузову что-то мешало принять энергичные меры по поимке Бонапарта, неизвестно.

По взятии Смоленска Петр Петрович, как и обещал, возвратил городу взятую из него при отступлении икону Смоленской божьей матери. О чудотворном образе Смоленской Одигитрии, поскольку была она взята воинами Петра Петровича Коновницына, стоит рассказать особо. История этой иконы исходит из глубины веков. По преданию, считается, что она написана самим евангелистом Лукой. Одигитрия с греческого переводится, как Путеводительница. Ее брали в свои походы греки, а в 1046 году ею благословил в далекий путь на Русь византийскую царевну Анну ее отец император Константин Порфирородный, выдавший ее за черниговского князя Всеволода Ярославича. Сын Всеволода Владимир Мономах, унаследовав эту икону и получив во владение Смоленское княжество, установил ее в построенном им в 1101 году соборе С тех пор называлась она Смоленской, считалась чудотворной и служила предметом особого поклонения жителей города, почитавших ее своей покровительницей. В 1237 году «заступлением Смоленской Одигитрии» смоляне отбились от полчищ Батыя, что было по тем временам «явленным чудом».

При Федоре Иоанновиче ближним боярином его Борисом Годуновым была высказана идея заложить в городе Смоленске крепость каменную для защиты западных рубежей государства от Литвы и поляков. Избранный царем, Борис Годунов не оставил без внимания своего детища, Смоленский кремль, чего требовали и интересы укрепления могущества государства, и повелел установить над главными крепостными воротами — Днепровскими — на стене надвратной Благовещенской церкви список с Одигитрии. Работа была поручена лучшему тогдашнему художнику — знаменщику Постнику Ростовцу, который, «между прочим, знаменовал, т. е. садил жемчугом с дробницами, бархатный покров на гроб Иоанна Грозного». Списывал он, надо полагать, не с подлинника евангелиста, а со «списка» 1456 года, сделанного после того, как делегация знатных смолян просила великого князя Василия Темного вернуть городу взятую в 1398 году царицей Софьей, дочерью великого князя литовского Витовта, Смоленскую Одигитрию, которою Витовт благословил дочь, приезжавшую к нему в Смоленск, то есть в Литву, на свидание. Тогда-то и сделали список, чтобы не осталось пустым место в Благовещенском соборе Московского Кремля. Отправляемую в Смоленск Одигитрию сопровождали крестным ходом при большом стечении народа за две версты от города до бывшего тогда в предместье Москвы Саввина монастыря. На этом месте в 1524 году при Василии Иоанновиче в память присоединения Смоленска к России был построен Новодевичий монастырь, куда затем и поместили московскую копию. Вот с нею-то знаменитый художник, наверное, и работал.

В 1602 году зодчий Федор Конь закончил сооружение Смоленского кремля, глубокой осенью была прислана из Москвы новописаная икона Смоленской Одигитрии, которая была установлена над Днепровскими воротами, и «стена» была освящена. С тех пор икона эта в течение более 200 лет встречала и провожала своим «благословением» всех посещающих Смоленск. Отечественная война 1812 года, начиная с защиты Смоленска, прошла под знаком покровительства Смоленской Одигитрии. В пылу жестоких сражений, обращаясь к полкам, Петр Петрович Коновницын всегда говорил: «Помните, что вы сражаетесь за Пречистую Деву, за Дом Пресвятой Богородицы!» Получив приказ оставить Смоленск, русские войска за два часа до рассвета, соблюдая тишину, чтобы неприятель не понял, что город оставляется, вышли из крепости. 1-я батарейная рота капитана Глухова, того самого Глухова, подпоручика, который в финляндскую войну зажег брандскугелями десантное шведское судно и принудил его сдаться, взяла с собою икону Богоматери. Еще в сумерки вынесли ее из Благовещенской церкви и все вре-

мя, до утра, солдаты и толпы народа, покидавшего Смоленск, окружали ее во время шествия по улице, желая помолиться перед своей святыней, прежде чем оставить, быть может навсегда, родное пепелище. «Унылый звон колоколов, сливаясь с треском падающих зданий и громом сражения, сопровождал печальное зрелище сие. Блеск пожаров освещал оное».

С этого времени икона находилась в рядах 3-й пехотной дивизии. 25 августа, накануне Бородинского сражения, икона была торжественно пронесена перед рядами войск, которые служили ей молебны. Французы веселились, «но тих был наш бивак открытый». Горяча и искренна была молитва русского воинства перед своей чудотворной: «Заступница небесная, сохрани нас под кровом Твоим!» Многие пали на поле чести, но оставшиеся в живых выстояли и простосердечно считали, что спаслись ее невидимым заступлением. После Бородина ее возили на пушечном лафете впереди армии и после каждой победы служили благодарственные молебны, пока не разбили Нея и дорога на Смоленск не стала свободной. Икону доставили обратно в Смоленск с бумагой, адресованной старшему духовному чину в городе, составленной Петром Петровичем, в которой, между прочим, говорилось, что «войска с благоговением зрели посреди себя образ сей и считали оный благоприятным залогом Всевышняго милосердия. ...Ныне же, когда Всемогущий Бог благословил Российское оружие, и с поражением врага Смоленск очищен, я... препровождаю святую икону Смоленской Божией Матери обратно, да водворится она на прежнем месте и прославляется в ней русский Бог, чудесно карающий кичливого врага, нарушающего спокойствие народов. С сим вместе следуют учиненные образу вклады и приношения — 1809 руб. ассигнациями, 5 червонных золотом и серебра в лому, отбитого у неприятеля, один пуд». Под колокольный звон и пушечную пальбу икона торжественно была внесена в город в сопровождении войска и народа и установлена на своем прежнем месте. Деньги и серебро позже были употреблены на украшение образа. «Подлинник» евангелиста Луки был еще до Смоленского сражения вывезен в Ярославль.

Письма Петра Петровича после Смоленска исполнены радостного подъема, вызванного победоносным шествием нашей армии. Перечисляя взятые Платовым пушки, количество пленных и другие трофеи, он, как всегда, беспокоится за Анну Ивановну, как-то она там будет рожать в деревне, без соответствующих условий. «Не погуби меня, Бога ради, — пишет он, — что ты себя не бережешь, ты сим меня пуще ядра с ног валишь. Плюнь на убытки, войди в долг да здоровье свое побереги... Победа за победою, — пишет он ей дальше в утешение. — Пришлем вам не только генералов, но и королей...» В Красном получил он известие, что у него родился сын, четвертый по счету. «Поздравляю тебя, мой друг, благословляю милого Алиошу, перекрести его, я скоро его и тебя увижу, ибо нихто, как я, будет отправлен с известием о окончании и уничтожении армии французской, что последует, уповаю, скоро. Мы в три дни почти всех их разбили... можно смело полагать, что еще дело одно общее с Чичаговым, нами и Витгенштейном, то конец французам...» Конца, к сожалению, не воспоследовало, мешок на Березине оказался с дырой.

Почти во всех последующих письмах он жалуется, что замучен должностью. Силы его истощились, как, впрочем, и силы всей армии; это обстоятельство и заставляло вопреки противодействию Кутузова непрестанно направлять всю свою энергию к быстрейшему уничтожению ненавистного врага; все хотели скорого конца этого дурного сна тяжелой зимней войны, которая внутри России, наверное, вот уже лет двести как не велась. И вместе с тем чувствуем необыкновенный внутренний подъем: «Грязь, мороз, дощ, а иногда вдруг пули, все бывает с нами. Устали, замучились в трудах, словом, кампания претрудная, но, наконец, так щастлив, что никогда такого не бывало еще, отечество спасено, Россия будет на высшей степени славы и величия!» В другом письме он писал: «Ты меня бранишь за смелость — как мне быть иначе, я русской, и ты сего сама потребуешь, чтобы я делал всегда долг свой. Но признаюсь, что крепко устал, и мне нужно отдохнуть. Я так похудел, что ты удивишься, но я здоров. Морозы у нас по 20 градусов, и я верхом во весь дух, лошадей растерял, ежу на прескверных, но туда же, бреду с лутчими...»

Считалось, что адмирал Чичагов виноват и его нужно контролировать. С этой целью, переправясь через Березину и поручив армию Тормасову, Кутузов отправился к Чичагову и Витгенштейну для предупреждения с их стороны ошибок. Вместе с Кутузовым отбыл и Коновницын. Следом за отступающими французами они в одних

санях въехали в Вильну, откуда он писал: «...мы здесь, ура, ура! Слава Богу и Русскому войску!! Вот так-то, душа моя, мы поступаем, не прогневайтесь, и нас царство русское не бранит. Пушек, пленных, провианту, аммуниции и всего пропасть! Неприятель бежит и почти весь пропал, и пропадет, и погибнет от руки русской. Все дороги устланы телами убитыми и замержими. Мы все его гоним и гнать до Вислы будем. Мы устали, замучились, и здесь наша армия возьмет покой, а протчие идут вслед... Расскажу тебе, как щастливо нам 6-е число в месяцах.

6-е число — Богородица Смоленская вынесена при первом Ей молебствии, читаю Евангелие, где: *и пробыв Мариам яко три месяца и возвратися в дом свой.* И точно, через три месяца возвратилась в дом свой.

6-е число — знаменитый фланговый марш на дорогу Серпуховскую и Калужскую.

6-е число — щастливая атака под Тарутиным.

6-е число — славный Манифест, где он говорит, что не положет меча, пока ни одного злодея в краю русском не будет.

6-е число — победа славная под Красным и 6-е число надеемся и враг за Неман весь удалится. О сем будет вам писано в газетах».

Тот, кто обещался раздавить Россию, был уже далеко. Погрозив пухлым кулаком востоку, он сел в легкий возок и был таков, два эскадрона польских улан проводили его за Неман, за Вислу, за Одер, за Эльбу и еще дальше, в самое царство его подвальное к тремстам миллионам, куда он добирался уже один и инкогнито и все никак не мог отдышаться и хотя бы немного прийти в себя. Про Аустерлиц и Фридланд вспоминать, наверное, ему уже было недосуг, так что долго еще в Европе не знали, где его главная квартира, пока одна прусская газета не проболталась о том, хотя, как говорили, вся Европа все еще была под его властью, и казалось, чего там... А вот того, что Петр Петрович Коновницын, равно как и другие русские воины, писал в это время домой: «...сертук получил, спасибо, на холод он кстати, у нас морозы сильные. Французов много померло. У нас все еще победно, пушек еще с 20 взято нашими робятами, кони у басурманов еще есть, то заберем, а их побьем, поколим».

На Эльбе дерзкий корсиканец писал: «Сколько борьбы, времени, крови еще потребуется для того, что я желал совершить для человечества». Одним из составных этого благодеяния для человечества было, как мы знаем, раздавить Россию. Да возможно ли было такое?! Пусть Лев Толстой утверждает, что французы и без сражений гибли, пусть даже именно так и было, но мы-то знаем, что если бы не гибли без сражений, то погибли бы в оных, и это так же верно, как верно и то, что они все-таки погибли бы, не от мороза, так от ядер, не мытьем, так катаньем, а укатали бы их и действительно хорошо еще, что 6-го числа, как писал Петр Петрович, был царский манифест, где он сказал, что не вложит меча, пока хоть один злодей будет в краю русском. Вот этот-то манифест и был благодеянием не только для России, но в какой-то степени и для человечества... Манифестом этим он призвал встать на защиту Отечества все сословия, то есть народ, что и сбылось, в результате человечество вздохнуло свободно.

Войска отдыхали, в главном штабе шли перемещения. Кутузов не хотел заграничного похода, и из-под него понемногу вынули реальную власть, центр которой переместился на самого императора и его штаб. Ближайшая опора фельдмаршала получила назначения, и Коновницын, и Толь, и даже Ермолов, так и не увидевший должности начальника штаба главной армии. Его назначили начальником артиллерии всех армий. Невзирая на то, что монарх осыпал его милостями, и что, как дежурный генерал, каждый день часа по три у него бывал, и был обласкан, получив звание генерал-адъютанта и Георгия 2-й степени, Петр Петрович, который мог надеяться на самые блестящие почести и самые неожиданные назначения, несмотря на все это, как и обещал Анне Ивановне, презрев карьеру, попросился в отпуск — шаг, который мог вызвать неудовольствие. Но, кажется, впоследствии все обошлось.

Получив подорожную, он сдал свое главное дежурство князю Волконскому и 27 декабря поспешил в милое сердцу Киярово, обнять милую сердцу Аннушку, детушек милых, милую сестру Алиону, милую матушку, всех родных и друзей. Он прибыл в Петербург к самому новому году — 31 декабря. Шесть с половиной месяцев он ждал этой сладостной минуты!

Надо ли говорить о том, что три недели отпуска пролетели как один день. Михайловский-Данилевский, которому случилось на то время вместе с адъютантами Ко-

новницына неделю погостить у гостеприимных хозяев в Киярове, «которые ласкали нас, молодых офицеров, как детей своих», вспоминал: «К обеду, обыкновенно, приезжали соседи. Можно легко себе представить, что разговоры относились единственно до войны 1812 года, только что окончившейся; воспоминания о ней были свежи и восхитительны! С каким вниманием слушали все, когда Коновницын рассказывал о происшествиях ея, он, знавший все тайные пружины действий тогдашнего времени. По вечерам у нас бывали танцы и на скрипке играл, хотя весьма дурно, герой, который за несколько недель до того носился молниею перед полками и которого потомство будет чтить, как одного из виновников освобождения России».

Данилевский рассказывал также, что в Киярове он видел «плоды многоразличных трудов» Петра Петровича, когда тот «употребил время своего изгнания на размышления и обогащение памяти своей познаниями, ...потому что... вступил в службу... прежде окончания своего воспитания». Среди прочего, как сообщал Данилевский, там были подробные записки о финляндской войне, ныне, к сожалению, утраченные. А вообще Петр Петрович писал много, и, может быть, где-то в архивах ждут своего открытия среди прочих бумаги с записками, составленными им единственно для воспитания своих детей, «страстно им любимых, и участь которых, особенно старшего сына и дочери, им боготворимой, впоследствии сделались так ужасны: сын его был разжалован в солдаты, а дочь последовала за своим мужем в Сибирь».

Будучи одним из виднейших генералов Отечественной войны 1812 года, на плечах которых была вынесена буквально вся тяжесть самого трудного ее периода, Коновницын, силою исторических обстоятельств, оказался в числе тех, кто так или иначе был несправедливо забыт или оттеснен на второй план истории более бойкими придворными или родовитыми царедворцами, хотя, можно сказать, здесь ему повезло больше других, поскольку портрет его не был изъят хотя бы из военной галереи Зимнего дворца, хотя такое вполне могло случиться, а удержался там, несмотря ни на какие политические перипетии, рядом с ростовым портретом Барклая-де-Толли до наших дней. Дело в том, что семейство Коновницына было тесно связано с декабристским движением. Старший

сын Петра Петровича Петр, «блестящий офицер Генерального штаба», именно за это, то есть за принадлежность к Северному обществу, по приговору суда был разжалован в солдаты, лишен всех прав и достоинств и сослан в глухой сибирский гарнизон, откуда вместе с другими был рядовым же переведен в действующую армию на Кавказ и погиб не в сражениях с горцами, а от губительного субтропического климата. Второй сын Петра Петровича тоже был причастен к движению, разжалован в рядовые и уволен с военной службы. Дочь Петра Петровича Елизавета была замужем за декабристом М. М. Нарышкиным и одной из первых поехала за мужем в Сибирь. Декабрист Н. И. Лорер, близко стоявший к руководителю и основателю Южного тайного общества П. И. Пестелю, был родственником Коновницыных. Таким образом, видно, что оснований замолчать роль П. П. Коновницына в трудах официальных историков было более чем предостаточно, хотя самого его ко времени декабрьского восстания уже не было в живых, а жизнь его сложилась так, что и помышлять о чем-либо подобном он не мог. Но тем не менее сведения о нем в источниках остались самые скудные. Причины же, по которым портрет его сохранился в дворцовой галерее, состоят в том, что, кроме личных заслуг Петра Петровича перед Россией на поле брани, весьма значительных, в чем нельзя усомниться, вклад его сыновей в декабристское движение был весьма ничтожен. Кроме того, в недавнем еще прошлом Петр Петрович был некоторое время наставником у великих князей Николая Павловича и Михаила Павловича, причем в самое блистательное для них время, когда они триумфаторами въезжали в Париж. Он пользовался уважением будущего царя, хранившего живую память о своем «дядьке», оставившем им с братом нечто вроде духовного завещания, опубликованного в 1870 году в «Русской старине». Упор в этих записках был сделан на нравственное начало: доброту, милосердие, честь, веру. Это не могло не содействовать тому обстоятельству, что имя его все же осталось в истории Отечественной войны. С другой стороны, он все же, как писалось в одном издании, «не сделал такой карьеры, как многие бездарные немцы, он не кричал о своем патриотизме и не любил прислуживаться. Оттого его боевая карьера закончилась так быстро, а административная сложилась не слишком хорошо». «Воин бесстрашный, — писалось в другом издании, — он собственною кровью приобрел чины и отли-

чия». «Это был честнейший и благороднейший человек,— писала «Русская старина», — в области военного дела Коновницын бесспорно был прекрасен. Толстой своим художническим чутьем разом проник и охватил нравственный образ Коновницына, и этот человек как живой выдвинулся в исторической хронике — романе «Война и мир».

В начале февраля Петр Петрович уже нагнал армию в Плоцке на Висле и вступил в командование корпусом гренадер, состоявшим из двенадцати полков. В конце апреля, перед Люценским сражением, умер в Бунцлау старый фельдмаршал. Тело его препроводили для похоронения в Петербург, в Казанский собор, а *сердце* полководца, по какому-то непривычному славянину, рыцарскому что ли, обычаю, похоронили там, где он умер, у Саксонской дороги.

В битве при Люцене гренадерский корпус был сначала в резерве, затем часть его была переведена на подкрепление нашего правого фланга. Прибыв на место сражения около семи вечера, Коновницын со своими гренадерами немедленно очистил занимаемый неприятелем лес; несколько французских колонн под личным командованием Наполеона были мгновенно опрокинуты и смяты, но тут массы французов, подтянутые из резервов, навалились на передовые линии русских. Петр Петрович поскакал в гущу сражения, чтобы разобраться, куда направить главный удар своих гренадер, как, будучи ранен пулею навылет в левую ногу, выбыл из строя. В решительную минуту боя «присутствие его было невознаградимо, как по великим воинским способностям, так и по привязанности к нему войска».

Когда при Люцене случилось ему проезжать мимо своей бывшей 3-й пехотной дивизии, солдаты и офицеры, узнав его, закричали восторженное «ура!» своему «отцу», смысл которого укладывался в слова: «Будь с нами, и мы непобедимы!» Глубоко тронутый этим изъявлением любви, Петр Петрович остановился, слезы навернулись ему на глаза. Он душевно поблагодарил своих старых товарищей, и полки, принявшие его речь «с неописуемым восторгом», «подобно громоносной туче», двинулись за ним. «Ударить предстоящего неприятеля, разбить и прогнать его было делом одного мгновения!» И вот он ранен. Надо при этом знать, что при Люцене союзные армии потерпели крупное поражение и, потеряв более двадцати тысяч человек, вынуждены были отступить за Эльбу и подписать временное перемирие. Оставляя своих храбрых гренадер, Петр Петрович писал в последнем своем приказе по корпусу: «...Помните, что удар ваш должен сломить всякую силу и что с вами всегда должны быть смерть и победа!»

В половине августа 1813 года, после излечения тяжелой раны, которая периодически открывалась, все еще на костылях, он командовал своими гренадерами в Лейпцигской битве, хотя участвовать в боевых действиях лично, как бывало раньше, не мог. «Голос всей армии провозгласил» его достойнейшим из героев. За сражение при Люцене он получил 25 тысяч единовременно, крайне в этом нуждаясь, а за Лейпциг — Владимира 1-й степени большого креста.

В начале 1814 года Петр Петрович и был приставлен воспитателем, или, как тогда говорили, «дядькой», к великим князьям и сопровождал их во все время их пребывания во Франции. В конце 1815 года он назначен был военным министром. Предшественники его на этом посту сквозь пальцы смотрели на имевшее место в министерстве казнокрадство, поэтому служить по этой части такому человеку, как Петр Петрович, было тяжело. За сохранение казенных средств по министерству и экономное ведение дела в 1817 году он получил алмазные знаки ордена Александра Невского. От европейских монархов за заграничные походы был награжден австрийским орденом св. Леопольда, прусским орденом Красного Орла 1-й степени, баварским орденом св. Максимилиана. Возведенный на престол Людовик XVIII, конечно же, «почтил его орденом св. Людовика». В конце 1817 года Петр Петрович был произведен в генералы от инфантерии, в ноябре 1819 года с сохранением звания генерал-адъютанта назначен главным директором Пажеского, 1-го, 2-го и Смоленского кадетских корпусов, Императорского военно-сиротского дома, Дворянского полка и Дворянского кавалерийского эскадрона, Царскосельского лицея и пансиона. Через неделю он был назначен членом Государственного совета по военной части, а еще через десять дней пожалован с нисходящим потомством в графское достоинство.

Как свидетельствовали современники, будучи прекрасным семьянином, он «казался созданным» для роли начальника над учебными заведениями. Честный, отзывчивый, с мягким сердцем, он, несмотря на строгость, ни-

когда не позволявший окриков и грубости в отношении нижних чинов, вместе с тем был нрава кроткого и веселого. «Говоря о Коновницыне, — писал Михайловский-Данилевский, — я не могу не упомянуть об одной прекрасной черте его характера: он не только любил отдавать справедливость офицерам, которые под его начальством отлично служили, и при всяком случае превозносил их, но он сие делал с особенным удовольствием, выражавшимся на добром лице его; казалось, похвалы подчиненным были пищею души его благородной и возвышенной». Таким образом он относился и к воспитанникам своим. «Пройдя с честью и славою поприще битв», Петр Петрович деятельно занялся воспитанием вверенного ему юношества и возродил забытые было традиции, введенные в кадетских корпусах директорами Ангальтом и Мелиссиано. После них это был первый директор, который душой и сердцем сблизился со своими воспитанниками и принимал их в своем семейном кругу; при всей взыскательности к проступкам, сумев в высшей степени приобрести их любовь и уважение. Все воспитывавшиеся под его начальством всегда помнили тот восторг, который производило на них его появление в учебных классах и гимнастических залах.

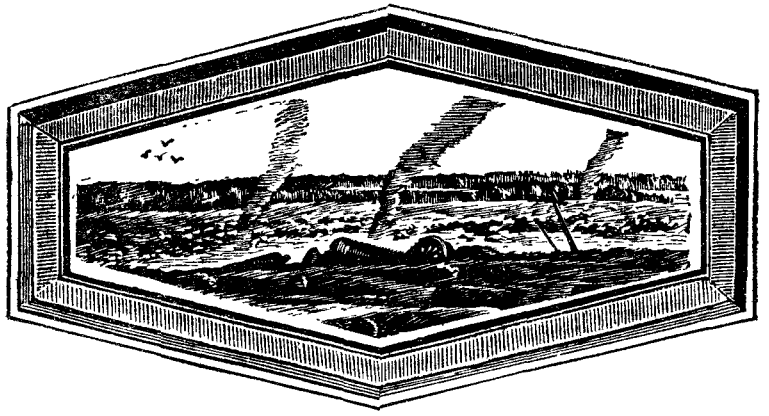
Пожиная плоды ратных трудов своих, Петр Петрович мог рассчитывать на долгое, тихое и безмятежное житель-ство, но раны и лишения, перенесенные в походах, давали себя знать. В 1822 году, на пятьдесят восьмом году жизни, можно сказать, еще не старым, после продолжительной болезни граф Петр Петрович Коновницын, как добрый верующий христианин, «встретил тихую свою кончину». Это произошло 28 августа 1822 года. Оставив после себя в наследие своим детям пример честно прожитой жизни и прославленное имя, он скончался на загородной даче по Петергофской дороге. Великий князь Николай Павлович почтил присутствием похороны своего «дядьки» и наставника, сам император в это время находился в отъезде. Строки официального соболезнования царя вдове покойного гласили: «...Отличные услуги, оказанные им на поле чести и во время мира, соделали потерю его столь же чувствительною для отечества, сколько и для его семейства...» Митрополит петербургский и новгородский Серафим, «сам, с сонмом духовенства, служил Литургию и отправлял погребение. Все первые государственные чины, сановники и многочисленные знакомые почтили присутствием сию печальную церемонию...». Из церкви Кадетского корпуса тело Петра Петровича повезли в родное Киярово, где он завещал себя похоронить. За городом, между заставою и «новыми Триумфальными воротами», отдана была ему последняя воинская почесть — артиллерийский салют, а также совершен последний церковный обряд, после чего гроб был переложен в другой, свинцовый, и отправлен в имение, где погребен в церкви у левого клироса.

Во время похорон во всем городе царствовало уныние, «казалось, что всякое семейство потеряло одного из почтеннейших своих членов. Лавры его не оросились слезами несчастного, не обагрились кровью беззащитного и не поблекли от блеску золота...».

Эти последние слова вполне могли бы быть высечены золотом как эпитафия на надгробном камне того, кто, по известным словам Михайловского-Данилевского, принадлежал к малому числу избранных счастливцев, одаренных от природы теми высокими качествами, которые поставляют их в возможность, в минуты решения участи сражений, давать битве другой оборот...

Вячеслав КОРДА

Тучковы



Николай I открывал на Бородинском поле памятник героям Бородинской битвы. Это утро 26 августа 1839 года было так же свежо и ясно, как утро Бородинского боя. Природа изначально отделилась от людей, не желала принимать участия в их безумствах и убийствах друг друга. Ей не нужна слава, богатства: вся земля — ее Отечество, поэтому такое же яркое, желтое солнце взошло над Бородином двадцать семь лет спустя, и также чувствительна была уже осенняя свежесть.

Тысячи блесков перемешались между собой: штыки, каски, звезды и эполеты генералов, шитье знамен. Войска, около 120 тысяч, окружали колоннами с трех сторон возвышение с памятником Бородинской битве, у подножия которого покоился Багратион. В этом месте в двенадцатом году был самый жаркий бой, когда люди, потеряв уже надежду уничтожить друг друга из пушек, перемешались в рукопашной убийственной свалке.

С этого места особенно виделась и чувствовалась вся огромность поля, вместившего в себя столько живых и погибших.

Пехота была неподвижна, конница, наоборот, как живая мозаика, постоянно находилась в движении: лошади косили друг на друга, нетерпеливо пританцовывали, копытами приминали зеленую еще сочную траву.

В центре парада, у ограды памятника, собрались отставные воины, участники сражения, прибывшие на этот праздник из разных мест. Инвалиды[1] в ожидании торжества сидели на ступеньках монумента. Костыли и палки валялись рядом. Среди них не было заметно того возбуждения, которое царило в парадных войсках, они вяло перебрасывались словами, щурились на солнце, отдыхали.

И тем не менее, именно они составляли на поле единый монолит, неделимое целое того, частями, отголосками которого был и этот день, и эти новые, выстроенные колоннами войска. Прошлое, затмившее их предыдущую жизнь, наложившее свою руку на все их будущее, прошлое, состоявшее из одного только дня — Бородинского боя, объединяло их, делало похожими на одного усталого и мудрого человека.

Вне ограды выстроились бородинские воины, еще находившиеся на службе. Они соединяли в себе прошлое и настоящее и поэтому смотрелись особняком, полностью не принадлежа ни молодым войскам, ни инвалидам. Но вот появился император. Проскакал мимо колонн, и полетело в воздух повсеместное «ура», еще, еще, громче... и вдруг все стихло. Медленно, торжественно и нестройно с хоругвями и крестом потянулся от Бородина церковный ход.

...У ограды памятника стояла пожилая монахиня, вцепившись в стальные прутья, как будто ноги не держали ее; она пристально смотрела в одну точку, и завораживающий напряженный взгляд ее темно-зеленых глаз выражал одну только внутреннюю, болезненную сосредоточенность и взлелеянную, оберегаемую скорбь. С ней никто не заговаривал, взглянув на нее, каждый испытывал чувство неловкости. Глаза отводились, и воспоминания: запахи, цвета, обрывочные картины — вдруг накатывали удушливой пороховой волной, и меркло под дымовой завесой солнце, и слышался хруст штыка, входящего в человеческое тело. И отставной воин тянулся за табаком, сно-

[1] Ветераны.

ва взглядывал на монахиню и не мог понять, почему именно от нее, а не от торжественных речей, не от парадной пальбы тяжело наваливалось на него прошедшее.

...Слова императора вывели женщину из задумчивости. «Кланяюсь Вам, Ваше превосходительство, — приветствовал ее Николай I, спешившись, — разделяю скорбь Вашу и чувствую, как Вам грустно». — Он почтительно подал ей руку, посмотрел быстрыми глазами на яркое солнце, плывшее в небе, как в воде, и добавил: «Но день славный!»

* * *

Имена и деятельность Тучковых никогда не были предметом громких разговоров, славы и похвал. Видимо. по природе и воспитанию своему они считали честь и верность долгу делом обычным и естественным для человеческого сердца, никогда не выделяли и не оговаривали своих поступков, и настолько сами были чужды восхищению *своими делами, что для современников их* доблесть и деятельность носила характер чего-то нормального, само собой разумеющегося. Малоизвестные при жизни, они были тотчас забыты после смерти. До нас из прошлого дошли имена многих героев; поэты, историки и писатели поведали нам об их подвигах. О Тучковых — почти ничего. Так получилось с Сергеем Алексеевичем, средним братом, писателем, благодаря которому люди того времени могли пополнить свои знания о таких «малоизвестных» и «темных» землях, как Бессарабия, Грузия, Литва. Наряду с Пушкиным, который был «очарован его умом и любезностью», Лермонтовым, выполнял он благородную миссию — донести до российских жителей образ, нравы и культуру этих самобытных земель. Основатель целого города в Бессарабии, названного его именем, участник *четырех войн (в том числе* 1812 г.), *о храбрости* и распорядительности которого не раз говорил Суворов, генерал-лейтенант, сенатор.

Мало известно о подвиге Павла Алексеевича Тучкова, одного из братьев, который «вопреки повелению, ясно изложенному в диспозиции», затеял сражение, вошедшее в историю под названием Лубинское. Французам не удалось отрезать Первую армию от Второй и отбросить ее от Московской дороги. Изрубленный саблями, он был взят в плен и прожил три года на чужбине.

Имя самого старшего брата Алексея Алексеевича Тучкова отсутствует во всех энциклопедиях, включая современные. В «Записках» его сын Павел Алексеевич пишет, что у его деда, Алексея Васильевича Тучкова, сенатора, было пятеро, а не четверо сыновей. Самым старшим из них и был Алексей Алексеевич, член Государственного совета, генерал-лейтенант. Из-за неприятностей с министром того времени графом Аракчеевым он оставил военную службу и, уединившись в деревне, посвятил свою жизнь детям. Старший, названный, как и отец, Алексеем, стал декабристом. Дружил с Н. П. Огаревым и А. И. Герценом, дважды был арестован по обвинению в принадлежности к «коммунистической секте», а младший сын, автор «Записок», Павел Алексеевич, был крупным ученым-топографом того времени. Любимец русских императоров, он смог отказаться от назначения наместником царства Польского по причине того, что не способен «...отстранить от себя невольное доверие к другим...». В конце жизни он написал биографию Тучковых, к имени которых родилась в нем «с ранней поры гордость принадлежать».

Тучковы — род дворянский, берущий начало из новгородских бояр, выселенных при Иоанне III во внутренние области России.

Предок Тучковых — Михаил Прушанин (или Прушанич) выехал из Пруссии в Новгород в начале тринадцатого века, скончался там и похоронен в церкви св. Архангела Михаила, на Прусской улице. Сын его, Терентий Михайлович, был боярином при великом князе Александре Невском и отличился в знаменитой Невской битве 15 июля 1240 года. Его праправнук Борис Михайлович Морозов имел прозвище Тучкó.

Племянница его сына Василия Тучкова — впоследствии прабабка царя Михаила Федоровича Романова. Сын Василия Борисовича, Михаил, боярин великого князя Василия Иоанновича, несколько раз направлялся послом в чужие края. Внуки Михаила — Иван, Давид, Ермолай Степановичи.

От них и пошли братья Тучковы.

Праправнук Ермолая, Алексей Васильевич, сподвижник Румянцева, инженер-генерал-поручик при Екатерине II, а при Павле I — сенатор, начальствовал над крепостями по польской и турецкой границам. Под его наблюдением был построен постоянный деревянный мост че-

рез Неву, и доныне называющийся «Тучков». Женат на Елене Яковлевне, урожденной Казариной, имел пятерых сыновей и двух дочерей. Умер в 1799 году, двадцатого мая.

Герб их рода представляет собой щит, разделенный перпендикулярно на две части, в правой изображен воин, державший в одной руке копье, поднятое вверх, в другой — щит. В левой части на голубом поле лев, стоящий, на задних лапах и повернутый в правую сторону. Над ним видна туча, откуда вылетает молния, поражающая льва.

Знакомясь с жизнью братьев Тучковых, определяя их значимость для России XIX века, мы одновременно получаем ключ к истокам их деяний. Опыт, уровень самосознания, доблесть предков обязательно проявляются в потомках.

Гармонично, ясно, строго было все в их жизни, естественно и прочно сплелись их судьбы с судьбой России, и невозможность иного пути и иной участи — очевидна.

Путь их, идя «стезею правды, встречая преграды со стороны любимцев слепого счастья, отражая клевету и злобу, труден был, и если воздаяния заслуг не всем из них было уделом, то взамен некоторым предназначена награда свыше: умереть во славу своего Отечества».

ВОИН НИКОЛАЙ

Он родился в 1765 году, 16 апреля. В восьмилетнем возрасте, по обычаю того времени, был «записан в военную службу» и выпущен офицером в 1778 году. Его отец, Алексей Васильевич Тучков, военный инженер, благословил сына на службу, так как считал звание военного лучшей и достойнейшей участью для всех своих сыновей.

И ничто в судьбе Николая Тучкова до самой смерти не могло изменить однажды принятого решения.

Свое боевое поприще он начал в шведскую войну 1788—1790 годов, 23 лет от роду. После этого похода переведен в Муромский пехотный полк; участвовал в войне против польских конфедератов.

В 1794 году отличился в сражении при Мацеевичах. Командуя батальоном Великолуцкого полка, Николай Тучков проявил не юношеское сорвиголовство, а хладнокровную, зрелую храбрость. Генерал Ферзен, оценив по достоинству качества молодого воина, в знак расположения отправил его с донесением к императрице, которая собственноручно наградила его Георгиевским крестом за отличную службу и поздравила с чином полковника.

В походе 1799 года, во время войны с Францией, генерал-лейтенант Тучков, находясь в корпусе Римского-Корсакова, после неудачного Цюрихского сражения, проявил мужество и сумел вместе с Севским полком прорваться сквозь кольцо неприятеля и воссоединиться с главной армией Суворова.

Участвовал он и в русско-прусско-французской войне 1805—1807 годов. Был командиром правого крыла армии Беннигсена и отличился в бою при Прейсиш-Эйлау. В русско-шведской войне 1808—1809 годов командовал дивизией с не меньшим отличием.

Николай Алексеевич участвовал почти во всех войнах, которые выпали на его жизнь. Всегда среди солдат, любимый генерал, он не позволял себе никаких привилегий на поле сражения. Его награды и чины заработаны ценой всей его жизни.

«Он небольшого роста, рябоват, ловок в обращении и со светским образованием. Воин в душе, при замечательных своих дарованиях военных, он имел ум просвещенный, обхождение привлекательное. Но отличительными чертами его характера были строгое бескорыстие и непоколебимое прямодушие. Чуждый всех личных выгод... он помышлял только о добросовестном исполнении своего долга... Николай Алексеевич пользовался уважением всей армии, и память о нем сохранится навсегда в военных летописях России».

Когда началась Отечественная война 1812 года, Н. А. Тучков был назначен в 1-ю Западную армию, командиром 3-го пехотного корпуса, состоявшего из 1-й гренадерской и 3-й пехотной дивизий. В последнюю под начальством графа Коновницына определился его младший брат Александр. Отступая со своими войсками прежде к Вильне, затем к Витебску, участвуя в бою у Островно и в битве 5 августа у Смоленска, среди его корпуса более всего отличилась дивизия Коновницына и младший брат Николая Александр.

...«Вечером 6-го числа Барклай де Толли переходил с Пореченской дороги на Московскую». Впереди колонны, порученной Николаю Алексеевичу, выступал авангард под командованием генерал-майора Павла Алексеевича Тучкова. В этот день три брата виделись вместе в последний раз.

После битвы под Лубином Николай Тучков направился к Бородину и около деревни Утица расположился корпусом, чтобы противник не смог обойти русские войска по Старой Смоленской дороге.

Корпус Тучкова дополнили семью тысячами человек Московского ополчения. Не исключено, что в сборе ополчения участвовал его старший брат Алексей Алексеевич — в то время предводитель Звенигородского уезда Московской губернии. Кутузов дал распоряжение поставить корпус Тучкова скрытно, в кустарнике, под высоким курганом. Корпус должен был неожиданно ударить по французам, если они станут обходить левое крыло.

«Когда неприятель употребит в дело последние резервы свои на левый фланг Багратиона, то я пущу ему скрытое войско во фланг и в тыл», — говорил Кутузов Начальник штаба Беннигсен распорядился иначе. Разъезжая вечером, накануне сражения войска, он приказал Тучкову выйти из укрытия и встать на кургане, сетуя на то, что надо же было так глупо распорядиться кому-то (имея в виду, конечно же, Кутузова) и оставить высоту, не занятую нашими войсками. Тучков возражал, так как имел другое распоряжение, но вынужден был подчиниться повторному приказу.

Вскоре после начала боя князь Багратион приказал Н. А. Тучкову немедленно прислать ему на помощь дивизию Коновницына. Тучков тут же сделал это, хотя формально мог не подчиниться, так как находился под командованием Барклая-де-Толли. Дивизия Коновницына, в составе которой был его младший брат, бросилась на помощь Багратиону, а Николай Алексеевич остался с трехтысячным отрядом сдерживать натиск корпуса Понятовского. Началась борьба за высоту около Утицы. Во все время атаки Николай Алексеевич был впереди полка. Высота была отнята у французов, «но пуля пробила у Тучкова грудь, и замертво отнесли его с поля сражения».

Долгое время лежало на Н. А. Тучкове подозрение, что «он не умел держаться». Кутузов, не зная о том, что его распоряжение было отменено Беннигсеном, усомнился в храбрости генерала.

«Записки» Щербинина вместе с другими материалами Военно-ученого архива Главного штаба, изданные военным исследователем 1812 года В. И. Харкевичем в 1900 году, показывают нам истинное положение вещей.

Оказывается, что только в начале 1813 года, за два месяца до смерти, Кутузов узнал о самоуправстве Беннигсена и невиновности Тучкова, «который сам был убит наповал, и поэтому свалить на него все вины было легко». Но что имело здесь более место: формализм Беннигсена, который был «обуреваем непобедимой потребностью мешаться во все и вся», и «порицавший все, что не исходило от него лично», или его сознательные интриги против Кутузова, на месте которого он мечтал находиться, — неизвестно. Да и не так уж важно, потому что сражение было выиграно, а Николай Алексеевич убит.

Корпусной врач перевязал глубокую рану, поморщился от своей бесполезности. Адъютант и солдаты бережно уложили на шинели своего генерала и понесли с поля боя. У перелеска они были остановлены офицером, догнавшим их верхом.

Он обратился к адъютанту:

— Жив?

— Живой еще. Грудь пробила, злодейка.

— Да... Брата его только что убило у Семеновского.

Офицер пришпорил взмыленную лошадь и рванулся обратно туда, где земля поднималась, стонала и все глубже пропитывалась кровью как дождем.

Из Можайска, узнав о ранении брата, примчался Алексей Алексеевич, самый старший брат. В Можайске он находился по делам ополчения и снабжения войска.

Он осторожно поддерживал голову Николая, пока его устраивали в дорожной карете, и не знал, как сказать ему о смерти Александра. Каково же было его удивление, когда первой просьбой очнувшегося Николая было «никогда, ни одним словом не напоминать ему о том, что любимого им Александра больше нет».

Из Можайска Тучкова перевезли в Ярославль. В сознание он приходил редко и скончался в Толгском мужском монастыре после трехнедельных страданий. Там же и похоронен.

К сожалению, сохранились лишь скудные сведения о жизни Николая Алексеевича. Как человек, целиком отдавшийся военному делу, он почти не жил дома, не был женат и не оставил после себя ни записей, ни воспоминаний, ни писем, ни дневников. На все это у него, видимо, просто не было времени, да и охоты. Из семейных преданий Тучковых известно, что он был «примерным родственником», из родных своих более всех любил младшего брата Александра и был самым любимым сыном у мате-

ри Елены Яковлевны, которая, узнав о его смерти, в тот же день ослепла.

Житейское упоминание о нем сохранилось только в «Записках» его племянника Павла Алексеевича.

«...НИКАКОЙ ТРУД НЕ МОГ МЕНЯ УСТРАШИТЬ» СЕРГЕЙ

Сергей Алексеевич Тучков родился в 1767 году, в Петербурге, 1 октября.

«...Отец мой был всегда занят предприятиями по службе его, — писал он в своих «Записках», — был несколько угрюм и не всегда приветлив; такова была большая часть военных людей того времени; притом не любил много заниматься детьми своими в малолетстве их. Но он был совсем иначе к ним расположен в другом нашем возрасте». <...>

«На третьем году возраста начали уже меня учить читать по старинному букварю и катехизису, без всяких правил. В то время большая часть среднего дворянства таким образом начинала воспитываться. Между тем не упускали из вида учить меня делать учтивые поклоны, приучали к французской одежде, из маленьких моих волос делали большой тупей, несколько буколь, и привязывали кошелек. Но сие не долго продолжалось. Неискусные парикмахеры выдрали мне все волосы и принуждены были надеть на меня парик: притом французский кафтан, шпага и башмаки представляли из меня какую-то маленькую карикатуру и дурную копию парижского жителя века Людовика XIV».

Так же, как и все его братья, с раннего детства Сергей был записан в военную службу, унтер-офицером в артиллерию, и после долгих колебаний родителей, где воспитываться ему — в кадетском корпусе или дома, решено было последнее, и Сергей Алексеевич был отпущен домой для «прохождения наук».

«Мне отстригли начинавший отрастать тупей, причесали в малые букли, привили длинную косу сзади, надели галстук с пряжкой, узкое исподнее и сапоги — и так из французской одежды я преобразился в маленького пруссака».

Обучение Сергея проходило прежде под руководством дьячка, затем местного лютеранского пастора, который учил его немецкому языку.

В это время, в 1777 году, отец его Алексей Васильевич был начальником над крепостями по польской и турецкой границе, и вся семья Тучковых перебралась на жительство в Киев.

«...Вместо унылых русских песен, раздирающих слух, рожков и сиповатых дудок, услышал я скрипки, гусли и цимбалы, притом пение молодых людей и девок, совсем отличное от диких тонов русских песен. Эти малороссийские песни, без всякой науки во всех правилах музыки сочиненные, поразили мой слух...»

Здесь Сергей Алексеевич изучал с гувернером французский язык, географию и историю. Отец его «...фехтовальное искусство и верховую езду почитал ненужными и говорил: «Я не хочу, чтобы дети мои выходили на поединок», или «Наши казаки не знают манежа, а крепче других народов сидят на лошади и умеют ими управлять не учась». Словесность почитал он совершенно пустым делом, равно как и музыку... Он хотел, чтобы все дети его служили в военной службе». Впрочем, мнение сие и поныне господствует между дворянством российским».

«...Некоторые из молодых офицеров, составляющих чертежную канцелярию, занимались со мной арифметикой, геометрией, рисованием и любили стихотворство. Они приносили с собой разные сочинения и читали оныя вслух один другому. Более всего понравились мне сочинения Ломоносова... Сии сочинения родили во мне охоту к стихотворству, я начал сочинять стихи по случаю».

В это время Сергею было 12 лет. Другу их семьи, ректору Киевской духовной академии стихи понравились, и он отправил их в Московский университетский журнал для печатания. В это же время, несмотря на недовольство отца, Сергей Тучков учится игре на флейте.

Вскоре вся семья Тучковых переезжает в Москву, и Сергею приходится бросить полюбившиеся ему занятия.

В Москве Сергей Алексеевич напоминает о присланных стихах для журнала Московского университета, и его любезно принимают в члены «Вольного Российского общества, пекущегося о распространении наук». Он начинает готовить для выступления в «Обществе» литературные переводы, но беспокойная служба отца в который раз отрывает его от приятного занятия. В Петербурге умирает генерал Ф. В. Боур, начальник инженерного корпуса, и А. В. Тучкова за особые заслуги и верную службу вскоре назначают на его место. Тучковы переезжают в Петербург, Здесь Сергей Тучков вступает в «Общество друзей

словесных наук», среди членов которого находился и Радищев.

В 22 года Сергей Алексеевич начинает свою действительную военную службу.

«Получив предписание выступить с вверенною мне ротой, я тотчас сделал мои распоряжения и поспешил в дом отца проститься с ним и матерью». Алексей Васильевич обнял сына и сказал: «Ну, любезный сын, да благословит тебя Бог; может быть, долго не увидимся, вот мое наставление: куда пошлют — не отказывайся, а куда не посылают — не напрашивайся; больше слушай, нежели говори...»

«...Теперь скажу, в каком виде было тогда войско в России, столь прославившее государство сие военными своими действиями. Императрица Екатерина, как женщина, не могла заниматься устройством во всех частях оного, а потому попечение о войске она предоставила своим генералам, генералы имели доверенность к полковникам, а полковники к капитанам.

Я застал еще, что голова солдата причесана была в несколько буколь. Красивая гренадерская шапка и мушкетерская шляпа были только для виду, но не для пользы. Они были высоки и так узки, что едва держались на голове, и потому их прикалывали проволочной шпилькой к волосам. завитым в косу. Ружья, для того чтобы они прямо стояли, когда солдаты держат их на плече, имели прямые ложа, что было совсем неудобно для стрельбы. Но всего несноснее была бесчеловечная выправка солдат; были такие полковники, которые, отдавая капитану рекрутов, говаривали: «Вот тебе три мужика, сделай из них одного солдата...»

По словам Сергея Алексеевича, было много других злоупотреблений и хитростей в полках, «но должно сказать, что полковые и ротные начальники не виноваты в сих употреблениях, от них требовали пышности и великолепия в содержании полков, а денег не давали. Не значит ли сие поставить все полки в необходимость покушаться на злоупотребления?» Так было при Румянцеве. «Потемкин, приняв начальство, велел всем солдатам смыть пудру с головы и остричь волосы, вместо гренадерских шапок и шляп изобрел особого рода каски, довольно спокойные, вместо французских мундиров — короткие куртки или камзолы с лацканами».

В шведской войне 1788—1790 годов Тучков участвовал в морском сражении при Роченсальме, 13—14 августа

1789 года. Репутация отважного воина досталась ему дорогой ценой. Он был ранен в руку, ногу и голову. Контужен.

Он возвращается в Петербург и узнает, что «Общество друзей словесных наук» закрыто, а из-за него и многие другие литературные собрания. «Путешествие из Петербурга в Москву» так сильно подействовало на Екатерину II, что она приказала казнить автора, правда потом заменила казнь пожизненной ссылкой. Не поздоровилось и другим членам «общества». Их арестовывали и дело передавали в суд.

Боевая храбрость спасла Тучкова от расправы. Когда в числе других было названо и его имя, Екатерина II ограничилась каламбуром, что не надо «трогать сего молодого человека, он и так уже на «галерах», давая понять, что она осведомлена о его блестящей службе в галерном флоте».

Так, вторично Тучков столкнулся с тем, что словесность, мало уважаемая его отцом, как занятие пустое и бесполезное, есть дело небезопасное и весьма политическое. (Первый случай относится к глубокому детству, когда Сергей написал эпиграмму на одного генерала. «Расправу» тогда осуществил отец.)

Осенью 1790 года он решил возобновить занятия музыкой. «Для обучения музыке, вернувшись в Петербург, я нанял музыканта камерной придворной музыки Ми, который давал по приказу Екатерины уроки внукам ее, Александру и Константину».

Один раз он сказал мне: «Я напрасно беру деньги за обучение великих князей, никогда не будут они любителями музыки. Старший внук (Александр) худо слышит аккорд, притом нечувствителен и так скрытен в характере своем, что настоящих его склонностей приметить нельзя, а это худо для государя. Младший, — продолжал Ми, — хотя и имеет изрядный слух, — но как услышит барабан, то бросает все и без памяти бежит к окну. Вот первые черты характера сих великих князей, примеченные музыкантом».

В 25 лет Сергей Алексеевич участвует в войне с Польшей 1792—1794 годов. «Он находится в Вильне в 1794 году во время предательского избиения русских в пасхальную ночь. Выводит из города 16 орудий, спасает знамена Нарвского и Псковского полков, затем в смелом наступлении берет в плен польский батальон». За этот подвиг он становится лично известным императрице и награж-

дается орденами св. Владимира 4-й степени и Георгия 4-го класса, будучи еще в чине капитана артиллерии.

Как человек военный Сергей Алексеевич Тучков и объекты для критики, и образцы для подражания находил в основном среди сослуживцев. Военный гений А. В. Суворова не мог не вызывать в нем восхищения.

Вот что он пишет в «Записках» о великом полководце.

«...Суворов столь известен всякими его достоинствами, характером и странностью поступков, что мне не остается ничего о нем сказать. Разве только, что когда генерал-майор Арсеньев возвращен был уже из плена (Виленские волнения 1794-го. — *М. К.*) и находился при нем в должности дежурного генерала, то Суворов, когда имел какое-нибудь неудовольствие, говаривал: «Есть такие люди, которые много любят спать, и слышал я, что есть также, которые никогда не спят». Потом, оборотясь к находившемуся при нем, спрашивал: «Правда ли это, что есть у нас один артиллерийский капитан, будто он в жизнь свою еще ни разу не спал?»

«О, как я любопытен, — продолжал он, — видеть этого человека и слышать о том, от самого его». Эти слова были причиной, что я старался не быть представленным этому великому человеку. Я боялся, что таким необыкновенным вопросом не привел он меня в замешательство».

В 1796 году на престол вступает Павел I. Как бывает всегда, при смене правителя, с новым царем на «сцену» выходят новые действующие лица. Введены были новые порядки в армии и в светской жизни. Вот краткая характеристика правления Павла, данная нам в «Записках».

«Нередко тот, кто безо всяких других достоинств хорошо отсалютует экспонтоном[1] в разговоре, удостаивался повышения чином, награждения орденом, а иногда и имением. А наоборот. Низко его мщение открылось тотчас против чиновников, служивших при князе Потемкине, Зубове и других любимцах Екатерины, а потом против самих вельмож. Сей участи был подвержен и бессмертный Суворов». Император Павел велел, чтобы русская армия «больше была похожа на прусскую, что соблюдается и по сие время сыном его Александром».

Во время правления Павла I Тучкову было приказано подавить мятеж крестьян в Псковской губернии. Сергею Алексеевичу удалось усмирить жителей без кровопролития, за что он был награжден орденом св. Анны 2-й степени.

[1] Род копья.

Зачинщиками мятежа были лица дворянского происхождения, «приобретшие себе право дворянства в России, что не так трудно, и духовенство. Хотя имел я полную власть их наказать, не захотел переступить коренных российских прав. (Отмена при Екатерине II телесных наказаний для дворян. — *М. К.*) Да простит мне читатель мой, что я так тогда думал и полагал, что могут существовать в России какие-либо права. Государь, невзирая на коренные права, которым дворянство и духовенство изъемлются от телесного наказания, велел их высечь кнутом и сослать в Сибирь на каторжную работу...»

Умение Сергея Тучкова находить общий язык с людьми, быть справедливым и распорядительным особенно сказалось при управлении им гражданской частью в Грузии, с 1802 года. Вот что он пишет о событиях, предшествовавших этому важному мероприятию.

«...Георгий XII, последний грузинский царь, не знал, что будет после его кончины, так как некоторые члены царского дома искали покровительства дворов персидского и турецкого, имели сильную партию и возмущали народ... Поэтому Георгий решился перед кончиной своей сделать духовную, по которой уступил он все свое царство державе Российской...»

В 1802 году Сергей Алексеевич был назначен гражданским губернатором Грузии. Все это время он, по свидетельству Коломийцева, «имел дело с простым, бедным народом: поселял, устраивал их и принимал все меры для улучшения его благосостояния».

В том же году на Грузию обрушилось страшное бедствие — чума.

Сергей Алексеевич со свойственной ему энергией, вместе с маленькой горсткой людей боролся с эпидемией, и «благодаря только этому, она скоро прекратилась».

«...во время свирепствующей в сем городе чумной болезни принял я все спасительные меры к сохранению их (жителей. — *М. К.*) жизни и имущества. Отделив здоровых от зараженных и выпустив первых в надежное место, остался сам с одними зараженными чумою...»

В первые годы царствования Александра I С. А. Тучков продолжает блестящую деятельность на Кавказе в чине генерала. В это время сочиняет очерк, направленный на поднятие благосостояния Грузии, «Записки, касающиеся до земель между Черным и Каспийским морем находящихся, и в особенности о Грузии».

В 1807 году Александр, зная замечательные военные

и гражданские качества Тучкова, посылает его на «усмирение украинской милиции». Волнения в армии начались в ответ на манифест Александра I, по которому император обрекал на почти бессрочную службу солдат, хотя до этого обещал «при миновании опасности от французов» роспуск по домам.

По словам Сергея Алексеевича, император Александр вообще «легко отказывался от своих обещаний», но приказ есть приказ, и Тучков отправился усмирять мятеж, руководствуясь и в этом случае своими твердыми принципами, один из которых гласил: «Нет действия без причины, а потому должно с самого начала открыть причину и рассмотреть, справедлива ли она или ложна. В первом случае должно сообразоваться с правами народа, состоянием и образом правления. Хотя причина и справедлива, но всякое возмущение есть не что иное, как самоуправство, а поэтому непозволительно. И прежде, нежели приступить к мерам насилия, нужно доказать мятежникам неправость их поступка, и, смотря по обстоятельствам, невозможность исполнения их предприятия. Во втором случае — только объяснить им несправедливость причины, чтобы обратить их к должному повиновению».

Вот и секрет, почему там, где другие не могли обойтись без штыков и жертв, Сергей Тучков снискал себе добрую славу и среди начальников, и среди подчиненных.

Последние записи в этом дневнике относятся к 1808 году и посвящены военному положению России, двору Александра I и «характеристике наших генералов».

«Я умалчиваю здесь, сколько генералы наши, занимаясь одними только наружными мелочами в отношении одежды солдат, а другие табелями и бумагами, отвыкли от военного искусства. На каждом переходе, в каждом движении, в постановлении лагеря и в выступлении из оного, всякий раз находил фельдмаршал самые грубые и непростительные ошибки».

Далее Сергей Алексеевич приводит, чтобы не быть голословным, курьез, случившийся с генералом Ртищевым во время войны с Турцией 1808—1812 годов. Главнокомандующий князь Прозоровский распорядился, чтобы в 4 часа утра был произведен выстрел из пушки, по которому должен начаться генеральный марш на неприятеля во всех корпусах войска. С. А. Тучков лично передал этот приказ адъютанту генерала Ртищева. Пушка выстрелила в два часа ночи, чем произвела страшный переполох во всем лагере. На вопрос, как это могло произойти,

испуганный адъютант доложил, что выстрелил в два по приказу генерала Ртищева, «чтобы войска могли лучше подготовиться к утреннему маршу». Ртищев был отстранен от должности. На его место назначение получил Сергей Алексеевич Тучков.

«Больше здесь, кажется, некому», — зло оглядев генералов, добавил главнокомандующий.

В феврале 1812 года Сергею Алексеевичу удалось взять в плен пашу и более 600 человек турок. Он был представлен Кутузовым к награде.

К этому времени относится и факт построения и заселения Тучковым целого города в Бессарабии (1500 домов и лавок), без всяких издержек для казны. В награду за это Сенат постановил дать городу название «Тучков» в память потомству по имени учредителя (в середине XIX века вошел в черту города Измаила).

Когда началась Отечественная война 1812 года, Сергей Алексеевич находился еще в турецком походе, поэтому принимал участие только во второй ее половине. Он был назначен на ответственный пост дежурного генерала Дунайской армии, под командованием Чичагова.

В конце 1812 года в Минске Сергей Тучков был отдан под суд и отстранен от занимаемой должности. Можно предположить, что подлое обвинение, которое выдвинул против него Адам Чарторыжский, не обошлось без участия злопамятного Аракчеева.

Вражда графа Аракчеева с семьей Тучковых началась еще с 1799 года. По свидетельству П. Т. Коломийцева, в сентябре этого года в арсенале была совершена кража. На часах стоял батальон брата Аракчеева, генерал-майора Аракчеева 2-го. Расследование дела император Павел I поручил Аракчееву. Тот скрыл истинное положение дел и обвинил в «недоглядении» ни в чем не повинного командира другого батальона. Имя его осталось для нас неизвестным. Государь же удалил этого честного человека со службы. Но отставной оказался не трусливым и при помощи Сергея Алексеевича, который никогда не мирился с подобного рода несправедливостями, добился того, что Павел I узнал правду. 1 октября 1799 года вышел следующий царский приказ: «Генерал-лейтенант граф Аракчеев 1-й за ложное донесение о беспорядках отставляется от службы, генерал-майор Аракчеев 2-й за случившуюся покражу в арсенале его батальоном отставляется от службы».

Трудно представить истинное участие в этом деле

С. А. Тучкова, но, по-видимому, оно было существенным, если, вернувшись к власти, граф Аракчеев в царствование Александра I чинил всякие препятствия, а в двенадцатом году по ложному обвинению отдал его под суд.

Тучков обвинялся в том, что якобы войска, бывшие в его корпусе, разграбили имение польских князей Радзивиллов, а Тучков лично захватил у «жертвы» 10 миллионов злотых. Расследование длилось более 12 лет, было доказано, что «всем вещам и деньгам, отобранным по приказанию генерала Чичагова у Радзивиллов, была составлена опись, которая вместе с имуществом представлена тогда же Тучковым командующему Дунайской армии генералу Чичагову».

Странно то, что генерал Чичагов к делу привлечен не был и в 1814 году уехал за границу. На все время судебного разбирательства Тучков перебирается в город, основанный им, и живет там в опале до своего оправдания, которое совпало со смертью Александра I, в 1825 году.

За время опалы С. А. Тучков издал «Военный словарь», содержащий «Термины инженерные и артиллерийские, которые необходимо знать генералу для точных приказаний». В 1816—1817 годах изданы «Сочинения и переводы» в 4-х частях. В издание вошли переводы од Горация, трагедий Еврипида, Фебра, Афалия, Ореста и собственные сочинения: басни, сонеты, хоры, стихи и стансы, написанные Тучковым более чем за 20 лет. Среди басен есть одна, касающаяся Аракчеева: «Кокушка и Скворец». Коку́шка спрашивает Скворца, что о ней говорят в народе?

— Ничего, — отвечает Скворец, — похоже, что о тебе не знают.

— Ах так! — сказала Кокушка, — так я теперь буду везде повторять свое имя, без конца. Ку-ку, ку-ку, ку-ку.

Есть один малоизвестный, но замечательный факт в жизни Сергея Алексеевича Тучкова.

В 1821 году, когда он безвинно осужденный жил в городе Тучкове, Бессарабию посетил А. С. Пушкин. В Измаиле Пушкин долго бродил по местам, связанным с суворовским штурмом, и посетил «крепостную церковь, где есть надписи некоторых убитых на штурме».

В этом же городе на обеде у Славича он познакомился с генерал-лейтенантом С. А. Тучковым. Пушкин провел с ним весь день, весь вечер, «домой явился только в десять часов», перед ночью, и о чем они беседовали с генералом, осталось неизвестным. Знакомый Пушкина

И. П. Липранди, сопровождавший его в поездке, писал в своих воспоминаниях, что Пушкин «был очарован его (Сергея Тучкова. — *М. К.*) умом и любезностью» и признался, «что остался бы здесь на месяц, чтобы посмотреть все то, что ему показывал генерал».

Можно предположить, что А. С. Пушкин от Тучкова узнал подробности о Радищеве, с которым Сергей Алексеевич был знаком по «обществу друзей словесных наук» в Петербурге, а также о царствовании Екатерины II, Павла I и обстоятельствах убийства последнего.

Император Николай I вспомнил старого и верного воина и в память о его заслугах наградил званием генерал-лейтенанта и орденом Белого Орла за участие в турецкой войне 1828 года и за отличную службу градоначальника Измаила. Когда Сергею Алексеевичу было 63 года, он стал сенатором. Физические и душевные раны давали себя знать. В 1834 году он покидает службу, а вскоре и Измаил. Переселяется в Москву, поближе к единственному, оставшемуся в живых изо всей семьи брату Павлу Алексеевичу, и в 1839 году умирает. Похоронен в Новодевичьем монастыре.

Если говорить о внешности генерал-лейтенанта С. А. Тучкова, то по единственному портрету, который сохранился, можно сказать, что нос у него был крупный и горбатый, подбородок рубленый, волевой, а выражение глаз и губ мягкое, грустное, мечтательное. Вообще внешне Тучковы не похожи друг на друга. Хотя есть в этих лицах что-то общее: привлекательность верных, деятельных и честных людей.

Ну вот, пожалуй, и все, что можно рассказать о жизни Сергея Алексеевича Тучкова — человека, который, по его собственным словам, в жизни был чрезвычайно предприимчив, и никакой труд не мог его устрашить.

«ТЕ, КОТОРЫЕ БЫВАЮТ ВПЕРЕДИ»
ПАВЕЛ

Павел Алексеевич Тучков, четвертый сын сенатора Алексея Васильевича Тучкова, родился 8 октября 1775 года в городе Выборге, где его отец был начальником крепостей около шведской границы.

Алексей Васильевич и младших сыновей предназначал для военной службы. Записан Павел был в артиллерию. В шведскую войну 1808—1809 годов награжден за храбрость и распорядительность орденом св. Анны

1-й степени. В сражении на острове Кимито П. А. Тучкову удалось спасти от шведского плена главнокомандующего армии графа Ф. Б. Буксгевдена и дежурного генерала П. П. Коновницына.

После окончания войны в 1809 году генерал-майор П. А. Тучков находился со своей бригадой около Берго и Ловизы и по распоряжению начальства оставался там до декабря. В начале 1812 года Тучков находился в 1-й Западной армии Барклая-де-Толли. К сожалению, этим исчерпывают себя скудные сведения о жизни Павла Алексеевича с момента его рождения и до Отечественной войны 1812 года. Зато имеются его личные записки о войне 1812 года, впервые опубликованные в «Русском архиве» в 1873 году: «...Русские отступали. Главной целью этого отступления была необходимость соединения двух армий: 1-й под командованием Барклая де Толли и 11-й под предводительством князя Багратиона».

В Смоленске это соединение произошло. Из Смоленска армии двинулись на Рудню, в этом движении П. А. Тучкову был поручен особый отряд, из Егерской бригады князя Шаховского, Ревельского пехотного полка под командованием А. А. Тучкова и др. Затем Барклай-де-Толли изменил это распоряжение и армии возвратились к Смоленску.

5 августа П. А. Тучков стал «свидетелем мужественной обороны Смоленска и страшного разрушения сего древнего города».

1-я Западная армия весь следующий день простояла на правом берегу Днепра, в 2 верстах от петербургского предместья, а вечером этого дня Барклай-де-Толли решил выйти на Московскую дорогу, почти на глазах у неприятеля, боясь разобщения со 2-й армией. Войско он разделил на две колонны: левую вел Дохтуров, а правую Н. А. Тучков, старший брат Павла. Его путь лежал через Лубино.

Авангард Павла Алексеевича должен был идти впереди правой колонны, ночью, и первым выйти к Лубину. Далее без остановки его отряд должен был идти к Бредихину. Сначала все шло по предписанию, но вскоре Павел Алексеевич понял, что, покинув Лубино, он открывает противнику чрезвычайно важную точку, соединение Московской дороги с проселочной, и что, заняв ее, французы смогут отрезать I армию от II. А это в настоящем положении равносильно гибели всего русского войска.

В руках Павел Алексеевич держал диспозицию, нарушение которой грозило судом, но совесть его не могла подчиниться формальности.

Он повернул отряд назад и укрепил позицию на Московской дороге. Теперь оставалось только продержаться там до тех пор, пока колонна его старшего брата успеет перейти с проселочной на столбовую дорогу.

Александр Тучков со своим неразлучным Ревельским пехотным полком горячо поддержал брата и остался с ним.

Адъютант, посланный сообщить Н. А. Тучкову о намерении отряда, вернулся. Н. А. Тучков знал обо всем и выслал в помощь храбрецам два полка. Три брата отлично понимали друг друга и были едины в желании защищать свое Отечество. Поэтому для дальнейших распоряжений не понадобилось много слов.

В течение четырех часов[1] отряд Павла Алексеевича мужественно отражал наступление корпуса маршала Нея и подошедших к нему на помощь войск Мюрата и Жюно. Все атаки французов были отбиты. Вечером этого дня наконец все русские корпуса вышли на столбовую дорогу. Армия была спасена, но бой продолжался. Поздно вечером Ней еще раз попытался прорвать центр русских сил, и Павел Алексеевич повел полк в контратаку.

«...Едва я сделал несколько шагов в голове колонны, как пуля ударила в шею моей лошади, от чего она, приподнявшись на задние ноги, упала на землю. Видя сие, полк остановился; но я, соскочив с лошади, и, дабы ободрить людей, закричал им, чтобы шли вперед за мною, ибо не я был ранен, а лошадь моя, и с сим словом, став на правый фланг первого взвода колонны, повел оную на неприятеля, который, видя приближение наше, остановясь, ожидал нас на себя. Не знаю, отчего, но я имел предчувствие, что люди задних взводов колонны, пользуясь темнотою вечера, могут оттянуть, и потому шел с первым взводом, сколько можно укорачивая шаг, дабы прочие взводы не могли оттягивать. Таким образом приближаясь к неприятелю, уже в нескольких шагах, колонна. закричав «ура!», кинулась в штыки на неприятеля. Я не знаю, последовал ли весь полк за первым взводом; но неприятель, встречая нас штыками, опрокинул колонну нашу, и я, получа рану штыком в правый бок, упал на

[1] Весь бой длился восемь часов. Четыре часа П. А. Тучков прикрывал отход 1-й армии за Днепр.

землю. В это время несколько неприятельских солдат подскакали ко мне, чтоб приколоть меня, но в самую ту минуту французский офицер по имени Этиен, желая иметь сам сие удовольствие, закричал на них, чтобы они предоставили ему это сделать.

«Пустите меня, я его прикончу», — были его слова, и с тем вместе ударил меня по голове имевшеюся в руках его саблею. Кровь хлынула и наполнила мне вдруг и рот и горло, так что я ни одного слова не мог произнести, хотя был в совершенной памяти. Четыре раза наносил он гибельные удары по голове моей, повторяя при каждом: «Ах, я его прикончу», но в темноте и запальчивости своей не видал того, что чем более силился нанести удар мне, тем менее успевал в том: ибо я, упав на землю, лежал головою плотно к оной, почему конец сабли его, при всяком ударе упираясь в землю, уничтожал почти оный так, что при всем усилии его он не мог мне более сделать вреда, как только нанести легких ран в голову, не повредя черепа. В этом положении казалось, что уже ничто не могло спасти меня от очевидной смерти, ибо, имея несколько штыков упертыми в грудь мою и видя старание господина Этиена лишить меня жизни, ничего не оставалось мне, как ожидать с каждым ударом последней моей минуты. Но судьбе угодно было определить мне другое. Из-за протекавших над нами облаков, вдруг просиявшая луна осветила нас своим светом, и Этиен, увидя на груди моей Анненскую звезду, остановив взнесенный уже, может быть, последний роковой удар, сказал окружавшим его солдатам: «Не трогайте его, это генерал, лучше взять его в плен». И с сим словом велел поднять меня на ноги. Таким образом, избежав почти неминуемой смерти, попался я в плен неприятелю».

Один из современников П. А. Тучкова писал о судьбе этого боя и личных качествах Павла Алексеевича так: «Блистательный подвиг Тучкова, поглощенный... громадностью... событий, не был в свое время достойно оценен. Впоследствии император Александр уподобил сражение под Лубиным Кульмскому бою».

В ЛАГЕРЕ ФРАНЦУЗОВ

«...Не более как через полчаса довели меня до места, где находился неаполитанский король Мюрат, как известно, командовавший авангардом и кавалериею неприятельской армии. Мюрат тотчас приказал своему доктору осмотреть и перевязать раны мои.

Потом спросил меня, «как силен был отряд наших войск, бывших в деле со мною», и когда я ему ответил, что нас было в сем деле не более 15 000, то он с усмешкою сказал мне: «Говорите другим, другим! Вы были гораздо сильнее этого», на что я ему не отвечал ни слова. Но когда он мне стал откланиваться, то я вспомнил, что покуда меня вели до него, то храбрый мой Этиен, услыша от меня несколько слов по-французски, начал меня убедительно просить, чтобы, когда я буду представлен неаполитанскому королю, замолвил бы о нем хотя одно слово, которое, конечно, сделает его счастливым. Я не хотел ему платить злом, откланиваясь королю, сказал, что имею к нему просьбу.

— Какую? — спросил король. — Я охотно сделаю угодное вам.

— Не забыть о награждениях офицера сего, который меня к вам представил.

Король усмехнулся, и, поклонясь, сказал мне:

— Я сделаю все, что только можно будет, — и на другой день г. Этиен был украшен орденом Почетного Легиона.

Король приказал отправить меня, в сопровождении адъютанта своего, в главную квартиру императора Наполеона, находившуюся в г. Смоленске. С большим трудом переправились мы через сожженный нами городской на Днепре мост, который кое-как французами был уже исправлен. В глубокую полночь привезли меня в Смоленск и ввели... в комнату довольно большого каменного дома, где оставили меня на диване».

ПЕРВЫЕ ДНИ ПЛЕНА

«...На другой день поутру явился ко мне известный всем главный доктор французской армии Ларрей. Он осмотрел и перевязал раны мои, и так как лично я его не знал, то объявил мне между прочими своими рассказами, что он главный доктор армии, что он был с Наполеоном в Египте и что он также имеет генеральский чин. Расспрашивая меня или, лучше сказать, сам мне все рассказывая, он спросил меня, не знавал ли я когда в Москве доктора Митивье? Когда я ему отвечал, что я его очень хорошо знал и что даже лечился у него в Москве, то он предложил мне, не хочу ли я его видеть, ибо он находится

в Смоленске при главной квартире армии, и потому он может тотчас прислать ко мне. И в самом деле через час явился ко мне г. Митивье, коему я весьма был рад, ибо он один был из всех тогда окружавших меня, коего я знавал когда-нибудь. <...>

На третий день поутру вошел ко мне французский генерал Дензель, комендант главной квартиры Наполеона, и, между прочим, сказал мне, что он имеет приказание узнать от меня, куда я хочу быть отослан, ибо по причине совершенного разорения Смоленска оставаться в оном мне никак невозможно. Я отвечал ему, что для меня все равно, где б мне ни приказано было жить, и что я в положении моем располагать собою не могу; но если сие сколько-нибудь зависеть будет от моего желания, то я хотел бы только того, чтоб мне не было назначено местопребывание в Польше; во всяком же другом месте для меня все будет равно, только чем ближе будет к России, тем лучше, а потому, если бы можно было, я хотел бы, чтоб меня отослали в Кенигсберг или Эльбинг, уверяя, что я в обоих сих городах могу жить очень покойно и приятно, что я и предоставил совершенно на волю его. <...>

Под вечер того дня, когда я сидел в моей комнате один, размышляя о горестном положении моем, на дворе уже было довольно темно, дверь моя отворилась, и кто-то, вошед ко мне в военном офицерском мундире, спросил меня по-французски о здоровье моем. Я, не обращая большого внимания, полагая, что то был какой-нибудь французский офицер, отвечал ему на вопрос сей коекак, обыкновенною учтивостью. Но вдруг услышал от него по-русски: «Вы меня не узнали, я Орлов, адъютант генерала Уварова, прислан парламентером от главнокомандующего с тем, чтоб узнать, живы ли вы и что с вами сделалось?» *Сердце во мне затрепетало от радости, услышав неожиданно звук родного языка;* я бросился обнимать его, как родного брата. Орлов рассказал мне беспокойство на мой счет моих братьев и главнокомандующего, ибо никто в армии нашей не знал, жив ли я еще и что со мной случилось. Предавшись полной радости и считая, что никто не будет понимать нас, если будем говорить по-русски, я стал было ему рассказывать разные обстоятельства, касавшиеся до военных наших действий, но вдруг отворилась дверь, и из-за оной показалась голова. Это был польский офицер, проведший ко мне Орлова, который напомнил ему, что на сей раз более он оставаться у меня не может; и я должен был с ним расстаться. При прощании нашем Орлов обещал мне, получа депеши, прийти еще раз проститься со мною; но, как я после узнал, сделать ему сего не позволили, и я уже более не видал его.

На пятый или шестой день после несчастного со мной происшествия вошел ко мне молодой человек во французском полковничьем мундире и объявил мне, что он прислан ко мне от императора Наполеона узнать, позволит ли мне здоровье мое быть у него, и если я сделать сие уже в силах, что он назначит мне на то время...»

ВСТРЕЧА С НАПОЛЕОНОМ

«Перед домом бывшим Смоленского военного губернатора, где жил Наполеон, толпилось множество военных...

...Лакей впустил меня одного в ту комнату, где был сам император Наполеон с начальником своего штаба.

У окна комнаты, на столе, лежала развернутая карта России. Я, взглянув на оную, увидел, что все движения наших войск означены были воткнутыми булавочками с зелеными головками, французских же — с синими и других цветов, как видно, означавшими движение разных корпусов французской армии. В углу близ окна стоял маршал Бертье, а посреди комнаты император Наполеон. Я, войдя, поклонился ему, на что и он отвечал мне также очень вежливым поклоном. Первое слово его было:

— Которого вы были корпуса?

— Второго, — отвечал я.

— А, это корпус генерала Багговута!

— Точно так!

— Родня ли вам генерал Тучков, командующий первым корпусом? [1]

— Родной брат мой.

— Я не стану спрашивать, — сказал он мне, — о числе вашей армии, а скажу вам, что она состоит из восьми корпусов, каждый корпус — из двух дивизий, каждая дивизия — из шести пехотных полков, каждый полк — из двух батальонов, если угодно, то могу сказать даже число людей в каждой роте.

Потом, помолчав несколько, как будто думая о чем-то, оборотясь ко мне, сказал:

— Со всем тем, что его (Александра I. — *М. К.*) очень люблю, понять, однако же, никак не могу, какое у

[1] Третьим корпусом — ошибка автора (издателя).

него странное пристрастие к иностранцам, что за страсть окружать себя подобными людьми, каковы, например, Фуль, Армфельд и т. п., людьми без всякой нравственности, признанные во всей Европе за самых последних людей всех наций? Как, неужели бы он не мог из столь храброй, приверженной к государю своему нации, какова ваша, выбрать людей достойных, кои, окружив его, доставили бы честь и уважение престолу?

Мне весьма странно показалось сие рассуждение Наполеона, а потому, поклонясь, сказал я ему: «Ваше величество, я подданный моего государя и судить о поступках его, а еще менее осуждать поведение его никогда не осмеливаюсь, я солдат, и, кроме слепого повиновения власти, ничего другого не знаю». <...>

На вопрос, может ли Тучков писать государю, Павел Алексеевич ответил отказом, но согласился написать брату. Наполеон просил его в письме оговорить то, что французский император желает только мира и предлагает вступить в переговоры. Письмо было написано и отправлено в главную квартиру. Ответа Наполеон не получил. «Продержав меня у себя около часу и откланиваясь, он советовал мне не огорчаться моим положением, ибо плен мой мне бесчестья делать не может. Таким образом, как я был взят, — сказал он, — берут только тех, которые бывают *впереди,* но не тех, которые остаются назади».

Из Смоленска Павел Алексеевич был отправлен во Францию. Известие о гибели двух братьев, Николая и Александра, которых в последний раз он видел перед сражением под Лубином, застало его в дороге. Тяжело пережил он эту весть. Сердце его рвалось в Россию, домой, хотелось утешить мать в этот страшный час, но колеса дорожной кареты уносили его все дальше из родных мест, и изменить свою судьбу он был не волен.

Во Франции некоторое время он прожил в Меце, затем переехал в Соассон, потом в Ренн. К сожалению, ничего не известно о том, как прожил он эти годы, но то, что он испытывал при этом, испытывал и испытывает до сих пор всякий русский, которого отрывают от родной земли.

В 1814 году русские войска вступили в Париж, и П. А. Тучков явился к императору. Александр всячески обласкал старого воина и немедленно предоставил ему отпуск.

Встреча с матерью была полна печали, и радость свидания с сыном не могла ее рассеять. Казалось, ничто не

могло вызести Елену Яковлевну из состояния душевной опустошенности. Удар, обрушившийся на нее смертью двух сыновей, оказался слишком тяжелым. Она утратила способность видеть и радоваться всему земному.

В 1815-м Тучков вновь возвращается на военную службу и участвует в походе во Францию.

В 1819 году Павел Алексеевич Тучков просит императора об отставке, ссылаясь на состояние здоровья. Также причиной ухода его от военных дел служит его женитьба на дочери тайного советника Неклюдова. Теперь он намерен посвятить свою жизнь жене, будущим детям, дому и хочет уехать в свою подмосковную деревню.

В 1826 году Николай I по случаю своей коронации жалует Павла Алексеевича чином тайного советника и назначает почетным опекуном Московского опекунского совета.

В 1828 году он становится сенатором, и его гражданская служба продолжается. В 1838 году избирается членом Государственного совета и председателем Комиссии прошений. За службу на этой должности ему объявлена монаршая признательность. До последних дней своей долгой жизни Тучков находился на гражданской службе.

Умер Павел Алексеевич Тучков 24 января 1858 года, 83 лет.

«...Я ОТСТУПИЛ ПОСЛЕ ВСЕХ» АЛЕКСАНДР

Начать эту главу о самом младшем из братьев Тучковых хотелось бы с такого портрета-характеристики:

«С красивой наружностью, Александр Алексеевич соединял душу возвышенную, сердце благородное, чувствительное, ум, обогащенный плодами европейского просвещения. Часто задумывался он и мечтал, склонив свою голову на руку, но воспламенялся, когда заводили речь о судьбе России, находившейся тогда в беспрестанных войнах. В сражениях он был распорядителен, хладнокровен, и нередко видали его с ружьем в руке, подающего пример храбрейшим».

Родился Александр Тучков 3[1] марта 1778 года в Киеве, куда отец его был назначен служить и где его старший брат Сергей уже сочинил свои первые стихи. Воспи-

[1] В жизнеописании, составленном А. И. Михайловским-Данилевским, — 7 марта 1777 года.

тывался Александр, как и все его братья, в родительском доме, так что были в его детстве и дьячок с букварем, и пастор с немецким и латынью, и арифметика, и гувернер-француз, и география, и обучение делать учтивые поклоны и правильно держать себя в обществе.

Как и старшие братья, Николай и Павел, Александр был зачислен в артиллерию, где прослужил до чина полковника. В 1802 году, из-за неудачного сватовства к Маргарите Нарышкиной он уехал за границу и в мае 1804 года в Париже присутствовал при провозглашении Наполеона французским императором. Сохранилось письмо Александра Тучкова к родным: «...Казалось, что трибун Карно возразительную речь свою произнес под сверкающими штыками Наполеона. Туманно и мрачно было его лицо, но голос его гремел небоязненно...»

За границей Александр посещал академии, университеты и «другие просвещенные учреждения».

Необходимо заметить, что Александр Алексеевич в полковники был произведен в 22 года. Это сулило ему головокружительную карьеру, но по словам современников, «не надмило его». Вообще все Тучковы были просты в обращении с людьми самых разных социальных слоев.

Наверное, все они, и особенно юный Александр, мечтали о славе. И каждый лелеял в своей душе подвиг, который в результате и совершил. Но честолюбие таких людей прекрасно, потому что оно деятельно и по сути своей всегда направлено на общее благо. Это не то желание признания и власти, которое идет от сознания собственного превосходства, и для которого все пути к славе хороши, и цель готова оправдать любые средства к ее достижению. Душа Тучковых чиста и бережлива, поэтому все, что исходило от них, было хорошо, и не могло быть дурно.

В 1804 году Александр вернулся домой и в следующем году был переведен в Муромский пехотный полк. Первый в своей жизни бой Тучков принял в русско-прусско-французской войне в 1806 году, где командовал Таврическим гренадерским полком и особенно отличился в сражении при Голымине. Беннигсен, при составлении донесения Александру не забыл упомянуть о доблести полковника, который вместе с князем Щербатовым «под градом пуль и картечи действовал как на учении».

За отличие в кампании Александр был награжден орденом Владимира 4-й степени и Георгия 4-й степени. А также назначен шефом Ревельского пехотного полка.

С этим полком Тучков участвовал и в русско-шведской войне 1808—1809 годов, с ним в 1810 году и вошел командиром 1-й бригады в 3-ю пехотную дивизию Коновницына, которая отличилась в мае 1812 года в Вильне на Высочайшем смотре полков дивизии Коновницына, с ним защищал Молоховские ворота в битве за Смоленск 5 августа 1812 года, с ним бился под Лубином, и во главе своего Ревельского полка и Муромского 26 августа был послан братом Николаем на помощь князю Багратиону к деревне Семеновской, где впереди всего Ревельского полка со знаменем в руках, перед дрогнувшими от ураганного огня солдатами, был разорван на части ядрами и снарядами, обрушившимися на него со всех сторон и в один момент.

Но это все было потом, а пока Александр только вступил в новое звание и осматривал вверенный ему полк.

Необходимо отметить, что благодаря своим прекрасным душевным качествам он был с любовью принят солдатами.

В 1807 году Александр Тучков со своим полком участвовал в Фридландском сражении и сумел продержаться в течение трех часов против неприятеля, превосходящего силы русских.

В 1808 году генерал-майор Тучков со своим полком попал в корпус Барклая-де-Толли и воевал в Финляндии, где участвовал в кровопролитном бою при Иденсальми. А в кампании 1809 года был назначен дежурным генералом при Барклае-де-Толли. За особые отличия в этих кампаниях на тридцать втором году жизни он был произведен в генерал-майоры.

В 1811 году 33-летний Александр Алексеевич неожиданно просит императора об отставке, ссылаясь на состояние здоровья. На самом деле безграничная любовь к Маргарите Нарышкиной, в 1806 году ставшей его женой, и только что родившемуся сыну Николаю занимает все его мысли. А поскольку Тучковы умеют жить, целиком посвятив себя чему-нибудь, то Александр считает честным уйти теперь с военной службы и посвятить свою жизнь семье, поселившись в небольшом любимом им поместье в Тульской области. К тому же он жалел жену, которая изводила себя тревогами за его жизнь теперь более, чем когда-либо, потому что из-за рождения мальчика не могла уже следовать за мужем повсюду. Ее постоянная нервность и грусть передавались ребенку. Он рос слишком восприимчивым и слабым. Все это тревожило

Александра, и страх, которого он стыдился и старался скрыть, страх потерять сына и оставить несчастной Маргариту, страх за них и страх за себя, свою жизнь, впервые показавшуюся ему ценной, из-за того, что ее так ценила Марго, заставил его принять решение об отставке и просить ее у Александра I.

Но император отклонил просьбу Тучкова, и к 1812 году Александр Алексеевич получил 1-ю бригаду 3-й пехотной дивизии Коновницына. Новые, ответственные обязанности отвлекли его от тревожных мыслей, и только по дороге в Смоленск, куда он шел вместе с армией Барклая-де-Толли для соединения, ночной страх жены, ее сон, бледность и слезы вернули его к прежним мыслям. Но он постарался прогнать их. Это было необходимо, чтобы успокоить Маргариту, придать силы для того, чтоб она смогла добраться до Москвы. Поэтому только раз коснулся его сердца холодок при слове «Бородино», коснулся и по приказу исчез, и всю душу наполнили мысли о любви, счастливой жизни под Тулой, о воспитании единственного сына. Успокоился Александр, успокоилась Маргарита, и на следующий день, прощаясь с ним перед отъездом, она улыбалась и крестила его на дорогу.

Во время движения соединившейся армии к Поречью, Александр Тучков находился в отряде брата Павла Алексеевича и, как уже известно читателю, участвовал в битве под Лубином, во время которой Павел Алексеевич был захвачен в плен. Братья знали от адъютанта Орлова, что Павлу сохранена жизнь, и надеялись, что после победы он сможет вернуться в Россию.

26 августа 1812 года Бородинская битва началась с массированного удара по левому флангу князя Багратиона. Не прошло и часа, как Багратион прислал Николаю Тучкову адъютанта с приказом о подкреплении у деревни Семеновской. Ни минуты не раздумывая о том, что можно не выполнить приказ командующего другой армией, Николай отправляет на помощь того, в ком более всех уверен — 3-ю пехотную дивизию Коновницына и с ней того, кем более всех дорожил, — младшего брата Александра.

Неприятель сумел завладеть Семеновскими флешами, когда подоспела дивизия Коновницына, и штыками выбила французов с занятой позиции.

Разъяренный неудачной атакой неприятель обрушил на сражающихся ураган ядер и картечи. Сотни солдат

повалились на землю замертво. Ревельский полк дрогнул и стал беспорядочно отступать.

Стоны, крики не замолкали вокруг ни на минуту. Но Александру вдруг почудился женский крик, далекий и страшный. «Марго», — пронеслось в голове, но солдаты продолжали отступать, и Александр бросился вперед, чтобы их остановить.

— Да что же вы, ребята, неужто трусите? — прокричал он, но новое свинцовое облако картечи накрыло полк, и с перекошенными от ужаса лицами солдаты бросились уже врассыпную, не слушая своего командира.

— Ах, так! — хватая бегущих за мундиры, снова закричал генерал, и ярость исказила его лицо. — Боитесь, так я один пойду! Смотрите!

И с этими словами, не думая больше ни о чем, только «остановить!», он схватил дымящееся, брошенное на землю знамя своего полка и ринулся вперед.

«Картечь расшибла ему грудь... Множество ядер и бомб каким-то шипящим облаком обрушилось на то место, где лежал убиенный, взрыло, взбуровило землю и выброшенными глыбами погребло тело генерала».

— Ваше благородие, ведь убьют! — крикнул ему вслед какой-то остановившийся немолодой солдат, но в следующую минуту зажмурился от того, что увидел. — Ребята, да что же это, ура! — надрывно закричал он и со штыком наперевес побежал к месту, на котором только что находился его командир. — У-р-а! — закричали остальные, избегая глядеть друг другу в глаза, и все, кто остался в живых, побежали за старым солдатом...

Тучкову было в это время 34 года.

Вот словесный портрет Александра Алексеевича, который рисует нам поэт-ветеран Ф. Н. Глинка, участник Бородинской битвы, в «Очерках Бородинского сражения».

«Видали ль вы портрет генерала молодого, со станом Аполлона, с чертами лица чрезвычайно привлекательными? В этих чертах есть ум. В этих чертах, особливо на устах и в глазах, есть душа! По этим чертам можно догадаться, что человек, которому они принадлежат, имеет сердце, имеет воображение...»

Видно, что он «умеет задумываться и мечтать», но в пылу боя Александр Тучков — «чистый русский солдат».

Вот что в 1807 году после Фридландского сражения писал Александр своему любимому брату Николаю:

«Невзирая на ядра, картечи и пули, я совершенно здоров... Счастье вывело меня [невредимым] из боя. (Год

назад Александр женился, и Маргарита сопровождала его в этом походе. — *М. К.*) ...Я оставил поле сражения в 11 часов вечера. когда неприятельский огонь умолк. Я отступил после всех».

* * *

Читая исторические книги, мы часто видим, что мнение и оценка событий давно минувших более всего зависят от мнений и настроений автора, который их нам описывает.

Эпоха царствования Александра I была контрастна и выпукла своими противоречиями. С одной стороны, из документов следует, «что никогда в России дела еще не были так плохи, как во время правления Александра», — с другой — именно «незаметность» честных, умных людей, таких, как Тучковы, свидетельствует о том, что их было много.

Тучковы принадлежат к тем людям, которые в любых условиях, при любых обстоятельствах, не задаваясь головокружительными целями, честно делали свое дело, вкладывали в него ум, мужество, душу, жизнь.

1812 год проявил все лучшее в русской нации, в народе, в дворянстве. Так, под рукой реставратора на старой темной иконе проявляются древние, прекрасные черты.

В «Войне и мире» Л. Н. Толстой подробно и откровенно показал «александровское» дворянство. Так мечтателя нам представляет Пьер Безухов, корыстолюбцев и прожигателей жизни — Борис Друбецкой и Анатоль Курагин, а честных, верных и ответственных людей — семьи Болконских, Ростовых, Василий Денисов, Дохтуров. Есть удивительные совпадения в судьбе князя Андрея и двух братьев Тучковых, Николая и Александра, погибших под Бородином. В Аустерлицком сражении князь Андрей на высочайшем подъеме своих жизненных сил, во время паники в войске хватает знамя, бежит с ним вперед, увлекая за собой солдат и падает раненный. Так погиб в Бородинском сражении самый младший из семьи Тучковых Александр.

В Бородинской же битве князь Андрей стоял в резерве и, ничего не успев сделать для Отечества, очень скоро был смертельно ранен осколком гранаты, отправлен в Ярославль, где спустя три недели скончался от ран.

Точно так заканчивает свою жизнь Николай Алексеевич Тучков, бессмысленно, из-за ошибки (или интриг)

Беннигсена, выведенный из назначенной Кутузовым засады и поставленный на Утицкой высоте прямо перед неприятелем. Может, это и простое совпадение, но известно, что Толстой разобрал огромное количество документов и архивов тех лет, и многие его герои — доподлинные исторические лица, а многие появились как собирательные. Теперь уже никто этого не узнает, да и важно ли это. Факты, факты и факты, без вымысла, настолько выразительные сами по себе, что из них и составлялся характер, потому что в конечном итоге именно поступок определяет человека. Вот задача в описании жизни Тучковых, о которых мало известно. Но неизвестность эта — лучшее доказательство их достоинств.

ЛЮБОВЬ — ВОТ МОЕ УПОВАНИЕ МАРГАРИТА

...Слова императора вывели женщину из задумчивости. «Кланяюсь вам, Ваше превосходительство, разделяю скорбь Вашу, — сказал Николай I, спешившись, и подал ей руку. — Но день славный!»

Эта женщина, опередившая императора, по его собственным словам, в увековечении памяти русских героев, была инокиня Спасо-Бородинского монастыря Мелания, в миру Маргарита Михайловна Тучкова.

Замечательная женщина своего времени, жена и почитательница самого младшего из братьев, Александра Алексеевича, сделавшая для своего Отечества и мужа не меньше, чем прославленные жены декабристов.

Маргарита по праву носила фамилию Тучковых. Она была Тучковой по своей природе, образу мыслей и жизни. Она была не только женой Александра, она была сестрой всем его братьям.

Эта женщина превратила прошлое в свое настоящее. Она берегла и хранила его. И в этом заключался ее нравственный подвиг, потому что без прошлого нет и не может быть настоящего и будущего.

Маргарита Михайловна Тучкова, дочь подполковника Михаила Петровича Нарышкина и княжны Варвары Алексеевны Волконской, родилась 2 января 1781 года.

С детства она отличалась нервным, восприимчивым характером, была вспыльчива по мелочам, но никогда и ни на кого не держала в сердце злобы. Быстро раскаивалась в своей дерзости и не находила себе места, пока обиженный ею человек, будь то подруга или горничная,

не прощал ее. Любимым ее занятием было чтение и музыка, глубокий голос ее, когда она пела на праздниках, находили прекрасным.

Она была высокого роста, стройна, лицо же ее было некрасиво. Правда, стоило человеку заговорить с ней, как он попадал во власть ее живых зеленых глаз и был окончательно покорен живостью ее ума и манер. В шестнадцать лет ее выдали за Павла Михайловича Ласунского, который женился из-за приданого и не мог оценить достоинств жены, кроме единственного, что женился на юной девушке. Продолжая вести холостяцкий образ жизни, отдалив от себя жену, он по-своему «позаботился» о ней — окружил молодыми людьми из числа своих знакомых.

Так впервые увидела в своей гостиной Маргарита Михайловна Александра Алексеевича Тучкова и была поражена его красотой, молодостью и мечтательной задумчивостью. Она полюбила и встретила полную взаимчость. Но что оставалось ей, жене Ласунского, воспитанной в строгости и добродетели, с детства не склонной к компромиссам с совестью? Только плакать ночами от несбыточности мечты и молиться. Ее мать узнала о несчастливом замужестве, а так как репутация Ласунского была везде хорошо известна, то развод был получен легко, и Маргарита Михайловна возвратилась в отчий дом.

Вскоре после этого Тучков приехал просить у Варвары Алексеевны руки ее дочери и... получил отказ:

— Я благодарна за честь, милостивый государь. Не скрою, это родство было бы нам приятно. Но дочь моя теперь в таком состоянии, что мысль о брачных узах ей неприлична.

Отказ произвел такое глубокое впечатление на обоих влюбленных, что с Маргаритой Михайловной сделалась нервная горячка, а Александр Алексеевич в тот же день начал сборы, и неделю спустя в солнечный декабрьский день 1802 года отбыл за границу. Прежде в Германию, затем в Париж, под предлогом, что хочет совершенствовать свои знания в науках.

...Вещи были упакованы и устроены в дорожной карете, кучер уже сидел на козлах и ждал распоряжений. Уже перекрестила Александра на дорогу мать Елена Яковлевна, надавала наставлений, просила беречь себя, возвращаться поскорее, можно было ехать, но Александр Алексеевич медлил. Потом, все же решившись, подозвал

к себе мальчика, на вид самого смышленого из тех, что собрались поглядеть на отъезд барина.

— Сбегай к Нарышкиным, барышне передай, она к обедне сейчас выйдет, — быстро проговорил Тучков и вдруг вспыхнул.

Мальчик зажал в руке вчетверо сложенный листок и, ничего не отвечая на вопросы детей, припустился со двора.

Александр еще раз оглянулся вокруг, подышал в ладони, потеребил перчатки, поправил воротник. Еще раз поцеловал руки матери, улыбнулся старшему брату Николаю, который, уже простившись с ним, смотрел из окна кабинета, и сел в карету.

— Но, милые, — в ту же секунду крикнул замотанный в тулуп кучер, и две вороные, весело хрустя на морозе упряжью, тронулись.

А Маргарита Михайловна Нарышкина с этого дня стала обладательницей письма, в котором было стихотворение, написанное по-французски, и каждая строфа оканчивалась стихами:

Qui tient mon coeur et qui l'agite?
C'est la charmante Marguerite.
(Кто владеет моим сердцем и кто волнует его?
Прекрасная Маргарита.)

Оно поддерживало ее в годы разлуки и береглось ею как святыня до самой смерти.

Прошло время, но их любовь не остыла. Через четыре года Александр Алексеевич обратился с предложением к Нарышкиным второй раз. Они дали согласие, и в 1806 году влюбленные соединились навсегда. Маргарите Михайловне было 25 лет, Александру Тучкову 29.

Когда начался шведский поход, Маргарита Михайловна настояла на том, что поедет с мужем, переодевшись в мужское платье, в должности его денщика. Ей говорили о трудностях военного житья, лишениях, опасностях, отговаривали, но не уговорили.

— Расстаться с мужем мне еще страшней, — был непоколебимый ответ, и все отступили.

У Тучковых и Нарышкиных была одна общая родовая черта. Выбрав какое-нибудь дело или человека по душе, они посвящали ему всего себя без остатка, и иначе быть не могло. Это было в родителях, это передавалось детям и вселяло в старших волнение и гордость за них.

Солдаты полюбили жену своего начальника за простоту обращения, веселость, полное отсутствие жеманства и

капризов. Она была добрым товарищем, и они изо всех сил старались скрасить ей тяжести военного похода.

Вот как описывает писательница Т. Толычева состояние Маргариты Михайловны во время какого-нибудь сражения: «То она молилась, то прислушивалась к пушечным выстрелам... Но все было забыто, когда прекращалась пальба, барабанный бой возвещал о возвращении наших войск, и она выбегала на дорогу и узнавала издали всадника, скачущего впереди полка».

Перед Отечественной войной 1812 года полки Тучкова стояли в Минской губернии. У Маргариты Михайловны родился сын, названный Николаем, в честь старшего брата, которого особенно любил Александр Алексеевич. По желанию Александра молодая мать сама кормила мальчика, несмотря на противодействие родных и докторов, считающих это совершенно неприличным и вредным. Маргарита любила своего сына с той страстностью, которую вносила во все свои привязанности.

Узнав, что мужу приказано следовать в Смоленск, она настояла на том, чтобы проводить его. Полки двинулись.

Дороги были скверные, шли медленно и под Смоленском остановились в маленькой деревеньке, чтобы переночевать. В избе было душно, грязно, спать приходилось на соломе, разбросанной по полу. Маргарита Михайловна ничего не замечала. Она не отходила от мужа, отвечала невпопад, мешала всем своей бездеятельностью и под конец дня расплакалась безо всякой причины. Александр подумал, что виновата дорога, устроил ее поудобнее на своих плащах и долго сидел, вглядываясь при тусклом свете свечи, как засыпает жена, как разглаживаются скорбные морщинки у ее губ, носа.

«Скорей бы уже конец! — подумал он и тоже закрыл глаза. — Уж после этого Он меня отпустит непременно». И перед внутренним взором его замелькали радостные, летние картины: Николенька, Марго, тульское имение, голуби, малинник, охота.

В 1810 году Александр Алексеевич Тучков уже подавал рапорт об отставке. Военная служба больше не занимала всех его мыслей. Хотелось уехать в тульское имение и заняться воспитанием сына. Император оставил его на службе со словами: «Ты еще понадобишься, скоро для таких, как ты, много дела будет».

«Вот и дело, — подумал Александр, засыпая, — сделаем, и все. Скорей бы!»

Маргарита Михайловна спала в ту ночь беспокойно. Сон не принес ей облегчения. Она видела себя, идущей по незнакомому городу. Прежде город был ей интересен, и она с любопытством разглядывала улицы, дома, торговые лавки. Но потом какая-то однообразность, навязчивость вывесок на всех домах стала раздражать ее. Она решила внимательнее прочесть то, что там было написано. «Твоя участь решится в Бородине» — значилось на дверях, окнах, стенах. И вдруг тоска от этой надписи, ощущение, что ничему никогда уже не суждено сбыться. Бессмысленность и этого незнакомого города, и всей ее жизни. В страхе она проснулась. Разбудила мужа и спросила:

— Где это — Бородино?

— Бородино? — повторил Александр со сна, и вдруг холод прошел по его сердцу. — Что за фантазия? В первый раз слышу это название. Спи, Марго, спи.

— Нет, вели принести карту, я боюсь, — повторила Маргарита. Карту принесли, сели искать, но маленькое Бородинское село не было тогда еще известно, и на карте его не оказалось[1]. На следующий день они простились, и Маргарита Михайловна отправилась к родителям в Москву.

1 сентября 1812 года она узнала о смерти мужа, убитого при Бородине. Известие сразило ее, но как только она поднялась с постели, то отправилась на поиски тела Александра.

Была вторая половина октября. Погода стояла пасмурная, но сухая. Оставив вещи в усадьбе своей подруги, жившей недалеко от Можайска, Тучкова тут же послала в Лужецкий монастырь отслужить панихиду по убитым, а сама в дорожной карете поехала в Бородино.

Бородинское поле было завалено десятками тысяч трупов. Земское начальство распорядилось сжечь их. «Но под заревом пожара небывалого, при блеске костров, являются два лица на поле Бородинском... И тот отшельник, схимник соседственного монастыря, и та женщина, вдова генерала Тучкова...»

После двухдневного бесплодного скитания среди трупов Маргарита Михайловна принуждена была вернуться домой. Пережитое так отразилось на ее здоровье, что до-

[1] Бородино было обозначено на карте. Но по семейным преданиям Тучковых, сон Маргариты представляется таким.

машние опасались за ее рассудок. Но она выжила ради сына.

Мальчик рос и с каждым годом все более делался похожим на отца. Маргарите Михайловне казалось, что он как цветок, колеблемый ветром, так хрупок и прекрасен был его облик.

Николай, с раннего детства тихий и задумчивый, был определен в Пажеский корпус в Петербурге, но по слабости здоровья жил при матери. Несмотря на юный возраст, он умел внушить к себе уважение. Как-то сверстники вздумали посмеяться, что в корпус его приводит нянька — мадам Бувье.

— Прошу не шутить над нею, — внезапно побледнев, оборвал веселую болтовню юный Тучков, — она нянька, но любит меня как сына. — Смех оборвался.

Николай Александрович Тучков умер в 1826 году, 15 лет от роду (от сильной простуды).

О мадам Бувье он сказал чистую правду. Верная француженка весь остаток своей жизни провела в монастыре у его могилы и, умирая, завещала все свои сбережения на поддержание «неугасимого огня в лампадке». В то же время любимый брат Маргариты Михайловны был сослан в Сибирь за участие в заговоре против царя в 1825 году.

Она восприняла обрушившиеся на нее удары судьбы как знак свыше, призывающей ее покинуть мирскую, суетную жизнь и посвятить себя служению богу и утешению страждущих.

Вот и все, пожалуй, что можно сказать о жизни Маргариты Михайловны Тучковой.

Вся любовь земная, жившая в ее сердце, за эти годы исчерпала себя, ей ничего не нужно было более. Горе ее было не того свойства, которым часто кичатся женщины с тайной надеждой устроить еще свою судьбу. Сердце сгорело, но горячая природа требовала деятельности. «Точно так же, как больной переходит с места на место, чтобы облегчить свои страдания, так и она переезжала то из Бородина в Москву, то из Москвы в Бородино».

Сначала в 1818—1820 годах на Бородинском поле появилась маленькая четырехугольная церковь, простая по своей архитектуре и убранству. На стенах не было ни украшений, ни икон. Бронзовый иконостас расписан киевскими изографами. Рядом расположилась маленькая сторожка, где и жили долгое время Маргарита Михайловна и мадам Бувье.

«Осенью дождь стучал по тесовой кровле, и свист ветра смешивался с завыванием волков, которые ходили стаями по полю», но в сторожке жарко горели свечи, Маргарита Михайловна вышивала церковную пелену и тихо беседовала с мадам Бувье о прошлом. У монастырской стены вдова Александра вместе с сыном посадила крошечный тополек в память о погибшем муже и отце.

В первые годы своей пустынной жизни Тучкова носила вериги, но здоровье слабело от этого, и митрополит Филарет, друг и наставник ее, потребовал, чтобы она отказалась от испытания. В 1833 году начала строиться женская община, в которой «Маргарита Михайловна не позволяла себе таких удобств, которыми не пользовались все сестры». В 1838 году в Троицко-Сергиевской лавре она приняла малое пострижение, и община преобразовалась в Спасо-Бородинский монастырь. В 1840 году она приняла большое пострижение в лавре и сделалась первой игуменьей Спасо-Бородинского монастыря Марией.

Задуманный как место увековечения памяти мужа, монастырь превратился в памятник всем погибшим здесь воинам. На это толкнула Маргариту Михайловну сила, которая даже более любви к мужу питала ее сердце. «Эта сила — любовь к Отечеству, наследственное, родовое преимущество именитого рода Нарышкиных и доблестного рода Тучковых». Так писала о ней в 1875 году писательница Новосельцева Е. В., работавшая в издательствах «Русский вестник», «Русский Архив» под псевдонимом Т. Толычевой.

Игуменья Мария помогала крестьянам соседних деревень лекарствами, деньгами, советами. Всем обездоленным, отвергнутым находилось место под ее крышей. Отказа не было никому. В своей комнате она держала любимые вещи мужа и сына и до конца своей жизни берегла их. Часто в сильном волнении простаивала она часами у могилы сына, шептала вслух его имя, лицо ее темнело, и тогда монахини всеми силами пытались отвлечь ее, доказать, что она неодинока и любима.

К этому времени тополь разросся, стал могучим, как зеленая крепость. Он был почти единственной отрадой Маргариты Михайловны. И она не раз говорила, что в этом дереве жизнь всей ее семьи:

— Это вам обо мне останется, — просила она монахинь заботиться и беречь его.

Вот строки из письма к подруге, они показывают, что боль по утраченному никогда не покидала ее: «День походит на день: утреня, обедня, потом чай, немного чте-

ния, обед, вечерня, незначащее рукоделие, а после краткой молитвы — ночь. Вот вся жизнь...»

...«Время и жизнь не пощадили ее. Она сильно сгорбилась, посох стал необходимой для нее опорой. Медленная походка изобличала усталость и страдание. Ей минуло 72 года». Умерла Маргарита Михайловна в 1852 году, 29 апреля и похоронена в Спасской церкви монастыря. Перед своей смертью Маргарита Михайловна Тучкова заложила новый храм, отблагодарила всех людей, окружавших ее за эти годы, а также сожгла все письма родных, друзей и своего мужа.

Новая игуменья монастыря захотела расширить дорожку и приказала монахиням срубить и выкорчевать тополь. Целый день в монастыре стоял тяжелый стон. Стонало могучее дерево, не желающее расставаться с корнями, стонали и плакали монахини, против воли расстающиеся с памятью о любимой «матушке». К вечеру с оглушительным треском, как с криком, тополь рухнул и накрыл собой почти весь двор монастыря.

Так с корнями вырывалась из земли и из сердец память. Вырывалась, но не вырвалась. Бесполезно тягаться уму и умыслу с землей и сердцем.

* * *

Судьба этого тополя, к сожалению, постигла многие памятники, поставленные на Руси в честь ее героев, и для того, чтоб новые поколения знали, откуда они пошли, и чтобы передали дальше славу и память отцов.

Произошла как бы некая переоценка исторических и духовных ценностей, которой занимались люди, не придающие особого значения ни войне 1812 года, ни культурному наследию предков.

Так, памятник, воздвигнутый в 1839 году в память о Бородинской битве, в тридцать третьем году нашего столетия был разобран на металл. Теперь на его месте заросший травой холм и мемориальная плита.

Из погибших памятников 1812 года спасена Триумфальная арка и восстановлена на новом месте.

Монастырь, основанный Маргаритой Михайловной Тучковой, — верный и старинный хранитель Бородинского поля — закрыт на реставрацию с 1961 года. Сейчас работы там идут полным ходом: стучат молотки, кувалды, сыплется кирпич. Недавно на территорию монастыря привезли два зенитных орудия для будущей экспозиции,

посвященной боям у Бородина в октябре — январе 1941—1942 года. Монастырь спустя век выполнил свои милосердные обязанности. В Великую Отечественную войну здесь был расположен госпиталь, и сотни раненых оказались надежно укрыты от врага за прочными кирпичными стенами.

Бородинское поле связало собой две эпохи... Надо помнить об этом. Знание истории необходимо, чтобы с большей ответственностью осознавать себя частью России с ее корнями прошлого, ветвями настоящего, ростками будущего.

«Я не верю той любви к Отечеству, которая презирает его летописи или не занимается ими; надобно знать, что любишь; а чтобы знать настоящее, должно иметь сведения о прошедшем». Так более века назад говорил русский писатель, историк Н. М. Карамзин.

У каждого времени свои герои. И Тучковы прочно остались в своем, где на серебряном кубке, поднесенном Павлу Алексеевичу Тучкову офицерами артиллерийского полка, значилось: «С признательностью за благородство».

Секрет привлекательности Тучковых прост. Они честно служили Отчизне, «желая ей только процветания и славы». Ей, а не себе.

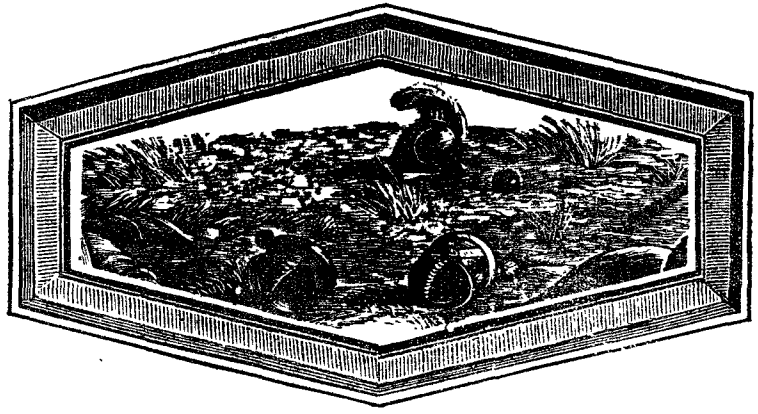
И когда Коломийцев писал об отношении Сергея Тучкова к своим служебным обязанностям, то особенно подчеркнул, что «Сергей Алексеевич Тучков служил не лицам, а долгу, своей совести и любимой Отчизне».

Николай Тучков всеми личными выгодами «жертвовал благородству своему», а Александр везде «отступал последним».

И именно потому, что такие люди все лучшее, что было в них, передавали своим детям, те — внукам и так до нас, мир существует и не забыты такие истины, что человек должен быть честным, деятельным и верным Отчизне с начала и до конца своей жизни.

Марина КРЕТОВА

Дмитрий Петрович Неверовский



По-старинному, по-суворовски;
Закричим «ура» и пойдем вперед!
На штыках пройдем силы вражие,
Перебьем мы их, переколем всех...

Солдатская песня 1812 года



оэтическим лицом Отечественной войны 1812 года мы вполне можем назвать генерал-лейтенанта Дмитрия Петровича Неверовского. По крайней мере, один из первых исследователей истории Отечественной войны 1812 года, А. И. Михайловский-Данилевский, писал: «Поэзия и изящная культура могут исхитить для своих произведений из жизни Неверовского несколько прекрасных минут, способных вдохновить перо поэта и кисть живописца: превозносимое самим неприятелем отступление от Красного, кровавую, во мраке ночи, защиту Шевардинского редута при третьем на него покушении французов, миг и из грозной сечи Бородинской, где Неверовский, чудно уцелевший среди тысячи смертей, летавших над головою его, собирает вокруг себя горсть рассеянных воинов и снова ведет их в огонь хладнокровно. Наконец, минута, когда распростертый на смертном одре, угасающим воображением, в бреду горячки, блуждает он в пылу битвы, когда последнее слово, излетевшее из замирающих, хладеющих уст его, было военный клич победы: «Вперед! В штыки!»

Родился Дмитрий Петрович 21 октября 1771 года в деревне Прохоровке Золотоношского уезда Полтавской губернии (ныне село Прохоровка Каневского района Черкасской области). Родители его были люди небогатые, но, как говорили в старину, благородные.

Глава семьи, Петр Иванович, владел 30 душами крепостных. Службу свою он начал казаком в Переяславском полку. А затем долгое время — свыше пятнадцати лет — состоял в должности сотника так называемой Бубновской сотни, в которую причислялись три села: Прохоровка, Сушки и Бубновская Слободка.

Петр Иванович слыл человеком прямым, честным и правдивым. Он пользовался большим уважением среди полтавских обывателей.

Благодаря этим качествам он был избран в 1783 году золотоношским городничим. Семья оставила деревню и переехала в уездный город. И на этой хлопотной должности Петр Иванович не растерял своей честности и бескорыстия. Закончил он службу в небольшом чине надворного советника.

Его супруга Прасковья Ивановна, урожденная Левицкая, в молодости была очень красивой женщиной. Совсем еще молодой девушкой она приехала в Прохоровку погостить у тетки и... осталась тут надолго. Она приглянулась молодому сотнику, и он предложил ей руку и сердце. Но оказалось, что родители уже подыскали Прасковье жениха — сына соседа, казака-богача. Нелюб ей был избранник родителей. А вот Петр Неверовский нравился.

Обоюдное влечение Петра и Прасковьи было настолько сильным, что они решили пожениться, даже не спросив родительского благословения, что было по тем временам явлением очень редким. Их намерение поддержала тетка невесты, и вскоре состоялась свадьба.

Жили Петр Иванович и Прасковья Ивановна в любви и согласии. У них народилось четырнадцать детей — четыре сына и десять дочерей. Воспитанию многочисленного потомства Прасковья Ивановна уделяла все свое время. Несмотря на ограниченность средств, усилиями матери все дети хорошо знали русский и латинский языки, овладели основами математики.

Дмитрий был старшим среди детей. Петр Иванович

и Прасковья Ивановна с «младых ногтей» воспитывали в сыне самостоятельность в поступках и суждениях, не баловали его, приучали к жизни простой и порою суровой. С семи лет Дмитрий прекрасно держался на лошади, плавал и купался в Днепре, совершал во главе ватаги ребят продолжительные походы в лес. Мальчик рос не по летам ладным, крепким, закаленным. Он приучил себя стойко преодолевать трудности, пренебрегать опасностью.

Детство Дмитрия прошло среди буйного украинского приволья. Там свежи были еще воспоминания о славных делах и подвигах запорожцев. Сколько раз мальчик останавливался зачарованно, прерывая игры, и слушал дивные песни слепых кобзарей. Неспешно перебирая струны, повествовали они о походах гетмана Петра Сагайдачного и его победах над турками, об Иване Серко, славном атамане Запорожской Сечи, с его именем связывала молва авторство письма запорожских казаков к султану, о трагической судьбе казненного Мазепой Кочубея...

К пятнадцати годам Дмитрий уже был молодцом двух аршин и двенадцати вершков роста, стройным, сильным, метким стрелком и прекрасным наездником. Стоило ли удивляться тому, что, повзрослев, Дмитрий решил стать военным. Отец рад был его выбору, а мать загрустила. Другой, не такой опасной судьбы хотела бы она для своего сына.

Трудно сказать, как бы сложилась дальнейшая судьба Дмитрия, если бы не одно обстоятельство.

Неверовских, их многочисленную и дружную семью любили навещать гости. В этом доме всегда встречали они обходительность и внимание Петра Ивановича, хлебосольство Прасковьи Ивановны. И дети Неверовских радовали глаз — румяные, чистые, ухоженные. Любил сюда заезжать и граф Петр Васильевич Завадовский. Видный сановник блестящего екатерининского века, большую часть своей жизни он проводил в Петербурге, но, наезжая в родные места, обязательно заворачивал к своим соседям по имению — Неверовским.

Он и обратил внимание на Дмитрия. Приятной наружности, почти высокорослый, юноша приглянулся графу.

Словно угадывая в юноше счастливые способности, граф Завадовский завел с Петром Ивановичем разговор и предложил ему отпустить старшего сына в Петербург, обещая «устроить его жребий».

Не хотелось Неверовским, особенно Прасковье Ивановне, отпускать сына из дома, но что поделаешь? Семья большая, доходы скромные. Одна надежда, что Петр Васильевич слово сдержит и сына устроит. Отец дал согласие. Ни рыдания матери, ни разлука с горячо любимыми братьями и сестрами не могли омрачить его счастья — впереди была желанная военная служба.

С помощью графа Завадовского 16 мая 1786 года Дмитрий Неверовский был зачислен в Семеновский полк.

Юноше повезло. Он попал именно туда, где в полной мере могли раскрыться способности, где с уважением и пониманием отнеслись к его желанию овладеть ратной наукой.

Семеновский полк был одним из старейших в России, свое начало он вел от «потешных» полков Петра I, а звание гвардейского получил еще в 1700 году. Семеновский полк покрыл себя славою во многих сражениях и походах. Полк был не только боевой единицей, но и своеобразным учебным заведением, в котором, проходя службу, постигали азы военного мастерства многие молодые дворяне, ставшие впоследствии выдающимися военачальниками. Достаточно сказать, что в свое время в Семеновском полку начинал службу Александр Васильевич Суворов.

Итак, пятнадцатилетний Дмитрий Неверовский был зачислен в лейб-гвардии Семеновский полк.

Он попал в среду простых солдат. В среду, где царило спокойное мужество, здравый смысл и естественность поступков, добродушие, умение довольствоваться малым, где могли выносить тяготы и лишения службы, не теряя чувства юмора. Эти драгоценные черты русского национального характера нашли свой отклик в сердце молодого солдата Неверовского. Он терпеливо постигал секреты воинской премудрости: учился правильно колоть штыком, заряжать и стрелять по мишеням, маршировать на плацу, переносить дальние походы. И во всех этих делах всегда выглядел молодцом.

Через год Неверовскому было присвоено звание сержанта. Это еще больше подогрело его ревностное отношение к службе. Как и прежде, охотно ходил он в караулы, часто соглашался стоять в наряде вместо своих товарищей.

Веселый нрав, простота в обхождении, усердное отно-

шение к обязанностям вскоре сделали Неверовского заметной фигурой в полку — он завоевал уважение старших начальников, любовь подчиненных.

Военная служба сильно изменила его. Пожалуй, не только братья, но и родители с трудом бы узнали в подтянутом, ловком семеновце свое деревенское чадо. Недавний добродушный увалень теперь блистал не только в полку, но и в свете. Благо в доме графа Завадовского, где он стал своим человеком, было немало возможностей завести широкие и полезные знакомства. Перед красавцем гвардейцем открывалась интересная перспектива — сделать блестящую карьеру в столице. Так считали друзья Дмитрия по службе, так считал и его покровитель, граф Завадовский.

Тем неожиданней был для всех шаг, предпринятый им вскоре.

XVIII столетие, на последнюю четверть которого приходится начало воинской службы Неверовского, по праву считается золотым веком русского оружия.

В 1787 году грянула новая война: Турция, побуждаемая Англией и Пруссией, желавших ослабления России, двинула свои войска к северу. Даже в Петербурге, столь удаленном от берегов Крыма, стойко запахло порохом. Русские армии начали собираться в поход.

Мог ли Дмитрий Неверовский оставаться в бездействии в такое время? Нет, конечно. Взращенный на подвигах русского оружия, жаждущий проверить себя в огне сражений, он совершил поистине непонятный для блестящего общества шаг — испросил перевода в армейский полк, находящийся на южной границе.

Изменить его решение не смогли ни насмешки некоторых сослуживцев, ни увещевания графа, грозившего лишить Дмитрия своего покровительства. В начале октября 1787 года молодой Неверовский, оставив дом графа, уезжает на юг.

Шестнадцатилетний офицер не смог избежать соблазна и заглянул в отчий дом. Радостно встретила его семья — сестры, братья восхищались мундиром, оружием. Отец, узнав о самовольном отъезде Дмитрия на войну, вначале был недоволен — перед графом стыдно от такого сумасбродства. Но, провожая, смягчился — не от опасности же бежит, а к ней, рассудил, обнял и поцеловал. «Служи, сын, исправно, — благословил, — честью своей дорожи!»

Вскоре он был зачислен поручиком Малороссийского

кирасирского полка, из которого через некоторое время перевелся в Архангелогородский мушкетерский полк. Главным образом в составе этих частей Неверовский принимал участие в войнах с Турцией, а затем и с Польшей.

Боевое крещение молодого офицера произошло не так быстро, как бы он хотел. Лишь через год после его прибытия на юг, 7 сентября 1788 года, он принял участие в сражении на реке Сальче. Здесь войска Украинской армии, предводительствуемые Репниным, в недолгом жестоком бою разгромили большой турецкий отряд и преследовали его вплоть до Измаила...

Получив возможность испытать себя в деле, Неверовский не пропускал ни одного боя, ни одного сражения. Пренебрегая опасностью, полный задора и силы, он шел в атаку впереди солдатского строя. Именно тогда и укрепился в нем ставший знаменитым его клич: «В штыки! В штыки!»

Так было и в русско-турецкую войну, когда он участвовал в покорении Бендеровской крепости. Так было и позже, когда в войсках, ведомых Суворовым, он воевал против поляков. В этой непродолжительной кампании 1794 года капитан Неверовский отличился при штурме предместья Варшавы — Праги, проведенном Суворовым по типу Измаильского. Даже в войске выдающегося полководца, где мужество и храбрость являлись делом обычным, были замечены доблести Дмитрия Неверовского. Сам «русский Марс» — великий Суворов представлял его к новому досрочному секунд-майорскому чину. К исходу кампании Неверовский имел репутацию отличного фронтового офицера.

После окончания русско-польской войны 4-й батальон Екатерининского егерского полка, в котором тогда служил Дмитрий Петрович, был расформирован. Майор Неверовский в декабре 1797 года получил назначение в Малороссийский гренадерский полк.

Этот период жизни Дмитрия Петровича не отмечен участием в баталиях. Но именно в эти мирные годы завершилось становление Неверовского не только как боевого офицера, но и как командира и воспитателя.

Процесс этот происходил в сложное время для русской армии. К власти пришел Павел I, и он тут же стал перестраивать русскую армию по прусскому образцу. В борениях этих течений и происходило становление Дмитрия Петровича Неверовского. Оставаясь верным слугою престола, он стоял на позициях своих выдающих-

ся учителей. Неверовский, как и они, не принимал прусской системы. Он считал, что не слепая храбрость приносит успех, а воинское искусство и обучение ему вырабатывает «на себя надежность». Воин и в мирное время, отмечал он, на войне.

Отстаивая свои позиции и идеалы, Неверовский достиг блестящих результатов. Части, которыми он командовал, выгодно отличались от других своей выучкой, владели «смелой нападательной тактикой». Дмитрий Петрович, подобно великому Суворову, не вводил приемов обучения, связанных с отступлением, обороной. Он считал, что солдаты, обученные им поражать противника смелыми атаками, и обороняясь и отступая, будут драться с упорством, непрерывно нападая на врага.

В этот «небатальный» период в жизни Неверовского происходило и завершение формирования его нравственного облика, его характера. По воспоминаниям современников, Дмитрий Петрович отличался «чистосердечностью и прямодушием... С простотою обхождения соединил он ум возвышенный, с откровенностью — здравое и глубокое воззрение на предметы».

Все эти качества соединились в нем с личным мужеством, решительностью; и можно понять, как он был любим войсками, с каким обожанием смотрели офицеры и солдаты на своего командира.

Его биограф Д. И. Дараган отмечал в 1845 году в газете «Северная пчела»: «В рассказах современников о генерале Неверовском прежде всего поражает меня общее, единогласное уважение, общая любовь к нему всех знавших его и почти восторженная привязанность его подчиненных, которые по прошествии тридцати лет со времени его кончины любят его, как живого, говорят о нем, как о присутствующем».

Можно только предполагать, каких бы высот в военном деле мог он достичь, какие бы еще подвиги совершил на благо Родины, если бы не преждевременная гибель!

Малороссийский гренадерский полк, в котором подполковник Неверовский являлся батальонным командиром, стоял на квартирах в небольшом волынском городке Заславле. Однообразную полковую жизнь вдруг нарушило известие: вскоре состоится императорская проверка. Причем ее будут проводить великий князь Константин и генерал-инспектор Боуэр. Началась лихорадочная подготовка к проверке. На фоне общего волнения спокойно и

уверенно выглядел Неверовский. Он верил, что его батальон и в поле, и на плацу покажет себя только с хорошей стороны. Так оно и получилось. Высокая инспекция отметила великолепную выучку батальона Неверовского, в особенности его действия в штыковом бою, выносливость на марше. Умение же Неверовского командовать батальоном, как отмечали тогда, «привело их в восторг».

И в 1803 году Неверовский был назначен командиром 1-го Морского полка. Сыграли свою роль отличные рекомендации инспектирующих.

Полки морской пехоты создавались впервые. Формировали их из возникших тремя годами ранее морских батальонов. Дело было новое и непростое. Тем более приятным было оказанное доверие, и тем больше хотелось его оправдать молодому командиру полка.

Прибыв в Кронштадт, где квартировался его полк, Неверовский горячо принялся за дело. Он вникал в непривычную для него жизнь морских пехотинцев, деятельно готовил их к сражениям на воде и на суше.

Но особенно развернуться ему не удалось, ибо не было у него достаточной для того полноты власти. Самой главной фигурой в полку был не командир, а шеф полка. Это, как правило, был генерал, который смотрел «все»: и обучение, и управление, и хозяйство. Сам же командир находился в положении заместителя шефа полка, а власть приобретал лишь в его отсутствие.

Тем не менее усердие Дмитрия Петровича было замечено начальством. В 1804 году, на 33-м году жизни, он был произведен в генерал-майоры и назначен шефом 3-го Морского полка, находящегося в Ревеле. Тут уж Дмитрий Петрович смог поработать в полную силу. Его усилиями морские пехотинцы значительно прибавили в выучке и были отмечены на учениях и маневрах...

В Ревеле, как вспоминал впоследствии Неверовский, он прожил счастливейшие дни своей жизни. Здесь же, в уютном прибалтийском городе, решилась и его личная судьба.

Молодой генерал был вхож в дом адмирала Мусина-Пушкина. Здесь он познакомился с его дочерью Елизаветой Алексеевной. Это была очаровательная семнадцатилетняя девушка, красивая и обаятельная. Поклонников, искателей руки у Лизоньки было очень много. Но предпочтение она отдала тридцатичетырехлетнему генералу Неверовскому.

27 июля состоялась свадьба. Дмитрий Петрович испросил отпуск: молодожены намеревались совершить путешествие. Отпуск — кстати, первый и последний за годы службы — был получен. Началась подготовка к путешествию. Но через два месяца генерал был вызван на службу. Супругам пришлось расстаться.

Начало нового, XIX века в Европе было ознаменовано новыми походами Наполеона. В 1805 году по инициативе Англии для борьбы с Бонапартом была организована третья коалиция. В нее вошли Англия, Австрия, Неаполитанское королевство, Швеция и Россия. Союзники намеревались наступать на Францию с трех направлений: из Италии, Баварии и Северной Германии.

Третьему Морскому полку Неверовского предстояло погрузиться на корабли и в числе других войск, под командой графа Толстого, выступить против Наполеона.

В сентябре полк Неверовского погрузился на суда и отошел от берега. Пять дней продолжалось это нелегкое плавание. Осенняя Балтика встретила корабли штормом. Но вскоре десант благополучно высадился в Тральзунде, однако военных действий корпусу графа Толстого вести не удалось. Жребий войны, как писали в то время, был решен под Аустерлицем, где союзники потерпели жестокое поражение.

Морской полк Неверовского возвращался в Ревель пешим маршем. В пути офицеров и солдат ждало непростое испытание — смотр, на котором должны были присутствовать король и королева Пруссии.

Не будучи особым поклонником различных смотров и вахтпарадов, Неверовский тем не менее постарался, чтобы его полк в этот день выглядел наилучшим образом. Он понимал, что в трудную для Родины минуту России очень важно заиметь еще одного союзника в борьбе с Наполеоном. Бравый вид и отличная выучка войск должны были показать королю Пруссии, что русская армия по-прежнему сильна, мощна, а произошедшее под Аустерлицем еще не означает окончательного поражения.

Смотр прошел блестяще. Король выразил Неверовскому свое благоволение за превосходное состояние полка...

И снова в путь.

Вскоре полк вступил в пределы России. Предчувствуя скорый отдых, люди пошли быстрее и веселее. Где-то в двухстах верстах от Ревеля Дмитрий Петрович увидел приближавшуюся коляску. «Наверное, просители какие-нибудь», — подумал он. Его мысль утвердилась, когда

увидел в коляске женские фигуры. Но его ждал сюрприз. Навстречу ему в сопровождении матери ехала жена Елизавета Алексеевна, не выдержавшая долгой разлуки с мужем. Радость от встречи была двойной: оказывается, в ближайшей корчме под присмотром кормилицы его дожидалась недавно рожденная дочь. Дмитрий Петрович испытывал счастливейшие минуты при этом сообщении.

«В жизни военного человека, — писал биограф Неверовского, — исполненной лишений, требующей пожертвований нежнейшими узами любви и родства, живее ощущаются минуты счастья и тихих наслаждений быта домашнего. Разделяя со своими офицерами горе и радости, почитая их как бы принадлежащими собственной семье его, Неверовский не мог не поделиться и ощущениями столь приятной встречи: с восторгом отца показывал он малютку, дочь свою, сослуживцам, столпившимся вокруг любимого начальника и приветствовавшим его искреннейшими поздравлениями».

Увы, отцовское счастье было недолгим. Дочь Неверовского умерла совсем маленькой. Других детей в семье Дмитрия Петровича не было. Нерастраченную отцовскую нежность и любовь своего сердца он отдавал своим многочисленным родственникам.

С прибытием в Ревель снова начались хлопоты, так как полку предстоял новый смотр. Император Александр I пожелал лично ознакомиться с войсками, прибывшими из Шведской Померании. В мае 1806-го шеф третьего Морского полка представил императору подчиненные ему батальоны. Полк был в таком отличном состоянии, что Александр I пожаловал Неверовскому за труды орден и бриллиантовый перстень со своей руки.

Успешно проведенные смотры, продемонстрировавшие отличное состояние дел во вверенном ему полку, повлияли на судьбу Неверовского. В 1807 году его назначили шефом гренадерского Павловского полка.

Это было очень почетное назначение. Павловский гренадерский полк был одним из старейших в русской армии, прославился во многих сражениях. В память об этом павловцы носили гренадерки, на которых были выбиты имена воинов, отличившихся в боях.

Генерал Неверовский много сделал для того, чтобы укрепить боевые традиции части. В документах гренадерского Павловского полка сохранилось много его приказов

и распоряжений, направленных на улучшение процесса обучения солдат.

Еще в те времена, когда все боевые действия и все обучение велось большими массами солдат, Неверовский показал себя сторонником одиночной подготовки воинов. Во всех условиях, и прежде всего в условиях боя, он придавал огромнейшее значение сохранению оружия («...яко первейших предметов на службе», — писал он в приказе по полку 21 августа 1811 года), умению вести из него огонь.

Правильность прикладки ружей у каждого гренадера он проверял лично. Это было любопытное зрелище — когда павловцы после смотра или учения окружали своего генерала, слушая его наставления и любуясь выполняемыми им строевыми приемами.

Подготовленность личного состава в Павловском полку была настолько высокой, что здесь уже в 1811 году проводили соревнования по стрельбе. А ведь тогда на обучение солдата отпускалось только шесть пуль в год!

Неверовский, сам отличный стрелок, во время подобных состязаний часто брал у промахнувшегося ружье и вгонял пулю в центр мишени, приговаривая при этом:

— Вот так должен стрелять гренадер Павловского полка!

...В январе 1812 года он был неожиданно вызван в Петербург к императору. Аудиенция была короткой.

— Направляю тебя в Москву, — сказал царь. — Поручаю сформировать новую пехотную дивизию. Прошу сделать это как можно быстрее.

Так передали очевидцы содержание этой встречи. Описали они и торопливость, с которой генерал-майор Неверовский приступил к выполнению поручения императора. 20 января Неверовский написал в своем последнем приказе по Павловскому полку: «Прощайте молодцы-гренадеры! Не поминайте лихом своего командира. Я же время это и вас никогда не забуду», — и ускакал в Москву.

Да, Неверовский спешил. Но не только царское слово торопило его. Он спешил, чтобы как можно скорее приступить к формированию дивизии, которая как воздух нужна будет в предстоящей войне. А то, что она неизбежна, Неверовский ощущал, как и все русские люди.

27-я дивизия формировалась в Москве и Подмосковье. Для ее комплектования прибывали большие партии рекрутов, отдельные отряды. Неверовский, бригадные командиры — полковник Княжнин и флигель-адъютанты Ставицкий и Воейков — были заняты день и ночь.

Каждое утро Дмитрий Петрович собирал в штабе совещание и выслушивал командиров бригад, которые рапортовали, что нет то того, то другого. Княжнин испытывал нехватку в лошадях и повозках, у Ставицкого в Одесском и Тарнопольском полках не хватало патронов, а у егерей полковника Воейкова было плохо поставлено с обмундированием, хотя батальоны его были уже укомплектованы полностью.

Не хватало ни одежды, ни повозок, ни вооружения, ни лошадей. Дмитрий Петрович всякий раз велел закладывать экипаж, чтобы снова и снова тревожить московского губернатора.

Формирование дивизии шло успешно. И во многом благодаря тому, что у Неверовского были опытные и настойчивые помощники — командиры бригад.

Все они: и невысокий молчаливый Максим Федорович Ставицкий, и веселый, казавшийся беззаботным Александр Васильевич Воейков, и спокойный, уделявший все свободное время книгам и игре на скрипке Александр Яковлевич Княжнин — были отлично подготовленные в военном отношении специалисты. Дмитрий Петрович ближе всех сошелся со своим земляком полтавчанином полковником Ставицким. Подружив с Максимом Федоровичем, узнал много интересного о нем. Ставицкий начинал свой боевой путь офицером артиллерии. Участвовал в русско-польской войне, служил по квартирмейстерской части. До прихода в 27-ю дивизию он участвовал в выполнении многих ответственных заданий — одним из первых обследовал и описал устье Амура, Нерчинские рудники, Киргизские степи, Кавказские и Кубанские кордонные линии. Ему приходилось много раз бывать с дипломатическими поручениями за границей — в Малой Азии, Константинополе, на Ионических островах, где русские войска тогда содержали гарнизон. Во всех этих переделках Максим Федорович действовал храбро и расчетливо. О его незаурядном мужестве говорил тот факт, что именно Ставицкого отправили в Петербург после сражения под Прейсиш-Эйлау с известием о победе. Тогда, в 1807 году, он доставил в столицу семь захваченных у французов знамен...

Но Максим Федорович, охотно рассказывая о своих путешествиях, замолкал, когда речь заходила о сраже-

нии под Прейсиш-Эйлау. Он знал, что его воспоминания могут тяжело ранить бригадного командира Александра Яковлевича Княжнина, брат которого, Константин, погиб там. Александр Яковлевич был сыном известного драматического писателя Княжнина и внуком по матери поэта Сумарокова.

Дмитрий Петрович хорошо узнал его еще во время морского похода в Шведскую Померанию, в котором тот тоже принимал участие, узнал и полюбил за верность слову, доброжелательность к людям.

Командир егерской бригады Александр Васильевич Воейков под стать своим коллегам был опытным и мудрым командиром. Потомок одного из участников похода Ермака, Воейков начинал службу в Преображенском полку. Еще молодым офицером он участвовал в Швейцарском походе, воевал с французами в 1807 году.

Все эти люди не жалея сил под руководством Неверовского проводили работу по формированию дивизии.

Дмитрий Петрович всегда высоко отзывался о своих первых помощниках. И он не ошибся. Высокие качества патриотов русской земли — командиров бригад 27-й дивизии проявились в трудное время Отечественной войны 1812 года. Во всех сражениях они шли впереди, не раз окрашивая своей кровью родную землю.

Александр Княжнин в бою на Шевардинском редуте был тяжело ранен и больше не смог служить в армии. Он пошел по стопам своих талантливых предков — писал стихи, басни и пьесы. Интересно, что Александр Воейков также отличался любовью к литературе, которую хорошо знал. Однажды в штабе М. И. Кутузова «вождь двенадцатого года» употребил в своей речи выражение Крылова «ты сер, а я, приятель, сед». Но он не смог вспомнить всю басню. На помощь князю пришел Воейков. Выслушав внимательно чтение, Кутузов обнял его и прочувствованно сказал: «Какая счастливая старость!» С тех пор, каждый раз встречая Воейкова, главнокомандующий просил: «Расскажи мне, голубчик, «Волк на псарне». И всякий же раз с удовольствием слушал.

Близкий друг Неверовского Максим Федорович Ставицкий явился как бы продолжателем его дела. Именно он возглавил дивизию после смерти Дмитрия Петровича, поведя ее к новым победам.

Грозовое дыхание близкой войны торопило. Неверовский, не дожидаясь окончания формирования дивизии, приказал начинать занятия. Молодых солдат стали учить

ходить строем, совершать марши, стрелять по цели, колоть штыком. И вновь везде замелькала фигура генерала, который лично вникал во все подробности, следил, чтобы учеба шла без упущений. Его старания сказались быстро. Куда девалась нерасторопность вчерашних крестьян! На глазах они становились ловкими, подтянутыми солдатами. Тем более что командир дивизии не только учил их азам военной науки, но старался возбудить в них благородное честолюбие, развить храбрость и самоотверженность.

Вскоре дивизию было не узнать. Она стала монолитной, сплоченной боевой единицей. Почти полностью состоявшая из новичков, где даже офицеры большей частью были только что выпущены из кадетских корпусов, она тем не менее не уступала кадровым войскам. Недаром престарелый фельдмаршал граф Гудович, любивший наезжать в дивизию, называл ее «московская гвардия». Он доносил в Петербург: «В благоуспешном сформировании сея дивизии я отдаю совершенную справедливость отличному усердию, неусыпным стремлениям и деятельности командира оной генерал-майора Неверовского».

Дмитрий Петрович радовался, глядя на мужавших солдат. Как-то за завтраком он подозвал офицеров к окну. По плацу побатальонно проходили полки дивизии. Гремели песни. И генерал, с удовольствием глядя на бравых молодцов, с законной гордостью воскликнул:

— Посмóтрите!.. Какие чудеса сделает эта молодежь в сражении...

В конце апреля формирование дивизии было завершено.

Первого мая, отслужив молебен, полки 27-й двинулись в путь. Неверовский выехал вперед, остановился у дороги и, сидя на лошади, наблюдал за проходившими колоннами. Его взгляд скользил по ладным фигурам солдат, по их уже успевшим покрыться тонким слоем пыли лицам. Требовательный глаз генерала с удовлетворением отмечал порядок, слитность единого движения и уверенность во взглядах солдат.

— Песенников вперед! — скомандовал он.

Над колоннами заиграли молодые звонкие голоса, полетели слова запева. А потом их покрыл дружный хор — песню подхватили батальоны.

Колонны зашагали быстрее...

— Передайте господам командирам полков, — сказал Неверовский адъютанту, — во все селения на пути входить в песней.

Пропустив мимо себя всю дивизию, Неверовский пересел в коляску.

27-я дивизия стремительно двигалась на запад, на соединение со 2-й армией генерала Багратиона. Солдаты шли полями, на которых зрели хлеба. На привалах еще не успевшие забыть о недавних крестьянских заботах солдаты подходили к краю нивы, мяли в руках начинающие половеть колосья, пробовали на зуб молочные зерна.

— Хорошая рожь, — говорили друг другу. — Будет добрый урожай...

И вздыхали:

— Вряд ли придется убирать, война помешает...

Полки шли на запад. А навстречу им уже летели слухи о том, что войны, мол, не будет, что император «замирился» с Наполеоном. Или совсем противоположное, что Наполеон будто бы уже перешел границу. Чему было верить?

Неверовский все эти сообщения оставлял без внимания. Человек военный, он привык к конкретности приказов, четкости заложенных в них мыслей. Сумбурные слухи, меняющиеся новости утомляли его...

Больше всего Неверовский в это время был озабочен стоянием дивизии. Он был рад, что вчерашние рекруты довольно быстро втянулись в ритм движения, что отставших и больных не оказалось. При всей своей внешней невозмутимости, он тем не менее нетерпеливо вглядывался в скачущих по дороге всадников, ждал гонца с вестями. Неизвестность угнетала. Что же происходит там, на западной границе России?

В ночь с 11 на 12 июня передовые роты неприятельского авангарда на лодках переправились на правый берег Немана. Почти сразу же у деревни Понемунь началось строительство трех мостов. В течение той же ночи 1-я пехотная дивизия французов утвердилась на русской земле. Ей противостояли только разъезды лейб-гвардии казачьего полка 1-й Западной армии. Отстреливаясь, они отошли к своим...

Военные действия против 2-й армии начались чуть позже. 16 июня кавалерия короля Вестфальского подошла к Гродно и приступила к переправе, но неожиданно встретила сильное сопротивление. Сотня солдат Гродненского полка из полубатальона внутренней стражи под командованием прапорщика Николая Ивановича Ившина преградила путь надвигавшейся массе кавалерии. Прапорщик получил приказ — «истребить мост через Неман лежащий». Со своим подразделением, состоящим из негодных к полевой службе инвалидов, Ившин приступил к его выполнению. И сколько неприятель ни «силовался на мост», сколько ни делал попыток переправиться, его встречал огонь внутренней стражи.

Ветераны выполнили приказ. «истребили», сожгли мост.

В этой стычке погиб прапорщик Ившин. Он стал первым русским офицером, сложившим голову в войне 1812 года. И долго еще, свыше ста лет, служили каждый год 16 июля в Гродненском полку молебен, упоминая имя прапорщика Ившина, бывшего крестьянина Астраханской губернии, служившего еще под знаменами великого Суворова и получившего офицерское звание за верное служение России.

В год начала войны все четыре брата Неверовских встали в ряды защитников Отечества. Старший, Дмитрий, возглавлял 27-ю дивизию, Павел командовал ополчением Новомосковского уезда, Николай служил в гвардии, а самый младший, Иван, еще мичманом заслуживший орден Георгия 4-й степени, был офицером Черноморского флота. Поскольку основным событиям грядущей войны предстояло разворачиваться на суше, Иван засыпал Дмитрия письмами с просьбой перевести его в армию.

Многие другие родственники Дмитрия Петровича в этот трудный для России час проявили твердость духа и характера. Брат его жены Николай Мусин-Пушкин, служивший в гвардейском полку, получил тогда письмо от матери. «Благословляю тебя на войну! — писала эта мужественная женщина. — Надобно ожидать, что будут большие дела. Помни, что ты сын храброго русского адмирала; будь достоин имени, которое ты носишь. Мне лучше услышать о твоей смерти, чем узнать, что ты отступил перед неприятелем».

Эти слова мать обращала к своему единственному сыну!

Приближаясь к западной границе, Неверовский стал торопить дивизию. Уставшие после почти полуторамесячного непрерывного движения люди, чувствуя сложность

обстановки, находили в себе силы прибавить шаг. На привалах солдаты падали замертво, их уже не могли взбодрить даже песенники. Лишь мысль о скором соединении с главными силами позволяла выдержать взятый темп и не сбавить его.

Опыт Неверовского подсказывал ему, что вряд ли после встречи с Багратионом дивизии придется долго отдыхать, но тем не менее он, лично проезжая вдоль растянувшихся колонн, торопил: «Быстрее, быстрее, впереди отдых».

Соединение дивизии со второй армией произошло 22 июня в Новогрудке.

Князь Багратион, выслушав доклад, как и предполагал Неверовский, сказал:

— Отдыхать нет времени — армия ведет бой. Идем на соединение с первой армией.

Сложен был марш, проделанный 27-й дивизией от Москвы на запад. Но он казался до смешного легким теперь, когда армия под водительством Багратиона шла на Смоленск. Это был уже не просто марш войск. Это было великое соревнование двух армий — французской и русской. Соревнование, в котором главным призом для французов была возможность разбить русских по частям, а для русских — встретить неприятеля, собрав силы воедино.

Условия марша были для обеих армий далеко не одинаковыми. Французы шли к Смоленску более коротким путем, как бы по внутренней стороне дуги. Русские же, отклоняясь к востоку, шли по более длинному пути, по внешней стороне той же самой дуги.

Армия Багратиона, ведя арьергардные бои с втрое большим по численности противником, продираясь через толпы беженцев, забыв о привалах, рвалась к северу. «В 22 дня, — вспоминал впоследствии Неверовский, — сделали мы 800 верст и меньше маршей не делали, как по 40 и 45 верст».

А неистовый Багратион требовал идти еще быстрее. Вдоль колонн скакали на взмыленных, уставших не меньше людей лошадях адъютанты с его строгим приказом: не задерживаться, ускорить движение.

Нечеловечески трудным был этот марш. Но 27-я дивизия выдержала его с честью.

Неверовский был горд за своих подчиненных. Он знал, каких сил им это стоило. На одном из коротких привалов генерал видел, как солдаты, раздевшись, чистой холстиной вытирали тело и удивлялись: ткань краснела — под мышками у многих вместо пота выступила кровь. Несмотря на все эти трудности, 2-я армия Багратиона подошла к городу с песнями, под звуки музыки.

22 июля первая и вторая Западные армии соединились под Смоленском. Фланговый марш Багратиона удался. Это было большим успехом. Недаром Петр Иванович Багратион писал впоследствии Ермолову: «Насилу выпутался из аду. Дураки, меня выпустили...»

В конце июля основные французские силы сосредоточились в Витебске. Отсюда к Смоленску шли три дороги: одна через Поречье, другая — через Рудню, третья — через город Красное. Наступлением по первому пути французы рассчитывали отбросить русскую армию к югу от Московской дороги; движением через Рудню — ударить во фронт; а через Бабиновичи — Красное — обойти русских с тыла, отрезать от основных баз снабжения, расположенных на юге.

Главнокомандующие русскими армиями по-разному оценивали возможные действия французов. Барклай-де-Толли счел наиболее вероятным направлением их движения Пореченскую и Рудненскую дороги, оставив без внимания Красненскую.

Багратион же подозревал, что Наполеон пойдет через Красное.

В этой обстановке неизвестности, ожидая французских ударов, войска обеих русских армий маневрировали, занимая то одни, то другие позиции.

25 июля Неверовский получил приказ от генерала Багратиона. В бумаге, доставленной адъютантом князя, значилось:

«В три часа пополудни выступает отряд генерал-майора Неверовского, состоящий из полков: Виленского, Симбирского, Полтавского пехотных, 41-го, 49-го и 50-го егерских и батарейной роты № 31, имея в авангарде Харьковский драгунский полк с двумя орудиями конной артиллерийской роты войскового старшины Тацына, который уже находится в селе Корытно, где ему расположиться, имея впереди генерал-майора Карпова с двумя казацкими полками, с которыми вступить в сношение».

Отряду в дальнейшем предполагалось наблюдать неприятеля, выяснить его планы в отношении наступления на Смоленск.

Генерал внимательно прочитал приказ. Вначале Неверовского удивило и даже задело то, что главнокомандующий ввел его в отряд два чужих, не его дивизии, полка. «Хоть и хвалил князь, — подумал вслух, — за отменное проведение марша, а до конца, видно, не верит в моих молодцов». Но, поразмышляв еще немного, он понял, что дело не в недоверии Багратиона. «Князь Петр — человек прямой, душой кривить не будет, если что не так — скажет без околичностей». Опытный Багратион усилил отряд двумя полками уже обстрелянных солдат, что было своевременно.

Перед выходом из города Неверовскому было приказано оставить Виленский полк в Смоленске — для несения караулов. По этой причине виленцы не принимали участия в сражении под Красным — так свидетельствует в своих воспоминаниях адъютант командира 50-го Егерского полка Н. Андреев. К сожалению, этой детали каким-то образом не заметили историки более позднего периода. На страницах журнала «Русский инвалид» в 1911 году они развернули дискуссию по поводу «загадки Виленского полка», участие которого в сражении не было отмечено ни в донесениях Неверовского, ни в других документах. Разгадка же заключалась в том, что полк просто-напросто отсутствовал под Красным, находясь в это время в Смоленске.

Итак, получив приказ Багратиона, отряд направился по Красненской дороге. У Корытни соединились с артиллеристами майора Тацына. Уже подойдя к Красному, встретились с казаками. Ознакомившись с обстановкой, Неверовский приказал увеличить количество лазутчиков и разъездов — он хотел точно знать расположение неприятеля.

2 августа, ощущая приближение столкновения с неприятелем, генерал решил провести смотр отряда и еще раз убедиться в его готовности. На раскинувшемся лугу строились полки. Но начать смотр не пришлось.

Кто-то из окружения командира дивизии заметил мчавшегося во весь опор всадника. Все приумолкли, наблюдая за ним. Всадник приблизился, и молодой адъютант, позорче, определил:

— Казак мчится. Видно, весть важная!

Это был один из казаков генерал-майора Карпова, прискакавший на чуть живом взмыленном коне.

С размаху осадив, казак, глотая слова, крикнул:

— Ваш... превсх... француз валом валит!

Вскоре прискакали другие разъезды, а с ними подтвердилась весть: французы шли густыми колоннами и в большом количестве.

Наполеон, солдаты которого у Витебска получили отдых и недельный запас провианта, двинулся на Смоленск. Оставив на Рудненской дороге прикрытие, 1 августа он переправился через Днепр у Хомино и Расасны. Для удара на Смоленск было сосредоточено 5 пехотных и 4 кавалерийских корпуса, гвардия, создана группировка численностью в 185 тысяч человек. В голове армии Наполеона шли 3 кавалерийских корпуса Мюрата — свыше 15 тысяч человек.

Утром 2 августа кавалерия Мюрата прошла Ляды и двинулась на Красное.

Получив сообщения казацких разъездов, Неверовский, не мешкая, собрал совет. Ознакомив командиров бригад с обстановкой, он спросил их мнение. Первым держал речь младший из них полковник Воейков:

— Хоть нам приказано только наблюдать неприятеля, но какой бы силы он ни был, предлагаю дать ему бой в Красном, задержать сколько сможем, а потом отходить к Смоленску.

Остальные командиры бригад поддержали Воейкова. Выслушав всех, командир отряда приказал готовиться к бою.

Неверовский, учитывая огромное неравенство сил и особенности местности, составил следующую диспозицию. 49-й Егерский полк полковника Кологривова расположил в Красном, ему в резерве оставил по одному батальону 50-го и 41-го Егерских полков. Эти пехотные части усилил двумя орудиями конной роты под командой хорунжего Калашникова.

Дорога от Красного к Смоленску проходила по плотине. Генерал, понимая уязвимость своего отряда на этом узком месте, решил оставить город и дать сражение восточнее его. За глубоким оврагом на небольшой возвышенности он построил войска. Прямо у дороги разместил Полтавский, Симбирский пехотные полки. Фланги укрепил конницей. Правый — казаками, а левый — харьковскими драгунами. У Неверовского были колебания насчет использования артиллерии. Вначале ему казалось, что будет лучше поставить ее ближе к дороге. Но потом он изменил свое решение. Левый фланг выглядел слабее

правого. Тут глубокий яр заканчивался, и французы получили возможность обойти и ударить в тыл. Неверовский поставил 10 пушек приданной артиллерии и прикрыл их харьковскими драгунами.

Хоть и невелики были силы отряда и каждый человек был нужен для предстоящего сражения, Неверовский без колебаний (побеждает тот, у кого есть резерв!) приказал 50-му Егерскому полку полковника Назимова с двумя колонными орудиями отправиться к Смоленску держать переправу через небольшую речку Ивань у села Кортыни, а в случае необходимости — поддержать отходящий отряд.

...Вскоре показались французские войска. Это была конница Мюрата и пехотная дивизия Ледрю. Видимо, не ожидая встретить здесь значительного сопротивления, рассчитывая на легкую добычу, французы начали брать Красное в кольцо.

С небольшой возвышенности, на которой находился генерал Неверовский, было видно, как уверенно двигаются одетые в синие мундиры неприятельские колонны, как изготавливается к атаке конница. Вскоре французы пошли на Красное. Городок казался вымершим. По его пустынным улицам лишь изредка пролетали всадники — спешили адъютанты.

Но вдруг все ожило. Четким залпом встретили неприятеля егеря. Подали голос пушки. Огонь русских вырвал из рядов атакующих многих офицеров и солдат. Но приземистые, низкорослые вольтижеры из дивизии Ледрю упрямо шли вперед...

Численный перевес французов становился очевидным. Огонь их артиллерии был настолько силен, что егеря несли большие потери, лишились лошадей артиллерийские упряжки. От взрыва вражеской гранаты загорелся вначале один, потом еще несколько домов. Огонь стал союзником неприятеля. Под его прикрытием французы стали огибать фланги. Несмотря на огромный перевес сил, егеря не дрогнули и не побежали, а стали организованно отступать. Но при выходе из Красного, когда дорога сузилась и пошла по плотине, отходившим пришлось совсем туго. Залпы французов производили среди них «опустошительные действия». Любое промедление становилось смерти подобно. Видя это, Неверовский распорядился бросать пушки и быстро уходить под защиту стоящих в боевых порядках пехотных полков...

Егеря поспешили выполнить приказ. Но французам удалось расчленить их небольшой отряд. Две роты 41-го полка были отрезаны. Возглавлявший их майор Крамаревский не растерялся. Прикрывая друг друга огнем, роты отбили несколько атак вольтижеров. Дружным залпом они встретили и конницу, которая вынуждена была отступить. Поскольку плотина уже находилась в зоне французского огня, Крамаревский повел своих подчиненных вброд через реку. На другом берегу их встретили свои...

Сражение набирало силу. Мюрат, как и предполагал Неверовский, начал обход его левого фланга.

Харьковские драгуны, стоявшие здесь, смело пошли на вражескую конницу, но были опрокинуты. И тут Неверовский понял, что в диспозиции своей допустил ошибку. Артиллерия его, оказавшись без прикрытия, не смогла остановить французской конницы, пять пушек достались неприятелю, остальные были уведены драгунами на Смоленский тракт. Положение русских войск, и так бывшее не очень завидным, значительно ухудшилось.

Ошибку свою Неверовский очень переживал. Спустя несколько дней после боя под Красным он с горечью говорил графу Паскевичу о том, что ошибся в размещении артиллерии...

Дивизии Неверовского, оставшейся без артиллерии, с фронта угрожала пехота Нея, а конница Мюрата обходила с флангов. Оказавшись перед огромными силами французов, «возглавляемых двумя королями», командир русского отряда построил войска в два каре и стал отходить к Смоленску. Но прежде чем двинуться в путь, Неверовский, хорошо понимая состояние солдат, большинство которых еще не нюхало пороха, обратился к ним:

— Ребята! Помните, чему вас учили; поступайте так, и никакая кавалерия не победит вас. Не торопитесь в пальбе! Стреляйте метко в лицо неприятелю; третья шеренга, передавай ружья не суетясь: никто не смей начинать пальбы без моей команды!

Это было удивительное по своему напряжению зрелище. На небольшую горстку русских воинов, молча ощетинившихся по периметру штыками, с громким криком мчалась привыкшая к легким победам кавалерия. Это был крик торжества, крик врага, сильного своим количеством! Все ближе лавина неприятеля. Стонет земля от топота лошадей, вот уже отчетливо видны лица всадников. Впереди, наклонившись в стремительном движении,

скакал польский полковник. Вот он повернулся в седле, криком подзадоривая мчавшихся сзади...

Неверовский скомандовал бить тревогу. Прерывистый барабанный бой на минуту поглотил все другие звуки.

Молчавшие до сих пор темно-зеленые каре русской пехоты ударили залпом. В один миг вражеские трупы устлали землю. Польский полковник, чудом уцелевший среди града пуль, с несколькими уланами все-таки прорвался к русскому строю, но тотчас все были сражены штыками. Атакующие повернули обратно.

В извечном споре двух старейших родов войск — пехоты и кавалерии — на этот раз верх взяла пехота, как говорили тогда, инфантерия.

Неверовский велел ударить отбой и снова обратился к солдатам.

— Видите, ребята, — кричал он, — как легко исполняющая свою обязанность пехота побеждает кавалерию! Благодарю вас и поздравляю!

— Ура! Рады стараться! — загремело вокруг.

Неверовский видел, что, воодушевившись первой победой, вчерашние рекруты почувствовали свою силу, обрели в себе уверенность.

Отступление русского отряда продолжалось. Французы усилили натиск, их атаки стали еще яростнее. Вал за валом накатывались они на дорогу и отходили. В одном из приступов коннице удалось нарушить левый фас на участке Симбирского пехотного полка. Казалось, еще немного, и она окажется внутри каре. Но симбирцы, возглавляемые капитаном Байковским, сумели восстановить линию. А потом они дважды ходили в штыки на конницу. Уланы, не выдержав их бешеного натиска, восвояси ретировались в поле.

Русские отступали. Поляки находились так близко, что могли переговариваться с нашими солдатами, предлагая им сложить оружие.

Солдаты Полтавского полка кричали в ответ:

— Умрем, но не сдадимся!

В виду отряда Неверовского, на пригорке у околицы Красного, окруженный блестящею свитой, стоял король неаполитанский. Одетый в зеленую, расшитую золотом куртку, в шляпе с высоким пером, лихо сидя на вороном коне, он руководил наступавшими французами. Его вид вызывал у проходившей мимо кавалерии чувство восторженного энтузиазма. Опьяненный превосходством своих войск, король в азарте кричал скакавшим эскадронам:

«Вот неприятель! Атакуйте дружнее!» В ответ кавалерийские командиры салютовали ему своим оружием и командовали: «Вперед, марш-марш!» Эскадроны один за другим летели на отряд Неверовского. Русские воины встречали их и мощными ударами заставляли поворачивать обратно.

Шаг за шагом двигались русские каре. Вот уже пройдена одна, две, три версты. Бой кипел не переставая. Конница Мюрата ничего не могла сделать с отрядом Неверовского.

Ней предложил подвезти оставленные в Красном шестьдесят пушек и расстрелять обороняющихся картечью. Но пришедший в исступление от неудач Мюрат отмахнулся от этого предложения. Он снова и снова посылал своих кавалеристов в атаку. Около сорока раз французы ходили на русских.

Неверовский, умело используя для укрытия росшие вдоль дороги березы и рвы, отбивал эти наскоки и медленно, но твердо шел по Смоленскому тракту.

Но в одном месте, где встретилась опоясанная плетнями деревенька, обороняющимся пришлось тяжелее всего. Неприятель зашел в тыл колонны, возникла угроза полного окружения. Завязался жестокий бой, все перемешалось.

Участник боя под Красным, офицер 50-го Егерского полка Н. Андреев вспоминал:

«Сражение наше есть необыкновенное: без правил и порядка; толпа наших была смешана из разных полков и сама, без команды, отбивалась и отступала. Всего нас было 9 батальонов, а их, о ужас! 38 полков отличной кавалерии и начальник их — Мюрат... Ура! 27-я дивизия не поддалась. Голубчики не струсили и не дали неприятелю торжествовать. Первое сражение, дивизия молодая, рекруты, но отделались. Хвала и Неверовскому: он остановил стремление неприятеля и обессмертил свое имя сим сражением».

В этом труднейшем бою все — от генералов до вчерашних рекрутов — дрались отчаянно и храбро. Скромный, не любивший высокопарных слов, Неверовский так отозвался об их действиях: «...Увидел я, до чего может возвыситься мужество и неустрашимость русского солдата!»

Здесь особенно отличился капитан Логинов, поручики Никифоров, Мартынов, Черкасов, подпоручики Кулак и Чайковский. Они, некоторые уже были ранены, приняли

все меры для того, чтобы восстановить фасы каре. Своею храбростью и выдержкой они ободряли молодых солдат, вели за собой в штыковые атаки.

Французам, подпиравшим сзади отряд Неверовского, удалось на какое-то мгновение рассечь русский арьергард. Один из вражеских кирасиров бросился на полковника Воейкова, командовавшего арьергардом. Французского кавалериста, уже уцепившегося за полковничий сюртук, сразил подбежавший сзади егерь. Француз рухнул, держа в руках оторванные лацканы.

Посланные Неверовским егеря ликвидировали опасно вклинившихся французов.

Марш отряда Неверовского из Красного в Смоленск — это пример выдающегося мужества русских воинов. Даже те из них, кто по долгу службы и не находился, строго говоря, в строю, взяли в руки оружие. В своем донесении Неверовский впоследствии отмечал этих людей. Так, шталмейстер Харьковского драгунского полка Карасинский, заметив, что штандарт оного в опасности, поспешно собрал полсотни казаков и обратил гусар в бегство. За этот подвиг Карасинский был представлен к «переименованию в строевые с произвождением в подпоручики».

Аудитор же Егерского полка Марков, оказавшийся волею судьбы в адъютантах, «исполнял поручения с храбростью и в точности отдавал приказания, как положено».

Пять часов, отбиваясь пулями и штыками, шел отряд Неверовского по Смоленской дороге. Позади уже было двенадцать верст. Вот он уже приблизился к речушке, где их ждал Назымов с полком егерей и двумя пушками. Егеря, увидевшие неравный бой своих товарищей, пошли на выручку. Пушки открыли огонь. И случилось непредвиденное. Полагая, что здесь дивизию Неверовского ждут большие силы, французы остановились!

Неверовский благополучно переправил свой отряд через реку, где продержался до вечера. Дав войскам отдохнуть и разобраться по полкам, он вечером отошел к Смоленску. Потери отряда были большие — 1200 рядовых и 20 офицеров. Погиб адъютант генерала подпоручик Евсюков.

Сражение небольшого отряда Неверовского, сумевшего отбиться от огромной армии Мюрата у Красного, произвело на всех огромное впечатление. В русской армии

оно вызвало восхищение и уважение к боевым качествам дивизии.

Неожиданное для Наполеона сопротивление дивизии Неверовского сорвало замысел Бонапарта внезапно выйти к Смоленску, овладеть им, а затем ударить по русским армиям с тыла. Отряд Неверовского задержал продвижение захватчиков на целые сутки. Князь Багратион, которому и самому неоднократно приходилось воевать в подобных условиях, писал в донесении Александру I:

«Нельзя довольно похвалить храбрости и твердости, с какою дивизия, совершенно новая, дралась против чрезмерных сил неприятельских. Можно даже сказать, что примера такой храбрости ни в какой армии показать нельзя».

Естественно, реакция французов была совсем иной. Наполеон был очень недоволен действиями своих отрядов под Красным. «Я ожидал всей дивизии русских, а не семи отбитых у них орудий», — сказал он Мюрату. Французы объясняли свою неудачу тем, что местность помешала им использовать артиллерию. Ошибочными были приказы и действия Мюрата, который посылал свои полки в атаку не все вместе, а по мере их подхода. Но враги не могли не признать отличных действий Неверовского. Французы так писали о ситуации под Красным: «...красненское дело являет достопамятный пример превосходства хорошо выученной пехоты над конницею». Секретарь Наполеона занес в свой дневник: «Самая блистательная храбрость наших солдат истощается; ударяя в густую колонну, они рубят ее, но не могут сломить». Еще один французский офицер в восхищении писал: «Неверовский отступал как лев!»

Но не стоит переоценивать благородство французов, их способность воздать должное достойному противнику. Ибо уже в 13-м бюллетене армии Наполеона сообщалось, что 27-я дивизия русских в составе 5 тысяч пехоты и 2 тысяч кавалерии при 12 орудиях «была атакована и рассеяна в одну минуту», потеряв при этом половину своего состава.

Да что там французы. В Петербурге подвиг Неверовского и его отряда тоже не нашел достойной оценки. Например, ордена за красненское дело пришли в дивизию лишь в 1813 и 1814 годах, когда многих, включая самого Неверовского, уже не было в живых.

Как подвиг сохранилось в памяти русского народа героическое отступление отряда под руководством Неверовского, сумевшего сдержать наступательный порыв французов и сохранить основные свои силы. Многие годы спустя после завершения войны 1812 года и изгнания французов с русской земли в русском обществе жила память о подвиге этого отряда и о том, насколько не оценен ным остался этот подвиг со стороны официальных властей. Даже спустя 99 лет после окончания войны с Наполеоном, в 1911 году, в дискуссии, развернувшейся на страницах газеты «Русский инвалид», с горечью было констатировано:

«Мы удивительно робки там, где не следует...»

Лишь в 1912 году именем прославленного генерала был назван Симбирский пехотный полк, который входил в 27-ю дивизию.

Отступая к Смоленску, отряд Неверовского встретил войска из корпуса генерал-лейтенанта Раевского. Раевский долго и с удивлением смотрел на Дмитрия Петровича, а потом заключил его в объятия.

— А Беннигсен сообщил мне, что вы погибли, — сказал он, искренне радуясь возвращению Неверовского...

Дивизия генерала Неверовского заняла оборону на левом фланге в предместье Рачевка.

4 августа в семь часов утра загремел бой. Французы начали артиллерийский обстрел русских позиций. От ядер и гранат загорались деревянные постройки предместья. Обороняющиеся несли большие потери, не успев даже открыть ответный огонь. Но вот неприятель пошел вперед. 27-ю дивизию атаковали войска Понятовского. Поляки, со времен Лжедимитрия считавшие город неотъемлемой частью Речи Посполитой, дрались с невероятным упорством. Среди горящих домов вспыхнула рукопашная схватка, в которой русские, в центре которых по своему обыкновению находился Неверовский с адъютантами, дрались с не меньшим ожесточением. Командир дивизии хладнокровно отдавал распоряжения.

Но вот напор поляков усилился, их фигуры замелькали на улицах предместья, неприятельская артиллерия усилила свой огонь. В какой-то миг виленцы не выдержали жестокого нападения и подались назад. Но Неверовский вовремя подкрепил их двумя ротами под командой майора Безобразова, который тут же повел солдат в

штыки. Неожиданно под ногами офицера взорвалась граната. Осколки перебили ему руку. Стоявший рядом подпоручик Ярославов тоже был ранен. Казалось, что атака неминуемо захлебнется. Но Безобразов и Ярославов ни на минуту не остановились, и раненые продолжали вести виленцев в штыки. Поляки вновь откатились.

Дивизия, прошедшая закалку под Красным, умело и уверенно оборонялась.

К вечеру французы снова пошли вперед. Их удар был очень силен. В Рачевском предместье, как и вокруг города, снова закипел бой. Неверовский лично повел батальоны в штыки.

В ночь с 4 на 5 августа корпус Раевского был заменен корпусом Дохтурова. Но 27-я дивизия продолжала оставаться на прежнем месте. С рассветом бой возобновился.

В три часа дня началась генеральная атака армии Наполеона. Используя огромное преимущество в артиллерии и пехоте, он опять овладел предместьем.

У Никольских ворот батальоны 27-й дивизии дрогнули. Прибывший сюда граф А. И. Кутайсов и Неверовский стали останавливать попятившихся пехотинцев. Неверовский гневными словами укора остановил дрогнувших бойцов. Вот как впоследствии описывали эту ситуацию историки: «Лицо и вся фигура его дышали отвагой, взор кипел могучим негодованием, его героическая наружность производила неотразимое впечатление. Он был одет как на праздник. Новые эполеты, из-под расстегнутого мундира... виднелась тонкая белая рубаха со сборками, блестящая и готовая сталь в сильной руке. Он был красив и действовал могущественно на дух солдата. Заметив графа Кутайсова, он громко спросил: «Кто здесь мешается не в свое дело?» Кутайсов назвал себя и спросил: «Вы кто?» — «Я — Неверовский», — последовал ответ. Этот славный вождь вдохнул отвагу в свои отступавшие полки, остановил их, обратил на врага, послал на смерть или победу».

...Бой гремел по всей линии обороны Смоленска. Рвущихся в город поляков отбивали огнем артиллерии и ружей, штыками. Используя разрушительное действие своих пушек, поляки через проломы в стенах проникли в город. Положение становилось критическим. Неверовский приказал адъютанту штаб-капитану Гавриленкову направить к месту прорыва обороны ближайшие подразделения. Не успев проскакать и нескольких метров, Гавриленков

был ранен в плечо. Двигаться на лошади он дальше не мог. Зажимая рукой кровоточащую рану, он разыскал подполковника Рындина и через него передал слова генерала. Вскоре три роты симбирцев, поддерживаемые двумя пушками, уничтожили прорвавшегося неприятеля.

Наполеон вводил в бой все новые и новые войска. В Рачинском предместье, а именно прорывом на этом направлении французский император хотел отрезать обороняющихся от Днепра, сражение достигло своего апогея. Пехотинцы Неверовского, вторые сутки находившиеся под огнем, выдыхались. Он сам, уже несколько раз ходивший в штыки, видел, что силы на исходе. Как раз в это время и подоспела помощь — два полка 4-й дивизии Е. Вюртембергского. Поддерживаемые огнем генерала Кутайсова, свежие части и пехотинцы Неверовского снова заставили корпус Понятовского отступить.

Повторные атаки не принесли французам успеха. Опять началась бомбардировка города неприятельской артиллерией. Наполеон приказал сжечь его. «Тучи бомб, гранат и чиненых ядер полетели на дома, башни, магазины, церкви, — описывал очевидец. — И дома, церкви и башни обнялись пламенем — и все, что может гореть, — запылало!.. Опламененные окрестности, густой разноцветный дым, багровые зори, треск лопающихся бомб, гром пушек, кипящая ружейная пальба, стук барабанов, вопль старцев, стоны жен и детей, целый народ, падающий на колени с воздетыми к небу руками: вот что представлялось нашим глазам, что поражало слух и что раздирало сердце!.. Толпы жителей бежали из огня, полки русские шли в огонь; одни спасали жизнь, другие несли ее на жертву. Длинный ряд подвод тянулся с ранеными. Под покровом ночи русские войска, оставив для прикрытия несколько егерских полков, начали покидать Смоленск. Уходила и сильно поредевшая 27-я дивизия. Она до конца выполнила свой долг.

«Заметить надобно, — писал Д. П. Неверовский сестре, — что дивизия три дня кряду была в жестоком огне. Сражались как львы, и от обоих генералов я рекомендован наилучшим образом. Оба дня в Смоленском ходил я сам в штыки. Бог меня спас, только тремя пулями сюртук мой расстрелян. Потери были велики, как офицеров, так и рядовых».

Взятие Смоленска было значительным успехом для Наполеона. Теперь русская армия до самой Москвы не имела крупного опорного пункта. Недаром М. И. Кутузов, узнав о падении крепости, сказал: «Ключ к Москве взят».

Отходящая армия начала готовиться к решительному сражению. 24 августа главнокомандующий донес в Петербург: «Позиция, в которой я остановился при деревне Бородино в 12 верстах вперед Можайска, одна из наилучших, которую только на плоских местах найти можно. Слабое место сей позиции, которое находится с левого фланга, постараюсь я исправить искусством. Желательно, чтобы неприятель атаковал нас в сей позиции, тогда я имею большую надежду к победе».

Чтобы укрепить «слабое место» на левом фланге позиции, у деревни Шевардино был сооружен редут. Он представлял собою правильную пятиугольную площадку, окруженную по периметру земляным валом и глубоким рвом. Укрепление предназначалось для круговой обороны. Оборонять его было поручено отряду, в который входила и 27-я дивизия. Отряд возглавлял племянник и соратник А. В. Суворова генерал-лейтенант А. И. Горчаков.

Пехотные полки 27-й дивизии, построенные в две линии батальонные колонны, заняли место непосредственно у редута. Егеря же в составе сводного отряда рассыпались впереди от деревни Доронино и дальше по оврагу до села Ельня.

Егеря первыми и встретили неприятеля. Они открыли огонь во фланг вражеского корпуса, мешая развертыванию сил французов. Наполеон решил овладеть редутом. Сюда он бросил свыше 30 тысяч пехоты, 10 тысяч конницы и 186 орудий. Противник нанес удар по егерям. Те отстреливались около двух часов. Потом начали отходить. На помощь 50-му Егерскому полку, оказавшемуся на направлении главного удара противника, Неверовский двинул Тарнопольский полк.

Тарнопольцы шли в бой под музыку. Густой огонь французских пушек и ружей не смог нарушить их движения. Даже ранение командира полка не уменьшило силу их порыва. Неприятельская пехота дрогнула и побежала — с развернутыми желто-красными знаменами тарнопольцы преследовали ее. Положение было восстановлено.

Но французы усилили артиллерийский огонь. По брустверу, рву запрыгали черные шары ядер. Одна из гранат попала в пороховой ящик. Взрыв бросил наземь находившихся рядом пехотинцев. Многие из них уже не смогли подняться.

Редут заволокло дымом.

Тем временем французы стали обходить с флангов. Обороняющиеся оказались в сложном положении.

Батальоны 27-й дивизии свыше десяти раз ходили в атаки. Уже были ранены почти все бригадные и полковые командиры, поредели ряды солдат. К семи часам вечера французы, имея численное превосходство, оттеснили их и захватили редут...

В это время со 2-ю гренадерской дивизией сюда прибыл Багратион. Он сам повел могучих гренадеров вперед, их поддержали остатки дивизии Неверовского. Французы попытались нанести фланговый удар своими двумя колоннами, но попали под удар русской конницы. Кирасиры и драгуны смяли неприятельскую пехоту. Через два часа совместными усилиями кавалерии и пехоты укрепление было очищено от противника.

Над полем сражения опускалась ночь. В темноте бой постепенно затихал. Вскоре лишь одинокие выстрелы егерей да стоны раненых нарушали тишину.

Вдруг защитники редута услышали топот многих ног. Они стали внимательно всматриваться в сторону неприятельских позиций.

— Кажется, снова идут, — крикнул кто-то позорче.

— Вряд ли! Наверное, маневрируют...

Неожиданно вспыхнувшие в неприятельском стане несколько стогов сена прояснили картину.

Оказывается, французы, пользуясь темнотой, решили захватить редут внезапным ударом.

Пламя хорошо подсвечивало густую неприятельскую колонну, приближавшуюся к русским позициям.

Дмитрий Петрович получил приказ князя Горчакова задержать противника до подхода резервов. Мгновенно оценив обстановку, Неверовский приказал подчиненным ссыпать порох с ружейных полок. Убедившись, что его требование выполнено, он, стараясь все делать тихо, без лишнего шума, повел своих пехотинцев навстречу врагу. В ночной тиши закипел жестокий штыковой бой...

Князь Горчаков тем временем приказал своему последнему резерву — батальону Одесского полка имитировать атаку. Барабанщики начали старательно выбивать сигнал «Поход». Пехотинцы же стали кричать «ура!», не двигаясь с места.

Французы, изумленные неожиданным сопротивлением, яростью ночного штыкового боя, сигналами барабанщиков и громким «ура!», заколебались, начали перестраиваться в каре, готовясь к отражению атаки конницы.

Воспользовавшись их заминкой, подоспела 2-я кирасирская дивизия. Она и произвела последнюю в этот день атаку. Кирасиры опрокинули французов, захватив несколько орудий.

Кутузов считал, что удерживать редут следует до тех пор, пока войска 2-й Западной армии не устроятся на новой позиции за Каменским оврагом. С наступлением ночи надобность в этом отпала, и отряд Горчакова в полном порядке начал отход.

Бой за Шевардинский редут был очень напряженным и кровопролитным. Об этом можно судить по потерям дивизии Неверовского. Накануне сражения она получила пополнение — 4 тысячи рекрутов — и насчитывала 6 тысяч человек. А из боя Неверовский вышел с тремя тысячами. Почти все оставшиеся в живых солдаты и офицеры его были ранены.

Кутузов отметил бой у Шевардина специальным приказом, который объявлен был всей армии: «Горячее дело, происходившее вчерашнего числа на левом фланге, кончилось к славе российского войска...»

Издал приказ и командующий 2-й армией князь Багратион. Он объявил генералу Неверовскому благодарность, а при личной встрече сказал:

— Завтра я тебя поберегу.

25 августа продолжались бои между подходящими французскими войсками и находящимися впереди егерями.

Дивизия же Неверовского в это время была занята выполнением приказа Багратиона. Он распорядился выделить 600 человек для вязки фашин. Вооружившись топорами, эта группа рубила прутья, туго стягивала их в вязанки и грузила на повозки. Потом из этих вязанок делали оборонительные сооружения.

Неверовский был весь в хлопотах о предстоящем бое, когда ему доложили о прибытии в дивизию главнокомандующего. Кутузов, объезжая войска, решил остановиться в 27-й дивизии, которой, он знал об этом, предстояла нелегкая задача.

В Симбирском полку он, остановив кинувшегося с докладом генерала, обратился к солдатам:

— Вам придется защищать землю родную, послужить верою и правдою до последней капли крови. Каждый

полк, — говорил старый и мудрый фельдмаршал, — будет употреблен в дело. Надеюсь на вас!

Громким «ура!» ответили симбирцы на его слова.

Дивизия Неверовского готовилась к предстоящему сражению. Проводилась инженерная подготовка местности. Солдаты выравнивали территорию своих позиций. Закапывали канавы и рвы, счищали кустарник, все, что могло помешать «фронту и его действиям».

В тяжелых трудах день пролетел быстро. В канун сражения русские солдаты надели чистые рубахи, наточили штыки и тесаки. В лагере царила напряженная тишина. Ее нарушали лишь голоса часовых да шум продолжавших рыть окопы ополченцев.

Но весел был в этот вечер французский бивак. Солдаты «великой армии» жгли костры, пили вино и пели песни. Им казалось, что завтра победой окончат они свой поход в Россию.

Согласно диспозиции Кутузова 27-я дивизия находилась на левом фланге русских войск. Она входила в состав 8-го корпуса генерал-лейтенанта М. М. Бороздина.

С началом Бородинского сражения 8-й корпус, обороняющий Семеновские флеши, оказался в центре событий. Флеши — укрепления в виде стрелы — попали под первый удар Наполеона.

Ранним утром 26 августа Даву двинул свои дивизии вперед. Уже поднявшееся над горизонтом солнце ярко освещало неприятельские колонны. Французы шли уверенно, с развернутыми знаменами, под тревожные звуки барабанов.

Русские пушкари, занятые до этого артиллерийской дуэлью, перенесли огонь на пехоту. В рядах атакующих стали взрываться гранаты и бомбы. Командиры призывно замахали шпагами. Неожиданно для них во фланг наступающим открыли огонь егеря. Шедшие впереди строя несколько французских офицеров были сразу убиты. Меткими выстрелами из штуцеров егеря прямо-таки опустошали ряды наступающих.

Попав под шквальный огонь артиллерии и егерей, неприятельская пехота понесла большие потери и поспешно скрылась в Утицком лесу.

Неверовский, наблюдавший за ходом событий, пробормотал про себя пришедшие на ум слова солдатской песни «Ну-ка, братцы егеря, егеря! Начинаем мы не зря, эх не зря!». А вслух сказал улыбаясь:

— Молодцы!

Началом сражения генерал был доволен. Несколько раз солдаты Даву начинали атаку, но ураганный огонь защитников флешей заставлял их отступать...

Труднее стало, когда французы подтянули свои орудия ближе к русским укреплениям. Их огонь прикрыл движение пехоты, и вскоре на подступах к флешам завязался жестокий бой. Стрельба велась с коротких дистанций, мало какой выстрел пропадал. Натиск неприятеля нарастал. Французы потеснили батальоны сводной гренадерской дивизии М. С. Воронцова и ворвались в левое укрепление. Пехотинцы 27-й дивизии ударили им во фланг. Напряжение боя было очень высоким. Позже Неверовский писал: «Я... вошел в жестокий огонь, несколько раз дивизия и я с ней вместе ходили в штыки. Напоследок патроны и заряды пушечные все расстреляли, и мою дивизию сменили».

Пополнившая запасы дивизия Неверовского была возвращена на редут. И вновь она оказалась среди огня и смерти. Французы упорно стремились вперед. Вот покатился вал новой атаки. Все ближе светло-серые ряды французов. Дмитрий Петрович, обнажив шпагу, поднялся в стременах:

— Ребята!.. — прокричал он солдатам. И вдруг повалился с лошади. Это ядро, пролетев в опасной близости, контузило его в грудь и левую руку. Солдаты стали поднимать упавшего на землю генерала.

Но Неверовский уже пришел в себя. Подняв выпавшую из рук шпагу, он крикнул: «Вперед, ребята!» — и пошел навстречу неприятельской цепи. А за ним, обгоняя генерала, рванулись его солдаты. 27-я дивизия заняла флеши.

И французская и русская армии дрались с удивительным упорством.

Наполеон сосредоточил для новой атаки свыше 35 тысяч пехоты и конницы и 186 орудий. Ценой страшных потерь французам удалось овладеть укреплениями и ворваться в деревню Семеновское. Над левым флангом русских нависла опасность.

Прискакал Багратион. Как и в сражении под Шевардином, он лично возглавил атаку 2-й гренадерской дивизии, которая нанесла удар французам во фланг. С фронта наступали остатки дивизии Воронцова и пехотинцы Неверовского. Контратака русских оказалась стремительной, дружной, неожиданной для противника. Французы

в панике отступили на исходные рубежи. Только случай спас от плена находившегося здесь Мюрата.

Спустя некоторое время наступление французов возобновилось. Но все их попытки захватить Семеновские флеши были тщетными. Французский генерал Пеле, участник сражения, вспоминал: «Мы видели, как русские массы маневрировали, подобно подвижным редутам, унизанным железом, и извергая огонь. Посреди открытой местности и картечь нашей артиллерии, и атаки нашей кавалерии и пехоты наносили им огромный урон. Но пока у них оставалось сколько-нибудь силы, эти храбрые солдаты снова начинали свои атаки».

В середине дня французы снова пошли вперед. Генерал Неверовский видел, как огромная людская лавина надвигается на флеши. Впоследствии подсчитали, что Наполеон бросил в сражение 45 тысяч кавалеристов и пехотинцев, свыше 400 артиллерийских орудий. Им противостояло 20 тысяч русских солдат. Количество орудий было примерно равным. Находившийся на флешах Багратион принял решение встретить противника штыками в поле, не допуская его к укреплениям. Он сам повел полки навстречу врагу. Натиск неприятельских колонн стал слабеть. Но в разгар боя русские понесли невосполнимую утрату — смертельно ранен П. И. Багратион. Неверовский, как и все в русской армии, был потрясен этим известием. «Сей нещастный случай весьма расстроил удачное действие левого нашего крыла, доселе имевшего поверхность над неприятелем», — писал М. И. Кутузов в донесении к царю. Наступило замешательство.

Временно принявший на себя командование генерал Коновницын вынужден был отвести войска, среди них находились и остатки 27-й дивизии Неверовского, за Семеновский овраг. Но больше русские войска не отступали ни на шаг.

От грохота пушек, топота ног бегущих солдат, стука копыт дрожала бородинская земля. Солдаты Наполеона, опьяненные обманчивым ощущением близкой победы, ожесточенно рвались вперед. Нерушимой стеной встали перед ними русские каре. Казалось, вся Россия вышла из своих домов сюда, к Москве, чтобы остановить врага. Удивительно, но факт — почти каждый второй русский офицер сражался здесь рядом с братом, отцом, сыном. Многие из них пали.

Дмитрий Петрович знал, что здесь же, на Бородинском поле, находится и его брат. Как бы трудно ни приходилось ему самому и его дивизии, Неверовский с беспокойством вспоминал об Александре. Но получить известие о брате в горячке боя не удавалось. Лишь после окончания битвы он узнал, что гвардейский офицер Александр Неверовский умер от раны, полученной под Бородином...

...Дивизии Неверовского предстояло отражать очередную атаку французов. Генерал огляделся. Людей оставалось очень мало. Почти все они были ранены, валились с ног от усталости. Увидев скачущего на лошади офицера — это был адъютант командира 50-го Егерского полка капитан Андреев, — Неверовский приказал ему собрать всех оставшихся в живых солдат и офицеров к деревне Семеновская. Вскоре группами и поодиночке стали подтягиваться все те, кто мог еще держать в руках оружие. И генерал увидел, что дивизия его практически не существует. Вся молодежь, выученики его, которыми он еще несколько недель назад любовался и гордился, все они пали. В Одесском полку старшим по званию остался поручик, а в Тарнопольском — фельдфебель. В 50-м Егерском полку в живых насчитали всего сорок человек.

Но генерал приказал дивизии строиться к бою.

— Бить на штыки, — скомандовал он чудом уцелевшему барабанщику.

Тревожная дробь пронеслась над полем. Генерал повел своих подчиненных навстречу французам. Заслышав сигнал барабанщика, к ним присоединялись солдаты других дивизий — пехотинцы, егеря, спешенные драгуны и кирасиры. И вновь вспыхнул жестокий бой. Капитан Андреев вспоминал: «...картина ужаснейшая и невиданная. Пехота разных полков, кавалерия спешенная без лошадей, артиллеристы без орудий. Всякий дрался чем мог, кто тесаком, саблей, дубиной, кто кулаком».

Семеновские флеши стали настоящей могилой французской пехоты.

Тяжелые потери понесли и русские войска.

В 1912 году на Бородинском поле, левом укреплении Семеновских флешей, был открыт памятник воинам 27-й дивизии. На черном полированном граните выбита надпись: «Бессмертной дивизии Неверовского — героям Шевардина и Семеновских флешей». На пьедестале обозначены сведения о потерях каждого полка в боях 24 и 26 августа 1812 года. В Симбирском полку погибло

18 офицеров и 696 нижних чинов, в Одесском — 21 офицер и 491 нижний чин, в Тарнопольском — 30 офицеров и 750 нижних чинов, в Виленском — 18 офицеров и 750 нижних чинов.

Неверовский имел полное право, подобно командиру сводной гренадерской дивизии генералу Воронцову, сказать, что 27-я дивизия «исчезла не с поля сражения, а на поле сражения».

Подвиги пехотинцев Неверовского в Бородинском сражении и вообще в Отечественной войне 1812 года были высоко оценены. Так, например, Одесский полк заслужил в этих боях следующие награды: гренадерский бой (*особый походный марш на барабане*), георгиевские трубы. Его солдаты носили на головных уборах знаки с надписью «За отличие».

49-й Егерский полк тоже носил эти знаки на головных уборах. Кроме того, он дважды награждался серебряными трубами...

Не менее высоко были оценены подвиги и других частей дивизии.

Дмитрию Петровичу Неверовскому за Бородинское сражение было присвоено звание генерал-лейтенанта.

...Русская армия покидала Москву. По запруженным улицам шли тысячи людей — солдат, жителей столицы. Они шли, с тревогой прислушиваясь к громам недельного сражения. Это арьергарды отходивших сдерживали авангарды французские.

Среди этого потока шли остатки дивизии Неверовского. Дмитрий Петрович ехал по знакомым улицам. Казалось очень далеким и каким-то нереальным то спокойное и мирное время, когда здесь он формировал свои полки. Мелькнуло знакомое здание Сухаревской башни, неподалеку от нее находились Спасские казармы, в которых жили егеря дивизии. Горечью сжало сердце.

«Москву мы оставили со слезами...» — писал впоследствии Дмитрий Петрович.

В глубоком молчании, сохраняя порядок, проходили солдаты, прощаясь с обреченным на бесчестие городом.

За Москвою Неверовский получил приказ — поступить под начало Милорадовича и действовать в арьергарде. Удивленный (какая из его дивизии нынче сила), он завел речь с Милорадовичем:

— Солдаты мои многие ранены, почти все разуты. Нельзя ли заменить дивизию?

Выслушав Неверовского, Милорадович сказал:

— Знаю, ваше превосходительство, что ослабла силами ваша дивизия, зато тверда она духом!

Неверовский гордо вскинул голову:

— Благодарю за честь!

27-я дивизия шла в арьергарде русских войск сначала по Рязанской дороге, потом, вслед за армией, перешла на Калужскую. Дралась под Красной Пахрой. Здесь пехотинцы Неверовского попали под удар французских кавалеристов. Многие из них «были порублены». И сам Дмитрий Петрович, как *писал он сестре, едва спасся*...

Отдохнуть удалось лишь после отвода полков в Тарутинский лагерь. Здесь почти месяц не слезавший с лошади Неверовский смог спокойно выспаться. С удивлением обнаружил он, что необходимо сменить мундир, генерал так похудел за время боев, что знакомые едва узнавали его.

Но заниматься собою не было времени. Дивизию предстояло пополнить и, собственно, заново сформировать ее. Людей из наиболее пострадавших Тарнопольского и 50-го Егерского полков Кутузов распорядился передать в другие части. Командиры же этих полков с небольшими группами солдат убывали в глубокий тыл для полного переформирования.

Построив вновь прибывших рекрутов, Дмитрий Петрович сказал, показывая на уходящих ветеранов:

— Вы всегда должны помнить, что носите имя двадцать седьмой дивизии, и сражаться так, как и они!

Все свое время генерал вновь посвящает обучению солдат, подготовке их к новым сражениям. В каждом из них он воспитывал выносливость, терпение, храбрость. Его солдаты совершали длительные марши, проводили многие часы на стрельбище, учились вести огонь по цели. Для улучшения огневой подготовки в армии Кутузов распорядился не жалеть пороху и пуль, и Неверовский широко пользовался этой возможностью.

Дивизия постепенно входила в силу. И вскоре Неверовский снова повел ее в бой. Сначала она дралась под Вороновом, а *позже под* городом Малоярославцем. Наполеон, пытаясь уйти из им же созданной зоны разрушений, пытаясь найти продовольствие и фураж, рвался на юг. Он бросал свои войска в атаки. Русские тоже постепенно наращивали силы. В Малоярославце завязались

кровопролитные уличные бои. Город горел. «Сражение было жестокое, и принуждены были несколько раз отдавать город и брали обратно. Тут я был в опасности и чуть-чуть не попал в плен, — вспоминал Д. П. Неверовский, — ...злодей, не могши прорваться на Ярославец, должен был поворотить на ту самую дорогу и ретироваться, где все было сожжено и, что называется, кошки нельзя было сыскать».

Началось преследование «великой армии». Шел ноябрь. Среди вьюги и ненастья дивизия Неверовского шла параллельно с отступающими французскими войсками, нанося им удары. Солдаты не обращали внимания ни на голод, ни на отсутствие продовольствия. Они понимали, что всякая остановка гибельна, может позволить «злодею убежать». Под знакомым уже городом Красным дивизия в составе главных сил вновь участвовала в большом сражении.

Подчиненные Неверовского показали себя во всем блеске. Молодые солдаты действовали храбро, мужественно, были так же надежны в бою, как и их предшественники на Бородинском поле...

Под Красным французы потеряли почти 6 тысяч убитыми и ранеными, 26 тысяч пленными и почти всю артиллерию.

Отмечая вклад пехоты, в состав которой входила и 27-я дивизия, в эту победу, Милорадович писал в реляции о Красном: «Сие дело решило, что русская пехота первая в свете. Наступающие неприятельские колонны под сильным картечным и ружейным огнем в отчаянном положении, решившиеся умереть или открыть себе путь, опрокинуты штыками храбрых русских, которые, ожидая его, с хладнокровной твердостью бросались на него с уверенностью в победе».

После сражения в ставку Кутузова доставили растерянные неприятелем и отбитые его знамена, которыми французские полки были награждены еще за Аустерлиц. Присутствовавший при этом один из офицеров Московского ополчения закричал:

— Ура спасителю России!

Громкое «ура!» пронеслось над войсками. Кутузова тронул этот возглас. Он встал и закричал:

— Полноте, друзья, полноте! Что вы! Не мне эта честь, а слава русскому солдату!

Битва под Красным была последним сражением 1812 года, в котором участвовал Дмитрий Петрович Неверовский. Дивизия его так поредела, что ее оставили в Вильно для переформирования.

После ухода французов Вильно выглядел вымершим городом. Сиротливо стояли черные скелеты сожженных домов, по пустынным улицам бродили ни для кого уже не опасные, закутанные в тряпье бывшие солдаты «великой армии». Изредка пробегали всем напуганные жители.

Да, Вильно теперь ничем не напоминал тот цветущий город, на улицах которого заносчивая шляхта приветствовала Бонапарта.

Обстановка в Вильно стала меняться после прибытия сюда главнокомандующего, в особенности после прибытия царя. По улицам древнего литовского города поскакали блестящие адъютанты, покатились кареты петербургской знати. Вновь засверкали огнями дворцы — в зеркалах отражались многочисленные люстры, блестящие дамы и кавалеры, звучала музыка. Россия праздновала победу над «великой армией» Наполеона.

Но заботы Дмитрия Петровича в это время были далеки от этих шумных торжеств. Уже в третий раз он формировал свою 27-ю дивизию новым составом. Два первых практически полностью полегли на полях России. Он хорошо помнил и знал этих людей, и сердце сжималось скорбью, когда думал о трагической их участи.

Но снова начали прибывать рекруты, снова начинал с азов их обучение генерал-лейтенант Неверовский и снова, наблюдая результаты своего труда, Дмитрий Петрович испытывал удовольствие, ловя себя на мысли, что его новые подчиненные смогут действовать в бою не хуже славных своих предшественников.

В трудах и работе пролетела зима. Если бы Дмитрия Петровича спросили о каких-то заметных событиях, случившихся с ним в Вильно, он смог назвать их не так много.

Запомнился неожиданный приезд жены. Недолгое время они смогли побыть вместе. А после отъезда Лизоньки еще одно запоминающееся событие — аудиенция у царя. Александр I при всех генералах сказал: «Дивизия твоя дралась славно, я никогда твоей службы и дивизии не забуду».

Весной 1813 года 27-я дивизия, отдохнувшая и пополнившая ряды, выступила из Вильно. Она была назначена в корпус генерала Сакена, который впоследствии

вошел в Силезскую армию Блюхера. Вскоре дивизия соединилась с главными силами.

Генерал Сакен, с которым Дмитрий Петрович был знаком еще по Ревелю, встретил приветливо. Такой же теплой получилась встреча у Неверовского и с Блюхером, который был известен своей строгостью и суровостью. Оставаясь и в старости «прямым и пылким», прусский военачальник вскоре сблизился с русским генералом, оценил его храбрость и открытый характер.

Через некоторое время армия, сосредоточенная у австрийских границ, начала активные боевые действия.

...После небольшой, но жестокой стычки с французами, Неверовский расположил дивизию на ночлег в только что освобожденном немецком городке. Здесь и нашел его адъютант:

— Ваше превосходительство, вам письма.

Дмитрий Петрович быстро перебрал пакеты. Одно было от младшего брата Ивана. Еще не вскрыв, он знал, о чем пойдет речь. Пробежав первые строчки, улыбнулся: Ванюша верен себе. В сотый раз просит помочь ему перевестись из флота в армию. Все рвется в бой. Никак не может простить себе, что его не было под Бородином. «Полно, брат, чудить, — улыбка вновь скользнула по лицу Дмитрия Петровича. — Хватит проверять свою храбрость. В ней и так все уверены. Тем более что многие наслышаны о смелости Ивана при штурме Анапы, за который он получил орден Георгия 4-й степени. Редкая в младшем офицерском чине награда...»

Дмитрий Петрович взялся за перо. Хотелось успокоить близкого человека, объяснить ему, что война идет к концу. Ведь кто-то должен будет и о матери, оставшейся вдовой, позаботиться, да и сестры нуждаются в мужской поддержке. «Брат Павел умер, — писал Дмитрий Петрович. — Брат Александр скончался от раны, полученной под Бородином. Брат жены, как слышно, убит под Бауценом. Бог знает, что еще ожидает меня? Ты должен остаться опорою нашего семейства...»

Он запечатал письмо, задумался. Как еще переживет его жена известие о гибели своего брата? Ему рассказывали, что майор Мусин-Пушкин погиб в день своего рождения — 9 мая. В тот день сражение началось рано утром, но где-то в десятом часу выдалась свободная минута и офицеры гвардейского полка пригласили Николая пройти в тыл, к опушке леса. Там на скорую руку накрыли небольшой стол, приготовили пирог именинни-

ку, но только приступили к еде, французы пошли в атаку. Майор Мусин-Пушкин вместе со всеми ринулся отражать ее. А через несколько минут его принесли на скрещенных ружьях. Погиб от удара штыком...

27-я дивизия активно участвовала во всех сражениях Силезской армии. Одно из них, Лейпцигское сражение, вошедшее в историю «как битва народов», стало для Дмитрия Петровича роковым.

Полки 27-й дивизии наступали на город с севера. Ценою невероятных усилий 19 октября Неверовский ворвался в северное предместье Лейпцига.

Дмитрий Петрович вел полки в атаку, когда пуля ударила ему в ногу. Кровь выступила через одежду, но он продолжал руководить дивизией. Всем, кто показывал на окровавленную одежду, он говорил:

— Чепуха, шпорой царапнул. — И отказывался покинуть поле боя.

Узнав о ранении Неверовского, командир корпуса Сакен встревожился. Адъютант передал его приказ — сдать дивизию и ехать к резерву. Но Неверовский ответил адъютанту:

— Передай, не могу покинуть дивизию в трудный момент.

Сакен пошел на хитрость. Он вызвал Неверовского к себе, якобы на совещание.

Дмитрий Петрович прискакал к нему. И тут почувствовал, что силы покидают его. Он упал с лошади. На следующий день его привезли в Галле. Врач установил, что пуля застряла в кости. Было решено вынуть ее.

Записки современников донесли до нас описание этой операции: «Малахов прорезал рану Неверовского, вынул несколько раздробленных костей, зацепил щипцами пулю, рванул, но французский свинец держался крепко. «Вот, — сказал Неверовский, пересиливая мучительную боль, — говорят, что мы не умеем терпеть. Все можно перенести!» Потом он просил собрать вынутые из ноги его кости и сохранить их на память. Через несколько минут, необходимых для отдохновения, Малахов вновь зацепил пулю щипцами. Без стонов, с возможною человеку твердостью, старался Неверовский перенесть возобновленную пытку, но когда пулю наконец вынули, от сильной боли в груди и левом боку, пораженных контузиею, полученной под Бородином, он впал в горячку».

Спустя несколько дней началась гангрена. Ампутировать ногу было поздно — генерал потерял слишком много сил. Поднялась температура. Дмитрий Петрович начал бредить. «Вперед! На штыки!» — кричал он в забытьи.

С этим кличем на устах 21 октября 1813 года в день своего сорокадвухлетия сподвижник Суворова Дмитрий Петрович Неверовский скончался на руках своих адъютантов.

Похоронен он был с воинскими почестями в городе Галле. Защищая Россию, Неверовский заслужил такие награды: ордена Георгия 3-й и 4-й степеней, Владимира 2-го и и 3-го классов, Анны 1-й степени и прусский орден Красного Орла.

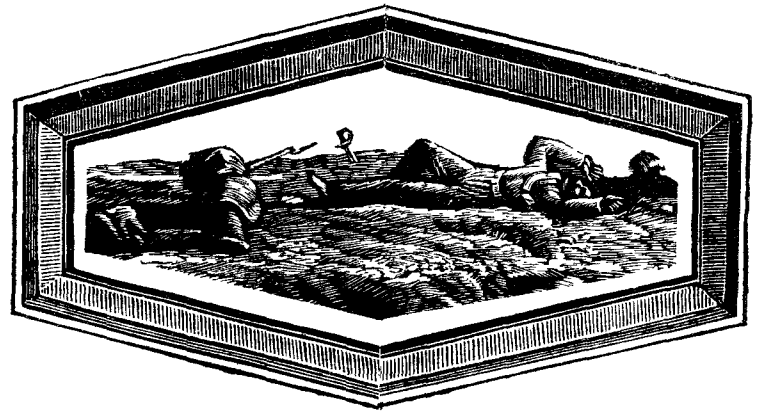
Через год жители небольшого немецкого городка Галле были удивлены неожиданным зрелищем. В город с музыкой и развернутыми знаменами вошли русские батальоны. Это был возвращавшийся из Парижа гвардейский Павловский полк. Сделав немалый крюк, гвардейцы завернули к могиле Дмитрия Петровича Неверовского. «Военною тризною» они почтили память своего бывшего шефа. Полковой священник отслужил молебен, загремели барабаны, раздалась команда: «Накройсь!» Полк церемониальным маршем прошел мимо могилы героя-генерала.

В 1912 году, к столетней годовщине Бородинского сражения, останки Неверовского были перевезены в Россию и похоронены в районе Семеновских (Багратионовых) флешей.

Рядом с памятником погибшим солдатам прославленной 27-й дивизии встал памятник ее командиру. На черном граните его с лицевой стороны выбито: «Здесь погребен прах генерал-лейтенанта Дмитрия Петровича Неверовского, мужественно сражавшегося во главе 27-й пехотной дивизии и контуженного в грудь ядром 26 августа 1812 года». На другой стороне памятника тоже есть надпись: «Генерал-лейтенант Д. П. Неверовский сражен в 1813 году под Лейпцигом. Прах его покоился в Галле и в 1912 году по высочайшему повелению государя императора Николая Александровича перенесен на родину 8 июля того же года».

Вл. ТИКЫЧ

Яков Петрович Кульнев



Жена Петра Васильевича Кульнева занемогла, и поэтому ему пришлось задержаться в Полоцке на два дня. И хотя причина, вызвавшая остановку, была серьезной, он, будучи человеком «дисциплины и долга», очень переживал, что не сможет прибыть в установленный предписанием срок. Как только Луизе Ивановне стало лучше, он решил тронуться в путь. Но то ли виной была ухабистая дорога, то ли время подошло — на почтовой станции Сивошино снова пришлось остановиться: у жены начались родовые схватки. С трудом удалось отыскать повивальную бабку, а помогать ей вынужден был сам Петр Васильевич. Так в ночь с 24 на 25 июля 1763 года в небольшой белорусской деревеньке появился на свет будущий герой Отечественной войны 1812 года Яков Петрович Кульнев. Следует отметить, что относительно места рождения Якова Петровича существует множество легенд. Вот

одна из наиболее распространенных, сообщенная А. И. Михайловским-Данилевским: «Облекая память Кульнева в народный рассказ, говорили, что он похоронен подле того холма, где родился, ибо его мать, беременная им, ехала из Полоцка в Люцин, внезапно почувствовала боль, вышла из экипажа и родила его на холме под елями, где потом товарищи предали тело героя материземле».

Возможно, эти расхождения вызваны тем обстоятельством, что Полоцк и Люцин расположены всего лишь в 130 километрах друг от друга и до конца прошлого века входили в состав Витебской губернии; но, как бы там ни было, полочане считают Я. П. Кульнева своим земляком.

О родителях Кульнева известно очень немногое. Его отец, Петр Васильевич, «верой и правдой» служил отечеству. Однако больших чинов достичь он не смог. Офицерский чин Петр Васильевич заработал кровью во время Семилетней войны. Очевидно, тогда же, в Пруссии, он женился на Луизе Ивановне, урожденной Гребинниц. Яков Петрович отзывался о матери с необыкновенной теплотой и говорил, что она была «воспитана в лучших традициях лютеранской добродетели». Известно также, что она вела переписку с А. В. Суворовым. По свидетельствам современников, Яков Петрович до конца ее жизни треть своего жалованья отсылал матери.

Семья Кульневых не утопала в роскоши. Все ее состояние заключалось в офицерском жалованье отца и в родовом поместье Болдырево Калужской губернии с 25 душами крепостных. Отец часто отлучался из дома по служебным делам, и все заботы по воспитанию детей (их было семь человек: шесть сыновей и одна дочь) ложились на Луизу Ивановну. С особой настойчивостью она воспитывала у них уважение к труду, скромность и бережливость. Эти качества Якову Петровичу были присущи всю жизнь.

В 1770 году Петр Васильевич привез своих сыновей в Петербург. Было решено определить мальчиков в Сухопутный Шляхетский кадетский корпус. Основная задача корпуса состояла в том, чтобы «доставлять малолетним, предназначенным к военной службе в офицерском звании и преимущественно сыновьям заслуженных офицеров, общее образование и соответствующее их предназначению воспитание». Петр Васильевич принадлежал к заслуженным офицерам, и прошение о зачислении Якова и Ивана «на казенный кошт» было удовлетворено.

Корпус давал довольно большой объем знаний по различным предметам и, в частности, по математике, истории, географии, словесности, по иностранным языкам, по фортификации и тактике. Кроме того, в программу обучения входили фехтование, гимнастика и танцы. Многое зависело от директора. И в этом отношении юным Кульневым повезло. Генерал-директор был И. И. Бецкий, умный, дальновидный педагог, стремившийся к тому, чтобы его воспитанники стали достойными продолжателями славных боевых традиций русской армии. «Старик», как звали между собой директора корпуса кадеты, был сух, сед, подвижен, требователен и заботлив. Лентяев и лодырей не чествовал, бездарей презирал, титулованных пасынков не выделял. Бецкий зорко следил, чтобы воспитанники «кондуиту исправного, сиречь годности всякой» были, чтобы в науках и познаниях были сильны, а «пуще готовили себя к превозможению трудов ратных». Времена Аракчеева еще не наступили, армия нуждалась не в плац-парадных балеринах с косичками, а в грамотных боевых офицерах. Победы Румянцева и Суворова возбуждали у кадет гордость за русское оружие, а личности полководцев становились примером для подражания.

Образцом для юного Кульнева всегда был Суворов. Много позже знаменитый Денис Давыдов свидетельствовал, что Кульнев «боготворил его и всегда говаривал о нем со слезами восторга». Некоторые из современников Кульнева говорили, что он ему слепо подражает. Яков Петрович писал об этом так: «Да, я подражаю великому полководцу Суворову, но у меня нет его состояния, хотя и достиг того, что меня называют учеником этого великого человека».

Учеба в корпусе продолжалась 15 лет. Для Кульнева они стали серьезной жизненной школой. В 1785 году он выпускается с большой серебряной медалью «за усердие и успехи в учебе». По свидетельству Дениса Давыдова, «Кульнев знал удовлетворительно артиллерийскую науку и основательно полевую фортификацию, теоретически и практически. Он порядочно изъяснялся на языках французском и немецком, хотя писал на обоих часто ошибочно, но познания его в истории, особенно в русской и римской, были истинно замечательны. Военный человек и еще гусар (выделено у Давыдова. — *Б. К.*), он не хуже

всякого профессора знал хронологический порядок событий и соотношения между собою единовременных происшествий, выводил из них собственные заключения, полные здравого смысла и проницательности». Получив производство в поручики, Кульнев направляется в Черниговский пехотный полк. Но Кульневу больше по душе стремительная лихость кавалерии, и он просит, убеждает, настаивает и в конце концов добивается перевода в Петербургский драгунский полк.

Лихой наездник и повеса, Кульнев быстро сошелся с офицерами полка. А веселый нрав и душевная щедрость вызвали у товарищей большую симпатию. Полюбили молодого командира и солдаты. Правда, памятуя суворовское: «Тяжело в ученье — легко в бою», он до седьмого пота заставлял их атаковать «противника», добиваясь слаженности в действиях. И когда все получалось, он с удовлетворением отмечал: «Сегодняшнее учение бесподобно. Спасибо, товарищи! Чем дальше, тем лучше!» Он мог накричать, пригрозить всеми карами земными и небесными, потому как был вспыльчив до бешенства, но никогда не опускался до рукоприкладства. Среди полковых товарищей Кульнев прослыл донкихотом. А сам «люцинский донкихот» по этому поводу говорил: «В бок мы все равны — и солдаты и офицеры. И я же своего товарища по морде? Помилуй бог, стыдно». Будет уместно заметить, что Кульнев на протяжении всей жизни так и не избавился от этого прозвища, в общем-то верно раскрывающего его внутренний мир.

За службу Кульнев взыскивал с беспощадной строгостью, но при этом, как никто из офицеров, заботился об участи «полковых крепостных». Старательность и усердие молодого офицера вскоре заметило даже начальство, но отличать еще не торопилось: «в деле еще не побывал». Дела пришлось ждать недолго. Восемнадцатый век не отличался мирным нравом. Вчерашние союзники становились врагами, создавались и распадались коалиции, шла борьба за территории, за сферы влияния.

В начале 1787 года Турция предъявила России ультиматум, в котором потребовала возвращения Крыма, признания Грузии государством, зависимым от султана, и права на осмотр русских судов, проходящих через Босфорский залив. Естественно, правительство Екатерины II ответило отказом, и в августе 1787 года Турция объявила войну России. В кампании 1789 года принял участие и Петербургский драгунский полк. В Молдавии Кульнев

получил первое боевое крещение. Особенно отличился он при осаде Бендер. В этой войне для него все было впервые: атаки, дозоры, биваки, переходы под палящим молдавским солнцем. Храбрый офицер привлек внимание «светлейшего». Обладатель многих громких титулов, всесильнейший фаворит Потемкин был зорок на таланты. Уже тогда у Кульнева проявились такие важные качества, как умение точно оценить противника, найти его слабое место, не колеблясь принять верное решение.

В скоротечную польскую кампанию 1794 года Кульнев участвовал в составе Переяславского конноегерского полка. Здесь ему впервые довелось служить под командованием Суворова. Личное знакомство с великим полководцем оказало сильное влияние на Кульнева. В одном из писем к отцу он писал: «...Чем можно оценить те великие уроки, которые я имел счастье получить, будучи свидетелем славы бессмертного нашего Суворова». За отличие при штурме Праги Кульнев по представлению Суворова получил чин ротмистра.

После кампании потянулись долгие годы скучных стоянок в глухих гарнизонах и тоски по настоящему делу. Его однокашники давно командовали полками, поднимались по служебной лестнице, ходили в полковниках и генералах, участвовали в боях, получали награды, а Кульнев по-прежнему оставался командиром эскадрона и тянул лямку унылой армейской службы.

Шли годы. Смерть императрицы Екатерины II привела к коренным изменениям в русской армии. На смену подлинно боевой учебе пришли строевые экзерциции и шпицрутены. Взамен солдата, «понимающего свой маневр», появился «механизм, артикулом предусмотренный». Кульнев с болью воспринимал нововведения Павла I. Он плохо скрывал это, что, естественно, не способствовало продвижению его по службе. В эти годы Кульнева часто переводят из одного полка в другой: сначала в Сумской гусарский, затем в гусарский генерала Иванова, опять в Сумской и, наконец, в 1806 году в новосформированный Гродненский гусарский полк. Вероятно, это время было самым тяжелым в жизни Кульнева: неудачные попытки вырваться в действующую армию, нескончаемые учения и смотры, никаких перспектив по службе... И вот на 42-м году жизни Кульнев решается подать в отставку. Он пишет брату: «Я взял твердое намерение сего сентября удалиться от воинского ополчения и воспринять на себя вид гражданина-воина, то есть,

взяв отставку, по наружности буду трудолюбивый гражданин, но дух воинственный никогда из меня не истребится. Мне скучно не видать перемены в моей службе... удаляюсь в нашу деревушку Болдыреву».

Но вскоре появилась надежда послужить родине не на плацу, а на поле брани. И тон последующего письма «вечного майора» более оптимистичный: полку приказано готовиться к выступлению. Накануне Кульнев пишет брату: «Я уверен, что ты не покинешь нашу бедную мать, а я тебя могу заверить, где бы я ни был, она завсегда будет исправно получать положенное от меня 100 рублей в треть, а Боже чего ухлопают, то коней и рухляди моей станет ей на три года, вот и все мое имение, кое нажил чрез двадцатилетнюю службу. Была б, брат, голова, а то все будет».

В 1806 году из всех государств континентальной Европы лишь Россия и Пруссия не были покорены «корсиканским чудовищем». На последнюю-то и направил удар Наполеон. Уже через неделю после начала войны прусская армия была разбита при Иене и Ауэрштадте. Итог этих сражений оказался для Пруссии плачевным: в конце 1806 года она почти перестала существовать как самостоятельное государство, и таким образом Россия оказалась один на один с грозным противником.

Вместе с Гродненским гусарским полком, в декабре 1806 года, на театр военных действий прибыл майор Кульнев. Волей судьбы он оказался на самом важном участке — в авангарде русской армии. Еще до начала войны, видя, какие неисчислимые бедствия несет народам нашествие Наполеона, Кульнев вынашивает план его захвата. Об этом он пишет в письме к брату в 1805 году: «...Не выходит у меня из головы поймать Бонапарте и принести голову его в жертву наипервейшей красавице; не назови это химерою, ибо все в свете сотворено для прекрасного полу». Но этот план ему не удалось исполнить...

Военные действия в весеннюю кампанию 1807 года начались отдельными боями авангарда Багратиона с корпусом Нея, отходившего под натиском русских войск от города Гутштадта. Здесь и прошло первое крупное сражение, в котором принял участие Кульнев. Оказалось, что за одиннадцать лет мирной жизни он не потерял боевого задора и не разучился воевать, хотя, по словам французского генерала Лассаля: «Гусар, который не убит в тридцать лет, — не гусар, а дрянь!» — Кульнев

в свои 44 года был полон сил и энергии. Знавшие его в эти годы отмечали отменное здоровье, которым он обладал. «Кульнев был росту высокого, почти двух аршин и десяти вершков[1]. Был сухощавым, но ширококостным и немного сутуловатым мужчиною». При своем большом росте Кульнев, однако, отличался ловкостью и мастерски владел саблей, что очень пригодилось ему в бою под городом Гутштадтом.

В этот день подполковник[2] Кульнев командовал полком и своими решительными действиями немало способствовал успеху сражения, о чем можно судить по именному рескрипту:

«Господин подполковник Кульнев! В воздании отличной храбрости, оказанной вами в сражении с французскими войсками, где вы 24 прошедшего мая с отличным мужеством атаковали с полком неприятельский аръергард, а 25 с двумя эскадронами преследовали знатную часть его кавалерии более мили за реку Пассоргу, взяли довольно пленных, большой обоз и снаряды, которые сожгли в виду своего авангарда, жалую вас кавалером ордена св. равноапостольского Владимира 4-й степени...»

В короткие передышки между арьергардными боями Кульнев с успехом доказал, что он хороший командир не только в бою. Он не забывал старую истину: «Победа куется в тылу» — и был в прекрасном расположении духа, когда знал, что его солдаты сыты и имеют все необходимое для боя.

Постоянным вниманием к «осударевым людям» проникнуты многие распоряжения Кульнева. Получив известие о назначении брата Ивана командиром полка, он пишет ему: «Ты теперь, любезный брат, достиг до такого звания, что в руках твоих состоит благополучие и несчастие всех твоих подчиненных. <...> Будь справедлив, знай различать людей, а больше всего знай пренебрегать всякий интерес... Все поступающие в полк суммы ни мало не мешкая раздавай, равно и все, что только до солдата будет принадлежать».

...После некоторого затишья противники приступили к решительным действиям. Наполеон стремился перехватить коммуникации и отрезать русскую армию от баз снабжения. Для того чтобы осуществить это, он предполагал с ходу овладеть стоящими на его пути Гейльсбер-

[1] *Около 190 сантиметров.*
[2] Произведен в апреле 1807 года.

гом, который был занят русскими войсками, построившими возле него свою оборону.

29 мая 1807 года утром французы предприняли первую атаку на город, но закончилась она безрезультатно. Русские не дрогнули, дрались упорно и мужественно. Бой длился несколько часов.

Кульнев несколько раз водил в атаку свои эскадроны, и французы не выдержали стремительного натиска гусаров. К исходу дня бой утих. «Мы победили не наступательно, а оборонительно, — вспоминал Денис Давыдов, — но победили и, следовательно, могли на другой день воспользоваться победой — атаковать неприятеля».

Но командующий русской армией Беннингсен не воспользовался ситуацией и долго колебался, прежде чем выбрать направление марша своей армии. Это привело к потере времени и инициативы. Только в ночь с 30 на 31 он отдал приказ об отходе на правый берег реки Алле.

В ходе сражения французам удалось «вбить» часть русских сил в Фридланд, а другую — опрокинуть в Алле. Гродненский гусарский полк был окружен со всех сторон, гусары с трудом отбивались от наседавших французов, но кольцо окружения, несмотря ни на что, сжималось. Полку грозило либо полное истребление, либо позорный плен. От этого полк был спасен благодаря кульневской одержимости. Собрав вокруг себя несколько десятков всадников, он, не обращая внимания на численный перевес, с криком «Вперед!» врубился в ряды французов и увлек за собой всех. Окружение было прорвано. Уцелевшая часть полка присоединилась к своим войскам, в беспорядке отступавшим к реке Прегель.

Усталый и измученный в сражениях, не прекращавшихся все эти дни, с воспаленными от бессонницы глазами, прикрывал Кульнев со своим полком отход русской армии. «1807 года 2-е июня ознаменовано было неимоверной храбростию, неимоверными усилиями войск наших, и при всем том этот день был днем бедственным для нашего оружия», — писал позднее Денис Давыдов.

За боевые заслуги под Фридландом Кульнев был удостоен ордена Анны 2-й степени. О нем заговорила вся армия. Но храбрость Кульнева и ему подобных не смогла ничего изменить. Преследуя разбитую русскую армию, седьмого июня Наполеон вышел к границе Российской империи у Тильзита, где и состоялось заключение мира.

После войны положение Кульнева в армии изменилось: на войну ушел никому не известный неудачник, не

единожды писавший, что «...ведя скромную честную жизнь, целый век гоним я судьбою», а вернулся герой с двумя боевыми орденами, которому сам Багратион дал высокую оценку.

Новым качествам Кульнева суждено было раскрыться во время русско-шведской войны 1808—1809 годов.

В этой войне военные действия велись на значительных пространствах в зимних условиях, но русские войска по-прежнему показывали образцы мужества и героизма. Русско-шведская война стала новой и значительной ступенью роста таких известных военачальников, как М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Н. А. Тучков, Н. М. Каменский 2-й. Немало сделал для победы и Кульнев. Командуя, как правило, либо авангардом, либо арьергардом, он совершал стремительные рейды, нападая внезапно на шведские гарнизоны, а при отступлении, случалось и такое, уходил с боя последним.

Особо выделяется в этой войне переход русских войск по льду Ботнического залива на Аландские острова, а затем наступление в направлении Стокгольма. Во время похода авангардом корпуса Багратиона командовал Кульнев.

В конце февраля 1809 года корпус Багратиона выступил в поход. С первых километров марша на русские войска обрушился свирепый снежный ураган, путь преграждали огромные полыньи. На ночлег приходилось располагаться прямо в сугробах. В этом снежном и ледяном аду важен был пример командира, и Кульнев постоянно находился впереди, вместе с солдатами переносил трудности похода.

Шведы, увидев перед собой внезапно появившиеся русские войска, растерялись. Этим умело воспользовался Кульнев. Под ударом его отряда противник дрогнул и, бросая артиллерию, подводы и боеприпасы, отступил. В течение восьми дней все Аландские острова были заняты русскими войсками. Но и после этого русские войска не остановились. Ученики Суворова Багратион и Кульнев неудержимо рвались вперед.

Кульневу поручается ответственное задание: произвести разведку шведского берега. Свое поручение Багратион сопроводил словами: «Надо испытать дорогу на шведский берег и разведать неприятельские силы. Господа шведы не единожды у нас гостили, давно пора визит отдать».

«Завтра отправиться к походу, — дает распоряжение Кульнев, — людей обмыть в банях и выкатать в снегу, укрепятся нервы. Онучки и сорочки обмыть: человек свеж, и силы удвоятся».

Всю ночь 7 марта отряд Кульнева шел через ледяные громады Аландсгафа. А утром перед гарнизоном и жителями шведского прибрежного города Гриссельгама предстало необычное зрелище: по льду с криками и гиканьем неслись русские кавалеристы... В своем донесении Багратиону Кульнев сообщал: «Благодарение богу, честь и слава российского воинства на берегах Швеции! Я с войском в Гриссельгаме... На море мне дорога открыта, и я остаюсь здесь до получения ваших повелений». Брату об этом он писал так: «Экспедиция на Аландские острова кончилась с честью и славою нашего оружия, а я имел счастие, преследуя неприятеля, быть в Швеции в ста верстах от столицы».

Такая близость русских войск к Стокгольму вызвала большую панику при дворе, и пришедший к власти после дворцового переворота герцог Зюдерманландский немедленно запросил у русского командования перемирия. Окончательно же мир был подписан в Фридрихсгаме 5 сентября 1809 года. Войны закончились, дипломаты принялись подводить итоги. Армия возвращалась в Россию. А с нею и генерал-майор Яков Петрович Кульнев.

Девять лет понадобилось ему, чтобы перешагнуть от чина поручика до ротмистра, тринадцать лет он служил в звании майора и менее чем за два года прошел путь от подполковника до генерал-майора. Сам же Кульнев об этом писал: «Гораздо лучше быть меньше награждену *по заслугам, чем быть много без всяких заслуг*».

Поход на Аландские острова стал наиболее ярким событием в военной биографии Кульнева, но до этого он участвовал в нескольких важных сражениях: при Сальми и занятии Якобштадта, при Пихалоки, где захватил начальника штаба шведских войск генерала Левенгельма, при Куортанском озере, при Оровайсе, и каждое из них отмечено либо производством в следующий чин, либо наградой. Золотая сабля «За храбрость», орден Анны 1-й степени, а самое важное «за вящие заслуги, оказанные на поле брани», — Георгиевский крест 3-й степени.

Как правило, завоеватели оставляют недобрый след в истории покоренных государств. Примеров, подтверждающих это, можно привести множество. С Кульневым было несколько иначе. Пожалуй, трудно отыскать в анналах истории пример тому, чтобы завоеватель оказался воспет в стихах:

Я здесь слыхал от матерей,
Как старый Кульнев их страшил,
Когда без спроса и затей
Он к люлькам детским подходил.
Но говорят они: «Добряк
Лишь целовал детей и так
Смеялся кротко им в привет,
Как вот вблизи его портрет».

Несмотря на явную погрешность поэта относительно возраста Кульнева (ему было 45 лет, когда закончилась война), остальное соответствует истине. В преданиях шведского и финского народов долго продолжал жить образ «русского богатыря, задушевного и отзывчивого человека». Кстати, сам Йохан Людвиг Руненберг, автор этих строк, фигурирует на одной из финских гравюр того времени сидящим на руках у Кульнева. Гравюра эта сохранилась до наших дней.

В своих воспоминаниях о Кульневе Денис Давыдов писал: «Молва о его великодушии разносилась повсюду». Там же известный партизан приводит интересный случай. В городе Або, занятом войсками Багратиона, в доме бургомистра давали бал. Когда в зал вошел Кульнев, все — и дамы и мужчины — встали со своих мест, окружили его и принялись выражать искреннюю благодарность «завоевателю». Следует добавить, что по-рыцарски Кульнев относился не только к мирным жителям, но и к противнику. «Кто кричит пардон, — гласит один из его приказов, — того брать в полон». А уж если кто попадал ему в «полон», то никогда не испытывал ни издевательств, ни унижений, о чем, в частности, свидетельствовал пленный шведский генерал Левенгельм.

К периоду войны со Швецией относится тесная дружба, завязавшаяся между Кульневым и Денисом Давыдовым, который был моложе Кульнева на 21 год.

«Я познакомился с Кульневым в 1804 году, — пишет Давыдов, — во время проезда моего чрез город Сумы, где стоял тогда Сумский гусарский полк, в котором Кульнев служил майором... Знакомство наше превратилось в приязнь в продолжение войны 1807 года в Восточной Пруссии... Но в годах 1808 и 1809 ... приязнь наша достигла истинной, так сказать, задушевной дружбы, которая неослабно продолжалась до самой его блистательной и завидной смерти... Мы были неразлучны, жили всегда

вместе, как случалось, то в одной горнице, то в одном балагане, то у одного куреня под крышею неба, ели из одного котла, пили из одной фляжки».

Дружба с Кульневым оказала большое влияние на Давыдова, он многому у него научился, многое перенял и позже использовал этот опыт во время Отечественной войны 1812 года. Облик Кульнева запечатлен и в стихах Давыдова:

Поведай подвиги усатого героя,
О муза! Расскажи, как Кульнев воевал,
Как он среди снегов в рубашке кочевал
И в финском колпаке явился среди боя.
Пускай услышит свет
Причуды Кульнева и гром его побед.

О популярности Кульнева достаточно красноречиво говорит такой факт. А. С. Пушкин в повести «Дубровский» вкладывает в уста помещицы Анны Савишны Глобовой следующий рассказ: «...Вдруг въезжает ко мне человек лет 35-ти, смуглый, черноволосый, в усах, в бороде, сущий портрет Кульнева...»

В апреле 1809 года Кульнев назначается шефом Белорусского полка, располагавшегося в Молдавской армии. Но в Бухарест, где находилась Главная квартира Молдавской армии, он прибыл только через год. Об этом он сообщает брату: «Наконец, 1-го апреля прибыл благополучно в город Бухарест, где нашел главнокомандующего графа Каменского... и по доверенности его ко мне препоручил мне командование авангардом главной армии... Армия наша... скоро начнет наступательные движения за Дунаем, и уповательно..., что война скоро кончится с честию и славою для России».

Когда Кульнев писал это письмо, война с Турцией шла уже более трех лет. Наполеону было важно, чтобы Россия увязла в этой войне и тем самым оттянула большую часть сил на юг. Его намерения были ясны: с конца 1810 года он начал всерьез готовить вторжение в Россию.

В мае 1810 года Кульнев вместе с авангардом переправляется через Дунай и приступает к активным действиям. Основная задача, которую поставил главнокомандующий перед армией,— это овладеть тремя сильно укрепленными турецкими крепостями: Силистрией, Шумлой и Рущуком. На них и направил он основной удар.

Первым «делом» было взятие крепости Силистрия. После одной из стычек с турками Кульнев пишет брату: «Недавно одержали на левом фланге нашем славную

победу... и как думаю, то и Силистрия не долго продержится». Так оно и произошло. Затем последовал штурм Шумлы. «Кровопролитный, плохосоображенный, предпринятый по инициативе Каменского штурм не удался», — отмечал историк.

В этот день авангард Кульнева неоднократно с успехом отражал атаки неприятельской кавалерии. На следующий день турки предприняли новую попытку отразить русских, но безуспешно.

Позднее Каменский сообщит Кульневу: «Вследствие всеподданнейшего моего представления об отличных подвигах, оказанных вашим превосходительством в сражении 11 и 12 июня при занятии позиции у крепости Шумлы, его императорское величество, вместо испрашиваемой мною аренды, всемилостивейше повелеть соизволил производить в течение двенадцати лет по тысяче рублей ассигнациями ежегодно из Государственного банка, о чем и последовал на имя министра финансов высочайший указ».

Своеобразно распорядился Кульнев этой значительной суммой, «всемилостивейше» пожалованной ему. Все эти деньги он отдал в приданое своей племяннице, которая лишилась матери. А сам продолжал вести «суровый и простой образ жизни». В письме к брату он писал: «Я все живу по-старому, сплю на сене и ношу одну изодранную и прожженную шинель, а где долг службы требует — там весь в серебре. Но что касается до воина, то бедность его венчает, соделывает непобедимыми...»

Бой под Шумлой был не единственным в этой войне для Кульнева. Поражает работоспособность Кульнева. Он целыми сутками не смыкал глаз, приговаривая: «Я не сплю и не отдыхаю для того, чтобы армия спала». А если приходилось прилечь, то «все разоблачение его на ночной сон состояло в снятии с себя сабли, которую он клал у изголовья... При первом известии... о выстреле или о движении неприятеля Кульнев являлся и... на самом месте происшествия и своими глазами он видел, нужно ли поднимать весь авангард или часть его», — вспоминал Денис Давыдов, проделавший вместе с Кульневым почти всю турецкую кампанию.

В ходе боя благодаря успешным действиям отряда Кульнева левое крыло неприятеля было опрокинуто и отрезано от Дуная. Тогда главнокомандующий приказал своему брату атаковать большой лагерь турок с фронта, а Кульневу с тыла. Нападение графа Каменского 1-го бы-

ло неудачным. А Кульнев отвечал донесением: «По крутости возвышения нет возможности исполнить ему повеление». К Кульневу поскакал адъютант с повторным приказом немедленно атаковать. Кульнев прислал прежний ответ. Тогда разгневанный Каменский лично послал к отряду Кульнева.

— Что у вас такое, генерал? — сердито спросил он у Кульнева, соскочив с коня. — Почему прекращены атаки?

— Бесполезно теряем людей, ваше сиятельство, — ответил Кульнев. — Превосходство неприятельской артиллерии столь очевидно...

Не дав договорить, Каменский сорвался:

— Вздор! Чепуха! Приказываю возобновить!

— Я доложил вашему сиятельству, — стараясь держаться как можно спокойнее, повторил Кульнев, — почему атаки не удаются.

— Потому что начальники, — перебил Каменский, — не подают примера храбрости, а много умничают и рассуждают!

Кульнев побледнел.

— Граф, вы слишком скоро забыли про Куортане и Оровайс.

При этих словах Каменский пришел в ярость, затопал ногами и приказал арестовать Кульнева.

Яков Петрович хладнокровно отстегнул саблю, бросил ее к ногам главнокомандующего и спокойно произнес:

— Вы можете отнять ее у меня, граф, но более от вас я ее не приму... — И уехал с поля сражения.

Этот эпизод лишний раз свидетельствует о прямоте Кульнева, его решимости отстоять свою правоту и подтверждает его «бережливость на солдатскую кровь».

1812 год. Западная граница государства Российского. Каждый русский человек, искренне любящий отечество, чувствовал, что войны с Францией не миновать.

К войне у Кульнева свое отношение. Да, он на поле брани не щадил «ни живота своего», ни жизни противника. И известность свою он приобрел благодаря подвигам, совершенным в шести кампаниях. И тем не менее он писал: «...в самом веществе война самое успешнейшее не что иное есть, как истребление рода человеческого и разорение жителей, на что без содрогания сердца нельзя взирать». А в одном из писем к брату восклицал: «О! война гибельная для роду человеческого: не токмо те страждут, кои участвуют в оной, но и вы несчастные, чувствуете бремя оной...»

Но встретить врага он готов был во всеоружии. «Во имя отечества и во славу отечества» — эти слова часто звучали в его приказах. «Отечеству, коему нет подобных во всей вселенной», — пишет он в одном из своих писем.

Об этом же свидетельствует и такой примечательный факт из его личной жизни. Кульнев не был женат, и вдруг его «на старости лет одолела любовь «к мадемуазель Г. Пул...вой (кто скрывался за этой фамилией, осталось неизвестным, так как Кульнев в письмах к любимой, употребляя самые нежные эпитеты, никогда не называет ее по имени).

Дело дошло до обручения. Одним из требований, на котором твердо настаивала невеста, был уход Кульнева в отставку. Он убеждает, просит отложить свадьбу до лучших времен «буде бог сохранит мою голову», но невеста неумолима. Она пишет Кульневу письмо, ставшее причиной окончательного разрыва.

«Повторяю вам, — отвечает он ей в последнем письме, — еще, что ничто на свете, даже самая любовь, которую к вам питаю, не возможет никогда отвратить меня от сердечных ощущений беспредельной любви к отечеству... и что, поступив иначе, я заслуживал бы более ваше презрение, нежели любовь... Прощайте, любезная и жестокая очаровательница, будьте здоровы и вспоминайте иногда о верном вашем друге».

...Началась война. Русские армии отступали в глубь страны под натиском превосходящего в силах неприятеля. Гродненский гусарский полк [1] входил в состав 1-й армии, которой командовал Барклай-де-Толли. Непосредственным же начальником Кульнева был командир 1-го пехотного корпуса генерал П. Х. Витгенштейн. Корпус занимал значительный участок по фронту от Россиен до Кейдан. Авангард войск Витгенштейна, возглавляемый Кульневым, находился у селения Юрбург. Общая численность корпуса Витгенштейна составляла 25 тысяч человек при 108 орудиях.

Фигура командующего графа Витгенштейна и действия его корпуса остались несколько в стороне от всеобщего внимания лишь только потому, что взоры всей России были прикованы к главному направлению, на ко-

[1] С января 1811 года Кульнев — шеф гродненских гусар.

тором вершилась судьба Русского государства, — к Москве. И это справедливо, но в то же время нельзя забывать, что корпус Витгенштейна являлся фактически единственным препятствием на пути наполеоновских войск к столице.

Но вот выбор «ангела-хранителя», которым, по мнению императора, должен был стать Витгенштейн, оказался явно неудачным. Для выполнения такой ответственной задачи он не соответствовал, так как был полководцем нерешительным и посредственным. К тому же ответственная роль защитника Петербурга его сильно подавляла. И неизвестно, как бы развивались события, если бы не солдаты и офицеры его корпуса, в большинстве своем участники шведской и турецкой кампаний, имевшие богатый боевой опыт. С кем же предстояло Витгенштейну скрестить оружие? Его противниками были маршалы Макдональд и Удино.

В распоряжении Удино было 28 тысяч человек. У Макдональда — 32 тысячи. Оба маршала по военным дарованиям были на голову выше Витгенштейна, но тем не менее действия их не увенчались успехом. А причина одна — героизм и мужество русских солдат и офицеров. «Надо зарубить себе на носу, — не раз повторял М. И. Кутузов, — что солдат русской армии является сокровищем, его нужно беречь».

Корпус Витгенштейна отступал. Замыкал отступление арьергард под командованием Кульнева. Полуденный июньский зной, густо замешанный на пыли, поднятой десятками тысяч ног, копыт, колес, был беспощаден. Грязно-желтый налет покрывал траву, листву, оружие, амуницию, лица и, смешиваясь с потом, превращал их в каменные маски. Кульневу хорошо была известна эта дорога по маневрам. Некогда на нее, заслышав молодецкую песню с присвистом, гурьбой выбегали босоногие ребятишки, сбегались крестьяне, бросив работу в поле, деревенские улицы покрывались пестрым покрывалом девичьих сарафанов и платков, надежно скрывавших любопытство и восхищение. Теперь все было по-иному. Пустынны были поля, на которых начинала колоситься выжженная солнцем рожь, сиротливо выглядели покинутые деревни, безлюдны были улицы и обочины. С лица Кульнева исчезла неповторимая улыбка, о которой говорили, что она к нему любого приважит, даже недруга... Наполеон стремился отрезать корпус от главных сил русской армии и требовал активных и решительных действий. Следуя указаниям императора, 16 июня Удино догнал арьергард Кульнева под Вилькомиром.

Бой длился около восьми часов. Причем против двух русских пехотных, четырех кавалерийских полков и нескольких орудий с французской стороны действовала чуть ли не треть главных сил Удино, а по мере подхода и остальные части вступали в бой. Тем не менее отряд Кульнева сумел отразить все атаки и присоединился к Витгенштейну. Об этом бое Кульнев сообщает в письме к брату: «Уведомляю тебя, что я командуя авангардом, первый из русских, который имел счастье сражаться с французским маршалом Удино под Вилькомиром и, побеждая на каждом шагу, по данному мне наставлению мало-помалу отступаю, дабы заманить сих вероломцев внутрь пределов наших. Ежели же паче чаяния, чего, однако, я не желаю, они нас побьют, так ты, брат, и в Болдыреве места не найдешь, но мы будем стоять как крепкие каменные стены за возлюбленное отечество наше».

Среди гнетущей атмосферы отступления бой под Вилькомиром стал оживленной темой для разговоров, а имя Кульнева было у многих на устах.

Русская армия вступила в Дрисский лагерь. Оттуда Кульнев писал брату: «Отступление наше за Двину не полагай разбитием нашего корпуса, ибо кроме моего дела под Вилькомиром и малой перестрелки в другом корпусе не было никакого, но за Двиной начнутся серьезные дела».

3 июля Витгенштейн отдал распоряжение Кульневу о проведении разведки неприятеля. Наведя за ночь мост через Двину, он с частью отряда переправился на левый берег реки и возле деревни Чернево, невдалеке от местечка Друя, внезапно атаковал передовые полки кавалерийской дивизии Себастьяни.

Предоставим слово самому Кульневу: «...со вверенным мне Гродненским гусарским полком напал я на два французские конные полка и в нескольких атаках на 10 верстах истребил почти до остатка сии два полка... Генерала, который командовал оными полками, взял в полон, как и несколько офицеров и более 200 разных чинов. После сей победы переправился я опять на сию сторону, истребив мост при Друе, и отозван к корпусной квартире, которая находится в 25 верстах от Друи».

Действия Кульнева были настолько стремительны, что командир дивизии Себастьяни не решился прийти на помощь своим гибнувшим полкам, полагая, что Кульнев

располагает как минимум четырехтысячным отрядом. Потери русских составили всего двенадцать человек убитыми и шестьдесят три ранеными. В этом бою Кульнев доказал, что французская армия не столь уже грозная и что ее можно бить, и бить с успехом.

В истории Отечественной войны 1812 года сражение при белорусской деревеньке Чернево занимает лишь несколько строчек, но значение его гораздо большее. Как явствуют французские документы, получив донесение от Мюрата, Наполеон сомневался: не является ли отряд Кульнева не чем иным, как авангардом всей русской армии. Он велел даже приостановить движение до выяснения обстановки. Эта задержка позволила Барклаю-де-Толли выиграть время, что на первом этапе войны было немаловажным.

13 июля Кульнев вновь переправляется через Двину в районе Друи. В этот день последовала удачная атака на неприятельский отряд в 1500 человек, сопровождавший транспорт. Итог боя: 430 человек пленных солдат и два офицера, один из которых сообщил важные сведения о движении войск Удино.

После нескольких неудачных попыток овладеть Двинском Удино разрушил Дрисский лагерь, покинутый русскими войсками, занял город Дисну, подошел к Полоцку и 14 июля занял его без боя.

Судьба распорядилась таким образом, что Кульневу пришлось сражаться в тех местах, где он родился, провел детство, и это еще более усиливало его ненависть к завоевателям. Оставив в Полоцке небольшой гарнизон, Удино двинулся по Петербургскому тракту. Здесь-то и разыгрались кровавые сражения, лишившие французов возможности наступления на русскую столицу.

Удино полагал обойти Витгенштейна справа, с тем чтобы Макдональд обошел его слева, и, окружив, разбить корпус русских. Замысел этот удалось разгадать, и Витгенштейн решается атаковать корпус Удино до того, как подойдет Макдональд. Движение корпуса возглавлял авангард Кульнева в составе Гродненского гусарского полка, казачьего, двух егерских полков и конной артиллерии — всего 3730 человек с 12 орудиями.

Кульнев решительно двинулся навстречу Удино, следом за ним вышли главные силы корпуса. Восемнадцатого июля в час дня Кульнев получил сообщение от разведки, что у селения Якубово расположилась французская дивизия. Около двух часов дня авангард Кульнева подошел к Якубову и, с ходу атаковав противника, завязал бой. До позднего вечера продолжалось сражение и гремела канонада.

На следующий день Кульнев вместе с основными силами Витгенштейна продолжил сражение. Бой был жаркий и кровопролитный. Неприятель потерпел поражение и вынужден был отступить.

Кульнев преследует разбитого неприятеля. Преследование было успешным, отряд Кульнева захватил девятьсот человек пленных и весь обоз корпуса Удино!

Это была полная победа!

Утром 20 июля Кульнев, опьяненный успехом, в азарте, продолжил наступление. Только вступив в бой с неприятелем, он понял свою роковую ошибку.

За ночь Удино отошел верст на пять к деревне Боярщина и занял со своими войсками выгодную позицию между озерами Клешно и Лонье. Кульнев, полагая, что Удино с основными силами отошел на более значительное расстояние, атаковал арьергард французов и опрокинул его. Но в пылу боя не заметил, как попал в западню: с фронта он был встречен картечью, а с флангов и засады его атаковала пехота. Понимая, что необходимо подкрепление, он посылает записку Сазонову, но тот проявил нерешительность и вместо всей дивизии выслал только один полк с батареей. Но было уже поздно... От полного разгрома отряд спасла кульневская одержимость. Отбиваясь от наседавшего врага, русские войска отходили к Сивошину. Кульнев замыкал отступление, подвергая себя наибольшей опасности. Очевидцы рассказывали, что Кульнев, огорченный неудачей, переправляясь под неприятельскими выстрелами через реку Дриссу, «сошел с лошади и молча следовал за отрядом, когда французское ядро оторвало ему обе ноги выше колен».

Последними словами умирающего Кульнева были: «Друзья, не уступайте врагу ни шага родной земли. Победа вас ожидает!»

Гибель командира внесла некоторое замешательство в ряды русских. Французские кирасиры бросились к упавшему генералу, но гродненские гусары дали им достойный отпор.

Так, в расцвете сил, не дожив до своего сорокадевятилетия всего несколько дней, в бою с врагом погиб храбрый воин суворовской школы Яков Петрович Кульнев.

Два часа спустя у деревни Головщизна с новой силой разгорелся жестокий бой и дивизия Вердье, преследо-

вавшая Кульнева, была наголову разбита подходившими частями корпуса Витгенштейна. В этом сражении вновь отличился Гродненский гусарский полк Кульнева.

Тяжелое впечатление произвела кончина Кульнева на всю Россию. Современник вспоминает: «Весть о его кончине пришла в Москву вечером. В Большом театре давали оперу «Старинные святки», среди действия Сандунова — знаменитая тогда артистка, — подойдя к рампе, неожиданно для наполнившей зал публики, дрожащим голосом запела: «Слава, слава генералу Кульневу, положившему живот свой за отечество...» Дальше продолжать она не смогла от слез. Весь театр заплакал вместе с ней».

После смерти тело Кульнева было предано земле невдалеке от того места, где он погиб, у деревни Сивошино. Похороны, состоявшиеся 21 июля 1812 года, сопровождались воинскими почестями.

В 1830 году на месте гибели установлен скромный гранитный памятник «высотою в 3 аршина и 3 вершка». На лицевой стороне сверху надпись: «Генерал-майор Кульнев — 20 июля 1812 года». Ниже выгравирован отрывок из стихотворения В. А. Жуковского «Певец во стане русских воинов»:

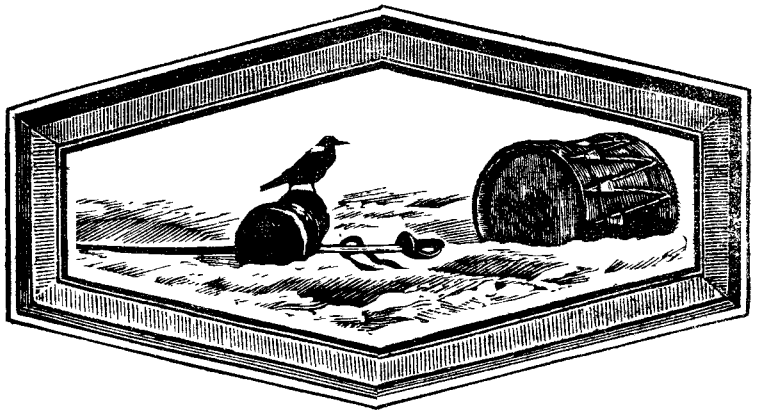
Где Кульнев наш, рушитель сил,
Свирепый пламень брани?
Он пал — главу на щит склонил
И стиснул меч во длани...

В 1832 году братья перевезли прах Кульнева в свое поместье Илзенберг. В этом же году ими была выстроена часовня, где и в настоящее время находится его гробница. Перед надгробием портрет Кульнева со словами: «От клястинцев-гродненцев и почитателей незабвенному герою 1812 года».

Кульневу не суждено было стать участником и свидетелем разгрома и бегства неприятеля из пределов России, он погиб в самом начале великой эпопеи, но тем не менее имя его стоит в одном ряду с ее «чудо-богатырями» — Кутузовым, Ермоловым, Багратионом, Милорадовичем, Раевским, Коновницыным и другими. Не случайно один из таких же легендарных героев, Денис Давыдов, писал о нем: «Смело можно сказать, что Кульнев был последним чисто русского свойства воином, как Брут — последним римлянином».

Б. КОСТИН

Александр Никитич Сеславин





Мало сохранилось исторических материалов об Александре Никитиче Сеславине. Мы даже не знаем ни дня, ни месяца его рождения. Известен только год — 1780-й. Правда, сам генерал неоднократно утверждал, что родился в 1785-м. Возможно, он искренне заблуждался, но не исключено, что умышленно вводил в заблуждение — лестно в тринадцать лет стать гвардейским офицером, а в 28 — генералом. Довольно заманчиво принять версию Сеславина, но в этом случае генерал оказался бы моложе младшего брата Федора, родившегося в 1782 году (факт достоверно установленный).

В сохранившихся письмах Александра Никитича Сеславина к старшему брату Николаю за август 1845-го и сентябрь 1850 года есть одна на первый взгляд ничего не значащая деталь: они содержат слова благодарности за сердечные поздравления. «Благодарю тебя за воспомина-

ние обо мне, благодарю также и Софью Павловну [1], поздравь и от меня ее с наступающим днем ангела», — писал Александр Никитич 12 августа 1845 года. «Любезный брат Николай Никитич! Письмо твое от 29 августа я имел несравненное удовольствие получить. Благодарю тебя за все твои желания и память обо мне», — читаем в следующем письме от 15 сентября 1850 года.

Этих писем Николая Никитича, к сожалению, не сохранилось, но, очевидно, в них речь шла о каких-то сердечных пожеланиях брату, которые обычно принято высказывать в дни больших праздников или именин. На конец августа подобных праздников не приходилось. Остается последнее — именины. Действительно, 30 августа отмечалось как день Александра. Известно, что в те времена новорожденным часто давали имя по святцам. В семье Сеславиных также придерживались этого правила: сын Николай, родившийся 1 мая, праздновал день своего «ангела» 9 числа.

Поэтому есть все основания утверждать, что на свет Александр Сеславин появился в августе 1780 года. Первый крик новорожденного раздался в родовом имении — сельце Есемове, расположенном на берегу реки Сишки в Ржевском уезде Тверской губернии. Здесь Сеславин провел детство, обучился грамоте и здесь же ему было суждено завершить свой жизненный путь. Отец его — поручик Сеславин Никита Степанович, принадлежал к бедному мелкопоместному дворянству. Все его состояние заключалось в 20 душах крепостных. В 1795 году он вышел в отставку и определился в гражданскую службу, где получил должность городничего Ржева, насчитывавшего в то время около 3 тысяч жителей. Охранял «тишину и спокойствие» уездного города Сеславин-старший до конца жизни. «...В 1816 году, на свадьбе Анны Павловны (великой княгини. — *А. В.*), за ужином, императрица Елизавета... подошедши ко мне сзади и пожав мне плечи, сказала потихоньку: «Узнав о смерти Вашего батюшки, государь жалование его обратил в пенсию всех Ваших сестер за заслуги, которых Россия не может еще оценить...» — писал Александр брату Федору. В наследство детям отец оставил единственное имение, к тому времени «заключавшееся в 41 душе крестьян и 750 десятин земли».

«1798 года августа 27 дня Ржевского городничего Никиты Степановича сына Сеславина супруга Агапия Петровна представися к вечным обителям; жития ее было 43 года и погребена на сем месте (Ржев, кладбище при Богородицерождественской церкви») — вот и все дошедшие до нас сведения о матери Сеславина. Грустно сознавать, что подобную незаслуженную участь этой женщины, помимо эпитафии, не оставившей другой памяти в потомстве, разделили многие матери героев 1812 года.

Кроме Александра, семья Сеславиных имела еще четырех сыновей и шестерых дочерей.

1789 год — начало Великой французской революции, год падения Бастилии, год побед Суворова при Фокшанах и Рымнике, год начала пути Сеславина к славе.

В марте Александр вместе с братьями Петром и Николаем, сопровождаемые отцом и крепостным «дядькой», в кибитках прибыли в Петербург. Не без хлопот поручику Сеславину, не имевшему средств, удалось определить старших сыновей на казенный кошт в Артиллерийский и Инженерный шляхетский корпус [1]. Это одно из старейших военно-учебных заведений России готовило офицерские и унтер-офицерские кадры для артиллерии и инженерных войск. В классах корпуса получили образование М. И. Кутузов, И. С. Дорохов, В. Г. Костенецкий, А. П. Никитин и другие герои Отечественной войны. Здесь же учился и А. А. Аракчеев, вошедший в историю как реакционер и временщик. Менее известен он в качестве преобразователя русской артиллерии.

Директор корпуса — просвещенный и опытный артиллерийский генерал П. И. Мелиссино проявлял поистине отеческую заботу в воспитании и образовании кадет. Благодаря ему здесь расширилось преподавание общеобразовательных дисциплин, большое внимание стали уделять изучению иностранных языков, а также практической и физической подготовке будущих офицеров. Преподаватели корпуса, по свидетельству их воспитанника генерала Н. В. Вохина, были «люди почтенные, знающие свой предмет и с любовью передающие его своим ученикам». По отзыву А. П. Ермолова, в 1793—1794 годах служившего корпусным офицером, «в артиллерийском корпусе военный мог приобресть если не обширные, то основа-

[1] Жена Н. Н. Сеславина, урожденная Гурьева.

[1] В 1798 году в корпус поступили также младшие сыновья Сеславина — Федор и Сергей. Окончив корпус в 1805 году, Федор был произведен в подпоручики полевой артиллерии, а Сергей — в подпоручики инженерного корпуса.

тельные сведения; библиотека (видимо, она привила Селявину ту любовь к чтению, которая со временем переросла в «страсть единственную»), музей и практические занятия были большим пособием». Корпусные офицеры обязаны были «внушать кадетам правила нравственности, субординации, запрещать неприличные благородным детям игры и вселять в них охоту к занятию науками». За леность и нерадение, а также чрезмерные шалости воспитанников обычно секли розгами. Весьма характерно в этом случае замечание уже упоминавшегося генерала Вохина о том, что корпусные офицеры «жестоких наказаний не употребляли, но виновным проступки их не дарили».

«Недоросли от дворянства», записанные в кадеты (всего около 400 человек), разделялись по возрасту на три роты. Жили они в камерах (жилых помещениях) и обучались в классах в деревянных зданиях корпуса на Петербургском острове. Здесь Александру предстояло провести девять лет.

Годовое содержание одного кадета составляло 100 рублей. Из этой суммы в день расходовалось на питание 20 копеек. «До сих пор я не забыл, — вспоминал один из воспитанников корпуса, — с какой завистью смотрели мы, кадеты, на счастливцев, пользовавшихся покровительством старшего повара Проньки. Бывало, он присылал им хороший кусок мяса или лишнюю ложку горячего масла к гречневой каше, составлявшей одно из любимейших кадетских блюд. Ни за что более не ратовали кадеты, как за эту вожделенную кашу! Случилось однажды, что вместо нее подали нам пироги с гусаками, т. е. с легким и печенкою. Весь корпус пришел в волнение и нетронутые части пирогов полетели<...> со всех сторон<...> в наблюдателя корпусной экономии. К счастью, пироги были мягки и не так-то допеченные, отчего пирожная мишень осталась неповрежденною.<...> В то время мы не понимали причины кадетского покровительства каше, но впоследствии причина эта объяснилась мне в голодном столе, при котором гречневая каша, как блюдо питательное, должно было взять первенство над тощими пирогами с ароматною внутренностию давно убитого скота...» В то же время «на корпусный двор собирались ежедневно, кроме разнородной кадетской прислуги (при молодых баринах, поступивших в кадеты, для услуг состояли их дворовые люди. — *А. В.*), конфетчики, морожепщики, разнощики и торговки, со всякой всячиною съедомого, чем

торговали они невозбранно от утра до вечера, <...> в часы свободных от учебных занятий. Нельзя было не удивляться доверчивости торговцев этих кадетам, нередко уплачивавших долги свои по производстве в офицеры».

Жизнь воспитанников корпуса была устроена в известном смысле в спартанском духе и строго регламентирована: летом они поднимались в 6 часов, в 7 — молитва и завтрак, затем утренние занятия до 11 часов, обед в 12, продолжение уроков с 15 до 18 часов. Ужинали в 19, а по пробытии вечерней зори (по сигналу из Петропавловской крепости) в 21 час ложились спать. Зимой вставали на час позже и соответственно распорядок дня сдвигался на час, правда, отход ко сну был раньше — в 20 часов.

Курс наук в корпусе был рассчитан на 7 лет. В течение первых четырех кадеты младших возрастов (в среднем от 8 до 12 лет) обучались в «приготовительных классах» арифметике и практической геометрии, родному языку, а также французскому и немецкому, «начальным основаниям» истории и географии, рисованию, танцам, фехтованию и плаванию. В последующие годы повзрослевшие и окрепшие воспитанники продолжали изучение математики, русского и иностранных языков, истории, географии и обучались специальным наукам, необходимым будущим артиллерийским и инженерным офицерам: физике, химии, артиллерии, фортификации, архитектуре, тактике, черчению. В этот курс входили также строевые занятия, проводимые на корпусном плацу, и обучение верховой езде в манеже. Для практических занятий артиллерией и инженерному делу кадеты отправлялись в лагерь на Выборгской стороне, где стреляли из пушек в цель, строили укрепления и овладевали основами минного искусства.

По средам и субботам послеобеденное время отводилось для занятий в танцевальном классе — «танцы делают ученика стройным», в фехтовальном, где кадет «приводили в состояние в нужном случае спасти жизнь и честь свою защитить» и в манеже. В воскресные и праздничные дни воспитанники, получившие одобрительные аттестации от учителей, отпускались гулять на острова и в Летний сад. Нередко в сопровождении офицеров они отправлялись осматривать «любопытные места» Петербурга.

Каждый год для того, «чтоб в науках не происходила какая слабость, и чрез то бы высочайший ее император-

ского величества интерес не тратился, но паче бы учащееся юношество от времени до времени желаемые успехи в науках получали», всех кадет подвергали генеральному экзамену. Тех из них, «которые в науках отменными себя окажут», производили в унтер-офицеры при корпусе или назначали к выпуску в офицеры, а тех, «которые к наукам были нерачительны или слабое имеют понятие, чтоб не издерживать на них содержание напрасно кошта», определяли в артиллерию и инженерный корпус унтер-офицерами или рядовыми.

По результатам генерального экзамена за июль 1795 года 15-летний Александр Сеславин (аттестуемый «поведения хорошего, понятен и к наукам прилежный») добился в учении следующих успехов: «российскую грамматику — читает; арифметику — знает; историю и географию — продолжает; французский и немецкий язык — слабо; чистое письмо по-русски, французски и немецки — посредственно; рисовать — хорошо; танцевать — танцует». Подобная аттестация и у его 18-летнего брата Николая, который несколько лучше успевал в чистописании по-русски. К этому времени их старший брат Петр (за успехи в учении произведенный в 1794 году в сержанты) «оказался науки окончившим». Через год, в июле 1796 года он был выпущен штык-юнкером в армейскую конную артиллерию.

Именно тогда вновь сформированные конноартиллерийские роты вызвали интерес не только у артиллеристов, но, как вспоминал Ермолов, «конная артиллерия возбудила внимание всей столицы. Генерал-фельдцейхмейстер (начальник всей артиллерии. — *А. В.*), князь Платон Александрович Зубов показывал ее, как плоды своих забот об русской артиллерии. Мелиссино тоже, со своей стороны, хлопотал об ней и долго придумывал для нее мундир... Конная артиллерия стала модным войском; петербургский beau monde[1] приезжал смотреть на конно-артиллерийский строй<...>. В конную артиллерию были назначаемы офицеры, которые приобрели военную репутацию, георгиевские кавалеры, люди с протекцией и красавцы».

Поэтому естественна была та радость, которую испытали младшие братья Сеславины при виде Петра в щегольском красном мундире с черными бархатными лацканами, с золотым аксельбантом, в шляпе с белым плюмажем, лосинах и гусарских сапожках со шпорами. Очевидно, тогда определилось желание Александра служить только в конной артиллерии.

[1] Высший свет *(франц.)*.

...В ноябре 1796 года, с внезапной смертью 68-летней императрицы, век Екатерины закончился. На престол вступил ее сын Павел, восторженный поклонник Фридриха II и его, устаревшей к тому времени, военной системы. Всем известна страсть Павла к «фрунту, к косам, куклям, ботфортам». Современники чаще всего одаривали его эпитетами «сумасброд-император», «тиран» и «деспот». Особенно тяготила подданных введенная Павлом I строжайшая регламентация одежды и причесок, даже «дети носили треугольные шляпы, косы, букли, башмаки с пряжками. Это, конечно, безделицы; но они терзали и раздражали людей больше всякого притеснения».

Искореняя в армии ненавистный ему екатерининский дух, Павел искоренял и суворовский. Войска одели в неудобные мундиры прусского образца, стеснявшие движения солдат в бою, но облегчавшие достижение «немецкой стойки и выправки», необходимые для красоты столь любимого императором вахтпарада. Шагистика и фрунтомания доводили до изнеможения одинаково как солдат, так и офицеров. Однако наряду с этим в нововведениях Павла I были и свои положительные стороны. Ему, в частности, удалось восстановить в армии дисциплину, пришедшую в упадок к концу правления Екатерины II. Определенно улучшился быт военных, преобразилась артиллерия: «громоздкие пушки екатерининских времен» были заменены более совершенными орудиями, «легче и поворотливее прежних».

В жизни Артиллерийского и Инженерного кадетского корпуса, который новый монарх взял под свое «высочайшее» покровительство, естественно, также наступили перемены: кадет, получивших новое обмундирование à laprussienne и косы с буклями, стали усиленно обучать фрунтовому искусству. Кроме того, в силу обострения отношений с революционной Францией, из курса наук (вероятно, не без радости многих кадет) был изгнан французский язык.

Для братьев Сеславиных, заканчивавших обучение, приближался день выпуска. Годы, проведенные в корпусе, общие радости и невзгоды, общее порой одеяло, сдружили горячего, вспыльчивого Александра и сдержанного, хладнокровного Николая. Совместная в дальнейшем служба еще более усилила сердечную взаимную привязанность

братьев. Именно это чувство, спустя почти 20 лет после окончания корпуса, вызвало у Сеславина слезы при встрече за границей с человеком, поразительно похожим на брата. «Здесь военный комиссар довольно значащая особа, — писал он ему из Франции в 1817 году, — сходствует с тобою как две капли воды... Первый раз, когда я его увидел, остановился вдруг, долго смотрел на него, родились в голове моей разные мысли, вспомнил о нашей юности, и слезы покатились невольно из глаз. С тех пор всякий раз, когда его вижу, ощущаю томное и сладостное удовольствие...»

Февраль 1798 года — время выпуска братьев Сеславиных. 16 числа Павел I прибыл в Артиллерийский корпус. «Этот день для меня памятен тем, что он есть начало моего счастия в первую половину кипящей деятельностью моей жизни, — *вспоминал впоследствии* Александр Сеславин, — ...государь Павел Петрович, несколько дней спустя после рождения его высочества Михаила, пожаловал к нам в корпус. Это было во втором часу, после обеда, когда кадеты играли на дворе и катались на коньках. Штаб и обер-офицеры разъехались по домам обедать. Узнав о прибытии государя, все кадеты разбежались. Всегда смелый, я подошел к государю и поцеловал руку. Мне было тогда 13 лет, я был прекрасен как херувимчик. Поцеловав меня, государь объявил, что он прибыл поздравить кадет с новым фельдцейхмейстером, а узнав, что я племянник того Сеславина, который служил у него в Гатчине, спросил у меня: не желаю ли я служить у него в гвардии? Я отвечал, что желаю, но только с братом. Через несколько дней мы были уже офицеры в гвардейской артиллерии...» *Высочайший приказ от 18 февраля* 1798 года гласил: «...всемилостивейше производятся артиллерийского кадетского корпуса кадеты в гвардии артиллерийский батальон в подпоручики: Сеславин 1-й и 2-й...» Уточним, что 1-м стал Николай, а 2-м — Александр. Сеславина 1-го определили в конную роту, а 2-го — в первую пешую. Прочитав приказ, братья поздравили друг друга с производством в офицеры. Конечно, были и поцелуи, и объятия, и слезы радости, и бессонная ночь перед выпуском, в которую Александр и Николай предавались мечтам о своей, несомненно, блестящей жизни гвардейскими офицерами. Были и хлопоты с экипировкой, и, наконец, восторг, когда они надели офицерские мундиры и получили шпаги. Такое начало военной службы отвечало их самым сокровенным желаниям.

Однако внешне блестящая жизнь гвардейского офицера в царствование Павла I не была легкой. Каждый день проходил в разводах, учениях, смотрах «в высочайшем присутствии». Императором в офицерах особенно ценилось знание устава и умение ловко и красиво исполнять приемы с эспонтоном (род копья) и шпагой, а также соблюдение регламентированной одежды и прически. «Малейшая ошибка против формы, слишком короткая коса, кривая букля и т. п. возбуждали гнев его и подвергали виновного строжайшему взысканию». Мемуары современников сообщают, что незначительной ошибки офицера во время вахтпарада в присутствии императора было достаточно для его ареста и даже исключения из службы. «Протяжный и сиповатый крик Павла: «Под арест его!» — запомнили многие из гвардейских офицеров.

Александр Сеславин, *всегда одетый по форме* и тщательно причесанный, своим серьезным отношением к исполнению служебных обязанностей удостоился благосклонности царя. «По повелению его величества, я с двумя орудиями, находясь всегда при лейб-батальоне, ходил в Гатчину, Павловск и Петергоф. Вскоре потом назначили меня адъютантом (батальона. — *А. В.*), и на маневрах я пришел в палатку его величества с рапортом к фельдцейхмейстеру. Увидев меня, мой шеф спрятал личико на грудь августейшей своей матери. Много стоило труда августейшему родителю уговорить упрямого фельдцейхмейстера, который плакал, кричал и барахтал ножками, чтобы принял от меня рапорт и то не иначе, как отворотясь от меня, и протянув назад ручку, в которую я вложил рапорт...»

Исправное исполнение своих адъютантских обязанностей гвардии подпоручиком Александром Сеславиным вскоре было оценено: «Усердная и ревностная служба Ваша обратила на Вас Императорское Наше внимание, почему, во изъявление особливого Нашего к Вам благоволения пожаловали мы Вас почетным кавалером державного ордена Св. Иоанна Иерусалимского... Дан в Гатчине сентября 9 дня 1800 г.».

Грудь Александра украсил первый в его жизни орден — восьмиконечный Мальтийский крест из белой эмали, которым он, очевидно, особенно гордился, поскольку никто из его сверстников-сослуживцев (за исключением брата Николая) награжден не был.

Через полгода благоволивший к Сеславину Павел I был убит. Началось царствование Александра I.

II

Известие о смерти Павла и вступлении на престол Александра в столице было принято, по свидетельству современников, с радостью. Однако «этот восторг проявлялся главным образом среди дворянства, остальные сословия приняли эту весть довольно равнодушно».

Наступившее время самодержавного «конституционализма» породило много иллюзий в просвещенной части дворянства. Но «дней александровых прекрасное начало» завершилось аракчеевщиной — 1825 годом.

Цари меняются, но служба остается... Как обычно, в 6 часов утра адъютант гвардейского артиллерийского батальона Сеславин 2-й отдавал строевой рапорт инспектору всей артиллерии и командиру батальона Аракчееву, строго следившему за исполнением этой обязанности адъютанта. Приняв от генерала распоряжения, Сеславин записывал их в книгу приказов и развозил по ротам. После утреннего развода день проходил в ведении служебной переписки, выполнении поручений по осмотру караулов, рот. Каждый последующий день был подобен предыдущему. Однообразие службы угнетало. В свободные от дежурства вечера Сеславин читал книги по военной истории, увлекшись, просиживал иногда и ночи.

Он сдружился со своим сослуживцем, молодым эстляндским бароном подпоручиком Романом Таубе, ставшим его добрым товарищем. Позднее, в 1809 году Таубе, за отличие в русско-шведской войне произведенный в капитаны, получит следующее стихотворное послание от находившегося в отставке Сеславина:

Героя юного я с чином поздравляю
И степени большой достоинства желаю;
Желаю, чтобы ты Отчизне был полезен,
Чтоб всем был столько мил, колико мне любезен,
Чтоб обществу был друг, на бранном поле славен
И чтобы не забыт тобою был Сеславен.

Часто проводя время вместе, друзья выезжали в свет на званые вечера, балы. Молодого, красивого гвардейского офицера Сеславина принимают в петербургских гостиных, где он нередко встречает нежные улыбки женщин. Но рассеянный образ жизни требовал денег. Естественно, жалованья подпоручика не хватало. На небогатого отца городничего рассчитывать не приходилось. Оставалось единственное средство, довольно распространенное среди гвардейской молодежи, — жить в долг. Стремясь не

быть в числе последних, Сеславин залезает в долги, с каждым годом все более обременявшие его.

...В январе 1805 года Сеславин выходит в отставку поручиком и покидает Петербург. Нам неизвестна причина, побудившая его оставить службу, но, вероятно, не последнюю роль в этом решении сыграли начавшие его тяготить однообразие службы, безденежье, а отсюда невозможность вести общепринятую столичную жизнь гвардейского офицера, а также затянувшееся пребывание в одном чине.

В 1805 году Россия, обеспокоенная расширением наполеоновской Франции за счет соседних государств, вошла в состав антифранцузской коалиции. В определенной мере этому решению способствовал известный ответ Наполеона на протест Александра по поводу расстрела герцога Энгиенского. Нота, составленная по приказу первого консула, содержала откровенный намек на участие сына (Александра) в убийстве отца (Павла). Царь никогда не простил Наполеону этого оскорбления, по свидетельству участников заговора, вполне заслуженного.

В июле Австрия и Россия заключили военную конвенцию о совместных действиях против Франции. Война была решена.

В августе Сеславин, узнавший о скором начале кампании, вновь возвращается в строй. В Петербурге он получает назначение в десантный корпус графа П. А. Толстого, предназначавшийся для действия в Ганновере, захваченном войсками Наполеона. Гвардейский поручик Александр Сеславин — командир конной артиллерии корпуса, в его ведении четыре орудия (из них два приобретены на личные средства цесаревича Константина).

Командующий десантным корпусом — генерал-лейтенант Толстой был более придворным, чем военным человеком. Этот сановник, по отзыву современников, отличался добротой и великодушием. При таком командире служба офицеров была избавлена от грубостей, мелочной опеки и придирок. По роду своих обязанностей Сеславин, часто встречавшийся с генералом, сумел завоевать его полное расположение.

...12 сентября из Кронштадта на одном из кораблей военного флота с десантным корпусом Сеславин отправился к берегам Шведской Померании. Первое в его жизни морское путешествие продолжалось неделю. К концу плавания буря разметала корабли: утонуло несколько казаков, «взвод кирасиров был брошен на дальний остров, где и зазимовал; погибло несколько пушек и зарядных

ящиков». Орудия, вверенные Сеславину, уцелели. Собравшись в Штральзунде, русский десант вскоре двинулся в Ганновер. Но, вопреки надеждам Сеславина, жаждавшего испытать свое мужество в битве, корпусу не пришлось сразиться с неприятелем. Его попросту не оказалось. Наполеон, сосредоточивший свои силы в Баварии, очистил Ганновер.

Военный поход превратился в прогулку. Местные жители «толпами стекались смотреть на русских... Всюду угощали офицеров и солдат наших; в больших городах давали нам балы».

Во время экспедиции Сеславин познакомился с двумя преображенскими офицерами: капитаном графом Михаилом Воронцовым и поручиком Львом Нарышкиным. Оба новых товарища принадлежали к богатым аристократическим семьям. Воронцов, 23-летний синеглазый брюнет, уже имел боевую награду — Георгиевский крест 4-й степени. Назначение в столь молодые годы на ответственную должность начальника штаба корпуса имело основанием не только его личные качества. Знатность семьи, пост отца, посланника России в Англии, в значительной мере предопределили блестящий жизненный путь Воронцова. Исполняющий обязанности адъютанта командира корпуса его двоюродный брат 20-летний Нарышкин, приветливый и приятный в общении (в ближайшем будущем счастливый соперник Александра I в любви к «царице» петербургских салонов Марии Четвертинской), особенно расположил к себе Сеславина. Возникшую в их первом походе дружбу они сохранили на всю жизнь. Именно Льву Нарышкину Сеславин позднее подарит на память турецкую пулю, ранившую его при штурме Рущука.

Молодые люди вместе проводят свободное время, осматривают достопримечательности северогерманских городов, по вечерам нередко составляют для корпусного командира партию в вист.

В конце ноября к русскому десанту, освободившему Ганновер, присоединились английские войска. В ожидании прибытия шведского корпуса союзники разрабатывают план дальнейшего движения в Голландию. Неожиданное известие о победе французов в генеральном сражении при Аустерлице прекратило эти приготовления.

Сеславин, подобно другим офицерам корпуса, гордившимся заслуженной славой русского оружия, посчитал эту новость вымыслом. Но последовавший вскоре приказ о возвращении десанта в пределы России окончательно

разрушил его надежды. Безрадостным был путь русского корпуса домой через прусские владения...

Первый поход Сеславина закончен. В июле 1806 года он прибыл в Стрельну, где поступил в состав гвардейской конноартиллерийской роты. «Его императорское величество объявляет свое удовольствие лейб-гвардии артиллерийского баталиона поручику Сеславину 2-му за сохранение во время похода в совершенном порядке и исправности вверенной ему команды и орудий».

Вернувшись в Россию, Александр встретился с братом Николаем и Романом Таубе, участвовавшими в Аустерлицком сражении. С интересом он слушал их рассказы о битве и с нетерпением ожидал случая отомстить неприятелю за поражение. В мае 1807 года эта возможность, наконец, ему представилась.

В 1807-м продолжалась русско-прусско-французская война, начавшаяся осенью 1806-го. В феврале гвардии был объявлен поход. 16-го числа Александр вместе со своей ротой выступил из Петербурга. В марте перешли границу прусского королества и «тут узнали, — вспоминал один из сослуживцев Сеславина, — «пятую стихию» — грязь! Дороги от весенней ростепели до такой степени распустились, что артиллерия в сутки не могла идти... более 2 или 3 верст... и один из офицеров наших... на большой дороге, с лошадью едва не утонул...».

В конце мая возобновились прерванные военные действия. 29-го в сражении при Гейльсберге Сеславин получил боевое крещение. Утром он с двумя конными орудиями вместе с отрядом генерала А. Б. Фока был направлен для усиления авангарда П. И. Багратиона, атакованного французами. Русский авангард упорно защищался. Сеславин с орудиями на рыси вынесся на боевую позицию. Здесь он впервые услышал свист пуль и визг неприятельских ядер, увидел блеск клинков атакующей конницы противника. По приказу Сеславина, артиллеристы, снявшись с передков на самой ближайшей дистанции от неприятеля, когда уже различались лица французских кавалеристов, открыли картечный огонь. Гвардейцы привычно, ловко и весело заряжали и наводили орудия. По команде поручика «пали» канониры подносили дымящиеся пальники к затравкам. Оглушая, гремел выстрел, и через рассеявшийся дым Сеславин видел отступающего в замешательстве противника, оставившего на поле тела убитых и раненых людей и лошадей. Все его внимание было приковано к действию орудий. Каждый удачный

выстрел вызывал в душе ликование. Он был счастлив... В самые критические моменты боя Сеславин оставался хладнокровным и спокойно отдавал распоряжения. Невозмутимость поручика передавалась и его солдатам.

Противник, усиленный свежими войсками, продолжал напирать, и авангардный бой развернулся в сражение.

Во время битвы, при неизвестных для нас обстоятельствах, у Сеславина была повреждена грудь, началось горловое кровотечение. Это не позволило ему принять участие в дальнейших боевых действиях. Досаду Сеславина от такого невезения несколько развеяла встреча в походном госпитале с Львом Нарышкиным, раненным в руку в том же «деле».

Вскоре после неудачного для русской армии сражения при Фридланде был заключен Тильзитский мир и гвардия в августе вернулась в Петербург. Прусская кампания закончилась. Она принесла Сеславину боевой опыт, репутацию офицера отличной храбрости, орден Владимира 4-й степени и... расстроенное здоровье. Последнее, а также *постоянная нужда в деньгах* и какое-то неудовольствие, испытанное им по службе, вынудило Сеславина в декабре вновь выйти в отставку. Одновременно покинул военную службу и его брат Николай.

Отставной поручик Сеславин увлекается идеей путешествия в Индию, завоеванную Англией, после Тильзитского мира ставшей врагом России. Именно, «с 1807 года, когда я принужден был оставить службу по неудовольствию, я решился предпринять путешествие в Ост-Индию, собрав наперед нужные сведения о странах, которые я должен был проходить. Рассуждая часто об Англии и о причинах возвышения ее, утвердился в той мысли, что не в Европе должно искать средств ослабить влияние Англии на твердую землю, но в Ост-Индии. Россия к ней ближе всех; одна Россия в состоянии разрушить владычество англичан в Индии и овладеть всеми источниками ее богатства и могущества...». Видимо, недостаток средств не позволил Сеславину осуществить это рискованное предприятие, привлекавшее его, помимо всего прочего, особой романтикой и восточной экзотикой. Но мысль о путешествии в Индию не покидала его, и через несколько лет он вновь вернется к этому плану.

В отставке Сеславин с прежней увлеченностью продолжает изучение военной литературы. Он штудирует пользовавшийся особой популярностью в то время труд Жомини «Рассуждения о великих военных действиях» и

другие книги по военному искусству, особое внимание уделяя описанию походов Ганнибала, Цезаря, Наполеона и Суворова. Подобное чтение обогащало ум Сеславина и расширяло его военный кругозор. Помимо военных сочинений, он читает «Рассуждения о всеобщей истории» Боссюэ, «Исповедь» Руссо, перечитывает «Приключения Телемака» Фенелона.

Опыт, приобретенный Сеславиным в последнюю кампанию, побудил и его взяться за перо. В июне 1808 года он представляет в Артиллерийский департамент Военного министерства «Мнение о необходимости снарядных вьюков для летучей артиллерии». В нем Сеславин высказал интересный взгляд на назначение конной артиллерии, характеризующей его как зрелого и, несомненно, одаренного артиллериста: «Конная артиллерия сделана, как и кавалерия, для учинения внезапных на неприятеля нападений; для доставления отдаленным местам скорого подкрепления; для удара чрез быстрые и поспешные движения <...>; для прикрытия ретирады и переправы войск... Наконец, для преследования и окончательного поражения разбитого, расстроенного и бегущего неприятеля. Во всех случаях, где должно усилить огонь, зажечь ли отдаленную деревню, в которой засел неприятель, словом — где нужна поспешность, там употребляется конная или летучая артиллерия». Исходя из положения, что «чем конная артиллерия легче и менее имеет при себе обоза, тем способнее действует против неприятеля», Сеславин далее пишет: «Исследовав все случаи, встретиться могущие в походе и в действии против неприятеля с конною артиллериею, нахожу, что зарядные ящики во многих случаях неудобны...» Поэтому он предложил ввести на строевых артиллерийских лошадях снарядные вьюки. «Мнение» Сеславина в департаменте приняли к сведению и подшили в дело. Этим и ограничились...

Деятельная натура Сеславина не смогла выдержать длительного бездействия. В марте 1810 года он возвращается в гвардейскую конную артиллерию и отправляется волонтером в Молдавскую армию, воевавшую с турками.

В начавшемся в мае новом походе за Дунай Сеславин действует в составе корпуса генерала Ф. П. Уварова. Первый генерал-адъютант царя и шеф кавалергардов знал гвардейского поручика не только по службе, но и по прусской кампании. Уваров хорошо помнил отличные действия его при Гейльсберге. Это обеспечило Сеславину

доброе отношение корпусного командира и завидное положение офицера для особых поручений.

После перехода через Дунай Молдавская армия графа Н. М. Каменского двинулась к турецкой крепости Силистрия и осадила ее. Здесь Сеславин с авангардом Уварова участвовал в отражении вылазки неприятеля и впервые познакомился с действием осадной артиллерии. 1 июня гвардейский поручик, командуя батарейной полуротой, сражается у Разграда. Искусные выстрелы из его орудий «принудили неприятеля, находившегося в большом количестве на валу, отступить и скрыться с оного». Гарнизон крепости вместе с трехбунчужным пашой сдался, Разград занят русскими войсками, Сеславин награжден новым орденом — Анны 2-й степени.

Поход продолжался. Во время маршей, изнурительных под южным солнцем, Сеславин утешал себя тем, что наконец-то он видит места, в которых прославился Суворов.

11 июня русская армия достигла Шумлы. Разделившись на колонны, русские войска атаковали высоты перед городом, защищаемые армией великого визиря Юсуфа. Сеславин, находившийся во время упорного боя при Уварове, «в самом жестоком огне оказал всевозможную храбрость и расторопность отличного офицера». В этот день он впервые отражал атаки турецких янычар, которые с кривыми ятаганами и кинжалами, с криком «алла!», остервенело кидались на русские каре.

На следующее утро была предпринята еще одна безуспешная попытка взять город штурмом. Не взяв Шумлу с ходу, перешли к ее блокаде. Напротив турецких укреплений возводятся редуты. Противник, препятствуя их устройству, делает отчаянные вылазки. За отличие, проявленное при отражении одной из них, Сеславин был произведен в штабс-капитаны.

Осада Шумлы затянулась. После успешного начала кампании эти неудачные действия главнокомандующего произвели в Петербурге невыгодное впечатление. Желая поправить свою репутацию, Каменский решает взять штурмом Рущук, ранее осажденный частью его войск. Оставив блокадный корпус у Шумлы, русские войска двинулись к Рущуку. 9 июля они подошли к этой крепости, лежащей среди крутых гор на берегу Дуная. Надеясь, что появление русской армии устрашит гарнизон Рущука, Каменский приказал прибывшим из-под Шумлы войскам идти к крепости парадным маршем, с барабанным боем и музыкою. Затем он потребовал сдачи. Демонстрация успеха не имела: «турки спокойно смотрели с крепостных стен на наше движение, отказали в сдаче и усиливали оборону».

Русские войска стали готовиться к штурму, вязали фашины и делали штурмовые лестницы. В разгар этой подготовки в лагере под Рущуком получено известие о появлении в тылу на берегах Янтры турецких войск. Навстречу им отправился отряд генерала А. Н. Бахметева, с которым вызвался идти и Сеславин. 12 июля после упорного боя русский отряд разбил противника и преследовал спасающихся бегством турок несколько верст. «Отличившийся храбростию и искусством в сражении» штабс-капитан Сеславин был отмечен «высочайшим благоволением».

18 июля Каменский, которому не терпелось поскорее отрапортовать царю о взятии новой турецкой крепости, не дождавшись пробития бреши, отдал приказ о штурме. Начавшиеся дожди заставили отложить это предприятие на несколько дней. В одну из ночей, во время вынужденного бездействия, два добровольца, рискуя жизнью, вымерили крепостной ров. Одним из храбрецов был 23-летний артиллерийский поручик Александр Фигнер. Его имя стало известным в Молдавской армии, и, видимо, именно тогда Сеславин познакомился с Фигнером. Никто из них не предполагал, что через два года им предстоит вместе партизанить в окрестностях Москвы...

Дожди прекратились, земля высохла. Желая сделать приятное императору Александру, Каменский назначил штурм на 22 июля, день тезоименитства императрицы Марии Федоровны. Войска разделились на пять колонн. Вызвали «охотников», которые должны были захватить крепостной вал. Сеславин был в их числе, ему предстояло вести колонну Уварова. Ночью штурмовые колонны выступили из лагеря. Шли, сохраняя тишину, стараясь в темноте незамеченными приблизиться к крепостному рву. Подойдя ко рву, залегли, ожидая сигнала. Незадолго до рассвета, в начале четвертого часа сигнальная ракета известила о начале штурма. Колонны поднялись, построились и молча двинулись вперед. Неожиданно на колонну Уварова со стороны крепости обрушился шквал огня. Турки, заранее узнавшие о готовящемся штурме, открыли движение колонны и начали обстреливать. Невзирая на пушечный и ружейный огонь, штурмующие забросали фашинами ров, приставили лестницы к валу. Многие из

них оказались короткими. Опираясь на штыки, подсаживая друг друга, охотники вскарабкались наверх. Сеславин одним из первых поднялся на крепостной вал. Первое препятствие было преодолено. Оставалось спуститься в крепость... Раздался новый залп. Сеславина сильно ударило в сгиб правого плеча, он зашатался и рухнул в ров...

Штурм продолжался. Русские колонны, преодолевая отчаянное сопротивление турецкого гарнизона, упорно взбирались на вал. Турки усилили огонь и сделали вылазку. «Колонны были в прежестоком огне, со всех сторон осыпаны дождем пуль, картечи и ядер, — сообщает участник штурма. — Турки... катали по стенам бревна, лили кипящую воду и металл ...косами и кольями сбрасывали раненых гренадер в глубокий ров, где они все преданы смерти...» Штурм захлебнулся. Понеся тяжелые потери, русские войска были вынуждены отступить.

Штурм Рущука принес Сеславину чин капитана и... новое увечье. Турецкая пуля, меченная крестом, пробила его правое плечо и раздробила кость. С этого времени Сеславин не мог уже полностью поднимать руку — только сгибал ее в локте. Тяжесть раны увеличивалась вновь открывшимся сильным горловым кровотечением, вызванным падением с вала в ров. Вместе с другими ранеными Сеславина направляют на излечение в Бухарестский госпиталь. Не прежде февраля следующего года он смог вернуться в Петербург.

Здоровье Сеславина было серьезно подорвано. В мае 1811 года он, получив отпуск для продолжения лечения, отправляется на кавказские минеральные воды. Через полгода Сеславин, восстановив свои силы, возвратился в северную столицу. 12 декабря 1811 года «высочайший приказ» сообщал, что «лейб-гвардии конной артиллерии капитан Сеславин 2-й... назначается адъютантом к военному министру».

Генералы, как заметил Ермолов, разделяли своих адъютантов на два разряда: на тех, которых они брали в адъютанты, и тех, которые их брали в генералы. Сеславин принадлежал к первому. В отличие от некоторых офицеров, которым с помощью протекции жены военного министра (он не умел ей отказывать) удалось добиться этого лестного назначения, М. Б. Барклай-де-Толли сам выбрал в адъютанты А. Н. Сеславина, имеющего заслуженную репутацию отличного офицера.

Новый адъютант добросовестным отношением к своим

обязанностям заслужил сначала полное расположение, а затем и доверие военного министра. В период своей адъютантской службы при Барклае-де-Толли Сеславин смог лучше понять этого молчаливого, довольно сухого в общении человека, всецело занятого подготовкой к неминуемой войне с Францией. «Он первый ввел в России систему оборонительной войны, дотоле неизвестную, — писал впоследствии Сеславин. — Задолго до 1812 года уже решено было в случае наступления неприятеля отступать, уступая ему все до тех пор, пока армии не сосредоточатся, не сблизятся со своими источниками, милиция не сформируется и образуется и, завлекая таким образом внутрь России, вынудим его растягивать операционную свою линию, а чрез то ослабевать, теряя от недостатка в съестных припасах людей и лошадей...»

Наступил 1812 год. «Наполеон, ожидая долгое время от россиян наступательной войны, а вместе с тем верной погибели армии и рабства любезного нашего Отечества, сам наступил», — запишет позднее в своих воспоминаниях Сеславин.

III

С началом войны некоторые из адъютантов военного министра (одновременно и главнокомандующего 1-й Западной армии) и флигель-адъютантов царя были отправлены из Вильны к корпусным командирам с предписаниями о направлении их движения. По недоразумению авангард 4-го пехотного корпуса генерала И. С. Дорохова, находящийся в Оранах, недалеко от западной границы, не получил этого приказа.

Утром 16 июня при приближении численно превосходящих сил противника 1-я Западная армия покинула Вильну. Барклай-де-Толли, встревоженный отсутствием известий от Дорохова, отправил к нему с небольшим отрядом казаков одного из лучших своих адъютантов Сеславина. Это было первое ответственное поручение гвардейского капитана в Отечественную войну 1812 года. Путь Сеславина пролегал на запад через уже занятую неприятелем территорию и сопряжен был с известным риском. Вечером того же дня Сеславин, совершив напряженный марш, минуя вражеские войска, встретил отступающий отряд Дорохова, едва не отрезанный французами...

Отступление продолжалось. После нескольких дождливых дней наступила жара. От многочисленных колонн войск поднималась страшная пыль. Пыль и жара вызы-

вали нестерпимую жажду. Сеславин, сопровождая на переходах Барклая-де-Толли, видел солдат, жадно пьющих грязную воду из луж...

Служба адъютантов главнокомандующего была нелегкой. Днем и ночью они, загоняя лошадей, развозили срочные приказы и диспозиции, выполняли различные поручения Барклая-де-Толли: следили за порядком войск на маршах, отправлялись к ведущему бой арьергарду, проводили рекогносцировку неприятеля. Лучших своих адъютантов главнокомандующий использовал чаще всего. Короткий отдых, и снова в путь...

Сеславин осунулся, похудел, но был доволен службой, позволявшей ему быть в гуще событий. Примером для адъютантов был сам Барклай-де-Толли, работавший постоянно, без отдыха, даже ночью.

23 июня Сеславину, по приказу главнокомандующего находившемуся в арьергарде, довелось впервые с начала военных действий сразиться с врагом. Утром при селе Кочергишки на берегу Десны русский арьергард генерала Ф. К. Корфа был атакован французским авангардом маршала И. Мюрата. Сеславин принял участие в завязавшемся горячем кавалерийском бою и за проявленную храбрость был отмечен «высочайшим благоволением».

Вечером 27-го числа войска 1-й Западной армии вступили в укрепленный лагерь при Дриссе. Здесь предполагали остановиться и дать сражение. Дрисский лагерь был сооружен по плану прусского генерала Фуля, перешедшего на русскую службу и пользовавшегося особым доверием царя. Но подробный осмотр укрепленного лагеря показал его полную непригодность, и на военном совете было решено оставить этот злополучный лагерь.

1-я Западная армия двинулась через Полоцк к Витебску, где надеялась соединиться со 2-й Западной армией Багратиона, отделенной от нее превосходящими силами противника.

6 июля в полдень Сеславин вместе со свитой Барклая-де-Толли вступил в Полоцк. Город казался вымершим. На пустынных улицах был слышен только шум от проходящих колонн войск, ржание и топот лошадей. Сеславин прислушался к разговору артиллеристов. Один из них говорил: «Видно, у него много силы, проклятого; смотри, сколько отдали даром, вот и этот город ему же достанется». — «Еще посмотрим, — отвечал другой, — может, нарочно его так далеко заводят». — «Нарочно али нет, а все это что-то небывалое. Слыханное ли дело, чтобы без

драки уходить так далеко и отдавать все даром!» — «Толкуй, — прервал беседу старый унтер-офицер. — Видно, тебя не спросили, что пошли!» В рядах солдат раздался смех.

Через несколько дней армия пришла в Витебск. В ожидании прибытия войск Багратиона готовились к сражению. «Солдаты стали веселее, — сообщал современник, — каждый горел нетерпением сразиться, удостоверить французов, что мы уходили от них непобежденные. Представляя себе опасность, которой подвергалось отечество, никто не думал о собственной жизни, но каждый желал умереть или омыть в крови врагов унижение, нанесенное русскому оружию бесконечною ретирадою».

Навстречу наступающему противнику Барклай-де-Толли двинул 4-й пехотный корпус генерала А. И. Остермана-Толстого с несколькими полками кавалерии и конной артиллерией, который должен был задержать движение неприятеля и выиграть время до похода 2-й Западной армии. Вместе с этим отрядом главнокомандующий отправил своего адъютанта Сеславина, пользующегося его полным доверием и наделенный особыми полномочиями.

На рассвете 13 июля у местечка Островно началось упорное и кровопролитное сражение, в котором Сеславин, по свидетельству его товарища В. И. Левенштерна (тоже адъютанта главнокомандующего), принял активное участие. «Граф Остерман поручил нам руководить действием на его флангах, решив сам командовать центром... Сеславин командовал левым крылом, а я правым».

Русские войска в течение дня мужественно отразили атаки вдвое превосходящих сил противника и только с наступлением темноты по окончании дела в порядке отступили на некоторое расстояние. Сеславин, впервые получивший возможность влиять на ход боевых действий, с честью выдержал испытание. Выгодно расположенная им артиллерия нанесла чувствительный урон врагу.

На следующий день отряд генерала П. П. Коновницына, сменивший корпус Остермана, на новой позиции у деревни Какувячино вновь успешно отражал до ночи атаки противника, рвущегося к Витебску. И снова Сеславин был в огне...

Два дня выиграли. Наполеон, судя по упорству, с которым сражались русские в эти дни, заключил, что приблизился час решительной битвы. Наконец-то он, воспользовавшись подавляющим численным превосходством своих сил, сможет разбить русскую армию.

Барклай-де-Толли действительно готовился к сражению, но невыгодность позиции при Витебске и известия, полученные от 2-й Западной армии, заставили его изменить принятое решение и отступить к Смоленску. Багратион сообщал, что не смог пробиться и взял направление к этому городу.

15 июля русская армия в виду неприятеля покинула лагерь при Витебске. Это опасное движение прикрывал арьергард генерала П. П. Палена, в котором находился и Сеславин. Арьергард сражался весь день и позволил армии, совершить этот маневр в удивительном порядке. Наполеон, уверенный, что эти передвижения в расположении русских относятся к предстоящей битве, был обманут...

Доблестно сражавшийся в эти три дня гвардейский капитан Сеславин был представлен Барклаем-де-Толли к следующему чину полковника, но это производство он получил лишь поздней осенью.

Продолжительное отступление вызвало в русских войсках недовольство. «...С первого шага отступления нашей армии близорукие требовали генерального сражения, — вспоминал Сеславин. — Барклай был непреклонен. Армия возроптала, главнокомандующий подвергнут был ежедневным насмешкам и ругательствам от подчиненных, а у двора — клевете. Как гранитная скала с презрением смотрит на ярость волн, разбивающихся о подошву ее, так и Барклай, презирая незаслуженный им ропот, был как и она, непоколебим».

Однажды ночью Сеславин прибыл из арьергарда с очередным рапортом. Барклай-де-Толли в задумчивости сидел за столом, что-то изучая по разложенной карте. Выслушав донесение, он спросил адъютанта: «А какой дух в войске? Как дерутся, что говорят?» — «Бранят Вас до тех пор, пока гром пушек и свист пуль не заглушит их ропот. Вступив в дело, все забыто, дерутся, как следует русским», — искренне ответил Сеславин. Нахмурившись, главнокомандующий сказал: «Я своими ушами слышал брань, и ее не уважаю. Я смотрю на пользу отечества, потомство смотрит на меня. Все, что я ни делаю и буду делать, последствие обдуманных планов и великих соображений, плод многолетних трудов».

...22 июля наступило долгожданное соединение русских армий под Смоленском. План Наполеона разобщить и по отдельности разгромить 1-ю и 2-ю Западные армии потерпел неудачу.

4 августа корпус маршала М. Нея, идущий в авангарде наполеоновской армии, попытался с ходу взять Смоленск. Защищавшие древний русский город корпус Н. Н. Раевского и отряд Д. П. Неверовского отбили атаки многочисленных колонн врага.

Вечером главнокомандующие решили, что 1-я армия продолжит удерживать Смоленск, а 2-я прикроет московскую дорогу. Армия Барклая-де-Толли расположилась за Петербургским предместьем на высотах правого берега Днепра против города. Оборона Смоленска была возложена на корпус Д. С. Дохтурова и дивизию Коновницына. Ночью они сменили войска Раевского, принадлежавшие к армии Багратиона, выступившей по дороге на Москву.

Утро было солнечным. За городом слышалась ружейная перестрелка. Барклай-де-Толли вместе со штабом выехал из Петербургского предместья для осмотра боевой позиции на левом берегу Днепра. Проезжая через город, Сеславин обратил внимание, что, несмотря на доносящийся шум боя, в городе царило оживление. На улицах продавали мороженое. В 10 часов утра Барклай-де-Толли со свитой подъехал к Малаховским воротам — центру позиции, занимаемой войсками Дохтурова, и, остановившись на их террасе, пробыл здесь около часа. Отсюда хорошо обозревались окрестности. Сеславин увидел вдали густые неприятельские колонны, обложившие город. Ближе, среди кустарников, стрелковые цепи противника, сгущаясь, вели оживленную перестрелку с нашими егерями...

Завершив объезд позиции, главнокомандующий расположился на левом фланге, на батарее, поставленной на возвышении напротив Раченского предместья. В 4-м часу начался штурм Смоленска. До позднего вечера продолжались ожесточенные атаки неприятеля, мужественно отбиваемые русскими войсками. Крепостные стены способствовали успеху обороны. Не сумев овладеть Смоленском, Наполеон отдал приказ о его бомбардировке. На город обрушился убийственный огонь из 150 батарейных орудий. Смоленск запылал во многих местах, ядра и рвущиеся гранаты разили и жителей и идущих в бой солдат. Во время штурма Сеславин принял участие в отражении неожиданной атаки неприятельской кавалерии, сумевшей переправиться вброд через Днепр и попытавшейся овладеть батареей и захватить главнокомандующего. Конвой Барклая-де-Толли вместе с адъ-

ютантами и ординарцами бросился навстречу противнику и после короткого рукопашного боя обратил его в бегство.

Вскоре после этой схватки Барклай-де-Толли послал Сеславина в Смоленск обстоятельнее узнать положение дел. Переехав через обстреливаемый мост на Днепре, Сеславин во второй раз в этот день побывал в городе. То, что он увидел, разительно отличалось от утренней картины. Смоленск горел. Над городом разрывались гранаты, по улицам рикошетом били ядра. Рушились стены, всюду валялись убитые, несли раненых, в ужасе метались жители. Вечерний Смоленск был наполнен громом, треском, огнем, дымом, стоном и криком. Предместья города были охвачены пожаром. Вокруг стен Смоленска кипел горячий бой, и только ночная темнота остановила сражающихся. Но канонада, не смолкая, продолжалась до глубокой ночи.

Враг не сумел сломить сопротивление русских войск. Успешная оборона Смоленска подняла дух армий до высокой степени. Не участвовавшие в бою завидовали сражавшимся. Общим мнением было продолжение битвы в Смоленске. Но главнокомандующий счел целесообразным возобновить отступление. В час ночи Дохтуров получил приказ оставить Смоленск и, отведя войска на правый берег Днепра, уничтожить мосты...

Возвращаясь ночью в главную квартиру, Сеславин остановил коня на высоте правого берега Днепра. Она была занята группой генералов и офицеров, смотрящих на пылавший внизу Смоленск. «Этот огромный костер церквей и домов был поразителен, — вспоминал товарищ Сеславина Павел Граббе. — Все в безмолвии не могли свести с него глаз. Сквозь закрытые веки проникал блеск ослепительного пожара».

По дороге шли колонны отступающих войск, везли тяжелораненых. Рядом брели толпы жителей, покидавших Смоленск. Рыдания женщин, крик детей раздирали душу. Вид народного бедствия вызвал у Сеславина новое, не испытанное прежде, чувство. Он вспомнил родных, отцовский дом на Сишке и подумал, что, находясь в рядах армии, сможет быть полезным Отечеству...

...На рассвете 6 августа передовым неприятельским войскам удалось оттеснить русский арьергард и вступить в Петербургское предместье. Барклай-де-Толли отправил Сеславина к Коновницыну с приказом остановить противника. Генерал вместе с Сеславиным и другими адъютантами повел один из егерских батальонов в штыковую атаку. Враг был опрокинут и сброшен в Днепр, предместье очищено. «Столь удачному и скорому отражению неприятеля, — рапортовал Коновницын главнокомандующему, — одолжен я был наиболее квартирмейстерской части полковнику Гавердовскому... гвардейской артиллерии капитану Сеславину, дивизионному адъютанту моему... штабс-капитану Ахшарумову и находящемуся при начальнике главного штаба... поручику Фонвизину, кои, содействуя мне примерами личного мужества, устремили солдат на неприятеля и были виновниками всему успеху».

На следующее утро Сеславин участвовал в новом арьергардном бою при деревне Гедеоново, недалеко от Петербургского предместья. Здесь особенно отличился его друг Нарышкин, служивший ротмистром в Изюмском гусарском полку. В один из критических моментов боя Нарышкин со своим эскадроном атаковал неприятеля во фланг, смял его и заставил отступить. Сеславин был рад поздравить товарища с блестящей атакой.

Днем главнокомандующий отправил Сеславина с кавалерийским отрядом графа В. В. Орлова-Денисова на левый фланг позиции при деревне Лубино. Здесь адъютант главнокомандующего сражался до вечера, вместе с гусарами участвуя в атаках на неприятельскую кавалерию.

Наградой Сеславина за успешные действия под Смоленском была золотая сабля с надписью «за храбрость».

Русские армии продолжали отходить по Московской дороге. «Войска наши, — сообщал современник, — повсюду жгли все города и селения... так чтобы французов лишить всех способов покоя. Местные жители повсюду бежали из своих домов, укрываясь в лесах... всякий чем мог вооружался для нападения и уничтожения неприятеля». Разгоралось пламя народной войны...

Вскоре после боя у Лубино Сеславин был вновь прикомандирован к арьергарду, где провел две недели, почти каждый день сражаясь с неприятелем. Он с отличием участвовал в 11 жарких боях, и командующие генералы давали ему самые лестные характеристики. В частности, Коновницын отзывался об адъютанте главнокомандующего: «...был он... употреблен к учреждению наших батарей, кои под его наблюдением действовали всегда с величайшею удачею... первый во всех опасностях и из сильнейшего огня выходил... последним...»

Арьергардная служба была не из легких. «Арьергард наш терпел величайшую нужду... не оставалось даже соломы для биваков и дров для разведения огня, — вспоминал служивший в арьергарде вместе с Сеславиным Александр Муравьев. Для походной жизни Сеславина и его товарищей было обычным после боя голодными устраиваться на ночлег в поле, часто под дождем, или в уцелевшей курной избе, наполненной насекомыми, спать, не раздеваясь, неделями. Нужно было обладать свойственной ему неприхотливостью и умением довольствоваться малым, чтобы переносить подобные условия.

Совместная служба в арьергарде сблизила Сеславина с его ровесником Яковом Гавердовским, одним из лучших штабных офицеров и ближайшим помощником Коновницына. Между ними установилась взаимная симпатия, и нередко, сидя у бивачного костра, офицеры вели дружеские беседы...

23 августа под Гридневом Сеславин, отражая атаку неприятельской кавалерии, был ранен пулею в ногу. Но уже на следующий день, превозмогая боль, принял участие в ожесточенных боях при Колоцком монастыре и у села Бородино, в виду расположившейся на боевой позиции русской армии. Здесь арьергард присоединился к главным силам, и Сеславин вернулся в штаб Барклая-де Толли. Недавно прибывший к войскам главнокомандующий всех армий князь Голенищев-Кутузов решил на полях бородинских дать сражение, которого все давно ждали.

...26 августа, затемно, Сеславин верхом на лошади со штабом Барклая-де-Толли расположился на батарее, построенной на скате высоты у Горок. Все распоряжения к битве были сделаны, войска строились в боевые порядки. Гвардейский капитан с нетерпением ожидал рассвета. Ночная сырость потревожила свежую рану в ноге. Боль не утихала. Сеславину стало ясно, что сражаться пешим с простреленной ногой он едва ли сможет. Одна надежда, что фортуна будет милостива к его верному Черкесу.

Рассветало. На востоке заалели редкие облака. Поднималось яркое солнце. Сильный туман еще держался у видневшегося внизу села Бородино с белой церковью. Стояла тишина. В шесть часов утра слева донесся глухой пушечный выстрел. «Гаубица», — определил Сеславин. Вновь тишина. Спустя несколько минут последовал

второй, третий, четвертый выстрел, и вот уже канонада загремела по всей боевой линии. Сражение началось.

Впереди у Бородина затрещала ружейная перестрелка, рассыпалась дробь барабанов. Воспользовавшись туманом, французы внезапно атаковали село, занятое гвардейскими егерями и отделенное от позиции речкой Колочею. Сеславин с трудом различил в дыму выстрелов и поднявшейся пыли быстро движующуюся по дороге, ведущей в село, темную колонну. «Удержатся ли наши?» Барклай-де-Толли отдал короткое распоряжение полковнику Гавердовскому, недавно назначенному генерал-квартирмейстером 1-й армии. Гавердовский тронул лошадь. Съезжая с батареи, он кивнул Сеславину и поскакал к Бородину, окутанному дымом и туманом. Сеславин проводил взглядом друга и невольно подумал: «Увидимся ли?»

Через некоторое время лошадь Гавердовского с окровавленным седлом вернется к своим, а тело убитого полковника так и не будет найдено...

Бой в селе был недолгим. Через четверть часа французам удалось выбить гвардейцев, потерявших половину своего состава, и ворваться на мост через Колочу. Контратака бригады армейских егерей остановила движение противника. Враг был отброшен, внизу запылал мост. Посмотрев влево, Сеславин увидел высокие столбы дыма, сопровождающиеся страшным ревом артиллерии. «Семеновские флеши!» Как и предполагал Сеславин, именно на левом фланге развернулось одно из главных действий кровавой драмы.

Барклай-де-Толли спустился с батареи и направился к центру позиции. Сеславин вместе с другими адъютантами и ординарцами сопровождал главнокомандующего 1-й армии. Вся лежащая впереди местность была покрыта движущимися войсками и дымом пушечных выстрелов. Лучи солнца играли на оружии и амуниции идущих в бой колонн. Огонь с обеих сторон усиливался. Ружейные выстрелы и артиллерийская канонада слились в один непрерывный гул. «Выстрелы так были часты, что не оставалось и промежутка в ударах... — свидетельствует участник сражения. — Густые облака дыма, клубясь от батарей, возносились к небу и затмевали солнце...» «Ядра и гранаты буквально взрывали землю на всем пространстве», — добавляет товарищ Сеславина Левенштерн.

Под огнем Барклай-де-Толли со свитой проехал перед фронтом гвардейской бригады, стоящей в резерве на

опушке рощи. Преображенцы и семеновцы приветствовали главнокомандующего. Ядра, визжа, долетали до их рядов, убивая и калеча все живое. Непрестанно слышалась команда «сомкнись!», и гвардейцы, молча смыкая ряды, продолжали стоять с ружьем у ноги.

В штабе заметили сосредоточение неприятелем значительных сил против Центральной батареи. Барклай-де-Толли обернулся к свите: «Господин Сеславин!» Сеславин подъехал. «Приведите из резерва две конные роты и установите их по вашему усмотрению у Центральной батареи». Сеславин отдал честь, и Черкес зарысил за деревню Семеновскую, где располагался общий конноартиллерийский резерв. Артиллеристы, рвавшиеся в сражение и уже имевшие потери от залетавших ядер и гранат, с радостью встретили адъютанта, привезшего приказ «идти в дело».

Время приближалось к 11 часам. Сеславин, ведя на рысях две конные роты, увидел съезжающие с покрытой пороховым дымом Центральной батареи передки артиллерии и отступающую в беспорядке пехоту прикрытия. Он внутренне похолодел: «Ключ позиции в руках врага!» Указав артиллеристам место для развертывания орудий, Сеславин послал лошадь в карьер. Курган приближался. С левой его стороны стояла пехотная колонна. Сеславин осадил лошадь перед ее фронтом. В этот решающий момент главное — инициатива. Адъютант Барклая-де-Толли произнес магически подействовавшие на пехотного штаб-офицера слова: «по приказу главнокомандующего» и, обнажив свою турецкую саблю, повел колонну в штыковую контратаку. В то же время с правой стороны ударил с батальоном Левенштерн, а в центре возглавил контратаку прибывший к Центральной батарее Ермолов. Сверху посыпался дождь картечи и пуль. Одна из них сбила кивер Сеславина.

Загремело «ура!». Сеславин прибавил шагу и первый врубился в ряды французской пехоты. После страшного по ожесточенности рукопашного боя враг был сброшен с батареи, захваченные орудия возвращены, высота покрыта неприятельскими телами, бригадный генерал Бонами взят в плен. Боевая линия в центре была восстановлена.

Подъехавший во время схватки к батарее Барклай-де-Толли одобрил действия Сеславина и вскоре отправил его к начальнику артиллерии графу А. И. Кутайсову, которого видели неподалеку. Сеславин должен был подробнее узнать у генерала размещение на позиции артиллерии и привести в центр свежие роты. Посланные от разных частей армии офицеры уже давно разыскивали начальника артиллерии. Все усилия Сеславина и ординарца Кутайсова гвардейского прапорщика Николая Дивова найти генерала также были безуспешными. Наконец поблизости от кургана они заметили бурого коня Кутайсова. «Мы вместе с... Сеславиным, — вспоминал Дивов, — подошли к лошади и увидали, что она была облита кровью и обрызгана мозгом, что убедило нас в невозвратной потере для всей российской артиллерии достойнейшего ее начальника».

Почти одновременно Сеславин встретил тяжело раненного князя Багратиона, которого несли к перевязочному пункту. Генерал был бледен и часто оборачивался в сторону горевшей деревни Семеновской, где продолжался бой его армии с превосходящими силами противника. Флеши были потеряны. Лицо Багратиона выражало страдание. Сеславин помрачнел. Позднее он узнает, что на левом фланге сражался и его старый товарищ полковник Роман Таубе. Ядро оторвало ему ногу...

Доложив главнокомандующему 1-й армии о случившемся, Сеславин, выполняя его приказ, помчался к главному артиллерийскому резерву у Псарева. Вскоре он вновь привел артиллерийские роты и разместил их у Центральной батареи. Неприятель, овладевший Семеновскими высотами, выстроил на них и у Бородина многочисленные батареи. Подготавливая решительную атаку центра, более ста орудий открыли смертоносный перекрестный огонь. Не успели артиллеристы, приведенные Сеславиным, занять позицию и сделать первый выстрел, как их засыпало ядрами и гранатами. «Людей и лошадей стало, в буквальном смысле, коверкать, а от лафетов и ящиков летела щепа...» — свидетельствует очевидец. Артиллеристы гибли, с лафетов сбивало пушки, зарядные ящики взлетали на воздух. Но разбитые орудия заменяли другими, и оставшиеся в живых продолжали сражаться.

Около двух часов дня, когда Наполеон отдал приказ вновь атаковать Центральную батарею, Сеславин вернулся к Барклаю-де-Толли. Главнокомандующий верхом на лошади стоял на пригорке недалеко от батареи и наблюдал за движением противника. Белая лошадь генерала была прекрасной мишенью, и это место непрерывно обстреливалось. Рикошетирующие ядра осыпали Барклая-де-Толли и его сильно поредевшую свиту землею. Мно-

гие из адъютантов и сопровождавших главнокомандующего офицеров и ординарцев были ранены, некоторые убиты. Просвистев, очередное ядро ударило в лошадь генерала. Поднявшись, не изменяясь в лице, Барклай потребовал другую.

Евгений Богарнэ, поддержанный с флангов кавалерией, повел свои пехотные дивизии на Центральную батарею. Массы неприятельской конницы охватили возвышение и бросились на стоявшую поблизости пехоту. Построившись в каре, русские полки батальным огнем отразили неистовые атаки кавалерии противника. Почти одновременно три французские пехотные дивизии штурмовали Центральную батарею, защищаемую дивизией П. Г. Лихачева. После резни укрепление было взято.

У подножия кургана неприятельская кавалерия возобновила атаки на русскую пехоту. На помощь ей спешили на рысях из резерва Кавалергардский и Конногвардейский полки. Барклай-де-Толли, в сопровождении Сеславина и немногих оставшихся адъютантов, возглавил атаку отборной кавалерии. Светлая масса русских кирасир вынеслась навстречу врагу. Захлопали пистолетные выстрелы. Разрядив пистолет в ближайшего противника, Сеславин наносил и отражал удары неприятельских кавалеристов. «Закипела сеча, общая, ожесточенная, беспорядочная, где все смешалось, пехота, конница и артиллерия, — вспоминал участник битвы. — Бились, как будто каждый собой отстаивал победу». Над полем боя стоял страшный гул, в котором слились крики сражающихся, звон клинков, звуки выстрелов, ржание сталкивающихся лошадей и стон раненых. Команды и проклятия раздавались на русском, польском, немецком и французском языках. «Лошади из-под убитых людей бегали целыми табунами», — сообщает очевидец. Наконец около пяти часов неприятельская конница, не выдержав, отступила. Только артиллеристы с обеих сторон до позднего вечера продолжали свою страшную дуэль...

Солнце уже село, когда Сеславин, вместе с товарищами сопровождая Барклая-де-Толли, вернулся на ту же батарею у Горок, где он встретил утро этого ужасного дня. Из 12 адъютантов, находившихся при главнокомандующем с начала битвы, осталось только трое: А. А. Закревский, раненый Левенштерн и Сеславин. Из остальных офицеров один был убит, несколько ранено, другие лишились в сражении своих лошадей. В великой битве Сеславин и его Черкес остались невредимы. Деятельность неустрашимого гвардейского капитана в течение 15-часового сражения была оценена по достоинству: Сеславин в числе немногих особо отличившихся генералов и офицеров стал кавалером одного из почетнейших орденов — Георгия 4-й степени. Орденская грамота гласила: «...несмотря на полученную Вами рану пулею, участвовали в сражении... 26-го числа, быв употребляемы для распоряжения и перемещения артиллерии под жестоким неприятельским огнем, и потом, когда отнята была Центральная батарея, бросились на оную из первых и до самого окончания сражения являли повсюду отличную храбрость и мужество».

Впереди были путь к Москве и знаменитый Тарутинский марш-маневр...

IV

В конце сентября, после отъезда из армии заболевшего Барклая-де-Толли, бывший адъютант главнокомандующего Сеславин был прикомандирован к Коновницыну, назначенному дежурным генералом и фактически исполняющему обязанности начальника главного штаба Кутузова.

Фельдмаршал, готовясь в Тарутинском лагере к контрнаступлению, развернул партизанскую войну. Легкие армейские «партии», поддерживая действия отрядов крестьян из окрестных селений, окружили Москву, занятую врагом. Вспыхнувшая народная война охватила своим истребительным огнем наполеоновскую армию. Каждый день стоил неприятелю нескольких сотен человек, десятков отбитых транспортов с оружием, боеприпасами и продовольствием. В штаб Кутузова почти ежедневно приходили донесения об успешной деятельности в тылу врага партизанских отрядов Давыдова, Дорохова и Фигнера, приводили множество пленных. Число армейских партизан увеличивалось.

Сеславин решил, что в сложившейся обстановке именно во главе «летучего» отряда он сможет принести наибольшую пользу отечеству. Гвардейский капитан обратился за содействием к дежурному генералу. Коновницын, с искренним уважением относившийся к предприимчивому и отважному офицеру, рекомендовал Сеславина Кутузову. Он был приглашен на обед к фельдмаршалу, где встретил теплый прием. В послеобеденной беседе, очевидно, решился вопрос о назначении Сеславина ко-

мандиром формируемой партии. 30 сентября гвардейский капитан получил предписание главнокомандующего всех армий: «Командируетесь, ваше высокоблагородие, с партиею, состоящей из 250 донских казаков войскового старшины Гревцова и I эскадрона Сумского гусарского полка, в направлении по дороге от Боровска к Москве, причем имеете в виду действовать более на фланг и тыл неприятельской армии. Неподалеку от вас действует артиллерии капитан Фигнер с особым отрядом, с коим можете быть в ближайшем сношении. Отобранным от неприятеля оружием вооружить крестьян, отчего ваш отряд весьма усилиться может, пленных доставлять сколько можно поспешно, давая им прикрытие регулярных войск и употребляя к ним вдобавок мужиков, вооруженных вилами или дубинами. Мужиков ободрять подвигами, которые оказали они в других местах, наиболее в Боровском уезде».

Сеславин был доволен, получив в командование отдельный отряд и, главное, полную самостоятельность в своих действиях. Правда, он надеялся на более значительную партию, но для начала и это неплохо. Сеславин был уверен, что, оправдав доверие Кутузова, сможет рассчитывать на ее увеличение. В том, что он с честью выдержит испытание, сомнений не было. Особую уверенность придавали сумские гусары, имевшие за плечами не одну кампанию и опыт аванпостной службы. С командиром эскадрона, смелым штабс-ротмистром Александром Алферовым, Сеславин был знаком по арьергардным делам. Пользуясь правом выбора офицеров, он взял в партию также 22-летнего поручика Елизаветградских гусар Николая Редкина, уже с отличием партизанившего в отряде Дорохова и тоже известного Сеславину по арьергарду. Обязанности штабного офицера отряда были поручены юному прапорщику лейб-гвардии Литовского полка Александру Габбе, получившего в свое распоряжение карты. В будущем Габбе — верный адъютант Сеславина. Назначенные в партию донские казаки Гревцова прибыли в армию недавно, в числе нескольких полков, вызванных Платовым с Дона. Многие из казаков были молоды и необстреляны, но все имели горячее желание *сразиться с неприятелем.*

В ночь на 1 октября Сеславин скомандовал собравшемуся отряду: «справа по три марш!», и партизаны вместе с проводниками-крестьянами покинули Тарутинский лагерь. Миновав последние разъезды, партия, соблюдая

тишину, пошла лесами и оврагами на север, к Москве. Темная октябрьская ночь, выпавший первый снег, дремучие леса и ожидание опасности делали экспедицию особенно привлекательной для Сеславина.

Первое крупное дело нового партизанского отряда, не считая стычки 2 октября с неприятельскими фуражирами, *произошло 4-го числа у селения Быкасово на Новой* Калужской дороге. От взятых накануне пленных узнали, что отряд генерала Орнано (4 кавалерийских полка, 2 батальона пехоты и 8 орудий), прикрывающий крупный обоз, остановился в селе Вяземы на Можайской дороге. Несмотря на значительное превосходство неприятеля, Сеславин решился на рассвете следующего дня атаковать отряд. Главное — напасть внезапно и решительно. Охотники из крестьян, присоединившихся к партии, хорошо знавшие местность, вызвались провести партизан по глухим лесным тропам. Сеславин разбил отряд на три части. Впереди с проводниками шел авангард из казачей сотни с Редкиным во главе, затем — основная часть партии, движение которой прикрывал арьергард. Марш был ночным, долгим и трудным. Люди дремали верхом на лошадях... «Сделав 55 верст, — рапортовал Сеславин Коновницыну, — я в Везюмове его не нашел, и узнал, что за несколько часов выступил на Боровскую дорогу, дабы маршировать чрез Фоминское, Верею и Смоленск... Я шел с ним параллельно, проходя ночью деревни, в которых находился неприятель... Будучи окружен всегда сильными неприятельскими партиями, я скрылся в лесах на Боровской дороге. Коль скоро неприятель показался, я пропустил пехоту и часть кавалерии чрез деревню, дабы соделать их не в состоянии взаимно себя подкрепить. Я стремительно атаковал, опрокинул кавалерию и стрелков. При сем случае убито у неприятеля до 300 чел., в том числе один генерал... один полковник и несколько офицеров. После сего генерал Орнани устроил на высотах батарею, пехоту и кавалерию, открыл канонаду и оружейный огонь... Сумские гусары и казаки Гревцова пред картечами, ядрами и пулями искололи всех лошадей и испортили упряжь под остальною артиллериею, фурами и ящиками. Когда же пехота грозила отрезать нам ретираду, я приказал отступить к лесу. Остановясь вне выстрела, я показывал, что имею намерение вновь атаковать... Но когда неприятель, будучи подкреплен кавалериею, повел решительную атаку, я отступил лесами к Наре... и остановился в трех верстах от Фомин-

ского, где неприятель расположился ночевать. Потери с нашей стороны около сорока человек... Дельце было порядочное и горячее» [1].

После успешного поиска Сеславин расположил свой отряд на ночлег в небольшой деревушке в лесу, покинутой жителями и окруженной болотами. Вскоре из леса появилось несколько десятков бородатых крестьян. «Что надобно, мужики?» — спросил Сеславин. «Ваше сиятельство, пожалуй нам ружья и патроны бить врага-супостата», — кланяясь в пояс, отвечали крестьяне. Сеславин распорядился выдать каждому из захваченных в бою трофеев. Получив оружие, крестьяне горячо благодарили командира партизан. Сеславин поручил им, не упуская из вида его отряда, незамедлительно сообщать о неприятеле. «Это мы можем, ваше сиятельство!» — говорили крестьяне.

Утром следующего пасмурного дня партия Сеславина отправилась в новую экспедицию и неожиданно встретила отряд Фигнера у села Отепцово. Поручик Бискунский, партизанивший с Фигнером, вспоминал, что «на переходе чрез пустую деревушку и луг открытый, вдруг сквозь туман увидели мы отряд конницы... идущей с фланга прямо на нас. Во внезапности этой Фигнер приказал остановиться и скорее построиться к атаке... Но как эта чернеющая конница в тумане подходила ближе и ближе, нам показались и пики, дротики. В таком сомнении, по неожиданности тут русских, кто-то из наших офицеров подскакал лучше узнать, и в минуты три мы увидели русских казаков, и к нам подскакал Сеславин. Это было первое столкновение двух отрядов настоящих партизанов, и я первый раз увидел его... Мы сейчас заметили, что Сеславин приятный, веселый в обращении, умный, рассудительный как «старый». Посовещавшись, партизаны решили вместе на рассвете вновь напасть на отряд Орнано, остававшися в Фоминском. Холодной осенней ночью, для соблюдения полной тишины подобрав сабли под бедро, партизаны прошли лесами к селу и расположились в засаде у дороги, идущей из Фоминского через лесную просеку.

На рассвете 6 октября часть отряда Орнано выступила из села. Прежде вышел авангард из кавалерии, замыкала марш пехота. Партизаны, пропустив первые колонны, попытались отрезать хвост. Неприятельская пехота встретила их залпом. Пули застучали по деревьям и ранили несколько человек. Завязалась перестрелка. Из авангарда на рыси возвращалась кавалерия, готовясь к атаке. Остановившаяся на дороге неприятельская артиллерия навела пушки и открыла огонь. Не в состоянии с незначительными силами сопротивляться превосходящему числом противнику с пехотой и артиллерией, конные отряды Сеславина и Фигнера были вынуждены отступить и скрыться в лесах. Летящие им вслед ядра ломали деревья...

[1] ЦГВИА СССР, ф. ВУА, д. 3509, л. 25 и об.

В тот же день произошло Тарутинское сражение, в котором русские войска нанесли поражение авангарду Мюрата. Это событие ускорило выход Наполеона из Москвы. 7 октября неприятельская армия покинула древнюю столицу России и двинулась по Старой Калужской дороге, ведущей к Тарутинскому лагерю. Предприняв это движение, Наполеон собирался в случае преследования Мюрата русской армией атаковать Кутузова. Но, убедившись, что после боя русские вернулись в укрепленный лагерь, Наполеон повернул на Новую Калужскую дорогу. Какую цель преследовал император, сделав подобный маневр? Он стремился скрытно, избегая решительного сражения, обойти слева Тарутинский лагерь и по не разоренному войной краю, через Малоярославец и Калугу, пройти в Смоленск.

Для Кутузова было очевидным, что неприятель в ближайшее время должен оставить Москву. Но когда и куда враг будет отступать? Этот вопрос более всего занимал фельдмаршала в эти осенние дни и порой бессонные ночи. Многие из партизанских отрядов, отправленных Кутузовым на сообщения противника, искали ответ. Но только Сеславину, бывшему, по образному выражению современника, «глазами и ушами» армии, удалось первому установить истину. Предприимчивый партизан полагал, что своевременная разведка более всего будет способствовать успеху действий наших войск. Поэтому одной из своих главных задач Сеславин считал непрерывное наблюдение за движениями неприятеля, широко используя для этой цели местное население.

...После поиска у Фоминского Сеславин вернулся в Тарутинский лагерь просить увеличения своей партии. В лагере он остановился в избе Ермолова — начальника штаба 1-й армии, принимавшего живейшее участие в координации деятельности отрядов Сеславина и Фигнера, его коллег-артиллеристов. В главной квартире Ку-

тузова гвардейский капитан нашел самый ласковый прием. Фельдмаршал утвердил все его представления об отличившихся к награде и приказал усилить отряд двумя эскадронами Ахтырских гусар и ротой 20-го егерского полка. Немного позднее Сеславин получит еще два конных орудия. Теперь отряд в составе трех родов оружия мог более эффективно действовать против неприятеля.

7 октября, в день приезда Сеславина в лагерь, Дорохов сообщил о появлении у Фоминского (где по-прежнему стоял отряд Орнано) пехотной дивизии Бруссье. Не зная, что за ней следует армия Наполеона, Дорохов был намерен атаковать противника и просил подкрепления. Кутузов отправил к нему два пехотных полка. Через день, 9-го числа, Дорохов, рапортуя о сосредоточении указанных неприятельских отрядов в районе Фоминского, предположил, что «сие действие неприятеля может быть предварительным движением целой его армии на Боровск». Получив это донесение, Кутузов в тот же день отправил партии Сеславина и Фигнера к Фоминскому обстоятельнее узнать о силах и расположении противника. Утром следующего ненастного дня из Тарутинского лагеря в тайную экспедицию против отрядов Орнано и Бруссье выступил пехотный корпус Дохтурова, усиленный кавалерией, артиллерией и казаками. Между тем у Фоминского сосредоточивались основные силы Наполеона, перешедшего проселочными дорогами со Старой Калужской на Новую. Но в штабе Кутузова об этом еще не знали. Приближался тот решительный момент, от которого зависел исход войны. Если Наполеону удастся, минуя русскую армию, пройти в Калугу (где находились главные боевые и продовольственные запасы Кутузова), отступление французской армии будет проходить в более благоприятных условиях...

Целый день шел мелкий осенний дождь. Поздно вечером войска Дохтурова, сделав трудный переход по размытой проселочной дороге, стали биваком у села Аристово, на половине пути к Фоминскому. На рассвете им предстояло атаковать и истребить неприятельские отряды, которые, как полагали, оплошно отдалились от главных сил Наполеона. Из-за предосторожности, чтобы не встревожить противника, костров не разводили. Люди, кутаясь в мокрые шинели, старались согреться, собираясь в кучки. Около семи часов прибыл Дорохов. Он сообщил Дохтурову, что видел около Фоминского и за рекой Нарой (протекавшей у села), огни неприятельских биваков, но

лесистые места не позволили ему определить сил противника. Дохтуров решил ждать известий от Сеславина и Фигнера.

Время приближалось к девяти, когда у передовых пикетов раздался топот лошадей и показалось несколько всадников. На оклик часового последовал ответ: «наши». Это был Сеславин с пятью или шестью казаками и гусарами. На одной из лошадей сидело двое, из них последний был в высокой медвежьей шапке гренадера Старой гвардии. Сведения, которые привез партизан, были настолько важны и неожиданны, что заставили полностью изменить план действий.

Несмотря на расставленные у Нары неприятельские посты, тщательно охранявшие переправы через нее, Сеславин сумел перейти реку и подойти к Новой Калужской дороге. Не доходя четырех верст до Фоминского, смелый партизан, оставив свой отряд в лесной лощине, скрываясь за деревьями, приблизился к дороге. Над ней стоял гул, обычно сопровождавший движение больших масс войск. Сеславин, рискуя быть замеченным, влез на дерево, на котором еще оставались листья. То, что он увидел, заставило его сердце учащенно забиться: вся дорога была заполнена густыми неприятельскими колоннами. «Я стоял на дереве, — вспоминал Сеславин, — когда открыл движение французской армии. которая тянулась у ног моих, где находился сам Наполеон в карете. Несколько человек отделилось от опушки леса и дороги, были захвачены и доставлены светлейшему в удостоверении в таком важном для России открытии, решающем судьбу Отечества, Европы и самого Наполеона...»

Сеславин, смертельно усталый от продолжительной скачки, с блестящими от возбуждения глазами, сидя за столом в избе, рассказывал Дохтурову об увиденном. Неожиданно для себя он заметил, что генерал с недоверчивым видом воспринимает его сообщение. Со свойственной ему горячностью, Сеславин, оскорбленный недоверием, предложил Дохтурову надеть на себя «белую рубашку» (т. е. расстрелять), если он фальшиво донес. Партизан кликнул ординарца-казака и приказал ему привести пленного гвардейского унтер-офицера. При допросе француз показал: «Уже четыре дня, как мы оставили Москву... Завтра главная квартира императора в городе Боровске. Далее направление на Малоярославец». Ситуация была ясна. В подобных чрезвычайных обстоятельствах медлить было нельзя. Дохтуров тотчас же отправил

с донесением к Кутузову своего дежурного штаб-офицера Дмитрия Болговского, а неутомимый Сеславин помчался к своему отряду продолжать наблюдение за движением армии Наполеона.

Заслуга Сеславина была не только в том, что он своевременным извещением спас от гибели войска Дохтурова, которые на рассвете атаковали бы не отдельные отряды, а наткнулись на всю неприятельскую армию. Главная его заслуга перед отечеством состояла в том, что открытие предприимчивого партизана дало возможность Кутузову остановить врага у Малоярославца и вынудить его отступать по разоренной Смоленской дороге. Именно по той дороге, по которой Наполеон пришел в Москву.

Реакция Кутузова на сообщение Сеславина известна по воспоминаниям Болговского: «...Вид его на тот раз был величественный, и чувство радости сверкало уже в очах его. «Расскажи, друг мой, сказал он мне, что такое за событие, о котором вести привез ты мне? Неужели воистину Наполеон оставил Москву и отступает? Говори скорей, не томи сердце, оно дрожит». Я донес ему подробно о всем вышесказанном, и, когда рассказ мой был кончен, то вдруг сей маститый старец, не заплакал, а захлипал и... рек: «...с сей минуты Россия спасена...»

С этого времени фельдмаршал называет гвардейского капитана не иначе, как «Александр Никитич» и, предоставив ему полную самостоятельность, не раз доверяет ответственнейшие поручения. Современники также высоко оценили подвиг Сеславина. Уже упоминавшийся Болговский писал, что «вряд ли кто дотоле имел счастие оказать более блестящую услугу государству, как не он, Сеславин». Имя отважного партизана приобрело всероссийскую известность, а затем и всеевропейскую.

Позднее, в 1813 году, в России будет издан гравированный портрет героя с подписью: «Он первый известил главнокомандующего армиями о намерении неприятеля идти из Москвы в Калугу, и тем содействовал к предупреждению его под Малоярославцем, которое имело следствием постыдную и гибельную для французов ретираду». Мнение самого Сеславина: «Неприятель предупрежден под Малым Ярославцем, французская армия истреблена, Россия спасена, Европа освобождена, и мир всеобщий есть следствие сего важного открытия». 10 октября 1812 года — решающий день в жизни Сеславина. В этот день он обрел бессмертие...

«Великая армия» Наполеона отступала. «Неприятель идет с усильною поспешностью, имея с собою для ночных маршей фонари, которые неприятель взял в Москве... — доносил фельдмаршалу из авангарда М. А. Милорадович. — Армия идет в большом беспорядке и продолжает кормиться лошадиным мясом, хлеба не имеет, все селения жгут... пленных усталых прикалывают» [1].

С началом отступления противника армейские партизанские отряды шли на его флангах, тревожа врага постоянными набегами и затрудняя движение. Опережая неприятеля, партизаны разрушали на его пути мосты и переправы, уничтожали сделанные им запасы продовольствия и фуража, истребляли отдельные отряды. Действия легких партий изматывали силы врага, обрекали его на лишения и голод.

Важнейшей задачей партизан в это время было наблюдение за направлением движения противника, сбор сведений о его численности и боеспособности. В этом незаменимую роль сыграл Сеславин, представлявший в штаб Кутузова наиболее обстоятельные и достоверные донесения. Энергичный и предприимчивый командир партизан как никто иной органически сочетал действия своего отряда со стратегическими и тактическими замыслами главного командования. «Сегодня 19-го по утру на заре, — рапортовал Сеславин Коновницыну, — Платов в Колоцком разбил авангард Нея... Я думаю, что наша армия не успеет упредить неприятеля в Вязьме, ежели не пойдет форсированным маршем... Неприятель идет более 30 верст в сутки, истребляет все, что может затруднить его марш... Милорадович ночует в Семеновском. Хочет идти по утру в Гжать, там неприятеля не найдет, ему надо идти из Семеновского на Теплуху или прямо в Вязьму. Сим может перерезать ему дорогу, затруднить марш, дабы армия успела подойти. Сию минуту еду к Милорадовичу с сим предложением... Я с Фигнером хочу опередить неприятельскую армию и стараться вредить сколько возможно будет: Ваше превосходительство! Случай прекрасный истребить неприятеля... Оставьте все тягости, облегчите солдат, снимите с них ранцы и идите налегке, рассчитайте марши, может быть упредите и в Вязьме неприятеля...»

22 октября отряды Сеславина и Фигнера вместе с передовыми частями русской армии сражаются в окрестно-

[1] ЦГВИА СССР, ф. ВУА, д. 3509, л. 326 и 327.

стях Вязьмы. Наступил вечер. Бой с противником, отошедшим под ударами русских к городу, продолжался. «Желая скорого окончания сражения... — вспоминал Сеславин, — я поехал в Вязьму, занятую неприятелем. Опрокинутые фуры, зарядные ящики препятствовали отступлению пехоты и артиллерии. Суматоха была большая, я ехал верхом навстречу (неприятелю. — *А. В.*), и никто не обратил на меня внимания. Выезжая из города, я нашел пехоту и артиллерию, стоявшими еще в грозном виде, занимая высоты. Я приншорил моего серого Черкеса и, проскакав между колоннами и батареями, остановился вне ружейного выстрела. Сняв фуражку, махал ею с белым платком нашим войскам, державшим ружья у ноги... Несколько пуль, выпущенных из колонн неприятельских, мне не сделали вреда. Без повеления и команды все войска взяли ружья на перевес и двинулись прямо ко мне. Дошедши до меня, кричали: «Вот наш Георгий храбрый на белом коне!» Неприятель дрогнул и перновцы, в голове которых был я... настигли неприятеля в улице, остановленного опрокинутыми фурами. Наши шли вперед по трупам неприятелей...»

После поражения при Вязьме неприятельская армия пала духом. Сотни и тысячи солдат Наполеона, изнуренные голодом и холодом, уставшие бороться, брели по заснеженной дороге за сохранившими еще порядок корпусами...

Неприятель продолжал отступление к Смоленску. Отряды Сеславина и Фигнера шли в непосредственной близости от левого фланга противника, препятствуя ему искать продовольствия с этой стороны. Несколько раз в день партизаны, обойдя неприятельские колонны, пересекали им дорогу и внезапно нападали. Пока враг принимал меры к отражению атаки, они «стелили дорогу французам пулями, пиками, саблями и, хуже всего, картечью из орудий. Все это дело нескольких минут, и лишь обращаются на нас, мы в шпоры, с дорог в лес или за гору в поле, и конечно, пускаемся вперед,... и опять истребим мосты, нападем навстречу на головы, на хвосты, день и ночь...» — свидетельствует Ксаверий Бискупский.

27 октября отряды Сеславина и Фигнера соединились с партией Давыдова, расположившейся в селе Дубосищи. Это была первая встреча знаменитых партизан. Позднее Давыдов, вспоминая о ней, напишет: «Сеславина я несравненно выше ставлю Фигнера и как воина,

и как человека, ибо к военным качествам Фигнера он соединял строжайшую нравственность и изящное благородство чувств и мыслей. В личной же храбрости... он — Ахилл, тот Улисс». «Сеславин достойнее меня», — соглашался Фигнер.

...После сердечных приветствий Давыдов сообщил боевым товарищам о том, что на дороге, ведущей из Ельны в Смоленск, в селах Язвине, Ляхово и Долгомостье, стоят отряды из свежей дивизии генерала Бараге д'Илье. Обсудив ситуацию, партизаны решили воспользоваться разобщенностью неприятельских сил и атаковать один из отрядов — 2-тысячную бригаду генерала Ожеро в Ляхово. Но поскольку соединившиеся партии имели немногим более 1200 человек, то для участия в нападении был приглашен еще отряд Орлова-Денисова, находившийся поблизости.

На рассвете партизаны решительно атаковали неприятеля, к своему несчастью поздно заметившего их появление. Бой у Ляхова, в котором особенно отличились гусары и артиллеристы Сеславина, завершился капитуляцией отряда Ожеро. В плен сдались сам бригадный генерал, 60 офицеров и 2000 солдат.

Наступила морозная ночь. Обезоруженные колонны противника шли по дороге мимо рядов конных партизан, освещаемые заревом зажженного во время боя Ляхова. Пленные ругали «мороз, своего генерала, Россию, нас, — вспоминал Давыдов, — но слова Фигнера: filez, filez (пошел! пошел!) покрывали их нескромные выражения».

Фигнер доставил пленных в главную квартиру Кутузова. Довольный фельдмаршал отправил бесстрашного партизана в Петербург для доклада императору о блестящем деле при Ляхове. В реляции, увозимой Фигнером, Кутузов писал: «Победа сия тем более знаменита что при оной еще в первый раз... неприятельский корпус сдался нам».

После отъезда Фигнера отряд его поступил в команду Сеславина. В этом составе партизанам предстояло дойти до Вильны и принять участие в десяти «делах» с неприятелем.

Действующие против фланговых группировок противника 3-я Западная армия П. В. Чичагова и отдельный корпус П. Х. Витгенштейна приближались к пути отступления наполеоновской армии, преследуемой войсками Кутузова. Возникла необходимость координации их

совместных усилий для полного разгрома врага. Одну из важных задач — установление связи с Витгенштейном фельдмаршал возложил на Сеславина. Поручение было сложным и опасным: путь проходил через места, еще занятые неприятельскими войсками. Кроме того, в штабе Кутузова не имели точных сведений о местонахождении отдельного корпуса. Но фельдмаршал не сомневался, что Сеславин, известный ему как один из отличнейших офицеров армии, сумеет с честью выполнить это трудное задание. «Основываясь на деяниях, вами до сих пор с отличным рвением исполняемых, и зная личные ваши достоинства. я наперед уверен, — прочитал Сеславин в предписании Кутузова, датированном 30 октября, — что вы с отрядом... доставите великую пользу для общих действий главной армии и не упустите по дорогам чинить неприятелю всякого рода вред». Сеславин перевернул лист и перечитал окружившим его офицерам начало повеления главнокомандующего: «Хотя главная цель вашего отряда должна состоять в том, чтобы открыть скорую коммуникацию с графом Витгенштейном, но сие предприятие будучи... еще подвержено большой опасности, то представляю единственно вашему усмотрению...» «Последние слова, — вспомнит позднее Сеславин, — заставили их вспыхнуть и вскричать: «Идем!» «Идем!» повторили все, и мы отправились в путь...»

В ожидании известий от посланных Сеславиным в неприятельский тыл лазутчиков, которые должны были установить место пребывания Витгенштейна, а также направление движения противника, отряд действует в окрестностях Красного. Именно у этого городка Кутузов намеревался преградить путь отступления Наполеону.

Партия Сеславина, находившаяся впереди всех «летучих» отрядов, совершала дерзкие поиски на коммуникации неприятельской армии, оставлявшей Смоленск. Партизаны рассеивали отдельные вражеские колонны, брали пленных, перехватывали курьеров с важными депешами, захватывали магазины (склады) с продовольствием, ценившимся противником в то время буквально на вес золота. Днем и ночью враг не знал покоя. «Наполеон с гвардией пришел вчера в Ляды, — сообщал Сеславин 5 ноября Коновницыну. — ...Я в ночь их потревожил, окружил Ляды, стрелял и заставил кричать (партизан. — *А. В.*), чем не дал спать Наполеону, потому и заставил их быть в готовности и страхе... Стадо пленных сегодня вам будет доставлено...»

Умело организуя разведку, Сеславин продолжал представлять в штаб Кутузова оперативную информацию о положении и направлении движения неприятеля, столь необходимую для успешной подготовки и проведения Красненской операции. При чтении рапортов Сеславина поражает глубокое понимание им ситуации, сложившейся на театре военных действий. Содержащиеся в них соображения гвардейского капитана о возможном движении русской армии для истребления вражеских войск свидетельствуют о его незаурядном военном даровании. «Не худо ежели бы во время атаки на Красное некоторые корпуса двинулись форсированно, чрез Зверовичи, Боево, Чирино к Дубровне, — писал Сеславин в очередном донесении дежурному генералу также 5 ноября. — Там застанут на переправе неприятеля. Французские войска, находящиеся в Красном, будучи задержаны атакою наших войск, должны будут пропасть на здешней стороне Днепра. После разбития французов, думаю, надо будет преследовать их к Лядам малою частию, а прочим идти также на Зверовичи... к Дубровне. Дорога хороша и места открытые, кавалерии нашей есть где разгуляться. Впрочем, вы сведующее и умнее меня. Ежели я заврался, то это происходит от пылкости и сильного стремления губить врага».

По мнению некоторых военных историков, выполнение предложенного Сеславиным плана действий привело бы к полному уничтожению неприятельской армии.

Кутузов высоко оценивал донесения Сеславина. Переписка его штаба с партизаном полна слов благодарности за сообщение «весьма важных известий», которыми он «много способствовал к общей пользе».

После трехдневного сражения под Красным наполеоновская армия, понеся большие потери, потеряв целый корпус и почти всю артиллерию, бросилась к Березине. Здесь противник намеревался переправиться и продолжить отступление к Вильне. На Березине, по замыслу Кутузова, войска Витгенштейна и Чичагова должны были довершить разгром врага.

Сеславин, выполняя приказ фельдмаршала, утром 15 ноября открыл сообщение с Витгенштейном, находившимся на левом берегу Березины у села Кострицы. В тот же день неутомимый партизан был отправлен генералом к Борисову. Сеславин должен был во что бы то ни стало занять город и, установив связь с Чичаговым (расположившимся на правом берегу), уведомить его о плане Вит-

генштейна на следующий день атаковать неприятеля, переправлявшегося у Студянок. Новое поручение также блестяще исполнено. В ночь с 15 на 16-е отряд Сеславина освободил Борисов, взял в плен 3 тысячи человек и открыл связь с армией Чичагова.

16 ноября русские войска атаковали противника на обоих берегах Березины и довершили разрушение «великой армии». Однако Наполеону вместе с ее незначительной частью (9 тысяч) удалось ускользнуть.

Вечером 23 ноября император оставил в Сморгони обломки своей армии и отправился в Париж. Ночью того же дня у уездного города Ошмяны, на Виленской дороге, пути Наполеона и Сеславина едва не пересеклись.

Был сильный мороз. «Я не помню в жизни моей столь страшного холода, — сообщает участник похода. — ...С трудом можно было говорить друг другу: густой воздух почти останавливал дыхание человека». Пехотная дивизия Луазона, идущая из Вильны навстречу своей разбитой армии, остановилась в Ошмянах и поспешила укрыться от стужи в домах. Вечером отряд Сеславина ворвался в город. Партизаны, застав неприятеля врасплох, изрубили караул и зажгли магазин с продовольствием. Противник в замешательстве бросился из Ошмян, но, заметив, что атакует только конница, остановился, устроился и открыл огонь. Сеславин оставил город. Спустя час в Ошмяны въехала карета императора. «Наполеон благополучно доехал до Ошмян, — писал французский историк Шамбре, — но легко, однако, мог попасть в руки Сеславина, что несомненно случилось бы, если б партизан сей знал об его проезде».

Мороз усилился и достиг 33 градусов. 27 ноября отряд Сеславина приблизился к Вильне. Вся дорога к городу была покрыта трупами замерзших людей, палыми лошадьми, брошенными пушками, зарядными ящиками и фурами. Около двух часов дня у заставы Вильны раздалась канонада — партизаны атаковали арьергард противника. — «Орудия мои рассеяли толпившуюся колонну у ворот города, — рапортовал Сеславин Коновницыну. — В сию минуту неприятель выставил против меня несколько эскадронов: мы предупредили атаку сию своею и вогнали кавалерию его в улицы; пехота поддержала конницу и посунула нас назад; ...предпринял вторичный натиск, который доставил мне шесть орудий и одного орла (знамя. — *А. В.*). Между тем подошел ко мне генерал-майор Ланской, с коим

мы теснили неприятеля до самых городских стен... Я отважился на последнюю атаку, кою не мог привести к окончанию, быв жестоко ранен в левую руку; пуля раздробила кость и прошла навылет...» Рапорт Сеславин завершил словами: «рекомендую весь отряд мой, который во всех делах от Москвы до Вязьмы окрылялся рвением к общей пользе и не жалел крови за отечество».

На следующий день подошедший авангард русской армии выбил неприятеля из Вильны. В освобожденной столице Литвы Сеславин узнал о своем производстве «за отличные подвиги» в полковники, назначении командиром Сумских гусар и флигель-адъютантом царя. Сеславин был счастлив. Высокие награды — доказательство его несомненных заслуг перед отечеством в освободительной войне.

Тяжелая рана долго не заживала [1]. Сказывались лишения, перенесенные во время похода. Гусарский полковник Сеславин вернулся к армии, уже действовавшей в Германии, только во второй половине 1813 года.

V

Когда и где Сеславин присоединился к армии, нам неизвестно. Но сохранившиеся источники обнаруживают его 10 августа 1813 года идущим, по своему обыкновению, во главе «летучего» отряда (состоящего из Сумского гусарского полка) к Дрездену. Отряд должен был «освещать» марш Богемской армии союзников к столице Саксонии и наблюдать за движением неприятеля. В тот же день Сеславин открыл противника (3 тысячи пехоты и 450 кавалерии) на пути к селению Гепперсдорф. Два эскадрона сумских гусар лихой атакой рассеяли полк неприятельских драгун и заставили отступить пехоту. Один из эпизодов этой схватки как бы предвосхитил известный роман Майн Рида. Убитый французский драгун остался в седле и, не теряя посадки, продолжал носиться перед фронтом сражающихся...

13 августа Сеславин, успешно выполнив свою задачу, присоединился к авангарду корпуса Витгенштейна, приблизившегося к Дрездену. Около четырех часов дня близ города произошел авангардный бой, в котором отличился полк Сеславина. Сумцы вместе с гродненскими гусарами

[1] Боевые ранения в обе руки дали Сеславину особую привилегию: «Никогда и ни перед кем не только не снимать шляпы, но и не подносить руки к козырьку, так как движение руки вверх сопровождалось у него болью».

стремительной атакой расстроили французских драгун Мюрата и отбили четыре орудия. Полковник был доволен действиями своих гусар. В полку также отметили редкое хладнокровие, бесстрашие и распорядительность нового командира под огнем.

Солнечным утром 14 августа Богемская армия обложила Дрезден, укрепленный противником. В начале пятого часа прозвучали три пушечных выстрела. По этому сигналу союзная артиллерия открыла огонь и колонны пошли на штурм. Атакой пехотных частей на крайнем правом фланге, по приказу Витгенштейна, руководил гусарский полковник Сеславин.

Наполеон, воспользовавшись нерешительностью в действиях главнокомандующего Богемской армии князя Шварценберга, сосредоточил свои силы и отразил атаки союзников на Дрезден. С наступлением ночи канонада утихла, и в окрестностях города загорелись тысячи бивачных огней. Сеславин, выставив аванпосты, расположился с полком под открытым небом рядом с полем сражения. Утомленные люди, довольствовавшись скудным ужином, жаждали сна. Неожиданно полил холодный дождь, продолжавшийся всю ночь. От ливня не спасали шалаши, сделанные на скорую руку. Потоки дождевой воды скатывались за шею, текли по всему телу, наполняли сапоги. Промокшие до костей, продрогшие гусары безуспешно пытались отдохнуть. Для Сеславина эта бессонная ночь была особенно мучительна из-за растревоженных сыростью ран

Наступило утро. Дождь шел не переставая. В седьмом часу открылась канонада и сражение возобновилось В битве под Дрезденом союзники, фактически не имевшие единоначалия, потерпели неудачу.

Вечером армия начала отступать обратно в Богемию. Дождь лил целый день. Поле сражения превратилось в болото, дороги размылись и стали труднопроходимыми, люди и лошади вязли в грязи. Целые батальоны австрийцев, потеряв свои «ботики»[1] в черноземье, отказывались драться и сдавались в плен. Изнуренные и расстроенные войска союзников отступали во мраке, под проливным дождем. Повсюду слышались крики раненых и проклятья...

Во время ретирады Богемской армии Сеславин, вместе с полком сдерживая наступление французов, с отличием участвовал в арьергардных боях. После ряда побед союзных войск при Грос-Беерене, Кацбахе и Кульме положение на театре военных действий изменилось в лучшую для них сторону. В конце августа Богемская армия предприняла новое наступление в Саксонию. Сумские гусары вновь сражаются в авангарде Витгенштейна.

[1] Ботики — короткие сапоги, не доходящие до щиколоток.

Полковник Сеславин, деливший с полком все тяготы походной жизни, всегда сохранявший бодрый и веселый вид, требовательный, но справедливый командир, завоевал любовь и уважение своих гусар.

Между тем неустанные переходы, нередко в непогоду, по горным неудобным дорогам, продолжительные марши и контрмарши, недостаток продовольствия изнурили передовой корпус Витгенштейна. Командование решило дать ему передышку. В середине сентября войска Витгенштейна остановились на отдых у Теплица, расположенного в красивой долине среди гор. Здесь Сеславин, в последнее время особенно страдавший от ран, смог пользоваться знаменитыми целебными минеральными источниками. Купание в теплицких горячих ваннах принесло ему некоторое облегчение. Там же, в Теплице, наш честолюбивый герой с удовлетворением прочитал «высочайший» приказ, отданный войскам в день коронации царя — 15 сентября. Сеславин, в числе других отличившихся полковников, был произведен в генерал-майоры. Вероятно, именно тогда французский художник-график Луи Сен-Обен сделал один из первых и лучших портретов прославленного героя. Красивое, мужественное, немного усталое лицо. Курчавые волосы, небольшие усы, бакенбарды по моде. Задумчивый взгляд умных глаз...

Итак, в 33 года Александр Никитич стал генералом. Не протекция власть имущих, а многочисленные боевые заслуги и незаурядные способности позволили ему за столь короткий срок (немногим более двух лет) пройти путь от гвардейского капитана до генерал-майора. В роду Сеславиных появился первый генерал.

В конце сентября союзные армии перешли в наступление и, медленно сжимая кольцо вокруг основных сил противника, приблизились к Лейпцигу. На равнине близ этого саксонского города произошло грандиозное сражение, решившее судьбу империи Наполеона. Прелюдией к битве было кавалерийское «дело» 2 октября, развернувшееся у местечка Либертволквиц на юг от Лейпцига.

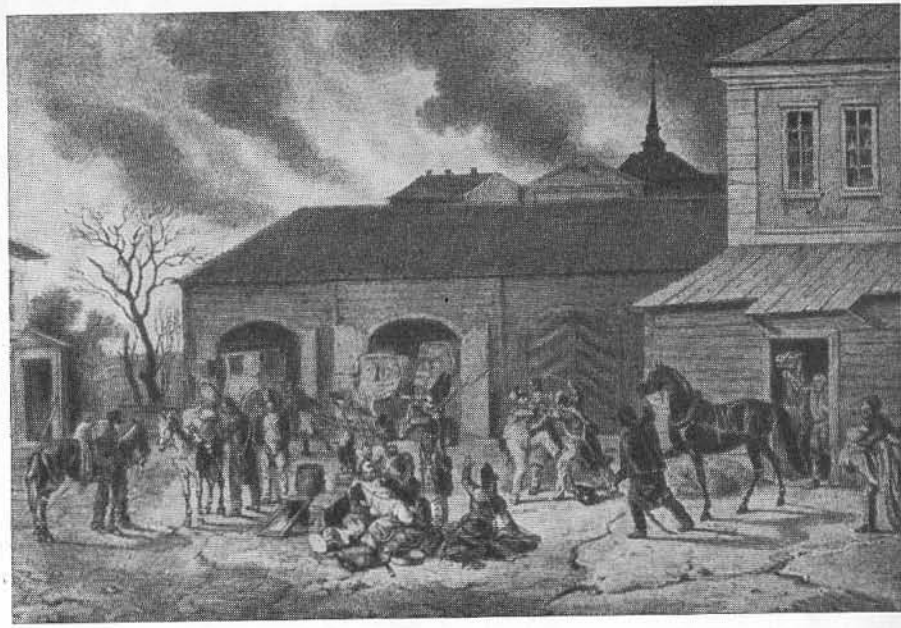
День был пасмурным и холодным. Дул сильный порывистый ветер. По приказу Сеславина гусары одели

ментики в рукава. Сумцы стали на правом фланге колонны Палена рядом с конной ротой генерала Никитина. Конноартиллеристы вышеслись далеко вперед и открыли огонь по кавалерии Мюрата, расположившейся около Либертволквица. Выдвинувшаяся из неприятельской линии французская конная артиллерия отвечала русской. Почти одновременно несколько полков французских драгун, ветеранов Испании — лучшей кавалерии Наполеона, устремились на русскую батарею, столь рискованно отдалившуюся от прикрытия.

Сеславин заметил опасность, угрожающую артиллеристам, и мгновенно оценил ситуацию. Он отдал короткую команду «к атаке!», повторенную эскадронными командирами. Гусарский генерал, сопровождаемый полковым адъютантом и трубачами, выехал и встал перед серединою полка. Развернутым фронтом гусары двинулись навстречу неприятелю. Сеславин услышал за собой ровный гул копыт нескольких сотен лошадей. Первые десятки метров прошли шагом, затем привычно перешли на рысь. Сеславин оглянулся. Некоторые гусары, нарушив равнение, с раскрасневшимися лицами, вырвались вперед. Генерал весело прокричал: «Легче, легче, равняйтесь, гусары!»

Полк прошел шагов 500, когда по команде Сеславина трубачи протрубили сигнал «галоп!». Гусары, сохраняя сомкнутые линии, увеличили аллюр. Неприятельская кавалерия быстро приближалась. Впереди хорошо были видны отборные драгуны в медвежьих шапках, несущиеся на батарею в рассыпном порядке. Пушки рявкнули и обдали их картечью. Залп вызвал опустошение в рядах драгун, но они продолжали атаку. Еще немного и противник возьмет батарею. «Держитесь, братцы, сейчас выручим!» — подумал Сеславин. Он выхватил саблю из ножен, дал шпоры коню и, указывая клинком направление, громко и звонко скомандовал: «Полк! Повзводно налево марш-марш!» Трубы проиграли «атаку!». Эхом отозвались голоса эскадронных командиров: «Пики к атаке!» Сеславин на мгновение обернулся. Первая шеренга гусар, пригнувшихся над мчащимися во весь опор лошадьми, была окаймлена холодным блеском наконечников тяжелых черных пик. За ней взметнулись ряды рук со светлыми клинками. Люди, охваченные общим пьянящим чувством атаки, разом закричали «ура!».

Умело нанесенный Сеславиным удар пришелся по левому флангу и тылу неприятельской кавалерии. Пики





Французы в Москве.

Napoléon, Empereur des Français,
Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération
du Rhin, Médiateur de la Confédération
Suisse, &c. &c. &c.

Avons décrété et décrétons :

Art. 1er.

Le Colonel Nagle, est nommé
Général de Brigade.

Art. 2.

Il sera employé, en cette qualité, au
4ème Corps de la Grande armée

Art. 3.

Notre Ministre de la guerre
est chargé de l'exécution du présent
décret

Donné à notre quartier général
Impérial de Moscou, le 11 Octobre
1812.

Napoléon

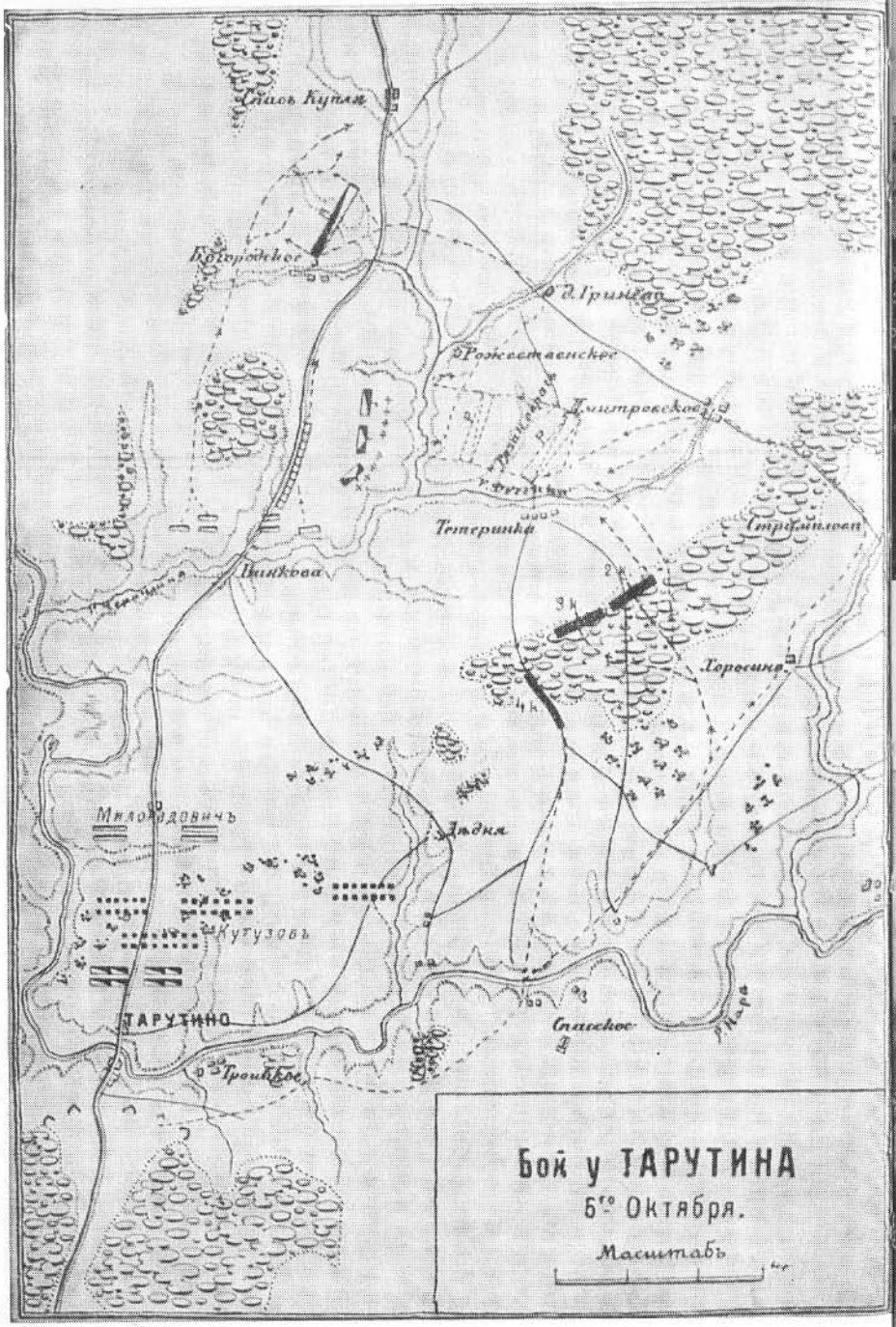
А. А. Тучков.

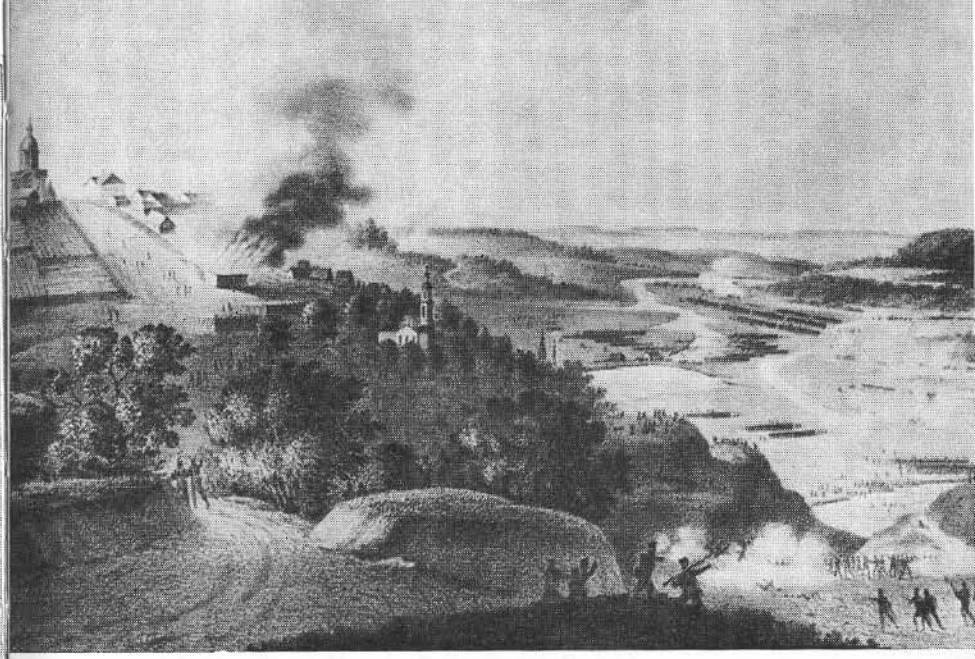


◀ Приказ Наполеона, отданный в Москве 11 октября 1812 г.



А. Н. Сеславин.





Сражение при Малоярославце 12 октября 1812 г.

Выход французов из Москвы.





Партизаны у Ляхова 28 октября 1812 г.

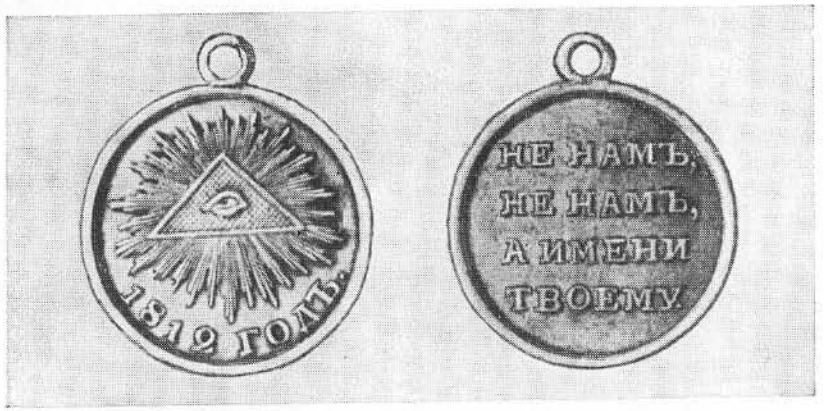




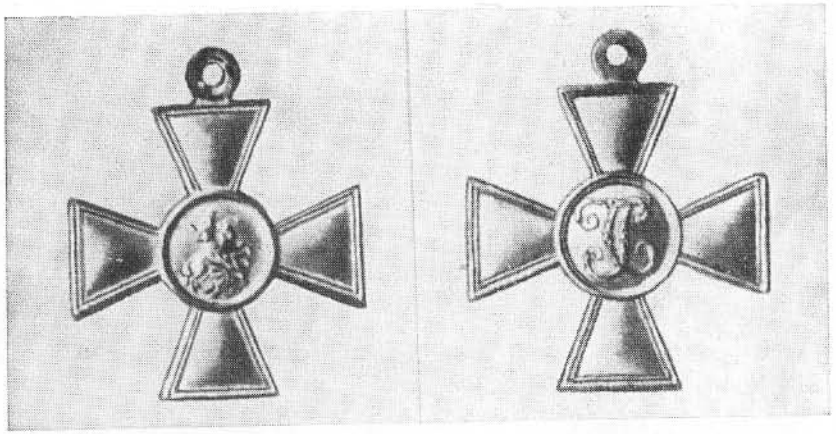
Летучий отряд генерала Ермолова.



Отступление французов из Вильно.



Медаль за 1812 год.



Знак отличия Военного ордена.

Медаль в честь Бородинской битвы.



Медаль в честь сражения при Красном.

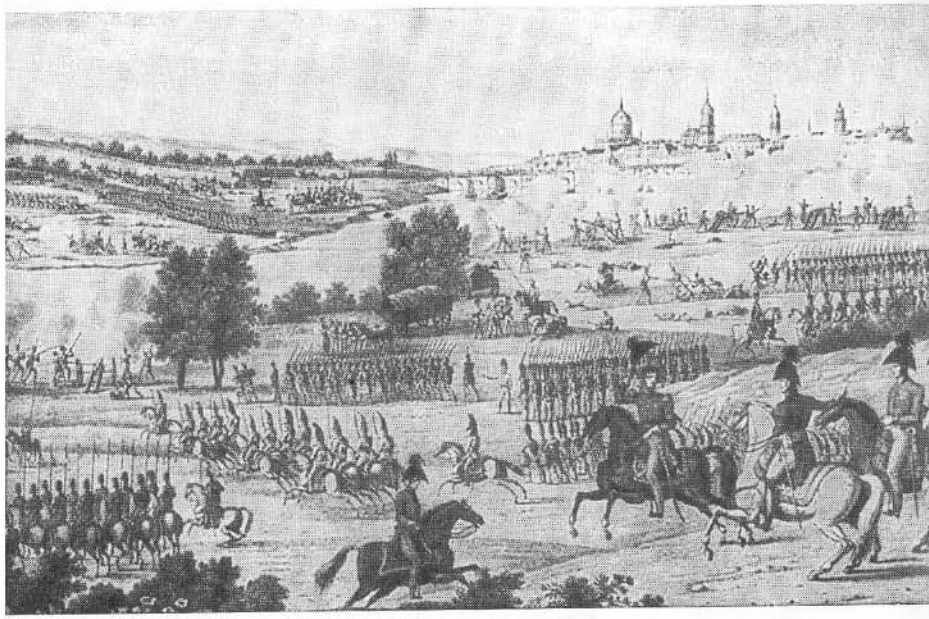




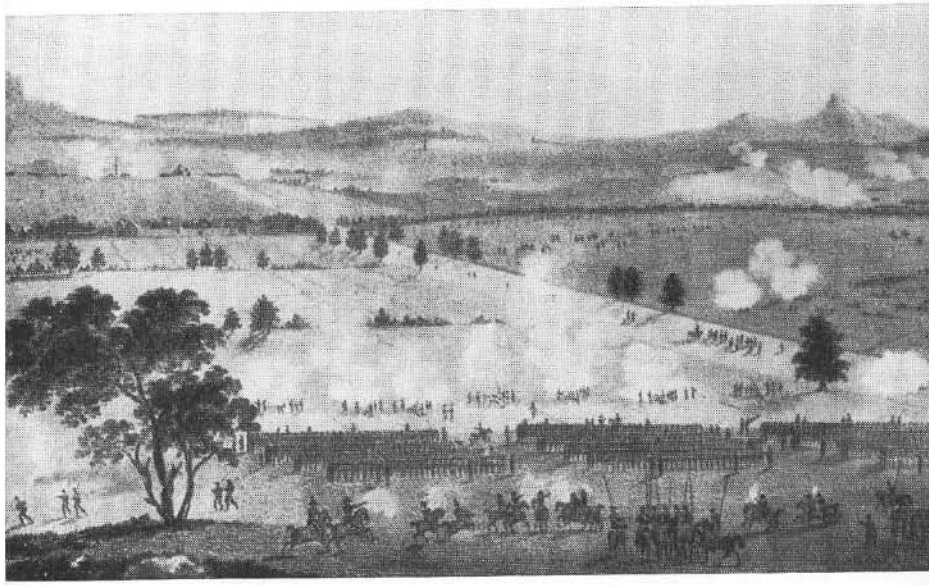
Переход русских войск через Неман.



Казаки в Гамбурге. 1813 г.



Сражение при Дрездене.



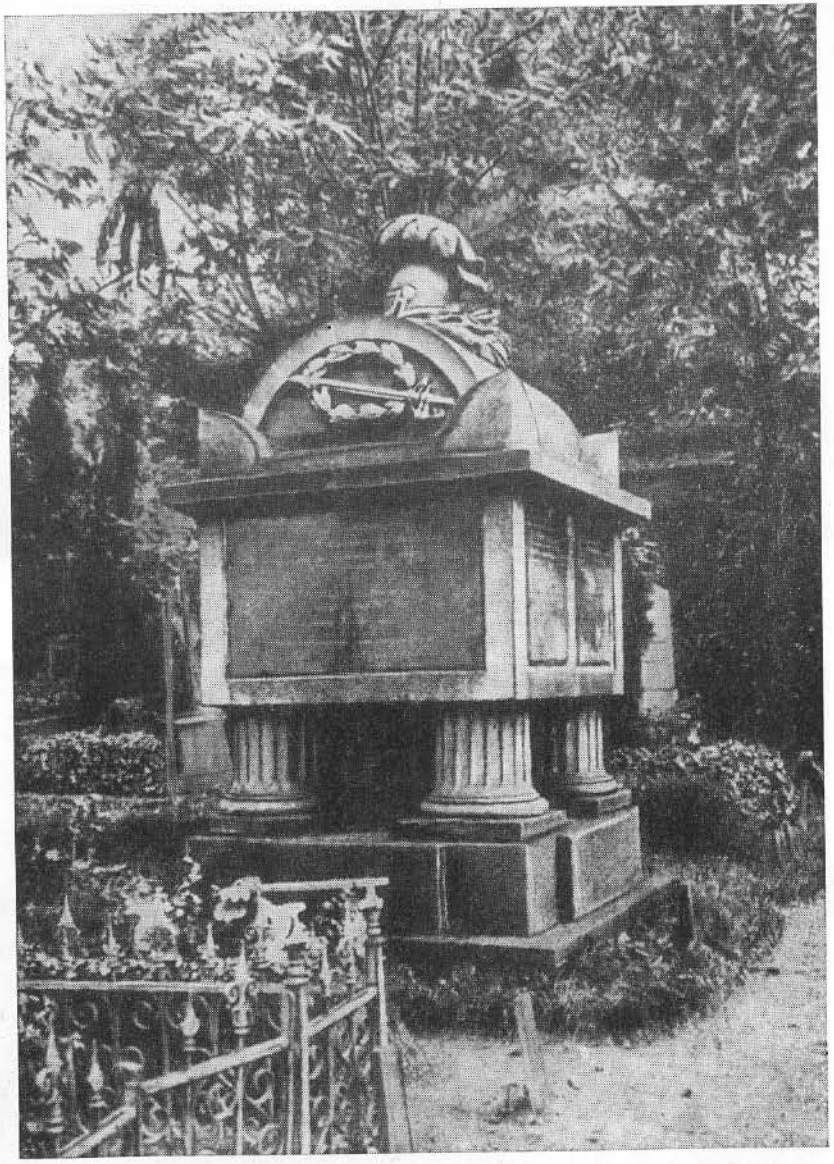
Сражение при Кульме. 18 августа 1813 г.

М. М. Тучкова.

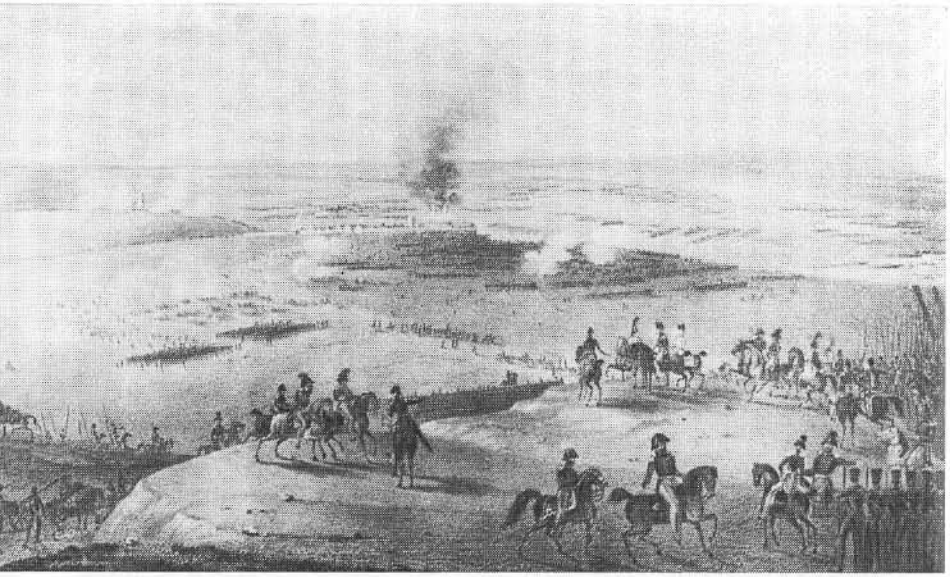




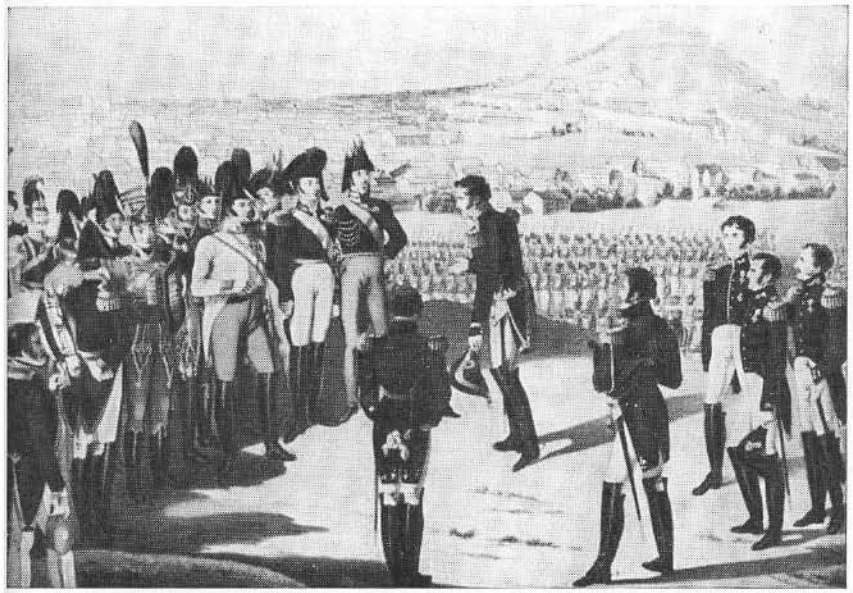
Кульмский памятник.



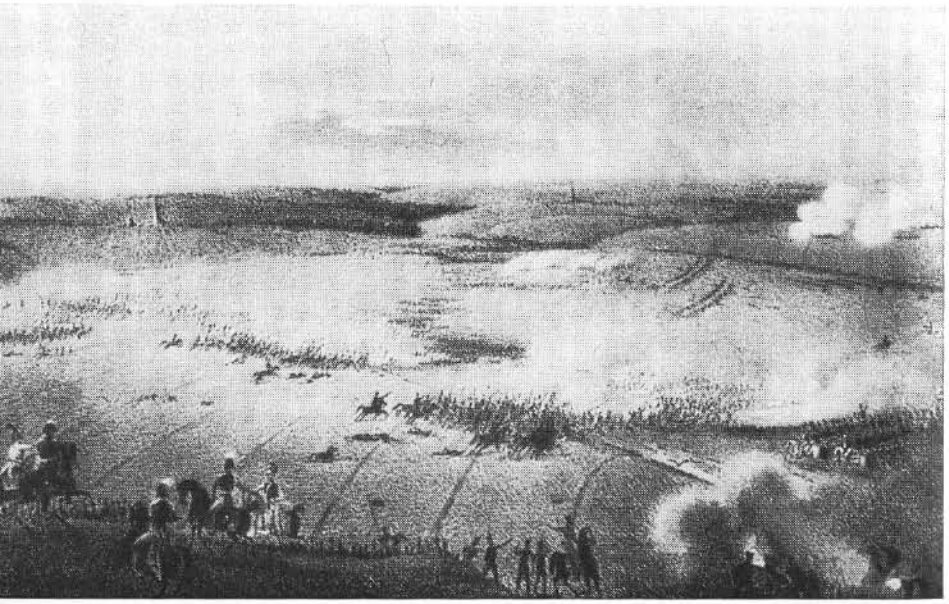
Памятник русским офицерам в Праге.



Сражение при Лейпциге 6 октября 1813 г.



Капитуляция Парижа 1814 г.



Сражение при Фер-Шампенуазе 1814 г.



Бивуак казаков на Елисейских полях. 1814 г.



М. И. Кутузов.

первой шеренги полка выбили из седла многих драгун, попавших под копыта налетевших лошадей. Враг был опрокинут, батарея Никитина спасена.

Преследование противника, отступающего в беспорядке, расстроило ряды гусар. Встречная атака других неприятельских полков отбросила сумцев назад. На помощь русским гусарам двинулись прусские драгуны, уланы и кирасиры. Противник не выдержал одновременных фланговых атак союзной кавалерии и обратился в бегство. На смену расстроенным частям вынеслись новые французские полки. Сеславин, собрав по сигналу «апель!» свои эскадроны, опять повел их в атаку...

Кровавая «карусель» продолжалась несколько часов. К вечеру конница Мюрата, расстроенная огнем союзной конной артиллерии и опрокинутая атаками союзной кавалерии, отступила.

В этом одном из крупнейших в истории кавалерийском бою с обеих сторон сражалось около 14 тысяч всадников. Рубились с величайшим ожесточением, до конца, пока удар более сильного не сбивал противника с коня. Современники сравнивали бой у Либертволквица с «сечами древних».

В тот день полк Сеславина понес незначительные потери. Жизнь многих гусар спасли... ментики. Эти куртки, опушенные мехом и расшитые на груди многочисленными шнурами с тремя рядами металлических пуговиц, ослабили опасные удары неприятельских палашей и сабель.

Через день Сеславин во главе Сумского полка участвовал в «битве народов». Лейпцигское сражение, принесшее освобождение Германии, длилось три дня. «Генерал-майор Сеславин оказывал во всех случаях примерную неустрашимость и отличную предприимчивость, наносил большой вред неприятелю и чем более предстояла опасность, тем более оказывал присутствие духа и благоразумия», — писал в представлении об отличившихся главнокомандующий русско-прусских войск Барклай-де-Толли [1].

Новой наградой генерала стали бриллиантовые украшения к ранее полученному ордену Анны 2-й степени.

Потерпевшие поражение наполеоновские войска отступили к Эрфурту, а затем за Рейн. Впереди лежал путь во Францию. «Черт возьми, хорошую штуку мы вы-

[1] ЦГВИА СССР, ф. 103, оп. 208 а, св. 0, д. 35, л. 150.

кинули, — говорили в рядах отступающих солдат Наполеона. — Пошли за русскими в Москву, чтобы привести их во Францию...»

Наступил новый, 1814 год. Союзные армии — во Франции!

В кампании, продолжавшейся три месяца, генерал Сеславин снова действует во главе отдельного отряда. Подобное назначение он получил благодаря своей славе знаменитого партизана и знанию французского языка. Под командою генерала, помимо трех эскадронов сумских гусар (в их числе был и эскадрон, с которым он партизанил в 1812 году), четыре казачьих полка и взвод донской конной артиллерии. Всего около 1500 человек при трех орудиях.

Неизменным спутником Сеславина в этом походе, как и прежде, был храбрый и дельный гвардейский поручик — Александр Габбе 1-й, искренне любивший генерала и исполняющий при нем обязанности адъютанта. Вместе с Александром в отряде находился и его младший брат — *18-летний гвардии подпоручик* Петр Габбе 3-й, в будущем — поэт и публицист, близкий к декабристам.

Отряд Сеславина, совершая рейды в тылу неприятеля, почти ежедневно вступал в бой и постоянно представлял командованию Богемской армии обстоятельные сведения о противнике. В феврале, успешно действуя на коммуникации войск Наполеона между Парижем и Орлеаном, отряду удалось захватить Орлеанский канал. «Генерал-майор Сеславин занял... Монтаржи, овладел каналом, соединяющим Луару с Сеною, сжег все захваченные на нем суда, сломал шлюзы и таким образом отнял у Парижа способы продовольствия со стороны южной...» — сообщает журнал военных действий [1]. «Вскоре, — вспоминал Сеславин, — я получил от Б(лагословенно)го лицемерный рескрипт: «стараться не наносить вреда мирным жителям!! Но сердце его (царя. — *А. В.*) трепетало от радости...»

Отряд гусарского генерала неоднократно принимал также участие во многих боях и сражениях. 17 января Сеславин вместе с русскими войсками Силезской армии Блюхера бьется с неприятелем при городе Бриенне — первом сражении этой кампании. Через два дня сражается у селения Ла-Ротьер, где, опрокинув французскую кавалерию, берет три орудия. 15 и 16 февраля — близ Ла-ферт-сюр-Об. 9 марта участвует в сражении Богемской

[1] ЦГВИА СССР, ф. ВУА, д. 3419, л. 100 об.

армии с войсками Наполеона при Арси. Наконец, при движении союзных армий к Парижу, 13 марта он сражается у селения Фер-Шампенуаз.

Неожиданное появление отряда Сеславина на пути отступления корпусов маршалов Мармона и Мортье вызвало панику в рядах неприятеля: «артиллерия, конница, пехота, все стремглав бежало к Фер-Шампенуазу», — сообщает французский историк Кох. Несмотря на малочисленность своего отряда, Сеславин бесстрашно атаковал сохранившую порядок Молодую гвардию Наполеона, отнял 9 орудий и взял много пленных.

После сражения союзники продолжали марш в столице Франции, а Сеславин отправился к Провену, где, не оставляя своих «поисков», наблюдал за движением войск Наполеона.

Солнечным утром 19 марта войска союзников торжественно вступили в Париж. Через несколько дней, 25 марта, Наполеон отрекся от престола. Кампания была завершена, война — окончена. «Далекий путь от Фоминского в глубь Франции Сеславин прошел с такою же честию, с какою совершило этот путь знамя храбрейшего из русских полков: древко надрублено саблями, герб проколот штыком, но прикосновение неприятельских пальцев не осквернило ни древка, ни герба», — писал один из современников генерала.

Новые подвиги Сеславина были отмечены высшей степенью ордена Анны, а также иностранными орденами: австрийским — Марии-Терезии и прусским — Красного орла. Сумской гусарский полк, с успехом действовавший под командой генерала. получил знаки «отличия» на кивера и георгиевские штандарты.

В мае Сеславин, воспользовавшись двухмесячным отпуском для излечения ран (число которых в последнюю кампанию увеличилось еще на две), отправился в Теплиц, целительные воды которого привлекли многих израненных русских офицеров. Среди них был и 29-летний подполковник гродненских гусар Евгений Назимов [1], заслуженный и лихой кавалерист, отличавшийся храбростью и прямолинейностью. Очевидно, именно тогда Назимов познакомился с Сеславиным и вскоре, найдя общий язык, близко сошелся с ним.

Курс лечения принес ощутимую пользу, и во второй

[1] Он приходился , оюродным братом декабристу М. А. Назимову.

половине года гусарский генерал прибыл в свой полк, вернувшийся из Франции в Россию.

В отечестве с ликованием встречали победителей. Имя Сеславина, как и имена других героев 12-го года, было у всех на устах. «На стенах постоялых дворов, на станциях, в избах — везде, вместе с портретами Кутузова, Багратиона, Кульнева и других, появился портрет партизана Сеславина», — сообщал его первый биограф М. И. Семевский.

Юный граф Дмитрий Шереметев дал в честь героя роскошный обед. Провозгласили тост за здоровье Сеславина. Все собравшиеся подняли бокалы с пенящимся шампанским. Неожиданно со стены, напротив генерала, сдвинулся занавес, и перед взглядами изумленных гостей предстала огромная картина, изображающая партизана в момент открытия движения армии Наполеона на Малоярославец.

Весной следующего 1815 года Сеславин получил назначение состоять при начальнике 1-й гусарской дивизии — расстроенное ранами здоровье требовало продолжительного лечения. В мае генерал, простившись с сумскими гусарами, взял новый отпуск «до излечения ран».

...Зимой 1816 года Александр Никитич приехал в Петербург. В воскресный день 13 февраля, в разгар празднеств по случаю бракосочетания великой княгини Анны Павловны с наследным принцем Вильгельмом Оранским, Сеславин присутствовал на балу, который был дан в Светлой галерее Зимнего дворца. Красивый генерал с рукой на перевязи привлек внимание великосветских дам. Сеславин, стараясь сохранить бесстрастный вид, смотрел на северных красавиц, в изысканных туалетах легко скользивших под звуки музыки. Но простреленные ноги (в одной из них оставалась пуля) не позволяли ему принять участие в танцах.

За ужином, накрытым на более 500 персон в Большой мраморной зале, императрица Елизавета Алексеевна, «обхаживая и угощая гостей», была особенно ласкова с раненым героем. «После ужина десятки толпились около меня, любопытствуя узнать, о чем так милостиво беспримерно говорила мне императрица», — вспоминал позднее Сеславин. Читателю уже известны знаменательные слова царственной особы о заслугах генерала, «которых Россия не может еще оценить». Именно эти заслуги прославленного партизана вызвали благосклонность императора и его прелестной супруги.

В мае в знак монаршей милости Сеславин, как и многие заслуженные генералы, получил в аренду на 12 лет казенное имение. Эта аренда должна была ему ежегодно приносить тысячу рублей серебром, начиная с 1818 года. Летом он в числе немногих избранных гостей отдыхает с императорской фамилией в Царском Селе.

В сентябре царь разрешил Сеславину, по-прежнему страдавшему от ран, а также от возобновившегося горлового кровотечения, отправиться на лечение во Францию. Перед отъездом Сеславина из Петербурга Александр I дал ему аудиенцию: «государь позвал меня к себе в кабинет, — рассказывал генерал брату Николаю, — и, благодаря меня за службу, обнял меня, целовал и когда я, будучи растроган сею его благосклонностью, сказал ему, что нет жертвы, которую бы ему не посвятил, он прослезился и, прижав меня к груди своей, сказал, чтоб я требовал от него, чего мне надо... я отвечал государю, что не имею ни в чем нужды. «По крайней мере впереди, если будешь иметь нужду — пиши прямо ко мне, уведомляя о своем здоровье...»

Итак, для Сеславина все складывалось наилучшим образом: его имя овеяно славой в России, он пользуется покровительством монарха-триумфатора. Но ничто не было более непостоянным, чем милость Александра I...

Прибыв во Францию, Сеславин прежде всего отправился в крепость Мобеж — штаб-квартиру русского отдельного корпуса графа Воронцова, оставленного здесь по условиям Парижского мира 1815 года. В Мобеже находился старинный друг Сеславина — Лев Александрович Нарышкин, также ставший генерал-майором и командовавший в составе корпуса казачьей бригадой. Давно не видевшиеся друзья были рады встрече и провели ночь в разговорах. Сообщая о новом в России, Сеславин рассказывал Нарышкину о том, что Аракчеев в большой силе при царе, что военная служба все более делается схожа с танцмейстерской наукой. «В своей страсти к красоте фрунта царь превзошел своего отца, — говорил другу Александр Никитич. — Его величество желает, чтоб все полки ходили одинаково и по ровному числу шагов в минуту. Когда гвардия марширует, начальник гвардейского штаба становится подле государя, держа в руках секундные часы и высчитывая по ним шаги. Израненные в битвах ветераны, спасшие Россию, вынуждены уступать место «экзерцирмейстерам», до тонкостей овладевшим искусством равнять носки».

Простившись с другом, Сеславин, проехав через всю Францию, остановился в Бареже, прославившемся своими целебными источниками. В этом южном городке, расположенном в узкой долине Пиренеев, он провел несколько месяцев.

Переезд из одного конца Европы в другой, дороговизна в чужих краях, а также стремление жить за границей в условиях, достойных звания русского генерала, довольно скоро опустошили его кошелек, никогда, впрочем, не отличавшийся полнотой. «В одно время был 27 дней без обеда, питаясь только чаем, — рассказывал позднее Сеславин графу П. А. Толстому, — в другое — я не имел золотой монеты заплатить лекарю за операцию, который отказался принять, зная, что я не платил несколько месяцев за квартиру, и ожидая конца жизни с часу на час, один только l'instinct de sa conservation [1], как говорит Руссо, внушил мне средство, которое меня спасло». Чтобы продолжить необходимый курс лечения, генерал вынужден был делать новые долги. Царь, узнав от Воронцова о бедственном положении Сеславина, «снисходя на отличную службу и болезненное состояние, происходящее от полученных им в сражении ран», пожаловал ему 8 тысяч рублей. Эта сумма была очень кстати.

В Бареже Сеславин узнал, что брат Николай, занимавший должность городничего в Вышнем Волочке и не так давно женившийся, стал отцом. Разделяя радость брата, он писал ему в августе 1817 года: «...Как ты счастлив, Николаша! Никогда не имел столь сильного желания жениться, как теперь... Чувствую необходимость иметь друга и всегдашнего товарища. Повсюду отдают должную справедливость моим заслугам; правда, это льстит моему самолюбию, но ощущаю всегда пустоту в себе. Чтоб не истребилась память дел моих, надо жениться, родить сына, которому передав мои дела я не умру, я буду жить в нем».

В это время мысли Сеславина часто обращаются к образу юной и милой Катеньки (сестры невестки Софьи Павловны), с которой он познакомился, гостя у брата Николая. Общение с обаятельной девушкой, по-детски радовавшейся вниманию знаменитого генерала, привело к тому, что наш герой серьезно увлекся ею. «Катиньке напишите, — просит Сеславин свою невестку, — ...что я весьма часто вспоминаю те минуты, которые провел с нею. Я бы желал найти ее столько же резвою, как и

[1] Инстинкт самосохранения *(франц.)*.

прежде, да боюсь, что она вспомнит, что не прилично ей в 18-ть лет резвиться» [1]. В другом письме за 1819 год он сетует: «От Катиньки не имею ни строчки, я бы хотел, чтоб она меня любила в половину того, как я ее люблю».

Однако его желанию в лице жены обрести «друга и всегдашнего товарища» не суждено было сбыться. Он остался холостяком.

Пройдя в Бареже полный курс лечения, генерал почувствовал себя достаточно окрепшим, чтобы продолжить осмотр достопримечательностей Франции. Это путешествие не обошлось без приключений. Близ Тулузы на него напали разбойники. В письме к родным Сеславин рассказывал, что «в сумерки один разбойник, остановясь среди дороги и прицелясь, прочил убить почталиона, ежели он не остановится. Почталион повиновался. Тогда, приближаясь к моей коляске, требовал денег. Я ему дал несколько, он требовал еще; я дал и еще. Но когда он потребовал от меня 10 000 франков и велел мне выйти из коляски, грозя меня убить... я бросился на него, вырвал из его рук дубину... ударил его по виску так, что он упал в ров, забыв выстрелить из пистолета, который держал в правой руке». Устрашенные сотоварищи разбойника не рискнули напасть на разъяренного иностранца, и он беспрепятственно продолжил свой путь.

«Ничего не осталось во Франции, чего бы я не видел, — сообщал любознательный и неутомимый путешественник брату Николаю осенью 1818 года. — ...Осмотрел все крепости и порты на Средиземном море, все заведения и фабрики южной Франции. Там выдержал две горячки, после которых открывались раны, и одна по сие время открыта и выбрасывает кости... Весною я оставил проклятую Францию. Пробыв несколько времени в Женеве, я нанял мызу в Швейцарии, поблизости Лозанны, на берегу Женевского озера. Вид оный наипрекраснейший... Тут я провел лето, леча свою рану в правом плече. Завтрашний день еду осмотреть ту дорогу, по которой шел славный Аннибал, переходя Альпы, а также узкие проходы и гору Saint Bernar где прошел Бонапарт и С. Готард, где проходил Суворов...»

Намеченный нами маршрут путешествия по Альпам Сеславин, несмотря на незажившую рану и возникшую от этого лихорадку, выполнил. На обратном пути, неподалеку от источника Роны, где глетчер ледяным

[1] ГПБ, ф. 152, оп. 1, д. 505, л. 2 об.

каскадом низвергается с большой высоты вниз, он едва не погиб. «Ноги мои начали уже скользить по льду и если бы не палка с острым гвоздем, которую воткнул в лед и тем удержался, я обрушился бы в пропасть до 8000 футов. Проводник с опасностью жизни мне помог, — писал генерал брату Николаю в мае 1819 года. — ...Известно тебе, что я несколько лет занимался военными книгами, просиживая иногда и ночи. С тех пор я питал в себе непреодолимое желание осмотреть три пути, которые прославили навсегда Аннибала, Бонапарта и Суворова, дабы сделать сравнение сих трех великих полководцев. Любопытство, которое чуть не стоило жизни, удовлетворено...»

Осень и зиму 1818 года Сеславин по совету врачей (опасавшихся серьезных последствий от продолжительного горлового кровотечения) провел в Италии, славившейся своим мягким климатом. За это время он осмотрел все крепости, а также все поля сражений кампании 1799 года, обессмертивших имя Суворова и русских. Не осталось почти ни одного значительного города в этой замечательной стране, где бы не побывал Сеславин.

Весной 1819 года наш путешественник, наняв в Ливорно небольшое судно, морем возвращается во Францию, по пути «взглянув на остров Эльбу». Во время шторма его жизнь вновь подверглась опасности из-за неосторожности капитана корабля, но судьба хранила Сеславина.

Остановившись на несколько месяцев в Марселе, он продолжал лечиться на местных водах и приступил к «описанию и замечанию всего», что «видел и узнал во время путешествия».

Долгое пребывание вдали от России вызвало в Сеславине тоску по отечеству. Красивейшие пейзажи, лазурное море не радуют более его глаз. «Проехав Европу, смею вас уверить, — пишет он родным из Марселя, — что нет лучше народа русского, нет лучше места как Есемово и Федоровское, где бы я желал провести некоторое время в кругу милых сердцу моему».

Но особенно тяготило его вынужденное бездействие. Неугомонная и смелая натура, за годы военных тревог свыкшаяся с жизнью, полной опасностей, привычная к сильным ощущениям, требовала деятельности, причем деятельности, полезной отечеству. Сеславин решается предпринять рискованное путешествие в Индию. Генерал намерен реализовать тот план, который он тщательно

продумал, еще будучи поручиком. Подобное предприятие, по его замыслу, позволило бы «решить вопрос европейских политиков: может ли Россия внести оружие свое в ост-индийские английские владения... и уничтожить владычество англичан в Индии». В августе 1819 года Сеславин с верной оказией посылает в Петербург письмо, в котором испрашивает позволения царя отправиться с этой целью инкогнито в Калькутту, а оттуда, через Дели, Лахор, Кабул, Самарканд, Хиву и киргизские степи, прибыть в Оренбург.

Сеславин не сомневался, что его предложение будет одобрено и он сумеет оказать «величайшую услугу отечеству». В ожидании разрешения генерал заказал место на корабле, осенью отплывавшем в Калькутту. Но, вопреки всем надеждам, ответа не последовало.

Сеславин задумался. Спустя два месяца генерал, отгоняя тревожные мысли, пишет начальнику Главного штаба П. М. Волконскому новое письмо. Указывая в нем на свое желание служить и быть полезным отечеству, Сеславин просит поручить ему должность, «ежели его императорскому величеству не угодно путешествие в Индию». И вновь он не удостоился ответа.

Душевный покой Сеславина нарушен, самолюбие жестоко уязвлено: им, заслуженным генералом, пренебрегают. «Предполагая, что служба моя и пламенное усердие к престолу соделались не нужными, я прошу покорно, — пишет в декабре обиженный герой князю Волконскому, — ...исходатайствовать мне позволение остаться в Италии: вы избавите меня от издержек, которые могли бы меня расстроить совершенно, возвращаясь в Россию, ибо арендатор не платит денег, отзываясь неурожаем, а притом теплый климат способствует много к остановлению кровохаркания и к излечению груди... Ежели бы вы почли сие невозможным, увольте меня от службы: ...я не хочу занимать место другого, который имеет, может быть, более способностей, нежели я, несмотря на беспрерывные занятия мои, которые заставляли меня желать быть употребленным единственно для того, чтобы принесть плоды оных на пользу службы...» Далее Сеславин, не имея более сил сдерживаться, задает доверенному лицу царя вопрос, который мучает его последнее время: «скажите мне откровенно, потерял ли я милость и благосклонность государя... или не находят во мне способностей, свойственных званию генерала?»

Напрасно генерал ждал ответа и на это письмо. Обыч-

но жизнерадостный и веселый Сеславин с тех пор становится все чаще мрачным и раздражительным. Он не может объяснить себе, чем вызвано подобное пренебрежительное отношение к нему.

В начале 1820 года Сеславин отправился морем в Англию, где, продолжая лечение на водах в Бате, собирался писать воспоминания о своих действиях в 1812—1814 годах. В пути генерала ожидал новый удар судьбы. «Во время бедствия, которое претерпел корабль в океане, коляска моя, все вещи, даже до последней рубашки, бумаги — плоды пятилетних трудов, одним словом все, брошено в море, чтобы освободить бот... дабы спасти людей от неминуемой погибели», — сообщил Сеславин Волконскому в феврале 1820 года[1].

Положение Сеславина было незавидное. «В России я потерял родовое имение, арендатор не платит денег, отзываясь неурожаем, я нажил неоплатные долги в продолжении двадцатидвухлетней офицерской службы, от которых страждет честное мое имя, не на что книг купить — единственная страсть моя, и нечем жить: вот мое состояние».

Генеральского жалованья (1800 рублей в год) было явно недостаточно даже для уплаты процентов по долгам, приближавшимся к 40 тысячам. Доведенный до крайности, Сеславин вынужден просить императора, принимая во внимание его службу, боевые раны, а также пример других, обеспечить его состояние, спасти честь генерала. Не получив ответа и не имея средств продолжать лечение, он возвращается в Россию, надеясь лично объясниться с царем.

VI

В Петербурге Сеславин Александра I не застал. Благословенный отправился в очередной вояж по своей империи. В стране царила реакция, в армии процветала парадная шагистика и жестокая палочная муштра. Заслуженные генералы, отличающиеся гуманным отношением к солдатам, были не в чести, их оттеснили бездушные и ревностные исполнители «высочайшей» воли.

В столице Сеславин узнал, что влиятельные враги, пользуясь его длительным отсутствием, смогли поколебать лестное мнение царя о прославленном геро. Глухо упоминалось, что особое неудовольствие монарха вызвали публичные высказывания Сеславина о чрезмерном увлечении «строевым совершенством» в войсках.

[1] ЦГВИА СССР, ф. 35, оп. 3/244, д. 1083, л. 7.

Оскорбленный холодным приемом при дворе, Сеславин 4 августа 1820 года подает прошение об увольнении от службы. В условиях аракчеевщины особый смысл приобретали слова, написанные независимым генералом в этой официальной бумаге: «по здешнему суровому климату продолжать воинскую службу не могу». Как видно, север был вреден не только Пушкину. Отставку не замедлили принять, и 17 августа 40-летний Сеславин был уволен от службы «за ранами» на почетных условиях — с мундиром и полным пенсионом.

Генерал подвел итог своей почти двадцатилетней службы: «74 сражения больших и малых, в которых он находился большею частию с первой пули до последней», 6 ран, столько же орденов и золотая сабля «за храбрость». Еще — аренда в тысячу рублей в год и многочисленные долги, некоторую часть из которых, правда, царь, памятуя заслуги Сеславина, взял на себя.

«Здоровье, обстоятельства и некоторые обязательства» вновь призвали Сеславина в чужие края. Осенью того же года он покинул Россию и более полутора лет провел за границей, продолжая прерванное лечение.

В мае 1822 года он вернулся в Петербург. Отставной генерал полон сил и надежд на то, что сможет еще быть полезным отечеству. Сеславин по-прежнему увлечен идеей экспедиции в Индию и полагает, что сумеет убедить царя в ее целесообразности.

Он еще не знал, что Александр I, удалив кого-либо однажды, уже никогда не приближал к себе. Более того, Сеславин и не догадывался, что отдан приказ о секретном надзоре за ним. Знаменитый партизан, отличающийся независимостью в суждениях и пользующийся популярностью среди гвардейской молодежи, был подозрителен властям. Агент тайной полиции, наблюдавший за поведением Сеславина, сообщал в своем донесении[1]: «Уволенный от службы генерал-майор Александр[2] Никитич Сеславин живет в гостинице Демута самым уединенным образом. Он платит за квартиру и стол 300 рублей в месяц. Он много пишет и, надобно полагать, судя по разложенным на столе картам и книгам, он занят каким-то военным сочинением.

[1] Оригинал на фр. яз. Публикуется впервые (см.: ЦГВИА СССР, ф. ВУА, д. 744).

[2] Писарь ошибочно написал «Павел».

Он почти никого не принимает, часто отказывает во встрече молодым офицерам. Лицо, которое его в основном посещает, и с кем он проводит время, — это уволенный от службы генерал-майор Леонтий Иванович Депрерадович. Судя по манере, как они вместе проводят время (*всегда отсылают слугу*), *надобно полагать и судить*, что они не только близкие друзья, но и вполне возможно, обсуждают что-то тайное. Сеславин также часто посещает вечерами Депрерадовича, живущего на Литейной, в доме купца Креболкина. <...>

Другой близкий и часто его посещающий человек — полковник Назимов, который состоит при обер-полицмейстере *по особенным препоручениям*. Он *часто проводит* вечера у него. Слуга рассказывает, что его часто посещают чиновники коллегии иностранных дел, но мне еще не удалось установить, кто это. Слуга говорит: «у барина важные дела по иностранной коллегии».

Сеславин рассказывал нескольким лицам, что его величество император повелел ассигновать ему 40 000 руб. из казны, *но что он их не примет до тех пор, пока не* будет определен на службу, и что он будет служить не иначе, *«как по особенным поручениям при особе его величества»*.

Впрочем, отмечают, что господин Сеславин имеет крайне свободную манеру выражаться, особенно в том, что касается военной службы, и особенно когда он говорит о себе самом и о своих заслугах. Сеславин еще много говорит о военной экспедиции в Индию, главой которой он надеется быть. Однако надеждам Сеславина не суждено было осуществиться.

«Во уважение отличной его службы в прошедшую войну и полученных ран» царь пожаловал отставному генералу для уплаты долгов 50 тысяч. Но предложение Александра I вернуться на службу и «состоять по кавалерии» не устраивало Сеславина, а желаемого им почетного назначения в свиту императора не последовало. Убедившись, что им по-прежнему пренебрегают, а люди менее достойные идут в гору, оскорбленный Сеславин оставляет Петербург и порывает связь с двором. Видимо, это произошло осенью 1823 года.

Некоторое время он живет в имении своего старшего брата Николая под Вышним Волочком. Не имея своей семьи, Сеславин целиком отдается заботам многочисленного семейства брата, всю любовь перенося на племянниц и племянников.

Шли годы... Наступил 1827 год, ставший для Сеславина годом воскресших надежд. Весной он отправляется в Петербург хлопотать об определении двух старших племянниц в Екатерининский институт благородных девиц — одно из привилегированных учебных заведений России. «Дочери Сеславина *принадлежат государству* — они приняты», — написал Николай I, согласно преданию, на прошении прославленного героя. Окрыленный успехом, Сеславин немедленно подает новое прошение — о зачислении двух старших племянников в Пажеский корпус. И эта просьба была удовлетворена: они были приняты, как и их сестры, с содержанием от казны. *Сеславин счастлив — его заслуги не забыты!*

В том же году Сеславин, продав аренду и «удовлетворив прочих наследников деньгами», вступил во владение родовым имением. Наконец-то сбылась его давняя мечта— вернуться в родной дом и жить под отцовскою крышею.

Приехав в Есемово, новый помещик нашел имение в *запустении. Большая часть крестьян пребывала в бедности и нищете*. «Все надобно переменить. Мужик гол, хозяйство убыточно», — думал Сеславин, глядя на покосившиеся избы и пустые крестьянские дворы.

Но появление в деревенской усадьбе, с устоявшимися патриархальными обычаями, нового хозяина, воспитанного на армейском порядке и дисциплине, уже само по себе *таило зародыш неизбежного конфликта между* крепостными и помещиком.

Сеславин построил новый дом, прибавил земли крестьянам на пустошах, дал лесу каждому на избу и собирался перестроить свои деревни по новому плану городского архитектора. Для облегчения полевых работ он завел редкие, по тем временам в России, машины. «Введение машин для барщинных заменяет каждая 14 человек... молотьба идет скорее, трудная работа цепами уничтожена, — сообщал Сеславин ржевскому предводителю дворянства, — жатвенные машины заказаны, трудная работа жатвы будет также уничтожена». Пользуясь близостью торгового города Ржева, есемовский помещик вводит для своих крепостных отхожие промыслы. Отправляясь в свободное от полевых работ время на заработки, крестьяне должны были, по мысли Сеславина, несомненно улучшить свое состояние и соответственно повысить доход помещика. Кроме того, он, как человек не терпящий праздности, обязывал крепостных работать в дни

местных праздников, которых не признавал. Стоит заметить, что в то время в Российской империи на год приходилось только официальных более 30 праздничных дней.

Новый порядок, вводимый властным своеволием душевладельца, вызвал недовольство крепостных, менее всего заинтересованных в улучшении хозяйства барина и притерпевшихся к собственной нищете. Некоторые из крестьян в виде протеста отказывались отправляться на заработки, нередко не выходили на барщину и тянули время с уборкой урожая на помещичьих угодьях. Многие небрежно вели свое хозяйство и, наконец, разорившись, переходили на содержание барина. Через несколько лет из 10 крестьянских дворов осталось только 3, остальные сели на помещичьи хлеба.

Несложившиеся отношения с крестьянами сводили на нет все начинания Сеславина. Ему пришлось довольно долго вести упорную борьбу со своими крепостными, прежде чем установился желаемый им порядок ведения хозяйства. Не обошлось и без применения принудительных мер. Непокорных били розгами, а наиболее «дерзких» Сеславин отдавал в рекруты или ссылал на поселение. Наш герой был сыном своего времени...

Переименовав свое сельцо в Сеславино, отставной генерал зажил уединенно, почти не заводя знакомств с местными помещиками и редко выезжая. Даже в церкви появлялся редко.

В 30-е годы, по случаю юбилейных торжеств, устроенных в честь 12-го года, Сеславин нарушил свое уединение. В августе 1834-го он присутствовал на открытии Александровской колонны на Дворцовой площади Петербурга, а через несколько лет — в 1839-м участвовал в Бородинских торжествах.

Спустя 27 лет Сеславину вновь довелось побывать на поле русской славы. Для участия в церемонии открытия монумента съехались многие из оставшихся в живых генералов и офицеров, ветеранов великой битвы. В субботу 26 августа в годовщину сражения на Бородинском поле раздалось 120-тысячное «ура!» собранных войск и гром артиллерийского салюта: потомки отдавали дань памяти погибшим героям.

В тот знойный августовский день Сеславин, очевидно, испытал не только сильное волнение от нахлынувших воспоминаний. Болезненное самолюбие и обида, пробудившиеся в нем при виде боевых товарищей, не имевших

его славы и заслуг, но занявших видное служебное положение, отравили ему весь праздник. С горечью думал отставной генерал о том, что он, прославленный воин, по-прежнему не у дел, по-прежнему не оценен по достоинству.

После церемониального марша Сеславин, не дожидаясь окончания празднеств, покинул Бородино и вернулся в имение. Независимый и оригинально мыслящий генерал был обречен на бездействие в «прозаическом, осеннем царствовании Николая I», которому, по словам Герцена, «нужны были агенты, а не помощники; исполнители, а не советчики; вестовые, а не воины».

С тех пор Сеславин еще более замкнулся и уже почти не покидал своего имения. Он полностью погрузился в заботы по ведению хозяйства. «Вы желаете знать о моем житье-бытье? — писал он в мае 1845 года любимой племяннице Марии Николаевне. — Извольте, я удовлетворю ваше желание. Земледелие, сообразно нынешнему состоянию науки, раздел земель с весны до осени, и борьба с невежеством, жесточнее всякой борьбы — суть всегдашние мои занятия».

Жизнь Сеславина в деревне проходила однообразно. Он рано вставал и отправлялся на неизменную прогулку по своей заповедной роще. Летом в сильную жару его можно было часто видеть сидящим у речки Сишки в специально устроенном месте с холодной ключевой водой. Старые раны в жару нестерпимо болели, и он искал спасения в прохладе. Во время полевых работ садился на лошадь и объезжал свои владения, которые он значительно увеличил. «...У нас здесь погода стоит прекрасная, призывает в поле для обозрения работ, — сообщал рачительный помещик родным в Петербург, — и как некто сказал: «Взгляните на сии бразды, возделываемые земледельцем, на них зреет слава и величие государств» — я страстно полюбил земледелие».

Помимо увлечения хлебопашеством, Сеславин по-прежнему много читает. Он собрал прекрасную библиотеку и постоянно пополняет ее новыми изданиями. Особый интерес его вызывают книги, относящиеся к событиям 12-го года. В тиши кабинета он предавался воспоминаниям о былом, нередко брался за перо, начинал писать, и чем больше вспоминал, тем сильнее его душу бередила мысль: он спас Россию, Европу, но не оценен, другие — интриганы, ничтожества в чести, им чины, награды, а он в деревне, забытый всеми...

Одно время Сеславин страдал от болезни глаз, грозив-

шей слепотой, но его железное здоровье и здесь одержало верх над недугом. В 1850 году семидесятилетний генерал писал брату Николаю: «Тебе угодно знать о моем здоровье? Я скажу, что я так здоров, что мог бы и для пользы Отечества пуститься в море, в службу, но боялся всегда противных ветров, которые постоянно дуют мне с севера». Снова аналогия с пушкинским — «но вреден север для меня».

Сохраняя в груди своей «пламя юных лет», Сеславин был по-прежнему свеж и бодр. Подобное состояние он приписывал воздержанному образу жизни и «употреблению в каждую субботу ванны в 32—33 градуса, которая предупреждает болезни и истребляет даже зародыш оных». И в преклонном возрасте он мог без устали проскакать в день 60 верст верхом, вызывая восхищение соседей-помещиков: «Вот каковы старые гусары!»

Сеславину суждено было прожить долгую жизнь. Он пережил своего друга Льва Нарышкина, умершего в 1846 году в Неаполе, и любимого брата Николая, скончавшегося в 1856 году. Смерть брата лишила Сеславина последнего друга и обрекла на полное одиночество. Острую душевную боль ему причинили также известия о неудачах русской армии во время Крымской войны. На его глазах пала тень на славу русского оружия...

В последние годы жизни он все чаще уединялся в кабинете, в который «никого не впускал, а только отдавал приказания чрез приотворенную дверь, куда подавалась ему набиваемая лакеем трубка табаку».

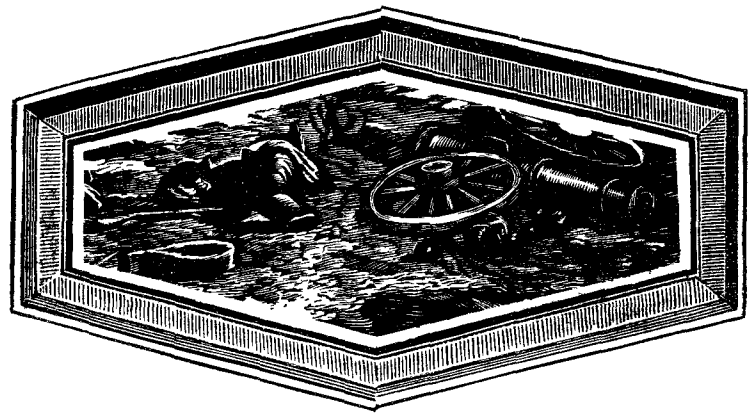
25 апреля 1858 года на семьдесят восьмом году жизни Александр Никитич Сеславин скончался в своем имении от удара (так раньше называли инсульт). Похоронили генерала на Николаевском погосте в Сишках. В 1873 году племянники поставили на его могиле памятник, сохранившийся до наших дней.

Официальная Россия забыла народного героя. «Ни в одном из наших журналов, ни в одной из газет не почтили память Сеславина», — отмечал его первый биограф. Даже смерть не пробудила интереса к этой незаурядной личности. Для современников слава знаменитого партизана существовала в отрыве от отставного генерала, доживавшего свои дни в тиши Тверской губернии.

После себя Сеславин оставил несколько внебрачных детей от крепостной любовницы, разграбленную крепостными усадьбу и... бессмертную славу героя 1812 года.

Александр ВАЛЬКОВИЧ

Федор Николаевич Глинка





Среди столетних смоленских еловых лесов, вдали от больших дорог, в глуши, расположено село Сутоки. В конце позапрошлого века относилось оно к Духовицкому уезду Смоленской губернии и принадлежало отставному капитану Николаю Ильчу Глинке. Предки его в начале XVII века выехали из Польши, приняли православие, быстро обрусели и уже в начале XVIII столетия относились к чисто русским семействам. Пробыв недолгое время на царской службе, Николай Ильич женился на Анне Яковлевне Шаховской и уехал в свое родовое имение, где занимался хозяйством и воспитывал сыновей.

Точная дата рождения Федора Николаевича Глинки, будущего поэта, до сих пор неизвестна. В некрологе его, помещенном в «Тверских епархиальных ведомостях» в 1880 году, сказано, что он умер девяноста шести лет от роду, и, стало быть, родился в 1784 году. В словаре Толя

указан год его рождения — 1788-й; друг и биограф его А. К. Жизневский называет 8 июля 1786 года. В формулярном же списке, хранившемся в Тверском губернском правлении и составленном в 1830 году, сказано, что полковнику Ф. Н. Глинке 40 лет — значит, он родился в 1790 году. Последнее, впрочем, маловероятно. Сам же Ф. Н. Глинка в последние годы свои на вопрос о возрасте любил отвечать: «Бог создал время, а люди выдумали годы».

Сад, овраги, леса, поля, леса и небо, непрестанно меняющее цвет — от серого в ноябре до ярко-синего в феврале и марте, и надо всем — звезды — вот пространство, великими кругами расходящееся во все стороны от небогатого барского дома. Повторяющийся круг — снегопады, метели, ведро, дожди, грозы, снова дожди, снова снегопады. Повторяющийся круг заговений, постов, праздников. Поездки с отцом на охоту, на полевые работы, в Смоленск...

В 1781 году Смоленскую губернию посетила императрица Екатерина II. Она встречалась с местным дворянством и сама записала старшего брата Федора Глинки, Сергея Николаевича, в Сухопутный шляхетский кадетский корпус. Вскоре туда отправили и Федора Николаевича.

Тогда, в корпусе, вспоминал позже Глинка, дал он обет — говорить всегда правду. Одну правду, что бы ни случилось, чем бы это ни грозило...

В 1802 году, по выпуске из корпуса, Федор Глинка был направлен прапорщиком в Апшеронский пехотный полк. Полк этот размещался в то время на Волыни, почти беспрерывно занимаясь учениями и смотрами. Во время одного из смотров на молодого прапорщика, образцово выполнявшего строевые упражнения, обратил внимание генерал М. А. Милорадович. Вскоре он вновь увидел его на балу и там же предложил ему стать его адъютантом.

— Есть одно обстоятельство, ваше превосходительство, — ответил прапорщик Глинка. — На мне лежит зарок, который не хотелось бы с себя снимать.

— Какой же зарок вы дали, прапорщик? — спросил его Милорадович.

— Говорить всегда правду, ваше превосходительство, — отвечал Глинка.

Глинка ожидал грозы — он понимал, сколь самонадеян в разговоре с прославленным генералом. Но лицо Милорадовича просияло.

— Я сам люблю правду, — громко проговорил генерал, — и часто говорю ее наотрез! Говорите мне правду в глаза всегда, обо всем, обо мне самом. Я этого желаю, я требую этого!

В 1805 году русская армия отправилась в так называемый австрийский поход. Целью этого похода был разгром наполеоновской армии, стремившейся к мировому господству. Заграничный поход был для России исполнением союзнических обязательств по взаимным договорам. В составе Подольской армии Кутузова при генерале Милорадовиче находился и его адъютант прапорщик Глинка.

15 августа 1805 года русские силы перешли границу в районе местечка Крупчицы.

Уже 2 октября русские войска находились на баварской границе, близ города Браунау.

Накануне вечером прибыл туда Апшеронский полк под началом генерала Милорадовича. Для Федора Глинки это должен был быть первый бой. Первый в его жизни. Ночь перед сражением он провел без сна.

Но боя не было. Французы превосходили числом. Только 24 октября у Амштеттена русские войска приняли бой. В этом бою Глинка чуть не погиб. Посланный на передовую с поручением от генерала Милорадовича, он передал приказание и на обратном пути стал въезжать на высоту; когда он ударил шпагой по крупу лошади, шпага выпала из руки его. «Спеша к генералу, — писал Глинка, — я хотел было оставить шпагу, но какое-то предчувствие понудило меня ее поднять. Лишь только я слез и, наклонившись, принялся за эфес, как вдруг ядро завизжало над самой головой моей лошади, и она вся затряслась, как лист. Место, на котором я остановился, было возвышено, и ядра летали недалеко от его поверхности. Если бы не выпала из рук моих шпага и я не слез бы ее поднять, то Бог знает, что бы со мной было!..»

Сражение шло с переменным успехом. 29 октября в 10 часов утра силы воюющих обоюдно переместились за Дунай, а 30 октября началось сражение при Кремсе, которое шло среди горных ущелий. Сражение началось с перестрелки, перешло на картечь. «Чем дальше двигались мы вперед, тем явственнее открывались великие силы неприятеля». Но полки генералов Дохтурова и Ми-

лорадовича, врезаясь в соединения французов, разбили их. Сражение при Кремсе окончилось победой русских войск. В приказе главнокомандующего были особо отмечены отличившиеся мужеством офицеры Морозов, Албинский, Воронец, Скальский, Шушерин, Глинка.

Но готовилось главное сражение этой войны. К армии прибыл император Александр I. Сражение это состоялось под Аустерлицем и окончилось победой Наполеона. Глинка принимал участие в штыковом бою у Праценских высот.

В результате войны было заключено перемирие, которое современники называли «мир на воде».

За время войны однополчане узнали Федора Глинку как храброго офицера, исполнительного адъютанта, верного товарища. Но мало кто знал, что он еще и писатель, хотя каждую свободную минуту он делал какие-то записи и зачастую отрывал у себя ночные часы, когда утомленные войска спали.

Первые отрывки из его записок появляются в 1808 году в журнале «Русский вестник», который был основан братом его Сергеем Николаевичем. А перед этим, 11 сентября 1807 года, Федор Николаевич Глинка выходит в отставку по болезни и уезжает в Сутоки.

Четыре следующих года Ф. Н. Глинка безвыездно живет в Смоленской губернии, занимаясь сельским хозяйством. В 1807 году местное дворянство избирает его в земское ополчение сотенным начальником. И все свободное время он пишет. К сочинениям в прозе присовокупляются опыты в стихах.

Но не вечно же сидеть на месте, надобно питать ум впечатлениями, воображение — видами... К тому же пройдено столько земель за границей, а знания родной земли так скудны. И Федор Николаевич совершает новое путешествие, два года (1810 и 1811) странствуя по Смоленской и Тверской губерниям, посещая древние стольные города — Москву и Киев. Путешествуя, он ведет записи, делает заметки, которые позже вошли в «Письма русского офицера».

Сначала Глинка отправляется в Смоленск, бродит по его холмам, улицам, любуется древними златокупольными дивами, беседует с жителями. Это только начало путешествия, посещение сердца родных мест, города, куда ездил еще ребенком...

Объездив Смоленскую губернию, отправляется он во Ржев. Глинка и несколько его спутников приехали туда вечером, когда солнце уже играло на позлащенных главах. Местность вокруг Ржева безлесна, кругом поля, и город виден был издалека. Миновав небольшое предместье, путешественники очутились на крутом берегу, и перед ними открылась Волга. Спустились вниз и услышали шумную беседу ропотных волн, то набегавших на песчаную отмель, то сбивавшихся в одну струю. И вдруг Глинка бросился к реке и жадно, набрав в горсть светлой воды, напился ею, как писал потом, утолив «не столько жажду, как желание напиться волжской воды».

На следующий день Федор Николаевич осматривал город, дивясь тому, что народ там удивительно здоровый, «белотелый». Ржев стоит на холмах, как Смоленск или Киев, население его в то время составляло в основном купечество. Особо хранил город Ржев память о Терентии Ивановиче Волоскове, жившем в XVIII столетии, о нем Федор Николаевич оставил множество записей. «Здешний механик, богослов и химик», — называл он его. Терентий Иванович родился в семье купца среднего достатка, имел много братьев. Никогда и нигде специально он не учился, с детства читал, наблюдал смену времен года, выходя к Волге, бродя по полям, убегая в дальние леса. И вправду, хотя бы одно небо, весь год меняющее цвета свои и возвращающее к первоначальному, — чему оно только не научит! И постепенно, незаметно для себя, постигал Терентий Волосков всеобщий, единый порядок мира от мала до велика, от велика до мала. «Созерцая в мире всеобщий неизменный порядок, — писал о нем Ф. Глинка, — которого ни бури, возмущавшие воздух, ни громы, потрясающие твердь, нимало не нарушают, он понял, что удивлявшее его некогда правильное движение нескольких стрелок в малых часах его отца есть не что иное, как самое слабое подражание всеобщему движению в огромном строении природы». И, глядя на небо, стал он сам делать разные часы, большие и маленькие.

Братья Волосковы сами стали купцами, обзавелись семьями, каждый жил теперь в своем доме. Но торговля не занимала всей жизни Терентия Ивановича. По ночам он писал сочинения против раскола, отвратившие от заблуждений многих ржевских жителей. Он изобрел астрономические часы, новые краски. Изобретал он совершенно бескорыстно, не имея с этого ни копейки. Правда,

сколько бы он ни торговал, деньги все время уходили между пальцев — не умел он копить и часто бедствовал. Впрочем, может быть, потому и жилось для души нетяжко, и смерть была не так страшна. Жена Волоскова была удивительно добродушная женщина, делившая все тяготы его жизни. Под старость Волосков стал заниматься астрономией, звездозакопием, как говорили издревле. Скончался он семидесяти лет, кончиной безболезненной, непостыдной, мирной.

В начале октября прибыли в Тверь. Знал ли Федор Николаевич, что этот город станет его второю родиной, что здесь он обретет и потеряет спутницу-жену, здесь найдет пристанище, покой, тихое место тяжких предсмертных дум, что здесь его отсоборуют, отпоют, предадут земле? Первая встреча с Тверью была неласковой — небо покрыто было туманными облаками, сыпался мокрый снег...

Остановился Глинка на постоялом дворе, напился чаю и лег спать. Утром проснулся под благовест Желтикова монастыря за Волгой. Небо прояснилось. Федор Николаевич спустился вниз, вышел на двор. Было зябко, но ясно.

Через несколько дней новый долгий путь — в Москву. Ехали через Клин по Питерскому тракту, на перекладных, под мокрым снегом, мимо глухих ельников, болот. Вскоре пошли все больше березы, уже почти осыпавшиеся.

В Москве Глинка пробыл недолго, снова поехал во Ржев, а на следующий год совершил путешествие в Киев. Шло лето 1811 года. Южную часть России охватили невиданные пожары. Огонь свирепствовал повсюду: сгорел Житомир, горела Волынь и Малороссия, неожиданно вспыхнули и за одну ночь сгорели многие дома в Киеве. Повсюду говорили о тайном обществе поджигателей, которое якобы существовало в Польше на деньги Наполеона.

Весной 1812 года в Сутоках Глинка записывает в дневнике: «Наполеон, разгромив большую часть Европы, стоит, как туча, и хмурится над Неманом. Он подобен бурной реке, надменной тысячью поглощенных источников; грудь русская есть плотина, удерживающая стремление, — прорвется — и наводнение будет неслыханно! О, друг мой! ужели бедствия нашествий повторятся в дни наши?.. Ужели покорение?.. Нет! Русские не выдадут земли своей! Если не достанет воинов, то всяк из нас будет одною рукою водить соху, а другою сражаться за Отечество!»

С появлением неприятеля Глинка, надев «синюю куртку, сделанную из бывшего синего фрака, у которой от кочевой жизни при полевых огнях фалды обгорели», присоединяется к армии и вступает в ряды волонтеров.

Война между наполеоновской Францией и Россией была не просто столкновением двух государств, двух народов. Это была война двух эпох в истории Европы, и шире — двух противоположных отношений к жизни. Наполеон Бонапарт, захвативший уже всю Европу, казался людям того времени зверем из бездны. Никому не известный корсиканец, ставший уже почти «царем мира», человек без рода и племени, собравший разноплеменную армию и кровавым насилием насаждавший по всей Европе «свободу, равенство и братство»... И... огромные просторы России, с ее далями от ледяного моря до теплого, с ее широкошумными лесами и тучными нивами, с неторопливой крестьянской речью, древним ладом трудовых будней и светлых праздников. Русь, верящая не в силу, а в правду, но имущая силу несметную. Русь звонкого первопрестольного Киева, сердечной Москвы, белопарусного града Петрова...

В горящих Сутоках, оставленных Глинкой, — все его свидетельства и аттестаты, деньги. Сейчас Федор Николаевич без документов, без денег, но рядом с братом Григорием, служившим в Либавском полку. Федор Глинка — волонтер. Он присоединяется к коннице генерала Корфа и отступает вместе с ней до Дорогобужа, а там примыкает к арьергарду генерала Коновницына. В руках у него — вызов от Милорадовича.

— Пока что все отступаем, а перед решительным сражением вы найдете его, мы все там соберемся, — говорили Глинке встречаемые им однокашники — бывшие кадеты.

Сергей Николаевич Глинка в день объявления войны находился в Москве. Он явился к московскому генерал-губернатору со словами: «Хотя у меня нигде нет поместья, хотя у меня нет в Москве никакой недвижимой собственности и хотя я не уроженец московский, но где ко-

го застала опасность Отечества, тот там и должен стать под хоругви отечественные».

В начале августа враг подошел к Смоленску. Федор Глинка среди защитников города, обороняемого дивизиями генералов Неверовского и Раевского. Эти дивизии отчаянно сопротивляются, однако силы слишком неравны.

Второй раз в жизни видел Федор Николаевич военное «позорище». Но на этот раз оно вдвойне страшно, сугубо бередит душу, потому что оглерзлось на родной, русской земле. А ведь все ждут большого сражения, вся Россия хочет драться, стоять до смерти! Позже, в тридцатые годы, Федор Николаевич напишет в «Очерках Бородинского сражения»: «Солдаты наши желали, просили боя! Подходя к Смоленску, они кричали — мы видим *бороды наших отцов!* пора драться! — Узнав о счастливом соединении двух корпусов (речь идет об армиях Багратиона и Барклая-де-Толли. — *В. К.*), они объяснялись по-своему: вытягивая руку и разбивая ладонь с *разделенными пальцами,* — прежде мы были так — то есть корпуса в армии, как пальцы на руке, были разделены; — теперь мы, — говорили они, сжимая пальцы и свертывая ладонь в кулак, — вот так! — так пора же (замахиваясь дюжим кулаком), так пора же дать французу вот этак! — Это сравнение разных эпох нашей армии с распростертою рукою и свернутым кулаком было очень по-русски, по крайней мере очень *по-солдатски* и весьма у места».

Федор Николаевич Глинка все это время среди солдат, живет их жизнью, ест солдатскую похлебку, спит под открытым небом, изредка выкраивает полчаса свободного времени и прямо под открытым небом пишет...

А тем временем вся Россия ждала сражения. 22 августа русскими войсками была занята позиция близ села Бородина. Боевая линия стояла на правом берегу Колочи, лицом к Колоцкому монастырю, к стороне Смоленска, правым крылом к Москве-реке, которая лентой извивается у высот Бородинских. Угол с ней составляет Колоча, впадающая в Москву-реку в полуверсте от высот. В Колочу впадает река Войня, ручьи Стонец и Огник. Старая и Новая Московские дороги перерезают позиции, как два яруса по направлению к Смоленску и Москве. По Смоленской дороге пришла в Россию вооруженная Европа.

Федор Николаевич бродит по Бородинским высотам, наблюдает за построением редутов, записывает: «Поставьте себя на одной из высот, не входя в Бородино, где-нибудь на Большой Смоленской дороге, лицом к Москве и посмотрите, что делается за Бородином, за Колочею, за этими ручьями с именем и без имени, за этими оврагами, крутизнами и ямницами. Примечаете ли вы, что поле Бородинское теперь поле достопамятное — силится рассказать вам какую-то легенду заветную, давнее предание? О каком-то великом событии сохранило оно память в именах урочищ своих. Войня, Колоча, Огник, Стонец не ясно ли говорят вам, что и прежде здесь люди воевали, колотились, палили и стонали?» Что это была за война? Кто с кем сражался здесь в глубокой древности? Никто не знал этого, но когда увидели поле, все — от главнокомандующего до солдат, и русских и французских, — все говорили: здесь будем драться!

Наступает ночь. Глинке не спится. Он еще поспит свое — сон у него крепкий, глубокий. А может быть, завтра другой сон, вечный, но сон это или пробуждение, утро светлое?..

...Бородинское утро... Дым, пыль, груды трупов, картечь. Глинка под пулями и ядрами выносит с поля битвы раненых. В одно из затиший Федор Николаевич видит своего брата Григория, раненного в голову, и выносит его из огня.

«Сердца русские внимали священному воплю сему, и множество наших войск было неописано, — запишет Глинка в дневнике. — Они, казалось, дорожили каждым вершком земли и бились до смерти за каждый шаг. Многие батареи до десяти раз переходили из рук в руки. Сражение горело в глубокой долине, и в разных местах с огнем и громом, на высоты всходило. Густой дым заступил место тумана. Седые облака клубились над левым крылом нашим, заслоняли середину; между тем как на правом сияло полное солнце».

Сражение окончилось поздним вечером.

Кто вам опишет эту сечу,
Тот гром орудий, стон долин? —
Со всей Европой эту встречу
Мог русский выдержать один!
И он не отстоял Отчизны,
Но поле битвы отстоял,
И весь в крови, — без укоризны
К Москве священной отступал! —

напишет Глинка в тридцатые годы в стихотворении «1812 год».

Оставление Москвы Федор Николаевич воспринял так

же, как и все русские люди — как тяжкий крест, страшную долю. Вместе с регулярной армией он отправляется к юго-западу. Начиналась народная война. Сбывались слова русских крестьян, сказанные Глинке незадолго до войны в подмосковной избе. Повсюду били врага партизаны.

В конце сентября Глинка под Тарутином. Здесь нашел он генерала Милорадовича и явился к нему прямо в своей обгоревшей синей куртке.

— *Я хорошо помню вас, где вы пропадаете?* — спросил его генерал.

И Глинка начал рассказывать. Рассказывал он о том, что все аттестаты остались в Сутоках, что он был у Корфа, потом у Коновницына, пришел на Бородинское поле, *спасал своего брата, что он нигде не приписан и что если* ваше превосходительство позволит...

— Конечно же, поручик, вы будете моим адъютантом.

— Рад стараться, ваше пре...

— Постойте... Вы, должно быть, очень бедны, поручик? У вас нет денег?

— Да, ваше превосходительство, все осталось там.

Милорадович задумался, потом позвал денщика.

— У нас остались деньги?

— Немного есть, ваше превосходительство.

— Принеси и дай этому молодому человеку. Это ему на форму.

Затем он обратился к Глинке:

— Завтра же утром ко мне в штаб. Теперь ступайте.

А из оставленной Москвы приходили вести разноречивые. Пешком и на подводах добрался до Петербурга за несколько дней из горящего первостольного града «некто тамошний житель». Генерал-губернатор Петербурга генерал Вязмитинов задержал его и отдал под стражу, чтобы не было тревожащих население слухов. Со слов беглеца была составлена подробная записка Александру I.

Эта записка начиналась указанием на то, что существуют исконные писаные и неписаные правила ведения войны, обращения с пленными и мирным населением, словом, законы человеколюбия, заповеданные роду человеческому. До сих пор правила эти соблюдались и Россией, и ее противниками — шведами, немцами. Можно вспомнить здесь и Северную войну, и Тридцатилетнюю.

Но то, что происходит в разоренной солдатами Бонапарта Москве, превосходило всю меру человеческих представлений. Массовые расстрелы и повешения, насилия, истязания детей... Ужасающие картины приводятся в этой записке, *написанной со слов очевидца*. «...*во многих местах лежали* обруганные, изувеченные и мертвые женщины. Инде могилы разрыты и гробы растворены для похищения корыстей с усопших тел. Но и сих мерзостей и неистовств еще не довольно, двери у храмов Божиих отбиты, иконы обнажены от окладов, ризы разодраны, иконостасы поломаны и разбросаны по полу... Но да закроются, — сказано было в записке, — богомерзкие дела сии непроницаемою от очей наших завесою! Поругание святыни есть самый верх безумия и развращения человеческого. Посрамятся дела нечестивых, и путь их погибнет. Он уже и погибает. Исполнилась мера злодеяния; воспаленные храмы и дымящаяся кровь подвигли на гнев долготерпение Божие».

Горит, горит царей столица;
Над ней в кровавых тучах гром,
И гнева Божьего десница...
И бури огненны кругом.

О, Кремль! Твои святые стены
И башни горды на стенах,
Дворцы и храмы позлащенны
Падут, уничиженны в прах!..
И все, что древность освятила,
По ветрам с дымом улетит!
И град обширный, как могила,
Иль дебрь пустынна — замолчит!..

Говорят, враг просит мира. Или это только слухи? Значит, задыхается он в пустой, оставленной Москве, погибает от собственных злодеяний? Будет ли перемирие?

Всем ясно уже, что не будет. Враг будет изгнан с русской земли. В середине октября Федор Николаевич Глинка присутствует при совете генералов Беннигсена и Милорадовича, и вот он уже в числе первых офицеров, ведущих русские войска по берегам Нары, через осенние калужские леса, навстречу врагу. И снова бои. Почти каждый день — штыковые. «В течение двенадцати суток, — вспоминал Глинка, — мы или шли, или сражались. Ночи, проведенные без сна, и дни в сражениях погружали ум мой в какое-то затмение — и счастливейшие происшествия — освобождение Москвы, отражение

неприятеля от Малого Ярославца, его бегство, мелькали в глазах моих, как светлые воздушные явления в темной ночи».

Поручик Глинка — участник всех главных сражений: под Малоярославцем, Вязьмой, Красным и, наконец, освобождения Смоленска — быстрого, почти мгновенного.

Было захвачено множество пленных, для которых генерал Милорадович устроил специальный лазарет, заботился о том, чтобы их посещали врачи, сносно кормили. Он сам приходил к пленным, беседовал с ними. Он же разъяснял им, что русская армия сражается не с Францией и не с ее народом, но с тем злом, что поработило сначала Францию, а затем и всю Европу. Глинка участвовал в этих беседах, сам оказывал помощь пленным и раненым. Не раз будет он вспоминать обо всем этом позднее, создавая благотворительные общества в Москве и Твери...

Вскоре перешли древнюю русскую границу близ Могилева, а в декабре Наполеон бежал через Березину и вся Россия была очищена от армии его. Лишь в полях и лесах валялись кости «двунадесяти языков».

Минул год 1812-й. Под новолетие, находясь на востоке Европы, Федор Николаевич Глинка записывает: «Начало его наполнено было мрачными предвестьями, томительным ожиданием. Гневные тучи сгущались на Западе... Взволнованные народы, как волны океана, и все силы, все оружие Европы обратилось на Россию. Бог предал ее на раны, но защитил от погибели. Россия отступила до Оки и с упругостию, свойственной силе и огромности, раздвинулась до Немана. Области ее сделались пространным гробом неисчислимым врагам. Русский, спаситель земли своей, пожал лавры на снегах ея и развернул знамена свои на чуждых пределах».

В начале 1813 года Федор Николаевич Глинка был награжден орденом святого Владимира четвертой степени и золотою шпагою с надписью «За храбрость», а через некоторое время — орденом святой Анны второй степени. По кратковременном пребывании в Пруссии прусский король также наградил его особым орденом «За военные заслуги».

Вместе с Милорадовичем отправляется Глинка в Германию, где они пробыли несколько месяцев, участвуя в боях.

И вот — Париж! Торжественное возвращение туда короля Людовика XVIII, встречи его толпами народа. Глинке кажется невероятным, что французы, еще несколько дней назад поддерживающие Наполеона, рукоплещут теперь законному своему королю. Тем не менее это так. Что это? Только ли галльское искристое легкомыслие, или, может быть, что-то еще? Во всяком случае, многие парижане не скрывают своей радости, другие в недоумении, и везде чувствуется облегчение. Французы ждали, что русские заплатят за Москву сожжением Парижа, грабежами, погромами. А вместо этого — лишь торжественный въезд, молебны, гуляния. Цели взятия Парижа были объявлены в «Приказе»: «Да водворится на всем шаре земном спокойствие и тишина! Да будет каждое царство под единой собственного правительства своего властию и законами благополучно! Да процветают в каждой земле, ко всеобщему благоденствию народов, вера, язык, науки, художества и торговля! Сие есть намерение наше, а не продолжение брани и разорения...»

Наши предки, спасшие Европу в 1812—1815 годах, хотели не мирового единообразия, каким его мечтал видеть Наполеон, но свободного существования многообразных государств и народов, вносящих свой, на других непохожий, вклад в сокровищницу мировой красоты и правды. Истина не может быть мундирно-однообразной, она, как напишет позже Аполлон Григорьев, «цветная». «Цветная истина» предполагает свободу, но свобода эта полностью противоположна тому пониманию свободы, которое присуще буржуазному миру. Согласно буржуазному пониманию свободы, не изменившемуся и к настоящему времени, она обязательно должна быть письменно регламентирована как «права человека» и распространяться по всему миру, причем для распространения ее годятся все средства — от меча до подкупа и создания «общественного мнения». Единообразие это в конце концов должно завершиться созданием всемирного государства, в котором все оттенки человеческой культуры должны быть заменены единообразной организацией жизни, и в качестве конечной цели установлением всемирного правительства, и тогда отжившая и выполнившая свое назначение «свобода» будет попросту забыта. Именно это понимание свободы нес миру Наполеон, хотя мечта его была явно несбыточной — в то время для осуще-

ствления ее не было еще подходящего уровня промышленности, связи общественных отношений.

В противоположность этому традиционное в России понимание свободы не придавало такого значения «личным правам», но высокому праву каждого народа иметь такое устройство государства, какое он пожелает и какое привычно для каждого народа. Конечно, есть страны, где наилучшее устройство — парламентское, пусть оно там и остается; но ведь к народам, как и к людям, вполне годится поговорка «сколько голов, столько и умов».

Поездки в Версаль, посещение театров и, увы, довольно легкомысленное провождение времени — в основном к этому сводилась жизнь русских офицеров и солдат в Париже. Но, конечно, не всех. Федор Николаевич Глинка много размышляет, пытается проникнуть в смысл последних событий. Что же случилось с Францией, с французами? Кто или что причина войны? Две пружины случившегося видит Глинка, два двигателя «адской машины», как он называет ее, — «своекорыстие» и «суемудрие». «Своекорыстие» рождает зависть, а зависть — разрушение. «Суемудрие» же — это отрыв человеческой мысли от мира и его первопричины, своекорыстие мысли. «Суемудрие» приводит в конечном счете к безверию, к потере границ между добром и злом и в конце концов к вытеснению добра злом. Случилось так, что французы оказались во власти «наружности», пленились «свободой» отдельного человека, оторванного от мира, от жизни, от семьи и государства, — и образовалась пустота... Пустоту эту заполнил угнетатель, стократ более жестокий, чем любой другой, и бросился на остальной мир, увлекая за собой людей. «Дух *наружности* облекал ее (Францию. — *В. К.)* полудою внешнего счастия, а дух *разрушения* огненными бурями дышал в недрах ея!»

О сущности буржуазной революции Глинка оставил для того времени поразительную по глубине запись: «Свобода, братство, равенство были только на языке и в мечтах, а смерть на самом деле».

Сразу же по приезде в Санкт-Петербург Глинка предпринимает издание «Писем русского офицера», куда входят записи и заметки о войне 1805—1807 годов, времен волжского путешествия, Отечественной войны и заграничного похода. В предисловии своем он просит у читателя прощения за небрежность, неотточенность слога их, ведь писал он их на месте сражений, между боями. И в письме к своему приятелю А. А. Прокоповичу-Антонскому он пишет: «Окруженный шумом военных бурь, я посвящал свое время обязанностям службы. Иногда только в минуты общего отдохновения, при свете полевых огней, часто на самом месте боя, изливал я как умел мысли мои и чувства на бумаге».

Успех «Писем» был огромен. Когда том за томом они стали появляться у книгопродавцев, их раскупали мгновенно, известнейшие писатели того времени говорили Глинке о том, что сами теперь учатся у него чистому русскому слогу, ясности мысли. И вот Федор Николаевич задумывает большое историческое повествование об Отечественной войне. Потомки, считает Глинка, еще потребуют истории тех времен, когда повсюду гремело оружие, тряслись престолы и трепетали цари. «Так! — утверждал он. — Нам необходима *История Отечест енной войны,* Чем более о сем думаю, тем более утверждаюсь в мысли моей. Но сочинитель Истории сей должен иметь все способности и все способы, приличные великому предприятию, изобразить потомству столь беспримерную борьбу свободы с насилием...»

«Война 1812 года, — писал он. — неоспоримо назваться может *священною.* В ней заключаются примеры всех гражданских и всех военных добродетелей. Итак, да будет История сей войны... лучшим похвальным словом героям, наставницею полководцев, училищем народов и царей».

И все же полной истории войны 1812 года Глинке так и не удалось написать, однако «Рассуждение» это вошло в «Письма к другу» наряду с заметками о войне и повестью «Зиновий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия». Впрочем, и «Письма русского офицера» вместе с вышедшими в тридцатые годы «Очерками Бородинского сражения» сами по себе — ценнейший вклад не только в отечественную словесность, но и в изучение истории войны 1812 года. Уже после смерти Глинки в 1880 году жизнеописатель его А. К. Жизневский писал: «Великие события, коих Федору Николаевичу привелось быть очевидцем, и особенность его таланта сделали его народным писателем и истолкователем народных чувств. Вся Россия, читая его «Письма», не только видела перед собою, но и переживала вместе с их автором все важнейшие моменты Отечественной войны». А В. Г. Белинский считал, что русскому стыдно не чи-

тать «Очерков Бородинского сражения», книги, которая «вполне достойна названия народной».

Широкое признание творчества Глинки тех лет выразилось и в том, что он был единодушно избран председателем Вольного общества любителей российской словесности. Но Федор Николаевич не оставлял службы, считал ее своим долгом и отдавал ей целые дни, а поэзии — лишь вечера. В 1816 году Глинка получает чин полковника. Его переводят в гвардии Измайловский полк с назначением состоять при гвардейском штабе. Одновременно Глинку назначают главным издателем «Военного журнала».

В 1819 году полковник Глинка был назначен заведующим канцелярией санкт-петербургского военного губернатора генерала Милорадовича. В его формулярном списке тех лет сказано: «С ведения и по велению Государя Императора употребляем был для производства исследований по предметам, заключающим в себе важность и тайну». На него возложены разные обязанности; Глинка принимает участие в составлении свода узаконений по уголовной части, наблюдает за богоугодными заведениями.

Отношение свое к службе Федор Николаевич всегда, всю свою жизнь, стремился увязать с данным в юности обетом «говорить всегда правду». А потому он неустанно обличал корыстолюбие, взяточничество, нечестность, за что постоянно ощущал на себе неприязнь начальника канцелярии гражданского генерал-губернатора Геттуна, человека ограниченного и не всегда чистоплотного в делах.

В течение нескольких лет Глинке приходилось по делам службы встречаться с Михаилом Михайловичем Сперанским, председателем комиссии по составлению законов. Как-то раз Федор Николаевич пришел к нему по делам и стал рассказывать о своих посещениях приютов и тюрем. Надо заметить, что Глинка всею душою отдавался заботе о больных, калеках, престарелых и заключенных. Целые дни проводил он среди них, беседовал, утешал, составлял списки, кому необходимо помочь, — а потом ходил по присутственным местам, убеждал, доказывал, требовал. Некоторые чиновники не понимали его, посмеивались, стараясь поскорее отделаться. Так вышло и со Сперанским. Глинка, который сам о себе говорил, что он «слишком впечатлителен», долго со слезами на глазах описывал виденные им картины, говорил о том, что несчастным надо помочь. Сперанский долго и терпеливо слушал его, а потом, сделав останавливающее движение рукой, сухо проговорил:

— Успокойтесь, на погосте всех не оплачешь.

«Знание, ум, образованность, — думал Глинка, возвращаясь домой от Сперанского, — но любовь?.. Люди создадут невиданные машины, города, полетят по воздуху, как утверждал тот ржевский купец, да мало ли что еще придумают... Они построят государство, которое будет работать как слаженный механизм, в нем не будет недостатков, пороков, в конце концов, как утверждают французские философы, все люди будут равны, но... жалость? Будет изобилие вещей, всего вдоволь, может быть, даже не станет бедных, но... человеческое тепло? Может быть. и младенца научатся выращивать в пробирке... Но... мать?..»

Давно размышляет он обо всем этом, ищет ответа, а ответ-то здесь, рядом, вспомни лишь волжских жителей, вспомни детство, светлые праздники... Но все что-то томит, не дает успокоиться, особенно после Парижа, словно в душу вошло что-то новое, странное, какой-то помысел непонятный, но томящий. Добрый он или злой — кто подскажет?

Федор Николаевич в те годы, хотя и чувствовал, больше того, умом знал, чем крепка та коренная Русь, откуда силы ее, крепость душевная, но сам-то он, как и большинство дворян того времени, жил больше мечтаниями, и не приходило тогда в голову, что простой крестьянин или сельский батюшка знают о мире больше его, и не томит их ни тоска, ни «аглицкий сплин». Он еще поймет все это, узнает твердо, на всю жизнь, а пока, пока... тоскливо. «Да, надобно ведь знать и то время, — вспоминал он много позднее. — Если рыбу, разгулявшуюся в раздольных морях, посадить в садок, та выплескивает, чтобы вздохнуть Божьим воздухом, — душно ей. И душно было тогда в Петербурге людям, только что расставшимся с полями побед, с трофеями, с Парижем и прошедшим на возвратном пути через сто триумфальных ворот почти в каждом городе, на которых на лицевой стороне написано «Храброму российскому воинству», а на оборотной — «Награда в Отечестве». И разгулявшиеся рыцари попали в тесную рамку обыденности, в застой совершенный, в монотонную томительную дисциплину... Но вот пошли мечты и помыслы».

Повсюду говорили о политике. Судили всяк кто во что

горазд, но еще больше изучали политические учения, привезенные из Парижа. Узнали об английской политической экономии, снова заговорили о парламенте. Офицеры, разбившие Наполеона, вернувшись домой, завистливо вспоминали об устройстве его империи. По воспоминаниям Глинки, политические разговоры происходили «не только у меня или в других квартирах, но заводимы были встречавшимися членами повсюду — на балах, на вечеринках, в театре, везде толковали о политике, и я помню, что часто друг у друга спрашивали: «Вы физиократ или меркантилист?» Только что русские дворяне все поголовно говорили: «Избави нас от французского духа...», а сегодня этот дух вновь цвел огромными желтыми цветами во всех гостиных, домах, даже в усадьбах. «От воды чужой удаляйся и из источника чужого не пей, чтобы пожить многое время и чтобы прибавились тебе лета жизни», — давным-давно еще сказано было. А мы все пьем и пьем...

Федор Николаевич Глинка хорошо все это знал, думал об этом. И все же пылкое воображение стихотворца разыгрывалось в душе его. Время тому споспешествовало. Повсюду возникали и множились масонские ложи, где говорили о «Великом Архитекторе природы» и строительстве храма Соломона, о всемирной религии, об общем благе, о справедливости, об уравнении всех сословий, о гражданских правах, о всемирной республике...

Еще в 1815 году в Петербурге в числе прочих масонских лож возникла под главенством верховной ложи «Астреи» отдельная масонская ложа «Избранного Михаила». Вскоре Глинка был избран наместником «великого мастера», то есть помощником главы ложи. Первое время он был очень увлечен масонством, посещал каждое заседание ложи и даже издал отдельную книжку масонских стихов под названием «Единому от всех».

Масонство было «завезено» в Россию еще в XVII веке и широко распространилось в восемнадцатом. Однако большинство русских масонов не имели ни малейшего понятия о истинных целях его. При Александре I, склонном к мистике и реформаторству, оно получило широчайшее распространение. Сперанский вообще хотел превратить всю страну в большую масонскую ложу. Известны записки Гауеншильда, служившего при Сперанском в Комиссии законов. Гауеншильд писал в них о масонской ложе, учрежденной «реформатором немецкого масонства» Фесслером в Петербурге, куда входил и Сперанский. «Предполагалось, — пишет он, — основать масонскую ложу с филиальными ложами по всей Российской империи, в которую были о б я з а н ы (выделено мною. — *В. К.*) поступать наиболее способные из духовных лиц всех состояний». Гауеншильд вспоминал и о том, что Сперанский при первом же свидании с ним заговорил о «преобразовании русского духовенства». В начале XIX века масоны были всюду — в ближайшем государю «негласном комитете», в Государственном совете, при дворе, среди писателей, в армии и даже в Синоде. Уничтожение всех вероисповедных, национальных, сословных перегородок, установление всемирного единообразия — вот что было главной целью масонства, несмотря на некоторые различия внутри его — часть масонов поддерживала и распространяла идеи французской буржуазной революции, другая, отмежевываясь от «вольтерьянства», создавала внецерковную мистику на основе отдельных выдержек из Ветхого завета, «восточной мудрости», язычества и «христианских» ересей. Установление всемирного правительства «вовне» и внутренний культ «Великого Архитектора Вселенной», то есть, иными словами, «князя мира», — вот к чему в целом можно свести тайные идеи масонства XVIII—XIX веков. Большое количество «степеней посвящения» в ложах, руководимых «мастерами», связанными с «мастерами» и «гроссмейстерами» иностранными и находившимися у них в подчинении, разные «уровни знания», строжайшая иерархия, строгое соблюдение тайны — все это имело целью «всемирное строительство» под единым началом.

Среди масонов были и люди высокого благородства, люди творчески и душевно одаренные, выдающиеся писатели и государственные деятели, но в целом масонство несло миру, часто помимо воли рядовых членов, то же самое, что нес миру Наполеон Бонапарт, тоже, кстати, масон высокой степени посвящения. В связи с этим советский исследователь Г. Макогоненко писал, что «масонство в целом как идеологическое движение, характерное для XVIII века, было явление антиобщественное. Этим и объясняется, в частности, что в дальнейшей своей истории в XIX и XX веках оно превратилось в активнейшее против трудящихся масс движение».

На одном из заседаний ложи «Избранного Михаила» Глинка знакомится с племянником знаменитого масона Н. И. Новикова Михаилом Новиковым. Они понравились друг другу и после собрания долго гуляли по набереж-

ным Невы. Тогда Новиков впервые сказал Глинке, что масонство — это не только мистический ритуал, не только таинственные собрания, но и политика. И он поведал ему о том, что существуют тайные политические общества, и одно из них — «Союз Спасения», членом коего он имеет честь являться, по словам Новикова, имело целью борьбу с несправедливостью, с злоупотреблениями чиновников, с беззакониями правительства, за изменения в общественном устройстве.

— Надобно и вам войти туда. Человек с вашим сердцем не может не быть с нами, — сказал тогда Глинке Новиков.

Вскоре полковник Глинка стал членом «Союза Спасения», а затем и «Союза благоденствия Северных рыцарей». При этом Глинка считал, что общество должно быть благонадежно по отношению к правительству, а задачей его полагал выявление злоупотреблений и сообщение о них императору. В дальнейшем, считал он, «Союз благоденствия» должен стать законно действующей организацией благотворительного и обличительного направления.

Федор Николаевич Глинка всегда был патриотом и смотрел на масонство как на патриотическое служение, служение в самом высоком смысле этого слова. Он не знал тогда, что масонство выдвигает установку о двойной ответственности члена ложи —перед «братьями», руководимыми иностранными «мастерами», причем последнее для «вольного каменщика» — выше, главнее, ответственнее.

И все же уже тогда между Глинкой и другими «братьями» начала образовываться сперва незаметная, а потом все более явная трещина, особенно с теми, которые смотрели на Запад как на идеал и даже говорили о желательности распространения в России католичества. Глинка же, наоборот, считал, что причина общественных и государственных неурядиц именно в подражании иностранным обычаям, думал, что как раз обличение этого подражания, заискивания — долг члена тайного общества. Знал ли он, что пытается совместить несовместимое? Тогда еще не знал.

А пока что на заседаниях «Союза благоденствия» все чаще слышалось слово «конституция», многие предлагали переходить к «решительным действиям». Глинка сперва недоумевал, а потом сначала робко, а позже все более решительно начал выражать несогласие.

— Господа, — говорил Глинка. — Я человек сему делу чуждый и благодарю вас за доверенность вашу, и мой совет и мое мнение может быть только, что на любви единой зиждется благо общее, а не на брани.

Глинке решительно возражали, но тот оставался непреклонен. В январе 1820 года на квартире его собралось большое общество, в том числе Пестель и будущие руководители восстания на Сенатской площади. Пестель сказал, что целью всех тайных обществ должно стать установление республиканского строя. Все одобрительно зашумели. Один лишь хозяин квартиры молчал.

Устроили голосование. Все высказались за республику, один лишь Глинка «проголосовал» за монархию, высказываясь в пользу императрицы Елизаветы Алексеевны.

Вскоре после этого заседания «Союз благоденствия» распался, и Глинка от деятельности тайных обществ отошел, а в образовавшееся через некоторое время Северное общество вступить отказался.

Но уединиться, отойти от всех дел как раз и не получалось. Все время кто-то приходил, что-то требовал, куда-то тянул, и все назад, туда, откуда вот-вот, казалось, вырвался...

Как-то встретил он на улице своего приятеля Александра Бестужева, и тот сказал:

— Ну вот и приспевает время.

— Смотрите, не делайте никаких насилий, — ответил Глинка и пошел прочь.

А еще помнил Федор Николаевич, что в 1820 году, вскоре после роспуска «Союза благоденствия», когда он уже начал отходить от тайных обществ, пришел к нему как-то утром молодой человек небольшого роста, сутуловатый.

— Титулярный советник Григорий Абрамов Перетц, — представился он.

— Что вам угодно?

— Я много слышал о вас, ваше благородие, и хотел выразить вам глубокое почтение мое и моей семьи за добрые дела, которые вы делаете. Я знаю, что вы повсюду заступаетесь за бедных, несчастных, что...

— Полноте, это мой долг.

Разговор пошел непринужденный, и Перетц рассказал Глинке о том, что и сам хотел бы заниматься тем же, что сердце его уязвлено страданиями людей. После долгого разговора, как вспоминал позднее сам Глинка, Перетц «впрашивался в масоны». «В масоны» Федор Николаевич

ему отказал, сославшись на то, что не уполномочен верховной ложей, но пообещал содействие в приеме Перетца в благотворительное общество «наподобие Ланкастерского». Расстались они дружески.

Григорий Абрамович Перетц был сыном известного в Петербурге откупщика Абрама Перетца, или Перца, как называл его Державин.

После той беседы Федор Николаевич и Перетц действительно еще несколько раз встречались, но дело сводилось больше всего к тому, что Григорий Абрамович, зная наклонности Глинки к мистике, рассказывал ему всевозможные курьезы из области кабалистики. Он также носил Глинке свои стихи, о которых тот отзывался довольно нелестно. Были, конечно, разговоры и о политике, но о политике тогда говорили все. Как вспоминал позднее Глинка, Перетц однажды заговорил о широких планах своего отца по созданию в Палестине иудейского государства, на что Глинка сказал ему: «Так вы, никак, хотите конец света приблизить?»

И все же встречи эти становились все более редки. Глинке хотелось одиночества, хотелось самому разобраться во всем, что происходит вокруг. Он даже стал забывать о Перетце, больше думая о надвигавшихся на Россию событиях.

25 ноября в Таганроге неожиданно скончался император Александр, а 14 декабря вышли на Сенатскую площадь и привели с собой верные им полки члены Северного тайного общества. Восстание потерпело поражение. Начались аресты.

После неудавшегося восстания сторонником наиболее жестких, точнее, жестоких мер был Сперанский, которого декабристы хотели включить в свое правительство. Вместе с Бенкендорфом он настаивал на мучительной и позорной казни — четвертовании — пятерых руководителей восстания и расстреле остальных. Людям, знавшим Сперанского по его либерализму начала века, это казалось странным, немыслимым. Но тот же самый Сперанский писал Устав военных поселений, он же активно поддерживал Библейское общество, которое под видом «мистического христианства» навязывало России, с одной стороны, протестантизм, с другой — сектантство и самые темные и нелепые предрассудки; теперь он поддерживал душителя университетов Магницкого, он же требовал четвертования декабристов. Что ж, вся эта «деятельность» Сперанского вполне логична, если вспомнить о его

принадлежности к масонству, всегда ставящему на несколько карт сразу...

Вскоре был арестован и Федор Николаевич Глинка — по совершенно неожиданному для него обвинению в создании тайного общества «Хейрут» (по-еврейски — «свобода»). Основанием для обвинения служили показания титулярного советника Григория Перетца. Началось следствие, одно из самых запутанных и трудных во всей истории следствий над участниками тайных обществ.

Кстати, незадолго до восстания на Сенатской площади, как писал старый революционер Я. Д. Баум, «двенадцатого или тринадцатого числа Перетц обратился к действительному статскому советнику Василию Петровичу Гурьеву с просьбой, чтобы он довел до сведения графа Милорадовича (военного генерал-губернатора Петербурга. — *В. К.*), что на случай восшествия на престол Николая Павловича можно ожидать возмущения. Одновременно Перетц написал записку великому князю Николаю Павловичу, в которой предлагал провести целый ряд преобразований. Главнейшими из них были разрешение споров между казной и частными лицами в пользу частных лиц (что на деле привело бы к быстрому развитию капитализма) и употребление в России займа банкира Ротшильда. Это «нововведение» наряду с установлением «личных свобод», прежде всего свободы предпринимательства, должно было, по мнению Перетца, решить все проблемы России. Тем самым совершенно очевидно, что для осуществления своих целей Перетц пытался использовать все силы в России, какие только возможно, — декабристов, писателей, Милорадовича и даже будущего императора Николая I. Все зависело от того, кто возьмет верх. Одновременно, по свидетельству Я. Д. Баума, Перетц собирался вместе с семьей в конце декабря уехать в Англию, где у него было приготовлено значительное состояние, то есть приготовил даже пути отступления.

На допросах все декабристы — Рылеев, Пестель, Бестужев-Рюмин, Волконский — говорили, что Григория Перетца они не знают и в их тайном обществе таковой не состоял. Александр Бестужев заявил: «Я знаю только по слуху бывшего банкира Перетца, но о титулярном советнике слышу впервые». Одновременно по показаниям Искрицкого Перетц якобы длительное время вел агитацию среди жителей Петербурга. Сам Перетц на допросе заявил, что в «свободном образе мыслей» его укрепил полковник Глинка и что они вместе с Семеновым и Ку-

тузовым составляли тайное общество «Хейрут». О Глинке на допросе Перетц сказал так: «Мое о том показание совершенно искренне, и я готов сказать ему сие в глаза; явных и ясных доказательств не имею и иметь не могу... сие в подобных делах почти невозможно». 11 марта 1826 года Григорий Перетц обратился с письмом к генералу Левашову. В нем было сказано: «...Ваше превосходительство обещали мне спасение, если скажу правду, я исполнил волю Вашу...»

Федор Николаевич на всех допросах утверждал, что Перетц «пустословит». Он подробно изложил на бумаге обстоятельства всех встреч с ним, все их беседы. Утверждать то, что Глинка говорил неправду, вряд ли правомерно, так как не представляется возможным допустить нарушение им обета. Я. Д. Баум также свидетельствует, что никаких собраний общества «Хейрут» не происходило, были просто люди, знакомые между собою и ходившие друг к другу в гости.

Глинка знал о готовившемся восстании, но, сам не участвуя в его подготовке, на следствии вообще отказался говорить об этом и никого не выдал, следуя правилам чести. Когда же его попросили письменно разъяснить свои убеждения, Федор Николаевич с радостью согласился и написал: «Я представляю себе Россию как некую могучую жену, спокойно, вопреку всего почивающую. В головах у ней, вместо подушки — Кавказ, ногами плещет в Балтийское море, правая рука ее накинута на хребет Урала, а левая, простертая за Вислу, грозит перстом Европе. Я знаю, я уверен, что превращать древнее течение вещей есть то же, что совать персты в мельничное колесо: персты отлетят, а колесо все идет своим ходом. Вот моя политическая вера!»

Кутузов и Семенов также отказались подтвердить показания Григория Перетца, и лишь после того, как его заковали в кандалы, Семенов сказал, что между ним, Глинкой и Перетцом существовала «политическая связь». Что это такое — неясно, и показание это настолько расплывчато, что к нему вряд ли можно отнестись серьезно. Кутузов же заявил то же самое, что и Глинка, — что Перетц «пустословит».

Семейство Перетцов, по свидетельству Я. Д. Баума, было связано с кланом Ротшильдов, принадлежало к крупной еврейской буржуазии, цель которой — господство над миром. Русский народ, никогда не знавший расовой ненависти, свободно включал в свою среду всех,

кто принимал его духовные ценности, его духовный мир. Более того, мировоззрение, господствовавшее в русском народе, взывало ко всем людям, совершенно независимо от их плоти и крови, взывало «всем спастися и в разум истины прийти». Но именно такая Россия и мешала Перетцам, Ротшильдам и другим им подобным. Мешала созданию всемирной, по выражению Павла Ивановича Пестеля, «аристократии богатств», которая, по его же выражению, «гораздо более страшна для народов, чем предшествующая ей аристократия феодальная». Орудием этой «аристократии богатств» было и остается по сей день масонство, «активнейшее против трудящихся масс движение».

А Федор Николаевич Глинка был заключен в Петропавловскую крепость в одиночную камеру и ожидал своей участи. Потянулись томительные тюремные дни, когда не видишь никого, кроме надзирателя и часового вдалеке, когда не знаешь, что ждет тебя впереди и как оборвется жизнь. Что делал и о чем думал Глинка в камере, нам неизвестно. Сохранилась лишь тетрадь его стихотворений, которая так и называется «Тюремная тетрадь».

Одно из лучших стихотворений этой тетради носит название «Повсеместный свет»:

На своде неба голубого,
Реки в волнистом серебре,
На трубке в желтом янтаре
И на штыке у часового —
Повсюду свет луны сияет!
Так повсеместен свет иной,
Который ярко позлащает
Железный жребий наш земной!

«Да, повсеместен свет добра и любви, — думал, быть может, узник. — Но вокруг меня лишь тьма, и силы ее рвутся поглотить меня, бросить в свои ужасные бездны. В чем же дело? Неужели в том, что само сердце мое темно, что пленился я любовью к самому себе, что нет во мне ни капли света, ни капли любви? Все, что вокруг меня, все эти «братья-каменщики», Перетцы, клеветники — это я сам, мое отражение, мое сердце, исчадья меня самого... Я сам и один лишь я виновен...»

«Глинка невиновен». Говорят, это были последние слова, сказанные перед кончиной генералом Милорадовичем, смертельно раненным на Сенатской площади. Известно, во всяком случае, что в последние минуты своей

жизни Михаил Андреевич просил передать Николаю I свою просьбу пощадить полковника Глинку.

Вскоре Федор Николаевич был вызван к императору. На допросе он прямо заявил:

— Ваше величество, перемены образа правления я никогда не желал, а только больше правды.

— Надеюсь, что до того доведу, — сухо ответил новый император.

В конце беседы государь подвел ее итог. Он помахал рукой над головой Федора Николаевича и сказал:

— Глинка, ты совершенно чист, но все-таки тебе надо окончательно очиститься.

После встречи с императором Глинка снова просит Следственный комитет дать ему «возможность ответствовать на вопрошания, доставить случай пред очами комиссии посмотреть в очи тех или тому, кто решился обвинять меня по злобе или заблуждению». В своей записке он пишет о том, что виною всему его прежняя борьба с злоупотреблениями, говорит о «подспудных доносителях» и «ловителях», о том, что все обвинение против него — результат клеветы и доносов. Ответа на записку не последовало. Федор Николаевич обращается к графу Бенкендорфу лично. Ответа опять не последовало. Но ведь граф Бенкендорф — масон! Об этом Глинка знал точно как «брат» его по масонству. Закон «ордена» — взаимная выручка. Почему же не выручают его «братья-каменщики»? Правда, когда он начал отходить от тайных обществ, он услышал краем уха, что некоторые из тех, кто почитал его и называл его «другом человечества», говорят теперь о нем как о «враге» (и даже «предателе»). Но он никогда не придавал этому значения. Мало ли что болтают... Но почему Перетц появился сразу после распада «Союза благоденствия», после выступления его против республики? Может быть, все это — чрезмерная подозрительность? «Да, но ведь я действительно не шел в ногу со всеми ими... — думал Глинка. — В чем же дело? Чего от меня хотят? И куда смотрит император? А может быть, ссылка — это лучшее для меня, во избежание еще более страшного? Во всяком случае, государь молчит».

Глинка пишет в это время одно из самых странных и загадочных своих стихотворений. Оно было названо «Ловители» и вскоре стараниями друзей-писателей появилось в «Московском телеграфе».

Глухая ночь была темна!
Теней и ужасов полна!
Не смела выглянуть луна!
Как гроб, молчала глубина!
У них в руках была страна!
Она во власть им отдана...
И вот, с арканом и ножом,
В краю мне, страннику, чужом,
Ползя изгибистым ужом,
Мне путь широкий залегли,
Меня, как птицу, стерегли...
Сердца их злобою тряслись,
Глаза отвагою зажглись,
Уж сети цепкие плелись...
Страна полна о мне хулы,
Куют при кликах кандалы
И ставят с яствами столы,
Чтоб пировать промеж собой
Мою погибель, мой убой...

Что за «сети цепкие», которыми «оплели страну», кому отдана она «во власть», что за сокрытая, невидимая сила правит людьми? Не начинает ли Глинка осознавать, что законы вездесущего «братства», к которому принадлежал и он сам, — законы кровавые, что ему уготована месть как отступнику, как человеку, посмевшему пойти своим собственным, независимым от них путем. Чью волю, чьи приказы исполняют «ловители», кто истинный их хозяин? Но если «страна у них в руках», значит — водораздел между «ловителями» и их жертвами не равнозначен водоразделу между властью и ее противниками, значит, «ловители» везде — сверху донизу, но, значит, и жертвы их тоже везде...

Стихотворение «Ловители» позже полностью перешло в поэму «Карелия», в воспоминания монаха о бесовских искушениях, а в поэме «Иов» появляется и главный «ловитель» — сатана.

В поэме же «Дева карельских лесов» Глинка называет «расчетливым ловителем» холодный рассудок, который «обаял» сердца людей и тем самым убил в них «огонь небес» мечтой «построить» рай на земле. «Ловители» воплощенные оказываются тем самым орудиями «ловителя» бесплотного, невидимого, но тем более страшного.

Но все это будет написано Глинкой в будущем, а пока участь Федора Николаевича решена — 9 июля 1826 года он отставлен от военной службы и сослан на жительство в Олонецкую губернию.

В ссылку Глинка был отправлен на перекладных и под стражей. Теперь, по дороге, есть возможность подумать, оценить, взвесить прошедшую жизнь, понять, что же, собственно, произошло. Страшные, разрушительные, темные силы губят Россию, вставшую у них на пути, — теперь это ему предельно ясно. Но что делать с ними, как быть? Можно ли одолеть их силой, не заразившись от них тьмою? Но чем больше думаешь о них, чем больше вступаешь с ними в какие-либо отношения, пусть даже и в борьбу, тем больше даешь им жизненную силу, тем больше их становится вокруг. Отойти, навсегда отойти от всего этого, и тогда победить. «Яко исчезает дым, да исчезнут...» — твердил про себя Глинка знакомые с детства слова. Истинная брань — брань невидимая, не с злыми людьми, но с самим духом злобы. Измениться самому, стать лучше, добрее, и тогда все вокруг тебя будет иным. И прежде всего не искать правды в этом душном, пыльном, мутном воздухе, в этих источниках смешанного света, в этом мистическом мóроке. Надо встать обеими ногами на твердый камень, тот самый, на котором стояли деды, прадеды и прапрадеды. На камень единственной истины, единственной правды. И тогда все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо...

И вот Олонецкий край...

Живя жизнью ссыльного чиновника, Глинка не прерывает поэтического труда. Одно из стихотворений тех лет называется «Прояснение».

Я обрастал земной корою,
Я и хладел и цепенел,
И, как заваленный горою,
Давно небесного не зрел!

Но вдруг раздвинул кто-то мрачность —
И вот незримы голоса!
И, как с поднебьем вод прозрачность,
С душой слилися небеса...

В июне 1828 года в Петрозаводск приехал П. П. Свиньин, издатель «Отечественных записок», путешествовавший по Олонецкой и Архангельской губерниям. С ним Глинка передавал «усердные поклоны» Пушкину и Гнедичу, а также написанное им послание к издателям «Северной пчелы» и отрывок о Киваче из поэмы «Карелия».

«Карелия, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой», как называл ее сам Глинка, — произведение лес-

ное и горно-каменное». По этой поэме можно, словно по учебнику краеведения, изучать природу Олонецкого края, быт, нравы и предания карелов и русских переселенцев. С первых же стихов ее:

Пуста в Кареле сторона,
Безмолвны Севера поляны... —

и до эпилога, рассказывающего о том, как хранят карельцы предания о своей земле, поэму пронизывает любовь к этой северной стране, где «долго снег лежит буграми и долго лед над озерами упрямо жмется к берегам, где блещет зеркало страны — новорожденная Онега», где «снуют по соснам пауки, и тучи, тучи насекомых в веселом воздухе жужжат: взлетает жаворонок высоко, и от черемух аромат лиется долго и далеко... И в тайне диких сих лесов живут малиновки семьями: в тиши бестенных вечеров луга, и бор, и дичь бугров полны кругом их голосами», где «над Кивачом, на выси дальней горит алмазная звезда»...

Но все же поэма не только и, главным образом, не об этом, сила поэмы — в осмыслении исторической судьбы России, в ощущении связи жизни вселенской и жизни исторической, неразрывного единства природы, народа и государства. Вся она основана на летописной правде. Чтобы понять ее смысл и место в творчестве, да и в жизни Ф. Н. Глинки, необходимо хотя бы кратко сказать о событиях, легших в основу ее содержания.

Два с четвертью века назад в Толвуйском Егорьевском погосте, одном из древнейших русских поселений Заонежья, появилась тридцатилетняя инокиня Марфа, монахиня не старая, но полная внутренней силы. За инокиней, как за ссыльной, был послан пристав, который был обязан доносить о каждом ее движении. Место жительства ей было определено в ста верстах к северо-востоку от губернского города Олонецкого края. Место ссылки ее граничило с Повенецким уездом, областью непроходимых лесов, тянувшихся на бесконечное расстояние и на восток, к Архангельску, и на юг, до Вологды, и далеко-далеко на север, к лопарям. Когда-то в древности Толвуя была владением Великого Новгорода, с падением его стала далекой северной «украйной» Московской Руси. Там жили русские поселяне, а поблизости, в лесах, правда не очень углубляясь в них, — карелы.

Про инокиню вскоре узнали, что она — из опального рода, который преследует «самоохотный» царь Борис

Годунов. Из милосердия местные крестьяне Глездуновы, Тарутины и Сидоровы передавали письма ее в далекий Антониев Сийский монастырь, где жил ее бывший супруг, насильно постриженный Филарет — Федор Никитич Романов.

На Севере инокиню Марфу полюбили за добрый нрав, кротость, соединенную с душевною силой, молитвенный дар. Верили люди и в то, что царский сан больше подобает ей, чем человеку, о котором упорно поговаривали, что на крови царство его...

В Смутное время архимандрит Филарет — Федор Никитич Романов — был направлен послом в Польшу, где отказался от союза с захватчиками, вместе с патриархом Гермогеном стоял до конца за православие и независимое Русское государство. Поляки бросили его в темницу, где он провел несколько лет.

Общенародное движение, возглавляемое Мининым и Пожарским и перед мученическою кончиною благословленное патриархом Гермогеном, шло под зовом восстановления законной власти, утверждения ее единой волей «земли». Во время освободительной войны был созван Земский собор, который 21 февраля 1613 года постановил просить Михаила Романова, сына Филарета и Марфы Иоанновны, принять венец и державу. Михаил находился в то время под Костромой в селе Домнине вместе с матерью, а вскоре они перебрались в Ипатьевский монастырь. После долгих уговоров Марфа Иоанновна благословила сына на царство, и уже второго мая Михаил Федорович торжественно въезжает в Москву. Мать его стала именоваться теперь великой государыней старицей инокой Марфой Иоанновной.

О жизни Марфы Иоанновны в Карелии, о людях, хранивших ее там, о переломе в судьбе Русского государства — обо всем этом повествует сочинение Федора Глинки. Поэма эта, как уже говорилось, полна замечательных по своей красоте и одухотворенности картин северной природы, но все же главное в ней — люди. «Если мы обратимся к истории, — писал Н. А. Добролюбов, — то найдем, что из простолюдинов наших очень нередко выходили люди, отличавшиеся и силой души, и светлым умом, и чистым благородством своих стремлений, в самых трудных положениях, на самых высоких ступенях государственных, в самых разнообразных отраслях наук и искусств. Вспомним, например, темного мещанина нижегородского Минина, спасшего Россию в

то время, когда не было в ней ни царя, ни порядка, ни заготовленных ранее сил... Вспомним другого простолюдина, костромского мужика Сусанина, твердо и непоколебимо верного своим понятиям о долге, бесстрашно пожертвовавшего жизнью для спасения царя, в котором видел спасение всей России».

В поэме Глинки один из главных героев — «крестьянин, честный Никанор, житьем карел, душою русский». Он везет тайное послание на Русь и, возвратясь из дальнего пути, привозит весть о решении Земского собора. Появляется и Маша, дочь его, рассказывающая Марфе Иоанновне карельские сказки про леших, водяных, богатыря Заонегу, Вейнамену... Появляется и отшельник, предсказывающий судьбу будущего царя Михаила.

Повествование Ф. Глинки заканчивается могучим по силе патриотическим зовом, возложенным в уста Михаила и Марфы.

О, пробудись, страна родная!
Он пал, самоохотный царь[1]!
Зови царей своих законных!
Вдовеет трон твой и алтарь!..
Мы кровь уймем, утишим стоны:
Как любим русских мы людей —
Бог видит!.. Мы не мстим!.. Любовью
Взовем мы верных и друзей,
И до кончины наших дней
За кровь не воздадим мы кровью...
Как жажду видеть я Москву,
Читать любовь там в каждом взоре
И преклонить свою главу
К святым мощам в святом соборе!

Поэма Федора Глинки «Карелия, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой» была напечатана в Петербурге отдельной книжкой. Напечатаны были и стихотворения его. Почти все журналы того времени так или иначе откликнулись на них. Мнение о поэме «Карелия» было единодушно восторженным. «Северный Меркурий» писал так: «Наиболее природный из русских стихотворцев есть Федор Николаевич Глинка. Доброжелательная любовь к родной стране и производимая ею полнота души, тонкое чувство изящного, открывшее тайну поэзии в русской природе, в русских нравах, в политической жизни России, русский язык со всей его выразительностью,

[1] Здесь под самоохотным царем имеется в виду уже не Борис Годунов, а Дмитрий Самозванец.

точностью, гибкостью и благозвучием — вот, по нашему мнению, отличительный характер того рода стихотворений Глинки, который ставит его, в отношении к народности, на первое место между русскими стихотворцами и делает сего поэта драгоценным достоянием России».

Шел 1830 год. Тяжелые условия ссылки, безденежье, полуголодное существование, равно как и непривычные погодные условия севера, начинали сказываться. И все же годы уединения, проведенные писателем среди скал, сосновых боров и мшистых болот, вдали от городской суеты, в раздумьях о древних путях родины, наложили на душу его отпечаток неизгладимый, отпечаток мужественного смиренномудрия.

Плыви, о влага голубая,
С своим кипучим жемчугом,
И обтекай меня кругом,
Струей узорчатой играя...
В твоей живительной волне
Переродилось все во мне... —

писал в то время Федор Николаевич.

Душа Глинки действительно «переродилась», обновилась. Его не волнуют больше вымыслы, нагромождения надуманных построений. От рассудочной темной мистики Глинка пришел к живому народному чувству, к простой, сердечной вере, той самой, что уже почти тысячу лет жила на Руси. Эта вера, войдя в душу Федора Николаевича, перешла в его существо, в плоть и кровь.

А тем временем в Петербурге Пушкин, Жуковский, Гнедич и другие хлопотали о возвращении ссыльного стихотворца в столицу. Выхлопотать такое разрешение не удалось, однако 4 марта 1830 года советник Олонецкого губернского правления Ф. Н. Глинка был переведен на ту же должность в Тверское управление.

И снова Волга! Снова эта полноводная струя, кормилица коренной Руси, уже не хмурые, но веселые красные сосновые боры по высоким берегам, ручьи, бегущие по склонам, и не огромные скалы, но небольшие круглые валуны, разбросанные по полям. Снова звонкий утренний благовест над Тверью, старые березы, шумящие над крышами одноэтажных деревянных домов, близость Москвы, Петербурга, Ярославля. И еще надежда — послужить Отечеству, доказать, что любовь к нему — не слова, но искренняя дума сердца.

В первый же год пребывания в Твери в одном из городских собраний Федор Николаевич познакомился с Авдотьей Павловной Голенищевой-Кутузовой. Казалось, что у них все, все общее — думы, чувства, чаяния сердца. И оба они были уже не в юношеском возрасте, чувства стали зрелыми, окрепли навсегда. Глинке же после всего пережитого встреча с Авдотьей Павловной показалась неожиданным подарком судьбы. С тех пор они не расставались. Как писал автор воспоминаний о Ф. Глинке, опубликованных в 1877 году в «Русском вестнике», Ольга Н., «супруги жили не только дружно, но постоянно и добросовестно восхищались друг другом». Венчание их состоялось в 1830 году в Твери, во Владимирской церкви, перед тем же алтарем, где через тридцать лет потом отпевали Авдотью Павловну.

Вскоре после венчания молодые отправились в село Кузнецово Бежецкого уезда Тверской губернии — родовое имение Голенищевых-Кутузовых. Счастье молодых было, однако, омрачено болезнью матери Авдотьи Павловны, и новобрачная почти все время проводила у ее постели. Федор Николаевич целые дни был предоставлен самому себе и посвятил свое время исследованию местности и древностей, оставшихся там в изобилии, там же написал книгу «О древностях в Тверской Карелии». После ее выхода в свет Ф. Н. Глинка был избран членом Российского археологического общества.

В 1832 году Федор Николаевич Глинка был переведен в Орел на ту же должность советника, а в 1835 году уволен от службы с награждением чином действительного статского советника. В том же году он вместе с Авдотьей Павловной переезжает в Москву, где супруги поселяются на Садовой.

Федор Николаевич быстро втягивается в жизнь древней русской столицы. Среди друзей его — князь Дмитрий Владимирович Голицын, участник войны 1812 года, теперь московский градоначальник, московские писатели Погодин, Шевырев, Хомяков, Лажечников, В. Даль, Загоскин и другие. При всей разнице взглядов этих людей, каждый из них искренне привязан к любимому городу, к долгому и славному минувшему его. Каждый понедельник у Глинок собирается московское общество — писатели, художники, военные. Складывается постоянный круг, в который входят почти все сотрудники журнала «Москвитянин» и его авторы. Устраивает сольные вечера Авдотья Павловна — играет на рояле, читает

свои стихи, исполняет известные тогда романсы. Порою обсуждаются вопросы политики, общественной, духовной жизни. «Понедельники» Глинок становятся заметным явлением московского быта того времени. Заметными становятся и печатные выступления Ф. Н. Глинки, прежде всего в журнале «Москвитянин», газете «Московские ведомости».

Много сил отдал Федор Николаевич участию в подготовке к празднованию семисотлетия Москвы, которое состоялось в 1847 году. Горячая любовь Глинки к древней русской столице нашла свое выражение и в его послесловии к книге П. Хавского «Семисотлетие Москвы».

«Много в прошедшем поучительного, — сказано в этой книге, — много утешительного для будущей судьбы нашей. Сложите вместе все происходящее в человечестве; из сего сложения, как из сочетания букв и слогов, — образуется слово, которое скажет вам поучение о действиях благого и попечительного промысла. Соедините также события, разбросанные на пространстве седьми столетий бытия Москвы, из них, как из соединения различных речений, составится мысль, которая возвестит вам ту же тайну промысла; разверните свиток минувших лет собственной жизни вашей, и на нем вы увидите начертание той же тайны, которая совершается и в вас и вас ведет к спасению...

Сия же тайна или часть сея тайны является в хранении или возвышении боголюбивого града Москвы. Что это значит? При каждом столетии изрекается ей новое сильное испытание — Москва терпит, покорно преклоняется под руку испытующего и идет от славы в славу...»

Тогда же, к годовщине семисотлетия Москвы, Федор Николаевич пишет знаменитое свое стихотворение «Москва».

Город чудный, город древний,
Ты вместил в свои концы
И посады, и деревни,
И палаты и дворцы!

Опоясан лентой пашен,
Весь пестреешь ты в садах:
Сколько храмов, сколько башен
На семи твоих холмах!

Исполинскою рукою
Ты, как хартия, развит
И над малою рекою
Стал велик и знаменит!

На твоих церквах старинных
Вырастают дерева;
Глаз не схватит улиц длинных...
Это матушка Москва!

Кто, силач, возьмет в оханку
Холм Кремля-богатыря?
Кто собьет златую шапку
У Ивана-звонаря?

Кто Царь-колокол подымет?
Кто Царь-пушку повернет?
Шляпы — кто, гордец, не снимет
У святых в Кремле ворот?

Ты не гнула крепкой выи
В бедовой своей судьбе, —
Разве пасынки России
Не поклонятся тебе!..

Ты, как мученик, горела,
Белокаменная!
И река в тебе кипела
Бурнопламенная!

И под пеплом ты лежала
Полоненною,
И из пепла ты восстала
Неизменною!

Процветай же славой вечной,
Город храмов и палат,
Град срединный, град сердечный,
Коренной России град!

В сороковые годы Федор Николаевич вместе с женой часто ездит в Тверскую губернию, в село Кузнецово, бродит по знакомым холмам и сосновым борам, пишет стихи. Многие из них остались в черновиках: часть их Глинка не хотел печатать сам, часть не успел доработать. Часть стихотворений Глинка отправляет Погодину, который уже давно готовит сборник его для издания.

Стихи Федора Глинки этого времени — стихи космические, стихи вселенского, философского звучания. Разве что с поэзией никому тогда еще не известного Тютчева перекликаются они. Вот еще одно стихотворение Глинки той поры:

Когда б я солнцем покатился,
И в чудных заблистал лучах,
И в ста морях преобразился,
И оперся на ста горах;

Когда б луну — мою рабыню —
Посеребрял мой длинный луч, —
Цветя воздушную пустыню,
Пестря хребты бегущих туч;

Когда б послушные планеты,
Храня подобострастный ход,
Ожизненные мной, нагреты,
Текли за мной, как мой народ;

Когда б мятежная комета,
В своих курящихся огнях.
Безумно пробежав полсвета,
Угасла на моих лучах —

Ах, стал ли б я тогда счастливым,
Среди небес, среди планет,
Плывя светилом горделивым?..
Нет, счастлив не был бы я... нет!

Но если б в рубище, без пищи,
Главой припав к чужой стене,
Хоть раз, хоть раз, счастливец нищий,
Увидел Бога я во сне!

Я б отдал все земные славы
И пышный весь небес наряд,
Всю прелесть власти, все забавы
За тот один на Бога взгляд!..

Стихи Глинки — удивительно целомудренны, сдержанны, в них почти нет описания собственных чувств, интимных переживаний. Встреча человека и огромного мира, космоса, целого мироздания — вот что главное в творчестве Глинки. Отречение от своеволия, от самопревозношения — вот к чему стремится поэт. В одном из черновых своих стихотворений он пишет о том, что вышел прочь «из ладьи утлой и шаткой», и добавляет: «Волею звали ладью». Может быть, именно поэтому в поэзии зрелого Федора Глинки почти нет того, что принято называть «любовной лирикой». Более того, у него вообще почти нет стихов о себе самом. Даже там, где речь ведется от первого лица, это «я» — условное, поэтическое. В своих стихах поэт дает заговорить самой стихии, самой жизни...

...И жизнь мировая потоком
Блестящим бежит и кипит:
Потока ж в поддонье глубоком
Бессмертия тайна лежит.

В поэзии Федора Глинки этого времени усиливается патриотическое звучание. Любовь к Отечеству у поэта все

более одухотворенная, возвышенная. Он много пишет о минувшей Отечественной войне, переиздает напечатанные ранее, еще в двадцатые годы, военные стихи из сборника «Подарок русскому солдату»: в «Москвитянине» печатаются его воспоминания о кадетском корпусе, о генерале Милорадовиче, о походах русской армии.

Широко известны в то время были и стихи Глинки, написанные в 1853 году, в Твери, в преддверии Крымской войны, когда слухи об ополчении на Россию трех держав — Англии, Франции и Турции — уже упорно распространялись по Европе. В условиях, когда дипломатия еще прилагала усилия для предотвращения столкновения, по столицам в списках начали расходиться патриотические стихотворные послания. В письме к Н. Гнедичу Федор Николаевич писал тогда: «...замечательно, что с первою угрозою Отечеству первые засвистали соловьи поэты». Сам он написал тогда стихотворение «Ура! На трех ударим разом!», которое вскоре совершенно неожиданно для автора было переведено на венгерский, румынский, болгарский, сербский и даже японский и китайский языки, и за границей оно появилось раньше, чем на родине. На пороге новой войны поэт вспоминал о прошедшем, о днях, вечно памятных русскому сердцу, о двенадцатом годе.

...И двадцать шло на нас народов,
Но Русь управилась с гостьми.
Их кровь замыла след походов,
Поля белели их костьми!

...Но год двенадцатый не сказки,
И Запад видел не во сне,
Как двадцати народов каски
Валялися в Бородине...

Когда Федор Глинка писал эти стихи, он был уже петербургским жителем. В 1853 году Авдотья Павловна неожиданно получила большое наследство, и Глинки, до сей поры жившие, мягко говоря, скромно, неожиданно разбогатели и поселились в Петербурге. Федора Николаевича влекло туда многое — воспоминания и о кадетском корпусе, и о былой дружбе с Пушкиным, Жуковским, Гнедичем, Крыловым, и многое-многое другое. Человеческая память имеет свойство стирать давние обиды и боли и даже представлять их как что-то светлое, как почти веселое приключение молодости. Теперь, может быть, и заключение в Петропавловскую крепость, и лже-

цы, и клеветники прошлого — все это кажется почти игрою, давней, давней юностью. Ведь сам Глинка теперь совершенно другой человек, на жизнь смотрит по-иному, и похоже, что стоишь на горе, ближе к небу, а где-то там, внизу, в долине, словно исчезающая тропка, вьется уходящая жизнь.

Они прошли — те дни железны,
Как снов страшилища прошли,
И на пути пройденном бездны
Уже цветами заросли, —

писал тогда Глинка.

Отошли честолюбивые стремления. Не волнуют больше думы о перемене порядка жизни. Больше всего ценит Федор Николаевич теперь мир душевный, чистое сердце. И в самом себе, и вокруг. Впрочем, большую часть времени Глинки проводят все-таки не в городе — прямо из столицы ездят они в село Кузнецово. и там Федор Николаевич много работает. Он задумывает в то время большую поэму «Таинственная капля», начинает писать ее.

В 1859 году Авдотья Павловна Глинка была избрана в постоянные члены Общества любителей русской словесности при Московском университете, и ей был выдан рескрипт за подписью А. С. Хомякова.

Супруги снова уезжают в Тверь, там их как прославленных писателей и старых знакомых приветствует местное общество. Начинаются встречи, беседы, выезды, всевозможные увеселительные поездки. Федор Николаевич и Авдотья Павловна не расстаются ни на минуту.

С начала июня 1860 года Авдотья Павловна неожиданно слегла. Для постановки диагноза съехались пять тверских врачей, но ничего сказать не могли. За больной постоянно ухаживал местный молодой доктор Андреев, но и он оставался в замешательстве. Федор Николаевич срочно вызывает врачей из Москвы и Петербурга. Тем временем больная уже совсем плоха. Прибывают врачи.

— Сделайте что-нибудь, сделайте, — умоляет Федор Николаевич. Сам не свой, с бледным лицом мечется он по дому, бегает по разным врачам, пересказывает им все обстоятельства болезни.

— Что с ней, мы не знаем. Надобно ждать — все покажет время.

Но время ничего не показывает. Теперь больной не хуже и не лучше, она лежит в полном сознании. В середине июля она просит священника. Ее соборуют и причащают. И вот 19 июля — день рождения Авдотьи Павловны. Вскоре она снова просит причаститься. 26 июля с утра все остается по-прежнему, а в середине для она совершенно неожиданно и безболезненно скончалась.

С 1862 года Федор Николаевич Глинка безвыездно живет в Твери. Разлука с Авдотьей Павловной, с которой он прожил тридцать лет жизни, означала для него потерю последней радости, связывавшей Федора Николаевича с молодостью, с прошлою жизнью. Теперь это был человек, стоявший одною ногою в могиле, но пытавшийся еще удержаться среди живых. Знал ли он, что так придется жить еще почти двадцать лет?

И все же Федор Николаевич выжил, и не просто выжил, но остался тем же самым Глинкою, каким знали его друзья, знала читающая и пишущая Россия. К удивлению друзей, произошло почти чудо — Глинка собрал свои силы в сердце и ожил, душа его, потерявшая земное свое прибежище, не только не замерла, но загорелась каким-то ярким, светлым, добрым пламенем, светя не только в своем дому, но и всем окружавшим старого поэта.

Тверской друг Глинки А. К. Жизневский вспоминал: «Всем знавшим Федора Николаевича, который почти всегда и везде был неразлучен с женою, постоянно заботившеюся о нем и восхищавшейся им, казалось, что он, овдовев на семьдесят четвертом году своей жизни, не переживет свою жену. Сначала, в живой и разнообразной деятельности он как бы искал забвения своих печальных воспоминаний, всегда сильных и глубоких. Но, к немалому удивлению, Федор Николаевич как бы обновился... в нем проявилась энергия и подвижность. Федор Николаевич интересовался научными и общественными вопросами, постоянно следил как за новыми открытиями в области общественных наук, так равно и за политикою, испещряя получаемые им газеты своими отметками пером».

В это время Глинка не только не уходит от жизни, не замыкается в себе, но, напротив, его можно видеть во всех тверских собраниях. Федора Николаевича избирают гласным Тверской думы, он, наконец, отдает силы созданию общества помощи бедным «Доброхотная копейка», хлопочет об организации в Твери ремесленного училища (ныне индустриальный техникум), помогает основателю тверского краеведческого музея

А. К. Жизневскому — на его ответственности вся археологическая часть музея.

Федор Николаевич принадлежал к числу тех русских людей, которые сразу же осознали изнанку реформ шестидесятых годов. В одном из писем своих того времени он говорит о том, что кто-то «призывает на Русь иноземные полчища». Что это за полчища, он не говорит, как будто что-то мешает ему сказать прямо. Что имеет в виду Федор Николаевич? Полчища ли иноземных капиталистов, для которых Россия теперь — выгодный рынок сбыта? Международные компании, банки? Или что-то еще?

Порою он говорит о «модных книжках нигилистов» и даже лягушистов, которые «род людей производят от лягушек». Конечно же, Федор Николаевич не собирается оспаривать новейших естественнонаучных открытий, он вовсе не хочет, чтобы его понимали буквально. Нет, не научная сторона дела волнует писателя, он думает о потере людьми своего предназначения, о погоне их за одною наживой, о внезапном взрыве бесстыдства, делячества, о повсеместном распространении «духа Америки».

12 марта 1867 года Глинка пишет из Твери Погодину: «Все оскудело, обеднело, оголело! Не поверите, что сталось с мужиками! Бывшая моя вотчина славилась по губерниям зажиточностью и благоденствием; теперь обнищали! По решению судебных мест и всех властей с них следовало (за громадные порубки) взыскать семь тысяч рублей. Приступили — у них ничего нет!.. Но я простил им семь тысяч. В день моих именин сорок человек от всей вотчины, отслужа молебен, принесли мне огромную просфору и рескрипт, в котором благодарили за себя и за потомков своих».

Итак, обнищание народа, падение нравственности, распад семей, бродяжничество — вот что несет России капитализм. А вместе с ним разгорается и страшный огонь, сожигающий народ, ведущий его к физическому вырождению, — пьянство. Бок о бок с пьянством растет в народе озлобленность, бессильный гнев, мечущийся от пьяных слез до смертного боя, гнев, чреватый «русским бунтом, бессмысленным и беспощадным». Он обернется на всех и вся, а тот, кто подливает масла в пьяный огонь, благополучно скроется, словно ящерица, оставляющая хвост.

Повсюду стучит по Руси топор — вырубают леса,

опустошают страну. Кругом исчезают звери и птицы, гибнет рыба в реках, гибнет вся природа, превращаясь в кредитные бумажки в руках новых хозяев России, ее «цивилизаторов».

Вместе с уничтожением земли, богатств страны, ее быта и устоев, уничтожают и доброе ее имя, поливают грязью ее героев. Вот например, поднялась шумная возня вокруг покойного генерала Милорадовича. Парижские, лондонские газеты, а вслед за ними и петербургская печать завопили одним хором о якобы существовавших у героя войны 1812 года огромных карточных долгах. Возмущенный Ф. Н. Глинка, знавший всю жизнь Милорадовича, все изгибы души его, пишет письмо графу Григорию Александровичу Милорадовичу, внуку знаменитого генерала: «Я никогда не видел его ни за карточным столом, ни с картами в руках. Поверьте, граф, что вся эта иностранная пресса на Россию и ее знаменитых людей брызжет чернильною клеветою». Да разве только такая явная злоба распространяется по земле? Вот одна из газет печатает статью М. П. Погодина о борьбе наших предков с татарским игом. Статья набрана мелким шрифтом, ее почти не заметно: а вот рядом огромное объявление о новом средстве истреблять клопов и мышей. Глинка пишет Погодину письмо, в котором призывает что-то предпринять, ведь так «все отрицается, все извращается». Погодин присылает ответ — что сделаешь... Так везде. Хорошо еще вообще печатают статьи о России.

В 1872 году на отзыв Федору Николаевичу было прислано авторское предисловие к готовящемуся «Собранию статей об Отечественной войне 1812 года». Автором статей был И. П. Липранди, бывший боевой офицер, участник войны, ныне писатель. Главною мыслью книги, как и предыдущего сочинения этого писателя, «Некоторые замечания, почерпнутые преимущественно из иностранных источников, о действительных причинах гибели наполеоновских полчищ в 1812 году», была мысль о необходимости сплочения, духовного единства русского народа. «Ныне Западная Европа в безумии, усиливаемом коварством ее двигателей... снова устремилась на могущество России». Труд Липранди состоял из шестнадцати томов, куда входили воспоминания, стихи, проза, заметки самых разных людей. Федор Николаевич Глинка очень сочувственно отнесся и к замыслу, и к предисловию, и к суждениям самого Липранди. Оба эти

человека защищали родину на поле брани, а теперь пытаются защитить пером, словом. Но тщетно — голоса эти тонут в море крика, злобы, клеветы... Несмотря на все усилия Липранди, сочинение его нигде не было напечатано.

А Федор Николаевич Глинка с каждым годом все более встревожен тем, что творится в стране, он думает о том, как остановить движение ее к пропасти, повернуть на добрые, спасительные пути. В начале семидесятых годов он составляет начертание вопросов, которые, по его мнению, надо решить в связи с отменой крепостного права. Вопросы эти таковы: необходимость выкупа крестьянами земли на льготных условиях, строгого охранения лесов и ограничения их порубки, ограничения семейных разделов с целью предотвращения обнищания крестьян, оставления ими насиженных земель и ухода в города, закрытия кабаков и распространения в народе идеи трезвости, законного урегулирования отношений между землевладельцами и наемными рабочими. Глинка, человек, проживший долгую-долгую жизнь, под конец ее все больше обретает государственное сознание, глубокое понимание того, что невозможно ввести на Руси «хороший», «просвещенный» капитализм. Сохранились письма Глинки тех лет к князю П. Вяземскому. Вот отрывки из них, найденные в черновиках писателя, в которых много неразборчивого.

«В Европе и у нас... распространилось мнение, что общество больно, лежит уже на смертном одре и должно его добить долбнею... Другие задумали лечить раны насмешкою. Но что такое насмешка? — Игла, намазанная желчью: она колет, раздражает, а отнюдь не целит! Уксусом не утолить ран, для них нужен елей мудрости. Древние пророки — послы Божии, — не играли в гумор, не смеялись, а плакали. В голосе обличителя, как в прекрасной задушевной музыке, должна дрожать слеза. Эта слеза падает на сердце и возрождает человека. Наши [неразборчиво] только и гоняются за смехом (а время не смеется!) и через пересмехание и карикатурные представления ссорят одно состояние с другим: детей с отцом, раба с господином... и раздражают всех, никого не успокаивая. Наши все кричат (или кричали. — *В. К.*) — в Европеизм! Конечно,

Умней Европа — я не спорю!
Но на добро ли этот ум?!
Ей быт земной дороже неба!
Торговля — вот ее потреба;
Ей биржа храм!..»

Строки эти написаны в годы, когда русская и мировая печать пестрела сообщениями о невиданной «биржевой лихорадке», охватившей западный мир, о массовом биржевом безумии, захватывающем толпы людей и сравнимом разве что с хлыстовскими «радениями», о бесчисленных случаях самоубийств неудачников, у которых вытекает золото из-под пальцев, о невиданном доселе и внезапном обогащении безродных «выходцев ниоткуда». Это с одной стороны. А с другой — массовые вспышки злобы, кем-то направляемой, кем-то подстрекаемой. Злобы, которая, по Глинке, «распространяется, везде под землею плывет, того и гляди, что вот-вот вынырнет и все одолеет!» «Вы ретивый боец и борец, — пишет Федор Николаевич Погодину, — да массы противников слишком густы! А Париж уже стоит вверх ногами!»

С годами все большая тревога владеет сердцем писателя. Еще в конце тридцатых годов острое чувство времени, всегда присущее Глинке, продиктовало ему стихотворение «Часомер»:

Есть часомер и у часов природы,
И у часов, не зримых в высоте:
Кипите вы, беснуйтеся, народы!
Земное все кружится в суете!..
Но он, невидимый, все ходит, ходит,
И мало чей его завидит глаз;
А между тем торжественно подходит
Давно ожиданный веками час:
Валится прочь земных событий бремя,
И часомер дорезывает время...

А в годы сороковые в письме к Ф. И. Тютчеву Глинка писал:

А между тем под нами роются
В изгибах нор,
И за стеной у нас уж строются.
Стучит топор!

Глинка, как это ни может показаться странным, теперь использует любезную ему в двадцатые годы масонскую строительную символику, но на этот раз в противоположном, отрицательном смысле. «Строительство» идет «за стеной», то есть вне «града огражденного», вне очерченного круга доброй, должной жизни, а

значит, это «строительство» — самочинное, оно — во зло. Еще спустя несколько лет, в 1856 году, Глинка переписывает себе почти полный текст широко известной в то время «антимасонской» речи московского митрополита Филарета. В этой речи Филарет говорил о «тайных преобразовательных усилиях» масонов, о том, что их своеволие неизбежно ведет человечество к угнетению. В бумагах Глинки около этой речи написано «Филарета речь» и рядом — шестиконечный масонский знак. Из всего этого напрашивается вывод о том, что, начиная с сороковых годов и далее, Глинка пересмотрел свое отношение к масонству, столь увлекавшему его в молодости. Тем не менее он явно ощущал, что масонство и его «тайна» имеет прямое отношение к конечным судьбам мира и человечества, к временам, когда откроется «тайна беззакония» и одолеет ее только «тайна благочестия», великая явь вселенской любви и добра.

В личном архиве Федора Николаевича Глинки сохранилось удивительное по проникновению в смысл русской истории стихотворение, к сожалению, — черновое и неоконченное. И не зная ничего о жизненном пути поэта, по самому образному строю его видно, что стихотворение написано военным человеком. Но если вдуматься в него, в его смысл, то совершенно ясно, что в нем нет и тени милитаризма или упования на внешнюю силу. Приведем его полностью.

— Береза, березонька, береза моя!
А что ты, березонька, неясно глядишь,
Неясно глядишь — листом не шумишь?
Аль думушку думаешь, березонька, ты? —
Склонила головушку, притихли листы! —
По-прежнему ль быть тебе, аль сталося что?!
— Ох! как мне, березоньке, по-прежнему быть,
Грозит мне недобрая година, пора:
Сошлися три ворона да держут совет,
Хотят изрубить меня да в три топора,
С меня-де березоньки лучину щепать!..
— И невесть что вздумала, красавушка, ты!
Те речи негожия — на них же падут;
А деревцо Божие! не тронут тебя
Ни свисты, ни посвисты, ни срамная речь!..
Недаром березоньку царь Петр полюбил;
Недаром кудрявую цари берегли!
Недаром и славушка жемчужной росой
Питала, лелеючи, тебя, деревцо! —
Подумай-ка, белая, что ты ведь растешь
В лесу заповеданном[1], под царским клеймом.

[1] В старину леса заповедовались на несколько лет для восстановления. Существовал особый обряд заповедания леса *(В. К.)*.

С иконами Божьими тебя обошли,
Молитвы закрепные читали святым;
Стальными заборами кругом обвели;
И Спасовым образом прикрыли врата;
И бодрый двуглавый страж засел на вратах:
Взмахнет ли он крыльями, аж солнца лучи
Пригаснут под тению, как словно в ночи;
Иль зоркими взорами кругом обведет,
Как будто дозорами весь лес обойдет!
А выпустит молнию из крепких когтей
И враг лесокрад ночной не сыщет костей!..
Так будь же, березонька, как прежде была,
Играючи кудрями, бодра и светла!
Пусть издали щелкнет зубами чалма,
Пусть красный рак выползет из синих морей
И третий пусть мечется кузнечик-прыгун!..
Погрызть захотелось им железных просфир,
Аль в бане попариться под русский мороз:
Мы баню-то вытопим костьми их отцов
И духом суворовским гостям поддадим;
А если в той бане-то враги угорят...
Тогда мы повыкроим из наших снегов
И саваны белые про честных гостей
И спать их уложим мы, чтоб были смирней
Под лапы орлиные твоих же корней!

В стихотворении говорится о потребности времени — сохранении и твердой защите вверенного русскому народу достояния. Россия никому не угрожает, ей не нужны ни чужая земля, ни военное, ни экономическое господство над миром. Еще Иван Грозный говорил папскому послу Поссевину: «Государства всеа вселенныя не хотим». Но непрошеным гостям на Руси ответ один — «дух суворовский». Это наиболее ясный смысл стихотворения Глинки. Но есть в нем и иной, дальный смысл, может быть, не вполне ясный во времена Глинки, да, может быть, и ему самому. Смысл этот — в последних двух строках. По исполнении времен истина привлечет к себе и упокоит и остаток из среды врагов своих. И если было время, когда «стражи стерегли» ее, то останется она и без «стражей», в открытости белизны своей. Не тогда ли и начнется исполнение времен? И не о том ли слова древней книги, которую все больше читает в последние годы жизни старый, иссыхающий телом человек: «И ангелу Филадельфийской церкви напиши: ...вем твоя дела: се дах пред тобою двери отверсты, и никтоже может затворити их: яко малу имаши силу, и соблюл еси Мое слово, и не отверглся еси имене Моего. Се даю от сонмища сатанина глаголющыяся быти иудеи, и не суть: но лгут: се сотворю

их, да приидут и поклонятся пред ногами твоима, и уразумеют яко Аз возлюбих тя. Яко соблюл еси терпения Моего, и Аз тя соблюду от годины искушения хотящия прияти на всю вселенную искусити живущия на земли». Но пока еще этого нет — «держи еже имаши», это обращено к каждому. И стремится держать по мере сил своих одинокий тверской вдовец».

В шестидесятые и семидесятые годы оживляется интерес значительной части русских людей к войне 1812 года, причем она все более осмысливается не только в связи с русской историей, но и как явление истории всемирной. В чем смысл ее? В чем состояли «наполеоновские планы», мы уже говорили. А Русское государство, о которое разбился Наполеон, и было тем удерживающим, которое закрывало этим планам дорогу. Год 1812-й был одной из тех точек истории человечества, когда мир подходил к самому краю отверзающейся перед ним пропасти. Когда-то давно, перед нашествием наполеоновским, писал Глинка: «грудь русская есть плотина, удерживающая стремление, — прорвется — и наводнение будет неслыханно!» Не потому ли такую злобу вызывала память о народном подвиге у «чернильной империи», связующей воедино европейскую и буржуазную российскую печать?

Обо всем этом думает писатель в последние годы жизни своей. Какая сила околдовала землю, бросила ее на служение мертвым идолам — богатству, производству и потреблению? Глинка пишет об утрате человеком смысла своего существования. В одной из поздних черновых поэм он приводит легенду о запертой двери, которую нельзя было трогать, потому что «за дверью таится ужасное дело». Но нашелся дерзкий человек, толкнувший ее, и оттуда «пахнуло дыхание бездны». И с тех пор герои поэмы обречены:

...И чуют, что что-то все жмет их опасней,
И рвутся из цепких, походных сетей,
Но сеть обошла уж... но сеть охватила,
И поздний порыв их уже не спасет;
Всем слышно: влечет вас какая-то сила,
Но знаете ль: кто и куда вас влечет?

Поэма оканчивается вопросом. Но для самого поэта уже теперь нет вопроса о том, что должен делать он лично, что осталось ему, Федору Глинке. Путь спасения от зла не закрыт, наоборот, он все более и более ясен и очевиден. В одном из писем тех лет Глинка пишет: «Вот почему никогда, как теперь, не настояло более нужды

держаться правил твердых... Уклоняясь равно от всякого фанатизма, как и от суеверия, я следую скромным путем смирения, молчания и послушания, убегая злого и творя, по возможности, благо». Далее он пишет в этом письме, что нужна «простота евангельская», жизнь прямая, путь правый, нелицемерный, путь постоянных, непрерывных добрых дел...

А как одиноко порою... Ведь совсем один, никого вокруг, и нет рядом единственного любимого существа. Годы идут, а все томит, томит очищающее душу страдание. А чувство очищения приходит лишь на мгновение, правда, мгновение это — весть о светлом и явленном дне, о грядущем... Однажды такая нечаянная радость посетила Федора Николаевича в весеннюю светлую ночь, а через несколько дней он записал: «Христос воскресе! Что ж это значит? Друг мой, милая моя! Что это значит, что во все прежние годы после разлуки с тобою на земле, всякий праздник Воскресения Христова во время заутрени встречал грустными слезами, кипевшими в груди, встречал как сирота, как забытый в пустыне, а в последний раз совсем иначе!.. Проведя целый день в хозяйственных хлопотах и утомясь от них, я поехал в гимназию к заутрене с опасением, что, может быть, за время службы задремлю от усталости. Но вообрази! Посреди торжественных песнопений вдруг настала для меня (и откуда она пришла?) минута, для которой не имею наименования. Мне показалось, что весь храм наполнился милостью и прощением. Мир, невыразимый мир и тишина сошли и осветили все и вся грустное, ропотное, горькое, как меловые буквы с доски стерлись и улетучились. Мне стало так легко, привольно, как будто у меня никогда никакого горя не бывало, а все счастливые минуты моей жизни слились в эту чудную минуту, и я, казалось мне, очутился где-то, где о слезах и воздыханиях и слуха нет. И о своем одиночестве, и о тебе я уже не тосковал, как будто я находился в родной семье с тобой, как будто мы никогда не расставались...»

До последних дней жизни Федор Николаевич Глинка был совершенно здоров, и день его подчинялся твердому распорядку.

В 1872 году его посетил М. П. Погодин, незадолго до этого издавший трехтомник его сочинений, куда вошли стихотворения и поэма «Таинственная капля», разрешенная теперь цензурой. И его пережил Федор Николаевич, сказавший потом: «Москва без Погодина, что без Сухо-

ревой башни». Еще одна утрата, еще одно горе. А Глинка, как бы в ответ на это горе, усиливает труды свои в созданном им обществе помощи бедным «Доброхотная копейка», занимается благоустройством тверского музея, сам снова отдается краеведению, исследуя минералы тверского края, состояние воды в реках Волге и Тьмаке.

За три года до смерти Федор Николаевич, узнав о начале войны за освобождение болгар, пишет стихотворение «Уже прошло четыре века...», где вспоминал древние византийские сказания о грядущем освобождении Царьграда-Константинополя от турок Белым Царем, пришедшим от полуночных стран, о Софийском храме... В рукописях Глинки тех лет осталось около двухсот стихотворений на разные темы. Не все в них равноценно, но лучшие стихи — гордость русской словесности. Все они — о родине, малой и большой, земной и небесной, временной и вечной. Все они — о любви, которая долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, и никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится... Это стихи о восхождении от того, что любим здесь, на земле, к жизни новой, бесконечно радостной...

Весна! весна... земля полна обновы,
Немое все заговорило вслух,
И, мертвые сорвав с вещей покровы,
Все жизнедарный оживляет дух...

Так вера к нам, — весна души — слетает;
С ней человек, — хоть и во льду земном, —
Когда, под зноем духа, сердце тает, —
Не узнает себя в себе самом!..

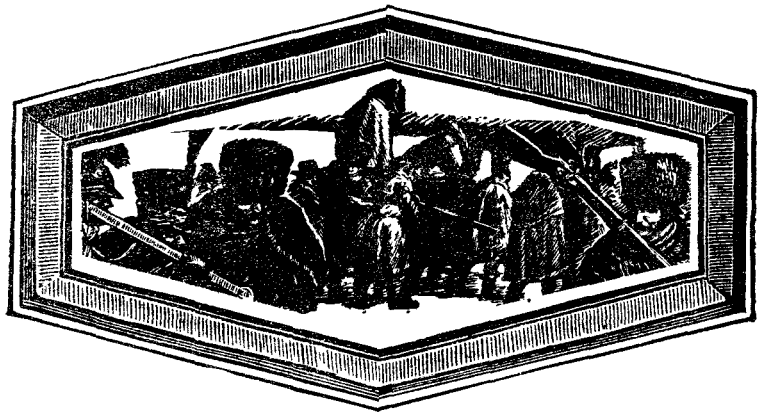
Федор Николаевич Глинка скончался в феврале 1880 года, у себя дома, скончался тихо и незаметно, без мук, мирно и безболезненно, прожив на земле почти целое столетие. Его похоронили 14 февраля на кладбище Желтикова монастыря, рядом с могилой Авдотьи Павловны, перед этим отпев в монастырском соборе. Похороны были не только церковные, но и военные — как герою Отечественной войны, награжденному золотым оружием, ему были отданы воинские почести — над могилой полковника Глинки был произведен ружейный салют. Как почетного гражданина Твери, много сделавшего для города, отпевал его тверской архиерей. Все расходы по похоронам взял на себя А. К. Жизневский, который ухаживал за могилами Глинок вплоть до смерти своей в девяностых годах.

В двадцатые годы нашего века монастырь был закрыт, кладбище снесено, и могила исчезла. Но не исчезла память о поэте. В годы Великой Отечественной войны, когда русских воинов, сражавшихся на ее фронтах, укрепляла память о деяниях предков, когда снова вспомнили о народных святынях, о достоянии Отечества, в числе прочих книг были напечатаны и отрывки из «Писем русского офицера» и «Очерков Бородинского сражения», которые вошли в издававшуюся тогда «Библиотеку офицера». А после войны стали выходить и стихи Федора Николаевича Глинки, имя его прочно вошло во все собрания отечественной поэзии.

Слово его среди нас, а имя его — среди имен воинов, на поле брани за Отечество живота не жалевших. И память их в род и род.

Владимир КАРПЕЦ

Герасим Матвеевич Курин



Как в осеннюю да во пору
Шел француз к моему двору,
Бонапартов генерал
Богородск завоевал,
Крикнул нам Герасим Курин:
«Бей врагов, потом покурим!»

Народная песня



Десять всадников неспешным шагом показались из-за поворота сельской улочки. Кавалеристы выглядели на удивление живописно — в армяках, зипунах, лаптях и все при пиках. Впереди ехало двое — рослый чернобородый Курин и волостной голова Егор Стулов. Голова в суконной поддевке, застегнутой медными крючками за все петли, в смазанных дегтем сапогах более других походил на опытного в обращении с лошадью человека и держался в седле сообразно — легко и ловко.

Курин сидел на своей буланой, много попахавшей кобылке по-мужицки, враскорячку, как и остальные, однако с уверенным достоинством. Спокойный и добродушный взгляд, в котором явственно угадывались ум и воля, а особенно обильное против остальных вооружение — французская сабля, заткнутые за красный кушак два

пистолета и сверкающая от недавней точки пика с бесспорностью обличали в нем предводителя.

Караулившие у въезда в село мужики — кто с пикой, а кто с привычно закинутыми на плечо вилами, — выстроились по обе стороны дороги, с любопытством таращились на подъезжающих.

— Далече ли, Герасим Матвеевич, путь держите? — радостно, скорее от желания вступить в разговор, спросил старший из караульных, ибо маршрут следования отряда не составлял для них тайны.

— Да вот в Покров доскачем с донесением, — охотно ответил Курин, — и подарочек Борису Андреевичу, князю Голицыну, доставим, — Герасим кивнул на повозку, где, крепко стянутые веревками, лежали три французских гусара.

— А правда, важный подарок, обрадуется, чай, князь... Как думаешь, Герасим Матвеевич, подмога от князя будет?

— Будет не будет, нам далее своего дома отступать некуда, здесь или умрем или остановим супостата, — твердо сказал Курин и наставительно добавил: — Глядите, справно несите службу, не проворонъте неприятеля.

— Да уж знамо, не сумневайся, смотреть во все глаза будем, — оживившись, загомонили караульные и, как только отряд проехал, перекрыли въезд в деревню бревнами.

...Непосредственно на театре военных действий нашествию Наполеона противостояли, как боеспособные, организованные силы, собственно армия, народное ополчение, на формирование которого вынужденно, под давлением неблагоприятно складывающейся кампании пошел Александр I, а также войсковые и крестьянские партизанские отряды.

Начальником Владимирского ополчения, которое организационно входило в первый, или Московский ополченческий округ, дворянское губернское собрание избрало умного и распорядительного, по отзывам современников, князя Б. А. Голицына. К нему-то с радостной вестью об успешно выигранном сражении и направлялись вожаки партизанского отряда.

После сдачи без боя Москвы многие испытывали, помимо горечи поражения, состояние тягостной неопределенности, гадая, как будет развиваться ход кампании

дальше, как поведет себя коварный Бонапарт. Куда устремится его обескровленная в Бородинском сражении, но все еще устрашающая «великая армия»? На Петербург? Тулу? Казань? Непредсказуемость намерений императора французов предполагала самые неожиданные решения. Много позже на острове Святой Елены он скажет: «Я должен был бы умереть сразу же после вступления в Москву...»

А пока 2 сентября было днем его торжества. В эти же примерно часы, когда Наполеон в нетерпеливом недоумении дожидался на Поклонной горе московских бояр с ключами от города, да так и не дождался, князь Голицын, сделав шажок навстречу узурпатору, занял на дальней границе с Московской губернией городок Покров, который и стал его штаб-квартирой. Формирование ополчения затягивалось, ощущалась острая нужда в оружии и снаряжении, и князь, встревоженно сообщая в главную штаб-квартиру о нехватке сил «к занятию всех дорог, во Владимирскую губернию ведущих», настойчиво просил помощи, особенно конницей и пушками.

Голицын не без оснований допускал вероятность того, что Наполеон возьмет да и двинется в сторону богатой хлебными запасами Владимирской губернии, реально угрожая правому флангу русской армии, расположившейся лагерем в Тарутине. Учитывая именно последнее соображение, главнокомандующий выделил в подкрепление Владимирскому ополчению Уральский казачий полк. Возможность оказать более значительную помощь представилась несколько позже, когда стала ощущаться умножающаяся день ото дня сила русской армии, когда разгорелся и набрал испепеляющую силу пожар народной войны, характер которой столь проницательно понял и бескомпромиссно отстаивал фельдмаршал Кутузов.

Обжигающий вал пожара не обошел и крайнюю на востоке Подмосковья Вохненскую волость Богородского уезда. Здесь под руководством Герасима Курина организовалось крупнейшее из известных партизанских крестьянских формирований. Уже современники недоумевали, как они, первоначально безоружные и в военном отношении совершенно необученные, сумели своим до крайности стойким сопротивлением, а в некоторых боях и достаточно грамотными в тактическом отношении действиями нанести чувствительный урон неприятелю. В сущности, партизанским отрядам удалось блокировать важный в стратегическом смысле Владимирский тракт,

что, кстати, в немалой степени помогло успешно завершить формирование ополчения. Места эти, по справедливому замечанию тогдашнего историка, по праву остались в памяти народа, как «крайняя черта на востоке, до коей простерлось вторжение Наполеона в Россию».

Сам же Наполеон в уверенности на скорые переговоры отнюдь не бездействовал. Не имея четкого плана продолжения кампании на случай, если переговоры затянутся или вовсе не состоятся, он прежде всего решил создать вокруг Москвы опорные пункты для защиты от возможного нападения русских, а главным образом для сбора продовольствия, недостаток которого сразу же начал ощутимо сказываться.

Казалось, худшие опасения князя Голицына подтвердились, когда в соответствии с данным планом на Владимирскую дорогу двинулись отборные войска из корпуса маршала Нея и 23 сентября заняли Богородск.

Начальник Владимирского ополчения генерал-лейтенант и кавалер князь Голицын — фельдмаршалу Кутузову: «...Неприятель занял онный город... имел перепалку с передовыми нашими пикетами, и превосходство сил его заставило оба пикета отступить по Московской дороге к деревне Кузнецам».

Превосходство выражалось в следующем соотношении: две дивизии при 12 пушках против стоявшего в Богородске гусарского пикета из четырех унтер-офицеров и семидесяти рядовых. Былинка против урагана. А все же молодцы не просто бежали, а отступили с перепалкой.

Сразу же по занятии Богородска французы, во исполнение главной задачи, принялись опустошать окрестные деревни. А один из небольших отрядов уверенно, будто по знакомому маршруту, прямиком двинулся по дороге на Вохню-Павлово. По малочисленности отряда ясно было, что выслана разведка, а пароконные повозки свидетельствовали и о стойкой надежде разжиться попутно продовольствием.

Солдаты держались расслабленно, балагурили, смеялись, будто направлялись не в экспедицию, а на пикник. И действительно, перед выступлением разнесся слушок, что в богатом селе Павлове их ждут не враги, а друзья и можно надеяться на радушный прием. Новость в этой насквозь враждебной России необычная, тем более она

бодрила и радовала. Они тоже люди, усталые и изголодавшиеся. Уже на переходе из Смоленска питаться приходилось преимущественно кониной, поджаренной на углях. Угнетала и всеобщая неприязнь и ненависть, с какой встречали их в каждом селении.

«Все против нас, — писал впоследствии один из участников «великого похода», — все готовы либо защищаться, либо бежать... Мужики вооружены пиками, многие на конях; бабы готовы к бегству и ругали нас так же, как и мужики».

В надежде на теплые избы, еду и отдых шедшие к Вохне невольно прибавляли шагу. Первой на их пути оказалась деревушка Большой Двор. И едва лишь французы достигли крайней избы, как навстречу им с жуткими криками ринулась толпа людей, потрясавших пиками, вилами, косами, а большинство и просто палками. Нападение было столь неожиданным и громогласным, что перепуганных насмерть фуражиров словно ветром сдуло и они растворились в сосновом бору, благо лес подступал к самой дороге. Все произошло в считанные мгновения, и сражение закончилось, не успев начаться.

В первой стычке не пролилась кровь, беглецов даже не пытались преследовать, и вообще, если присмотреться, можно было заметить, что многих нападавших бьет нервная дрожь, они недоверчиво посматривают друг на друга, явно с трудом осознавая, что же произошло. Наконец напряжение спало и они поняли — победа! Первая победа над грозным врагом — неправдоподобно легкая, бескровная и удачливая. Недоверчиво косясь друг на друга — неужто и впрямь свершилось то, что свершилось, они столпились вокруг двух брошенных повозок. Трофеи, и какие! Порох, пули и ружья. Глаза отказываются верить — десять ружей!

Дружный радостный крик исторгнулся из двухсот глоток, придав, надо полагать, дополнительное ускорение убегавшим французам. Курин, тоже по-детски радуясь, что все так удачно обошлось, с жгучим интересом осматривал каждое ружье.

— Ну, с добрым почином, братцы, — говорил он, широко, белозубо улыбаясь из-под густых усов. — И добыча какая важная и, знать, законная: что с бою взято — то свято.

— Глянь-ко, Семен, с таким ружьищем и сам Бонапарт не страшен, — молодой парень шутливо прицелился

в доверчиво улыбающегося соседа. — А как стрельнуть из него, дядя Герасим?

— Дело немудреное, покажу. Ты только поближе к злодею подбирайся, тогда уж точнехонько попадешь.

— Дак они, вражьи дети, и без пальбы задали стрекача, чай, ажно в Богородске остановятся. А может, и в самом Париже, а?

Герасим хотел было предостеречь — мол, с этими бегунами мы еще встретимся, но промолчал — пусть радуются, в радости дух боевой укрепляется — вот что сегодня наипервейшее. И ружья. Ах, славные, право, трофеи...

Понятна радость партизан. По докладу уездного предводителя дворянства на 16 августа 1812 года в ополчение Богородского уезда было записано 2113 ратников, собрано от населения 10 554 пуда 7,5 фунта муки, 111 четвертей круп, 1460 пик и 8 ружей. Восемь ружей на все уездное ополчение! Доставшиеся столь чудесно десять карабинов вселяли воодушевление необычайное, и отряд с таким вооружением представлялся грозной силой, что и подтвердилось дальнейшими событиями.

А Герасим как в воду глядел — нежданные гости не заставили себя долго ждать. На следующий день рано поутру неприятель занял Грибово и, ничего и никого не обнаружив, вознамерился было деревушку сжечь. Но — вот она, сила-то захваченных накануне ружей: после жаркой, хотя и несколько беспорядочной со стороны партизан стрельбы (когда было учиться прицельно стрелять?) враг все же был отогнан. Однако настоящая война началась 27 сентября, когда в деревне Субботино было разгромлено три неприятельских эскадрона.

Высланные в сторону Богородска наблюдатели обнаружили их загодя, и это было впечатляющее зрелище. Кавалеристы, как на подбор, молодец к молодцу, правда, потрепанные и пообносившиеся в дальнем походе. Да и лошади, хоть и видной стати — заморенные, спавшие с тела. На голодном, видать, пайке, как и солдаты. За кавалеристами погромыхивали на глинистой дороге повозки, и черноголовый востроглазый Панька Курин, сынишка Герасима, сидевший у верхушки сосны, насчитал их добрый десяток.

Панька, наклонясь лицом вниз, прокричал что-то придушенным голосом, и тотчас из березнячка порскнул, словно вспугнутый зайчишка, мальчуган лет десяти в латаных-перелатаных нестрядинных штанах и такой же

сине-грязной рубашонке, босиком, несмотря на осень, и мигом скрылся в лесу — сообщить дяде Герасиму, что дружок его с верхушки сосны увидел. Курин новость уже знал — верховные караульные упредили его часом раньше.

Французы расположились кучно, в центре села, несколько человек не без робости заглянули в ближайшие избы и тут же вернулись. Обычная картина — село пусто. Ни людей, ни скота, ни птицы. Лишь плотный, темный днем и ночью бор, друг и защитник партизан, угрожающе гудел верхушками сосен. От французов отделился человек явно гувернерского вида: в замызганном сюртучке и с гордо выпяченной накрахмаленной грудью. Очень похожий учитель барских детей жил до войны в соседнем помещичьем имении, а с приходом неприятеля сгинул бесследно. Слух даже прошел — утопили его дворовые люди в Клязьме, а он, глянь, где вынырнул. Гувернер, отчаянно труся и поминутно оглядываясь на своих, подошел к опушке леса и помахал белым платочком, подождал, прислушиваясь. В бору не видно и не слышно было ни души.

— Послушайте, милостивые крестьяне, господа, я буду говорить! — крикнул он, напрягаясь, в темноту леса. — Выходите к нам без всякой опасности, будем мир делать. Не бойтесь нас!.. Величайший и справедливейший из всех монархов, его величество император и король дарует вам покровительство и защищение! Его величество император и король не почитает вас за своих неприятелей...

Переводчик выкрикивал фразы из обращения Наполеона к московским жителям, мастеровым, работным людям и в особенности крестьянам с призывами выходить из лесов, возвращаться в дома, к труду, неся почтение и доверие к стопам завоевателей. Обращение расклеено было по всей Москве, специальные нарочные разлетелись с ним по подмосковным уездам, где во многом и полегли, забитые дубьем или поднятые мужиками на вилы и пики. Таков был ответ простых людей на предлагаемое «покровительство и защищение».

Долго надрывался еще переводчик-гувернер, безуспешностью своих стараний напоминая зазывалу балагана на пустой площади, но Ямской бор молчал. Строгим взглядом сдерживая нетерпение партизан, рвавшихся в бой, Курин ждал, прикидывая в уме, когда Егор Стулов успеет обойти неприятеля лесом с отрядом своих конников, чтобы с первыми выстрелами налететь со стороны Богородска — они не ждут оттуда нападения — и ударить дружно и одновременно. А главное, застать французов врасплох: внезапность и дерзость нападения — верные спутники их удачи. Никто Курина не учил тактике боя — верность решения подсказывали ему врожденная интуиция, ум, крестьянская сметка.

Накануне сражения в Субботине к ним в наскоро разбитый лесной лагерь ночью добился верховой на взмыленной лошаденке, мужик из деревни Степурино.

— Еле отыскал вас, — заговорил, отдышавшись. — У нас беда, жгут деревню, человека живьем спалили... Днем зашло двое мародеров при ружьях. Мы ничего такого не замышляли, целовальник даже вина поднес злодеям. Ну, подошли мужики, бабы, дети — не замают, смотрят. А один запьянел и вдруг цап. бесстыдник, молодайку за руку — пошли, мол... Муж молодухи и оттолкни охальника, а тот за ружье, ну его и колом сзади. И второго порешили — стрелять зачал. А к вечеру их целая волчья стая налетела. Хорошо, караульные упредили, мы всей деревней в лес, и рассудили к вам идти, слышали про ваше геройство. Все ушли, а крестьянин Лукьянов Лексей заупорствовал: не буду, говорит, как заяц травленый, бежать из родного дома и, не слушая уговоров, заперся. Супостаты постучали, постучали да и зажгли избу-то. А Лексей не вышел, так и сгинул в огне.

Степуринский мужик умолк, всхлипнул, вохненские угрожающе зашумели: «Правильно, в колья их, иродов, не давать пощады!..» «Будьте уверены — отомстим, — сказал сдержанно Курин, и в голосе его слышались и гнев, и боль: — И за Степурино, и за остальные зверства отольются им наши слезы».

Можно задаться сегодня вопросом: а не слишком ли сурово поступали они, убивая порой даже одиноких, отбившихся от своих отрядов фуражиров? Нет, это была праведная месть — за разграбленные и сожженные жилища, загубленные жизни, издевательства, грабежи и насилия. Опьянение победой, свидетельствует история, превращает завоевателя в варвара. Даже наполеоновский генерал де Сегюр с горькой откровенностью писал: «Мы становились армией преступников, которую осудит небо и весь цивилизованный мир». Что ж тут удивительного, коль многие завоеватели отправлялись на суд небесный прямо из подмосковных, калужских, смоленских городов и деревень.

Когда в Тарутинский лагерь прибыл бывший посол в России генерал Лористон, которого Наполеон уполномочил склонить Кутузова на переговоры о мире, он, между прочим, обиженно заговорил и «об образе варварской войны», которую якобы русские ведут с ними. Обиды свои дипломат адресовал не армии, а именно жителям, которые безжалостно истребляют французов, и просил «неслыханные такие поступки унять». С аналогичными претензиями обратился к главнокомандующему и начальник штаба французской армии Бертье, предлагая устранить нападения крестьян-партизан, дабы «дать настоящей войне обыкновенный вид».

Фельдмаршал Кутузов — маршалу Бертье: «Трудно остановить народ, ожесточенный всем тем, что он видел, народ, который в продолжение двухсот лет не видел войны на своей земле, народ, готовый пожертвовать собою для Родины и который не делает различий между тем, что принято и что не принято в войнах обыкновенных». Иными словами (по знаменитому определению Л. Толстого), «дубина народной войны поднялась со всею своею грозною и величественною силою и, не спрашивая ничьих вкусов и правил... гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие».

Ночь в партизанском лесном убежище накануне сражения в Субботине прошла в тревоге. Лишь немногие — кто от беспечности безмятежного удальства, вроде Федьки Толстосумова, а кто по слабости физических сил, как дед Антип, прикорнули под деревьями, прислонясь спиной к шершавому стволу и не выпуская из рук пики или ладно оструганной рогатины. Наконец около одиннадцати часов утра, сам истомившись от ожидания, Курин подал команду: «Пора!» — и они в отчаянном и бесстрашном азарте обрушились на французов, подбадривая себя громовым «ура!». Из переулка с тыла тоже с какими-то нездешними криками (ну чисто татары) вылетела, к полной неожиданности противника, мужичья кавалерия, и все схлестнулись, смешались так, что в тесноте боя даже немногие ружья в крестьянских руках, взятые за ствол, служили дубиной гвоздящей. С голыми руками остервенело бросились на врага подоспевшие степуринские мужики.

Часть кавалеристов все же прорвалась, остальные полегли, и лишь трое гусаров каким-то чудом остались живы,

да и те, видя ярость окруживших их людей, жильцами себя на белом свете уже не считали.

Курин подоспел вовремя, чтобы пресечь неизбежный самосуд, дрожащих гусар связали и отвели с глаз долой в избу. Туда же вошли и начальники — Курин, Стулов, сотский Чушкин, кое-кто из стариков — и нате вам, туда же, лопоухий, то есть легкомысленный, Федька Толстосумов, и, что странно, Герасим Матвеевич, герой и партизанский повелитель, с ним дружески и уважительно обходится. У народа глаз зоркий, видели, как взял Федьку под руку и тихо — но кой-кто слышал, спросил: «Это тебя, что ли, выкликали французы на разговор? Чего же не вышел?» А Федька вроде бы ответил: «Только попадись им в когти — ужо поцелует ястреб курочку до последнего перышка».

Теряясь в догадках, одни безоговорочно отказывали Федьке в его возможности серьезного отношения к жизни. Мол, балаболка, ушел шалопутом в Москву, а теперь вернулся, не шибко, видно, умишком прибогатившись. А другие недоверчиво качали головами: «Э-э, не скажи, тут дело тайное... Герасим за дурость привечать, чай, не стал бы».

Держали совет в избе недолго. Погоревали о погибшем кузнеце, нескольких раненых партизан решили переправить в лесной лагерь — под присмотр женщин.

На сей раз трофеи, что лошадьми, что оружием взяли, и вовсе сказочные. Сразу договорились: на одного чтоб осталось по ружью, пистолету или сабле, а кто хапнул лишку — переделиться по справедливости. Спорить не стали — разумность передела казалась очевидной. Герасиму, как предводителю, вручили все-таки два пистолета и саблю — так думалось проявить к нему особое доверие и уважение. Сам Курин в этом бою двоих врагов острейшей пикой пронзил насмерть, бросался туда, где подсобить надо, и так поглощен был боем, что оказался без добычи. Федька колебался, что оставить — ружье или пистолет, красивая игрушка пистолет, ничего не скажешь, но, сожалеючи вздохнув, взял ружье.

— Выйдет заряд — а все равно в руках надежная дубина, — объяснил свой выбор. — Сподручно. Вон Иван Яковлевич (Федька повернулся к сотскому Чушкину) лихо как нынче считал ружьем супостатовы головы. Ажно завидно.

Никто не улыбнулся шутке — обдумывали смерть кузнеца, первого односельчанина, погибшего в сражении.

Не своей смертью, как от бога заведено, ушел из мира добрый человек, а насильственной, и детишки остались — мал мала меньше.

— Тоже божья смерть, — задумчиво сказал Курин,— в бою потому что, за отечество.

Стулов, во всем привыкший блюсти порядок, сказал, что надо бы неприятельские трупы побыстрее прибрать с глаз долой.

— А че их прибирать? — неожиданно заершился сухонький низкорослый дед Антип. — В топь их, вражьих сынов, в болото, пусть трясина их прибирает.

Дед вроде не в первых рядах бежал к месту боя, а на совет явился при длинном палаше, который волочился за ним по земле, гремя и бренькая на ходу.

— Не дело говоришь, дед, — возразил Герасим, — хоть и враги, а все же люди. Где бы ни обретался человек, а везде она его, землица, принять должна. Наша-то земля им чужая, и с недобрыми намерениями они на нее ступили, так что хоронить будем не на кладбище, а в лесу, на дальней полянке. И место выровняем — пусть трава растет.

Вскоре по обеде Курин, Стулов и еще с десяток верховых окружили повозку, где лежали больше мертвые, нежели живые гусары, и быстро, на рысях, а под гору и галопом покатили по пыльной дороге.

В Покров прискакали засветло. На просторном дворе господского дома, где держал штаб-квартиру князь Голицын Борис Андреевич, появление вохненских вооруженных мужиков с тремя пленными французами вызвало необычайное оживление и любопытство, люди сбежались, как на пожар, большинство доселе в глаза не видели антихристов и злодеев.

Вышел Голицын, поговорил с пленными по-французски, как бы даже с лаской в голосе, распорядился развязать веревки, и гусары, растирая затекшие руки, ушли под конвоем. «Для допроса и выяснения положения неприятеля», — пояснил унтер-офицер недовольной толпе, которая ожидала от князя решительного поведения, может, порки злодеев, а может — прямо здесь, на глазах у всех, и немедленного расстрела.

Адъютант указал на скромно стоявших в стороне Курина и Стулова. Князь милостиво кивнул, поблагодарил за службу царю и отечеству, сказал, чтоб расположились на постоялом дворе — он освободится от дел и примет их. Времени встретиться с партизанскими вожаками у

генерала, увы, не нашлось, и все же, как человек обязательный, он распорядился через адъютанта полковнику Нефедьеву: дать совет партизанам, как действовать дальше и по возможности изыскать подкрепление.

Возвращались вохненцы из Покрова в сопровождении двадцати казаков. Их выделили скорее для моральной поддержки — пусть и крохотная, а все же воинская часть. Курин, хмурый и озабоченный, поторапливая отряд, стеганул кнутом свою отнюдь не кавалерийских статей кобылку, привыкшую тянуть трудную лямку в крестьянском хозяйстве. Казаки смеялись до слез, глядя, как мужики, махая растопыренными локтями, словно подрезанными крыльями, нелепо подпрыгивают в такт лошадиному галопу.

По историческим хроникам центром Вохненской волости значится то Вохня, то Павлово. В сущности, это одно и то же. Вохней называли Дмитровский погост, который вырос здесь еще во времена, когда Иван Грозный передал земли волости в вотчину Троице-Сергиевой лавре. Погост — два храма, теплый и холодный, как сказано в писцовых книгах 1623—1624 годов, дома церковного причта, несколько крестьянских дворов, «да при том погосте сельцо Павлово на речке Вохонке, а при нем крестьян и бобылей 25 дворов, да два двора монастырских и 3 кузницы, да в сельце торжок, а на том торжку 30 лавок рубленых, а в тех лавках торгуют Вохненской волости крестьяне...».

Волость так и продолжали называть Вохненской, а центром ее стало разросшееся и получившее известность Павлово, ныне районный центр Павлово-Посад. В этом предприимчивом селении, где крестьяне занимались не только хлебопашеством, но и торговлей, ткачеством и другими ремеслами, в 1777 году в крестьянской семье родился Герасим Курин. Землицы у Куриных мало, а трудов требовалось много — от зари до зари, и при скудных здешних песчаных и глинистых почвах урожаи не радовали — в плохой год свезешь, бывало, подати, с долгами прошлыми рассчитаешься и хоть метелочкой выметай закрома, авось завалялось зерно-другое.

Род Куриных крепко держался за свой клочок земли, виделась в этом какая-то незыблемость, надежность, как грош, отложенный на черный день, а некоторые односельчане пытали счастья в торговле, ткачестве, более

удачливые заводили мануфактуры на дому даже с наемными, преимущественно пришлыми рабочими, были и такие, что и в Москву уходили в поисках лучшей судьбы, да не многие ее находили.

Бурно развивалась Вохня-Павлово как торговый центр, чему немало способствовала близость к Большой Владимирской дороге — на важный торгово-стратегический тракт обратят внимание и в штабе Наполеона. Река Клязьма, пусть и в крутых берегах, вширь до двадцати пяти сажен достигала, что позволяло баржам и небольшим судам подвозить товары из Владимира и даже с Нижнего Новгорода. Вохненцы выставляли на торг хлеб и съестные припасы, шерстяные и бумажные ткани, а частью и шелковые, крашенину, павловские платки, ставшие со временем столь знаменитыми, что мода на них сохранилась и до наших дней.

Сейчас уже трудно установить, когда и за что Матвея Курина, отца Герасима, забрали в солдатчину. Мать надрывалась от зорьки и до темна в поле и по хозяйству, и мальчонке пришлось немалую долю забот принять на себя. Подростком — усы еще только намечались, он работает вровень со взрослыми мужиками, привычно впрягшись в изнуряющий крестьянский быт и труд. И хотя работали двужильно — с трудом перебивались до весны, до первой подсобной зелени. У матери похлебка из молодой крапивы или лебеды выходила не только съедомой, как у них говорили, а даже вкусной. Причем работа да свежий воздух в изобилии тоже охоту к еде прибавляли. В трудные дни утешались старинным мужицким присловьем: хлеб да вода — молодецкая еда.

А село богатело, росли добротные дома местных толстосумов, которые со временем образовали даже целую улицу Купеческую. Особенно преуспел Никита Урусов, купец, мануфактурщик и скаред, свет каких не видывал. Когда старик умер (а домочадцев он тоже держал в черном теле), сын его, Григорий, то ли с горя, а скорее на радостях, устроил невиданные доселе по пышности похороны, хмельная река лилась, что Вохня в половодье, а некоторые яства и вина даже из самой столицы гонцы доставляли.

Молодой и неистомного рвения наследник Григорий Урусов, стесненный рамками деревни и владея силой — капиталом солидным, за несколько лет до нашествия Наполеона открыл в Москве крупную мануфактуру с более чем ста наемными рабочими. Из павловских соблазнился столичной жизнью лишь Федька Толстосумов — бедняк, голь перекатная, страдавший из-за насмешек над несообразной своему положению фамилией. А вот крестьяне Лабзины, Щепетельниковы своими фамилиями не брезговали, наоборот, гордились — они стали крупными фабрикантами в самом Павлове.

Торг хлебом проводился еженедельно, а в конце октября собиралась годовая ярмарка, шумная, как все ярмарки, громогласная, красочная, богатая. Крупная торговля шла зерном, а славившиеся своим искусством хлебопеки предлагали разнообразную выпечку. Строго блюлись древние законы, требовавшие, дабы хлеба ситные и решетчатые, калачи тертые и коврижные были пропеченными и в них гущи и подмесу не ощущалось ничуть.

Редко кто отваживался обычай нарушить: ведь везти на торг худой товар — себе в убыток, объяснял Герасиму во время обхода ярмарки бывший его наперсник по детским играм и шалостям Егор Семенович Стулов, прочно утвердившийся в должности волостного головы. Егору и хозяйство от родителей досталось покрепче и землица получше, и при умелом хлебопашестве он достиг устойчивости среднего достатка. Оказанным ему доверием и данной властью не возгордился, перед павловскими деловыми людьми без нужды шапку не ломал, с бедняками старался быть справедливым.

В детстве и юности в уличных играх и молодецких забавах бесспорно первенствовал Герасим, с годами заметно выдвинулся, особенно в общинных делах, Егор, что не мешало им сохранять ровные и добрые отношения. Лишь однажды, в дни нашествия, на общем сходе в трудную для деревни минуту чуть не прорвалось было невольное, непроявляющееся открыто соперничество двух сильных натур, но их дружба, в войну с Наполеоном и огнем крещенная, испытание на прочность выдержала и закрепилась на долгие годы. Люди говорят, на всю жизнь, до самой смерти.

Герасим, или Гераська, как звали его в детстве по обыкновению, здесь принятому, был бедовым мальчонкой — верховодил сверстниками в деревне, водил свою рать против таких же забияк с окрестных поселков. Вохню-Павлово почти окружал дремучий сосновый бор с редко встречающимися перелесками. Бор — богатство, которым не могли нахвалиться монахи Троице-Сергиевой

лавры. В старину лес кишел зверьем, среди местных поселян были даже особые княжеские бобровники, охотники то есть, но с годами зверье, а тем паче охота сошли на нет, и все же с косолапым в малиннике еще можно было столкнуться нос к носу. Без нужды особой в глубину леса мало кто забирался.

Зная, казалось, окрестности, как свою ладошку, Герасим тем не менее, когда ему было лет десять от роду, заблудился среди бела дня, ушел в непроходимую глушь и трое суток блуждал. Нечистая сила, считают старики, водила мальчонку. Подкреплялся горькой, недоспелой — скулы сводило, рябиной, травкой-муравкой, с жадностью смотрел на грибы, попадавшиеся в изобилии — съедомые, сытные, да только без огня есть — погибель, это Гераська знал. Пробовал было по древнему, слышанному от стариков способу добыть огонь, тер до изнеможения сухие палочки друг о дружку, добился того, что они потемнели и даже чуть-чуть вроде дымились, но, проклятые, не горели, хоть плачь. А не плакал, понимал, спасение в том, чтобы идти, пока ноги держат, и через заболотную местность, где и взрослый, наверное, пропал бы, каким-то чудом вышел к Клязьме. Понял — спасен, и со всех ног припустил вверх против течения, к дому.

— Везучий, — уважительно говорили соседки, а мать, не чаявшая видеть сына живым, схватила первую попавшуюся хворостину и принялась охаживать любимое дитя, плача от радости и схлынувшего разом горя.

Четверть века спустя вспомнил Герасим про свои лесные блуждания. Когда спор зашел, где лучше устроить для жителей Павлова и ближайших деревень лагерь, понадежнее укрыться от неприятеля, он, не колеблясь, повел женщин, стариков, детей в глубь Ямского бора. Житейский опыт — бесценное богатство, если он обращен на пользу себе и людям, потому и детское приключение, едва не кончившееся для Герасима непоправимой бедой, отозвалось спустя годы и сыграло добрую службу

От отца Герасим взял степенную рассудительность, не бросающуюся в глаза лукавость, сметку, от матери — серые глаза и отходчивость характера, умение ладить с людьми.

Из далеких и дальних солдатских странствий Матвей Курин вернулся вскоре после того, как русские войска под командованием Суворова штурмом взяли Измаил.

Шел старый Курин в колонне, которой командовал Кутузов — Михаил Ларивоныч, — уважительно уточнял Матвей, вспоминая, как солдаты отважно рванулись по зыбким штурмовым лестницам на отвесные стены крепости, что ничто, казалось, не могло их остановить и не остановило — ни ядра, ни пули, ни турецкие сабли и ятаганы. Ран колотых в бою не считали, а вот уже на самой стене Матвею картечью изувечило ноги.

С трудом передвигался отставной солдат с тяжелой суковатой палкой по избе, а больше лежал на печи, где в лучшие урожайные годы сушилась рожь, — прогревал искалеченные кости хлебным духом. Герасиму, когда отец вернулся, четырнадцать исполнилось, и был он крепким, рослым не по годам парнем. Матвей присмотрелся к сыну — как тот с делами управляется, одобрил: ладный растет работник, умелый и в дела хозяйственные почти не вмешивался, лишь покрикивал для порядку, хотя необходимости в том и не было особой.

В дни больших праздников, а особенно на ярмарку, мужики, ремесленники, работные люди гуляли. Пили в меру, для сугреву и настроения, а про того, кто начинал было колобродить, говорили с осуждением: «Ну, у него в голове гусляк разгулялся». Здесь варили брагу на особенном местном хмеле — он произрастал в Богородском уезде на реке Гуслице. Однако не в меру «нагуслиться» считалось по строгому нравственному крестьянскому кодексу делом зазорным и зряшным

У молодежи свои игры — посиделки, песни и пляски. Между Вохней и Павловом, как уже говорилось, не было ни четкой границы, ни вражды, так, необидное подтрунивание обоюдное, а по зиме, когда лед на реке Вохне покрепче установится, сшибались нередко стенка на стенку вохненские против павловских. Дрались беззлобно, только кулаками — никто бы и не подумал взять палку или камень, просто силу и ловкость выказывала молодежь, к тому же в самом центре села происходила потеха, на виду у пристрастных свидетелей, так что от правил никто и не покушался отступать.

Павловскими обычно предводительствовал Герасим. К тому возрасту, когда свахи уже невест присматривают, вымахал он в красивого и крепкого парня — армяк с трудом сходился на широкой груди, в потехе ловок и смел на зависть, но по дурости, как некоторые другие сверстники, силу никогда не показывал. Общинное мне-

ние в лице все видящих, все знающих кумушек, которые и у ангела изъян без труда высмотрят, особенно умилял его трезвый образ жизни (а ведь молод, горяч!) и умение дело делать как бы легко, без натужного и уж тем более показного надрыва. Умелые руки у молодца: и пахарь, и плотник, и шорник, а случалась потребность неотложная — мог и подручным у кузнеца Антона Нелова с пользой постоять, поработать молотом в охотку.

Когда младший Урусов спустя несколько лет после тех знаменитых похорон открывал в столице свое торгово-купеческое дело, он приглашал и Курина, не в работники — в помощники управляющему. Не зря приглашал — Герасим от псаломщика Ивана Отрадинского, с которым в добрых ладах был, немного обучился грамоте, знал счет, отличался рассудительностью ума и твердостью в слове. Купец хорошие деньги сулил — Герасим не соблазнился. В деревне об этом толковали долго и с одобрением.

Женился Герасим на скромной и работящей девушке из ближайшей деревушки Грибово, родился у них сынишка — Панькой назвали. Роды были трудные, еле выходили молодуху — спасибо, тот же псаломщик Иван, грамотей и большой почитатель лечебных трав, своими отварами отпоил роженицу. Выздоровела, поправилась, да, к огорчению Герасима, суждено им было остаться при одном сыне. Как водится, в семье мальчонку, пусть единственного и любого, не баловали, в крестьянских семьях вообще скупы на нежности — так подсказывает здравый смысл и веками усвоенные принципы народной педагогики. Здесь главное нравственное мерило устойчивости в жизни — отношение к труду, почитание и забота о старших.

Панька любил возиться с отцом по хозяйству — занятие находилось что зимой, что летом. Избу подмести, двор — здесь и девчонка управится. Он же научился помогать отцу сани или телегу ладить, хомуты чинить и другую сбрую, набивать гвозди на борону, пилить и колоть дрова, а уж коли разрешали верхом на кобылке прокатиться к речке на водопой — большей награды и желать грешно.

Случалось, попадал под горячую отцовскую руку, если бедокурил. А покажите хоть одного мальчишку в деревне, который избежал бы подзатыльника от отца или деда? О родительских наказаниях между ребятишками разговор обычный:

— Досталось тебе вчера?

— Подумаешь, я даже не айкнул.

Дед Матвей, правда, все больше непонятно грозился: «Гляди, — говорил, сердясь, внуку, — под ружье поставлю». Панька и рад бы под ружьем постоять, одним глазком посмотреть, какое оно из себя, но дед угрозу в исполнение почему-то не приводил. Ружья не было, так понимал Панька. Говорили, будто у барина из Меленок есть настоящий мушкет, пальнет, ажно в ушах трещит. Так то барин.

Сообразительность и смелость Паньки (куринская порода) в полной мере и с немалой пользой проявились в партизанском отряде в первые дни, как только организовались. С Федькой Толстосумовым (о нем особый рассказ) они, выполняя наказ Курина, беспрепятственно добрались чуть не до самой Москвы и за несколько дней до занятия Богородска сумели узнать, что войсками, направлявшимися в их уезд, лично командует один из самых главных и прославленных наполеоновских маршалов — Ней.

4 октября князь Голицын в рапорте дежурному генералу П. Коновницыну сообщает об этом, как о факте уже бесспорном: «...по сведениям от пленных, маршал Ней сам был в Богородске и командовал всеми войсками в окрестностях Москвы, бывших для фуражирования, число коих более 14 тысяч пехоты и конницы, в самом Богородске было 12 пушек».

Что и говорить, с серьезным противником пришлось иметь дело крестьянским отрядам и владимирским ополченцам, но и эту хваленую пехоту и конницу при их пушках лапотные мужики били, истребляли, гнали, не давая захватчикам ни минуты покоя. В листовках, публиковавшихся штабом Кутузова, взявшихся за оружие крестьян именовали не иначе как «почтенными нашими поселянами», а главным мотивом их действий объявлялась любовь к Отечеству.

Однако успехи и размах «малой войны» сильно тревожили не только Наполеона, не в меньшей мере разгорающееся сопротивление народа беспокоило и царское окружение, где преобладали завистники, интриговавшие против главнокомандующего, крепостники. Известны, например, распоряжения на первоначальном этапе войны

командирам войсковых отрядов о недопустимости снабжать партизан оружием, а губернаторам было даже дано указание не только разоружать крестьян, но и «расстреливать тех, кто будет уличен в возмущении».

Красноречиво предупреждение, а точнее сказать, злобный навет генерал-губернатора Москвы и (какая ирония судьбы!) главнокомандующего наиболее важным и крупным — Московским ополченским округом Ф. В. Ростопчина: «Умы сделались весьма дерзки и без уважения. Привычка бить неприятелей преобразила большую часть поселян в разбойников». А вот отношение к тем же поселянам М. И. Кутузова: «Много есть подвигов знаменитых, — писал фельдмаршал, — учиненных почтенными нашими поселянами, но они не могут быть на первый случай обнародованы, ибо неизвестны еще имена храбрых; приняты меры, чтобы узнать об них и передать отечеству для должного почтения».

В этой войне, по словам Дениса Давыдова, «нравственная сила рабов вознеслась до героизма свободного народа», и именно страх, паническая боязнь перед познающими вкус свободы рабами в решающей степени определяли умонастроения власть имущих. С этих же классовых позиций оценивал опасность пробуждающегося самосознания русского народа представитель Англии при штабе Кутузова Р. Вильсон: «Не одного только внешнего неприятеля опасаться должно; может быть, теперь он для России самый безопаснейший. Нашествие неприятеля произвело сильное крестьянское сословие, познавшее силу свою и получившее такое ожесточение в характере, что может сделаться опасным».

Хотя посулы Наполеона и его призывы к лояльному сотрудничеству не нашли никакого отклика в народе, все же медленно, неровно разгорался пожар сопротивления в первый период войны. Генерал Алексей Петрович Ермолов в своих известных «Записках» свидетельствует: «Поселяне приходили ко мне спрашивать, позволено ли им вооружаться против врага и не подвергнутся ли они за это ответственности...»

Подвергнуться ответственности за то, что, рискуя жизнью, готовы подняться против завоевателя? Не абсурд ли? Если же вспомнить предостережения Ростопчина, неуверенность и робость крестьян более чем обоснованы. «Война народная слишком нова для нас, — замечает в «Письмах русского офицера» Ф. Глинка, — кажется, еще боятся развязать руки. До сих пор нет ни одной прокламации, дозволяющей собираться, вооружаться и действовать где, как и кому можно...»

Кутузов, думая не столько о себе, о своей личной судьбе, сколько об исторической миссии, возложенной на него народом, о праве и долге всех, кто может держать оружие, встать на защиту отечества, в одном из рапортов царю писал: «С мученической твердостью переносили они все удары, сопряженные с нашествием неприятеля, скрывали в лесах свои семейства и малолетних детей, а сами, вооруженные, искали поражения в мирных жилищах своих появляющимся хищникам. Нередко сами женщины хитрым образом улавливали сих злодеев и наказывали смертию их покушения, и нередко вооруженные поселяне, присоединяясь к нашим гарнизонам, весьма им способствовали в истреблении врага, и можно без увеличения сказать, что многие тысячи неприятеля истреблены крестьянами».

Вскоре после отправки этого убедительного документа, когда для непредубежденного наблюдателя успехи «малой войны» были уже неоспоримы, более того, широкое участие народного ополчения и партизанских отрядов в период подготовки контрнаступления стало составной частью стратегии, определявшей развитие кампании, главнокомандующий, испытывая давление двора, вновь вынужден объясняться, оправдываться, доказывая правоту своей концепции освободительной войны при самом активном и самоотверженном участии в ней крестьянства:

Фельдмаршал Кутузов — Александру I: «Во время занятия неприятелем Московской, Калужской и части Тульской губерний жители тамошних мест старались доставить себе оружие, желая тем ограждать себя от вторжения неприятеля. Уважая справедливую сию надобность и дух общего их рвения повсеместно наносить вред неприятелю, я не только не старался удержать их от такового намерения, но, напротив того, посредством дежурного при мне генерал-лейтенанта Коновницына, усиливал в них желания сии и снабжал их неприятельскими ружьями. Таким образом, жители означенных мест получали ружья из главного моего дежурства и от партизанов (войсковых отрядов. — *Ред.*), другие же от самих французов, коих убивали собственными руками».

«Я не только не старался удерживать их от такового намерения...» Значит, от главнокомандующего настойчиво требовали — удерживать? Однако река уже вышла из берегов. И Кутузов не без дерзкого вызова отвечает: «Напротив, усиливал в них желания сии...» Чтобы так прямо и открыто писать всесильному самодержцу, определенно зная, что ожидает тебя не похвала, а гнев, нужно обладать немалым гражданским мужеством.

Среди тех поселян Московской губернии, которые получали ружья от самих французов, убивая их собственными руками, были и вохненские мужики. Привелось читать у нашего современника, будто Герасим Курин приезжал в Тарутинский лагерь, был принят и обласкан главнокомандующим, высказал свои глубокомысленные советы и соображения касательно дальнейшего ведения кампании, бражничал на равных со знаменитыми командирами войсковых отрядов (партий) и вернулся в Вохню с фурой, нагруженной новенькими ружьями. Что и побудило якобы крестьян организоваться в отряд.

Между тем Кутузов особо подчеркивает в рапорте царю — раздавали французские ружья, да иначе и быть не могло, потому что даже для ополченских полков, включенных в регулярную армию, не хватало оружия. После сражения при Малоярославце, побудившего отступающего Наполеона повернуть на гибельную Смоленскую дорогу, маршал Ж. Бессьер, понимавший невозможность в сложившейся ситуации прорваться на Калугу, отмечал, в частности: «А с каким неприятелем нам приходится сражаться? Разве не видели мы поля последней битвы, не заметили того неистовства, с которым русские ополченцы, едва вооруженные, обмундированные, шли на верную смерть?»

Отряд Курина просуществовал недолго, а на протяжении семи дней — от первой стычки в деревне Большой Двор до бегства французов из Богородска — был в ежедневных боях. Без передышки. Нет сомнения, что главнокомандующий в отличие от высокомерного князя Голицына нашел бы возможность принять и любезно обойтись с крестьянским вожаком (таких примеров немало), но у Курина просто не было физической возможности на длительную поездку в лагерь русской армии. И вообще до пожара Москвы им и в голову не приходило, что война докатится до самого порога, хотя Павлово, как и вся необъятная Россия, жило в тревоге перед надвигавшимся лихолетьем.

Молву, говорят в народе, через речку слышно. Молву опорочную, злоязыкую, что шепотком передается. А в дни испытаний и бед тяжких горькие ходячие вести не ходят, а летят, распространяясь с быстротой лесного пожара. То тревожные: Смоленск пал... То радостные: супостат повержен в Бородинском сражении!..

— Я же говорил, Михаил Ларивоныч остановит злодея, — воодушевлял односельчан бывший кутузовский гренадер Матвей Курин. — Куда ему против русского солдата, который крепостя́ на штык берет. Напорется француз, что медведь на рогатину, и дух испустит поганый.

И вновь слух, будто змея холодная, прополз, стал шириться, подтверждаясь изо дня в день тревожными сообщениями: неприятель не повержен, наоборот, подвигается к Москве, лютует на захваченной территории. Говорят, сколько хлеба печеного, муки или зерна у крестьян найдут, а также лошадей, коров, овец, то все без остатка заберут... некоторые деревни совсем выжжены и крестьян покололи... ломают и тычут пиками в образа и делают конюшни из церквей...

Вечером у постоялого двора остановил повозку подозрительный человек. По платью да щекам лоснящимся если судить, вроде купчина, а вид диковатый, словно черта среди бела дня увидел. Купчина, отчаянно нервничая, спросил овса лошадям.

— Да поторопись, христа ради, любезный, хорошо заплачу.

— Куда столь поспешно, ваше степенство? — заинтересовались мужики.

— Во Владимир, а там, бог даст, куда глаза поведут.

— Издалека, ежели не секрет?

— Да какой там, православный, секрет: из Москвы-матушки. Пропала златоглавая, отдали супостату на поругание...

Крестьяне опешили, взволновались: «Да ты что... Да ты как... Да типун тебе на язык, вражина бессовестный, шпийон бонапартов», — и за грудки, и по шее, и по уху. Когда на шум поспешно подошли Стулов и сотский Чушкин, помятый купчина одной рукой придерживал надорванный ворот, другой прикрывал расцарапанную щеку и так бранно ругался, что Егор сразу понял: свой человек, русский, лишь не по-русски трусоват, а может, и натурой подл, из разглашателей — надо установить. Из уезда предписали строго: соблюдать тишину

и спокойствие, дабы пустые, развратные толки праздных людей не были распространяемы, а разглашателей слухов о падении Москвы, как лгунов и трусов, доставлять по начальству.

Избитый приезжий, с надеждой обратясь к волостному, уже собирался оправдываться, как вдруг не заблаговестил — ударил в набат большой колокол церкви Воскресения. Мужики удивились — что-то не ко времени бухнули в колокола, а набат нарастал, уже со всех сторон бежали на площадь люди, взвыли, запричитали бабы, кто-то, перекрикивая шум, истошно закричал: «Смотрите, смотрите, пожар!» И все увидели разрастающееся зловещее зарево в той стороне, где стояла Москва. Забытый мужиками купчина засуетился, стеганул лошадей, повозка загрохотала, но никто даже не посмотрел в ту сторону.

Всю ночь по дороге на Владимир не затихало движение, скрипели и громыхали телеги, фуры, кареты. Многие крестьяне тоже не спали, негромко, будто боясь накликать беду, переговаривались, посматривая с тревогой на запад, туда, где разрасталось на полнеба зарево.

— Что будем делать, Егор? — спросил Герасим, когда в этом ночном движении от группы к группе они на какое-то время оказались рядом.

— Что же делать? — вздохнул Стулов. — Кабы знать... Ждать будем, надеяться.

— Чего ждать? Злодея в гости?

— Думаешь, будет ему сюда ход-то?

— А что ход? Пятьдесят верст ему не дорога, вон из какой дали дошел.

— Не знаю, Герасим, наше дело мужицкое, подневольное, как прикажут — так и покоряйся.

— Нет, Егор. Ежеди завтра, скажем, француз упрягет меня заместо моей кобыленки в соху да погонять станет, что же я, покориться ему должон?..

Мужики слушали их разговор молча — им тем паче сказать было нечего. Что могли, казалось, они уже сделали. Когда еще до падения Москвы вышел указ — отбирать в ополчение мужчин в возрасте от восемнадцати до сорока пяти лет, готовить припасы, люди, истомившиеся в неизвестности и незнании, куда себя приложить, захлопотали с необыкновенным усердием. Запылали в кузницах горны, застучали молотки — кузнецы ковали наконечники для пик, портные и сапожники ладили одежду и обувь для ополченцев или жертвенников, как их стали называть в народе, потому что жертвовали они собой не по обязательному набору, а по велению души становились на защиту земли русской.

Стулов принимал подводы из окрестных сел с хлебом и другими припасами, что мужики свозили, и занят был по горло, ни на минутку не мог оторваться от столь важного дела, и по волости приходилось мотаться, поторапливать да понуждать. И как-то незаметно вышло так, что Герасим Курин, никакой должности в Павлове не занимавший, стал как бы в центре всеобщего воодушевления и хлопот, всем он был нужен для совета и помощи и везде поспевал. Не распоряжался, не повышал голоса, а быстро и справедливо разбирался даже в таких непривычных делах, как спор чуть не до драки двух молодых мещан братьев Сырцовых — кому из них, погодкам, идти в ополчение.

По дороге на Покров под команду князя Голицына густо проходили отряды ополченцев. Мальчишки с завистью смотрели на лихо заломленные фуражки с крестом, мужчины с сочувствием отмечали худобу обмундирования. Очень немногие были одеты по полной крестьянской ополченческой «форме»: рубаха с косым воротом, серый кафтан, шаровары из грубого сукна, сапоги. У большинства — привычные, не приспособленные к дальним переходам лапти. И ни одного ружьишка, даже пики не у многих.

— Как же они воевать-то, сердешные, будут?

— Пусть только сунется, вона сколько нас — шапками замечем, — бахвально говорил Федька Толстосумов и горделиво посматривал налево-направо: какое производит впечатление?

— Твоя шапчонка московского кроя. видать, дюже грозное оружие, кого хошь запугает, даже гренадера, — улыбнулся Курин, — а хорошо бы под шапчонкой, кроме кудрей, еще что-нибудь иметь посущественнее.

Федьке Толстосумову было лет двадцать пять — всего на десять лет моложе Курина, а внешностью и особенно повадками походил на задиристого, легкомысленного мальчишку. Степенности (Стулов как-то буркнул: «И ума») вроде не прибавило ему житье в Москве в качестве ученика ткача, а в последние годы перед войной и самостоятельного работника на мануфактуре Григория

Урусова. Появился он в Павлове дня через три после того, как начала гореть Москва, и пошел, едва показавшись у матери (отец рано умер), сразу к Герасиму Курину — их семьи были по-соседски близки и даже находились в каком-то дальнем родстве. Люди видели, как вскоре после его прихода Панька пулей понесся к волости и тут же вернулся с Егором Стуловым, и они втроем целый вечер о чем-то говорили, а Панька стоял у ворот — то ли сторожил, то ли ему просто в избу ходить заказали.

Было чему удивляться и с чем таиться: Герасим чуть ложку не уронил в миску с похлебкой, когда Федька, прямо с порога, даже на икону в красном углу не перекрестившись, брякнул:

— Вот, Герасим Матвеевич, вернулся я в родные края в качестве шпиона и агента Бонапартового. Зови волостного, зови сотского, вяжите меня и везите прямо в уезд. Как на духу покаюсь.

Курин справился с удивлением, посмотрел внимательно на Федьку и сказал глуховато и неторопливо, будто взвешивая каждое слово:

— Ты же через уезд, через Богородск пришел, зачем тебя везти обратно? Расскажи, послушаем да здесь, в родной земле, может, и схороним. Чай, своя душа, христианская, хоть и продавшаяся.

— Да не продался я, Герасим Матвеевич, обманул их, злодеев, на кривой объехал, вот те крест, — и он наконец перекрестился, при этом смотрел не на икону, а на хозяина.

Тут-то Панька и был послан за волостным.

Если коротко говорить, в те смутные часы, когда армия из Москвы ушла, а неприятель где-то замешкался (Наполеон на Поклонной горе ждал бояр с ключами от города), Федька с какой-то бесшабашной компанией попал в пустой брошенный кабак, быстро и до полной потери сознания и человеческого облика набрался и очнулся только тогда, когда его, поднадавая под ребра прикладами, привели к человеку явно высокого начальственного вида. Федька, к своему ужасу, понял, что стоит перед французским генералом — как оказалось позже, перед самим комендантом Москвы Мильо.

При генерале находился переводчик не французского обличья, и это обстоятельство Федьку спасло, потому что, услышав русские слова (тот, при генерале, спросил: «Кто тебя, морда, послал на поджог?»), Толстосумов,

даже не вникнув в суть вопроса, а только зацепившись краешком сознания за знакомое слово «морда», зачастил словами, затравленно оглядываясь на человека в расшитом золотом мундире. («Не сам ли Наполеон?» — мелькнула дурацкая мысль.) Сбивчиво, быстро и достаточно внятно он обрисовал начало своих приключений, а что было дальше — вспомнить, как ни напрягался, не мог, заробел, чувствуя, как куда-то к пяткам просачивается холодок от неизбежности смерти.

Человек, умевший так душевно говорить «морда», стал задавать вопросы: как зовут? Откуда родом? Чем занимается? Генерал крайне заинтересовался местностью у Богородска и дальше по нескольку раз переспрашивал название деревень, потом — тут Федька аж приподнялся на лавке и, глядя доверчиво на Курина и Стулова, понимая, что сообщает что-то важное, сказал шепотом:

— Потом я увидел, как генерал провел на карте линию от Москвы до Богородска, а от Богородска на Вохню и дальше куда-то, я не разглядел.

Допрос длился довольно долго, и в конце концов генерал через переводчика сказал:

— Мы тебя должны бы по приказу его императорского величества и короля расстрелять, как поджигателя и бандита. Но ты, видать, человек с головой. — Федька невольно приосанился, зыркнул на Курина и Стулова, те молчали, глядя в земляной пол, и Толстосумов пожух лицом, сник. — Словом, они сказали, что меня отпускают, чтобы я добирался к себе домой и скажи, дескать, своим деревенским мужикам, чтобы нас не боялись, мы их, мол, не считаем за врагов. И еще, говорит, скажи тем хозяевам в волости, у кого есть хлеб и продукты, пусть едут в Москву без опаски, тут торги будут открыты, никого обижать не станут, а насупротив того, наградят.

Когда отпускали, рассказывал Федька, афишку вроде бы приказа Бонапартова вручили для чтения в волости, но афишку французскую (тут Федька потупился) он... того... французскую афишку в дело употребил, а вот нашу, наоборот, подобрал и доставил. Спрятал и доставил.

Толстосумов порылся за назухой и гордо выложил сложенный в несколько раз лист бумаги. То была одна из листовок Ростопчина. Граф, бахвалившийся, что Москвы супостату не видать как своих ушей, теперь обращался умиленно к тем самым «поселянам-разбойникам», которых по своей натуре ярого крепостника и за людей-

то не считал и еще недавно грубо и несправедливо оговаривал.

«Крестьяне! Жители Московской губернии!

Враг рода человеческого, наказание божие за грехи наши, дьявольское наваждение, злой француз вошел в Москву, предал ее мечу и пламени... — читал, запинаясь, Стулов графское послание, — многословное, путаное, крикливое, из коего ясно было лишь одно определенно, что можно браться за оружие и не проявлять жалости к завоевателю: — Куда ни придут, тут и вали их живых и мертвых в могилу глубокую... Вы не робейте, братцы удалые... где удастся поблизости, истребляйте сволочь мерзкую, нечистую гадину, а тогда в Москву к царю явитесь и делами похвалитесь. Он вас, — уверял без зазрения совести сановный фарисей, — опять восстановит по-прежнему, и вы будете жить припеваючи по-старому».

— Ах, важно, накостыляем супостату шею и заживем припеваючи, — начал было привычно скоморошничать Федька, но Герасим оборвал его хмуро:

— Погоди, подумать надо, как с тобой обойтись.

Судили-рядили так и эдак, обсуждая все услышанное от Толстосумова, и пришли к следующему: о шашнях Федькиных с французами, как случившихся в результате его безответственности и безголовости («Надо же так нагуслиться», — недоумевал Курин, который даже по большим праздникам обходился без хмельного. «Так даровое же...» — снисходительно, с пониманием хмыкнул Стулов), — в деревне не сообщать, сохранить в тайне, дабы не смущать умы.

— Проходу не дадут, изведут, а могут и порешить, — резонно заметил Егор.

О случаях таких народная молва доносила, когда возбужденные люди расправлялись на месте с вражескими шпионами или теми, кого за таковых принимали — пример с купчиной в этом смысле весьма характерный. Из уст в уста переходила весть о смелом поступке крестьянина Бронницкого уезда Никиты Макарова, который пришел в главную штаб-квартиру русской армии, добился, чтобы его выслушали по важному делу и доказательно разоблачил своего барина помещика Андрея Ключарова как предателя и пособника вражеских войск. А в одной подмосковной деревне мужики безжалостно

истребили купцов, как изменщиков, поскольку они, склонившись на посулы Бонапарта, собирали хлебный обоз для торговли с неприятелем.

Главное, что вынесли из рассказа Федьки Толстосумова участники тайного разговора и что их больше всего встревожило, — ждать следует врага в Вохню. Карта с линией от столицы до Богородска и далее сомнений на этот счет не оставляла.

Несколько дней прошло в состоянии неопределенности и тревоги, а поскольку вести о грабежах и насилиях в окрестностях Москвы доходили все явственней и одна другой устрашающе, решили созвать деревенский сход. И вновь — было это 23 сентября — загудел большой колокол.

Пришли не только свои, но и из ближайших деревень — Грибово, Большие Дворы, Назарово, Субботино, Насырово, из дальних выселков. Просторная базарная площадь не вместила всех, и люди толпились на спуске к реке Вохне, не предполагая, что именно на этом месте, на берегах неширокой речушки, предстоит принять им кровопролитное сражение.

На подводу в центре площади встал, возвышаясь над всеми, волостной голова Егор Семенович Стулов. Он нервничал, да и оратор был так себе, говорил о несчастьях и бедах и что надо всем миром подниматься и противустоять, надеясь на бога и царя-батюшку...

— Как противустоять? — закричали ближние, те, что стояли у повозки и слышали волостного. — Ты научи, что, как делать?

Егор смешался и умолк, на многолюдной площади установилась неправдоподобная тишина, лишь дальние, на берегу Вохни, приглушенно, как пчелы в улье, гудели. И враз толпа шевельнулась, ожила, увидев, как на телегу легко, споро влез Курин. Сняв шапку, Герасим поклонился народу на три стороны и выпрямился — высокий (приземистый Стулов ему по плечо), уверенный, и сразу если и не осозналось, то как-то почувствовалось, что за его широкой спиной не только сгоревшая Москва — вся неоглядная Россия.

— Любезные друзья и братья! Православные крестьяне веры русской! Злодей и супостат Москву жгет и рушит, грабит и убивает наших братьев, а завтра может и до нас дойти. Что же, ждать будем в покорности,

как агнецы перед закланием? На такое моего согласия нету! Надо сразиться с супостатом или умереть!

Курин говорил, не надрывая голоса, но слышали его во всех концах площади.

— С бабами да детишками больно-то навоюешь! — прорвался молодой звонкий голос.

— Прежде всего баб, детей да стариков защищать и будем, — живо отозвался на голос Курин. — Сколь можно быстро и много надо ковать да калить пики, ножи, острить топоры да косы, чтобы у каждого была какая ни есть защита. Укрепим деревню, засеки сделаем, на дорогах караулы устроим, чтобы не захватил нас врасплох неприятель, как хитрый лис сонных кур на насесте. Наши братья и под Москвой, и в Смоленской, и Калужской губерниях животы свои смело кладут и много истребляют неприятеля.

И откуда только взялось. Раньше не было случая, чтобы Курин ораторствовал. За словом в карман не лез, поговорить любил о житейском, обыденном, но чтобы так, при народе слова из груди выходили легко, как дыхание — было в диковинку и самому Герасиму. Естественным же образом, будто давно и в подробностях обдумывал все предстоящее, говорил он о делах конкретных, которые предпринять требовалось безотлагательно.

Когда одобрительный шум улегся, Стулов сделал полшага вперед, уверенно разгладил рыжую бороду.

— Любезные друзья! — невольно подражая Курину, крикнул он так, чтобы вышло погромче. — Отважное и трудное дело нам предстоит, коль поднимемся против злодея. А чтобы правильно организоваться и поступать в дальнейшем соответственно интересам общим, надобно нам назвать человека, ответного в сем важном деле, который обеспечит его собою. Как вы сейчас, друзья, решите, так тому и быть.

Голова отступил назад и скромно потупился. Раздумье длилось недолго, площадь всколыхнулась, и будто по чьей-то подсказке все закричали одним многоголосым криком:

— Курина! Курина! Курина!

Решение схода не только для Стулова было неожиданным. Действительно, вот он, Егор Семенович, волостной голова, о котором, несмотря на его особую должность, никто худого слова не скажет. Чем не предводитель? Участвовали в сходе и павловцы, к фамилиям которых обязательно добавляется слово «уважаемый», — Урусовы, Лабзины, Щепетильниковы и другие крепкие и деятельные хозяева, известные не только в волости и уезде, а даже в Москве-матушке.

Конечно, они больше свою оборотистую деятельность на личные интересы направляют, но ведь и общинных нужд и дел не чураются. Это их стараниями Павлово растет, богатеет, и есть надежда из деревни статус посада получит. А близко ли окрест найдешь так богато убранную церковь, такие знатные иконы, дорогие оклады — все они жертвуют. Да и сами уважаемые хозяева — степенные, благочестивые, не гнушаются простого народа, во время молебна истово, до истекания слез ручьями по окладистым бородам, поют с дьячками в церковном хоре. А поди ж ты — руководителем, да еще с таким подавляющим одобрением, назвали простого мужика.

В минуту опасности тонкое народное чутье подсказало, кому можно вверить свою судьбу, и выбор павловцев оказался правильным и безошибочным. Сыграла, безусловно, роль своеобразной зажигательной искры взволнованная, обращенная к патриотическим чувствам земляков речь Герасима на сходе. Решающим же обстоятельством было то, что в отличие от других Курин каким-то образом знал, что нужно в данный момент делать, и это все чувствовали.

Спустя сто лет, в 1912 году, историк отмечал, не скрывая удивления, что крестьянин Курин «управлял с глубоким пониманием военного дела несколькими тысячами поселян, которых умело водил даже (как красноречиво это «даже»!) в наступательные бои...».

Летом 1820 года через Павлово проезжал военный историк генерал-майор А. И. Михайловский-Данилевский, готовивший объемистую хронику наполеоновского нашествия. Долго и обстоятельно расспрашивал он жителей о подробностях их мужественного сопротивления завоевателям и, надо полагать, заинтересованный и воодушевленный услышанным, предложил (в устах его превосходительства предложение расценивалось как приказ) письменно и подробно описать историю создания партизанского отряда в волости и наиболее яркие эпизоды его боевой деятельности.

Как ни наивным покажется пожелание историка малограмотным крестьянам — изложить все, как было, документ, озаглавленный «Описание боевых действий партизанского отряда крестьян Вохненской вол. Богородского уезда Московской губ под руководством Герасима Курина» был составлен и, что не менее удивительно, сохранился до наших дней. Ровные строки рукописи, завитушные заглавные буквы, вообще этакая каллиграфическая лихость указывает на опытную писарскую руку, скорее всего излагавшую текст под диктовку.

В сопроводительном письме, подписанном Куриным, сообщается: «А что вы изволили в проезд свой мне приказы дать, чтобы я описал подробно бывшее сражение в с. Вохне, то я оное исполнил и предоставляю вашему превосходительству».

Со тщанием ученого историк сделал пометку на первой странице рукописи — наискосок, как пишутся резолюции на входящих: «Сии бумаги получил я от крестьян Вохненской волости Курина и Стулова, которые вооружились во 1812 году против неприятелей и получили Георгиевские кресты».

Полученные генералом записки бывших партизан с полным основанием можно отнести к жанру своеобразных крестьянских «мемуаров», единственного, насколько известно, сохранившегося со времен Отечественной войны документа такого рода — мемуары писали преимущественно дворяне, во всяком случае люди образованные. И вот автор или авторы «мемуаров» сочли необходимым специально объяснить бросающееся в глаза противоречие с выбором руководителя отряда.

«Заблагорассудили избрать себе (на сходе — *Ред*) начальника и повелителя. Но как в оном с. Павлове и Вохне тож, заприметя крестьянина Герасима Матвеева Курина, потому что он и во всех делах между крестьянами имел особливую расторопность, смелость и отважность, то надеялись и в сем случае успеет удачно. Герасим Курин, вступая в сею для него неожиданную должность, возымел в себе наипаче бодрого духа и смелости, и в глазах его сверкал огонь любви к отечеству».

Воинов-добровольцев, тех, кто готов был сразиться с неприятелем или умереть, набралось около двухсот мужиков и парней, да Панька куринский с дружком Митей, деревенским сиротой, категорически отказавшиеся хорониться в лесу. Курин и не настаивал, понимал, понадобятся мальцы — быстроногие, смелые и дерзкие, как

чертенята. Первый приказ «начальника и повелителя»: собрать какое ни есть оружие — вилы, косы, ковать без устали пики. Устроили пикеты, назначили караульных с наказом — дежурить, сменяясь, денно и нощно, не смыкая глаз. По сигналу колокола — все воины, кроме дозорных, должны собираться на ярмарочной площади.

Неожиданно, когда собрали немудрящий домашний скарб и уладили вопрос с Панькой — к восторгу последнего, заупрямился Матвей Курин, отказываясь укрываться в лесном лагере вместе с женщинами, стариками и детьми.

— Тебе народ большую власть дал, но касательно меня ты не указчик, — гневался старик. — Суждено — здесь, в родном доме, и приму смерть

Герасим отступился, не стал спорить — отца не переупрямишь, да и не принято идти против отцовской воли.

Стулов загорелся мыслью собрать конный отряд, пусть и небольшой поначалу. Герасим и сам чувствовал, хотя и виду не подавал, некоторую неловкость после схода перед волостным головой и охотно поддержал его в столь нужном деле. Егор переговорил с состоятельными хозяевами, чтобы временно позаимствовать часть лошадей, и никто не отказал. Более того, передали общине лишние повозки под хлеб, что перевозился для сохранности в лес. Стулов приметил, правда, что лучшие лошади остались в хозяйских конюшнях — они и пригодились, когда с началом боевых действий многие «уважаемые» поспешно укатили под защиту князя Голицына.

Еще один упрямец выискался — дед Антип Звонов. Ему уже далеко за шестьдесят перевалило, а в лес, как и Матвей Курин, уходить отказался наотрез. И женщины, и старики, и дети рады были хоть чем-либо пособить в общей борьбе с завоевателями, и такое негасимое пламя ненависти пылало в их сердцах, что и смерть на пороге дома или в бою тем же дедом Антипом воспринималась святым и естественным делом. Потому что за землю родную.

Стулов определил деда по кавалерийскому делу — за лошадьми глядеть. Егор подобрал себе с полсотни парней и мужиков, умеющих прилично на лошадиной спине без седла держаться, и на потеху всем, кому была охота смотреть, заставил их осваивать единственный доступный боевой прием — на скаку пронзать воображаемого противника пикой. Будто павловцам предстояла честь сразиться на одном из средневековых рыцарских турни-

ров. А что было делать: ни у одного из кавалеристов до первого боя не было настоящей сабли.

Мысль о первом бое тревожила Курина, закрадывалось у него сомнение — не побегут ли мужички, не нюхавшие пороху, при первом же выстреле? Как сражаться, какую линию сражения избрать? И он, не уставая, напутствовал: главное — не мешкать после команды, дружно и смело, за спины не прячась, всем враз ударить внезапно и стойко стоять в схватке.

Тот свирепый крик, с которым они обрушились на неприятеля в первой стычке, долго, наверное, еще чудился едва унесшим ноги разведчикам-фуражирам.

Слухи о смелых действиях вохненских партизан, не дающих спуску супостату, взбудоражили округу. После сражения в Субботине и особенно расправы, учиненной карателями в сожженном Степурине, отряд за один лишь день вырос почти втрое, Павлово и окрестности гудели многолюдьем, как в дни большой годовой ярмарки.

Вновь прибывшие из дальних деревень с жадным интересом расспрашивали о сражениях, и павловские, не считая зазорным прибавлять (дабы воодушевить новичков, оправдывали невольную похвальбу), красочно расписывали подробности боев, упирая на то, что француз, оказывается, если его шугануть по-настоящему, бегает и еще как бегает; хвастались трофеями: кто саблей, кто каской, а кто поудачливее — и ружьецом.

В разгар общего веселья загудел колокол. Павловские знали, что набат — сигнал тревоги и немедленного сбора на площади. Пришлые же при первых ударах колокола (у страха глаза, известно, велики) рванулись, увлекая за собой и воинов отряда, в противоположную от площади сторону, под горку к речке Вохне, за которой виднелся спасительный лес, но тут на площадь вылетела конная кавалькада во главе с Куриным, вернувшимся из Покрова от князя Голицына.

Партизаны, узнав своего вожака, воспрянули духом и поторопились вернуться к месту сбора, за ними, смущаясь и с опаской посматривая на возбужденного скачкой и, как им показалось, грозного и гневного предводителя Вохни, повернули и новобранцы.

На въезде караульные успели сообщить Курину, по какому случаю ударили в набат — деревню Назарово занял сравнительно небольшой отряд фуражиров. Курин

почтительно обратился к казачьему урядннку — какое будет его решение? Тот небрежно отозвался:

— А что решение? Ударим и сметем.

Тут же, однако, выяснилось, что урядник имеет в виду не стремительную кавалерийскую атаку (маловато сил — двадцать покровских казаков), а общий навал. Так и пошли толпой, пешие и конные, благо лесная дорога позволяла подойти скрытно. Самоуверенность воинского начальника смутила Курина, он никаких дополнительных распоряжений не отдал, в итоге простой замысел по простой же причине сорвался. Новички, увидев издали неприятеля, подняли гвалт и побежали к деревне, треснуло с нашей стороны несколько выстрелов ружейных, явно безопасных и бесполезных на таком расстоянии, казаки заторопились было развернуться в атакующую цепь, и всей этой преждевременной суеты было достаточно для того, чтобы французы оценили обстановку, развернули лошадей и ускакали.

Урядник, понимая бессмысленность преследования, остановил казаков, однако новички, воодушевленные видом убегающего неприятеля, припустили пуще прежнего, сверкая лаптями и выкрикивая угрозы. В трофеи досталось несколько брошенных повозок с зерном и десять лошадей.

Возвращались вновь испеченные партизаны в необычайно приподнятом и воинственном настроении. У Курина потеплело на душе, ибо понимал, что не воинская выучка, которой нет и приобрести которую за несколько дней невозможно, а именно самоотверженность и смелость безоглядная — их главное преимущество над врагом.

Этим же вечером в штабе французов в Богородске разговор шел о неприятной обстановке в Вохненской волости. Когда упомянули о самонадеянном плане генерала Мильо — подчинить округу, опираясь на местную агентуру (это Федька-то Толстосумов — агентура!), маршал Ней помрачнел, пробормотал что-то вроде «болван» или «бонвиан» и переменил тему. Да, Вохня или как ее там — неприятная заноза, да ведь свет клином на одной деревне не сошелся. Их первоочередная задача — собрать возможно больше продовольствия и фуража, благополучно переправляя обозы в Москву, блокированную ополченцами, казаками и этими неистовыми мужицкими ордами. И суть не в приказе императора, коему верный маршал Ней готов следовать неукоснительно. Опытный

военачальник понимал, что ввиду надвигающейся зимы — вдруг да придется превратить Москву в зимние квартиры? — речь идет о жизни и смерти «великой армии».

Среди офицеров распространился слух о том, как интендант Лессепс пожаловался: «У меня нет ни хлеба, ни муки и еще менее куриц и баранов». На что Наполеон вроде бы ответил: «Чем меньше хлеба, тем больше славы». Афоризм интересный, но Ней отлично понимал, что остроумие — слабое подспорье голодному желудку. Даже его закаленные в сражениях воины заметно теряют боевой дух, чему немало самых последних и печальных свидетельств. Та же Вохня или как ее там, черт побери... Изрубили, как новобранцев, боевой фуражирский отряд, придется, как только отправим некоторое количество обозов, проучить все же эту русско-мужицкую гверилью.

Однако и партизаны хорошо понимали, что обозы с продовольствием — то же оружие. Что и подтвердили события, разыгравшиеся 29 сентября в деревне Трубицыно. Конники Стулова, что несли дозор в окрестностях Павлова, сообщили: в Трубицыно остановился на короткий отдых отряд французов. Богатую добычу захватили мародеры: рогатый скот и отару овец, повозки набиты продовольствием. Французов — конных и пеших — человек сто или немного больше.

К этому времени в партизанском отряде образовалось нечто вроде самодеятельного штаба — Курин, Стулов, Чушкин, Иван Карпов откуда-то из-под Владимира, служивший у Щепетильникова по найму — ему Герасим доверил организовать караульную службу, — Федор Толстосумов и некоторые другие, выделявшиеся организаторскими способностями и сметкой. Они-то и обсуждали в волостной избе полученные от дозорных сведения.

Отряд фуражиров, судя по всему, сегодня не угрожал непосредственно волостному селу. Отягощенные добычей, они торопились добраться засветло без приключений в Богородск.

— Костры не разводят, задали лошадям корму и скоро, пожалуй, снимутся далее, — доносили дозорные.

Курин спросил: как быть? Пропустить? Не ввязываться в сражение? Отряд сильный, неприятель обозлен неудачами, будут сражаться крепко — без кровопролития не обойтись. «Военный совет» высказался единодушно: нападать. Где бы супостат ни появился — везде земля наша, и ему на ней не место — к такому пришли согласному мнению.

Подробности предстоящего дела обсуждать было особенно некогда, следовало успеть напасть, пока неприятель не выстроился в боевую походную колонну, поэтому Курин поставил лишь одно, но строгое условие: соблюдать скрытность и тишину при подходе и ударить только по команде.

Вышло по задуманному: французы, вновь захваченные врасплох умелыми действиями Курина, сопротивлялись отчаянно, и все же не выстояли перед мощным натиском, побежали. В документальном отчете об итогах боя в Трубицыне сказано так: «Сражение было сильное, и неприятель, видя несоразмерность сил своих... ретировался и преследуемый был несколько верст... Возвратили скот, нам в добычу досталось 16 лошадей, 8 повозок, наполненных хлебом. Неприятелей убито 15 чел., с нашей стороны ранено 4 чел., а убитых не имелось».

Среди раненых оказался и Федька Толстосумов. Рана легкая, шальная пуля продырявила оттопыренное ухо, и Федька ярился и страдал не столько из-за боли, сколько из-за того, что ему попортили вид. Как теперь показаться на глаза девушкам, которых он почти уверил, будто от пуль и пик заворожен?.. Над ним хлопотал дед Антип, перевязывая голову чистой тряпицей, а Федька ругался безбожно и все допытывался:

— Дед Антип, как думаешь, ухо-то приживется, не отомрет?

— Даст бог, приживется, — добродушно успокаивал его Антип, — да рази в ухе краса-то?

— Тебе хорошо рассуждать, дед, ты уже открасовался, — скрипел зубами Федька и клялся жестоко отомстить обидчикам.

— Как же, отомстим, — соглашался дед. — Я вон всю жизнь красовался лицом к земле, все силы жизни она из меня вытянула, а допустить, чтоб чужаки ее топтали — не допущу. Оставшуюся жизнь хоть щас готов за нее положить. Чудно, а?

Об очередной победе Курин немедленно с конным «кульером» отправил сообщение в Покров, и князь Голицын вписал в рапорт к Кутузову сведения о захваченном в Вохненской волости хлебном обозе. В те дни в главной штаб-квартире, а особенно при дворе, каждая

весть даже о скромном успехе воспринималась с повышенным вниманием, и князь на рапорты не скупился.

Курин распорядился свезти хлеб в общинный схрон — потом, когда война уляжется, разберемся по справедливости. Никто не возражал, только один мужичонка в худом армячишке из дальнего села пожаловался:

— Богатство-то какое, а? — говорил он, ласково поглаживая тугие мешки с зерном. — А у нас хлеб что на подати сдали, что мародеры пограбили, ну, подчистую вымели... Сейчас слетье подбираем, да что там от него осталось — ботву, кой-какую репу бабы к похлебке добавляют. Зимой, чай, пропадем...

— Кончится война, может, по-другому жизнь пойдет, — сказал без особой уверенности Курин и заторопился на площадь — судя по разноголосому гомону, прибыли новые люди. К вечеру павловские партизаны, обладавшие уже кое-какими организаторскими навыками, сумели объединить прибывших в отряды, разместили в селе и его окрестностях под пологом шатровых сосен. Под командой Курина теперь насчитывалось более пяти тысяч пеших и пятьсот конников Стулова. Армия!

Шел шестой день войны против набегавших отрядов Нея. 30 октября разгромили, частью истребив, а остальных обратив в бегство, отряд фуражиров в деревне Насырово. И это была последняя капля, переполнившая чашу терпения командования экспедиционного корпуса. Ней распорядился раздавить гнездо сопротивления, захваченных в плен вожаков поголовно расстрелять, а деревню сровнять с землей.

Посланные с утра под Богородск разведчики под руководством Федьки Толстосумова, который после обидного ранения так и пылал желанием глаза в глаза сцепиться с неприятелем, вернулись с известием, которого Курин с тревогой ждал: в сторону Вохни идут войска. По предположениям разведчиков, неприятеля следовало ждать завтра поутру.

До поздней ночи Курин находился в деятельных хлопотах, в кои входила, как сказали бы военные, и самая тщательная рекогносцировка на местности. Понятно, слова такого партизанский вожак не знал и слыхом не слыхивал, равно как и дозорные, забираясь для наблюдения на высокие деревья, не подозревали, что именно так поступали в армии Суворова. В итоге «военному совету» был предложен продуманный в деталях план предстоящего сражения, и «все единогласно, — как подчеркивается в «Мемуарах», — восхваляли его доброе намерение».

План Курина исходил из того, что сражение придется принять в самом Вохне-Павлове, имея здесь хорошие возможности как для оборонительных, так и наступательных действий. В самом селе и его окрестностях намечалось укрыть основную часть отряда, которую возглавит сам Курин. Кавалеристам Стулова предстояло продвинуться навстречу неприятелю, уступая ему дорогу, и затаиться в лесу, ожидая сигнала для нападения. Крайний и достаточно надежный рубеж обороны, по замыслу Курина, находился в центре села по речке Вохне. Французам при наступлении пришлось бы спускаться к этой речушке под уклон, вброд ее форсировать, попадая под партизанские пули — предприятие сие виделось партизанскому стратегу трудно осуществимым.

И лишь за речкой — на достаточном от нее удалении, за еще одним естественным препятствием — Юдинским оврагом, Курин наметил расположить крупный отряд в тысячу человек под командованием Чушкина, хорошо проявившего себя в предыдущих боях. Такое решение было чисто интуитивным, по принципу «береженого и бог бережет», и во все влезающий Федька Толстосумов не преминул высказать недоумение:

— Чего им в таком отдалении в наблюдателях таиться? Без пользы? Впустим злодея в деревню, навалимся всем миром, и тут ему и погибель.

Решение вроде бы действительно напрашивалось само собой — всем миром сподручнее, однако Федьку быстро утихомирили, одобрив план Курина. Как отмечается в «Мемуарах», «воины, зная его поступки, смелость и храбрость, что и прежде по его распоряжению везде сражались удачно, и тут сказали, что мы на все согласны». В конечном итоге именно тысяча Ивана Яковлевича Чушкина и решила исход сражения.

Рано поутру, собрав своих «соседственных и подведомственных крестьян многочисленное собрание», Курин говорил короткую речь:

— Неприятель грозит наше селение предать огню, а нас в плен побрать и с живых кожу поснимать. За то, что мы ему неоднократно упорствовали сражением. Так постараемся, друзья, за отечество и за дом пресвятой богородицы.

Первого октября, в праздник покрова божьей матери-заступницы, в церкви служилась божественная литургия. Обычно добродушный и миролюбивый отец Серафим, на сей раз, произнося проповедь, пылал гневом и просил всемогущего бога послать кары антихристу. После общего молебна все простились «друг с другом и приготовились к сражению и... дух имели... ободряемы будучи своим начальником Куриным, и поклялись пред алтарем, чтоб до последней капли крови не выдавать друг друга» («Мемуары»).

Наконец во втором часу пополудни вышел из-за леса неприятель. Крайне интересно, что французы примерно по такой же схеме, что и Курин, разворачивали свои боевые порядки, при этом обе стороны хитрили, надеясь заманить противника в гибельную ловушку.

Основные силы карателей расположились скрытно в лесном массиве у ближайшей деревни Грибово, и партизаны это сосредоточение просмотрели. Между тем два эскадрона двинулись к Павлову. Немного не доходя до деревни, один остановился на местности, называемой прогон [1], а второй настороженно вошел в село и расположился на площади. Через переводчика стали громко вызывать голову или старосту.

Надо было давать команду к бою. И тут Курина подтолкнуло на неожиданное решение то ли безоглядное безрассудство, то ли рисковое озорство. Поколебавшись мгновение, он подозвал двух крестьян, и они как бы мирной делегацией направились к эскадрону. В последнюю секунду к ним присоединился своевольно Панька и очень удачно получилось — присутствие мальчишки, наверное, сразу успокоило неприятеля, тоже затеявшего довольно рискованную игру.

— Нет старосты, людей нет, все в лес убежали. Испугались, — сказал, подойдя, Курин.

— Зачем бояться, мы не бандиты, — поддержал дипломатический разговор переводчик. — В вашей деревне, мы знаем, люди умные, коммерческие, мы можем предложить выгодные дела. Позовите ваших начальников.

«Смелые однако, шельмецы, — подумал Курин, — хотят без хлопот захватить руководителей... Знали бы, что главный стоит перед ними».

— А зачем вам начальников?

— Мы хотели договориться и торговать. Нам нужно

[1] Прогон — дорога, по которой прогоняют скот на выгон или водопой.

муки, овса, круп и протчего, и за оное будем платить хорошо, сколько вам угодно, русскими деньгами.

Наполеон, к слову сказать, тоже распорядился выплачивать солдатам жалованье фальшивыми русскими ассигнациями, отпечатанными еще во Франции в преддверии похода, так что в деньгах фуражиры нужды не испытывали.

Герасим, сохраняя приветливость в лице, изобразил крайнюю заинтересованность, поклонился и сказал степенно, подражая приценивающемуся на торгах купчине:

— Есть хлеб, и овес, и протчее. Во-он тама, на крестьянском дворе держим общинные запасы. Туда и пойдем. А какая же цена будет?

Переводчик оживился:

— Посмотрим товар, выйдут ваши начальники, поторгуемся, а потом... как у вас говорят? — и по рукам ударим.

— Что ж, ежели так... — согласился Курин и незаметно осмотрелся — не вылез ли кто, не дай бог, на глаза неприятелю? — Что ж, ежели так, идемте в подворье, авось поторгуемся, авось и ударим.

Переводчик полопотал что-то своим, напряжение заметно спало, человек пятнадцать-двадцать спешились, звякнув саблями. Пока между французами шли переговоры, Курин успел шепнуть Паньке: «Беги к дяде Егору, скажи, пусть ударит по тем, что на прогоне», — повернулся и ровным спокойным шагом повел французов в западню.

Как только кавалеристы завернули в ближайший переулок, их тут же окружили и смяли, по тем, что на площади, прицельно ударили с ружей и стремительно ринулись в рукопашную. Пустынная площадь в мгновение ока заполнилась народом.

Какая-то часть кавалеристов все же вырвалась из свалки и поскакала к прогону, где тревожно засуетился второй эскадрон.

— Гони злодея, не давай опомниться! — командовал и подбадривал Курин. Он уже был на своей кобылке, в руках окровавленная сабля. Не опоздав и не замешкавшись, ударили по второму эскадрону конники Стулова, довершая разгром.

Возбужденные боем и удачей, партизаны буквально на плечах убегавших влетели в Грибово и столкнулись лицом к лицу с главными и довольно многочисленными силами французов. Таков, видимо, был тактический за-

мысел — заманить в ловушку, хотя вряд ли предполагалось пожертвовать почти двумя эскадронами.

Вид выстроенного в боевые порядки войска смутил крестьян. Отряд Стулова первым попал под прицельный огонь, несколько человек рухнули замертво. Вновь прогремел залп. Партизаны попятились, повернули, началось бегство.

Теперь уже французы бросились в погоню. У речки Вохни, на том заранее намеченном оборонительном рубеже Курину и Стулову, метавшимся верхом среди бегущих, удалось остановить часть отряда, стрелки встретили преследователей редкими, но ощутимыми выстрелами. Однако в открытом бою очень скоро сказалось преимущество регулярных частей перед толпившимися в беспорядке крестьянами. Несколько четких и стремительных маневров на флангах, и французы, не смутясь неширокой Вохней, которую без труда форсировали, почти замкнули кольцо. Назревала неотвратимая и близкая расправа.

Стулов сумел собрать вокруг себя не менее двухсот конников, и Герасим, понимая, что промедление — смерть! — приказал: «Егор, айда на прорыв, к Юдинскому вражку. — И уже во всю мощь легких, чтобы его услышало возможно больше партизан, закричал. — На прорыв! К Юдинскому вражку! К Чушкину!»

Простая и спасительная команда — куда бежать, сразу привела большинство парализованных страхом людей в чувство, негустые цепи, замыкавшие кольцо окружения, в момент были опрокинуты на узком участке, и началось бегство к оврагу. То ли французы не захотели примириться со столь неожиданно ускользнувшей победой, то ли их привел в ярость вид деревенской площади, усеянной трупами их товарищей, но они, расстраивая ряды, бросились в погоню.

Сидевшие в засаде под командой Чушкина партизаны с явным одобрением наблюдали за стремительным бегом своих сотоварищей, поскольку приняли этот маневр не за вынужденное бегство, а заранее предусмотренный план Курина, и потому в нужный момент с легким сердцем, без боязни всей тысячной массой навалились на подставленный неприятельский фланг, и судьба сражения, как это в подобных случаях и происходит, в одночасье и окончательно была решена.

«Мемуарист» резюмирует: «Неприятель нечаянным нашествием Чушкина приведен будучи в беспорядок, обратился в бегство и гнан Куриным, Стуловым и Чушкиным 8 верст и спасен был темнотой ночи от совершенного разбития, скрывшись в лесах. ...Непобедимый наш герой Герасим Курин при всех сих сражениях удачно командовал везде сам, и он в последнее сражение октября 1-го своеручно отделил голову от плеч одному французской армии офицеру и двоих рядовых пронзил в грудь пикою. Во все сии семь дней легло от его неробкой руки восемь человек, ибо был он вооружен на коне саблею, пикою и двумя пистолетами.

С нашеи стороны — убито 12 человек, 20 раненых». Ней, получив приказ Наполеона отвести войска к Москве, отступил столь стремительно, что когда после генерального Вохненского сражения отряд Курина следующим днем ворвался в Богородск, то его лихие и вошедшие во вкус партизаны были немало удивлены полным отсутствием неприятеля. Распалившийся Федька Толстосумов носился по улицам и переулкам с криками: «Где супостат, где злодей?», и горячо подбадривал Курина идти прямиком на Москву и по самому Бонапарту ударить. Помимо понятной ненависти к врагу, жгла его и обида за нескладное ранение (ухо сушеным грибом висит) и за страх и унижение, перенесенные в плену.

События тех дней отражены в песне, ходившей после войны в округе:

А вохненский сотский Чушкин
Враз отбил никак три пушки,
И Михайлов с Образцова
Не бросал на ветер слова,
Всех набатом побудил
И уланов захватил
Как герои, все крестьяне
Нанесли врагу изъяны.
Дал светлейший им в награду
Крест и сто рублей прикладу .

И так далее — слова песенок варьировались, дополнялись невинными преувеличениями, вроде тех захваченных пушек, и другими подробностями — в зависимости от местности, где они исполнялись.

Немногое известно о последующей жизни Герасима Курина и его боевых сподвижников. В официальном сообщении о «храбрых и похвальных поступках поселян Московской губернии, ополчившихся единодушно и мужественно целыми селениями против посылаемых от неприятеля для грабежа и зажигательства партий», указывалось, что «упоминаемых в онном начальственных лю-

дей высочайше повелено отличить Георгиевским крестом».

Среди «упоминаемых в оном» значились Курин и Стулов. Вручали им награды в мае 1813 года в Москве. Тогда же, видимо, выполнен портрет Курина художником-баталистом А. Смирновым.

Курину и Стулову было присвоено также звание «почетный гражданин», даваемое купцам первой и второй гильдии, художникам и служащим — не из дворян. К какому из перечисленных сословий их отнесли — неизвестно, во всяком случае ни Курин, ни непутевый и отважный Федор Толстосумов толстосумами не стали.

Приезжавший в Павлово историк Михайловский-Данилевский руководствовался, наверное, лучшими побуждениями, собирая на месте по свежим следам материалы от очевидцев и участников событий. Однако тщетно будем искать в его обширном четырехтомном «Описании Отечественной войны 1812 года» подробностей мужественного сражения вохненских крестьян с когортами Нея, как и имен самих крестьян. Из всех героев, вышедших из народа, названа лишь Василиса Кожина — знаменитая старостиха из хутора Горшкова Смоленской губернии.

Понимая, что вызовет снисходительную улыбку у главного цензора и читателя — царя, историк с явной иронией пишет о том, что из сельских «амазонок сделалась известнее других, по ожесточению против неприятеля, старостиха Василиса, дородная женщина с длинною французскою саблею, повешенною через плечо поверх французской шинели». Действительно, комичная картинка: дородная женщина с длинной саблей через плечо. Об остальных в «Описании» сказано общо и обезличенно: герои, храбрецы, народ.

Тысячи пали безымянными, но и у них, по словам поэта, мертвых и безгласых, одна отрада — что Родина спасена. «Все силы жизни из меня вытянула земля, а допустить, чтобы чужие ее топтали — не допущу», — говорил старый, всю жизнь тяжко работавший крестьянин из отряда Герасима Курина. Вело их на смертный и правый бой, даже таких угнетенных и обездоленных, святое чувство любви к Родине, к земле отцов и дедов.

Борис ЧУБАР

Русские боевые награды эпохи Отечественной войны 1812 года

Эпоха войн с Наполеоном — одна из самых славных вех отечественной истории. Массовый героизм, готовность к самопожертвованию русских солдат, офицеров и генералов нашли отражение, в частности, в таком специфическом виде исторических памятников, как боевые награды.

В числе индивидуальных знаков отличия, выдававшихся в это время в русской армии за военные заслуги, были ордена с примыкающим к ним солдатским Знаком Отличия Военного ордена (Георгиевский солдатский крест), медали, Золотое оружие «За храбрость». Боевыми индивидуальными наградами также могли быть: повышение в чине, перевод в привилегированные рода войск, получение драгоценных «подарков» или денежных сумм, особые грамоты и рескрипты. В этом же ряду стоит так называемый Кульмский крест — прусская награда, предназначавшаяся исключительно для солдат, офицеров и генералов русской армии, участвовавших в сражении при Кульме в 1813 году.

Коллективные награды, которыми отмечались целые воинские части, отличившиеся в сражениях, представляли собой: наградные знамена и штандарты, наградные трубы, особые металлические знаки с почетными надписями на головные уборы офицеров и нижних чинов, золотые петлицы на офицерские мундиры в отличившихся артиллерийских подразделениях. Также наградной характер носило переименование армейских и егерских полков в гренадерские и гренадерских и кирасирских в гвардейские, особый гренадерский барабанный бой или «поход», назначение почетными полковыми шефами монархов союзных государств и присвоение имен «вечных шефов в память 1812 года» из числа героев эпохи Отечественной войны.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ

Ордена

К началу XIX века в России существовало пять орденов, которыми могли быть отмечены военные подвиги: высший русский орден св. Андрея Первозванного, ордена св Александра Невского, Владимира, Анны и самый почетный военный орден дореволюционной России — св Георгия.

Орден Андрея Первозванного, учрежденный Петром I в 1698 году, выдавался и за боевые подвиги, и за гражданские отличия. В армии его фактически мог получить лишь имевший чин не ниже полного генерала (генерал от кавалерии или генерал от инфантерии). Знаки ордена Андрея Первозванного состояли из следующих элементов: собственно знак (крест) ордена, основным изображением которого был св. Андрей, распятый, по преданию, на кресте Х-образной конфигурации, и серебряная восьмилучевая звезда с помещенным в ее центральном медальоне девизом ордена «За веру и верность». Знак ордена носился на широкой голубой ленте через правое плечо, а звезда помещалась на левой стороне груди. В особо торжественных случаях знак ордена носился на груди на золотой, покрытой разноцветными эмалями фигурной цепи.

За всю эпоху 1812—1814 годов орден Андрея Первозванного за военные заслуги был выдан лишь семь раз Первым его получил генерал от кавалерии А. П. Тормасов 4 декабря 1812 года за отличие в сражении при Красном 5 и 6 ноября. Вторым кавалером ордена Андрея Первозванного стал 20 мая 1813 года генерал от кавалерии П. Х. Витгенштейн, за участие в сражении при Люцене. Третьим по времени награжденным этим орденом стал 7 сентября 1813 года генерал от инфантерии М. Б. Барклай-де-Толли, успешно сражавшийся 7 мая при Кенигсварте в Саксонии. Позднее орден получили еще четверо полководцев: 8 октября 1813 года — генерал от кавалерии М. И. Платов и генерал от инфантерии М. А. Милорадович за Лейпцигское сражение; в следующем, 1814 году указом от 3 мая — генерал от инфантерии А. Ф. Ланжерон за отличие при взятии Парижа, а несколько позже, 19 мая — генерал от инфантерии Ф. В. Остен-Сакен за сражение 20 января при Ларотьере.

Все семь перечисленных выше кавалеров ордена Андрея Первозванного получили знаки без бриллиантовых украшений.

Орден Александра Невского, задуманный Петром I как исключительно боевая награда, был впервые выдан уже после смерти императора в 1725 году его женой и преемницей Екатериной I. С первых же награждений орден стал наградой и за военные, и за гражданские заслуги, причем в армии в эпоху 1812 года на него мог рассчитывать лишь имевший чин не ниже генерал-лейтенанта.

Так как орден Александра Невского имел одну степень, его знак (крест) красной эмали (в интересующую нас эпоху эмаль, как правило, заменялась вмонтированными в крест красными стеклами) носился на широкой красной ленте через левое плечо. На серебряной восьмилучевой звезде ордена помещался девиз «За труды и отечество». Особым, более почетным видом этой одностепенной награды могли быть знаки, украшенные бриллиантами (алмазами).

Всего за 1812—1814 годы орден Александра Невского был выдан за военные заслуги 48 раз, в том числе с бриллиантовыми украшениями — 14 раз.

В числе награжденных орденами Александра Невского без бриллиантовых украшений — 33 генерал-лейтенанта и 1 вице-адмирал. Знаки с драгоценными украшениями получили 4 генерала от инфантерии, 1 генерал от кавалерии и 9 генерал-лейтенантов.

Невозможно, да и нет особой необходимости в кратком обзоре перечислять всех кавалеров этого ордена, как и последующих наград. Мы назовем лишь наиболее известные фамилии и упомянем только самые блистательные подвиги, послужившие причиной награждений, либо особо интересные случаи выдачи наград. Орден Александра Невского за Бородинское сражение получили четыре героя Отечественной войны — генералы от инфантерии Д. С. Дохтуров и М. А. Милорадович и генерал-лейтенанты А. И. Остерман-Толстой и Н. Н. Раевский. При этом первые два отмечены орденом Александра Невского с бриллиантовыми украшениями, а двое следующих — без бриллиантов.

Командир 3-й пехотной дивизии генерал-лейтенант П. П. Коновницын заслужил эту награду еще раньше за отличие в бою 14 июля при безвестной деревне Какувячине недалеко от Островно. В следующем, 1813 году за осаду и взятие крепости Торн был награжден орденом

Александра Невского с бриллиантами генерал от инфантерии М. Б. Барклай-де-Толли. Не имевший предыдущей ступени этой награды — без бриллиантовых украшений — Барклай был отмечен сразу же орденом с драгоценными камнями как носящий весьма высокий военный чин генерала от инфантерии.

В том же, 1813 году за сражение при Кульме 17—18 августа был награжден орденом Александра Невского генерал-лейтенант А. П. Ермолов.

Генерал-лейтенант граф Петр Петрович Пален был награжден за кампанию 1813 года орденом Александра Невского, а за сражение при селении Лобрессель 19 февраля следующего, 1814 года — бриллиантовыми знаками того же ордена.

Нельзя не упомянуть еще одного кавалера этого ордена — Ираклия Ивановича Моркова. Уже в 1771 году за боевые отличия произведенный в премьер-майоры, он отличился при взятии Очакова в 1788 году (награжден чином полковника, золотой шпагой и орденом Георгия IV степени, при штурме Измаила в 1790 году (чин бригадира и орден Георгия III степени). А. В. Суворов, под командой которого он воевал, назвал его «самым храбрым и непобедимым офицером». В дальнейшем Морков заслужил в боях орден Георгия II степени, золотую шпагу с бриллиантами, стал генерал-лейтенантом. В 1812 году Ираклий Иванович, несмотря на преклонный возраст (более 60 лет), был избран руководителем Московского ополчения и за заслуги в Отечественной войне получил орден Александра Невского.

Стал кавалером ордена Александра Невского и Александр Семенович Шишков, бывший в самое трудное для России время государственным секретарем. Вице-адмирал Шишков, член Российской Академии наук, писатель и государственный муж, приложил своим пером немало стараний для победы российского оружия. И хотя непосредственного участия в боевых действиях он не принимал, но, как писал Пушкин, «сей старец дорог нам: он блещет средь народа священной памятью двенадцатого года».

Орден Владимира учрежден в 1782 году и был наградой как за военные отличия, так и за гражданские заслуги. Имел четыре степени, из которых младшая, IV, в виде небольшого крестика красной эмали носилась на черно-красной ленточке на груди (в петлице), III — тот же крестик на ленте на шее, еще более высокая степень,

II — несколько больший крест на шее одновременно со звездой на груди, и, наконец, I степень ордена Владимира выдавалась в виде большого креста, носившегося на широкой ленте через плечо, со звездой на груди. Девиз ордена — «Польза, честь и слава» — помещался на звезде. Три высшие степени ордена Владимира не имели особых внешних отличий, когда выдавались за военные заслуги, и лишь IV степень, в случае получения за боевые подвиги, носилась на ленте с бантом тех же цветов, черного и красного. Никаких дополнительных украшений из драгоценных камней ордену Владимира не полагалось.

За военные отличия в эпоху Отечественной войны I степень ордена Владимира получили 12 человек: 2 генерала от кавалерии, 1 генерал от инфантерии и 9 генерал-лейтенантов.

Орден Владимира II степени был выдан 95 раз, из них только 10 человек получили его в 1812 году. Среди кавалеров этой степени ордена — 35 генерал-лейтенантов, 57 генерал-майоров, 1 генерал-интендант, один тайный советник, а также 1 обер-церемониймейстер.

Орден Владимира III степени был выдан в эпоху Отечественной войны сотни раз, а IV степени — тысячи. Трудно подсчитать точное число награжденных этими знаками отличия именно за военные отличия, так как среди получивших эту награду значительное количество гражданских лиц, совершивших боевые подвиги. Следует лишь подчеркнуть, что III степень ордена Владимира давалась, как правило, имевшим чин полковника и реже генерал-майора. Орден Владимира IV степени мог получить за отличие любой офицер.

Одним из награжденных орденом Владимира I степени был генерал-лейтенант А. И. Горчаков, племянник А. В. Суворова, один из героев кампании 1812 года. Тяжело раненный при Бородине, он смог вернуться в строй лишь в следующем, 1813 году и за отличие в этой кампании получил 8 октября орден. В числе кавалеров высшей степени ордена Владимира был и генерал А. С. Кологривов. Будучи генерал-лейтенантом с 1798 года, он до войны 1812 года имел за плечами несколько десятков лет боевой службы в армии и был награжден за Аустерлиц алмазными знаками ордена Александра Невского, а за кампанию 1806—1807 годов орденом Георгия III степени. В октябре 1812 года он вернулся из отставки на действительную службу в чине генерала от кавалерии и получил назначение формировать и обучать так важные

для армии кавалерийские резервы. Это при нем состоял адъютантом А. С. Грибоедов — доброволец 1812 года, ставший кавалерийским офицером. Получению Кологривовым ордена Владимира I степени и посвящена первая печатная работа Грибоедова «Письмо из Бреста-Литовского к издателю», опубликованная в том же «Вестнике Европы». Не случайно девятнадцатилетний корнет Александр Грибоедов писал об А. С. Кологривове: «Ручаюсь, что в Европе немного начальников, которых столько любят, сколько здешние кавалеристы своего».

Орден Владимира II степени, также весьма высокая награда, был пожалован за военные отличия многим русским генералам. В их числе такие известные герои Отечественной войны 1812 года, как Д. В. Васильчиков, Е. И. Властов, А. К. Денисов, И. Н. Инзов, П. М. Каппевич, Н. В. Кретов, А. П. Ожаровский, Г. А. Эмануэль и другие.

Генерал-майор И. М. Дука, командир 2-й кирасирской дивизии, отличился при Бородине, где трижды лично водил в атаку своих воинов на вражеские артиллерийские батареи. За это Дука был награжден орденом Анны I степени. Позднее, 3 ноября 1812 года, он снова возглавил атаку частей своей дивизии в сражении под Красным и за новый подвиг был удостоен ордена Владимира II степени.

Другой герой войны, генерал-лейтенант З. Д. Олсуфьев, в сражении при Тарутине 6 октября 1812 года командовал 17-й пехотной дивизией. Когда в ходе боя одним из первых был убит командующий 2-м пехотным корпусом генерал-лейтенант К. Ф. Багговут, Олсуфьев заменил его. Под его непосредственным руководством были захвачены 27 французских орудий. За это З. Д. Олсуфьев был награжден орденом Владимира II степени.

Русская наградная система не предусматривала повторных награждений одной и той же степенью знака отличия. Между тем генерал-майор В. Г. Костенецкий, один из храбрейших русских военачальников эпохи Отечественной войны, за боевые подвиги был в числе прочих наград (Анна I степени за Смоленск и Георгий III степени за Бородино) ошибочно трижды (!) пожалован золотым оружием с бриллиантами и дважды — орденом Анны I степени с алмазными украшениями. Когда ошибка обнаружилась, вместо трех повторяющихся награждений В. Г. Костенецкий, получил почетный рескрипт от императора и орден Владимира II степени.

В числе награжденных орденом Владимира II степени за военные заслуги было три гражданских лица. Первый из них действительный статский советник Г. Н. Рахманов, в военное время получивший чин генерал-интенданта, соответствовавший генерал-майору, будучи чиновником военного ведомства, отмечен орденом за успешное руководство снабжением всей русской армии во время боевых действий. Печально известный в русской истории тайный советник граф К. В. Нессельроде, германофил, для которого интересы России были безразличны, был в 1813 году награжден орденом Владимира II степени, формально — за отличия во время войны с Наполеоном, ибо числился во время военных действий при Главной квартире. Третье гражданское лицо, награжденное за военные отличия, имевший придворный чин обер-церемониймейстера граф Ю. А. Головкин к началу войны с Наполеоном был уже пожилым человеком (он родился в 1749 году). Несмотря на возраст, за участие в сражениях при Люцене, Бауцене и Кульме Юрий Александрович Головкин был награжден орденом Владимира II степени и стал единственным придворным — кавалером этой награды за военные отличия в эпоху войны 1812 года.

Орден Владимира III степени, награда главным образом для имевших чин полковника, давалась старшим штаб-офицерам, как правило, за действительные заслуги. Одним из кавалеров этого знака отличия стал В. Г. Мадатов, служивший без протекции и завоевавший своими подвигами славу одного из самых блестящих кавалерийских начальников. Еще до 1812 года получивший несколько наград, в том числе за отличия чины майора и подполковника, за бой при Городечно 31 июля Мадатов стал полковником и в этом звании принял участие в изгнании французов из России, преследуя их во главе кавалерийского гусарского отряда до Березины и далее, в направлении Вильно. Здесь в бою у местечка Плещеницы 19 ноября 1812 года гусары Мадатова взяли в плен двух вражеских генералов, 25 офицеров, 400 нижних чинов и весь французский обоз. За это командир отряда полковник В. Г. Мадатов был награжден орденом Владимира III степени.

Полковник М. К. Крыжановскии еще в 1810 году за отличное обучение только что сформированного Гвардейского экипажа был награжден орденом Владимира IV степени. В дальнейшем, будучи командиром лейб-гвардии Финляндского полка, также сформированного и обучен-

ного им, Крыжановский принял участие в Отечественной войне. Полк отличился при Бородине, за которое его командир был удостоен ордена Георгия IV степени, а затем под Красным 5 ноября 1812 года, где захвачен был весь обоз Даву. В обозе среди прочих трофеев оказался и маршальский жезл Даву, хранящийся ныне в Государственном Эрмитаже. Следует сказать также, что при Красном Даву уже во второй раз потерял свою маршальскую регалию. Впервые его маршальский жезл захватили наши казаки при местечке Бергфриде на реке Алле в Восточной Пруссии, в январе 1807 года. Ныне этот трофей находится в собрании Исторического музея в Москве.

Среди кавалеров ордена Владимира III степени за отличие в эпоху Отечественной войны 1812 года — Д. В. Давыдов, А. Н. Сеславин, Р. И. Багратион (брат П. И. Багратиона), А. И. Бистром и многие другие.

Орденом Владимира III степени был награжден и один из будущих декабристов — участник Отечественной войны 1812 года С. Г. Волконский. Еще в первом в своей жизни сражении, при Пултуске 14 декабря 1806 года, Волконский в чине поручика кавалергардского полка проявил храбрость под неприятельскими выстрелами и был удостоен ордена Владимира IV степени с бантом. В следующем, 1807 году Волконский участвовал в кровопролитном Прейсиш-Эйлауском сражении, где был ранен и отмечен особым золотым крестом для отличившихся в этом бою офицеров[1]. В том же, 1807 году в новом сражении, при Фридланде, Волконский заслуживает новую боевую награду — золотую шпагу «За храбрость». Участвуя в дальнейшем во многих сражениях и стычках Отечественной войны 1812 года, С. Г. Волконский, уже в чине полковника, за бой с французами при Березине и дальнейшее преследование противника до Вильно был награжден новым орденом, Владимира III степени.

С. Г. Волконский, заслуживший в дальнейшем еще несколько боевых наград и произведенный в генерал-майоры, был самым старшим по чину из участников Отечественной войны 1812 года — будущих декабристов.

[1] Золотой офицерский крест особой конфигурации на Георгиевской ленте за участие в сражении при Прейсиш-Эйлау получили 900 офицеров и генералов, среди них и Барклай-де-Толли, Д. В. Давыдов и другие. Подобный золотой офицерский крест и серебряная солдатская медаль были учреждены в ту эпоху за взятие Базарджика на турецком фронте в 1810 году.

Невозможно перечислить все награды, полученные за отличия в сражениях с французами будущими декабристами — их многие десятки. В нашем рассказе мы ограничимся упоминаниями награждений лишь наиболее активных участников декабрьских событий 1825 года.

Одним из первых в 1812 году кавалером ордена Владимира IV степени с бантом за военные заслуги стал будущий декабрист М. А. Фонвизин, награжденный за отличие при защите Смоленска в чине поручика. За Бородино этого знака отличия удостоены капитан П. С. Пущин и поручик В. Л. Давыдов. Позднее Владимира IV степени с бантом заслужил поручик В. И. Враницкий (за штурм Полоцка 6—7 октября 1812 года), а В. И. Штейнгель получил эту награду за изгнание французов из пределов России даже дважды (правда, ошибочно) — первый раз за сражение при Чашниках 19 октября, а второй раз за Березину 16 ноября 1812 года.

Не меньше подвигов совершили будущие декабристы в сражениях с французами за пределами России. Так, за сражение при Люцене Владимира с бантом получили прапорщик В. С. Норов, поручик С. И. Муравьев-Апостол и штабс-капитан А. М. Булатов. В приказе о награждении последнего, подписанном главнокомандующим русской армией генералом от кавалерии П. Х. Витгенштейном, сообщалось: «В справедливом уважении к отличной храбрости Вашей, оказанной в сражении при Люцене 20-го апреля сего года, где Вы находились в стрелках, мужеством и храбростью своею подавали пример подчиненным и поражали на каждом шагу неприятеля, где и ранены в правую руку пулею навылет... награждаетесь орденом Владимира IV степени с бантом». За отличие в сражении при Кульме 17—18 августа эту награду получили ротмистр М. С. Лунин, поручик А. Ф. Бригген, подпоручик С. П. Трубецкой; за Лейпцигскую битву 4—7 октября 1813 года — штабс-капитан А. Н. Муравьев, поручик П. И. Пестель (за Лейпциг и особенно за бой у Буттельштедта 11 октября при преследовании отступивших французов); за взятие Гамбурга 8 января 1814 года — прапорщик Н. М. Муравьев.

За отличия в сражениях на территории самой Франции орден Владимира IV степени с бантом получили: за сражение при Ла-Ротьере 20 января 1814 года — подпоручик Г. С. Батеньков, за взятие Парижа 18—19 марта — поручик П. И. Фаленберг и прапорщик М. М. Спиридов. Список владимирских кавалеров — будущих де-

кабристов можно было бы продолжить, назвав такие фамилии, как Ф. Н. Глинка, А. В. Ентальцев, С. Г. Краснокутский, М. Ф. Митьков, А. З. Муравьев.

Орден Владимира IV степени с бантом — боевая офицерская награда — высоко ценился в русской офицерской среде. Его можно было получить лишь за личную храбрость и воинское умение в сражении.

Орден Анны, нерусский по происхождению, был учрежден в 1735 году гольштейн-готторпским герцогом Карлом Фридрихом в память незадолго до этого умершей жены, Анны Петровны, дочери Петра I. С начала 40-х годов, когда в Россию прибыл голштинский наследный принц Петр Ульрих, будущий российский император Петр III, орден стали раздавать и русским подданным.

Окончательно орден Анны был введен в систему русских наград в 1797 году Павлом I и в эпоху 1812 года имел три степени. Младшая, III степень носилась в виде небольшого, красной эмали крестика в кругу также красной эмали на эфесе или в чашке холодного оружия, присвоенного роду войск, в котором состоял награжденный, и выдавалась только за военные отличия. II и I степени могли быть наградой и за военные, и за гражданские заслуги. При этом II степень ордена Анны в виде креста красной эмали или красного стекла с золотыми фигурными украшениями в углах носилась на шее на красной, с золотыми каймами по краям «аннинской» ленте, а I степень — такой же, но большего размера крест на широкой ленте через левое плечо и звезда с девизом «люоящим правду, благочестие и верность» на латинском языке, — на правой стороне груди. Знаки I и II степеней ордена Анны могли быть украшены драгоценными камнями, что повышало значение награды.

I степень ордена Анны за военные заслуги была выдана в эпоху Отечественной войны 225 раз, в том числе 54 раза — с бриллиантовыми украшениями. В числе награжденных орденом Анны I степени без украшений — 5 генерал-лейтенантов, 161 генерал-майор, 1 генерал-интендант, 1 полковник и три лица, имевшие гражданский чин действительного статского советника (соответствовавший воинскому званию генерал-майор). Орден Анны I степени с бриллиантовыми украшениями получили 16 генерал-лейтенантов и 38 генерал-майоров.

Одним из первых заслужил орден Анны I степени генерал-майор А. П. Мелиссино за то, что во главе отдельного отряда 10 июля 1812 года разбил у местечка Яново саксонские войска под командованием генерала Ж. Л. Ренье. Уже немолодой генерал, имевший за плечами 35 лет воинской службы, А. П. Мелиссино, отличившийся в ряде последующих сражений, героически погиб 14 августа 1813 года в битве под Дрезденом, ведя в атаку Лубенской гусарский полк, шефом которого был с 1807 года.

Орден Анны I степени был наградой генерал-майорской. Им также были награждены генерал-лейтенанты А. П. Ожаровский, М. М. Бороздин, С. Л. Радт, П. Г. Бардаков и Г. В. Жомини. Первый из них, А. П. Ожаровский, имел за кампанию 1807 года Георгия IV и III степени (которые не входили в общую систему старшинства русских орденов), а за Бородино получил золотое оружие с бриллиантами «За храбрость». Несмотря на свой высокий чин, на награду, бóльшую, чем орден Анны I степени, он в этой ситуации претендовать не мог. Генерал М. М. Бороздин, брат более известного генерал-лейтенанта Н. М. Бороздина, также по причине отсутствия высоких знаков отличия мог рассчитывать лишь на Анну I степени и получил ее. Генерал-лейтенанты С. Л. Радт и П. Г. Бардаков командовали в Отечественную войну ополчениями, первый Малороссийским, второй — Костромским, и, несмотря на высокий чин и личное участие в боях, заслужили в отличие от командиров регулярных частей лишь эту награду. Наконец, пятым генерал-лейтенантом, кавалером Анны I степени, стал барон Генрих Жомини, швейцарец, бывший генерал наполеоновской армии, перешедший в 1813 году на сторону союзников. Получив от Александра I чин генерал-лейтенанта и звание генерал-адъютанта, он участвовал в качестве военного советника в сражениях при Кульме и Лейпциге и, не имея еще других русских орденов, был награжден низшим из достойных его генеральского звания орденом — Анны I степени.

Среди военных, заслуживших Анну I степени, есть и полковник. Еще в шведскую войну, в 1808 году, за боевые отличия полковник Е. И. Властов был награжден орденом Георгия III степени, минуя IV. В самом начале Отечественной войны 1812 года, все еще в чине полковника, он командует частью арьергарда войск Витгенштейна и за успехи «в разные числа в авангардных (читай «арьергардных». — *В. Д.*) делах и при разных экспедициях против французов» удостаивается ордена Анны

высшей степени. Вскоре после этого он становится, за те же успешные сражения, генерал-майором, но в списках награжденных Анной I степени в те годы он остается единственным полковником. Остальные кавалеры этой степени ордена — военные — все без исключения имели генеральские чины.

В числе награжденных высшей степенью ордена Анны — генерал-интендант Е. Ф. Канкрин. Он во время Отечественной войны 1812 года занимался снабжением русских войск, будучи сначала генерал-интендантом 1-й армии, а с 1813 года — генерал-интендантом всех российских армий. Его деятельность на этом поприще была весьма успешной. Из 425 миллионов, планировавшихся на ведение войны, в 1812—1814 годах было израсходовано менее 400 миллионов. Это было редчайшее событие для страны, обычно заканчивавшей военные кампании с большим финансовым дефицитом. Еще успешнее организовал Канкрин продовольственное обеспечение русских войск во время заграничного похода 1813—1814 годов. Союзники требовали от России за полученные русской армией продукты огромную сумму — в 360 миллионов рублей. Благодаря искусным переговорам Канкрину удалось сократить эту цифру до 60 миллионов. Но, кроме экономии средств, Канкрин строго следил за тем, чтобы все имущество и продовольствие полностью и вовремя доходило до армии, боролся со взяточничеством и хищениями. Эта деятельность, по правде сказать, нетипичная для интендантского ведомства того времени, сыграла значительную роль в обеспечении вооруженных сил России всем необходимым и в конечном счете способствовала победе над сильным врагом. За эту деятельность Е. Ф. Канкрин был награжден в 1813 году орденом Анны I степени.

Из будущих декабристов в Отечественную войну орден Анны I степени получил лишь один, С. Г. Волконский, за битву при Лейпциге. Остальные, имевшие небольшие чины, на такую высокую награду права не имели.

Последним по времени получения ордена Анны I степени за отличия в Отечественную войну 1812 года оказался генерал-майор артиллерии А. И. Марков 2-й, награжденный в 1816 году, хотя награду он заслужил еще в 1814 году, за взятие Парижа. Это был храбрый и талантливый командир, начавший военную службу подпоручиком в 1800 году и без какой-либо протекции дослужившийся к 1814 году до генеральского звания. В 1812 году капитан Марков — командир конно-артиллерийской роты, с которой в звании генерал-майора и закончил войну в 1814 году в Париже. Роте с отважным командиром во главе пришлось сражаться в полутора десятках крупных битв в 1812—1814 годах, за отличие в которых все офицеры получили право носить на мундирах особые золотые петлицы, а командир был награжден более десяти раз орденами, в том числе дважды (по ошибке) Анной II степени с алмазами. Между прочим, в ходе сражений рота дважды спасала от плена самого Александра I — при Лейпциге и при Фершампенуазе, когда в сходных ситуациях лишь высокое воинское умение артиллеристов Маркова не позволило французам захватить русского императора и находившегося в обоих случаях с ним рядом прусского короля.

Орденом Анны I степени с бриллиантовыми украшениями (в документах они называются также алмазными) было произведено 54 награждения, из них 38 — генерал-майоров и 16 — генерал-лейтенантов. Обычно этот знак отличия получали уже имевшие ранее Анну I степени без украшений. Но генерал-лейтенант Е. И. Чаплиц, боевой, заслуженный военачальник, участник еще осады Очакова и штурма Измаила, герой Шенграбена, Аустерлица, Прейсиш-Эйлау и Фридланда, был награжден сразу же знаками с украшениями, не имея I степени ордена без бриллиантов, причем в 1817 году за заслуги в Отечественную войну. Последним же по времени награждения героем войны 1812—1814 годов, отмеченным Анной I степени с бриллиантами, стал генерал-майор П. А. Кикин, получивший эту награду в 1826 году за отличие в трех сражениях — при Арси, Фершампенуазе и Париже.

Значительно больше награждений было произведено орденами Анны II степени. Перечислить всех в кратком очерке мы не имеем возможности. Укажем лишь кавалеров этого ордена — будущих активных декабристов. Так, орден Анны II степени с бриллиантами получили М. Ф. Орлов, М. А. Фонвизин, М. Ф. Митьков. Орден Анны без украшений был заслужен А. М. Булатовым, В. И. Враницким, Ф. Н. Глинкой, В. Л. Давыдовым, С. Г. Краснокуцким, М. С. Луниным, А. Н. Муравьевым, М. И. Муравьевым-Апостолом, С. И. Муравьевым-Апостолом, В. С. Норовым, П. И. Пестелем, И. С. Повало-Швейковским, М. А. Фонвизиным, В. И. Штейнгелем.

III, низшая ступень ордена Анны была введена в русскую наградную систему Павлом I и носилась в виде маленького крестика на эфесе либо в шпажной чашке хо-

лодного оружия. Это был чисто боевой знак отличия для обер-офицеров с прапорщика до капитана включительно. Тысячи русских офицеров, отличившихся в сражениях Отечественной войны 1812 года, получили право на эту награду. В их числе были и будущие декабристы — А. З. Муравьев, Н. М. Муравьев, М. И. Муравьев-Апостол, И. Д. Якушкин и другие.

Первоначально знак ордена Анны III степени на оружие изготавливался, как и все знаки любой степени русских орденов, из золота. Но в ходе Отечественной войны число награжденных Анненским оружием было настолько велико (только в 1812 году в армию были отправлены 664 шпаги и сабли со знаком ордена Анны III степени, а также две флотские сабли для морских офицеров), что в целях экономии в трудное военное время было решено изготавливать знаки этой степени из недрагоценного металла, томпака, причем награжденный получал лишь знак и прикреплял его к уже имеющемуся у него личному холодному оружию. В 1813 году в армию был послан 751 такой знак, а в следующем еще больше — 1094.

Самой почетной боевой наградой дореволюционной России был орден св. Георгия, учрежденный в 1769 году в четырех степенях. Правила ношения этого ордена были такие же, как и ордена св. Владимира.

За военные заслуги в эпоху Отечественной войны 1812 года из российских подданных I степень ордена Георгия получили 3 человека, II — 24, III — 123 и IV — 491 человек. Кроме того, четверо иностранных военачальников были награждены высшей степенью ордена, двенадцать — II, 33 — III и 127 иностранных офицеров — орденом Георгия IV степени. Кавалерами этого ордена становились и офицеры и генералы войск союзников в войне с французами — Великобритании, Швеции, Австрии, а также Пруссии и других немецких королевств и княжеств, получивших независимость в результате поражения Франции.

За 1812 год, время массового патриотизма, проявленного всею страной при изгнании наполеоновских войск из пределов России, орден Георгия I степени получил лишь один Михаил Илларионович Кутузов, ставший первым полным кавалером этой награды, то есть отмеченным всеми четырьмя степенями ордена. Георгия IV степени Кутузов получил в 1775 году за отличия в первой русско-

турецкой войне, следующую, III степень — в 1790 году за штурм Измаила, а II степень — за сражение при Мачине в 1791 году.

В следующем, 1813 году за поражение французов при Кульме 18 августа был награжден орденом Георгия I степени генерал от инфантерии М. Б. Барклай-де-Толли, также имевший до этого три предыдущие степени награды. Третьим и последним русским полководцем, удостоенным высшей степени ордена Георгия в эпоху Отечественной войны с Наполеоном, стал генерал от кавалерии Л. Л. Бенигсен за успешные действия против французов в 1814 году.

В числе 24 полководцев русской армии, удостоенных Георгия II степени, — генерал-лейтенант П. Х. Витгенштейн, генерал от кавалерии А. П. Тормасов, генералы от инфантерии М. Б. Барклай-де-Толли и М. А. Милорадович, получившие эту награду в 1812 году; генералы от инфантерии Д. С. Дохтуров, А. Ф. Ланжерон, генерал-лейтенанты П. П. Коновницын, А. И. Остерман-Толстой и другие, получившие ее в 1813 году; генерал от кавалерии Н. Н. Раевский, генерал-лейтенанты И. В. Васильчиков 1-й, М. С. Воронцов, А. П. Ермолов и другие, награжденные в 1814 году.

Значительно больше отличившихся было отмечено III степенью ордена Георгия. Среди них мы видим фамилии многих военачальников, портреты которых украшают знаменитую Военную галерею Зимнего дворца: это генерал-майор И. Н. Инзов, связанный у большинства из нас с именем Пушкина, но и сам являвшийся значительной личностью — исключительно храбрым воином и одновременно добрейшим человеком (не случайно французы по окончании военных действий наградили Инзова орденом Почетного легиона за гуманное отношение к пленным); П. С. Кайсаров, П. М. Капцевич, Н. И. Лавров, В. В. Орлов-Денисов, А. И. Чернышев, В. С. Рахманов, Ф. А. Луков и многие другие.

Уже упоминавшийся выше В. Г. Костенецкий в Бородинском сражении заменил убитого начальника артиллерии генерал-майора А. И. Кутайсова. Во время сражения, когда на одну из батарей ворвались французы, Костенецкий, обладавший богатырской силой, стал в ряды защитников и отбивал нападающих артиллерийским банником. Банник сломался в руках Костенецкого, но атака была отбита. За Бородино генерал В. Г. Костенецкий был награжден орденом Георгия III степени. Между прочим, в ка-

честве холодного оружия генерал на время военных действий получил из Оружейной палаты старинный полуторный палаш, поскольку обычные строевые клинки были слишком малы и легковесны для него.

Одним из последних крупных сражений войны стало взятие Парижа в марте 1814 года. В числе отличившихся здесь оказался командир гвардейской артиллерийской бригады полковник К. К. Таубе. Он с одной ротой из своей бригады занял важные Шомонские высоты. Не имея пехотного прикрытия, рота отбила атаку мощной колонны противника, пытавшейся сбить ее с высот. Произошел жестокий бой, батарею удалось отстоять, и по приказу командира 12 орудий открыли огонь по Парижу. Через полчаса после начала обстрела на батарее появились парламентеры с извещением о сдаче французской столицы. За этот подвиг М. Б. Барклай-де-Толли представил полковника Таубе к следующему чину. Но Александр I приказал дать ему вместо чина орден Владимира III степени. Между тем у Таубе в числе других орденов уже был Владимир III степени за сражения при Люцене и Бауцене. Орден Георгия IV степени он также заслужил ранее. Поэтому после нескольких дней размышлений начальства К. К. Таубе получил редкую для полковника награду — орден Георгия III степени.

В то время было не принято награждать павших на поле сражения посмертно. Так, один из достойнейших генералов Отечественной войны, Неверовский, участвовавший во многих сражениях во время заграничного похода, при Лейпциге был 6 октября 1813 года тяжело ранен и за это сражение представлен к награждению Георгием III степени. Рана оказалась смертельной, и фамилии генерал-лейтенанта Д. П. Неверовского не осталось даже в списках награжденных.

Наиболее многочисленна группа кавалеров ордена Георгия IV степени — 491 человек. Но и здесь за каждым награждением стоит подвиг, а иногда и несколько славных дел — вклад в общую победу над врагом. За бои с французами орден Георгия IV степени среди прочих получили А. Н. Сеславин, Д. В. Давыдов, А. И. Бистром, Г. А. Эмануэль, А. С. Кологривов, Б. В. Полуектов, Н. М. Свечин, Е. Ф. Керн и другие. В числе георгиевских кавалеров — трое будущих декабристов: поручик М. Ф. Орлов получил орден Георгия IV степени за отличие при взятии Вереи в сентябре 1812 года, такие же награды были даны полковнику С. Г. Волконскому в

1813 году за сражение при Калише и подполковнику И. С. Повало-Швейковскому в 1814 году за отличие при взятии Парижа.

Непосредственно к офицерскому ордену св. Георгия примыкает солдатский Знак отличия Военного ордена (солдатский Георгиевский крест), учрежденный в 1807 году для награждения нижних чинов за боевые подвиги. Эта награда представляла собой серебряный крест без эмали, но с изображением в центральном медальоне на лицевой стороне св. Георгия на коне, а на оборотной стороне — инициалов святого, «С. Г.», как и на офицерском знаке. Носилась эта награда на узкой оранжево-черной ленточке, как и орден Георгия. В правилах о награждении знаком отличия говорилось: «Им награждаются только те из нижних воинских чинов, которые, служа в сухопутных и морских русских войсках, действительно выкажут свою отменную храбрость в борьбе с неприятелем».

На солдатском Георгиевском кресте гравировался номер, под которым получивший награду вносился в так называемый «вечный список георгиевских кавалеров». Первым получил солдатского Георгия унтер-офицер кавалергардского полка Егор Иванович Митрохин за отличие в бою с французами под Фридляндом 2 июня 1807 года. Всего же к началу 1812 года был выдан 12 871 знак с соответствующими номерами от единицы до 12871. Кстати, солдатским Георгием № 6723 была награждена знаменитая «кавалерист-девица» Надежда Дурова, начавшая службу простым уланом: в сражении под Гутштадтом в мае 1807 года она спасла от неминуемой гибели офицера и получила единственную в то время боевую награду для нижних чинов.

Многие подвиги, совершенные простыми русскими людьми — солдатами, крестьянами, мещанами, не имевшими права на награждение орденами, были отмечены Знаками отличия Военного ордена. Во время штурма Вереи 29 сентября 1812 года рядовой Вильманстрандского пехотного (мушкетерского) полка Старостенко захватил вражеское знамя. За это отличие по представлению М. И. Кутузова солдат был произведен в унтер-офицеры и награжден Георгиевским крестом. Десятки других рядовых воинов и гражданских лиц получили солдатские «егории» от главнокомандующего в 1812 году. Среди них был житель одной из деревень близ Калужской дороги. В его родное село пришел отряд французов с намерением

поживиться крестьянским добром. У мародеров имелась пушка. Солдаты разбрелись по домам, оставив орудие без охраны. Смелый и находчивый крестьянин сел верхом на пушку, ударил по запряженным в нее лошадям и умчался в расположение русских войск. За это сам Кутузов наградил его Знаком отличия Военного ордена.

М. Б. Барклай-де-Толли также неоднократно лично награждал отличившихся, даже издавая специальные приказы по случаю выдачи солдатского знака. Так, в приказе от 30 октября 1813 года было объявлено о награждении нижних чинов Тамбовского пехотного полка унтер-офицера Егора Митрофанова и рядового Александра Федорова за взятие в плен целого отряда французов из 70 человек. Оба храбреца получили солдатские Георгии и денежную награду, а, кроме того, Федоров был произведен в унтер-офицеры.

Солдаты ценили свои награды не меньше, чем офицеры ордена. Во время сражения при Кульме в атаке был смертельно ранен рядовой лейб-гвардии Измайловского полка Черкасов, кавалер солдатского Георгиевского креста. В последнюю минуту жизни он сорвал с груди свой боевой знак отличия и передал товарищам со словами: «Отдайте ротному командиру, а то попадет в руки басурману».

Точное число солдатских Георгиевских крестов, выданных нашим соотечественникам за отличия против французов в 1812—1814 годах, установить трудно, так как, во-первых, эта награда выдавалась и за другие подвиги — на Дунае и Кавказе, во-вторых, часть знаков получили иностранцы — около двух тысяч прусских солдат, двести нижних чинов Шведского корпуса Бернадотта и некоторое количество — другие союзники, главным образом австрийцы. Всего в 1812 году было награждено 6783 человека, в 1813-м — 8611, а в 1814-м — еще больше, 9345.

Среди участников Отечественной войны, будущих активных декабристов, было двое дворян, награжденных солдатскими Георгиевскими крестами, — М. И. Муравьев-Апостол и И. Д. Якушкин, сражавшиеся при Бородине в чине подпрапорщика, не дававшем права на офицерскую награду. Проявив в этом сражении храбрость, оба были отмечены наградой для нижних чинов с соседними номерами на знаках — 16697 и 16698. Произведенные за Бородинский бой в прапорщики, Муравьев-Апостол и Якушкин позднее, за отличие при Кульме, также одновременно

были награждены Анненским оружием «За храбрость» для офицеров.

Между Знаками отличия Военного ордена, выданными за участие в военных действиях 1812—1814 годов, есть небольшая группа с вензелем «AI» (Александр I) на верхнем луче креста, не включенная в сделанные выше подсчеты. Эти награды были изготовлены в 1839 году специально для ветеранов этой войны — солдат прусской армии в связи с 25-летием взятия Парижа, фактического окончания военных действий, и с открытием памятника на Бородинском поле.

28 ноября 1839 года было изготовлено 4500 таких знаков с проставленными на них номерами от 1 до 4500 и заготовлено к ним Георгиевских лент по 8 вершков к каждому кресту. К середине 1841 года из этого числа крестов с вензелем Александра I было роздано 4264 штуки, остальные были возвращены в Капитул орденов, потому что часть прусских солдат-ветеранов или умерла, или не была разыскана.

В настоящее время Георгиевские кресты с вензелем Александра I представляют собой исключительную редкость, особенно в нашей стране. Достаточно сказать, что даже в крупных отечественных музейных собраниях хранится лишь один такой подлинный знак — в Отделе нумизматики Государственного Эрмитажа в Ленинграде, да и тот принесен в дар музею зарубежным коллекционером.

В эпоху Отечественной войны появилась мысль об учреждении особого ордена, связанного именно с героическим временем борьбы с наполеоновским нашествием. Генерал Д. С. Дохтуров в письме супруге 7 декабря 1812 года сообщал: «Говорят, что у меня будет еще новый орден, Спасителя Отечества, на голубой ленте, в три класса: первый через плечо, а там на шее, и в петлю третий». Это единственное известное нам упоминание о предполагавшейся новой награде.

Общие цифры награждений орденами в годы Отечественной войны 1812 года дают представление прежде всего о масштабах происходившей борьбы, что видно из количества награждений со времени учреждения ордена Георгия в 1769 году до 1812 года, и после за три года войны. Так до Отечественной войны III степенью ордена Георгия было награждено 230 человек, за войну к ним добавилось еще 123 кавалера. То же соотношение сохранилось и для II и для I степеней, как, естественно, и для других орденов. Статистика награждений ими

убедительно свидетельствует о массовом героизме всего русского народа, о величии народного подвига, позволившего не только избавиться от нашествия, но и в прах разбить дерзкого врага.

Наградные медали

Первая по времени учреждения наградная медаль, имеющая отношение к войнам России с наполеоновской Францией, появилась в связи с военными кампаниями 1805 и 1806—1807 годов. Массовый набор в действующую армию создал некомплект военнослужащих в местных губернских ротах и штатных командах. Поэтому для тех из нижних чинов, кто добровольно соглашался остаться на сверхсрочную службу, после трехлетнего пребывания на этой вторичной службе при увольнении выдавалась серебряная медаль с воинской арматурой на одной стороне и надписью «За усердную службу. 1806» — на другой. Но самой известной и массовой наградной медалью эпохи наполеоновских войн стала награда с надписью «1812 год». Она была учреждена в память Отечественной войны 5 февраля 1813 года. Этой серебряной медалью на голубой Андреевской ленте награждались все строевые чины армии и ополчения, принимавшие участие в военных действиях с французами до конца 1812 года, то есть в пределах Отечества. Это к тому же был первый случай в истории русской наградной системы, когда совершенно одинаковую медаль получали генералы, офицеры и нижние чины армии и флота, — для всех непременным условием получения этого знака отличия являлось личное участие в боевых действиях с наполеоновской армией на территории Российского государства.

«Воины! — говорилось в приказе императора. — Славный и достопамятный год, в который неслыханным и примерным образом поразили и наказали вы дерзнувшего вступить в Отечество ваше лютого и сильного врага, славный год сей минул. Но не пройдут и не умолкнут содеянные в нем громкие дела и подвиги ваши, потомство сохранит их в памяти своей... В ознаменование сих незабвенных подвигов ваших повелели мы выбить и освятить серебряную медаль... Вы по справедливости можете гордиться сим знаком... Враги ваши, видя его на груди вашей, да вострепещут, ведая, что под ним пылает храбрость, не на страхе или корыстолюбии основанная, но на любви к Отечеству, и, следовательно, ничем не победимая...»

Серебряных медалей «1812 год» было отчеканено 260 тысяч.

Главы дворянских родов, в случае даже если они не принимали участия в военных действиях, были награждены (в том числе и женщины) подобными же медалями, но бронзовыми и на Владимирской ленте. Поэтому на мундирах военачальников в знаменитой Военной галерее Зимнего дворца мы иногда видим обе медали — серебряную и бронзовую, — которые полководцы получили и как участники боев, и как старшие в роду. Право ношения этой медали получили и их потомки — тоже старшие в роду, даже если ими окажутся женщины.

Представители купечества, пожертвовавшие крупные средства на ведение войны, получали также бронзовую медаль с надписью «1812 год», но на менее почетной золотисто-красной ленте ордена Анны и без права ношения потомками.

Все христианские священники, то есть лица, допущенные к самостоятельному ведению богослужения, в память Отечественной войны 1812 года были отмечены особыми бронзовыми крестами «латинской» формы, на перекрестии которых были помещены изображения и надписи, повторяющие медаль «1812». Носился крест на Владимирской ленте на шее, как и прочие кресты священнослужителей. Его получили около 40 тысяч человек.

Существовала еще одна наградная медаль, с надписью «За любовь к Отечеству. 1812», очень редкая, которая до последнего времени не получала в литературе правильного атрибутирования. Лишь ленинградский исследователь В. В. Бартошевич опубликовал в 1979 году посвященную специально этому знаку отличия обстоятельную статью, в которой на основании обширного архивного материала доказал, что серебряные медали «За любовь к Отечеству» были предназначены 27 особо отличившимся партизанам — крестьянам Московской губернии [1]. Это скупое награждение ни в коей мере не отражало размаха народного движения против французского нашествия даже в пределах одной губернии, и тем не менее единичные экземпляры награды, бережно со-

[1] Бартошевич В. В. Из истории награждения крестьянских партизан. 1812 г. — Исторические записки, т. 103. М., 1979, с. 299—324.

храняемые в государственных собраниях, остаются свидетельствами подвига простого народа.

Последняя по времени учреждения наградная медаль, относящаяся к интересующим нас событиям, была установлена в память взятия русскими войсками Парижа в 1814 году. Она была серебряной, с надписью: «За взятие Парижа 19 марта 1814 г.». Носиться эта серебряная медаль должна была на комбинированной ленте двух орденских цветов — голубого Андрея Первозванного и оранжево-черного Георгия. Но в момент, когда во Франции было восстановлено правление Бурбонов, Александр I не решился раздать эту награду, которая напомнила бы французам о недавнем сокрушительном поражении. Лишь после смерти Александра медаль за Париж стала выдаваться. Впервые эта награда, право на которую имели все участники взятия французской столицы независимо от чина, появилась на русских мундирах 19 марта 1826 года, в годовщину падения Парижа. Эта медаль была выдана в количестве более 160 тысяч.

Знаком отличия, связанным с Отечественной войной 1812 года, стала наградная медаль в память столетия этого события, пышно праздновавшегося в 1912 году. Медаль, автором которой был известный отечественный медальер А. Васютинский, должна была носиться на Владимирской ленте. На ней были помещены несколько измененные строки из приказа по случаю изгнания неприятеля из пределов России: «Славный год сей минул, но не пройдут содеянные в нем подвиги». Награда предназначалась всем военнослужащим частей, ведущих свою родословную от полков и батарей, принимавших участие в Отечественной войне 1812 года. Отчеканена эта медаль в огромном количестве — более 442 тысяч.

ЗОЛОТОЕ ОРУЖИЕ «ЗА ХРАБРОСТЬ»

27 июня 1720 года русский галерный флот под командованием генерала кн. М. М. Голицына в сражении при острове Гренгам разгромил шведскую эскадру. Победители были щедро награждены, а командовавшему ими была «в знак воинского его труда послана шпага золотая с богатым украшением алмазов». Это первое известное нам награждение в регулярных русских войсках золотым холодным оружием. Во второй и третьей четвертях XVIII века известны уже десятки награждений шпагой как знаком отличия, предназначенным лишь для

военнослужащих. В дошедших до нас архивных документах награжденные оружием включаются в общие списки отмеченных и другими видами поощрений — орденами, чинами и проч. Уже в середине XVIII века к такому оружию прилагалась императорская грамота, текст которой дает основание считать выдачу шпаги не подарком, а именно боевой наградой и притом весьма высокой.

До 1788 года получить в награду золотую шпагу (из золота, естественно, изготовлялся лишь эфес) могли лишь генералы и фельдмаршалы. При этом эфес оружия украшался алмазами или бриллиантами. Но с 1788 года право быть отмеченными за военные отличия этой наградой распространилось и на офицеров, с той лишь разницей, что они получали золотые шпаги без украшений. Вместо этого на эфесе офицерского наградного оружия появилась надпись «За храбрость».

Здесь необходимо развеять одно заблуждение, до сих пор живущее и переходящее из одного поколения в другое. Считается, что первым получил шпагу с надписью «За храбрость» Д. С. Дохтуров, будущий герой Отечественной войны 1812 года. Даже авторитетнейшая Военная энциклопедия Сытина в 1912 году утверждала, что Д. С. Дохтуров в 1789 году, будучи еще капитаном лейб-гвардии Преображенского полка, был награжден золотой шпагой без надписи. В следующем, 1790 году, при Роченсальме, шпагу разбило ядром, а самого капитана ранило. Екатерина II, узнав об этом, якобы велела выдать Дохтурову новую, с надписью «За храбрость». На самом же деле шпаги для награждения офицеров за военные отличия с надписью «За храбрость» появились раньше, в 1788 году. Дохтуров потерявший шпагу в бою, просто получил новую, с той же надписью «За храбрость», как и на разбитой.

Всего за XVIII век документально известно около 300 награждений золотым оружием, в том числе более 80 — с бриллиантами, генеральским. При Павле I, стремившемся, как известно, не продолжать нововведений своей матери Екатерины II, награждений золотым оружием не было. Вместо этого выдавалась низшая степень ордена Анны, знак которого в виде небольшого крестика красной финифти также носился на холодном оружии.

Уже в XVIII веке можно было заслужить поочередно и золотое, и Анненское оружие. Так, морской лейте-

нант Н. Д. Войнович получил за отличие в сражении под Очаковом в 1788 году золотую шпагу, а в 1798 году, будучи уже капитан-лейтенантом, заслужил новую награду — III степень Анны на ту же шпагу.

Впервые в послепавловское время золотые шпаги и сабли «За храбрость» были выданы за войны с французами 1805-го и 1806—1807 годов. Здесь многие русские офицеры и генералы, чьи имена прославили отечественную военную историю, заслужили эту боевую награду. Среди них П. И. Багратион, Д. В. Давыдов, Д. С. Дохтуров, А. П. Ермолов и многие другие.

Самым ранним сражением XIX века, за которое выдавалось золотое оружие, был Аустерлиц. Золотые шпаги и сабли за него были даны тем из офицеров, которые в сложнейшей ситуации не потеряли хладнокровия и своими умелыми и храбрыми действиями уменьшили размеры потерь русской армии. Выдано было за Аустерлиц, причем в значительном числе, и Анненское оружие, награждение которым в царствование Павла I в России не прерывалось. Естественно, за сражения, в которых удача благоприятствовала русской армии, награды, в том числе и оружие, были обильнее.

В это же время на юге шли сражения с турками (русско-турецкая война 1806—1812 гг.), за которые также в числе прочих знаков отличия выдавалось и оружие «За храбрость». Так, за взятие Бухареста и ряд других сражений генерал-лейтенант М. А. Милорадович был представлен к награждению золотой с алмазами шпагой с надписью «За храбрость и спасение Бухареста».

28 сентября 1807 года был подписан указ о причислении офицеров и генералов, награжденных золотым оружием «За храбрость», к кавалерам русских орденов. Фамилии лиц, получивших золотое оружие, должны были вноситься в общий кавалерский список Капитула орденов Российской империи. Таким образом, в России появилось два вида наградного орденского оружия — золотое оружие «За храбрость» и Анненское оружие — низшая, III степень ордена Анны.

В указе 28 сентября было сказано: «Жалованные нами и предками нашими за военные подвиги генералитету и штаб- и обер-офицерам золотые с надписями шпаги, с алмазными украшениями и без оных, яко памятники нашего к тем подвигам уважения, причисляются к прочим знакам отличия; для чего и повелеваем всех тех, коим такие золотые шпаги доныне пожалованы и пожалованы будут, внести и вносить в общий с кавалерами Российских орденов список». Указ фиксировал уже фактически ранее установившееся положение, по которому награждение золотым оружием ставилось выше получения некоторых орденов.

К этому времени практически окончательно выработался внешний вид русского орденского оружия обоих видов. Золотое оружие для офицеров имело надпись на эфесе «За храбрость», генеральское и адмиральское украшалось бриллиантами, причем на оружии для генерал-майоров (и равных им морских чинов) обычно помещалась такая же надпись «За храбрость», а для генерал-лейтенантов и выше — более пространная, объясняющая причину награждения.

Анненское оружие отличалось от обычного холодного оружия в первые годы XIX века лишь тем, что в шпажной чашке либо на эфесе сабли (в зависимости от рода оружия, присвоенного награжденному) помещался знак ордена Анны. Выдавалось оно значительно чаще, нежели золотое «За храбрость». Известен список здравствующих кавалеров Анненского оружия, составленный до 1808 года, дающий представление о массовости пожалований этого знака отличия, несмотря на то, что в список не вошли умершие кавалеры, а также те, кто получил к этому моменту более высокую степень Анны и перешел в другой «класс». В списке 890 человек.

В 1811 году отмечено всего лишь 19 награждений золотым оружием, в основном за турецкую войну и за отличия на Кавказе против горцев. Но уже в следующем, 1812 году эта цифра резко увеличивается — до 241 человека. Началась Отечественная война.

В боях под Красным и в Смоленском сражении, в Бородинской битве и при Березине, в схватках за границами Отечества под Дрезденом, Кульмом и Лейпцигом сотни русских офицеров и генералов заслужили почетное орденское оружие. Только золотым офицерским оружием «За храбрость» в Отечественную войну 1812 года было награждено более тысячи человек, и, кроме того, выдано более шестидесяти «генеральских» наград с бриллиантами. Еще больше было кавалеров ордена Анны III степени. 27 января 1812 года главнокомандующие армиями получили «власть во время самого действия назначать за важнейшие блистательные подвиги шпаги за храбрость». Это было сделано для того, чтобы ускорить получение награды отличившимся, число которых резко увеличилось.

Но грамота на золотое офицерское оружие «За храбрость» утверждалась самим императором. Награждение оружием с бриллиантами оставалось по-прежнему отличием, даваемым исключительно по выбору императора. Среди получивших «генеральское» бриллиантовое оружие были герои 1812 года П. П. Коновницын, М. А. Милорадович (второй раз), Н. В. Иловайский, А. П. Ожаровский, В. В. Орлов-Денисов, Ф. Ф. Штейнгель, А. И. Бистром, Н. И. Депрерадович и многие другие. И. С. Дорохов, имевший чин генерал-лейтенанта, за взятие штурмом укрепленной Вереи 29 сентября 1812 года был награжден золотой шпагой с алмазами и с надписью «За освобождение Вереи».

Мы знаем еще несколько награждений в этот период оружием, украшенным бриллиантами, с надписями, объясняющими причину награждения.

Так, М. Б. Барклай-де-Толли получил золотую шпагу с алмазными лаврами и надписью «За 20 января 1814 года» (сражение при Бриенне). Для цесаревича Константина была заказана золотая шпага с алмазами и надписью в шпажной чашке «За поражение неприятеля при Теплице в 17 и 18 дни августа 1813 года» (Кульм) ценою в 26 тысяч рублей. Генералу от кавалерии герцогу Александру Вюртембергскому была дана золотая шпага с лаврами и бриллиантами с надписью «За покорение Данцига», взятого после длительной осады русскими войсками в конце 1813 года.

Но не всегда высший генералитет получал золотое оружие с особыми надписями. Например, генерал Витгенштейн за Лейпциг получил золотую шпагу с алмазами и лаврами с надписью просто «За храбрость». Прусский фельдмаршал Блюхер был награжден русским золотым оружием с бриллиантами также с надписью «За храбрость».

Кстати, не один Блюхер из иностранцев получил золотую шпагу. Русское золотое оружие имели англичанин герцог Веллингтон (1815 г.), великий герцог Август Гольдштейн-Ольденбургский (1812 г.), австрийский князь Шварценберг (1814 г.) и значительное число других генералов и офицеров иностранной службы.

С другой стороны, некоторые русские генералы были отмечены иностранным наградным оружием. А. Х. Бенкендорф, кроме имевшейся у него русской золотой шпаги с алмазами «За храбрость» (1813 г.), получил в награду шпагу от короля Нидерландов с надписью «Амстердам и Бреда» (он был направлен с отдельным летучим русским отрядом в Голландию и Бельгию), а в том же 1814 году получил золотую саблю от королевы Великобритании с надписью «За подвиги в 1813 г.».

Некоторые офицеры и генералы награждались золотым оружием неоднократно. Так, Алексей Петрович Никитин в 1812 году, будучи полковником конной артиллерии, получил золотую шпагу «За храбрость», а в 1813 и 1814 годах, уже получив генеральский чин, дважды награждался золотыми шпагами с бриллиантами.

В отделе оружия ГИМ хранится шпага «За храбрость» с пространной надписью на шпажной чашке: «Получена за отличие при удержании пятью полками города Суассона 21 февраля 814 года. При нападении на оный двух корпусов французских под командою генерала Мармонта. Сражение продолжалось 34 часа». Сотрудники отдела оружия определили, что этой шпагой был отмечен генерал-майор Иван Николаевич Дурново, который командовал бригадой, оборонявшей Суассон.

Михаил Илларионович Кутузов за 1812 год, помимо других многочисленных наград, был отмечен 16 октября золотой шпагой с алмазами и с лавровыми венками из изумрудов. Формально награда была дана за Тарутинское сражение 6 октября 1812 года. Но это была лишь малая награда за мудрое руководство всеми вооруженными силами государства в один из самых тяжелых периодов в его истории, и справедливо было сказано в грамоте, полученной М. И. Кутузовым по случаю награждения золотой шпагой, что «сей воинственный знак, достойно вами стяжанный, да предшествует славе, какою по искоренении всеобщего врага увенчает вас Отечество и Европа». Есть документ, удостоверяющий, что наградная шпага ценою в 25 125 рублей, была вручена «его светлости».

Основная же масса золотого оружия в эту эпоху, естественно, выдавалась офицерам и не имела бриллиантовых украшений. А всего за этот период русскими генералами было получено 62 золотые шпаги и сабли с бриллиантовыми украшениями, и 1034 без бриллиантов были получены русскими офицерами.

Главным героем, сокрушившим Наполеона, был народ, то есть многие тысячи солдат, партизан, а также лучшие представители русского офицерства и генералитета. Интересные результаты дает анализ представлений к наградам за отдельные сражения, показывающий массовый героизм,

как правило, справедливо вознаграждавшийся в Отечественную войну 1812 года.

Для примера мы возьмем материалы Бородинского сражения — не все целиком, а лишь относящиеся к одному из многочисленных полков, принимавших участие в этом бою — лейб-гвардии Литовскому. В день Бородинского сражения в полку в строю находилось 4 штаб-офицера, 46 обер-офицеров и 1639 нижних чинов. Из офицеров двое в сражении были убиты и 35 ранены либо контужены. К наградам за Бородино были представлены все 48 оставшихся в живых. Командир полка полковник И. Ф. Удом получил генерал-майорский чин, оба подполковника произведены также в следующий, полковничий чин и награждены орденом Георгия IV степени. 6 капитанов и 7 штаб-капитанов отмечены орденом Анны II степени с алмазами, 8 поручиков — орденом Владимира IV степени с бантом и 1 — Анны II степени, 6 подпоручиков и 5 прапорщиков — золотыми шпагами с надписью «За храбрость». (Среди представленных за этот бой к золотым шпагам был прапорщик лейб-гвардии Литовского полка П. И. Пестель, будущий руководитель декабристов.) 6 прапорщиков награждены орденом Анны III степени, остальные 6 офицеров (4 подпоручика и 2 прапорщика) — следующими чинами.

Анненское оружие уже в это время было боевой наградой обер-офицеров, начиная с первого чина — прапорщика. Награждение золотой шпагой без бриллиантов предполагало также, видимо, наличие чина обер-офицерского (до капитана включительно), хотя следующая по значению категория золотого оружия, украшенного бриллиантами, давалась только генералам. Таким образом, хотя формально золотая шпага могла быть пожалована и штаб-офицеру (от майора до полковника включительно), практически в это время штаб-офицеры либо уже имели эту награду, получив ее еще в обер-офицерском звании, либо представлялись к другим видам наград. Заметим здесь же, что официальных законодательных актов, касающихся наградного оружия, в это время еще почти совсем не было, и наши выводы мы делаем, основываясь главным образом на известной по документам наградной практике этого периода.

Указом от 28 декабря 1815 года генералы и офицеры, награжденные за подвиги в Отечественной войне 1812 года золотыми шпагами с бриллиантами или без них, получили право на убавление двух лет из 25-летнего срока

службы в офицерских чинах для получения ордена Георгия IV степени за выслугу лет. Несколько позже, 15 октября 1817 года, это право было распространено и на участвовавших в войне с Наполеоном офицеров и адмиралов морского ведомства, которым из необходимых для получения Георгия за выслугу лет 18 кампаний на море за золотые шпаги убавлена одна кампания.

За все царствование Александра I (с 1806-го, первого года выдачи золотого оружия, по 1825 год) было произведено 1542 награждения.

ОСОБЫЕ ВИДЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НАГРАД

В русской армии применялись, особенно в военное время, когда возникала необходимость в увеличении и числа награждений, и их «ассортимента», и другие виды поощрений: досрочное награждение военнослужащего следующим чином; переименование лица, имеющего гражданский или придворный чин, в соответствующий им по Табели о рангах офицерский чин, считавшийся более почетным, а в исключительных случаях и в более высокий; перевод тем же чином в гвардию, имевшую старшинство на два звания перед армейскими частями, и в артиллерию, квартирмейстерские, инженерные части и кадетские корпуса, имевшие преимущество в один чин; награждение деньгами и подарками; особые грамоты и рескрипты.

Получение следующего чина досрочно, за боевые отличия, широко практиковалось в военное время.

Так, известный военный деятель эпохи Отечественной войны 1812 года И. К. Орурк за отличие в Итальянском походе 1799 года получил чин подполковника. За Аустерлиц он был награжден полковничьим чином, за Туртукай в 1809 году в войне с Турцией — генерал-майорским званием. За Лейпциг в 1813 году И. К. Орурк удостоился чина генерал-лейтенанта. И это пример далеко не самого быстрого продвижения по лестнице чинов за боевые заслуги.

Генерал-майор К. Ф. Казачковский, тяжело раненный в сражении под Люценом 20 апреля 1813 года, был произведен прямо на поле боя в генерал-лейтенанты, хотя после этого никогда уже не возвращался из-за ранения в строй.

Д. М. Мордвинов, имея придворное звание действительного камергера (соответствовавшее военному чину ге-

нерал-майора), вступил в 1812 году в ополчение и командовал 5-й дружиной. В сражении под Полоцком 6 октября, идя впереди своих ополченцев в атаку, Мордвинов был ранен картечью в ногу, которую пришлось отнять. За Полоцк ему был дан орден Георгия IV степени. Но как еще одну награду за боевое отличие Д. М. Мордвинов заслужил переименование из придворного действительного камергера в более почетный, соответствующий ему военный чин генерал-майора, хотя более в военном ведомстве уже не служил.

Граф М. А. Дмитриев-Мамонов, имевший придворное звание камер-юнкера, был пожалован в 22 года сразу в генерал-майоры за то, что на свой счет сформировал конный полк ополчения, названный Московским казачьим. Во главе этого полка Дмитриев-Мамонов сражался под Тарутином и Малоярославцем, участвовал в заграничном походе, заслужив в боях золотую саблю «За храбрость». После возвращения в Россию он вышел в отставку. Некоторые черты личности и биографии М. А. Дмитриева-Мамонова послужили Л. Н. Толстому при создании образа Пьера Безухова.

Важное значение имело и награждение деньгами и подарками. Так, за участие в Бородинском сражении все нижние чины получили по 5 рублей, по тем временам сумму довольно значительную. Конечно, она не шла ни в какое сравнение с суммами, дававшимися офицерам и высшим военачальникам. За мужественное командование в течение трех дней подряд 7-м егерским полком во время битвы под Лейпцигом полковник Штегман был награжден 1500 рублей. Граф П. Х. Витгенштейн за поражение корпуса французского маршала Удино в самом начале войны 1812 года в числе прочих наград был пожалован ежегодной пожизненной пенсией в 12 тысяч рублей, которую после его смерти могла получать вдова. Многим героям Отечественной войны денежные награждения за боевые отличия помогали поправлять свои материальные дела: например, военные заслуги генерала П. П. Коновницына помогли ему освободиться от долга в 43 тысячи рублей, генерал Н. Н. Раевский за Бородино получил возможность на льготных условиях передать в залог в Государственный банк 3500 своих крепостных за 350 тысяч рублей серебром, с рассрочкой на 25 лет. Этот список можно было бы продолжить.

В числе так называемых подарков, обычно украшенных драгоценными камнями перстней, табакерок, царских портретов, золотых часов и т. д., было несколько оригинальных пожалований. Так, в 1813 году за подвиги во время заграничного похода в числе других наград атаман Платов получил драгоценное бриллиантовое перо с вензелем Александра I для ношения на головном уборе. Генерал Ланжерон в том же, 1813 году за успешное командование русским корпусом в составе Силезской армии Блюхера получил императорский вензель на эполеты и 30 тысяч рублей. За боевые заслуги право носить на эполетах вензель было дано также генералам Милорадовичу и Беннигсену. Это произошло еще до 30 августа 1815 года, когда вензелевое изображение появилось на эполетах генерал-адъютантов и флигель-адъютантов как символ их звания.

Особым видом наград было так называемое императорское «благоволение», до 1807 года называвшееся «удовольствием», которое от имени царя сообщалось отличившемуся, а также императорские рескрипты, в которых от царского же имени давалась положительная оценка тех или иных действий отличившегося[1]. Так, М. Л. Булатов с 16 лет участвовал в сражениях, проведя в общей сложности 50 лет в боевой деятельности. Участник взятия Очакова и Измаила, он к 1812 году имел чин генерал-майора, ордена Георгия III и IV степеней, Владимира 2-го класса, Анны I степени и золотое оружие с алмазами «За храбрость». В 1812 и 1813 годах он совершил новые подвиги, отличившись в нескольких сражениях, а при Гамбурге получил два тяжелых ранения (всего Булатов был ранен 28 раз). Эти заслуги требовали вознаграждения, между тем генерал-майорский чин отличившегося не позволял дать ему следующий орден Александра Невского или Владимира I степени. В результате за все отличия 1812—1813 годов М. Л. Булатов получил два «благоволения» и один рескрипт. Чин же генерал-лейтенанта, отсутствие которого мешало ему быть отмеченным высшими орденами, Булатову был дан только в 1833 году.

Каждое отдельное отличие в бою могло быть отмечено отдельной же наградой. Так, некоторые участники Бородинского боя получили по две награды, так как, кроме битвы 26 августа, отличились и накануне, 24 августа, при Шевардине. За четырехдневное сражение при Красном

[1] Благоволение, рескрипт и грамота, кроме нравственного удовлетворения, сокращали награжденному срок выслуги к получению ордена Георгия за 25 лет службы в офицерских чинах.

(3, 4, 5 и 6 ноября 1812 года) корнет лейб-гвардии Уланского полка В. И. Карачаров получил четыре (!) награды: ордена Георгия IV степени, Владимира IV степени с бантом, золотую саблю «За храбрость» и следующий чин.

КУЛЬМСКИЙ КРЕСТ

На мундирах военачальников в Военной галерее Зимнего дворца, кроме российских наград, часто видны и иностранные, дававшиеся государствами-союзниками в войне с Наполеоном. Наши полководцы за подвиги удостаивались самых высоких знаков отличия других европейских стран. Так, например, высший прусский орден Черного Орла получили в эпоху 1812—1814 годов восемь наших соотечественников, в том числе М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, П. М. Волконский. Последний, кроме прусской награды, был также отмечен за боевые заслуги высшими орденами Швеции, Баварии, Вюртемберга и (после Реставрации) королевской Франции. Почетный боевой австрийский орден Марии Терезии имели за заслуги в сражениях с французами 44 офицера и генерала русской армии, в том числе Кутузов, Барклай-де-Толли, Багратион, Депрерадович, Кайсаров, Уваров, Ожаровский, Ф. Орлов, Васильчиков, и другие. Еще в 1799 году I степень ордена получил А. В. Суворов, а рыцарскую степень этой награды — его сын Аркадий, участвовавший с отцом в итало-швейцарском походе и не доживший всего один год до Отечественной войны. Перечень иностранных наград, заслуженных нашими воинами, особенно при освобождении европейских стран от наполеоновского господства, мог бы получиться весьма большим.

Но была одна иностранная награда, предназначавшаяся лишь русским солдатам, офицерам и генералам за сражение при Кульме.

За сражением наблюдал прусский король Фридрих Вильгельм III и в порыве благодарности приказал наградить весь русский отряд учрежденным незадолго до этого, 10 марта 1813 года, орденом Железного креста. Узнав об этом награждении, русские герои тут же, на поле боя, стали делать себе из кусочков железа и кожи подобия этого знака отличия. До нас дошли некоторые из изготовленных тогда, сразу же после сражения, крестов.

Однако позже, когда опасность для прусских войск миновала, приближенные Фридриха Вильгельма напомнили, что в самой Пруссии орденом награждены еще

лишь единицы, в то время как сразу 12 тысяч русских гвардейцев представлены к этой награде. Поэтому 4 декабря того же года, уже задним числом, был выпущен королевский указ, по которому отличие, данное за Кульм русским воинам, названо не орденом Железного креста, а просто Кульмским крестом. Разница во внешнем виде наград заключалась в отсутствии на Кульмском кресте даты «1813» и вензеля Фридриха Вильгельма III.

Официальная выдача прусской награды задержалась на полтора года. Лишь в мае 1815 года в Россию было отправлено 11 563 креста, в том числе 443 офицерских (покрытых черной эмалью) и 11 120 солдатских (на них вместо эмали была черная краска). На параде гвардейских частей, устроенном в Санкт-Петербурге, был роздан 7131 крест. Что касается награды от царя, то солдаты получили за подвиг при Кульме по два рубля на человека.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ НАГРАДЫ

Знамена и штандарты

В 1800 году в русской армии были введены знамена нового образца. Но начало века ознаменовалось не только появлением очередной разновидности, но и новым осмыслением значения боевого знамени. Раньше на знамена, равно как и на другие виды «амуниции», существовали сроки службы, по истечении которых они заменялись новыми. Теперь же знамя становится важнейшей регалией, даваемой войсковой единице практически навсегда. Именно в самом конце XVIII века, в 1797 году, вводится присяга у знамени: «какого бы чина и звания ни были, всякий раз не иначе как под знаменами, наблюдая при том, чтобы приводимый к присяге, имея распростертую вверх руку, другою держался бы за знамя».

Знамена образца 1800 года давались по одному на роту во все полки тяжелой пехоты — гвардейские, гренадерские, мушкетерские, морские и гарнизонные. Позднее, с 1802 года, знамена стали даваться по два на батальон (6 на полк), а с 1814 года — по одному на батальон. Легкой пехоте — егерям — знамен по штату не полагалось, и они могли их заслужить лишь за боевые отличия по одному на полк. В коннице давались штандарты, по одному на эскадрон, только в полки тяжелой кавалерии — кирасирам и драгунам. Легкая кавалерия — кон-

ные егеря, гусары и уланы — штандартов не имели и награждались ими только за военные подвиги. Казачьи части получали не штандарты, а знамена, как правило, по одному на полк и главным образом за отличия. Гвардейский Морской экипаж, которому по расписанию не положено было иметь знамена, заслужил одно наградное знамя за исключительную храбрость при Кульме. В артиллерийских частях иметь знамена также не полагалось, но они не выдавались русским пушкарям даже за боевые отличия.

В 1800 году началась выдача в числе прочих и особых наградных знамен. При этом на полотнище делалась надпись, рассказывающая о причине пожалования награды. Из общего числа выданных за отличия знамен образца 1800 года четыре были получены за сражения с французами. Так, Архангелогородский пехотный полк во время знаменитого Альпийского похода Суворова отличился в бою при деревне Молис, где захватил у французов знамя, 2 пушки и 100 пленных. За это архангелогородцы были награждены знаменем с надписью «За взятие французского знамени на горах Альпийских». Такую же награду получил пехотный Смоленский полк. Московский гренадерский полк, также принимавший участие в италошвейцарском походе, в двухдневном сражении при Треббии захватил французское знамя. Позднее, при реке Нуре, в руки «московцев» попало еще одно вражеское знамя. В ознаменование этих подвигов Московский гренадерский полк 6 марта 1800 года был награжден знаменем с надписью «За взятие знамени при реках Треббии и Нуре 1799 г.». Таврический пехотный полк принимал участие в составе русско-английского отряда в экспедиции против французов в Голландию в 1799 году и в сентябре того же года в бою под Бергеном захватил вражеское знамя. Он получил за это отличие новое знамя с надписью «За взятие знамени в сражении против французов в Голландии под Бергеном 1799 г.». В том же году особое знамя получило все Войско Донское, с надписью «За оказанные заслуги в продолжении кампании против французов 1799 года».

Эти наградные знамена можно считать прообразами наградных Георгиевских знамен (при Павле орден Георгия не выдавался), которые появились в связи с кампаниями 1805-го и 1806—1807 годов. За бой при Шенграбене, где пять тысяч русских сражались против 30 тысяч, были впервые выданы знамена и штандарты с изображением белого Георгиевского креста в копье или навершии древка, с желто-черными Георгиевскими лентами, к которым подвешивались знаменные кисти. Такие награды с пространной надписью: «За подвиг при Шенграбене 4 ноября 1805 года в сражении 5 т. корпуса с неприятелем, состоявшим из 30 т.» — получили Павлоградский гусарский и Черниговский драгунский — штандарты, а Киевский гренадерский и казачьи Войска Донского полки Сысоева и Ханжонкова — знамена.

Следующее награждение Георгиевским знаменем было произведено в 1807 году. В сражении при Гейльсберге Перновский мушкетерский полк отбил у французов знамя и был представлен к соответствующей награде с надписью: «За взятие у французов знамени...» Но пока утверждалась надпись на наградном знамени, полк совершил новый подвиг — в бою при Фридланде 2 июня того же года он захватил второе вражеское знамя и был награжден 20 сентября 1807 года Георгиевским знаменем с надписью «За взятие у французов двух знамен в сражениях при Гейльсберге 29 мая и при Фридланде 2 июня 1807 г.». Во втором из сражений отличился также Шлиссельбургский мушкетерский полк, получивший наградное знамя с надписью «За взятие у французов 2 июня 1807 г. под городом Фридландом одного знамени».

Но всех превзошел по числу трофеев Санкт-Петербургский драгунский полк, получивший Георгиевский штандарт с надписью «За взятие у французов трех знамен в сражениях 1805 года ноября 8-го при деревне Гаузет и 1807-го года января 26 и 27-го под городом Прейсиш-Эйлау».

Несколько особо стоит награждение лейб-гвардии конного полка штандартом с надписью «За взятие при Аустерлице неприятельского знамени». В этом бою полк лихо атаковал бригаду французской пехоты, занявшую Праценские высоты, и отбил знамя, принадлежавшее 4-му линейному полку, о чем и свидетельствовала надпись на полученном штандарте. Но, несмотря на то что уже имелись Георгиевские штандарты, конногвардейцы получили награду без символов ордена Георгия, хотя и с особыми украшениями, в том числе прикрепленной к штандарту голубой Андреевской лентой, на которой и была вышита серебром почетная надпись. Объясняется это, видимо, тем, что впервые награду получила гвардия, и еще не решались дать гвардейскому полку штандарт та-

кого же вида, как простому кавалерийскому. Андреевская же лента наряду со звездой этого ордена была одной из эмблем русской гвардии.

Всего, таким образом, к началу Отечественной войны 1812 года были выданы знамена «За отличие» образца 1800 года пяти полкам (из них четыре награждения за сражения с французами) и одно особого вида знамя — всему Войску Донскому, также за отличия против французских войск; за кампании 1805 и 1806—1807 годов были награждены Георгиевскими штандартами три кавалерийских полка и один полк гвардейской кавалерии — штандартом «За отличие», а три пехотных казачьих полка — Георгиевскими знаменами. Практически все эти награждения увенчивали однотипный подвиг — взятие вражеского знамени.

Отечественная война 1812 года дала не только значительное увеличение числа награждений знаменами и штандартами, но и расширила масштабы подвигов, совершавшихся отдельными полками. Начиная же с 1812 года обычным стало награждение знаменами и штандартами за целые сражения и даже кампании, независимо от того, взяты ли в ходе их вражеские регалии. А всего за подвиги, совершенные в 1812—1814 годах, Георгиевскими знаменами и штандартами были отмечены 18 пехотных полков, Гвардейский экипаж, 16 полков регулярной кавалерии и 6 казачьих.

Первое по времени пожалование, оказавшееся самым массовым, произошло в апреле 1813 года, когда шесть пехотных и шесть кавалерийских полков получили Георгиевские знамена и штандарты с одинаковой надписью: «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 г.». Позднее, в сентябре уже 1814 года, такую же награду получил Изюмский гусарский полк. Ему Георгиевские штандарты с подобной надписью были даны вместо пожалованных по ошибке вторично в апреле 1813 года Георгиевских труб, «кои оный полк получил еще за кампанию 1806 и 1807 годов».

У гвардейских Конного и Уланского полков надпись на штандартах была несколько особой. Конный полк, который уже имел наградной штандарт за Аустерлиц, получил новый с надписью: «За взятие при Аустерлице неприятельского знамени и за отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 года», Уланский — «За взятие при Красном неприятельского знамени и за отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России». Как видим, случаи захвата знамени врага по-прежнему фиксируются в почетных надписях.

Подобным же образом был отмечен Георгиевским штандартом позднее, в 1817 году, лейб-гвардии Казачий полк, на награде которого к общей с вышеназванными надписями о поражении и изгнании французов добавлено: «И за подвиг, оказанный в сражении при Лейпциге 4 октября 1813 года». В этой битве лейб-казаки блестящей и смелой атакой во фланг французов спасли от поражения союзные войска. В память этого подвига даже полковой праздник был установлен для лейб-гвардии Казачьего полка 4 октября, в годовщину Лейпцигского сражения.

В битве при Кульме 17 августа отличилась русская гвардия. Не случайно поэтому на знаменах гвардейских Преображенского и Семеновского пехотных полков, а также Гвардейского Морского экипажа, моряки которого отличились в этом сражении на суше, была сделана надпись: «За оказанные подвиги в сражении 17 августа (так на знаменах Семеновского полка и Гвардейского экипажа, на знамени Преображенского полка — 18 августа. — *В. Д.*) 1813 г. при Кульме». Разница в датах надписи объясняется тем, что в первый день сражения особенно отличились стоявшие в первой линии семеновцы и моряки, а во второй день — преображенцы.

Казачий Войска Донского Атаманский полк за заслуги в сражениях с Наполеоном заслужил, кроме знамени, еще одну подобную награду — бунчук. Если на первом отличии полка было обозначено кратко —«За храбрость», то на бунчуке пространнее — «За отличную храбрость». Кроме шести Георгиевских знамен и Георгиевского бунчука, трем полкам иррегулярной кавалерии были пожалованы знамена «простые», без георгиевских отличий, но с почетной надписью: «В воздаяние отличных подвигов, оказанных в сражениях в минувшую войну против французов при Краоне и Лаоне».

Венчает заслуги иррегулярных войск в Отечественную войну 1812 года новое Георгиевское знамя всему Войску Донскому, которое русское казачество выставило против Наполеона. Это знамя, полученное донцами в 1817 году, имело надпись: «Войску Донскому в ознаменование подвигов, оказанных в последнюю французскую войну, в 1812, 1813 и 1814 годах».

Своеобразной наградой явилось получение Орловским

пехотным полком, имевшим до Отечественной войны не армейские знамена, а считавшиеся менее престижными гарнизонные, за отличие в сражениях при Дашковке и Салтановке 11 июля 1812 года новых, правда, не имеющих почетных надписей, но армейского, а не гарнизонного типа.

Нельзя не упомянуть и о возвращении частям за боевые отличия утраченных ранее регалий. Так, в несчастливом для русской армии сражении при Аустерлице в 1805 году, несмотря на стойкость и мужество абсолютного большинства солдат и офицеров, один из полков, Новгородский мушкетерский, бежал с поля боя, что было неслыханным в русской армии. За этот позор все офицеры полка потеряли право носить темляки при холодном оружии, а солдаты лишились положенных им по форме тесаков. Кроме того, офицеров было велено «в чины не производить и не увольнять, пока не исправятся», а нижним чинам добавить пять лет военной службы. Лишь в 1810 году полку за штурм Базарджика как загладившему «вину свою мужеством и храбростию», было снова разрешено ношение потерянных темляков и тесаков. Одновременно новгородцы получили утраченное ими при Аустерлице право на боевые знамена. Вместе с ними за отличие при Базарджике простые знамена получили Нарвский пехотный полк, также потерявший их при Аустерлице, и Днепровский пехотный, лишившийся знамен в одном из сражений с французами в Голландии в 1799 году. Несколько ранее, за отличие в кампанию 1809 года со шведами, вернул потерянные под Аустерлицем знамена Азовской пехотный полк. В апреле 1813 года за отличия в сражениях с Наполеоном были возвращены потерянные ранее простые знамена Могилевскому и Пермскому пехотным полкам. Позднее других, в 1814 году, за взятие французского знамени в ноябре 1812 года под Волковыском, было возвращено утраченное в бою собственное знамя Вятскому пехотному полку.

Следует также упомянуть два награждения Георгиевскими знаменами, произведенные хотя и значительно позже интересующих нас событий, но имеющие прямое отношение к эпохе Отечественной войны 1812 года... 11 июня 1827 года лейб-гвардии Гарнизонный батальон, в котором служили нижние чины из разных полков гвардии — инвалиды, в большинстве своем участники Отечественной войны, был награжден Георгиевским знаменем. На знамени была надпись: «В воспоминание подвигов

Гвардейских войск в 1812, 1813 и 1814 годах». В этом же, 1827 году была образована особая Рота Дворцовых гренадеров. В нее зачислялись ветераны гвардии, «которые оказали мужество в Отечественную войну и во все продолжение службы отличали себя усердием, честностью и примерным поведением». Увешанные боевыми знаками отличия, гренадеры несли службу при императорских дворцах, числясь по гвардии и имея свою форму. 2 апреля 1830 года Роте Дворцовых гренадеров было пожаловано Георгиевское знамя с надписью: «В воспоминание подвигов Российской армии».

НАГРАДНЫЕ ТРУБЫ

Уже в «Слове о полку Игореве» упоминаются военные трубы, сигналами которых управлялись русские войска в походе и бою. Но первое пожалование труб как знака отличия за храбрость в сражении относится лишь к первой половине XVIII века. В 1737 году входивший в состав сводного гвардейского отряда батальон лейб-гвардии Измайловского полка отличился при взятии Очакова и был награжден двумя серебряными трубами. Позднее, за взятие в ходе Семилетней войны русскими войсками Берлина в 1760 году, четырнадцать полков пехоты и кавалерии были отмечены серебряными почетными трубами с надписями, рассказывающими о причине пожалования.

В царствование Павла I известно несколько случаев выдачи серебряных труб полкам — лейб-гвардии Гусарскому, Кирасирскому графа Салтыкова и лейб-кирасирскому (на лейб-кирасирских трубах изображен Мальтийский крест) — за небоевые отличия. Именно в это время выходит императорское распоряжение: во всех полках, где имеются наградные серебряные трубы, «почитать их регалиями, и в которых оные имеются, отнюдь без особенного высочайшего соизволения вновь не делать». Получение серебряных труб официально становится коллективным знаком отличия, жалуемым императором.

Первыми полками, пожалованными серебряными трубами за боевые отличия против французов, были гвардейские кавалерийские Уланский и Драгунский полки, награжденные за Аустерлиц. Непосредственно в сражении 20 ноября 1805 года отличился лишь Уланский полк, лихой атакой спасший от полного уничтожения враже-

ской кавалерией пехотные гвардейские Семеновский и Егерский полки. Понеся огромные потери, уланы выручили товарищей и были за этот подвиг награждены 26 октября 1806 года двадцатью четырьмя серебряными трубами. Драгунский же гвардейский полк, сформированный в 1809 году из половины Уланского полка, получил одновременно «по наследству» и 15 труб из числа заслуженных при Аустерлице уланами.

В 1805 году появляется новая разновидность наградных труб — серебряные Георгиевские, отличавшиеся от просто серебряных накладным изображением Георгиевского креста на раструбе, что делало их более высокой наградой. Надписи и серебряные кисти на Георгиевских лентах имелись на обоих видах знака отличия[1].

Первым заслужил Георгиевские трубы 6-й егерский полк за сражение при Шенграбене. На обеих полученных егерями трубах[2] изображен Георгиевский крест и сделана подпись по кругу на внешней стороне раструба: «За подвиг при Шенграбене 4 ноября 1805 года в сражении 5 т. корпуса с неприятелем, состоявшим из 30 т.». Надпись подобна вышитым на Георгиевских знаменах и штандартах за Шенграбенское сражение.

В кампанию 1807 года с французами сразу семь полков заслужили Георгиевские трубы, все с одинаковой надписью: «За отличие в течение кампании 1807 года против французов».

Особенно много награждений трубами было произведено за подвиги в 1812—1814 годах. Серебряными трубами были награждены 18 полков пехоты, 10 полков кавалерии и две конно-артиллерийские роты, а серебряными Георгиевскими — соответственно 12 и 16 полков и все пять рот гвардейской артиллерии. В числе прочих снова отличился Изюмский гусарский полк, вторично представленный к награждению трубами. Но так как это отличие полк уже заслужил ранее, ему были даны взамен Георгиевские штандарты.

Серебряные трубы с надписью «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России

[1] Постепенно к 1816 году были точно установлены различия в форме между наградными трубами, дававшимися кавалерии и пехоте: для первой — трубы прямые, длинные, для пехоты — фигурные, несколько раз выгнутые.

[2] Пехотные полки получали обычно две наградные трубы, а кавалерийские — по числу эскадронов, три трубы в каждый эскадрон и одну штаб-трубачу.

1812 г.» получили в пехоте 8 полков, в кавалерии — 4 полка, в артиллерии — конно-артиллерийская № 1 рота. Георгиевские трубы с такой же надписью были даны лишь в кавалерии — 5 полкам и в артиллерии — 5 гвардейским ротам.

49-й егерский полк, награжденный серебряными трубами, в дальнейшем снова неоднократно отличался в сражениях. Поэтому не случайно серебряные трубы, пожалованные 49-му егерскому полку в 1813 году, позднее были заменены на новые, Георгиевские, с дополненной надписью: «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России в 1812 г. и в сражениях при Бриен-Ле-Шато и селении Ла-Ротьер». За сражение при Кульме в Богемии 17 августа 1813 года гвардейские Измайловский и Егерский полки и Татарский уланский полк получили — первые два Георгиевские, а последний — серебряные трубы «За отличие в сражении при Кульме 17 августа 1813 г.».

В январе 1815 года были пожалованы Георгиевские трубы с пространной надписью: «За оказанное отличие в сражениях, бывших под Городечной, Кенигсвартом, Бауценом в Силезии и под Бриенном». Награда эта предназначалась пяти полкам: пехотным Владимирскому и Костромскому и егерским 11, 28 и 32-му. Но не успели еще изготовить эти знаки отличия, как все пять полков, снова отличившись, теперь при Ла-Ротьере, заслужили новые трубы, серебряные. В результате пяти полкам были даны Георгиевские трубы с комбинированной надписью: «За сражения под Городечном, в Силезии, под Бриен-Ле-Шато и при селении Ла-Ротьер».

За целый ряд отличий в 1812—1814 годах, но главным образом за Бриенн 8 февраля 1816 года был награжден Георгиевскими трубами Александрийский гусарский полк. Но в надписи на самих наградах содержались лишь название полка и дата пожалования награды.

Некоторые полки русской армии за неоднократные подвиги получали наградные трубы с общими надписями. Так, уже знакомый нам лейб-гвардии Казачий полк, отличившийся в сражениях с врагом на своей территории и затем в «битве народов» при Лейпциге, 4 октября 1813 года был отмечен Георгиевским штандартом за 1812 год и за Лейпциг. Но в 1813 году полк принимал участие и в других сражениях. Поэтому вполне заслуженно лейб-казаки добавили к своим наградам 19 серебряных труб с надписью: «За отличия против неприятеля в минувшую

кампанию 1813 г.». Одновременно две серебряных трубы с такой же надписью получила причисленная к полку на время войны Черноморская казачья сотня. Подобные награды были пожалованы Чугуевскому уланскому полку, только трубы были Георгиевские, с надписью: «За отличие в войну противу французских войск в 1813 году».

Последним по времени свершения подвигом, отмеченным награждением трубами, стало «отличие при штурме Монмартра 18 марта 1814 г.», как было начертано на серебряных трубах, полученных 33-м егерским полком 30 августа 1814 года. Тем же приказом были удостоены серебряных труб 1, 2, и 3-й Украинские казачьи полки, а несколько позже, 3 марта 1815 года, и 4-й Украинский полк. На казачьих наградах надписи содержали лишь название отличившегося полка.

Особо стоит пожалование принцем Оранским пехотному Тульскому и 2-му егерскому полкам, входившим в состав отдельного русского отряда, серебряных труб за освобождение Амстердама с надписью на французском языке: «Амстердам, 24 ноября 1813 г.».

НАГРАДЫ — ЭЛЕМЕНТЫ УНИФОРМЫ

Первым по времени заслужил за храбрость в бою право на особое почетное отличие в униформе Павловский гренадерский полк. В сражении под Фридландом 2 июня 1807 года с французами павловцы, несмотря на значительный численный перевес врага, стойко держались, неся большие потери. Беззаветную отвагу проявили все чины полка от солдата до шефа павловцев генерал-майора Н. Н. Мазовского. Раненный в руку и ногу генерал, не имевший сил сидеть в седле, попросил двух гренадеров нести себя впереди полка в последней штыковой атаке. По преданию, он обратился к солдатам: «Друзья! Неприятель усиливается, умрем или победим!» В этой атаке Мазовский был ранен третий раз, смертельно. Павловцы в сражении под Фридландом до конца выполнили свой долг. И до этого Павловский гренадерский отличался в сражениях при Пултуске, Прейсиш-Эйлау, Гейльсберге и других. Поэтому, отмечая «отличное мужество, храбрость и неустрашимость, с каковыми подвизался при неоднократных сражениях в течение минувшей противу французов войны Павловский гренадерский полк», специальным императорским распоряжением от 20 января 1808 года было велено, «чтоб в почесть оного полка ныне

состоящие в нем гренадерские шапки оставить в нем в том виде, в каком сошел он с места сражения, хотя бы некоторые из них были повреждены». Новым распоряжением, от 13 ноября 1809 года, было приказано выгравировать «на простреленных шапках имена тех нижних чинов, кои вынесли их с собою с поля сражения». Именно об этих реликвиях говорит А. С. Пушкин во вступлении к «Медному всаднику»:

Сиянье шапок этих медных,
Насквозь простреленных в бою.

В полку хранилось более полутысячи таких шапок. Они переходили от солдата к солдату, но на каждой из них была помещена фамилия того воина, который сражался в этой гренадерке с французами под Фридландом.

Позднее, когда Павловский полк, ставший уже гвардейским, получил новый головной убор, общий для всей гвардии, — кивер. По счастливой случайности и благодаря находчивости одного из павловцев императору все же пришлось вернуть полку старое отличие. Обратясь к стоявшему на часах павловскому солдату Лаврентию Тропину, уже получившему для пробы кивер, Александр спросил его: «Покойнее ли кивера шапок?» На что Тропин отвечал: «Точно так, ваше величество, покойнее, но в гренадерских шапках неприятель нас знал и боялся, а к новой форме еще придется приучать его». Гренадерки были возвращены павловцам, а Л. Тропин был произведен в унтер-офицеры, получил сто рублей и право первым приветствовать императора при его появлении перед строем.

Новым видом коллективной награды, пожалованной в отличие от гренадерок Павловского полка не один раз, а многократно, явились металлические знаки в виде щитка или ленточки с почетными надписями на головных уборах всех чинов отличившейся воинской части. Первым полком, заслужившим металлический знак на головной убор, стал 20-й егерский полк. 4 декабря 1812 года управляющий Военным министерством кн. А. И. Горчаков сообщал в Комиссариатский департамент, ведавший вещевым и денежным довольствием армии: «Отличившемуся во время настоящей войны мужеством и храбростию 20-му Егерскому полку е. и. вел-во, в изъявление особенного монаршего благоволения, высочайше повелеть соиз-

волил дать на кивера как офицерам, так и нижним чинам *бляхи с надписью «За храбрость»*.

Пробный образец «бляхи», как назван знак в документе, был изготовлен и представлен императору. Александр изменил надпись — вместо «За храбрость» появилось «За отличие» — и, кроме того, потребовал изменить шрифт и внес некоторые другие поправки.

Лишь в конце 1813 года знаки на кивера были окончательно утверждены. 20-й егерский полк, который был представлен к этой награде еще в конце 1812 года, фактически получил право на нее лишь приказом от 13 апреля 1813 года, когда было произведено самое массовое за всю историю войны с Наполеоном награждение, связанное с изгнанием захватчиков из пределов России.

15 сентября 1813 года четырем гусарским полкам — Ахтырскому, Белорусскому, Александрийскому и Мариупольскому — были даны знаки на головные уборы за отличие в сражении 14 августа при реке Кацбах в Силезии. Здесь лихая атака александрийцев и мариупольцев с фронта и ахтырцев и белорусцев с левого фланга, поддержанных казачьими частями, решила исход всего боя. Первоначально надпись на знаках должна была быть: «За отличие 14-го августа 1813 г.», но позднее решено было добавить к этой надписи «При Кацбахе». К сожалению, подлинные знаки с этим дополнением до нас не дошли. В остальных же известных нам случаях награждений за военные действия в 1812—1814 годах знаки на головные уборы имели надпись только «За отличие».

Некоторые части храбро сражались всю войну, но в приказе особо отмечались их отличия в каком-то одном или нескольких сражениях, за что главным образом и давался знак: за штурм Вязьмы 22 октября 1812 года — Перновскому гренадерскому; за битву при Лейпциге 4—7 октября 1813 года — Сумскому, Гродненскому и Лубенскому гусарским полкам (точнее, за кавалерийское дело 2 октября, накануне сражения, при Либертвольквице, где особенно отличились русские гусары), артиллерийским батарейной № 1, легкой № 14 и конной № 23 ротам; за сражения при Бриен-Ле-Шато 17 января и при Ла-Ротьере 20 января 1814 года — 39-му егерскому полку; при Бар-сюр-Об 15 февраля 1814 года — Калужскому, Могилевскому, Пермскому пехотным и 26-му егерскому полкам; за сражения при Краоне 23 февраля и при Лаоно 25—26 февраля 1814 года — Нарвскому пехотному

13-му егерскому полкам и артиллерийским батарейным № 28 и 31 и легким № 26 и 46 ротам; за сражение при Арсис-сюр-Об 8—9 марта 1814 года — Кексгольмскому гренадерскому полку.

5 января 1815 года «в воздаяние отличных подвигов, оказанных в сражениях, бывших под Городечною, Кенигсвартом, Бауцентом в Силезии и под Бриенном», как сказано в приказе о награждении, знаки «За отличие» получил Псковский пехотный полк. Самым последним сражением, отмеченным знаками на головные уборы, было взятие Парижа 18 марта 1814 года — эту награду получил 30 мая того же года Малороссийский гренадерский полк.

Почетные металлические знаки на головные уборы получили за войну 1812—1814 годов 31 пехотный, 13 кавалерийских армейских полков, 25 артиллерийских и 1 понтонная роты. Следует заметить, что в гвардии в эпоху войн с Наполеоном не было ни одного случая награждения этим видом отличия.

Другим новшеством в русской наградной системе начала XIX века стало жалование в армейской артиллерии всем офицерам отличившейся части на воротники мундиров золотых петлиц, присвоенных по форме лишь гвардейским артиллеристам. Эта коллективная награда давалась за храбрость в бою, за единственным исключением, о котором нам придется сказать позднее.

Впервые наградные золотые петлицы в армейской артиллерии получили в 1808 году офицеры двух конно-артиллерийских рот, № 1 и 11. В Именном указе Военной коллегии, подписанном 19 февраля 1808 года, говорилось: «За неоднократно оказанные в прошедшую кампанию (с французами. — *В. Д.*) в сражениях отличные подвиги удачным действием из орудий конно-артиллерийских рот: четвертой бригады полковника князя Яшвиля и седьмой — полковника Ермолова... состоящим в сих двух ротах штаб и обер-офицерам носить на воротниках золотые петлицы по примеру лейб-гвардии артиллерийского баталиона, кроме аксельбантов».

С 1808 по 1813 год золотые петлицы за отличия в сражениях с французами не жаловались. Известным приказом от 13 апреля 1813 года в числе прочих наград были назначены и петлицы артиллерийским подразделениям. Награжденными оказались офицеры тех девяти рот, кото-

рым этим же приказом были пожалованы знаки «За отличие» на головные уборы.

Особым приказом от 3 сентября 1813 года петлицы получили офицеры конно-артиллерийской роты № 7. Под командованием полковника А. П. Никитина рота мощным и точным огнем из орудий заставила под Красным отступить войска маршала Даву. Преследуя затем бегущего противника, канониры Никитина уже в конном строю отбили три французские пушки, за что офицеры роты получили золотые петлицы на мундиры, а ее отважный командир — орден Анны I степени.

Всего за боевые заслуги против наполеоновских войск в армейской полевой артиллерии золотые петлицы были даны 14 ротам, в том числе 5 батарейным, 2 легким и 7 конным. Что же касается случаев награждения петлицами за заслуги небоевого характера, то из таких известно одно: в 1808 году таким образом был отмечен ротный командир 10-й артиллерийской бригады майор Кандыба за то, что «неутомимою ревностию и деятельностию своею по службе довел роту во всех частях до совершенства».

ГРЕНАДЕРСКИЙ БОЙ

В числе видов барабанного боя — сигналов, условно заменяющих определенные команды или приказания (тревога, сбор, встреча знамени и т. д.), маршевого боя, помогающего в пехотном строю держать нормальный темп движения и ногу, в русской армии был особого рода бой, так называемый «поход», под который войска проходили во время парадов, смотров, других торжественных церемоний. Эти «походы» были разными у гвардии, гренадеров, армейских частей. И в качестве награды некоторым армейским полкам, отличившимся в сражении, было пожаловано право идти торжественным маршем не под армейский, а под более почетный гренадерский бой — «поход».

Впервые гренадерский бой за боевые заслуги был пожалован 16 июня 1799 года Тамбовскому мушкетерскому (позднее пехотному) полку за подвиги в Швейцарии под командованием А. В. Суворова. Позднее, 16 июля 1799 года, за отличия в Италии, главным образом за Треббию и Тортону, почетный бой получили сразу девять полков — мушкетерские (позднее пехотные) Апшеронский, Архангелогородский, Бутырский, Низовский, Смоленский, Тульский, Орловский (позднее 41-й егерский), 6 и 7-й егерские (номера у егерей введены в 1801 году) полки.

В эпоху Отечественной войны 1812 года гренадерский бой пожалован 15 пехотным полкам. Приказом от 13 апреля 1813 года сразу 13 полков были отмечены этой наградой, в том числе вся 3-я пехотная дивизия, Калужский пехотный полк 5-й пехотной дивизии, Софийский пехотный полк 7-й пехотной дивизии, Селенгинский пехотный полк 23-й пехотной дивизии, Одесский, Тарнопольский, Виленский и Симбирский пехотные полки 27-й пехотной дивизии.

4 марта 1814 года состоялось еще два пожалования гренадерского боя пехотным полкам — его получили Тенгинский и Эстляндский полки 14-й пехотной дивизии «за отличие в сражениях в нынешнюю кампанию и особенно при городе Лейпциге» 4 октября 1813 года. Это было последнее награждение гренадерским боем в эпоху войн с Наполеоном.

ПРИЧИСЛЕНИЕ К ГВАРДЕЙСКИМ И ГРЕНАДЕРСКИМ ПОЛКАМ И ПОЧЕТНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Гвардейские части в русских вооруженных силах имели ряд преимуществ перед армейскими, в том числе и старшинство на два чина. Так, например, прапорщик гвардии считался наравне с поручиком армии и т. д. Служба в гренадерских полках, в которые по традиции отбирались наиболее сильные, рослые и умелые солдаты, также считалась более почетной, нежели в пехотных, хотя особых привилегий и не давала.

В эпоху Отечественной войны 1812 года три полка — два в пехоте и один в кавалерии — за отличия в боях получили право называться гвардейскими. Это были лейб-Кирасирский его величества, лейб-Гренадерский и Павловский гренадерский полки.

В Отечественную войну 1812 года лейб-кирасиры принимали участие в боях при Витебске и Смоленске, а затем храбро сражались при Бородине, Тарутине, Малоярославце, Вязьме, Красном, при Клястицах и под Полоцком. За эти отличия полк стал 13 апреля 1813 года гвардейским, одновременно с лейб-Гренадерским и Павловским гренадерским, также проявившими себя в боях с французами.

Но эти три полка получили права так называемой

«молодой гвардии», которая имела преимущество перед армейскими частями не в два, а лишь в один чин. Все же это была очень высокая награда, дававшая надежду в будущем заслужить и перевод в гвардию «старую».

К старой гвардии за подвиги в Отечественную войну была причислена Черноморская казачья сотня. Сформированная лишь в 1811 году, она была включена в состав гвардейского Казачьего полка и вместе с ним прошла всю кампанию, начиная с первых схваток после перехода Наполеоном Немана и кончая взятием Парижа в марте 1814 года. За отличия в сражениях с французами Черноморская сотня заслужила право называться гвардейской, как и остальные подразделения Казачьего полка, с преимуществом в два чина перед негвардейскими частями. Приказ об этом был подписан 25 апреля 1813 года.

Одновременно с переходом в гвардию лейб-Гренадерского и Павловского гренадерского полков тем же приказом 13 апреля 1813 года пехотные Кексгольмский и Перновский полки были за отличия в кампанию 1812 года переименованы в гренадерские и зачислены на освободившиеся места в 1-ю гренадерскую дивизию. Военная судьба обоих полков в Отечественную войну была сходной: составлявшие 1-ю бригаду 11-й пехотной дивизии, они прикрывали отступление 1-й Западной армии к Витебску, участвовали в бою при Островне 13 июля, где отличились, отбив сильнейшие кавалерийские атаки врага на центральную артиллерийскую батарею. При Бородине Кексгольмский и Перновский полки снова героически защищали центр позиции, отражая атаки кавалерии генерала Латур-Мобура. Отличившись затем в новых боях, особенно при Вязьме, оба полка в один день, 13 апреля 1813 года, получили почетное право называться гренадерскими.

Через год, 3 апреля 1814 года, шесть егерских полков: 1-й, 3-й, 8-й, 14-й, 26-й и 29-й — получили наименование гренадерских егерских с сохранением прежней нумерации полка. 30 августа 1815 года все гренадерские егерские полки были переименованы в карабинерные. Награжденный 3 апреля 1816 года за отличия в Отечественную войну, 17-й егерский полк стал сразу карабинерным.

Присвоение имени шефа из числа владетельных иностранных особ заслуженным боевым полкам началось 7 октября 1814 года, когда гренадерский Кексгольмский

полк получил дополнение к своему наименованию — «его величества императора австрийского (Франца I. — *В. Д.*) полк». В тот же день гренадерский Петербургский стал «его величества короля Прусского (Фридриха Вильгельма III. — *В. Д.*) полком».

Еще четыре полка русской армии носили имена европейских монархов: 5 марта 1816 года гусарский Белорусский стал полком принца Оранского, 6 февраля 1818 года — пехотный Калужский получил имя принца Вильгельма Прусского, а 20 июня того же года гренадерский Перновский — его старшего брата, наследного принца Прусского, будущего короля Пруссии Фридриха Вильгельма IV.

Лифляндский конно-егерский (до 17 декабря 1812 года драгунский) стал в 1814 году полком короля Вюртембергского, хотя в войне с Францией это королевство поддерживало Наполеона [1].

Из всех вышеперечисленных августейших шефов лишь один имел отношение к подшефному до его переименования. Принц Вильгельм Прусский (будущий первый император объединенной Германии Вильгельм I) в 1814 году, в сражении 15 февраля при Бар-сюр-Об, семнадцатилетним капитаном встал во главе Калужского полка в решительную минуту сражения и увлек его в атаку, за что был отмечен 3 августа того же года почетным русским боевым орденом Георгия IV степени.

Значительно справедливей было присвоение ряду полков русской армии имен героев войн с Наполеоном как «вечных шефов в память 1812 года». Первый раз такие награды (а именно наградами и можно это считать) получили 17 августа 1826 года два полка — Псковский пехотный, названный «генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского», и 2-й карабинерный (бывший 3-й егерский), ставший карабинерным генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли.

25 марта 1891 года Устюжский пехотный полк получил имя генерала Багратиона как потомок егерского генерал-майора Багратиона полка, с которым Петр Иванович ходил в атаку еще под командованием великого Суворова в Итальянском походе. 12-й драгунский (с 1907 года гусарский Мариупольский) назван именем

[1] Шефом был правивший с 1816 года Вильгельм I, а не скомпрометировавший себя сотрудничеством с французами Фридрих I.

генерал-фельдмаршала кн. Витгенштейна, а 156-й пехотный Владикавказский — генерала Ермолова полком. Имя Ермолова носила также с 29 сентября 1897 года 2-я конно-артиллерийская батарея, командиром которой когда-то он был, поместившая изображение Алексея Петровича даже на своем так называемом «полковом» знаке, что было редчайшим случаем в истории русских нагрудных знаков (лишь два полка из сотен поместили портрет Суворова на знаках — это Фанагорийский, любимый полк полководца, и Суздальский, в котором он был командиром).

26 января 1909 года один из самых славных кавалерийских полков русской армии, Гродненский гусарский, был назван 6-м гусарским Клястицким генерала Кульнева полком.

В 1912 году, в связи со столетием Отечественной войны 1812 года, имена «вечных шефов» получили еще 11 полков: 26 августа, в годовщину Бородинского сражения, пехотный Бутырский стал полком генерала Дохтурова, Копорский — генерала Коновницына, Одесский — Александра I, Ревельский — генерала Тучкова 4-го, Симбирский — генерала Неверовского, Смоленский — генерала Раевского, Тобольский — генерала Милорадовича, гусарский Ахтырский получил имя генерала Дениса Давыдова, Белорусский — снова Александра I, Изюмский — генерала Дорохова и Сумской — генерала Сеславина.

Следует назвать еще три полка, имевших почетные наименования, — фамилии героев 1812 года, — это казачьи Донские 13-й генерал-фельдмаршала Кутузова-Смоленского, 4-й генерала Иловайского 12-го и 10-й генерала Луковкина полки.

Число полученных наград не всегда отражает реальный вклад воинской части, подразделения или отдельного солдата и командира в общую победу. Многие тысячи крестьян, мужественно боровшихся с вражеским нашествием, в манифесте Александра I, изданном по случаю победы 30 августа 1814 года и перечисляющем различные льготы и награды, могли бы, если б были грамотными, найти строчки и о себе: «Крестьяне — верный наш народ, да получат мзду свою от бога».

Среди офицеров и даже генералов, участников этой эпопеи, есть полузабытые и совсем забытые имена. В числе таких героев был один, не получивший ни одной награды и погибший в сражении. Это Андрей Сергеевич Кайсаров, брат знаменитого генерала 1812 года В. С. Кайсарова. В отличие от своего родственника Андрей Сергеевич был сугубо гражданским человеком, профессором Дерптского университета, имевшим ученые звания доктора медицины и истории. В 1812 году патриот А. С. Кайсаров вступил добровольцем в армию и стал заведовать походной типографией М. И. Кутузова. Но относительно спокойная работа в тылу армии его не удовлетворяла, и профессор перешел в строевую часть с чином майора. 13 мая 1813 года А. С. Кайсаров был убит в бою при Гайнау. Десятки и сотни подобных судеб дала героическая Отечественная война 1812 года.

Особо стоит в ряду наград этой эпохи грамота, данная Москве как городу, ставшему символом всенародной борьбы с врагом. Не случайно в грамоте говорилось: «Москва и подвигами, и верностью, и терпением своим показала пример мужества и величия».

Среди российских подданных оказалось «некоторое, но, к утешению, весьма малое число заблудших людей, из которых иные от страха и угроз неприятельских, иные от соблазна и обольщений, иные же от развратных нравов и худости сердца, забыв священный долг любви к Отечеству и вообще добродетели, пристали к неправой, богу и людям ненавистной стороне злонамеренного врага; сих, по мере вины их, правосудие долженствовало бы наказать». Но по случаю радостного события — победы — изменники, которых действительно было крайне мало, получили прощение и не понесли наказания. Конечно, презрение со стороны русских людей к перешедшим в тяжелое для страны время на сторону врага нельзя было ни уменьшить, ни запретить никакими манифестами. Но то, что предавшиеся врагу не были формально наказаны, говорит еще раз о силе и величии души народа, остановившего и разгромившего в тяжелейшем сражении грозного и коварного врага, посягнувшего на его Родину.

Валерий ДУРОВ

СОДЕРЖАНИЕ

В. Балязин. М. Б. БАРКЛАЙ-ДЕ-ТОЛЛИ . . 6
Михаил Астапенко, Владимир Левченко. М. И. ПЛАТОВ 53
Виктор Кречетов. Д. С. ДОХТУРОВ 119
Константин Ковалев. Н. Н. РАЕВСКИЙ . . . 147
Лидия Ивченко. А. И. ОСТЕРМАН-ТОЛСТОЙ . 192
Вячеслав Корда. П. П. КОНОВНИЦЫН . . . 238
Марина Кретова. ТУЧКОВЫ 298
Вл. Тикыч. Д. П. НЕВЕРОВСКИЙ 338
Б. Костин. Я. П. КУЛЬНЕВ 381
Александр Валькович. А. Н. СЕСЛАВИН . . . 401
Владимир Карпец. Ф. Н. ГЛИНКА 465
Борис Чубар. Г. М. КУРИН 514
Валерий Дуров. РУССКИЕ БОЕВЫЕ НАГРАДЫ ЭПОХИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА 557

ГЕРОИ 1812 ГОДА

Редакторы
А Афанасьев, В Левченко

Художник заставки и буквицы
С Харламов

Серийное оформление
Ю Арндта

Художественный редактор
А Степанова

Технический редактор
Т Кулагина

Корректоры
Т Пескова,
Т Контиевская,
Н Самойлова

Сдано в набор 04 03 87 Подписано в печать 02 07 87 А01112 Формат 84×108¹/₃₂ Бумага книжно журнальная № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая» Печать высокая Усл печ л 31,92+ +2,52 вкл Усл кр отт 36,43 Уч-изд л 37,4 Тираж 200 000 экз (1 й завод 100 000 экз) Цена 2 р 60 к. Заказ 2856.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» Адрес издательства и типографии. 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.